ISSN 0130 – 6545

5.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

К. СОУЧЕК. Чехословакия. Освобождение, 1945 г.

35-летие ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ

В День Победы

День с коротким названьем — Победа.
В небе солнце. Рассеялся мрак.
Засиял над мятежной планетой
красный стяг, увенчавший рейхстаг.

Два вошедших в историю воина,
возвестив окончанье войны,
гордо смотрят на небо спокойное,
тишиною оглушены.

Нет ни жестов, ни слов церемонных —
смерть парадности не признает.
Танк советский застыл у колонны
Бранденбургских «великих» ворот.

Два солдата к вершинам Победы
поднимались из бездны войны.
Взгляд их синь, как рязанское небо,
гимнастерки огнем прожжены.

Их отвагою, их руками
алый стяг водружен на рейхстаг.
Пусть об этом мгновенье веками
вспоминает поверженный враг.

А по Унтер ден Линден, как прежде,
мирно люди куда-то идут.
Вновь рождается в душах надежда,
что сады на земле зацветут.

Пусть слышны еще грома раскаты,
пусть свистят еще пули во мгле —
возвещают победу солдаты,
величайшую на земле.

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание

35-летие победы в Великой Отечественной войне

ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ — В День Победы *(Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой)* 1

Рассказы

МИРОСЛАВА ТОМАНОВА — Размышления о пропавшем без вести *(Вступление автора. Перевод с чешского Н. Аросевой)* 4

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ — Праздник под землей *(Перевод с сербскохорватского Т. Вирты)* 16

РЫШАРД ЛИСКОВАЦКИЙ—На реке широкой, на чудном островке... *(Перевод с польского М. Игнатова)* Пока можно прощупать пульс *(Перевод с польского Д. Шурыгина)* 24

Из португальской поэзии

ЖОРЖИ ДЕ СЕНА. СОФИЯ ДЕ МЕЛЛО. БРЕЙНЕР АНДРЕСЕН. ЭУЖЕНИО ДЕ АНДРАДЕ *(Переводы с португальского М. Самаева, О Чугай, Германа Плисецкого. Вступление Е. Ряузовой)* 38

ХАЙНАР КИПХАРДТ — Герой дня *(Повесть. Перевод с немецкого М. Федорова)* 48

ГЛОРИЯ ГУАРДИА — Последняя ставка *(Роман. Перевод с испанского В. Обрубова. Предисловие Юрия Дашкевича)* 94

Критика

Идеологическая борьба и литература

А. МУЛЯРЧИК — Партитуры угроз и предупреждений 169

Д. ЗАТОНСКИЙ — Вклад Чехова 173

Писатель и время

К семидесятипятилетию Вилема Завады. Спасибо, жизнь!

ВИЛЕМ ЗАВАДА — Поэзия и детство. Незвал, каким я его знал *(Перевод с чешского и вступление Л. Будаговой)* Лазарь, пробудись и встань *(Стихи. Перевод Евгения Винокурова)* 182

Заметки писателя

Кроны и корни новой культуры

БХИШАМ САХНИ: «Очень многое предстоит сделать» *(Перевод с английского М. Салганик)* 190

МАНУЭЛ РУЙ: «Я поэт, я кочевник» *(Перевод с португальского Н. Испольновой)* 192

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 Май 1980

Содержание

Культура и современность

Заметки на полях

Д. Александров — Что стоит на пути советской литературы к западному читателю? 194

Публицистика

Проблемы идеологии

Георгий Шахназаров — Двести лет спустя, или Футуророчества Германа Кана 200

Документальная проза

Мирослав Ивanов — Лидице: история июньского утра *(Перевод с чешского И. Бернштейн)* 213

Рут Вернер — Сообщает Соня... *(Перевод с немецкого И. Бужинской. Предисловие Германа Канта)* 222

Наши гости

Н. Шульгина — Винцент Шикула (Чехословакия) 238

Антирубрика

ДОНАЛЬД БАРТЕЛЬМ — Полицейский джаз *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 241

КОНРАДО НАЛЕ РОКСЛО — Почему столько людей не охвачено последней переписью *(Перевод с испанского Александра Балжи)* 242

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР — Рассказы *(Перевод с английского Владимира Постникова и Игоря Золотарева)* 244

Среди книг

Издано в СССР

В. Молчанов — Тщетные поиски альтернатив ✦ Илья Фоняков — Правда об огненном шаре ✦ Ю. Кузьменко — Постижение глубины 250

Издано за рубежом

В. Стеженский — Предостережение ✦ Олег Малевич — Книга первая, книга вторая... ✦ Костас Валетас — Книга о народном герое 256

Из месяца в месяц 261

На первой странице обложки—гравюры АНТОНА РЕФРЕЖЬЕ (США). На четвертой странице — ЯН КУЛИК (Чехословакия). Проект памятника участникам Словацкого национального восстания.

© «Иностранная литература», 1980.

Рассказы

МИРОСЛАВА ТОМАНОВА

Размышления о пропавшем без вести

От автора

Владимир Блажичек, ученик Стражницкой гимназии и однокашник Марушки Кудержиковой [1], встретился с нами в 1937 году, когда мой муж, народный писатель Йозеф Томан, был уже автором ряда литературных произведений: романа «Человек ниоткуда», радиопьесы «Река колдует», пьесы «Мир без окон» и — в соавторстве со мной — пьес «Приятельница» и «Жаба у родника».

Все эти литературные произведения были не только прогрессивны, но для того времени и достаточно революционны и для буржуазии нежеланны. Естественно, что произведения с прогрессивной тематикой привлекали внимание таких людей, как, например, режиссеры Э. Ф. Буриан, Индржих Гонзл, как писатели Владислав Ванчура, Иван Ольбрахт, Вилем Завада, Константин Библ, и многие деятели культурной и научной жизни, перечислить которых было бы трудно.

Интересно, что именно в 1937 году был основан Клуб деятелей искусства, помещавшийся в здании Общества художников «Манес» и объединявший выдающихся представителей культуры — антифашистов. Об идейной направленности этого Клуба, секретарем которого был Йозеф Томан, свидетельствует хотя бы то, что членом его был профессор Зденек Неедлы, читавший здесь свои лекции до тех пор, пока не уехал в СССР, спасаясь от преследования нацистов, и что Юлиус Фучик выступил здесь с докладом об Октябрьской революции в России по случаю ее годовщины 7 ноября 1939 года.

А молодежь наша? Она пристально следила за тем, как проявляли себя те или иные видные личности. Обе стороны поддерживали друг друга. Молодые рабочие, осуществлявшие саботаж на заводах, непокорная учащаяся молодежь, молодые подпольщики нередко вселяли веру в победу над фашизмом некоторым людям и старшего поколения.

Владимир Блажичек поступил в Брненскую консерваторию, он писал музыку, а мы с мужем уже издали наш «Виноградник», но цензура протектората запретила пьесу как иносказание, враждебное третьему рейху, не пропустила ее на сцену, угрожая арестом авторам, руководству театра и всей труппе — а ставить ее хотел Национальный театр.

Именно тогда родилась особая духовная близость людей одного образа мыслей и действий, и это было величайшим даром и нашим величайшим счастьем. И мы с му-

[1] Чешская патриотка, казненная гитлеровцами в 1943 году. Публикацию дневника М. Кудержиковой см. в «ИЛ» № 1, 1961. *(Здесь и далее прим. перев.)*

МИРОСЛАВА ТОМАНОВА — MIROSLAVA TOMANOVÁ (род. в 1906 г.).

Чешская писательница, драматург, публицист, заслуженный деятель искусств ЧССР. Автор переведенного на русский язык романа «Серебряная равнина». Многие произведения написаны М. Томановой в соавторстве с ее мужем, известным чешским писателем Йозефом Томаном (1899—1977),— пьесы «Народный король», «Виноградник», роман «Медвежий угол», изданный в Советском Союзе на украинском языке роман «Там, где горы зеленые» и др.

Рассказ «Размышления о пропавшем без вести» («Rozjímání o nezvěstném») был опубликован в журнале «Литерарни месичник» («Literarni měsičnik» № 9, 1974). Печатается с небольшими сокращениями.

жем обрели такое счастье в дружбе с Владимиром Блажичком в самую темную годину, утраченное, однако, в пору величайшей радости, когда нас освободила Советская Армия. Блажичек бежал с принудительных работ на военном заводе к партизанам во время Словацкого национального восстания, но где он пал в этих жестоких сражениях — осталось неизвестным. Когда прошло много месяцев, а наш молодой друг не вернулся, когда все наши поиски не привели ни к чему, и мы так и не узнали, где и как расстался он с жизнью,— мы с мужем обещали себе написать о нем хоть небольшой очерк. Но работы было по горло, восстановительной, партийной, литературной, и замысел наш все как-то откладывался.

Только накануне 25-й годовщины Словацкого национального восстания, когда дирекция Чехословацкого радио попросила меня участвовать в конкурсе, с болью вспомнилось мне невыполненное обещание, и в память о Блажичке я написала «Размышления о пропавшем без вести». «Размышления» одержали победу в конкурсе.

Рассказ «Размышления о пропавшем без вести» вдохновил композитора Йиржи Новака, и он положил его на музыку, написав кантату. Ее премьера состоялась в честь славных майских дней в Клубе композиторов в зале Яначека [1] 18 апреля 1976 г.

Каков же будет дальнейший путь моих «Размышлений» к людям? Чешская филармония, по случаю 35-й годовщины нашего освобождения Советской Армией, собирается исполнить заключительную часть кантаты Новака на «Размышления» — «Панихиду по пропавшему без вести» — 27 и 28 апреля 1980 года в Доме деятелей искусства.

Этим своим «Размышлениям» о мужественной молодости я желаю счастливого пути и к советским читателям!

Шел тридцать седьмой год бурного двадцатого века. Август. Солнечное утро.

Мы с мужем неторопливо поднимаемся от Синовира в горы. Неровная дорога ведет вдоль речки Теребли. А речка скачет по камням, ударяется о большие глыбы, вспененная, белая, мчится по руслу своему, подобная отаре расшалившихся ягнят. Над нами чуть ли не на две тысячи метров вздымается гора Негровец, высокий лес спускается по ее склонам к самой дороге. Прекрасный край! Все здесь трепещет и бурлит, полное жизни. Все, что растет тут, сочно зеленеет и цветет, словно весна задумала засесть здесь до самой зимы. В дыхании этого уголка земли смешались сотни ароматов. Мы околдованы здешней природой.

Внезапно нас охватывает неприятное ощущение. Чувствуем на спине чей-то взгляд. Оглядываемся. Позади нас — какой-то человек. Останавливаемся мы — останавливается и он, двигаемся дальше — и он за нами. Явно идет следом. С каким намерением? Добрым? Дурным? Что делать? Ведь тут только мы да Теребля, Негровец, лес, красота земная — и ни души.

Стараемся получше разглядеть незнакомца. Совсем мальчик. Лет шестнадцать-семнадцать. Выгоревшая рубашка, сандалии, сумка через плечо. Светлые волосы зачесаны назад. А глаза! Вспыхивают в них голубые огоньки, обжигают нас.

Йозефу Томану надоела безмолвная загадочная игра. Преградив путь незнакомцу, он резко спрашивает:

— Что вам угодно?

Незнакомец подходит ближе. Говорит в свое оправдание: идет, мол, за нами от самого Синовира, вернее, улыбнулся, не за нами, а с нами. Ну и оправдание! Крадется за незнакомыми людьми в безлюдной долине!

— Вы ведь писатель Йозеф Томан? — спрашивает.

— Да,— отвечает муж,— но что вам надо?

— Мы любим вас...— И, покраснев, юноша сбивчиво объясняет. Оказывается, «мы» — это ребята из Рогатца и гимназисты из Стражнице, где учится и он сам.— А зовут меня Владимир Блажичек, конечно, я сразу должен был сказать вам это и вообще все...

От волнения некоторые слова он произносит на моравско-словацком наречии. И с робкой смелостью продолжает:

— А вы куда идете? Все время вверх по течению? Можно мне с вами?

[1] Яначек Леош — чешский композитор (1854—1928).

Мы сказали, что не собираемся уходить далеко.

— Жалко... Мне-то надо в горы. Там у меня встреча с товарищами. Ждут меня. Ну, хоть немножко с вами пройду, если вы не против...

Пошли дальше втроем.

Теперь, когда юноша знает, что времени для разговора с нами осталось мало, он торопливо рассказывает о своем родном городке Рогатце, о молодом Словацко [1]. И по мере его рассказа оно раскрывается перед нами, это молодое Словацко: свет, сияние, песни, танцы, музыка, живопись, стихи... Живет, в общем!

— Живет,— рассказывает Блажичек,— живет бурно, полно, жадно, словно боится куда-то опоздать, что-то упустить. Ведь опоздать — это и мне кажется ужасным...— И тут же он перескакивает на другое: — Слушали мы вашу радиопьесу «Река колдует». Суметь вырваться из мещанского теплого логова — в этом, быть может, все... Идти против течения, стать молодым — и ведь, наверное, не только летами — и писали вы не только о реке Сазаве, правда?

Он кинул взгляд на непоседливую Тереблю, против течения которой мы все время шли.

— Вы правы, я имел в виду не только возраст, молодость,— говорит муж.— И когда писал о колдовской реке, имел в виду и Бероунку, и Скалицу, все реки...

— И нашу Мораву?

— Конечно.

— Морава там, у нас, уже широкая, но все равно бесится и озорничает. О, вот бы вам ее видеть...— Он осекся.

Муж поинтересовался, откуда он узнал, кто мы. Владимир весело на нас глянул:

— А я ночевал в Синовире, как и вы. Еда у меня с собой, и я закусывал во дворе на лавочке, когда вы с хозяином ужинали в доме — я разок промелькнул мимо вас...

Хозяин постоялого двора, которому окладистая борода придавала величественный вид, пригласил нас к семейному столу. Местный обычай? Вероятно. Он сидел во главе стола и отдавал распоряжения трем своим дочерям, которые ужинали с нами и нас обслуживали. Нам это было приятно — вместо казенной гостиницы мы очутились вроде как в гостях у друзей.

— Да, но главного-то мы не достигли,— заметила я.

— Знаю,— подхватил Блажичек.— Я слышал, как вы спрашивали об Иване Ольбрахте. Вы к нему приехали, а он тем временем отправился в Прагу.

— Досадно, что мы его не застали,— сказал муж, а я добавила:

— Теперь по крайней мере любуемся этими местами — краем его «Николы Шугая, разбойника» [2].

— Ну, а дальше было как в любом романе с приключениями,— продолжал Блажичек.— Записываясь в книгу постояльцев, прочитал вашу фамилию и с утра пошел за вами, только все не решался заговорить. Вдруг сочтете это дерзостью... А я очень хотел с вами познакомиться. Вам не повезло — не застали Ольбрахта, зато мне повезло — встретил вас.

— Вы думаете, это малое счастье для автора — узнать, что его труд встретил признание и был правильно понят вами, в вашем молодом Словацко? — возразил муж.— А сами вы кем хотите стать?

— Я уже стал тем, кем хотел быть с малых лет: пишу музыку! — вырвалось у мальчика.

Муж засмеялся.

— Вы надо мной смеетесь? — огорчился Владимир.

— Нет, нет. Просто вспомнилось... Я тоже в гимназии писал стихи. Только я-то тогда не знал, что буду заниматься литературой, а вы вот

[1] Район в Моравии, граничащий со Словакией.

[2] Роман Ивана Ольбрахта.

уже сегодня знаете, что стали — и будете — композитором. Похоже было на то, что мне предстояло сделаться банковским служащим. Да и первая моя работа была в банке.

— Я пока тоже не знаю, где будет мое первое место работы.— Блажичек старался умерить свое нетерпение.— Но музыка поглощает меня целиком... Вы должны обязательно приехать с супругой к нам в Рогатец! Вам у нас понравится, и я...

— И вы сыграете нам что-нибудь свое,— подхватила я.

— Так приедете?! Нет, правда?!

Мы обещали. Вскоре мы простились с ним и долго смотрели ему вслед. Блажичек обернулся только раз и помахал нам рукой.

Мы пробыли вместе с ним один час. Что же такого особенного произошло за этот час? В этот час жизнь поднесла нам щедрый подарок. Мы были одиноки — а с этого часа с нами был сын Моравской Словакии, наш сын — человек такого же пламенного сердца.

Грустно было нам смотреть, как он удаляется, как, наконец, скрылся за поворотом. Горы дали его нам. Горы — да товарищи, с которыми он назначил встречу там где-то, на полонинах,— и взяли его. Но нам надо, надо встретиться с ним снова!..

С того августа мы будем встречаться с ним полных семь лет.

Размышляя об этом сейчас, я спрашиваю себя: да существует ли проблема поколений? О ней так часто говорят. Она заботит людей. Значит, видимо, существует. Но когда молодой человек, так же как и старший его друг, отдает себя служению человечеству, безразлично, в какой области,— тогда вместо проблемы поколений возникает между ними близость, и чувство это достигает столь великой глубины, что даже больно становится.

Это полностью подтвердилось впоследствии.

Надвинулись тяжелые времена, а впереди были еще худшие. Тем сильнее тянуло нас друг к другу. Всякий раз, приезжая в Прагу, Блажичек заходил к нам.

Незадолго до Мюнхенского соглашения он приехал посмотреть нашего «Народного короля», которого поставил в своем театре Э. Ф. Буриан; и пьесу-то эту мы написали по просьбе Буриана, чтобы картинами из чешской истории вдохновить народ на отпор фашизму.

14 марта 1939 года, в тот самый день, когда Гаха [1] с Хвалковским [2] отправились в Берлин, а первые воинские части гитлеровцев уже перешли нашу границу в Остравской области, Блажичек писал нам:

«...Наконец-то, после долгого перерыва, пишу Вам снова, посылаю очередной «плод» нашей работы в гимназии — второй номер нашего ежегодника «Жень» («Жатва»). Делали мы его с той же энергией и энтузиазмом, как и прошлогодний номер, и есть в нем свои недостатки и свои достоинства. Недостаток — в том, что проза, а может быть, и поэзия получились в нем слабее, а достоинство его — изобразительная часть. Впрочем, и тут некоторые вещи, например карандашные наброски Шточки, довольно слабы. По-моему, лучшее в ежегоднике — линогравюра Яна Дрозда «Сентябрь 1938». Она великолепна. Я буду очень рад, если Вы напишете мне все, что думаете о «Жни» и что кажется Вам наиболее удачным, Ваше мнение я передам коллегам...»

Гравюра Яна Дрозда «Сентябрь 1938, или Мюнхен взывает ко всему прогрессивному миру» действительно была великолепна. Это поняло даже гестапо — и молодой художник был брошен в тюрьму.

Дальше Блажичек писал:

«Пронесся слух, что 14 марта будут передавать по радио Вашу пьесу «Титаник», о которой Вы мне рассказывали, но до сих пор в программах радиопередач ничего об этом не сообщается. Не запре-

[1] Тогдашний президент Чехословакии.

[2] Министр иностранных дел в те годы.

тила ли ее цензура? Я бы ничуть не удивился, напротив, тем очевиднее стали бы для меня ее положительные стороны... Хочется поскорей поговорить с Вами, чтобы точнее узнать Ваше мнение о нынешнем положении, главным образом в области культуры...»

Затем, напомнив о нашем обещании, он приглашал нас приехать в его город во время отпуска. Это, мол, еще больше вдохновит его, писал он, желая этой невинной фразой дать нам понять, что посещение Рогатца еще больше вдохновит всех нас для новой борьбы против оккупантов.

И именно потому, что после 15 марта наступили самые тяжкие времена, мы исполнили наше обещание.

Рогатец! У Владимира от радости прямо слезы на глазах. Он повел нас к себе домой, в колонию домиков, выстроенных железнодорожниками. Отец Владимира, с которым мы познакомились и разговорились, тоже был железнодорожником. Мать Владимира встретила нас с распростертыми объятиями, но вскоре ушла в кухню: пекла для нас знаменитые моравские пироги с творогом и маком. Появилась младшая сестра Владимира, Геленка. Сколько раз за долгие годы, перебирая свои вещи, останавливала я взор на ее подарке... Ведь я и сейчас смотрю на него, поглаживаю рукой эту маленькую белую скатерку, на которой белыми нитками вышила Геленка словацкий национальный узор...

Владимир провел нас по своему прекрасному родному краю. Когда мы вышли из городка к реке Мораве, открылось неожиданное зрелище. Насколько хватало глаз, пойма реки стояла под водой, над ее неподвижной гладью выступали только высокие межи, делившие воду на разной формы огромные зеркала. В них отражались тополя и ольхи, там и сям поднимавшиеся прямо из воды, и отражения эти превращали зеркала как бы в картины.

— Вот она какая! — воскликнул Блажичек полусердито, полувосхищенно.— Видали, что творит! Уже и скосила, и убрала за нас!

Подойдя ближе, мы поразились: мутная, бешеная, несла Морава откуда-то с гор воды всех ливней и, не в силах вобрать их в себя, заливала берега.

— Вот она какая! — повторил Блажичек.— Ох и река! Но здесь не ходят вверх по течению — здесь переправляются на тот берег. Этим путем бегут в Словакию.

Мы поняли. Бегут от фашистов — в Словакию, а то и дальше, туда, где безоружный беглец получит оружие и повернет назад, для битвы с фашистами.

— Но,— помолчав в задумчивости, добавил Блажичек,— переправиться через нее не всегда легко. Коварная река.

Вернувшись в городок, Блажичек познакомил нас со своими товарищами, и мы вместе отправились в недальний лесок. Сели на солнышке, разговорились об искусстве, о времени, в котором живем.

Когда мы остались наедине с Владимиром, он рассказал нам о девушке столь высокой души, что ему и не верится, чтоб подобные ей могли существовать на самом деле. Он говорил о Марушке Кудержиковой. Она была для него как бы символом Словацко. Его песней, его душой, гордостью, нежностью — и мятежностью.

— Хотел бы я,— закончил Блажичек,— чтоб девушка, которая когда-нибудь станет моей избранницей, была бы на нее похожа. Не лицом — вы меня понимаете, но иной красотой, той, что куда ценнее...— Он взглянул на лес, окружавший нас со всех сторон.— Какое дерево подойдет для сравнения с ней? Березка, верно? Я люблю березы. Правда, на теле у них черные шрамы,— перебил он сам себя.— Но я люблю их.

А потом он играл нам. Бушевал рояль, буря гремела в комнате, во всем доме. Возможно ли? Он еще и в консерваторию не поступил, а вот уже — зрелое сочинение, страстное, бурное, покоряющее... На-

звал ли его Владимир «Буря», отражала ли музыка сущность его собственной души — теперь уже не могу сказать.

Второй Леош Яначек? Владимир любил его. Боролся за полное его признание. Но не подражал ему. Был самостоятелен. Ясный, певучий, яркий, страстный, бурный и — самостоятельный.

Владимир играл, весь красный, волосы падали ему на лоб, ему не хватало воздуха — затаили дыхание и мы. Мальчик был прав — он уже тогда был композитор.

Тем же летом, в августе, он прислал мне, в память о нашем первом посещении Рогатца, свою музыку на слова стихотворения Яна Неруды «Когда в веселии гляжу...». Богатый, сочный аккомпанемент!

В письме он добавлял, что эта песня войдет в его цикл «Приятные минутки». У него уже есть три вещицы для фортепиано. Одновременно он пишет музыку к нашему «Народному королю».

Время было злое. Однако и в нем была своя красота: люди не согнулись под бременем свастики. У фашистов — оружие, застенки, казни, но подлинная, необоримая сила — в народе.

Сентябрь. Начало учебного года — и гимназисты Стражнице бесстрашно готовят третий номер своей «Жни». Блажичек — он уже в восьмом, последнем классе — заверяет нас, что этот номер выйдет оригинальным и исполненным боевого духа.

Так молодое Словацко отвечало на фашистский гнет.

Лихорадочное возбуждение, энтузиазм Блажичка не проходят — они становятся его постоянным состоянием. Он безмерно любит нас. Безмерно любит литературу. Перечитал почти все романы мужа и наши пьесы. С восхищением говорил, что высокое достоинство наших произведений — их поэтичность, что в сущности все они — стихи в прозе.

Близились выпускные экзамены, и Владимир писал мужу:

«Маэстро, не знаю, вправе ли я обратиться к Вам с просьбой... Просьба вот какая: не могли бы Вы при случае прислать мне важнейшие данные о Вашей жизни? Дело в том, что на экзаменах по чешской литературе я собираюсь анализировать Вашего «Народного короля» или что-нибудь другое. Надеюсь, мне утвердят эту тему...»

Позже, уже весной, он писал нам:

«Недавно послал Вам письмо, благодарил за присланные данные и рассказывал о различных событиях. Но самое замечательное впереди: через несколько дней выйдет третий номер «Жни». Вы не представляете, как она нам дорога,— теперь это наша самая реальная работа. И я очень буду рад получить Ваше суждение — не только я, но и все мои коллеги. Мы гордимся тем, что можем сделать что-то дельное (и мы верим — для родины) и что наша работа подвергается строгой оценке художника... У меня было много дел. Я написал несколько статей о национальном духе творений Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака; эти статьи думаю представить экзаменационной комиссии в качестве специальных самостоятельных исследований. Написал еще небольшую статью для «Жни», в которой хотел подробно изложить свою теорию искусства, но редакция из-за отсутствия места многое выкинула, так что теория-то получилась куцей. Свое сотрудничество в «Жни» я начал со Сметаны и им же кончу. Но это будет еще не последним моим поклоном великому маэстро. Вы не представляете, каким священным становится для меня Сметана...»

Шел сорок первый год бурного двадцатого века. Осень.

Блажичек утверждал, что был бы горд, если б мог лучше постичь творческий метод моего мужа. Он и сам не сознавал, в какой мере письма его обнаруживали его духовное развитие. Ритм этого быстрого развития юноши вдруг резко ускорился. Он пишет нам: не надо

опасаться, что он сможет молчать теперь. И он не молчал! С новыми силами взялся он за работу. Просто удивительно, как он все успевал. Закончил гимназию, сдал на аттестат зрелости, при этом сочинял музыку, читал, писал статьи, стихи, следил за обостряющейся ситуацией — и все более явно восставал против нее. Не опоздать, не упустить! В нем крепко сидело то, что он высказал еще тогда, на дороге от Синовира в горы. Не упустить! Чего не упустить? Отдать свой дар земле чешской? Протестующая молодежь Словацко набирает силы, сплачивается. И среди них — Блажичек. Он еще не знает, куда заведет его то «самое жгучее желание», о котором он пишет. Мысленно он все ближе и ближе к предстоящим действиям — а пока поступает в консерваторию. К нашему сожалению, не в Праге, а в Брно.

Из Брно он пишет нам:

«Большое спасибо за «Виноградник», за чудесные минуты, проведенные за его чтением. То были минуты тихого лиризма и новых надежд моих.

Достоинство Вашей пьесы — в том, что нет в ней того патриотического пафоса, которым украшаются пьесы подобного рода. У вас — спокойный апофеоз чешского человека, каким я его себе и представляю. Ваши персонажи захватывают жизненностью и образностью. Быть может, потому, что в них присутствует частица нашей национальной индивидуальности и еще того, что растет в нас, создавая национальное сознание. Нынешнее время требует как можно меньше патетики и двусмысленных патриотических поз — зато тем настоятельнее требует оно неустанного труда и веры, такой, как у Вашего героя Трчки.

Вы совершенно правы: множество дел не может заставить меня забросить музыку. Я написал Народную пасторальную мессу, цикл песен для «Темной девушки», целый ряд небольших вещей для фортепиано и первый танец для цикла «Словацких плясок». И теперь у меня все больше и больше рождается замыслов, так что не опасайтесь — я не буду молчать теперь».

Мы радовались, как хорошо понимает молодежь, о чем и почему, пусть иносказательно, говорит «Виноградник». Блажичек был прав. Время тогда требовало как можно меньше патетики, зато как можно больше неустанного труда и веры. И Блажичек трудился неустанно и верил. Однако на премьеру приехать ему не довелось, хоть он и готовился: премьеры не было. Цензура оккупантов запретила представление пьесы «Виноградник» на всей территории Чехии и Моравии. В Моравии любители из Тржештя все-таки играли эту пьесу, но как мог знать об этом Блажичек, когда и мы-то этого не знали?

А что же Блажичек? Он работал, работал, и словечком не упомянув над чем,— и только когда сочинение его уже было исполнено, он написал об этом нам, извиняясь, вернее, оправдываясь. Он-де ждал, как получится, и только после этого решился признаться нам, что он не просто восхищается нашими литературными трудами, но — уже во второй раз — пишет к ним музыку. Сначала он написал ее для «Народного короля», теперь — на фрагмент из «Осиного гнезда» Йозефа Томана.

«Концерт состоялся и имел успех. Помимо других вещей я включил в него музыку на чудесный лирический отрывок «Очарование вечера» из Вашего «Осиного гнезда» и, конечно, обязан был просить на это Вашего разрешения. Маэстро, если Вы недовольны, отчитайте меня задним числом. Я как-то даже не осознал, что не просил Вашего разрешения, и теперь сержусь на себя. Но эта музыка имела успех!

А теперь — о Брно. О невозможном, сером, неуютном. И здесь я заканчивал вещь, которую набросал еще дома. Это довольно большое сочинение «Милости», на тексты словацкой народной поэзии для сопрано в сопровождении оркестра. Это первая моя работа в консерватории, когда я не смотрел на школьные правила и строгую стили-

зацию, дал волю фантазии и раскованности. Впрочем, композиция уже отмечена приобретенной мною школьной техникой — если таковая у меня есть».

Владимир Блажичек живет искусством, живет для искусства. Потому, что иначе не умеет.

В нетерпении и ненасытности своей он и мужа моего подстегивает:

«Есть у меня просьба и к Вам: трудитесь, трудитесь! Нет, я не сомневаюсь в Вас и в интенсивности Вашей работы, я говорю так из чистого эгоизма: дождаться не могу Вашего нового романа...»

Он имел в виду «Дон Жуана», над которым тогда работал муж.

А нацисты чуют: наперекор лозунгам, выдвигаемым некоторыми устрашенными, вроде «Выжить! Сидеть спокойно!» — чешский народ не успокаивается. Он вооружается духовно, а теперь взялся уже и за другое оружие: люди начинают объединяться с совершенно определенной целью, тайно включаются в движение Сопротивления. Из следующего письма Блажичка видно, что он об этом знает. До сих пор письма его были смелыми, он словно недооценивал опасность, которая могла грозить и ему, и нам,— а тут вдруг в письмах его появилась осторожность — пока, правда, еще не очень осторожная:

«Берусь за перо в самый неподходящий момент, когда задумываюсь об участи многих людей. Теперь, когда я закончил еще один курс консерватории, считаю нужным сообщить Вам кое-что. Второй курс я закончил очень хорошо, учился с радостью. Много писал. Мой ноктюрн для гобоя и фортепиано исполнялся на публике и, могу сказать, имел успех. Тут я убедился, как важно для композитора слышать исполнение своей вещи. Это многому его учит. В конце мая я приезжал в Прагу, заходил в Общество художников «Манес», но Вас не застал. Я догадался, что причина серьезная,— мне сказали, что Вы «лечитесь» в Тржебани, и я не стал Вас разыскивать. Хотя очень хотел Вас видеть — меня страшно интересует Ваш испанский роман. Угадываю великую важность Вашей работы, особенно теперь, когда современный роман строится больше на чистой виртуозности слова и на внешнем эффекте. Мы в Брно много спорим об искусстве, и именно тут я чувствую, как недостает нам Томана, ибо, несмотря на все наши усилия, мы понимаем, как мало еще постигли самые глубинные истины и корни искусства. Быть может, жизнь приведет нас и к этому.

Мне так необходимо поговорить с Вами. Ваш художественный дар в сочетании с твердой идеологической программой всегда служил мне верным ориентиром, и сил уже набралось, чтоб следовать в правильном направлении...»

Двадцать лет — а человек в глубоком душевном кризисе, в великом смятении мыслей. Он не находил девушку, которая была бы достойна его великой любви, а иначе любить он не умеет. Не находит похожей на Марушку Кудержикову, а та, которую он нашел, его обманула. Чувства его ранены. Боль пронизывает Блажичка до глубины всего его существа: он не может больше творить. Случившееся с ним он сам называет трагедией. Он еще не знает, что для счастья любить ему отведен только этот малый отрезок времени, только этот, и никакой больше.

Но он вырвался из оцепенения. Начал размышлять о себе, о стране, в которой живет. Рядом с великой кровавой трагедией, постигшей его народ, личная его трагедия видится малой. Он погрустнел, посерьезнел, и это отразилось на его творчестве. Оно приобрело глубину.

До сих пор Блажичек высоко ценил поэзию, в том числе поэзию в прозе. Она восхищала его. Лишь слегка, преклоняясь перед литературой, он касался миссии художника — и вдруг понял. Понял, что становой хребет поэзии, красота поэзии — идея. Потому-то и написал: «Ваш художественный дар в сочетании с твердой идеологической программой всегда служил мне верным ориентиром».

Преодолев депрессию, Владимир стал мудрее — но не мудростью успокоения. Он распрямился. Чувства, разбереженные горем, снова вспыхнули для искусства — и сильнее прежнего. Этот мучительный период имел большое значение для его творчества. Любовь угасла — и, словно прощаясь с нею, пишет он два ноктюрна для гобоя и фортепиано. Ноктюрны удачны — один из них исполняют в концерте в Брно. Вместо самого Блажичка отплакал гобой, снимая боль с его сердца.

Пролетело по небу его юности ненастье — и следа от него не осталось, кроме того, что запечатлелся в нотах.

«Только теперь, живя в этом чужом Брно, понял я, какие корни связывают меня с родным краем... Страстно хочу восславить этот край, это желание подхлестывает меня, заставляя упорно работать. Надеюсь, летом мы встретимся в Рогатце — и я нарочно отведу Вас на пшеничное поле, посреди которого растет бесплодное, одинокое деревце, и Вы поймете все его очарование, поймете всю гордость Словацко...»

Он начинал яснее видеть окружающее. Прозревал.

Брно, как и другие крупные города Чехии, переполнено нацистами, гестаповцами, немецкими солдатами, доносчиками и какими-то пришельцами, о которых никто не знает, что это за люди. Движение Сопротивления в городах принимало по необходимости более скрытые и осторожные формы, чем в деревне. Затемнение, реальное и духовное, слепило. В деревне, где все знают друг друга, легче было отличить этих «черных овец», легче было работать.

А время не знает передышки. Идет уже сорок второй год. Убит Гейдрих. Фашисты не действуют очертя голову: их злодеяния имеют свою ледяную логику. Свою систему. И первое место в ней занимает молодежь.

Закрыты высшие учебные заведения. То же ожидает и консерватории. Накануне закрытия Брненской консерватории студентов ее отправляют на принудительные работы. В их числе — Блажичек. Они будут работать на военном заводе, который скрыт под землей. Блажичек же думает о другой «подземной» работе, но более нужной, чем та, на которую фашисты согнали студентов из всех порабощенных стран.

С каким особенным настроением писал он свое прощальное письмо!

«Полагаю, это письмо будет моим «Прощай — и платочек»[1]. В пятницу иду на комиссию и вероятнее всего на следующей неделе отправлюсь получать новый жизненный опыт и новые импульсы для творческой работы. Я не сокрушен. Даже удивительно: все мои родные ходят с покрасневшими глазами, а я, безумный, весь переполнен любовью, сегодня послал ей первое сумасбродное, полное самоотречения письмо. Одно печально — буду далеко от нее. Хотел, чтобы между нами все было ясно, напряжение дошло до предела, и перелом приближается. Может, и исчезнет эта любовь вместе со мной где-нибудь в Бенгази или в Рейнской области, но не по моей вине... Уже десятки моих коллег по консерватории увезены, не помогли никакие заступничества. А ведь среди них были даже выпускники... Что же им-то было говорить, когда они были куда ближе к цели, чем я! А пока сердечный привет Вам, жадно жду от Вас несколько строчек на дорожку. Они будут — как это уже не раз бывало — частицей моего жизненного кредо. Ваш Владимир».

Юноша из Словацко похож на безумца Дон Кихота, он пускается в путь с любовью в сердце. Он кажется еще большим фантазером, чем Дон Кихот, однако биться он идет отнюдь не с ветряными мельницами. У Блажичка нет ни меча, ни шлема — он укладывает в заплечный мешок свиток нотной бумаги. Зато рядом с ним — не брюхан Санчо

[1] Заглавие поэмы Витезслава Незвала.

Панса, на его стороне — миллионы. Вопрос только в одном: кто и когда будет с ним рядом.

Влюбленный, приезжает он в Страсбург. Какое-то время работает там под землей, потом с другими студентами его посылают поближе к Восточному фронту. Для нацистов это значит — ближе к неприятелю, для Блажичка — ближе к друзьям.

Однажды пришел к нам по почте непривычный конверт. Поначалу мы испугались: три марки с портретами Гитлера, под каждой надпись «Deutsches Reich», в углу — «mit Luftpost» и обратный адрес: «V.B.F.O. Lager III. 5/10 Wienerneudorf»[1].

А само письмо обрадовало:

«Пишу наскоро, в последнюю минуту: мою вещь будут играть в Праге, «Сюиту с вариациями для фортепиано». Мне об этом сообщили поздно и прислали билеты. Надеюсь, Вам мое сочинение будет интересным, поэтому посылаю Вам несколько билетов. Сам я приехать не смогу, и Ваш отзыв очень меня порадовал бы. Простите спешку, ухожу, невыспавшийся, в ночную смену. Помню о Вас и посылаю привет. Ваш Блажичек».

Мы пошли на концерт, устроенный Обществом современной музыки в музее Сметаны 12 октября 1943 года. В программе были неизданные сочинения членов Общества, и среди произведений других молодых композиторов — «Вариации для фортепиано» Блажичка.

Смелая музыка понравилась, понравилась она и нам, но без Владимира нам было все-таки грустно.

Потом Блажичка перевели еще ближе к фронту: военный завод переместили в Словакию. Это было уже в 1944 году.

Блажичек добился разрешения повидаться с родителями. Приехал в Рогатец, обнялся с ними — но была у него еще одна цель. Он должен был — так было договорено между ними заранее — встретиться здесь с Яном Дроздом, который нелегально жил в этих краях.

И он с ним встретился... Ян Дрозд, оставив одежду на берегу Моравы, вошел в воду. А через пять дней его труп выплыл у Рогатца. Для Блажичка не могло быть большего потрясения, чем эта ужасная встреча. Он простился с домашними. Матери сказал: «Не пугайтесь, если я долго не буду писать».

В Стражнице, над открытой могилой друга, он еще произнес прощальное слово. И, отослав обратно в Рогатец черный костюм, появился в Праге.

Он не хотел идти к нам домой или в клуб «Манес». Позвонил мужу, предложил встретиться с ним где-нибудь на улице, лучше всего перед музеем Сметаны — перед тем местом, где впервые в Праге прозвучала его музыка. Муж был занят в тот вечер, и на свидание с Владимиром пошла я одна.

Он уже ждал. Я его не узнала. Похудел, побледнел, стал серьезней. Вероятно, изменилась и я. Беснования фашистов после убийства Гейдриха унесли моих родных и кое-кого из близких друзей. Блажичек тоже не сразу меня узнал. Но даже когда мы подошли друг к другу и подали руки, он все равно не сказал, зачем приехал, не сказал, что случилось с Яном Дроздом, не открыл, зачем ему нужно было нас видеть.

Мы пошли в маленький театрик на Карловой улице. Не помню, что там играли, кто играл,— помню только, как у меня все время падали с колен перчатки, сумочка, платок и как он все это терпеливо поднимал, а они снова падали...

Такой странный был гнетущий вечер. Мы обменивались шепотом одним-другим словечком, а мне казалось, это не шепот, это крик, отдающийся в зале. На сцене актеры смеялись, пели, танцевали, жестикулировали, о чем-то спорили, что-то доказывали...

---

[1] «Германская империя», «авиа», «Лагерь III. 5/10 Винернейдорф».

А я думала, что впервые Владимир не захотел встретиться с нами ни дома, ни в «Манесе». Не хотел, видно, подвести ни нас, ни себя. Но ведь он хорошо знал нас. Такая осторожность была обычной в те времена, и все же я страшно беспокоилась. Угадывала — у него какая-то серьезная причина.

Мы ушли в антракте. Он не стал меня провожать: спешил на поезд.

Перебираю сегодня нашу переписку, ищу его следующее письмо. И не могу найти. И память не помогает.

Шел увенчанный славой сорок пятый год. Май.

Кровь красноармейцев обагрила всю нашу страну, уже пролилась она и на пражские мостовые. Прошло пятое мая, девятое мая. С плеч миллионов людей снят тяжкий крест свастики. Конец неисчислимого страдания был началом неисчислимой радости.

Люди встречались снова... Блажичек не возвращался. Бывало — некоторые не могли сразу вернуться с фронта, из госпиталя, из концлагерей. Но он не возвращается что-то слишком уж долго. Однако родители его не получали извещения о его гибели. Значит, он жив.

Почему не пишет? Правда, сказал при расставании: «Не пугайтесь, если я долго не буду писать». Но что-то уж очень долго. Мать верит — отзовется, вернется. Она знает — сердце его вросло в родную почву. Он должен вернуться.

Прошел месяц, два, три после конца войны... А от него нет вестей.

Отец действует. Разыскивает сына. Расспрашивает всех, кто мог бы о нем знать. Исходил пешком сотни километров. Напрасно. Он просит, чтобы мы навели справки через комиссию по репатриации, и, чтоб облегчить наши поиски, написал, что удалось узнать ему самому.

Еще в Страсбурге согнанные на военный завод студенты создали вместе с Блажичком подпольную группу. По мере того как Восточный фронт продвигался все дальше и дальше в глубь оккупированной советской территории, нацисты переводили военные заводы все ближе к фронту. Значительную часть военного завода в Винернейдорфе передислоцировали в Словакию, в Дубницу над Вагом, в район наибольшей концентрации партизан. Вместе с двумя товарищами был отправлен в Дубницу и Блажичек.

Близилось Словацкое национальное восстание, и Владимир не хотел упустить момент. Упустить момент — это казалось ему ужасным. А теперь тем более. Он не упустит! За два дня до восстания в Банска-Бистрице он бежит с завода и уходит в горы. Дошел. Стал партизаном.

Из Батёван написал родителям. Еще известно, что он послал письмо в Скалицу (Словакия) — одному французу, с которым работал в Германии в подпольной организации. Письмо, написанное по-французски, скорее всего было отослано из Турчанского Святого Мартина. Но адресат, французский партизан, был к тому времени уже мертв — письмо затерялось, и никто не знает, что в нем было написано.

Перед рождеством 1944 года он в последний раз посылает весточку родителям. Странная посылка. На ней не значится, откуда отправлена, нет и даты. В те времена почтовая и железнодорожная связь часто нарушалась. Кто знает, сколько времени блуждала посылка. В ней — его рукопись романа «Перед воротами Даго». Он начал его в Винернейдорфе. Рукопись не окончена. Некогда было партизану писать книгу — он вписывал свои немногие строки в историю второй мировой войны, и они были завершены. Нам он о своем романе не говорил. Это так характерно для него: сначала сделает, а потом скажет. Не сказал, что написал музыку на текст моего мужа, пока ее не исполнили в концерте, не сказал, что работает в подполье — на принудительных работах и с ребятами из Стражнице,— не сказал, что прощается с нами у музея Сметаны перед уходом к партизанам, не сказал... Что он еще не сказал?

Остались после него следы — только следы. Студент философского факультета Гейл из Кнежевиска рассказывает: «Партизанское командование послало Владимира в Бановцы на Бебраве. Меня послали в другое место, и больше я его не видел».

Мощным было Словацкое национальное восстание. С Банска-Бистрицей поднялась вся Центральная Словакия. Семьдесят две тысячи словацких солдат и партизан бились с немецкими оккупантами, освобождая деревню за деревней, город за городом. У них были винтовки, пулеметы, автоматы, орудия, минометы, танки и четыре бронепоезда, а пополнение оружием и поддержку авиацией они получали из СССР. Фашисты не в состоянии были подавить восстание наличными силами. Стянули войска СС: дивизию СС «Хорст Вессель», часть танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» из Венгрии, бригаду СС «Дирлевангер» из Польши, перебросили в Словакию горную артиллерию и пехоту. Послали в бой части полиции и СД. 17 октября начали генеральное наступление против восставшего края. Визжали и рвались в горах снаряды.

Куда же ведут следы Блажичка? Пал ли он там где-нибудь под этим страшным натиском? Где? Когда? Под Банска-Бистрицей? В Малой Магуре, в Большой Фатре, в Низких Татрах, в Словацком Рудогорье, у Вигорлата? Другой его товарищ и соратник, студент Высшей Политехнической школы в Париже, Омелка, погиб на Дукельском перевале. Был ли Блажичек с ним? Тоже остался под Дуклой?

Третий его товарищ и соратник, медик Гулка, был взят фашистами в плен и убит выстрелом в затылок. Постигла ли такая же судьба и Блажичка? Никто не может сказать «нет», но не может сказать и «да».

Еще один след отыскался: на заводе в Винернейдорфе и в Дубнице Блажичек общался с французами, был у них переводчиком. Эти французы тоже почти все бежали с завода и ушли к партизанам. Бригада, в которой они воевали, пробилась из Словакии в Венгрию и соединилась с Красной Армией. Шел ли Блажичек с ними? Еще учеником Стражницкой гимназии он рассуждал со своими однокашниками о необходимости революционного переворота у нас. Его мечтой была первая страна социализма. Разве не мог он воспользоваться случаем, чтобы пробиться к Красной Армии вместе с французами?

И еще след. Накануне падения Банска-Бистрицы некоторые партизанские отряды переходили через Белые Карпаты в Моравию и Чехию, чтобы усилить и расширить партизанское движение здесь. Кто может сказать, не был ли в этих отрядах Блажичек и под какой нелегальной кличкой действовал? Что пишется в военных сводках о рядовых солдатах?

Следы расходятся. И неизвестно, который из них правильный, который ведет к могиле героя. Ни один пока не привел к ней. Со дня Победы и до сего дня. Владимир Блажичек, молодой композитор, поэт и прозаик, пропал без вести.

И все же известно последнее место его пребывания: горы. Цветут над его могилой целебные травы. Но какие горы? Все! Все горы, где сражались партизаны. Дукла, Татры, Визовские горы, Брды... Какое ни вспомнили бы мы место боев — всюду мы видим там и его, сына Моравской Словакии, нашего сына...

Пропал без вести? Нет, сын! Не пропал ты без вести, как не пропали без вести все те, кто вошел в историю чешского и словацкого народа. Там — первое твое рабочее место.

Когда-то, горько обманутый любовью, он писал нам: «...я нарочно отведу Вас на пшеничное поле, посреди которого растет бесплодное, одинокое деревце, и Вы поймете все его очарование, поймете всю гордость Словацко...»

Очаровательное, гордое деревце среди южноморавских нив — да. Но бесплодное? Нет! Плод твоей жизни — это жизнь многих. Ты —

даритель. И разве одинокое? Ах, мальчик, мог ли ты тогда знать, что когда-нибудь поднимешься в горы и на какую поднимешься высоту? Со всех сторон земли нашей видно тебя. Целых тридцать лет верила твоя мать, что ты вернешься. Она права. Ты — дома. Какое же тут одиночество? Ты — любим. Жарко и преданно любим, как любимы все те, кто умеет дарить людям самого себя.

Перевод с чешского Н. АРОСЕВОЙ

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ

Праздник под землей

Мы подошли ко входу в пещеру, названную Подземельем,— в ней нам больше нет приюта, коль скоро вокруг нее проложен след. Наши фигуры чернеют на снегу; чтобы ноги не отмерзли совсем, мы притоптываем и гадаем, где бы спрятаться. Оставаться вместе нам нельзя, о том и разговора нет: поставив все на одну карту, мы проиграем, а разбредясь в разные стороны, еще имеем шанс кого-нибудь сохранить в живых, чтобы он рассказал потом, как нам тут приходилось. Снег идет, клонятся под ним отяжелевшие ветви. Надо бы поскорее разойтись, пока он идет и скрывает наши следы — не видно будет, кто куда направился. Как надумает кто, где ему прибежище найти, так и уходит. Никто не сообщает куда, Качак не велит нам адреса открывать, и не без основания: доведись кому-нибудь из нас попробовать застенков и шипов под ногти, по крайней мере не будет подозрения, что кто-то тебя выдал. Все разошлись маленькими группками — по двое, по трое, мы вчетвером остались, как волки, на утрамбованной прогалине в снегу. И еще хорошо, если бы как волки, по крайней мере знали бы, куда податься. А так, например, Илич понятия не имеет, куда деться. Горожанин, сын чиновника-переселенца с восемью детьми; отец отрекся от него через газету «Голос черногорца», итальянцы издают ее в Цетинье, впрочем, мачеха еще раньше выставила его из дому, чтобы меньше было едоков за столом. Не знает и Тадишич, где голову приклонить, хотя от него родные и не отрекались,— его семейство со всем скотом и скарбом насильственно переселили в долину ближе к городу, где оно находится под постоянным надзором, а в опустевший

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ (род. в 1914 г.).

Югославский писатель, член Сербской академии наук и искусств. С 1941 г. участвовал в народно-освободительной борьбе в Черногории; попав в руки гестапо, был приговорен к смертной казни. Бежал из концлагеря в Салониках к греческим партизанам. Создал цикл романов о народно-освободительной борьбе против фашизма, из которых на русский язык переведены «Свадьба», «Лелейская гора», «Облава».

Рассказ «Праздник под землей» («Под земљом сватови») взят из книги «Первый снег» («Први снијег», Београд, Нолит, 1977); войдет в сборник М. Лалича «Избранное» (серия «Мастера современной прозы»), готовящийся к печати в издательстве «Прогресс».

дом у горы то и дело наведывается патруль — посмотреть, нельзя ли оттуда еще что-нибудь унести. Качак обзавелся землянкой, но, чтобы до нее добраться, надо перевалить отроги Беласицы, и это после снежных заносов, когда утопаешь по горло,— до нее на крыльях не дотянешь, а уж куда ему на его отмороженных ногах с посиневшими пальцами. У меня на примете есть для себя пещерка, но уж больно мелка — для двоих и то места не хватит, а я к людям привык, не могу и двух часов в одиночестве выдержать. И кроме всего прочего, совесть не позволяет мне бросить друзей, уж лучше вместе пропадать, чем выкручиваться одному. Качак сочувственно спрашивает меня, будто он сам в лучшем положении:

— Что ж это, Джоле, и тебе деться некуда?

— Некуда,— отвечаю я,— ничего я себе не припас.

— Уж будто родни у тебя нет?

— Полно и теток, и дядьев, и двоюродных братьев повсюду, да только все они в черных списках да под слежкой, так что и дверь-то отворить побоятся. А кое-кто и на ту сторону перешел.

— Теми, которые на ту сторону перешли, тоже бросаться не надо,— сказал Качак и добавил: — Уж больно мы зазнались, оторвались от народа.

— Это точно, как ни верти — кругом мы виноваты.

— Так оно и есть. От одних отшатнулись, других облаяли, с третьими расплевались. А ну-ка пораскинь мозгами — не позабыл ли ты кого из этой твоей родни!.. Нет ли у тебя близких на стороне, с кем ты еще разругаться не успел?

И угадал: двое моих дальних дядьев по отцовской линии, Велё и Вукан Джолевичи, переселились на турецкие наделы, когда наши якобы в отместку за гибель славного Бошка Бошковича спалили мусульманские села и потеснили турок к Белому Полю. Отец мой оказал им тогда какую-то услугу, они не знали, как за нее расплатиться, и старались поддерживать с нами теплые родственные отношения. До войны я каждую осень гостил у них, они насчет меня разные планы строили, подыскивали мне невесту с приданым, хотели женить и в их края переселить, да ничего из этого не вышло...

— Есть,— сказал я,— дядья у меня в Белом Поле есть. С тех пор как война началась, я с ними ни разу не виделся, а значит, и не ругался — примут они нас. Идти до них далеко, но, если двинуться не мешкая, к рассвету доберемся.

— А чего нам мешкать! Дожидаться тут нечего.

И добрались. Тетка Вукосава на мой голос сразу отворила дверь, впустила, оглядела нас и с этаким удивлением спрашивает:

— А где же ваши кони, Джоле?

— Какие еще кони, тетка Вука, что ты в нас такого кавалерийского нашла?

— Да смотрю, сапоги у вас со шпорами,— говорит она и допытывается: — Для чего же вам эти шпоры, если коней у вас нет?

Оглядели мы свои ноги: и правда, лед на них до колен налип, и точно, кажется, будто на нас сапоги, а на пятках ледовые наросты так и блестят, словно шпоры, и при каждом шаге звон издают. Прошло совсем немного времени, и все наши кавалерийские доспехи растопились и разлились лужицами. А тут и мой дядька Велё объявился, добродушная громадина в тулупе. Видно, он где-то сладко выспался на сеновале и принес солому в волосах и на тулупе. Усы у него от неожиданности ощетинились, посмеивается дядька, чтобы показать свое расположение, хотя для радости нет у него, понятно, никаких оснований. Качак, во всем любивший ясность, спрашивает его:

— Можем ли мы вчетвером пересидеть здесь у вас денек-другой?

— Можете. Мы гостей не прогоняем, когда они к нам являются.

— А можно ли сделать так, чтобы это было незаметно? Чтобы не знали на селе, что мы тут, потому что мы...

— Знаю, кто вы,— отвечает Велё.— Иначе как незаметно и нельзя, ведь все наше село в четники записалось. И я тоже, а брат мой у них взводный. Сам понимаешь, что будет, если разнесется по селу слух, кто в моем доме находится!.. Только нам это не страшно: есть у меня хлев, овцы внизу, сено наверху, просторно, можно для четверых место высвободить, а хлеб и воду будем вам подавать. Так что можете сидеть сколько угодно, но, если кто пронюхает, драпайте, да куда подальше, а уж мне предоставьте отговариваться тем, что я про вас знать ничего не знал,— сами, мол, видать, в сено залезли и в нем залегли, вломились непрошеными, а я сослепу никого не видел, и овцы мне ничего не доложили.

Мы пересидели в хлеву день, отоспались в сене, потом играли в «черное-белое» и в «перевертыши» со скуки. Под вечер хозяин притащил нам ужин в котелке, заговорил, стараясь выведать у нас, на что же мы все-таки надеемся. Он поразился, когда Качак сказал ему, что мы верим в победу, да вдобавок еще и доказательства привел. А день или два спустя Велё привел к нам своего брата Вукана, четнического взводного. Выяснилось, что Вукан с противной стороны, а именно от своих начальников и офицеров, слышал гораздо больше, чем было известно нам: что в Бихаче [1] состоялся какой-то партизанский съезд и на нем было образовано правительство и объявлена независимая республика.

— Они верят в победу,— сказал Велё.

— Ничего удивительного,— заметил Вукан.— Всякое может быть, и такой оборот не исключен.

— Как это не исключен?.. Ты что же, не видишь, до какого состояния они дошли?..

— Да уж, если выиграют они войну, пусть четникам спасибо скажут!

— Это нам-то? — изумился Велё.— Да ведь мы поневоле голову свою спасаем.

— Не про нас я, а про пакостников тех говорю. Орут, врываются в дома, отнимают силком, напиваются да объедаются так, что срамота одна смотреть. Эти себе сочувствующих не заполучат, они сами свои села в партизанские обращают. Велят мне в темную всех сомнительных сажать, а когда я говорю, что сомнительных у нас нет, они в это не верят. Да и как в это верить после того, что они вытворяют.

И еще раз он нас посетил: прослышал про Сталинград, пришел узнать, выстоит ли? По его вопросам поняли мы, что кто-то дает ему информацию, которая и раздирает его надвое.

— Крестьянин, он всегда двоедушный,— проговорил Тадишич после его ухода.

— Нам как раз та половина подходит, которая на нас смотрит,— заметил Илич,— только бы и она от нас не отвернулась.

Но тут от нас отвернулась погода — подул южный ветер и принес дожди. Туманы разъели снега, ручьи с прогретых склонов смыли последние его остатки. За одну ночь очистились до самых гребней горы и, нежась на солнце, истекали потоками, а над ними на вершинах редкими заплатами еще лежали белые глыбы, уменьшаясь с каждым часом. Ручьи пробились там, где их никогда не бывало, клокочут, ревут, слишком много обещаний дает до срока подкравшаяся весна. Илич с Тадишичем намереваются пробираться к Мораче, узнать, как там обстоят дела у наших. И мы с Качаком поднялись, решили через Беласицу перевалить. Огорчился Велё, что мы его покидаем, уговаривает нас, стараясь Качака удержать:

[1] Бихач — город в Югославии, где 26—27 ноября 1942 г. состоялась I сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии.

— Ты человек слабого здоровья, тебе поберечься надо. То, что природой и судьбой не дано, нахрапом не возьмешь. С твоим снаряжением да с этакими больными ногами не советовал бы я тебе на Беласицу лезть... Погода переменчивая, а ну как снова снег повалит; не знаю, что тебе не терпится — не можешь перезимовать, где я век провековал! Не найдете вы места надежнее, чем у меня!

— Знаю, что надежно у тебя,— подтвердил Качак,— в этом я мог убедиться, но раз надо, значит, надо...

— Увидеть бы мне того, кто тебя посылает, я бы ему кое-что растолковал.

— Не так уж до него и далеко — вот он сам перед твоими глазами, поскольку это я и есть! Сам я себя посылаю, да и все наши вообще: война, тут отлеживаться некогда!.. У тех грузовики, самолеты, телефон, телеграф, шифры, всякая всячина, а у нас только и есть что свои собственные ноги, так если еще и им потакать — на что ж мы тогда будем годны?.. Надо действовать со всеми наравне, чтобы потом нам упрека не бросили, а быть наравне не так-то легко, когда немощи тебя одолевают!.. Главное, нам узнать надо, что там с нашими, все ли целы...

— Не все,— проговорил Велё,— пусть это для тебя не будет неожиданностью.

— Где это было?

— В низовьях Тары, говорят. Про то много слухов ходило, да я вам не передавал; зачем зря огорчать, когда от этого толку никакого нет.

— Известно тебе, кто погиб?

— Это мне неизвестно, а вот если вам будет невмоготу — знаете, где меня искать, приходите!

Пока мы поднимались по круче, северный ветер набрал силы — сотрясает тополя и березы, слизывает лужи. Долина вослед нам рыдает, воет и всхлипывает, словно Лим разлился от горы до горы. Долго сопровождает нас рев воды, накатываясь волной и обгоняя, а тропа наша, истончаясь, теряется в вышине. По гребням, словно по мосткам, мы перебираемся с одного отрога на другой, потом на третий и, спустившись через перевал, из царства Лима попадаем в долину вспененной Тары. По ту сторону ее, на дне глубокого провала, проклюнулся несколькими светящимися огоньками Мойковац. Прокрались мы пустырем между городком и рекой, проползли по мосту, поражаясь, что на нем не оказалось часовых. На Гротуле Качак шепчет:

— Вроде бы притаился там кто-то.

— Померещилось тебе. Кому там быть, когда на мосту и то часовые не поставлены?

— Мне и подумалось, не наши ли — устали и присели отдохнуть?..

— Наши выбрали бы себе поукромней местечко.

К селу мы пробрались, по счастью, незамеченными ни стражей, ни собаками. Подошли к дому Бранко Джировича спросить Марию, не знает ли она, где наши, но меня шепотом остановил Качак:

— Странно!.. Чудится мне, вроде поет кто.

— Мне тоже давно это кажется — наверно, вода шумит.

— И не поет, а словно бы заупокойную тянет, уже не погиб ли кто из них?

Я оборвал его:

— Не каркай раньше времени!

— Помолчи, послушай, может, меня слух обманул.

Он взобрался на каменный выступ фундамента под окном. С Сенокосов, придавленных облаками, прорвался собачий лай, ему отклик-

нулся голос пастуха. Потом все замерло, и тишину заполнил рокот Тары. Я тоже приблизился к дому — там качали люльку, слышалась колыбельная, очень похожая на плач. Слов не разобрать, а может, их и нет, но голос вдруг взмывает вверх и кружит, и у меня мгновенно выступают слезы на глазах. Такого я не ожидал — вроде бы уже достаточно возмужал и окреп, чтобы не поддаваться этим бабьим причитаниям, но, оказывается, ничего подобного — я все такой же чувствительный и мягкий, каким был когда-то. Я утер глаза, боясь обнаружить слезы перед Качаком, и отошел подальше от этого голоса, уж лучше слушать завывание Тары и крик филина, долетающий со стороны Черного Поля, чем этакую колыбельную. Ожидание наскучило мне, я уж подумал, не прошел ли Качак мимо, и вернулся к дому — он все еще торчал под окном и слушал. Наконец оторвался и подошел ко мне.

— Не один он, а оба,— прошептал Качак.

— Что ты такое несешь?.. Не пойму я тебя.

— Погибли и Паун, и Бранко — хватит с тебя, чтобы понять?

Хватит, и даже слишком, в ушах у меня так и загудело, будто кто треснул меня по голове. Я пытаюсь отстранить от себя эту весть, не допускать ее в свое сознание, надеясь, что, может быть, что-то изменится или я очнусь от кошмарного сна. Спрашиваю его:

— Что-нибудь еще она тебе сказала?

— Ничего.

— А про других ты спрашивал?

— Я ее не видел, только слушал ее причитания и понял, что произошло. Сказала она и кто их выдал: трактирщик из Требалева, Иванович Меденица и поп Сава Вуксанович. Окружил их Любо Минич с колашинскими четниками, все как один отборные негодяи — жандармы, полицейские, тюремщики и пьяный сброд. Наших оружие подвело — то ли масло замерзло в затворах, то ли боеприпасы отсырели в пещере, где они прятались. Вероятнее всего второе, потому что, гляди-ка, Паун застрелился из револьвера, а Бранко, раненый, держался до последнего — вокруг него валялись двадцать две стреляные гильзы. Похоронили их на Драговинском лугу где-то над Требалевом...

Я двинулся к дому — как это ни мучительно и ни тяжко, но я должен был узнать, что сталось и с другими товарищами. Качак — за мной. Движемся и поневоле замедляем шаг — я бы охотно пропустил его вперед, но он не спешит, боится первым услышать то, что нам уготовано. Остановились под окном. Замолкли причитания, слышно лишь, как качается люлька. Мы медлим, тут женский голос в доме спрашивает:

— Ты что, устала?

Другой голос отвечает:

— Нет, но на сегодня хватит.

— Не хватит. Раз над могилой запрещают голосить, хоть здесь выплачем горе до дна, ночь длинная.

— Надорвала я себе сердце этим плачем. Как только ты выдерживаешь это?

— А ты теперь про других рассказывай. Передохни — и заводи потихоньку. Тех тоже надо помянуть, чтобы имена их не забылись. Уж это они, по крайней мере, заслужили.

И вот затягивает плакальщица новую песню, протяжная и тихая, она постепенно набирает силы и складывается в слова. Плач обращен к несчастной девушке, Пауновой невесте, в нем говорится о том, чтоб не надеялась она: другая отняла ее милого, в черный дом увела, в мрачный дом без окон и дверей, без фитилька и без лампочки, и там затворила его. Но и на том свете невозможно представить новоселье без сватов... Голос дрогнул, взвился, словно бы перехваченный судо-

рогой смеха,— и мне представилось, что так она насмехается над этим черным загробным подобием праздника и над злой судьбой, которая оборвала безвременно молодость. Теперь плакальщица обращалась не к девушке, а к Бранко, любимому дядьке Пауна, она просила его собрать сватов для племянника, Паун достоин того, чтобы собрать ему сватов, лучших сватов, какие только найдутся, да и выбрать сватов есть из кого: пусть Бранко возьмет в сваты племяннику всех друзей его, чтоб никого не обойти, не забыть. Очень трудно выбрать старшего свата, потому что много среди них есть испытанных, нелегко среди них самого лучшего указать:

...Может, Йована Полянина
посадить
сватом славным,
героя без укора,
но закрыло тучей темной
его кровлю,
а на двор его слетел
ворон черный,
ворон черный слетел
и остался,
продолбил ему шлем
своим клювом,
мрачной тенью своих
черных крыльев
заслонил он от Пауна
брата...
...Или, может, учителя Ягоша
пригласил дядька Бранко
к племяннику —
опустела без Ягоша школа,
дети малые
ждут его, плачут,
бросил Ягош сирот
без надзора,
все глаза проплакали
родные..
...Или, может, Младженова Милана,
председателя нашего,
Бранко в сваты посадит
Пауну?
Посекла Милана
сабля острая,
отделила героя
от братьев...
...Или, может, Вучича из Подбишча
приведешь ты сватом,
о, мой Бранко?..

— Не может быть, чтобы все они погибли,— в ужасе воскликнул я.— Она голос пробует, мнится это ей; крикни, чтоб прекратила!

— Постой, послушаем, что дальше будет,— остановил меня Качак.— Если она голос пробует, так она и тебя в конце концов помянет.

Плакальщица между тем продолжала перечислять достоинства сватов:

А невесте в подружки —
одно к одному —
ты страдалицу возьми
Евру Ягошеву —
дети малые ее без матери
побираться пойдут
теперь, несчастные.
А за свата-воеводу
ты возьми, Бранислав,
Милосава Вучичева,
любимца нашего,
за себя отомстить он оставил
друзей,
земля пухом теперь ему покажется,
темнота в могиле
просветлеется...

Тут я рухнул на землю, не было больше сил держаться на ногах. Не замечаю, что земля холодная и липкая, ничего не чувствую, словно меня и на свете нет. Только слух насторожен и обострен: я все еще тешу себя слабой надеждой, что черное это наваждение исчезнет и не подтвердится. А тем временем плач с ожесточившейся мрачной решимостью перебирает все новые имена:

...Знаменосцем возьми ты, Бранко,
дорогого нашего Янко,
высоко летал сокол Янко,
не его ли честь
похоронное коло вести?
...Светозара Йованова
ты кумом возьми,
ну-ка, кум, повесели
ты нас!
Неразлучен он с Пауном был,
вот и снова их
насовсем свела
сырая земля.
Кликни Джорджия и Милана
Младеновича,
позови с Кривой Ели
Мака Янковича,
уж как станет Мак петь да плясать,
разойдись, душа благородная,
коли жизнь тебя весельем
не баловала.
И Мията, командира,
приведи сюда в придачу —
много наших братьев пало
на реке той,
на Мораче...

Тут Качак молча подошел ко мне и оторвал от земли. Откуда-то сила у него взялась, оттащил он меня тропой через сад к дороге. Мы двинулись к Гротуле, и снова нам показалось, что кто-то там залег, чернея спинами. Прокрались по мосту — то ли заснули часовые, то ли нет их совсем. Пересекли Черное Поле, поднимаемся взгорьем к Сенокосам. Ни он, ни я ни словом не обмолвимся, да и о чем говорить? Клокочет, вздымается Тара — словно все те черные всадники и сваты запрудили реку конями, разом выйдя из-под земли через пещеры и расселины. Хрипят, рыдают, призывают живых, ропщут. Полощутся за ними на ветру окровавленные рубахи и знамена, под рубахами зияют раны — свинцом раздробленные ребра, растерзанные печени, в глотки вдавленные. Поникли скорбно их головы, пулями изуродованные, пошатываясь, скрываются они в подземных сумерках на той стороне реки, между тем как толпы других, подпирая их, спешат выйти на божий свет. В действительности это туманом окутало реку и в реве Тары все поплыло у меня перед глазами, смешались долины и горы, так что невозможно разобрать, где что находится. И только в высоте, выделяясь черной заплатой во мгле, обрисовалась перед нами Палешская гора и закурилась вершина Белогривца, вознесенная к облакам. В бледном свете луны сошлись голова к голове Синявина и Мучница, и все вдруг распределилось по местам, внося порядок в мир. Тут я проговорил:

— Не могу я поверить, что все они погибли.

— Разве был бы мост без часовых, если б наши не погибли все? — возразил Качак.

— Если так, то это самая черная ночь в моей жизни.

— И в моей,— ответил Качак.— А ну-ка посмотрим, кого она не назвала: тебя, Ненада, Аралича, Бистричан... Кто там еще?

— Бистричан — две группы, потом Лале Сломо с Милорадом, Юшкович и Радомир, дети Лашича, Бакоч, Зария, Смоловичи, Васовичи. Наберется еще наших следующего снега дожидаться...

— Я вот думаю: что-то мы найдем, когда перевалим Беласицу?.. Может, и там побоище было, только ноги мои дальше не идут. Поддержи-ка меня!

Он ухватил меня за рукав, но не устоял и опустился на мокрый луг. Потом рухнул навзничь с удивленно открытым ртом да так и остался лежать, словно надумал поваляться здесь на лугу. Я приподнял его, помогая ему сесть, однако он снова растянулся на траве и выдохнул:

— Нет больше сил.

— Что мне делать с тобой? — спрашиваю я его.

— Оттащи меня вон до того стога и ступай куда знаешь.

Я сгреб его с земли и понес на руках, не очень он был тяжелый, только винтовка и ранец мешают. Притащил к стогу, подоткнул под него охапку сена, чтобы не промерз; дал ракии губы смочить, потер виски и затылок. Ничего не помогает — нет у него сил даже на то, чтобы мне на закорки сесть.

— Пройдет,— прошелестел он губами.— Или пройдет, или эта жизнь не стоит ни гроша.

Мысли у него четкие и быстрые, сознание ясное, слова не путаются. Мы переждали еще минут с десять, а может и больше, и вдруг он как-то разом ноги под себя подобрал, встал на колени и поднялся, преодолевая слабость и боязнь снова упасть. С одной стороны я поддерживаю его под руку, с другой — он опирается на винтовку и делает осторожные робкие шаги, широко расставляя ноги. Стонет, часто отдыхает, скрежещет зубами и снова двигается. Я опасаюсь, что он не устоит, но постепенно он расходится и отстраняет мою помощь. Так мы поднимаемся еще выше до самого снега с отпечатками следов и проходим краем озера, скрытого подо льдом. С рассветом мы были на вершине, и Качак провозгласил:

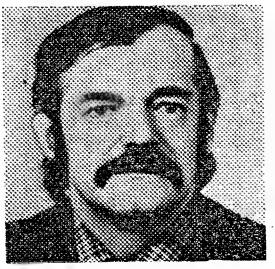
— Дошли!

— Дошли или нет, но дальше я не двинусь! — бросил я.

И рухнул на землю, словно у меня кости размякли. Чувствую грязь и сырость под собой, но мне это не мешает — для меня земля податливая, приятная, так бы и распластался по ней. До меня доходят увещевания Качака, он твердит, что отсюда до землянки не будет и сотни шагов под гору, я слышу свой голос, отвечающий ему, что пусть, мол, тащит меня. если он в состоянии. По его тону понимаю, что он злится,— потому что, если нас здесь день застанет, мы должны будем отсиживаться до ночи в этой рощице. Но я ничего не могу ему возразить: я слишком устал и мысленно утешаю себя, что не так уж плоха эта рощица, убаюкивает ветвями, а в ветвях тихо поскуливает ветер.

Перевод с сербскохорватского Т. ВИРТЫ

■



РЫШАРД ЛИСКОВАЦКИЙ

На реке широкой, на чудном островке...

1

Еще четыре дня назад, когда они, запыхавшиеся, совершая ночные марш-броски, проходили пустые деревни и поселки, когда приостанавливались у погнутых, задранных в небо, простреленных насквозь указателей и разбирали по складам: Прибберов, Мюленбек, Морин,— рядовой Рутяк, раздумывая о завтрашнем дне, думал и о том, как устроить, чтобы сын его наконец был при нем. Дело было проще простого. И может, именно поэтому никто не желал Рутяку содействовать. Те, что шагали в неизвестность, стирая до крови ступни (командир взвода:— Если бы ты, Рутяк, хотел пополнить взвод, допустим, десятком старых вояк, тут бы я мозгой пошевелил, а ты мне голову морочишь из-за одного сопляка. Пришлют его к нам официально — возьму, поставлю на довольствие, не пришлют — переживем), жуя махорку, ибо курить запрещено приказом,— те, что делали по семь километров в час, а то и больше, полчаса на привал, а то и меньше (старшина роты:— Я помню, Рутяк, чего ж не помнить, но не теперь, браток, всему свой черед. А ты, Рутяк, не убивайся, дорогуша, и не думай, что самые страшные подлости враги готовят второму батальону, а третий батальон будут встречать цветами. В любом батальоне, дорогуша, можно схлопотать пулю или заработать медаль. Не так ли?), пропыленные и усталые люди, еще не знавшие, на Берлин они идут или на Щецин, твердо знали, что даже на марше можно чуток вздремнуть, а уж если думать на ходу, так либо о сверхважном, о приговоре судьбы к примеру, или, напротив, о такой чепухе, как песчинка, которая попала в сапог и натирает пятку. А то, чего просит Рутяк, не отнесешь ни к сверхважному, ни к пустякам.— Не так ли?— спрашивает ротный старшина, сержант Мрочко.— Так-то оно так,— отвечает Рутяк с полным вроде бы пониманием, но и не без некоторого сомнения,— все ясно и правильно, гражданин сержант, но если во всех батальонах можно одинаково схлопотать и заработать, то я покорнейше прошу, чтобы, значит, сын мой, Рутяк Владислав, в третьем батальоне зарабатывал. Меня-то на двух войнах натаскивали, и я знаю, когда такого сопляка из окопа вытолкнуть, а когда за шиворот схватить, чтобы зря головы не высовывал.— Наконец остановились в пропахшем весенним паводком

РЫШАРД ЛИСКОВАЦКИЙ — **RYSZARD LISKOWACKI** (род. в 1932 г.).

Польский поэт, прозаик, драматург, автор двух книг стихов, многих повестей и сборников рассказов; лауреат литературных конкурсов.

Публикуемые рассказы взяты из книги «Жестокие баллады» («Ballady okrutne». Poznań, Wydawnictwo poznańskie, 1976).

Рассказ «На реке широкой...» войдет в сборник современных польских рассказов «Сон-трава», который готовит к печати издательство «Художественная литература».

лесу, который доходил почти до самого берега. И сразу же от взвода к взводу шепоток: на месте мы, конец похода. Кто был поближе к железнодорожному полотну, тот мог прочесть на красной стене полустанка: Цекерик. А кто был подальше, тому ротный старшина объяснил, что к чему: — Шабаш, ребята. Озеро, которое впереди, это река Одра. Установим здесь такую границу, что лучшей не надо.— Река была как озеро. Широко разлившаяся, ленивая, взбаламученная у берегов, неподвижная, словно замерла в ожидании своей большой судьбы. И когда уже нагляделись вокруг, осторожно высовывая головы из неглубоких траншей, поскольку западный берег гостеприимно приветствовал их огнем снайперов, когда насмотрелись на деревья, словно бы уже зеленые, на утреннее небо, предвещавшее вёдро, на реку, которая могла внушить страх (кто хотел, тот слушал Рутяка, а Рутяк скорее к себе обращался, нежели к тем, которые головой кивали ему согласно:— Такой широченной реки мы еще не одолевали, даже на хорошей лодке в четыре весла махать не менее получаса, ведь там-то, куда хватает взгляд, только еще стрежень, значит, целый час промашешь, прежде чем на тот треклятый берег ступишь), когда радостное возбуждение из них вышло, как воздух из лопнувшей камеры, и вернулась усталость, ибо можно три дня ноги обманывать, но на четвертый они набираются ума-разума и без всякого разрешения ищут отдыха, положенного как бы там ни было человеческим ногам,— сержант Мрочко отыскал Рутяка. Сел рядом с ним под сосной. Тоже прислонился к стволу. Угостил Рутяка махоркой и, едва прокоптили первой затяжкой глотки, угостил его словами:— Я доложил о твоем деле поручику, а тот говорит: «Дело житейское, подсоблю Рутяку, если смогу. Потолкую с командиром батальона,— так мне сказал поручик,— а подвернется случай, то и с самим полковником Сеницким». Что ты на это скажешь, Рутяк?— А то скажу, что радуюсь. А в особенности потому, что Рутяк Владислав — сын мой единственный. Есть еще в доме две девахи, да замужние, считай, уже как бы отрезанный ломоть. И я низко кланяюсь вам, пан сержант, за эту услугу.— Да катись ты, Рутяк, к чертям со своим поклоном. Для меня эта коммерция только тем важна, что в роте одним активным штыком прибавится. Верно?— Верно,— горячо поддакнул старый солдат.— Двое Рутяков, вместе взятые,— большая сила. А Владек силен как кузнец, только солдатской сметки ему малость недостает.

2

Уже вторую ночь они к Одре принюхиваются. По ночам сподручней осваиваться с рекой. Мутная вода в некоторых местах подходит почти к самому шоссе. Когда стемнеет, можно к ней приблизиться не сгибаясь. Немцы ведут себя ночью вполне прилично. На польском берегу еще не погасли все пожары. Горит лес в Густебизе, трещат, догорая, деревянные домишки в Цекерике, но все это последствия дневного артналета. Теперь лишь пулеметчики на обоих берегах реки ведут между собой разговор без особого энтузиазма, короткими очередями. Рутяк вернулся из лесу с охапкой сосновых веток. Он готовил себе логово столь старательно, как будто собирался проспать в своей яме весь апрель.— Песочек для тебя твердоват, королевич? — шпынял его капрал Юзефацкий, первейший виршеплет в роте, а может, и во всем третьем батальоне. Юзефацкий писал послания своей зазнобе исключительно в стихах: «Как только кончится война, будешь ты со мной всегда. Как фашистов разобьем, будем мы с тобой вдвоем». Подобные стихи имели общечеловеческое звучание и с одинаковым успехом могли сослужить службу как Юзефацкому, так и тем, кто лучше управлялся с винтовкой, чем с пером. Капрал был страстным курильщиком. И, пожалуй, только потому не мог оставаться бескорыстным служителем муз. Впрочем, капрал Юзефацкий установил

льготную для молодых солдат таксу. За четверостишие брал сигарету или щепотку махорки на приличную козью ножку.— Песок для меня не жёсток,— ответил Рутяк без тени гнева,— да словно бы отдает мертвечиной. А от сосновой веточки под головой, от такой подушечки зеленой — смоляной дух. Если им дышишь, то и помирать не хочется, а коли помирать нет охоты, значит, не помрешь.— Пустое говоришь, Рутяк,— фыркнул Юзефацкий, но не отходил от выстланного сосновыми ветками ложа.— А разве есть такие, что на тот свет торопятся? Есть ли такие вообще?— Почему бы им не быть?— Рутяк поглядел на капрала с ласковой снисходительностью.— Вот Куцва из первой роты, например, у него одна думка: всегда быть впереди. Добровольцев кликнут — он тут как тут. Почему бы им не быть? Я к своей старухе, к девахам своим тороплюсь, а он? К кому Куцве возвращаться? От избы только пепелище осталось, а от семейства — одна большая могила. Чужими руками вырытая.— Рутяк уже переворачивался на другой бок, запыхавшийся от столь длительного невеселого разговора, смертельно усталый за день на лесосеке, где валили высокие, прямые сосны, из которых саперы сколачивали надежные плоты. И уже шинель натянул на голову, и глаза закрывал, ибо даже в темноте глаза закрыть требуется, чтобы как следует перед сном разные важные мысли привести в порядок,— как вдруг фамилию свою услыхал. Подумал еще с закрытыми глазами: «Не дадут человеку выспаться, от ночных дел добра не жди, особенно на войне, а без сна воевать скверно»,— но уже все более настораживаясь, ибо голоса сперва послышались у железнодорожного полотна, а потом ближе, среди деревьев, наконец, совсем близко, у перекрестка лесных стежек:— Рутяк наверняка уже кимарит, точно крот в норе, бери левее и чуток пониже. Рутяк... Рутяка... Рутяку-то хорошо. Своего добился. Теперь уже прямо.— Рутяк вскочил, выпрыгнул из окопа и побежал, спотыкаясь о корни:— Владек, сыночек, неужто не видишь меня? Ведь я стою прямо на твоей дорожке, ведь я еще не призрак. А отца родного и в ночи видеть положено.— Они обнялись, как выдохшиеся боксеры, которые отдыхают с минуту, подпирая друг друга. Только и было тишины, пока обнимались, обессиленные от радости. Потом шагали плечом к плечу, хотя определение это не совсем точно, поскольку сын был по крайней мере на голову выше отца. А старик говорил торопливо обо всем, что следовало высказать:— Да, значит, поручик слов на ветер не бросил, и мы уже вместе, Владек. Это по справедливости, сын обязан при отце находиться и на пахоте, и на поле брани, и если родителев последний час пробьет, полагается сыну у его смертного одра преклонить колена. Вот мы и вместе. Я сосновых веток принес на подстилку и сала кусочек припас, чтобы от разговора скулы не свело. Чуяло сердце гостя дорогого. Перекусим маленько и скажем друг другу, что в таких случаях полагается. Ведь как мы из Грейфенберга вышли, я только раз с тобой встретился и из дома никаких писем не получал. А утречком, едва рассвет, ты увидишь, Владек, отменную картину из моего окна. А картина такая: сплошную воду увидишь и клочок неба. И мы, Владек, эту воду избыть должны.— Сын жевал пожелтевшее от старости сало и поддакивал. Потом угнездился в окопе, поджал длинные ноги к животу и не возразил, когда отец накрыл его своей шинелью. Еще четыре дня назад, когда они, запыхавшиеся, совершая ночные марш-броски, проходили пустые деревни и поселки, Рутяк с тревогой думал о том, что будет завтра; а теперь он бормотал что-то над спящим сыном, и если вспоминал о завтрашнем дне, то не было в его мыслях никакой тревоги. И если бы даже этой ночью приснился Рутяку достоверный сон, в котором генерал Бевзюк разговаривает с полковником Сеницким о судьбе-злодейке третьего батальона, Рутяк не отогнал бы своих мыслей, исполненных благости. Ибо на войне испокон веков одних осеняет злая судьба черными крылами, а другим суждено помилование.

А кому помилование? Третий батальон не получит помилования, но в батальоне более трехсот человек, да не всем одно и то же на роду написано, хоть и на всех один приказ. Остров.— Подумать только, Владек, что именно нас угораздило. Вроде бы невелика разница, поскольку одним сегодня, а другим, к примеру, завтра, но я тебе по совести признаюсь, что меня завтра больше бы устроило. Маловато дали нам отдохнуть. Остров. Через месяц-другой вода спадет и, пожалуй, остров этот исчезнет. Река вернется в свое русло, а от острова зеленый бугорок останется. Трава там будет такая сочная, что коров палкой не отгонишь.— Еще не рассвело, но им уже все видно. У топкого берега, неподалеку от железнодорожного моста, центральные пролеты которого немцы успели взорвать, саперы поставили несколько десятков лодок. На польском берегу делается все оживленнее, солдаты, покашливая и отдуваясь, грузят в лодки все, что им понадобится на том берегу. Минометы грузят. Легкие орудия грузят. Пулеметы грузят. Ящики с боеприпасами грузят. Даже немного странно, что немцы столь терпеливо внемлют звукам и голосам хоть и не громким, но наверняка доносящимся по ночной реке на тот берег. И, словно желая всю эту ратную суету приглушить, утихомирить: — Скоро рассветет,— сказал Рутяк сыну, который снял на минуту каску, чтобы вытереть вспотевший лоб,— а мы должны туда добраться еще затемно, и ты вперед не рвись, в случае чего на отца поглядывай, что он будет делать.— Словно уже отпала необходимость скрывать то, что вскоре произойдет, лес позади них полыхнул огнем из ста, а может, и более стволов, завершались последние приготовления к переправе через Одру. Угловатые, большие лодки уже качались на воде. Солдаты вскакивают в них поотделенно, размещаются, ища местечко поукромнее и забывая, что для тех, кто садится в лодку, любое место — опасное. Едва Рутяк услыхал: «Отваливай!» и едва успел повторить этот крик, повторить только ради того, чтобы не молчать, ибо хуже нет дожидаться молча, и тут же почувствовал, и все почувствовали, полвзвода почувствовало, плотно прилепившегося телами к лодке, что они не отчалят. Вода тут была ниже колена, и лодки застряли в илистом дне. Уже никто не кричал: «Отваливай! Греби!» И тогда поручик Ленцкий, а потом сержант Мрочко и почти одновременно еще пять поручиков, и тринадцать сержантов, и двадцать три капрала, и кто только хотел (а хотели почти все) принялись высказывать спасительную идею: — Волоком! Все за борт и айда тянуть лодки до глубокого места. Волоком. Лишь бы подальше от берега.— И вот уже тридцать лодок подхвачены солдатами. Кому суждено помилование? Еще рановато об этом думать. Кто-то споткнулся о корень, кто-то поскользнулся на отшлифованных водою камешках. Двадцать девять. Рутяк осторожно щупает дно раскисшими сапогами. Порой ему кажется, что его обувка уже давно растаяла в воде и немецкий берег придется брать босиком.— Где же, черт побери, глубина? Саперы лодки сколачивали, а дно хотя бы шестом промерить не удосужились.— Двадцать восемь. Две лодки выскальзывают из рук не на чистую воду, а в ил.— Минометы накрылись, спасайте минометы!— А что ж ты, браток, будешь делать с минометами? В карман их сунешь? Голыми руками из трясины вытащишь?— Пока что их еще огонь со своего берега прикрывает. И остров. Он отгораживает их от немецкого берега. Двадцать семь.— Черти, растяпы, спасайте боеприпасы.— Немцы слышат, чувствуют, но еще не видят. Не из-за темноты, уже рассвело, а просто остров заслоняет. Лодки тащили метров сорок. Некоторым вдвое больше тащить пришлось, пока вода им до пояса не дошла и пока не крикнули:— Глубоко! Отпускай! Плывем!— С прибрежного вала строчили немецкие пулеметы. Но пули проносились слишком высоко. Посвистывали над головами третьего батальона. Еще не им предназначен-

ные. Остров. Щит. Позже, когда дружно гребли, беря курс на этот остров, Рутяк сказал:— Уж солнышко, сынок. На солнышке все веселеет и вроде бы лучше видно, а нас с божьей помощью не видать.— Потом немецкие артиллеристы начали помаленьку, на ощупь, пристреливаться к протоке, что за островом, к лодкам, что за островом. Водяные фонтаны рассыпались прозрачными брызгами. Наконец сто первый снаряд попал на ощупь. Как на ученьях. В самую середину лодки. Взметнулись вверх ошметки досок. Вода прозрачными брызгами. Ошметки плоти. Брызги.— Господи, влепили им. Кажется, третий взвод...— Месиво. Брызги. До берега было уже рукой подать. Снова подсвеченный солнцем фонтан. Метров пяти высотой.— Не бойся, Владек, как заберемся на остров, фиг они нас достанут. На воде, ничего не скажешь, страшновато, но остров, сынок, это уже суша.— Доплыли. Солнце стояло высоко, когда батальон начал зарываться в землю. Ногтями, лопатками, обломками досок. Кто с одного конца острова на другой переполз, тот увидел во всей красе немецкий берег. Первыми переползли разведчики. Вернулись. И теперь все, кто лежал в неглубоких, сырых ячейках, едва переводя дух от усталости, ловя воздух широко открытыми ртами, услышали:— До немцев самое большее метров двести. Двести метров, но уже сплошной глубины, ведь по ту сторону острова главное русло.— Услышали. Не более двухсот. Каждый прикидывает на свой лад: двести, но ведь уже не ночь. Двести, но так светло, что можно с этого расстояния лягушке в глаз попасть. Каждый по-своему: отмель — плохо. А теперь сплошная глубина — еще хуже. Дышат впрок. Лежат на спине, глядя в небо. Впрок. А кому ведомо, в последний ли раз глядишь вот так. Рутяк думает: «Не по справедливости вышло. Получается, что я сынка из второго батальона ради того перетаскивал, чтобы первым делом через такую широченную реку бросить?» Рутяк протягивает Владеку флягу с кофе:— Я по-генеральски все тебе изложу. Для того нас нынче в воду сунули, чтобы у немчуры слабые стороны прощупать. Пошуруем чуток на том берегу и айда назад. Наши генералы теперь на какой-нибудь горке стоят, в бинокли посматривают и так промеж собой толкуют: тут у фрица огневые точки, а там ни шиша. И как завтра вся наша дивизия через реку двинет, то уж будет знать, куда двигаться. Понял, в чем загвоздка?—Все ясно, батя, только дадут ли нам немцы пошуровать на своем берегу хоть чуток?— А почему бы и нет? Смотри в корень, Владек, ведь мы к ним в гости нагрянем не взводом, а целым батальоном. А что такое третий батальон, я тебе, Владек, объяснять не буду, ты и без меня это знать должен.—Загремело на немецком берегу, но снаряды перелетали остров и рвались там, где уже с полчаса не было батальонных лодок. Их втащили на берег, и только теперь можно было убедиться воочию, сколько в сосновых бортах пробоин и свинца.— Отхлебни еще, Владек, когда вокруг вода, особенно в горле пересыхает.— У них только и осталось времени, чтобы глотнуть немного кофейку и пахнущего тиной воздуха. Уже слышится окрик сержанта:— К берегу бегом—марш! Взять лодки и перенести через остров!— Рутяк завинчивает колпачок фляги, стягивает потуже поясной ремень, не торопится: «А Владек не глуп, в мыслях моих читает, сказал то, что у меня в глотке застряло. Не пошуруем мы сегодня. Дал бы бог, да вряд ли. Не по справедливости получилось».— Несут. Пока на макушку острова не вышли, могли и потешиться тишиной. По болоту, по колено в воде несли, теперь несут по суше. Земля илом и рыбой благоухает. Несут. Еще выше. Выпрямляя натруженные спины, как бы желая этими широкими плоскодонками слишком светлое небо подпереть. Немцы еще молчат. Почему? Даже артиллеристы, которые успели пристреляться к острову, тоже вдруг угомонились. Первая лодка, убаюканная на солдатских плечах, уже почти воды касается. Хорошей, глубокой. Тут даже самая тяжелая лодка не застрянет. Хороша вода. Длинную молитву успеешь сотворить, прежде чем лицом в дно

ткнешься. Глубока вода. Почему молчат? Спятили от страха при виде странного шествия лодок, влекомых бережно, словно они из картона и могут развалиться, соскользнув с усталых плеч. Сбросят эту первую лодку, так что изумленная вода заплещет, и останется только двести метров. Пошуруем? Сбросили. И принялись поспешно грузиться, скользя по мокрому днищу.— Скорее, черт побери!— кричали, судорожно хватаясь за весла, поскольку течение тут быстрое и лодку тотчас начало сносить влево,—держать направление, ребята, мать вашу, держать направление,— и еще левее, все дальше от стального скелета моста. И тут грянул гром. Словно по общему приказу, от единственного прикосновения к спусковому крючку зарычал, полыхнул, загрохотал немецкий берег. И, роняя лодки, живые падали рядом с мертвыми, мертвые даже проворнее. Рутяку, который успел нырнуть в неглубокую борозду, с минуту казалось, что немецкий берег исчез, что нет там деревьев, кустов и водозащитного вала, а только сплошная стена огня. Стал он поспешно отползать в глубь острова, а в воде—останки трех лодок, разбитых, продырявленных как решето, не дожидаясь приказов, а на тех останках несколько раненых и убитых, остальные уже с дном здороваются,— ведь никто, пожалуй, и не командует, случаются на войне такие моменты, секунды, тогда следует полагаться лишь на собственный приказ, на собственный страх, интуицию, смелость или недомыслие. В глубь острова. Слева и справа от Рутяка торопливо ползущие, перепуганные люди. А куда? А где безопаснее? А кому даровано помилование? Остров таков, что за пять минут можно его досконально шагами измерить. Вдоль и поперек.— Владек, ко мне спеши, тут у меня ямка, хоть голову спрячешь.— Но вот уже звучат приказы. И «сорокопятка» на огневой позиции. Единственное орудие, которое у них осталось на острове. Капрал Левковский не тратит впустую боеприпасы, их немного. Стреляют метко, и кое-кто даже восклицает:— Попал в пулеметное гнездо! Только пыль столбом. Накрылись!— Но мало радости в этом крике, и невелика честь погибать на острове, где можно молчать, можно кричать, можно плакать, можно даже стрелять, но нельзя достойно, идя вперед, умереть и нельзя даже трусливо ретироваться в безопасные тылы. Ибо нет здесь ни передовой, ни тылов. А есть остров. И все чувствуют себя словно на большой сковороде, одинаково подогреваемой со всех сторон. Остается ждать. Лишь это им дано. Но не подмоги, ибо кто же осмелится среди бела дня бросить следующий батальон через реку? И не того, что немцы угомонятся, ведь если даже на недалеком берегу им перегревшиеся стволы остудить понадобится («Всего двести метров, ребята, один бросок — и были бы мы там...»), то какую бы этот перерыв дал передышку? Допустим, получасовую. А до сумерек сколько осталось? В них спасение. Придется ждать, придется умирать терпеливо, пока не вспомнит о них ночь. Тогда можно будет на последних уцелевших лодках отвалить от острова и вернуться туда, откуда пришли. Они видят свой берег. Не так отчетливо, как немецкий, но видят. — Выдюжим, сынок, верно? Ночка настанет, и мы поплывем.— Именно теперь пришла пора студить перегревшиеся стволы или обедать, либо какой-нибудь расчетливый немецкий офицер приказал: прекратить огонь, боеприпасов жаль, там, на острове, никто не уцелел. Уцелели. Внезапная тишина. Прильнувшие к земле тела расслабляются. Надо проверить ноги. Левую. Правую. Руки надо опробовать. Перед глазами пять перепачканных глиной пальцев. И каждый палец жив. И обязан это удостоверить, кое-как пошевелившись. Припавшие к земле тела не расслабляются. Желтые, синие пальцы жадно впились в землю. Уже не оторвутся от нее.— Юзефа в клочки разнесло, пан сержант.— Санитар, давай побыстрее сюда, а то капрал окончательно кровью истечет.— Болдаку, гражданин сержант, в кадык попало, у самого берега лежит, хлестало из него не приведи господи.— Считают. Сперва живых, потом убитых, затем боеприпасы. Убитых слишком много, жи-

вых слишком мало, боеприпасов почти вовсе нет. А счет еще не закрыт. Молодой Рутяк подносит патроны. Берут у мертвых, отдают живым. Поручик Заремба говорит сержанту Мрочко:— Они хотят нас в воду столкнуть и шпарить, как по уткам. Кто выживет, тот выживет, но уцелеть можно лишь на острове. Передай это во взвода. Чтобы никто со страху не лез в воду.— Передать во взвода? Ищи, брат, здесь взвода. Каждый искал свою ямку, свои шансы выжить и своей смерти. Самостоятельно. Во взвода? Зачем? Все знают то же, что и поручик Заремба. По крайней мере, то же самое чувствуют. По крайней мере, это: кто выживет, тот выживет, сумерки — единственное спасение. Тогда не придется нас в воду сталкивать, сами столкнемся. И этот обратный путь на берег, где мы успели пустить корни, будет вдвое короче. Страх нас погонит, ибо не всякая смерть одинакова. Даже на войне. А хуже всего умирать, когда нельзя напоследок хотя бы погрозить фрицам или хотя бы зарычать — кто услышит, кому это нужно? Старый Рутяк помогает санитару из первой роты. Еще тихо, неизвестно, надолго ли, с невысокого бугра тащат раненого, еще тихо, с середины острова на самый берег. Здесь, на восточной стороне, безопаснее, вернее, относительно безопаснее. Сколько еще будет этой тишины... Раненый руку протянет, если дотянется, воды коснется, а потом мокрые пальцы в рот, обсасывать их будет, если дотянется.— Повезло тебе, браток, так и не сетуй, вошла пуля без твоей помощи и вышла подобным способом, вытаскивать не надо, значит, и плакать нечего. Присохнет, как на собаке. Думаешь, меня ни разу не шарахнуло? Хуже, чем тебе, доставалось, уж ангелочки мне допрос учиняли, а вот видишь, браток, стою перед тобой живой и здоровый.— Возвращаются старый Рутяк с санитаром, переворачивают тех, кто лежит ничком, точно боль или крик последний хотел телом своим в эту болотину, где почти ни травинки, вдавить.— Закрой ему, бедолаге, глаза, чтобы солнышко не докучало.— Сколько им даровано тишины? Минуты тянутся одна за другой, а как будто топчутся на месте.— Положи его поудобнее, долгонько прождет своей могилки.— Ему и так удобно.— Много ты, медицина, понимаешь. Может, о жизни чуток имеешь понятие, а что касается смерти, то даже мне, хоть годков на тридцать тебя постарше, многое невдомек. Тот, которого мы на берегу оставили, до вечера не дотянет. В глазах у него жизни не было. Как же нас измолотили, боже милостивый!— Немцы нарушили тишину, когда Рутяк тащил к берегу молоденького солдата с оторванной по локоть рукой. Санитар двумя бинтами культю обмотал, но кровь оказалась сильнее и пробивалась сквозь повязку, на волю. Остров снова колыхался от разрывов, точно вот-вот готов был скрыться под водой. Рутяк положил раненого под каким-то хилым кустиком и шмыгнул в ячейку. Ткнулся лицом в землю и принялся выкрикивать, давясь мокрым песком: — Чтоб ваши матери и жены до скончания века были бесплодны, чтоб земля-кормилица для вас в прах обратилась, гады, ишь герои какие, когда мы точно в западне! — кричал Рутяк, но никто его в этой огненной буре не слышал, и, пожалуй, он сам себя не слышал, потому что вдруг умолк. Поднял голову, и тут же разорвавшийся поблизости снаряд залепил ему лицо ошметками грязи. Он протер глаза, подполз к тому месту, где лежал раненый, и перетащил его в свою ячейку. Не было здесь ни удобнее, ни безопаснее, но Рутяк, уступая раненому свой вроде бы окоп, хотел себе, а может и не только себе, доказать, что с него хватит, то есть, что он уже ничего не боится. Старик сидел возле раненого, выпрямившись и положив руку на его влажный лоб, и бесстрастно взирал на медленную агонию острова. Потом снова была пауза. Подполз к отцу молодой Рутяк.— Даешь им прикурить? — спросил отец, отвинчивая колпачок фляги с остатками кофе.— Как положено,— ответил сын.— Пулеметчика убило, и я все время работал на его машине.— Все время? — переспросил старик.— До последней ленты работал, а теперь только свистеть мо-

гу.— Мы еще им свистнем, сынок. Повезло тебе, что ты вовремя в третий батальон прибыл. «А справедливо ли это? Это самое? Просил я низшее и высшее начальство, чтобы сына в наш взвод перевели. Просил четыре месяца, и всегда что-то мешало. Почему же, к примеру, вчера ничто моему сыну не преградило дороги? Могли бы его задержать хотя бы дня на два или на денек, и не попал бы он на остров». Старый Рутяк взял раненого за ноги, молодой Рутяк подхватил его под мышки. И снова, пользуясь затишьем, пошли они на восточный берег, раненый окончательно сомлел, повязка на культе багрово-черная, черна земля под ногами, тридцать шагов, увязая по щиколотку в грязи, шли. Не было никакой уверенности, что даже для здоровых и целых хватит вечером лодок. Однако несли. Была уверенность, что нельзя иначе, что раненых надо подтащить поближе к берегу. Пусть знают, что о них заботятся. Хоть это. Так говорил Мрочко еще до того...— Продержимся до вечера, сержант? — Кто-то продержится.— Он не продержался. Срезало его, когда шел с восточного берега на середину острова, на невысокий пригорок, где стояли три пулемета, из которых только один мог еще стрелять. Подбежал старый Рутяк:— Сержант, господи Иисусе, столько прошли вместе — и вдруг? И здесь? — Мрочко что-то хотел ответить, но только шевелил губами. Значит, только себе ответил. Это тоже считается. Он смотрел на Рутяка, и взгляд его смягчался, глаза застилала пелена. Умирал он быстро, без проволочки, как бы стыдился, что именно в такую минуту покидает батальон.

4

Рутяк очнулся, когда они преодолели уже полпути. Разведали боем, что требовалось разведать. Частично и ценой жизней разведали. Звезд еще не было, но уже стемнело. Рутяк медленно и как бы боязливо открыл глаза и с минуту прислушивался к громкому сопению гребцов. Хотел поднять голову, но нестерпимая боль обрушилась на него и крепко прижала к днищу лодки. Из густого мрака, откуда они удирали, доносились разрывы одиночных снарядов. Потом рассыпалась звездами белая ракета, и в лодке кто-то крикнул: — Налегай на весла, ни черта они нам уже не сделают.— Рутяк, превозмогая боль, узнавал окружающий мир. Помаленьку возвращался из небытия, пока наконец не вернулся. И тогда крикнул истошным голосом, даже гребцы на секунду замерли: — Где Владек? — Над ним склонился капрал Юзефацкий и произнес усталым, бесстрастным голосом: — Спокойно, старина, все будет по-человечески. Ведь мы вернемся на остров, не оставим Владека без могилки.

Перевод с польского М. ИГНАТОВА

Пока можно прощупать пульс

Полковая артиллерия под вечер высадилась на берег. Наконец-то. И сразу же все они, увидев свою артиллерию, повскакали из окопов или даже не из окопов — из болот, из каналов, заполненных вонючей водой, с земли, на которой грязи больше, чем травы. Наконец-то могучий гул был у них за спиной, а впереди, в ярком пламени, Ной Рюдниц. Немцы все еще огрызались, но, когда огонь бушует над головой, не очень-то поогрызаешься. Дом за домом вспыхивал факелом, и деревушка, обращенная в крепость, постепенно переставала быть и деревушкой, и крепостью и становилась огромным пылающим костром. Освещенные его огнем солдаты шли, а приблизившись, бежали усталой трусцой — хотя сейчас никто и не занимался подсчетами, но сами ноги знали, что очень далеко было до Ной Рюдниц, хотя всего-то километр, от силы полтора. Но ту-

да и обратно бегали с самого утра, вперед и назад. И еще раз, и еще, и так от зари до зари, километр с хвостиком, туда и назад, и столько набралось этих километров, что никому их не хотелось считать. Узнавали друг друга по крику. По лицам — нет. Бывало, что и по мундирам не узнавали. Даже теперь, когда сумерки рассеялись вокруг горящей деревни, которую хотели взять до полуночи. По лицам — нет. Черные были лица, от грязи и от всякой гадости, в которую без конца приходилось падать. И шинели, и мундиры пропитались затхлой водой, и зеленого их цвета никто бы теперь не разглядел. Трусцой, перемешавшись, бежали второй батальон и третий, а точнее, те немногие, кто от третьего батальона остался. Санитар Курылюк торопился изо всех сил, но не мог всюду поспеть, а главное, не мог надивиться, отчего в других попадают, хоть они короткими перебежками двигаются и часто на землю падают и вперед внимательно глядят, а вот его ничего не берет, даром что он, приседая возле раненых или волоча их на себе в тыл, маячит перед немецкими стволами, точно на стрельбище. Надивился вдоволь, и это перестало его занимать. Ребята добрались уже до первых домов, и рота противотанковых ружей, которой командовал поручик Мруз, начала немецкие цекаемы крушить. Смотрит Курылюк: трах, трах — и уже одного гнезда как не бывало. А вот и другое умолкло. Тут до него донесся крик:— Санитар, сюда, сюда, поручика Башиньского ранило! — Он кинулся на этот крик. Неужели Башиньского? Двое солдат стояли на коленях возле поручика.— Вроде убит, но еще дышит.— Кого утешал: себя или господа бога? — Говорю тебе, душа еще не отлетела.— А другой только головой кивал, и было в том кивании полное неверие в чудо и покорность судьбе.— Дадут тебе прикурить, как этому. Вот и все дела, нам только и остается, что стиснуть кулаки.— Курылюк взглянул и сразу признал правоту второго. Конец не конец, но санитару тут делать нечего, потому что Башиньскому в голову угодило, и даже не понять, куда пуля вошла,— вся голова в крови. А фуражка поручика с треснутым орлом рядом лежит. Курылюк ее поднял, стряхнул о колено и подложил Башиньскому под голову. Пускай так будет. Заслужил он, чтоб не лежать головой в грязи.— Ты приглядись к нему,— упорствовал первый,— он ведь живой еще, слышь меня? — Ох, человече,— Курылюк ему в ответ, и уж было собрался уходить, потому как его к другому зовут,— видал ты живого с пулей в голове? Сгоняй-ка лучше в деревню, там уже на улицах дерутся, пошарь в том огне, может, разыщешь еще того снайпера. Башиньскому легче будет, если такой подарок ему сделаешь.— А он вроде дело говорит,— согласился первый, тяжело подымаясь с земли. Только его Курылюк и видел. И пока добрался санитар до Ной Рюдниц, где уже не было немцев и где наши близ стреляющих искрами домов шинели сушили, сапоги сушили, руки грели, пока добрался до этого, теперь уже безопасного, огня, еще раз сто наклонялся над лежащими в темноте и в грязи. Кому перевязку, кому йод, кому доброе слово, а кому и молчаливое прощание. Так он снова оказался возле Башиньского, который лежал на том же месте, в той же самой сырой ложбинке, с фуражкой под головой, с черной коркой засохшей крови на лбу и волосах. Остановился, чтобы постоять около. Он знал Башиньского всего несколько месяцев. Тот пришел в их роту, когда взяли Варшаву. Ребята не раз подступали к нему с водкой и ехидными вопросами: не могли обождать еще малость? Еще неделю или даже месяц. Хотели сами расправиться с немцами? Такой город сожгли дотла. А мы к этому городу с Урала, из Сибири топали, из полесских болот, дорожные указатели после каждого боя ставили — стрелка на Варшаву, стрелка на Вислу, и километров все меньше; не могли нас, своих, подождать? И сколько народу погибло вместе с городом, в дыму пожарищ, как же так? Башиньский пробовал поначалу объяснить что-то, а потом и стаканом водки на разговор его было не вызвать. Замкнулся со

своими мыслями, как в скорлупе, и замолчал. Солдат был из него хороший, после Поморского Вала, когда старых офицеров повыбивало, получил роту. Теперь Курылюк в одиночестве, будет прощаться с Башиньским. Свидетели — те, что лежат вокруг,— молчат и никого уже не ждут; вот и ты, старик, отвоевал свое, что тут говорить, и все же выторговал себе эти несколько месяцев. Получил предписание явиться к богу в августе или сентябре, а протянул до апреля. И решил Курылюк: надо бы его в Ной Рюдниц отнести, поближе к своим. К свету и теплу. Наклонившись, взял Башиньского за руку, и тут его словно током ударило. Не может быть, подумал и даже закричал: — Не может быть! — Он держал Башиньского за запястье левой руки, и пульс его, едва ощутимый, едва подающий признаки жизни, вдруг загудел во всем теле Курылюка.— Люди, родимые, не может быть! — еще раз зашелся он криком, как в истерике, кинулся в сторону Ной Рюдниц и скоро оттуда вернулся с носилками и старым кашляющим санитаром. Укладывали Башиньского осторожно, а Курылюк все оправдывался, хоть никто его ни в чем не винил: — Ведь убитый был, а теперь пульс у него, снайпер в голову ему угодил, а в нем все еще душа держится.— Отлетит душа, пока до санбата дотащим. Жизни в нем уже нет, только дух еле теплится, а тащить надо.— Надо,— повторил за стариком Курылюк и ускорил шаг, потому что шел первым, задавая темп. Шли около часу. С потоком и против него. Оступаясь на скользком дерне, огибая мелиоративные канавы. С теми, кто шел к Одре, и навстречу тем, которые шли от Одры в глубь отвоеванной за день земли. Таких было больше. Машины двигались с погашенными фарами, иногда увязая по самые оси. Тогда крик: — А ну, подтолкни, боеприпасы едут! — Подходили впятером, а то и вдесятером. Упирались сапогами в грязищу, толкали плечами беспомощно дрожащий кузов.— Раз-два — взяли! Боеприпасы ведь. А ну-ка еще — взяли! — Санитарный пункт был слышен издалека. У каждого рода войск — свой голос. Санбат принимал всех и тоже имел свой голос. Из самой утробы. Из раздутого от боли горла. Из запекшихся от жара непослушных губ, не подвластных ни разуму, погруженному во тьму, ни приказу, не доходящему до сознания, ни просьбе, которая как воздух, как ничто. Несколько палаток под засохшими деревьями. В них, должно быть, тесно: перед палатками в ряд носилки. Может, тем, что снаружи, лучше. Ночь теплая, а под брезентом душно. Душно от пылающих тел, от хлороформа, от запаха крови, от стонов, которые сливаются, сплетаются и не могут вырваться на свободу. Курылюк сразу увидел врача. Ему и раздумывать не пришлось, он его тотчас узнал — и не по лицу, не по рукам. По халату, который только на спине был белый. А спереди — кровь. Пятно на пятне. Доложил ему о Башиньском, и врач пошел к нему. По пути успел еще затянуться толстой самокруткой, а Курылюк тем временем успел сказать: — Офицер ведь, товарищ капитан, из тех, варшавских, с восстания, я уж думал, весь дух из него вон, а он духом крепкий, надо бы взять его в первую очередь.— Врач посветил фонариком в глаза Башиньскому, заглянул в них, раздвинув вспухшие веки. Выпрямился, затянулся два раза самокруткой, снова присел. Пульс искал. Долго искал, наконец нашел. И стал вслушиваться, как в стук телеграфа. Стук — буква, стук — буква, и вот уже слово и целое предложение, какая-то весть, плохая или хорошая.— Еще стучит, только что я могу сделать? Я тут режу, пилю и зашиваю. Что я могу, Курылюк? Здесь трепанация нужна. Не нам это делать. Оставь его. Через час придут машины. Буду отправлять раненых на тот берег. Если твой выдержит еще часок, погружу и его.— Я же говорил, что все без толку,— подал голос санитар, который пришел с Курылюком,— бывает, что дух еще чего-то не доделал на этом свете, а человек уже все сотворил, и нет ему дела до своего духа.— Если выдержит, отправлю на тот берег,— повторил врач и вернулся к тем, у кого еще были силы напомнить

о своем существовании. А Курылюк со вторым санитаром вернулись в Ной Рюдниц, в деревню, где стало почти совсем темно, потому что все, что могло гореть, уже сгорело. По дороге они еще думали о Башиньском, а потом пришлось подумать и о себе. Выпить хоть кружку кофе, съесть хотя бы сухарь, набить сумки новыми бинтами... Машины, которые должны были прийти за ранеными, прибыли с большим опозданием. Врач ругался, раненые нервничали, а Башиньскому было все равно.— Где третья машина? Должно было быть три машины, а их только две! — крикнул врач, тряся кулаком у самого носа сержанта.— Спятишь тут с этими машинами и со всем,— отвечал сержант, не очень-то испугавшись хриплого голоса врача.— Мы ехали на Густебизе, еще утром там мост был. Доехали до переправы — ни моста, ни саперов, известно только, что мост сплавили аж до Литцегерике. И газуй, человече, сквозь проклятую тьму, а на шоссе толчея, как на ярмарке, газуй до этого Литцегерике.— Но ведь должно было быть три,— настаивал врач, верно, уж только из принципа: что толку теперь говорить, от разговоров машин не прибавится. И он стал ходить от палатки к палатке, поднимал брезент, светил фонариком и указывал окровавленной рукой, потому что всего пять минут, как закончил операцию: — Этого, этого и этого берите, этого тоже,— а потом выбирал из тех, кто лежал перед палатками, вокруг палаток, и голосом, которого сам не узнавал, говорил: — Этого погрузите, тот может подождать, этого осторожно, и еще этого, и этого.— Шел быстро, но выбирал медленно. Места на машинах осталось мало, даже на трех грузовиках не уехали бы все те, кому надлежало уехать. И смотрел он на желтые, словно восковые, почти совсем обескровленные лица, заглядывал в глаза, пока еще открытые, пытаясь почувствовать, угадать: этого непременно надо — если сделать ему переливание, выживет. Этого тоже надо. Если дотянет до лазарета, там уж не дадут ему отдать концы. А у этого худшее позади. Может обождать до утра. Две машины были уже загружены до предела, когда врач вспомнил о Башиньском и пошел к нему. Поручик лежал немного в стороне, под деревом. Будто нездешний — не тронутый ни скальпелем, ни иглой. Врач вспомнил о нем и подумал: а ведь чуть не забыл. Все время несут новых раненых, и о них сейчас нужно думать, а не об убитых. До всех дойдут руки, до убитых тоже, но у тех, кто еще судорожно цепляется за жизнь, как утопающий за соломинку, сейчас преимущество. Когда брали Ной Рюдниц? Полдня его брали, значит, Башиньского могло хлопнуть около семи, ведь Курылюк притащил его часов в девять. А теперь уже за полночь. С оторванной рукой за это время можно изойти кровью, с пулей в животе — умереть дважды. А оторванная рука — не разбитый череп. Сержант бежит к врачу — спятишь не спятишь, а на раненых расписка нужна. Двадцать пять их. Всего-то и поместилось. Но разве это его вина? А врач, слыша крик за спиной, только ради долга человеческого, вернее, солдатского низко склоняется над Башиньским. Не было бы счастья, да несчастье помогло: боли, верно, совсем не почувствовал. Получил свое, и уж все разом. Четверть секунды. Всего столько и дал ему снайпер на прощание. А может, и того меньше? — Ехать надо,— напоминает сержант,— толчея на переправе, грязища на подступах, ползти будем, как за катафалком, а я не хочу привезти покойников, спешить надо.— Башиньский лежит прямо, неподвижно, со сложенными на груди руками, как его Курылюк оставил. И так же, как на болоте — с фуражкой под головой. Только теперь он на носилках. Сержант нервничает, а врач склоняется над ним еще ниже. Почти к самому открытому рту. Открытому в странной, будто издевательской усмешке. Лицом к лицу.— Неплохой ты был парень, если за четверть секунды успел еще и посмеяться над проклятой жизнью.— Ах ты, черт,— смягчается сержант,— здорово ему досталось. Упаси бог так схлопотать.— Лицом к лицу, а рука уже ищет руку. Обязанность, привычка, необходи-

мость? Даже когда глазом можно увидеть, когда ртом и ухом можно увериться, что finita la comedia. Можно? Врач сжимает пальцами пульс и смотрит на сержанта, хоть в темноте и не видит его лица. Только лицо Башиньского выхвачено из тьмы желтым лучом фонарика.— Жив, жив он.— Кто жив? — спрашивает сержант.— Поручик. Не видишь, идиот? — Не вижу,— честно признается сержант, потому что видит только лицо Башиньского, а между этим лицом и жизнью нет уже никакой связи.— Столько часов,— поражается врач, хотя видел уже много чудес и, казалось бы, не должен ничему удивляться,— железный парень. Надо уважить, пусть даже проку не будет. Берем его на машину.— Можно взять, только он помрет по дороге.— Врач обязан быть реалистом, но сержант сейчас еще реальнее смотрит на вещи: — Отчего бы и нет, можно, сейчас кликну санитаров, но машины набиты под завязку. Кого-то надо снять.— Не всунешь его? — Не выйдет. Там ведь живые люди.— Тогда снимем одного. Зови санитаров. Живым не доедет, но все равно он это заслужил.— Заслужил,— поколебавшись мгновение, соглашается сержант и подзывает двух санитаров с носилками. А врач стоит возле заведенных уже машин и решает, кого снять, кого оставить, чтобы грех был поменьше. Оставили старого капрала из второго батальона, который правой рукой поддерживал нечто, что два часа назад еще было левой рукой.— Укол получишь, братец, двойной получишь и даже не заметишь, как наступит рассвет. А с рассветом еще машины придут. Тебя первым посажу.— Уложили Башиньского в самом конце кузова. Там, где трясет больше всего, но выбора не было, а времени, чтобы что-нибудь менять,— и подавно. Машины медленно тронулись. Врач закричал вдогонку: — Ты скажи там, на том берегу, что машины должны быть не только для боеприпасов. Раненый солдат — тоже солдат, скажи им так.— Сержант крикнул, что скажет, но моторы, одолевая болотистую полосу, взвыли тяжко, и врач не услышал ответа. Зато молодой шофер, совсем еще сопляк, сидевший рядом с сержантом, выслушал короткий рассказ об убитом, но все еще живом поручике.— Только и будет толку от этой ночной тряски по выбоинам, что, как развиднеет, сможем ему порядочную могилу на нашей, польской, земле выкопать.— Это немало,— решил шофер-сопляк в съехавшей на лоб пилотке. И тут же выругался, потому что машина правым передним колесом угодила в какую-то яму и так всех тряхануло, что кузов откликнулся громким хоровым стоном.— Осторожней, Казик,— заметил сержант,— а то последний дух из них вытрясешь.— Чем ближе к мосту, тем медленнее ехали. Приходилось продираться сквозь сплошной встречный поток машин. Сержант время от времени выскакивал из кабины и, подняв кулаки, кричал: — Наср... мне на ваши пушки, раненых везу, пропустите, а то таранить буду.— Никто не боялся ни сержанта, ни его угроз, зато слова «раненых везу» понимали и съезжали на обочину, чтобы пропустить стонущие на двадцать четыре голоса два грузовика. Только тот, двадцать пятый раненый, молчал, словно и не замечал езды по ухабистой дороге. Так упорно и так безнадежно молчал, что сидевшие и лежавшие рядом стали все внимательнее вслушиваться в это молчание. Кто-то простонал: — Ох и болит, черт. Как реку перескочим, завою со страшной силой.— Не отказывай себе,— голос спереди,— вой тут; если болит, значит, все в порядке.— Тут выть? На швабской земле? — Снова грузовик въехал в какую-то яму и так накренился, что тот, двадцать пятый, безнадежно и упорно молчавший, как тяжелая колода скатился на ноги двух раненых. Один крикнул, другой взвыл, потому что Башиньский придавил ему ногу, забинтованную до самого колена. Попробовали положить Башиньского обратно на носилки. Только не было тут таких сильных. Тогда кто-то стал молотить кулаком по крыше кабины и бил, бил, пока грузовик не остановился.— Что случилось, ребята,— сержант открыл дверцу,— хотите, чтобы мы снова засели в этом му-

равейнике, я не доктор, если болит, значит, должно болеть.— Но ему сразу же объяснили, что им не доктор нужен, а сильный парень, который стащил бы этот молчаливый труп с изувеченных, но еще живых ног. Сержант подошел к кузову, откинул борт и стал возиться с неподвижным, а потому дьявольски тяжелым поручиком. Он еще раз увидел Башиньского, когда молокосос шофер тоже вылез из кабины и подошел к нему с фонарем. Сверкнул и тут же погасил.— Жуть. И чего мы везем его, сержант, мало, что ли, трупов на этом берегу валяется? Положим на обочину, утром найдут.— Не твое сопливое дело, Казик,— спокойно сказал сержант,— твое дело так баранку вертеть, чтобы он в другой раз с носилок не слетел.— И поехали. Светало уж, когда одолели мост. Тут можно было и прибавить газу, шоссе, пусть изрытое снарядами, все же лучше, чем колдобины, ямы да грязное месиво, что остались на западном берегу.— А ты, Казик, не жалуйся,— ворчал сержант, хоть тот и не жаловался, даже рта давно не раскрывал,— ночная езда — дерьмо, но уж лучше в дерьмо въехать, чем под бомбы немецкие угодить. Днем-то они и на одиночные машины охотятся. А у нас следующая ездка в три или четыре машины будет. Видал, какая там мясорубка? — Такого еще, поди, не было,— согласился Казик, и потом они уже молча доехали до Морина, где разместился вполне солидный, хоть уже порядком забитый ранеными госпиталь. Остановились возле одноэтажного дома, подождали немного, пока во двор не въехал и второй грузовик. Только тогда сержант побежал докладывать что и кому положено. И доложил примерно так: куда должен был доехать, доехал, что должен был привезти, привез. Двадцать пять их, то есть двадцать четыре раненых и один покойник. Почти все из-под Ной Рюдниц. Санитары снимали уже с машины раненых и укладывали их на кудрявом газоне, на сочной зелени. Раненые гладили траву руками, щеками прижимались к ней. Один сорвал пучок травы, сунул в рот и жевал, как кролик. Забыли уж, всего один день в окопах, болотах, на искореженной, черной земле, а уж забыли, что существует еще на свете такое вот зеленое и пахучее. Во двор вышел майор, а сержант на положенной дистанции за ним.— Двадцать четыре, говоришь... а один у вас в дороге умер? — Да как сказать,— пробормотал сержант,— он уже на том берегу не жил, только чуть пульсу в нем было.— Значит, жил,— майор остановился и накинул на плечи белый халат, принесенный рыжим санитаром.— По-моему, не жил,— подумав, повторил сержант.— Тогда зачем брал его на машину? — Капитан, то есть врач, приказал. Настоящего раненого снял, а этого положил в кузов.— Майор пошел за сержантом, который издалека видел, куда положили Башиньского. Опять немного поодаль, как там, за Одрой. Раненых на газон, а поручика на дорожку, ведь у каждого глаза есть и каждый видит, что надо. Неужто труп вместе с ранеными класть? — Вот он, этот самый, товарищ майор. В голову его, а каски не было, так бы хоть немного соскользнуло. Двадцать часов назад, а то и больше.— Но что ему часы. Он ведь их не считает. Желтое лицо Башиньского еще больше пожелтело в утреннем свете, а свернувшаяся кровь стала еще чернее. Лежал теперь поручик, широко раскинув руки,— у одного Курылюка и было немного терпения, чтобы руки ему по-людски сложить на груди. Майор остановился и с минуту смотрел, а сержант стоял, отступив на шаг, и даже не смотрел, уж столько насмотрелся на это лицо, на разбитую голову Башиньского, что на неделю хватит, а то и на месяц. И майор уж было хотел отойти, заняться более важными делами, делами живых, но ему словно преградили путь нелепые слова сержанта: «По-моему, не жил, только чуть пульсу в нем было». Он присел на корточки возле Башиньского, нащупывая пульс, который подает последний сигнал о жизни. И вдруг, выпустив эту тяжелую руку, бессильно упавшую на песок, крикнул: — На стол его, быстро на стол! — Как же это, товарищ майор,— съежился сер-

жант, - мы уж его на дороге хотели оставить. Что это значит — на стол? — Что значит? — сопел майор, торопясь к госпиталю.— А только то и значит, что его на стол надо. Пока пульс у человека хоть как у воробья, все возможно. А ведь этот поручик не воробей.— И два проворных, сильных санитара склонились над носилками. И быстро понесли это упрямое, непокорное тело, которое даже на своем, польском, берегу не хотело заключить союз с землей.— Видал, парень? — Сержант подошел к шоферу и, будто не веря, долго качал головой.— Видал, как держится старая гвардия? — Я думаю,— сказал шофер, глубокими выдохами разделяя слова,— я так думаю, товарищ сержант, что немцы именно поэтому не сумели нас одолеть. Великая твердость в нас есть.— Тоже правда,— согласился сержант и с надеждой взглянул на госпитальное окно, за которым, наверно, уже началась операция,— а вообще-то мне кажется, у этого поручика есть еще какое-то важное дело. И прежде чем умереть, он должен сделать его.— С зеленых газонов уносили раненых. Наступал обычный и очень напряженный день в военном госпитале. Поручик Башиньский вел свой последний, решительный бой. Кто верит в бога, тот пусть молитвой поможет ему в этом бою. Кто не верит, пусть ему на счастье кулаки сжимает. Пока есть пульс, хоть совсем слабый. Пусть сжимает кулаки на счастье.

Перевод с польского Д. ШУРЫГИНА

Из португальской поэзии

В 1979 году я побывала в Португалии — ощущение узнавания, даже сопричастности, навеянное в какой-то мере предварительным, «литературным» знакомством, не покидало меня в течение трех месяцев, проведенных в стране. В Лиссабоне, «вертикальном» городе, расположившемся, подобно легендарному Риму, на семи холмах, множество литературных памятников: монументов крупнейшим писателям, музеев, заповедных уголков и мест, так или иначе связанных с биографией и творчеством поэтов и романистов. Еще больше помогли мне почувствовать душу этой страны встречи с людьми, в том числе с двумя из трех поэтов, стихи которых впервые представлены ныне на суд читателей «Иностранной литературы» — Софией де Мелло Брейнер Андресен и Эужению де Андраде. Эти встречи дополнили прежнее, «книжное» представление о них, рельефнее высветив колоритные фигуры их обоих.

«Присутствие» в португальской столице третьего поэта — Жоржи де Сена, одного из крупнейших поэтов, новеллистов и литературоведов современной Португалии (он умер в 1978 г.) — можно было ощутить лишь косвенно, по рассказам его друзей и учеников, продолжающих и теперь, как прежде, собираться в его уютном домике около знаменитой Беленской башни.

Подобно подавляющему большинству португальских писателей, Жоржи де Сена не был профессиональным литератором. Он работал инженером-строителем, потом служил в армии. За антиправительственную деятельность неоднократно подвергался репрессиям и, чтобы избегнуть ссылки в концлагерь Таррафал на Острова Зеленого Мыса, в 1959 году покинул родину. Жоржи де Сена эмигрировал сначала в Бразилию, где преподавал в университете философию и литературу, с 1965 года он читал курс португальской литературы в одном из университетов США.

Творчество Жоржи де Сены, антифашистское по самой своей сути, характеризуется прежде всего убежденностью в высоком назначении поэзии помочь человеку выстоять.

Тридцать лет он жил в фашистской Португалии. В стихотворении «Свора», одном из программных, поэт передает гнетущую атмосферу «огромного, властного, пещерного города» Лиссабона, атмосферу предательств и преследований: неотступная свора собак — гротескный образ португальского гестапо — преследует человека по пятам. Однако поэт угадывает «всю тоску собачьей суматохи» фашизма, противопоставляя ей «привычное спокойствие работы» — сопротивление и созидание. Здесь и кроются истоки его философской лирики, где строгая форма сонета противостоит окружающему распаду мысли, где ощутимо стремление поэта проникнуть за временную видимость вещей к их сути.

Софию де Мелло Брейнер Андресен я увидела в первый раз в Национальном центре культуры, во время обсуждения одной из тех острополитических книг, издание которых в нынешней послереволюционной Португалии нередко вызывает бурные дебаты представителей различных партий. Хрупкая женщина показалась мне до странности беззащитной в этом сборище тщетно пытающихся перекричать и переспорить друг друга мужчин. Это впечатление хрупкости, женственности не исчезло при более тесном знакомстве, хотя оно и дополнилось новыми, едва ли не вытесняющими один другого образами: София — активная деятельница Ассоциации португало-советской дружбы и Ассоциации португальских писателей; София — заботливая жена и мать многочисленного семейства; София — светская дама, хозяйка литературного салона.

Основная особенность поэзии Мелло Брейнер, устремленной на «поиски реального»,— в обостренном внимании к повседневному, к тайному смыслу, заключенному в простых вещах, с детства окружающих человека. Слияние с населяющими дом предметами повседневного быта, с окрестным пейзажем — морем, тенистым садом, ветром, туманом, сверкающей белизной раннего утра, ощущение себя частицей живой природы — и составляет сущность ее поэзии.

Однако пантеистическое мировосприятие, ощущение единства с предметами окружающего мира, ясность и умиротворенность чувств, стремление к гармонии неизбежно вступали в противоречие с действительной жизнью. Ведь «португальское время» — речь идет о дореволюционном португальском времени,— застывшее и бесплодное, безжалостно обнажающее гнетущую пустоту дней, «песком утекает сквозь пальцы» и «пронизывает, как линзу», «разделяет человека на части».

После апреля 1974 года София де Мелло Брейнер активно ратует за создание истинной культуры для народа, поэзии, «понятной каждому», поэзии «для всех».

Представление об Эуженио де Андраде, поэте и человеке, прочно связалось у меня в сознании с Порто, северным центром португальской культуры, городом, напоминающим литературный музей под открытым небом. Вот уже несколько десятилетий живет там поэт Эуженио де Андраде, являющийся гордостью образованных португальцев, населяющих этот старинный город.

Дом Э. де Андраде, с интересным собранием полотен современных западных живописцев, гравюрами и эскизами, с обширной библиотекой, своим «художественным беспорядком» напоминает скорее ателье художника. И потому хозяин дома — неброско одетый худощавый человек средних лет с обходительными манерами — производит сперва неожиданное впечатление своей деловой скрупулезностью, не свойственной, казалось бы, служителю муз. Скромный служащий Муниципальной палаты (он работает в Обществе социально-медицинского обеспечения) и в то же время один из лучших португальских поэтов, Андраде весь свой досуг отдает творчеству.

«Писать — отнюдь не простое дело. Чаще всего у меня возникает ощущение, будто я, влекомый неведомым ритмом, попал в лабиринт и преследую нечто, от меня ускользающее,— это нечто я отчаянно люблю и стремлюсь обладать им — и тогда начинается борьба не на жизнь, а на смерть, требующая от меня полной отдачи сил»,— так рассказывает Эуженио де Андраде в одном из многочисленных интервью о своем литературном труде.

Переводчик итальянской, испанской, древнегреческой поэзии, Эуженио де Андраде придает большое значение совершенствованию формы стиха. Современники называют Андраде «классиком», имея в виду чувство меры, законченность его произведений. Лирика Эуженио де Андраде, напоминающая, по словам португальского литературоведа Оскара Лопеша, музыку Моцарта, пронизана светом, золотыми отблесками земного счастья.

Каждого из трех поэтов, представленных сегодня на страницах журнала «Иностранная литература», трудно причислить к какому-нибудь одному литературному направлению, хотя их поэтике не чужды разнообразные влияния. Но всех их — и Жоржи де Сену, и Софию де Мелло Брейнер Андресен, и Эуженио де Андраде — объединяет главное — «поиски реального», в какой бы форме они ни проявлялись: в интеллектуальной и одновременно чувственной лирике Жоржи де Сены, в исполненных внутренней гармонии строках Софии де Мелло Брейнер Андресен или в озаренных отблеском земной радости стихах Эуженио де Андраде.

Е. РЯУЗОВА

ЖОРЖИ ДЕ СЕНА

Невстреча

Бесплодный поиск... Улицы ущелье
сырой опустошенностью гнетет.
Свет поделился надвое: на тот,
чьи блики на домах заледенели,

и тот, что на скользящем мимо теле
рисует лунный трепетный обвод,
когда оно возникнет и пройдет,
чужою жизнью проступая еле.

ЖОРЖИ ДЕ СЕНА — JORGE DE SENA (1919—1978).
Португальский поэт, прозаик и литературовед. Автор многих сборников рассказов и стихов, из которых наиболее известны «Философский камень» («Pedra Filosofal», 1950), «Очевидности» («As Evidências», 1955), «Верность» («Fidelidade», 1958), «Метаморфозы» («Metamorfoses», 1963), «Заклинание» («Exorcismos», 1972) и др.
Публикуемые стихи взяты из антологии «Поэзия — I» («Poesia — I», 1961).

И все разобщено. Хотя бы жест
ответил жесту, взгляд, чтобы прожег
чужое безразличие. Окрест

лишь одиночество прохожих светится.
Искать напрасно: если одинок,
и повстречавшись — не сумеешь встретиться.

Свора

Ослабли руки, чья сила
лишь тогда сохранялась, когда терялась,
расходуясь, она прибывала,
но недавно услышал я близкий лай
и не знаю, смогу ли в себе найти
достоинство, которое придавало бы шагу твердость,
помогало бы не сутулиться,
не озираться
и даже шляпу держало бы на голове.
Где его мне найти, чтобы, слыша лай за спиной,
ощущая собачью слюну и украдку поджатых когтей,
так шагать,
словно небо звездами оплетено,
а улицы — ветками тишины?
Когда они сгрудились под фонарем,
я все же прошел мимо них,
и дошел, и перевел дыханье.
И позднее, видя за тусклыми стеклами влажную тьму,
видя пустыню и прошлое, которое всем завладеет,
различая сейчас эти губы, которые будущее сотрет,—
я почувствовал всю тоску собачьей суматохи,
тоску их лая...
И привычного спокойствия моей работы —
ибо то, что мне осталось, уже ни к чему...
Та же тоска, что и прежде,
и если сегодня они залают у меня под окном,
не знаю, что и делать —
то ли швырнуть им кость,
то ли совсем опустить руки...

. . . . . .

Будь что будет, не все ли равно...
Само собою...
Но я ощутил вкус слюны, бродячие псы!

Ода платанам

Струится ветер шумом листопада,
в зеленоватом золоте стволы
столетние, где свет играет с тенью.
О золотые узловатые платаны! —
опять пришла и вас утешит осень
оцепенением. Уже близка зима
с растительною благостью забвенья.

Так больно и легко вас созерцать,
когда листва летит с оцепенелых веток,
скалистые стволы и крон охапки,
хруст веток в одиночестве замшелом
и в звонко чистой синеве пространства
покорное падение листа.
Сухие, легкие, почти как тени,
листы проносятся по мокрой гальке.
Среди ночей — холодных, металлических,
прозрачно-звонных, мглою занавешенных,
вы стылые туманы раздираете
бесчисленными лапами ветвей,
о золотые узловатые платаны.

■ ■ ■

И чувства и сознание в смущенье:
реальны взгляд и видимый предмет,
реально существуют тьма и свет
во времени и в нашем ощущенье.

Но приглядишься: в свет и тень одет,
предмет всегда во власти освещенья
и в постоянном предстает смещенье,
закутанный в изменчивость примет.

Увиденное ты осмыслить сможешь
и вдруг гармонию живую сложишь
из признаков, прочтенных по складам,—

подле тебя таившуюся годы.
Ты здесь смущен, и все в смущенье Там:
Бог — это целомудрие природы.

Эоловы арфы

Жестоко вдохновенье, вечен вдох;
страданье холод формы побороло,
взгляд нежностью спеленат и, тяжелый,
в рожденном звуке выдох изнемог;

я осязаю мир, как ветер голый,
взгляд, словно ранний бриз, в траву прилег;
когда же свет мои слова зажег,
мысль стала не моею, но — Эола.

Исходит от вещей дрожащий звон,
мысль слушает, как, в звуках растворен,
мир каждому ее порыву вторит.

И арфа ветра запевает вдруг,
что видимость вещей — чистейший трюк:
исчезнет, лишь глаза усталость сморит.

Перевод М. САМАЕВА

СОФИЯ ДЕ МЕЛЛО БРЕЙНЕР АНДРЕСЕН

Муза

Научи меня песне, муза,
Самой древней и самой достойной,
Песне, понятной каждому,—
Научи меня песне для всех.

Научи меня песне, муза,
Справедливой и милосердной,
Освещающей ночь лучами
И совсем незаметной днем.

Научи меня песне, муза,
Чтобы я к себе возвратилась,
Чтобы стала такой спокойной,
Как растенья и валуны,

Чтобы стала стеною дома
Или ласковым бормотаньем
Голубого чистого моря,
Чтобы в песне гудел прибой.

(Запах чистого пола,
Прохлада вымытых досок —
Приходит на память
И пронизывает насквозь.)

Научи меня песне, муза,
Чтобы в ней пело море,
Чтобы играло солнце
Бликами на волнах,
Чтобы окно раскрылось.

Я рассказать сумею
Про переливы света
На скатерти и на двери,
В зеркале и в стакане,
Когда по ним луч проходит.

СОФИЯ ДЕ МЕЛЛО БРЕЙНЕР АНДРЕСЕН — SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN (род. в 1919 г.).

Португальская поэтесса и общественная деятельница. Автор поэтических сборников «Стихи» («Poesia»», 1944), «Хорал» («Coral», 1950), «Расчлененное время» («No Tempo Dividido», 1954), «Книга шестая» («Livro Sexto», 1962), «География» («Geografia», 1967), «Двойственность» («Dual», 1972) и др., а также сборника рассказов «Назидательные истории» («Contos Exemplares», 1962) и книг для детей.
Публикуемые стихи взяты из сборников «Книга шестая» («Livro Sexto», 1962) и «География» («Geografia», 1967).

Время меня отвлекает,
Пронизывает, как линзу,
Разделяет на части
И не дает мне слиться
С каждой знакомой вещью,
С домом, в котором живу.

Научи меня песне, муза,
Научи меня песне старинной,
Чтобы в ней отразилось утро
Ярким блеском на каждой грани,

Чтобы утро клало на дюны
Свои легкие светлые пальцы
И белило стены и двери
Моего прохладного дома.
Научи меня песне, муза,
Песне, сжимающей горло.

Я не оскорблю тебя

Я не оскорблю тебя стихами,
Вспомню о тебе, и взгляд застынет,
Я не сочиню прекрасной песни из терзаний совести
ранимой,
Мир твой был простым и человечным,
Без прикрас — с деревьями и небом,
С трудною судьбою, с тем бездонным,
Что не смею выразить словами.

Блудный сын

Отказавшийся от наследства,
Растерявший честность в обманах,
Сытый черным хлебом разлуки,
Ты вернулся на пепелище —
Ни души — только ветер свищет.

Потом

Когда исчезнет пепел дней погибших,
Уйдет ночей безжизненных пустыня
И растворится дымка наважденья,
Которая бесформенно висела.
И, завершая муку превращенья,
На глади моря вдруг проглянет суша,
Омытая слезами искупленья.

■ ■ ■

Жизнь моя — это море, апрель, переулок,
Мое существо — это глаза, заглянувшие в душу вещей,
Жизнь моя прислушивается
К фразе, которая слово за словом
Проступает во времени и пространстве,
Называя по имени вещи.

Не ищу совершенства в себе, я ищу его в мире.
Оно существует.

Пока ему нет объясненья.
Я смотрю на предметы,
Их мысленно соединяю —

Квадрат окна,
Зелень вечерней звезды,
Золотой полумесяц августа,
Серп утомленной жницы,
Дрожь просящей руки,—
Вот моя жизнь, вот лицо мое —
И не спрашивайте документов —
Нет у меня ничего, кроме мира,
Я не даю адресов, интервью,
Нет в моей жизни событий, не ждите моих суждений,
Во всем, что я вижу,— сама растворяюсь,
И растворюсь постепенно —
Это вы называете смертью.

Перевод О. ЧУГАЙ

ЭУЖЕНИО ДЕ АНДРАДЕ

To a Green God [1]

Он сумерек очарованье нес,
он чистым родником в глухом лесу был.
А тело его было — как река:
спокойно омывало берега
в тот час, когда вода идет на убыль.

Он шел, неутомимый пешеход,
он шел, не помышляя о привалах.
И от его шагов росли вокруг
безудержные травы, а из рук
стволы росли, когда он поднимал их.

[1] Зеленому богу *(англ.)*.

ЭУЖЕ́НИО ДЕ АНДРАДЕ — **EUGÉNIO DE ANDRADE** (род. в 1923 г.).

Португальский поэт, переводчик современной итальянской и испанской поэзии, а также древнегреческой поэзии.
Основные сборники стихов Э. де Андраде: «Руки и плоды» («As Mãos e os Frutos» 1948), «Любовники без денег» («Os Amantes sem Dinheiro», 1950), «Запретные слова» («As Palavras Interditas» 1951), «Темная власть» («Obscuro Dominio» 1971) и др.
Публикуемые стихи взяты из «Краткой антологии Эужения де Андраде» («Antologia Breve Eugénio de Andrade», 1972).

Он улыбался странно, как танцор.
Дрожало тело и листву теряло.
Оно дрожало с головы до ног
в том вечном танце, что придумал бог,
и тело эти ритмы повторяло.

Он мимо нас прошел своим путем
как бог, который вечно ходит мимо.
Чужой картинам и словам земли,
лишь песне флейты, слышимой вдали,
всегда открытый... и всегда ранимый.

Ожидание

Я буду ждать тебя здесь, где ноет
глубоко вонзенной иглою изгнанье.
Я буду ждать, пока не изменит
законов мира мое ожиданье.

Пока не лопнет безжизненный камень
и не покроется зеленью нежной.
Пока из горла не вылетит птица
и в тишине не исчезнет безбрежной.

Шум

Шум птицы, мимо пролетевшей,
я вспоминаю.
А может, это был лишь вечер,
взлететь хотевший.

Но это было дуновенье
всего живого,
и это было — как прощенье
греха былого.

Или Ничто прошелестело,
или ресницы,
которые взлетают смело,
как птицы,

но не летают...

Неправда

Падает холод на город, межзвездный падает холод
и застывает, как лед, на улицах онемевших.
Это не день и не ночь — это жгучей памяти время,
памяти о вещах, возраста не имевших.

В руки твои, изношенные плетением меланхолий,
падает без усилий то, что могло лишь присниться:
страна в ореоле свободы, страна в ореоле веселья,
страна в золотом ореоле растущей на воле пшеницы.

Но смерть гуляет по комнатам, по трапу на борт восходит,
на городских перекрестках ее встречают со страхом,
глаза у нее — зеленые, цвет одеяния — белый,
пальцы ее холодные пропахли золою и прахом.

Между бесцветным небом и горами черного угля
времени запах гнилостный на мостовую стекает,
льются тени домов и тени мачт корабельных,
лишь на камнях мостовой кровь, затвердев, сверкает.

Неправда — сладостный дух из парфюмерных лавок,
неправда — тысячи роз, срезанных, духовитых...
Сколько дымных мостов, сколько черной одежды,
сколько убитых часов и голубей убитых!

Не надо мне запахов этих, не надо мне столько яду,
не надо этих закатов с подрисованными глазами,
не надо мне ни ночей, ни ледяных рассветов,
ни поцелуев в лоб, смешанных со слезами!

Светает...
Перечеркнул петух тишину ночную.
Я вижу твое лицо сквозь крыши, меж веток зеленых,
я вижу утренний сад, где день занимается светлый
для двух счастливых, для двух неразлучных влюбленных.

Серенада

Иду навстречу тебе. Ищу
доброту, крестьянское небо,
деревья, где солнце и дождь
спят на одном листке.

Сильней невозможно любить.
Ты — полдень мой и простор!
Что дать я могу тебе:
бессонницу, кровь, телеграмму, ладонь?

Я здесь, о чело, в ореоле
вопросов, рыданий, теней.
Прими эту скрытую нежность,
этот плененный жасмин.

Ты на губах у меня. Ты в огне,
в хлебе, в воде.
Ты по ту сторону зла.
Возрождаешься ты по утрам.

Темная власть

Любить тебя так открыто
между свежей глиной и пеклом.
Из растресканных губ твоих шумно
втягивать темное пламя.

Плавно скользить по отвесу
горла, быть музыкой тихой
между ключицами, в ямке,
куда тишина стекает.

Безудержный пламень пожара,
белизны разрыв и сожженье,
к поцелую от поцелуя
усиливающееся головокруженье.

Проникнуть в песок сыпучий,
в стихию огня проникнуть,
в свет погрузиться сожженный
твоего зрачка голубого,

в золото, вечереющее
меж сомкнутыми лепестками,
в глубоком и судоходном
заливе желанья,

где исколота иглами нежность,
скорчившаяся у входа,
где я обнажиться заставлю
твои подспудные воды.

Слова

Слова —
они как кристалл.
Одни — как кинжал,
как пожар.
Другие —
всего лишь роса.

Приходят таинственно, полные памяти,
плывут ненадежные,
как лодки, как поцелуи,
дрожат, как вода.

Они беззащитны, невинны,
легки.
Сотканные из света —
они же есть ночь.
И бледно-зеленый рай
напоминают порой.

Кто слышит их? Кто
их подбирает такие —
жестокие, освобожденные,
в раковинах чистых?

Перевод ГЕРМАНА ПЛИСЕЦКОГО

ХАЙНАР КИПХАРДТ

Герой дня

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого М. ФЕДОРОВА

— Кого я вижу! Рудат! Спец по нужникам! Неужто до сих пор тебя земля носит?!

Столь достопамятной фразой унтер-офицер Цимер, впервые за долгие годы самоотверженной казарменной службы прибывший в мае 1943 года на фронт, приветствовал своего экс-новобранца Рудата, столкнувшись с ним в окопе на тихих позициях у реки Сейм.

На этом боевом рубеже закрепились в начале мая остатки 88-й пехотной дивизии, которые, несмотря на кровавые мозоли и кровавый понос, доблестно выдержали славное зимнее отступление доблестной 2-й армии. Полное поражение под Воронежем, под Курском еще того хуже — сдохнешь и поминай как звали, под Касаблановкой [1] немного воспрянули духом, получив свиную тушенку и прослушав знаменитую речь рейхсмаршала, в которой были такие слова: «Путник, если ты придешь в Сталинград, скажи, что ты видел павших по велению закона». Фраза, как видите, классическая, произнесена хладнокровно и очень к месту, если учесть, что высокий боевой дух нужнее всего там, где уцелело мало танков и солдат.

Кстати, здесь и тех и других осталось так мало, что армейское командование и речи не заводило о 88-й пехотной дивизии, а не долго думая, сформировало из остатков этой и других дивизий новую, 327-ю, и срочно запросило из Берлина пополнение. Причем, конечно, не столько из-за малочисленности боевого состава, сколько ради поднятия боевого духа: солдаты, казалось, просто-напросто израсходовали его, как мясное или табачное довольствие. По мнению штабных, не хватало в первую очередь унтер-офицеров, каковые должны были бы завернуть гайки и поднять дисциплину. Явления деморализации обусловлены слишком долгим пребыванием на фронте, а значит, шлифовка необходима. Вот почему унтер-офицер Цимер нежданно-негаданно получил предписание выехать на Восточный фронт.

[1] Названия небольших населенных пунктов даются в транскрипции автора *(прим. перев.)*.

© Autoren Edition, München, 1977.

ХАЙНАР КИПХАРДТ — HEINAR KIPPHARDT (род. в 1922 г.).

Немецкий драматург, писатель (ФРГ), доктор психологии. Автор более десяти драматических произведений, наиболее известны из них пьесы «Собака генерала» («Der Hund des Generals», 1962), «Дело Роберта Оппенгеймера» («In Sachen J. Robert Oppenheimer», 1964). Первый роман Х. Кипхардта «Мерц» («März»), вышедший в 1976 г., был удостоен премии г. Бремена. За телефильм по этому роману писатель отмечен «Призом Италии».

Предлагаемая вниманию читателя повесть «Герой дня» взята из одноименного сборника, вышедшего в 1977 г. (Heinar Kipphardt. «Der Mann des Tages und andere Erzählungen», München, Autoren Edition/c. Bertelsmann Verlag, 1977).

Унтер-офицер Цимер, дока по части «двойной головы»[1], был родом из Вестфалии — края краснозема, верности и животноводства. Превыше всего он ставил долг и не выносил расхлябанности. Требовал порядка, послушания и серьезности. В целом чуждый душевных переживаний, он мог впасть в меланхолию, если из-под пилотки новобранца торчали вихры, ибо считал, что в прическе раскрывается душа солдата. Медленно шагая вдоль шеренги и обозревая в лупу затылки, он контролировал души. Рекруты, поглощенные только мыслями о собственной стрижке, неподвижно глазели в пустоту, в этот-то момент Цимер и прибегал к своему излюбленному трюку: внезапно хватал за задницу первого попавшегося солдата, дабы проверить, соответствует ли напряженность мускулатуры уставу. Если да, он давал команду на перекур. Милостиво позволял угостить себя сигарой и упивался созерцанием редкостного усердия, с каким новобранцы подносили ему огонь. В такие минуты он ощущал гармонию миропорядка, принимал подарки и склонялся к мысли, что человечество способно исправиться. Иное дело, когда попадалась вялая мускулатура. Тогда его охватывало горькое сознание тщеты всех усилий поднять человека из животного прасостояния до настоящего солдата.

«Вы что, думаете, что солдат, точно какой-нибудь скотник или подручный пекаря, может увильнуть от повиновения там, где командир не в состоянии его проконтролировать? Думаете, устав — это развлечение вроде детективного романа или баловства с девками, а? Нет, тупицы вы безмозглые, устав есть устав! А ну, приседания на-а-чать!»

Говорил он так не по злобе, а по соображениям служебного долга. Это видно хотя бы из того, что он заставлял делать приседания не проштрафившегося новобранца, а всех остальных. Прием педагогически очень эффективный и сопряженный с двумя преимуществами. Во-первых, тем самым было создано упражнение в повиновении, причем весьма трудное, ибо именно в силу кажущейся бессмысленности и несправедливости оно полностью отвечало нормам воинской дисциплины. Во-вторых, оно крепило благородные принципы солдатской дружбы, ибо уже через четверть часа поголовно все проникались горячим стремлением выбить виноватому зубы, и заметьте, унтер-офицер, которому устав воспрещал распускать руки, был тут совершенно ни при чем. Начальству бить рекрутов незачем, для этого существуют друзья-солдаты.

Практикуя это упражнение, унтер-офицер Цимер мог спокойно выжидать, пока какой-нибудь рохля попробует расслабиться. Он ждал и пять минут, и десять, но всегда попадал в точку. Однако нарушения дисциплины с чудовищной неумолимостью следовали одно за другим. Тогда Цимер перебрасывал отделение на другой участок и заставлял солдат, к вящему восторгу девчонок-подавальщиц, ползать по-пластунски в грязи за столовкой.

Стоя на старом макете танка, Цимер наблюдал, как новобранцы во всех деталях воспроизводят ход знаменитой битвы на Мазурских болотах. Когда он расстегивал шинель, его внушительная фигура определенно смахивала на Гинденбурга. Цимер знал об этом сходстве и втайне им гордился. Он даже стригся ежиком и копировал квадратный лоб своего кумира, ежедневно выбривая отрастающие волосы в соответствии с портретом генерал-фельдмаршала. В результате долгих тренировок подпись его тоже стала по-гинденбурговски выразительной и размашисто-уверенной, придавая реестрам и постовым ведомостям, которые он подписывал, некую значительность.

Мазурская битва возле канав, за которой Цимер следил со своего командирского танка, протекала на удивленье примитивно и сводилась в основном к тому, что новобранцы, изображая стремительное отступление русских, ползком перебирались по грязи с одного ската канавы

[1] Карточная игра.

на другой, то и дело поворачивая, когда Цимер кричал: «Артобстрел с фронта!» или: «Артобстрел с тыла!» На радость девчонкам из столовки. Заканчивалась битва, только когда рекруты были уже не в силах взобраться вверх по крутому откосу или, во всяком случае, притворялись, что не могут этого сделать, и, тяжело дыша, оставались лежать в грязи. Тогда Цимер давал команду построиться и с высоты танка обозревал унылую шеренгу, воняющую грязью и кухонными отбросами, каковые столовая в нарушение всех приказов сливала в канаву.

— Думаете, раз потыкались мордой в прокисшую лапшу, так я не вижу, что у вас за мыслишки? Думаете, службе конец и через час каждый получит здоровенную порцию жратвы и накачается пивом? Нет, ошибаетесь, через час Пауль Цимер устроит вам бал-маскарад. Форма одежды парадная. Разойдись!

Рекруты вопили «ура!» и мчались к казарме занять очередь в умывалку. Ведь кранов не хватало, и опоздавший до конца дня, в течение всего личного времени, будет служить объектом воспитания кружка любителей «двойной головы», основанного Цимером. Ему придется таскать ящики с пивом, сигареты, бутылки можжевеловой, копченую колбасу и, наконец, девок из столовой для рядового состава. А потом убирать помещение и чистить загаженный нужник. Затем он сервирует кофе и оплатит в задней комнате хозяина столовки небольшой счетец, если он не страдает склонностью к депрессии или самоубийству. Счет оплачивался, конечно, вопреки категорическому запрету унтер-офицера Цимера, чьи представления о чести оставались незыблемыми даже в состоянии полного опьянения.

За всю историю кружка счет не был оплачен только раз. То был загадочный случай с новобранцем Рудатом, который направил по команде жалобу на Цимера и других картежников и оставшуюся часть срока обучения провел в каталажке. Десять недель кряду двенадцать ротных унтер-офицеров, корифеев в области воспитания личности воина, делились с этим рекрутом своими профессиональными знаниями, а он так и остался непокорным и себе на уме, отказываясь выполнять любой приказ. Своим неразумием он поколебал веру Пауля Цимера в то, что всякий человек в конечном счете воспитуем, и Рудат был досрочно откомандирован на Восточный фронт, ибо Пауль Цимер не мог дольше выносить вида этой наглой ухмыляющейся рожи. И вот теперь, к своей превеликой досаде, Цимер вдруг встретил его живым-здоровым, да еще в чине старшего рядового.

Сидя на ящике с минами, Рудат уплетал песочный пирог из посылки. В пакет мать положила фотографию. Как она состарилась. В очках. Улыбается. Пишет, что теперь прилично зарабатывает шитьем, потому что всех портных призвали в армию, и копит ему на учебу. Он спрятал снимок в солдатскую книжку и расстегнул френч. Солнце уже здорово припекало. Взгляд его упал на яркую литографию на стенке окопа: голая баба в одном-единственном полосатом чулке. «Крестьянская Венера» Зеппа Хильца, любимого живописца фюрера. Красоток вроде этой солдаты развесили повсюду в тех местах, которые просматривались с русских позиций. В случае нехватки цветных картинок прибегали к самодельным рисункам, большей частью примитивным, но доходчивым. На своем берегу русские уснастили просматриваемые участки всевозможными лозунгами: «Гитлер капут!» или: «Да здравствует революция во всем мире!» Все знали, что в этих местах надо держать ухо востро: снайперы не дремлют, и на пулю обычно нарывались только новички, расположившиеся писать письма или по нужде.

Мать писала, что от отца третий месяц нет вестей. Отец был в Бухенвальде. Последний раз Рудат видел его семь лет назад. Перед вто-

рым арестом. Ранним утром, в излюбленное для арестов время. Под песочным пирогом еще одна фотография: отец в пенсне, мать, стриженная под мальчика, и он, Рудат, в шерстяном костюмчике от Бляйле. В ту пору отец был редактором окружной рабочей газеты «Пролетарий». И эту карточку Рудат тоже спрятал в солдатскую книжку. Потом вытащил из посылки мешочек с кремнями, пакетик сахарина и фунтовую пачку соли. Все это можно выгодно обменять у местных жителей на яйца или сало. Городок Рыльск, спускавшийся к самому Сейму, был только частично очищен от гражданского населения. За один кремешок давали четыре-пять яиц. Рудат раздумывал, не отдать ли сахарин Башаровым — матери, двум дочерям и худенькому мальчику. Он частенько заходил к ним.

Познакомились они две недели назад,. когда какой-то пьяный ефрейтор учинил в прихожей дебош, пальнув в кошку и разбив три лампочки, так как ему, видите ли, не открыли дверь и тем самым нанесли оскорбление. Когда Рудат вмешался, ефрейтор поспешил раз десять заверить его, что он самый смирный человек на свете и поэтому не терпит грубостей и бесчестия. Девчонки в это время отсиживались на чердаке. Старшая чуточку смахивала на японку, только была покруглее. Она во все глаза смотрела на Рудата, а Рудат — на нее. На секунду у него даже мелькнула мысль о любви с первого взгляда, но потом он сообразил, что девчонка просто боится. Тогда он повесил автомат на вешалку и сказал по-русски: «Все дерьмо». Она засмеялась. А он добавил: «Гитлер ж...». Девушка опять засмеялась, и с тех пор Рудат стал туда захаживать. Таня — так звали девушку — знала всего несколько слов по-немецки, а Рудат столько же по-русски. Они нравились друг другу, и по ночам Рудат иной раз воображал, какая у нее грудь. Но он никогда не бывал с нею наедине... Размышляя о Тане, Рудат отсыпал половину сахариновых таблеток в подарок Башаровым.

— Кого я вижу! Рудат! Спец по нужникам! Неужто до сих пор тебя земля носит?!

Рудат узнал Цимера, но продолжал невозмутимо копаться в посылке.

— Тут что же, мода такая — не вставать, когда с тобой говорит начальник? — елейно сказал Цимер.— Встать! Шапку долой! Ишь патлы распустил, как шлюха в ванне!

Цимер подходил все ближе. Рудат поднял глаза. Заметил прямо у него за спиной, на уровне бычьего затылка, изображение «Крестьянской Венеры» и почему-то вспомнил, как однажды утром со злости плюнул Цимеру в чашку, когда тот в четвертый раз погнал его за кофе — кофе, видите ли, был то слишком холодный, то слишком жидкий, то слишком горячий.

Цимер извлек из нагрудного кармана складные ножнички, которыми обыкновенно кромсал новобранцам вихры. Рудат по-прежнему сидел с посылкой на коленях. На секунду Цимер опешил. Потом потянулся к Рудатовой шапке, но тут... солдат рванул его к земле да еще двинул кулаком в зубы. Послышался тонкий свист, и на глазах у старшего рядового Рудата «Крестьянская Венера» лишилась левой груди. Цимер лежал на спине, верхняя губа разбита в кровь, рот приоткрылся, обнажая короткие сероватые резцы и золотую коронку. Ноги дергались, как у лягушки под током. Наконец он поднялся и заорал, даже не успев перевести дух:

— Я вас под суд отдам! Там мигом спесь собьют! Нападение на командира!

— Ошибаетесь,— сказал Рудат.— Я вас от смерти спас. Снайперы.— И показал рукой на безгрудую литографию.— Ваши ножницы.— Носком сапога он подвинул их к Цимеру.

— Поднять ножницы! Поднять!

— Какие ножницы? — спросил Рудат.

— Придержите язык, вы, вошь недобитая! И нечего ухмыляться, точно медовый пряник!

— Я не смеюсь,— сказал Рудат.— Просто у меня парализована щека, еще с первой здешней зимы. Это вам не Мазурские болота.

— Лечь! Ах ты погань! Висельник! Лечь! Лечь! Лечь!

Рудат с любопытством разглядывал физиономию Цимера. Обрюзгшие щеки, молочно-голубые глаза, беспокойно шныряющие в жировых мешочках, орущий рыбий рот, большие мясистые уши, которые при каждой команде двигались то вверх, то вниз, бледнели, набухали. Рудат соображал, где он мог видеть похожую морду, и наконец вспомнил. В концлагере Дюрргой под Бреслау[1] весной 1933 года, когда одиннадцатилетним мальчонкой ездил навестить отца.

В белой матроске, держась за руку матери, он стоял возле железных ворот, горло забито пылью, потный, стиснутый со всех сторон женщинами и детьми, которые пытались высмотреть мужей, братьев, отцов среди бритых наголо узников в полосатых робах и деревянных башмаках, тройками бегущих по шлаку вокруг блока и распевающих, что на лугу цветет крохотный цветик под названием вереск. Порой кого-нибудь из них выкликали, и он мчался к воротам, к шефу отделения СА... Внезапно мать сказала: «Отец» и позвала: «Гарри! Гарри!», а он никак не мог понять, что человек с яйцеобразным черепом, без очков, с разбитым носом — его отец, пока не услышал голос изможденного узника, который сосредоточенно тянулся в струнку перед опухшим от пива штурмовиком и докладывал, стащив с головы полосатую шапчонку... голова сплошь в струпьях от бритвы... Штурмовик благосклонно вопрошал: «Хочешь посещения?», а заключенный отвечал: «Никак нет, господин отделенный!» — «А почему не хочешь?» — «Не заслужил, господин отделенный!» — «Почему же не заслужил?» — «Я письменно и устно порочил немецкую женщину, немецкую семью и мораль. Следовательно, на посещения не претендую, господин отделенный!» А близорукие глаза искали между тем бледное как мел женское лицо в обрамлении коротких волос и мальчугана в белой матроске, который даже идти не мог, когда мать потащила его прочь. На обратном пути в поезде она купила ему полфунта клубники, он съел ягоды, а потом его вырвало прямо на матроску, когда проводник выкликал остановки: Пристам, Грос-Вилькау, Нимпч, Бад Дирсдорф, Гнаденфрай... И сейчас, спустя десять лет, хватающая ртом воздух, багровая морда унтер-офицера Цимера живо напомнила Рудату того штурмовика.

— Лечь! Я вам приказываю! Вы что, отказываетесь подчиняться?

— Почему? — спросил Рудат.— Почему бы это мне отказываться?

Он застегнул френч и медленно лег на дно окопа, размышляя, как это он, Рудат, заметив дульное пламя, помимо своей воли умудрился рвануть унтер-офицера Цимера к земле.

— Встать! — орал Цимер.— Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь!

И Рудат медленно ложился и медленно вставал, пока не подошел обер-ефрейтор Пёттер. Он выплюнул окурок сигары и легонько хлопнул Цимера по плечу:

— Война дарует нам поистине великие мгновения. До сих пор я только раз видел столь преданную фатерланду голову — в нужнике своей бабушки. В порыве патриотизма старуха украсила это местечко серебряным рельефом немецкой овчарки. Глупость — прекраснейший из даров божиих. Ты, браток, не иначе как из Красного Креста, а? Катись-ка отсюда, любезный! Рудат в моем отделении, и в данный момент мы изо всех сил стараемся выиграть для фюрера войну. Салют!

---

[1] Ныне г. Вроцлав в Польской Народной Республике.

Он сунул Рудату под мышку автомат, отодвинул Цимера в сторону и вместе с Рудатом скрылся за поворотом траншеи.

Цимер просто онемел. В мозгу у него мелькало: «Бунт! Восстание! Законы военного времени!» Он лизнул губу, почувствовал вкус крови — во рту все словно шерстью обросло. Хотел было кинуться вдогонку, но не двинулся с места. Поднял ножницы. «Вот до чего дошло,— думал он.— Вот до чего докатился германский пехотный полк!» Ему вдруг открылись масштабы морального разложения. Какой тяжкий груз ответственности ожидает его! Что ж, он готов взять ее на себя. Как немец и как унтер-офицер.

«Верная моя Мина! — писал он жене.— Как я горжусь, что мне выпала великая миссия защищать фатерланд на переднем крае. Земля тут первосортная, как почти по всей Украине, чернозем — в самый раз для сахарной свеклы. Конечно же, земля толком не используется, пока нет немецкого крестьянина. Старослужащим, говорят, выделят от пятисот до тысячи моргенов: большевики по расовым и другим причинам слишком ленивы и не способны обрабатывать землю, а стало быть, их можно использовать только как грубую рабочую силу. Обратись в Материнский крест и назови ребенка Паулем, если вышло по-моему и родился мальчик, или Паулиной, если нет. Ты не поверишь, в какую кучу дерьма я угодил: военной выправкой и не пахнет, кругом необученные кляузники, но ты-то знаешь Пауля Цимера, вот и они с ним познакомятся. Я по-прежнему верен своему девизу: лучше быть, чем казаться. Виды на орден здесь хорошие, и отпуск я получу, ведь недаром я унтер-офицер с темляком. Уповаю на бога. Пришли мне сахарину и кремней. Русские бабы заросли грязью. С любовью. Твой Пауль».

— Ты новый взводный? Сходи к ротному. Привез что-нибудь приличное из выпивки? — допытывался посыльный, небрежно развалившись на столе и извлекая из надетой по уставу противогазовой сумки сигару.

Цимер встал и надраил сапоги, твердо решив терпеть все эти чудовищные вещи, пока не прозондирует почву и не выяснит, на кого тут можно опереться. Дал посыльному хлебнуть из бутылки «Хеннесси», которую он «организовал» в Конотопе с главного продсклада для штабных офицеров, потом прихватил с собой банку консервированного ростбифа и вместе с посыльным вышел из блиндажа.

— Рудат, на КП роты! — крикнул маленький радист из четвертого взвода, когда Рудат с Пёттером собрались смотаться с позиций, чтобы произвести кое-какой обмен.— Тебя Красавчик Бодо требует. Надеюсь, ты побрит и не забыл надушиться?!

— Плевать я хотел на Красавчика Бодо,— огрызнулся Рудат.— Ты нас не видел.

Они пересекли песчаную дорогу, замаскированную соломенными матами. Радист бросился следом, но в эту минуту пулеметная очередь прошила и его и мат. Перед смертью он успел только дважды повторить:

— Дерьмо. Дерьмо...

— Зови санитара Легкие в клочья. Молодой бегун должен был через две недели ехать в отпуск,— сказал Пёттер.

Рудат пошел за санитаром, а Пёттер тем временем обшарил карманы убитого. В солдатской книжке — фотография голой женщины, карточка Кристины Зёдербаум, киноактрисы, которую солдаты прозвали рейхсутопленницей, и русская листовка инструктирующая немецких перебежчиков, как им себя вести и по скольку человек лучше собираться.

Подбежал Эрнст Муле, денщик обер-лейтенанта Вилле:

— Рудат, старик, к командиру! Он уже на всех кидается, как бешеный пес. Тебя требует.

— Что стряслось-то?
— Извини, я не господь бог.
— Новый взводный был у ротного?
— Меня лично интересует говядина, а не взводный. Ну, жми.

Обер-лейтенант Вилле — в прошлом страховой чиновник довольно высокого ранга — был тонкой натурой. Вырос он в аптекарском магазине и всю жизнь ужасно страдал из-за своего писклявого, как у кастрата, голоса. Сколько он вынес мучений! И в школе, и в университете, и на службе, и от прекрасного пола. Хотя во всем прочем был совершенно нормальным и даже видным мужчиной. Долгое время он был безутешен и воспринимал свой недостаток как гнусную шутку природы, пока не заметил (в день своего тридцатилетия), что душа его мало-помалу становится все более утонченной. До такой степени утонченной, что он почел своим долгом взяться за перо и устремился разумом к высокой философии. Духовную утонченность Вилле связывал с досадным природным изъяном — чересчур маленькой гортанью — и писал эссе об игре в гольф, о стихиях, о тотальной мобилизации, о полете и строении души, намереваясь впоследствии издать их. Когда Рудат вошел в блиндаж, обер-лейтенант как раз делал пометки для своей книги. Рудат хотел было доложиться, но Вилле благосклонно махнул рукой. Кроме него здесь находились унтер-офицер Цимер и одетый в штатское переводчик, который что-то быстро говорил маленькому мальчонке. Этого мальчика Цимер обнаружил в расположении роты. Теперь дрожащий ребенок стоял с завязанными глазами у стены, мордашка его была мокрой от слез и пота. Он боялся, что его застрелят, судорожно сжимал в руках иконку и выкрикивал:

— Я принес ее солдатам! Солдатам принес! Пожалуйста, не стреляйте, господин офицер! Пожалуйста, не стреляйте!

— Кто тебя подослал? — орал Цимер, а переводчик лающим голосом переводил.

— Никто, господин офицер!

— Врешь! Тебя подослали партизаны!

— Нет, господин офицер, нет!

— Заткни пасть!

— Вы знаете этого мальчишку, Рудат? — осведомился обер-лейтенант Вилле.

Рудат знал мальчика. Это был тощий белобрысый отпрыск семейства Башаровых. Рудат помедлил, потом шагнул к мальчишке и снял с его глаз повязку. Мальчишка вопросительно уставился на него.

— Так точно, господин обер-лейтенант,— сказал Рудат.— Знаю. Я просил его приносить мне иконы. Я собираю иконы, господин обер-лейтенант.

— Ну, что я говорил, господа? — изрек Вилле своим невообразимым фальцетом.— Рудат, и никто другой. Не стоит преувеличивать, Цимер... Рудат, унтер-офицер Цимер — ваш новый взводный. Ступайте!

Рудат вывел мальчишку из расположения роты. Они шли рядом и молчали. Только у разрушенных колхозных амбаров Рудат заметил, что сжимает в своей ладони потную руку мальчика.

— Беги! — сказал он, сунув мальчишке пачку леденцов.— Мне пора обратно. Завтра приду.

Мальчишка не двинулся с места и объяснил, что Рудат должен прийти сегодня, Таня просила, она ждет его. Рудат молчал, но мальчишка не унимался.

Рудат огляделся по сторонам. Такое ощущение, будто кто-то за ним наблюдает, но вокруг ни души. Отослав мальчишку, он еще по-

кружил по улицам и наконец встретился с Таней в погребе дома, который снесли для строительства укреплений. Он спустился по лестнице, тщетно стараясь разглядеть что-нибудь в кромешной тьме. Пол сплошь усыпан осколками бутылок, которые скрипели при каждом шаге. Таня была одна и впервые за все время знакомства обняла его. Рудат неловко поцеловал девушку и попробовал расстегнуть ее блузку. Ощутил во рту привкус крови, ремень автомата соскользнул с плеча. Рудат убрал руку и поправил автомат.

— Мне надо уходить,— сказала Таня.— Ночью мы должны переправиться за Сейм, я и Тамара. Завтра всю молодежь из нашего района угоняют в Германию. Нам сказал один человек, он работает у немцев. Я хотела спросить тебя, где нам можно переплыть реку. Скажи, пожалуйста.

Все это она без запинки выпалила по-немецки. Похоже, зазубрила, потому что ударения расставляла совершенно бессмысленно. Лицо девушки было бледное как полотно. Она взяла его за руку и попыталась улыбнуться:

— Мы еще встретимся.

— Конечно,— согласился Рудат.

Подумал, потом сказал, что с одиннадцати до часу ночи он стоит в секрете. Описал дорогу к тому месту, где они с сестрой должны быть в двенадцать пятнадцать. Она повторила. Потом притянула его к себе, поцеловала, заплакала и опять поцеловала, а он мысленно твердил, что больше никогда не увидит эту девушку и никогда они не будут вместе, но вслух проговорил:

— После войны мы увидимся, Таня.

А она сказала:

— Да, конечно.— Хотя знала, что больше никогда не увидит этого парня и никогда они не будут вместе.

— Мне пора. У нас новый взводный. Ну, счастливо.

Он взбежал по лестнице, оглянулся, махнул на прощанье рукой — в темноте смутно белело ее лицо — и выскочил на улицу. Вокруг ни души. У Рудата точно гора с плеч свалилась: никто его не видел. Он сунул руку в карман, нащупал пакетик с сахарином и повернул обратно. Скрип стекляшек, кто-то метнулся в темноту.

— Стой! — крикнул Рудат, вбегая в погреб.— Стрелять буду! Выходи!

Перед ним стоял невысокий пожилой человек в никелевых очках. Руки он поднял над головой, потому что автомат Рудата был снят с предохранителя.

— Кто это? — спросил Рудат.

— Человек, который должен все знать,— ответила Таня.

— О чем? О нас?

— Нет. Сегодня через Сейм должны переправиться больше двадцати человек. Он отвечает за это.

— А мне плевать,— заметил Рудат.

— Почему?

— Я хотел помочь тебе, а не целой шайке. Ну, что еще?

Не опуская рук, человек спросил по-немецки, нельзя ли переправить на тот берег хотя бы четырех девушек. Рудат не ответил и полез вверх по лестнице. «Я веду себя как истеричный сопляк»,— подумал он, но не вернулся.

На улице он нос к носу столкнулся с Муле, денщиком обер-лейтенанта. Тот шел в роту. У Рудата мелькнула мысль, уж не подослал ли этого типа обер-лейтенант или Цимер. Но, поравнявшись с Муле, он увидел, что тот ходил выменивать солонину. Рудат отдал ему свой сахарин. Денщик ухмыльнулся, и Рудат подумал, что, если он не хочет вызвать подозрений, надо потребовать чего-нибудь взамен. И запросил полканистры бензина или мясные консервы. Шагая рядом с Муле, он волей-неволей выслушал историю о побочных заработках, которые

Муле имел в бытность свою ночным сторожем универмага, выполняя поручения частной сыскной конторы. Дело в том, что задняя стена магазина смотрела прямо в окна отеля «Континенталь», и просто не верится, как беззаботно иные даже весьма прожженные типы относились к мерам предосторожности по части сексуальных удовольствий, особенно когда последние носили противозаконный характер. Даже судьи, даже лица духовного звания, даже политики. Любовь превращает лучших из людей в недоумков, так что после войны Эрнст Муле твердо решил открыть на свои сбережения собственную сыскную контору и надзирать за нравственностью. Высокая мораль обеспечивает предприимчивому человеку неисчерпаемые деловые возможности, особенно если государство зиждется на порядке.

В роте Муле передал Рудату мясные консервы, которые, в свою очередь, получил от Цимера. Цимер велел ему следить за Рудатом, но Муле предпочел иначе распорядиться своим временем: пошел и выменял на солонину комплект офицерского белья. Кстати, он проворачивал операцию с этим комплектом уже в третий раз, ибо обыкновенно вручал белье по совершении сделки, а в тот самый момент появлялся его дружок и «реквизировал» как белье, так и солонину.

Войдя в блиндаж, Рудат заметил, что в его вещах кто-то рылся. Ему не удалось выяснить, кто это был, потому что Цимер услал весь взвод на подготовку запасных пулеметных гнезд. Военный идиотизм. Солдаты ворчали. Пёттер пока не вернулся. Рудат заглянул во вторую роту к ефрейтору медслужбы, рыхлому, невероятно разожравшемуся студенту-теологу по имени Вольциг. В обмен на тушенку Вольциг одолжил ему полдюжины икон, которые копил, чтобы во время отпуска продать антикварному магазину.

— Унизительно ничтожные деловые возможности предоставляет война в России тем, кому приходится ее выдерживать,— заметил Вольциг.— Просто жуть, если учитывать риск.

Рудат сложил иконы в ящик из-под боеприпасов и спрятал под нарами, снабдив перечнем. Потом, чтобы отмотаться от рытья окопов, сходил за довольствием для себя и для Пёттера и принес селедочные фрикадельки, белый хлеб, свиную тушенку, сигареты и пол-литра водки на каждого. Впервые с тех пор, как они тут обосновались. К чему бы это? Он поел фрикаделек, выпил водки, залег на нары, устроив из одеяла занавеску, и спал, пока дверь блиндажа не распахнулась и унтер-офицер Цимер не гаркнул:

— Смирно!

Вошел обер-лейтенант Вилле. Рудат отрапортовал.

— Вы правда собираете иконы, Рудат?

— Так точно, господин обер-лейтенант.

— Любопытно. Искусство на передовой. Такое встретишь лишь среди немецких солдат. Можно взглянуть на вашу коллекцию? — Обер-лейтенант улыбнулся. Цимер тоже расплылся в ухмылке.

— Так точно, господин обер-лейтенант.— Рудат достал ящик и извлек оттуда иконы вкупе с перечнем.— Я не знал, что господин обер-лейтенант интересуется византийской церковной живописью.

Цимер так и выкатил глаза.

— Разрешите доложить, господин обер-лейтенант, раньше ящика тут не было! — пролаял он, вытянувшись по стойке «смирно».

— Я вас не спрашивал, унтер-офицер! И полагаю, впредь тоже буду спрашивать не часто! Мы на фронте! А не в тыловой казарме!.. Откройте дверь!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант! — тявкнул Цимер.— Слушаюсь!

Рудат собрал иконы и приветливо посмотрел на Цимера.

— Это тебе даром не пройдет,— прошипел унтер-офицер.— Пауль Цимер тебе этого не забудет.

— Чего? — лениво протянул Рудат.

— Придержи язык! Захлопни свою вонючую пасть! Шагом марш на окопы! Шагом марш!

Но тут прогремел залп четырех минометов, и через несколько секунд на тот участок, где Цимер приказал рыть пулеметные гнезда, обрушилось сотни две мин. Блиндаж сотрясался от разрывов, все повалились на пол. Дверь сорвалась с петель, вход засыпало. При каждом вздохе в нос набивалась густая пыль. Когда взрывы стихли, послышались крики. В блиндаж вполз обер-ефрейтор Пёттер, сгреб Цимера за френч и зарычал:

— Кто послал ребят рыть укрепления? Ты? Ты? Ты?

Он швырнул Цимера на нары, опять рванул на себя, двинул ногой в пах и колотил об пол до тех пор, пока Рудат не оттащил его. Цимер, бледный и растерянный, бросился к выходу.

— Ты мне за это головой поплатишься,— с порога процедил он.

— Вон отсюда! — ревел Пёттер.— Вон!

Едва Цимер исчез, солдаты на плащ-палатках втащили в блиндаж два окровавленных тела. Одного вообще нельзя было узнать: ему раскроило череп и передняя половина лицом вниз лежала на груди.

— Кто это? — спросил Рудат.

— Вумме.

— За каким дьяволом вы все это сюда приволокли? — рявкнул Пёттер.— Малер, пойдешь вместо Вумме к пулемету.

— Тогда его порция тоже моя,— объявил Малер и, придвинув доску с тушенкой, перед уходом намазал себе несколько бутербродов.

Ночь была ясная и тихая. Над Рыльском вставала луна. Выйдя на улицу, Рудат беспокойно покосился на нее. Он думал о Тане и о низкорослом человеке в никелевых очках, похожем на деревенского учителя-пчеловода. Спал он тревожно.

Неудачи этого дня совершенно подкосили унтер-офицера Цимера. Выбривая лоб, он с необычайной отчетливостью ощутил, что здесь дело идет о жизни или смерти, о победе или поражении. Из круглого бритвенного зеркальца на него смотрел мученик с окровавленной бровью, с осунувшимся от боли лицом, ибо в паху вздулся солидный желвак. Мученик служения благородному солдатскому долгу, отринутый всеми, даже начальством, непризнанный, униженный, но не сломленный. Он твердо решил покончить с вонючей пакостью вроде Рудата и Пёттера, и вообще, пора навести порядок: от взвода за версту несет антисолдатским духом, чего стоят хотя бы все эти шарфы, которые рядовые носят вместо подворотничков. «Ну, времена! — думал Цимер.— Кадровый германский унтер-офицер вынужден утаивать от командира батальона преступление, жертвой которого он стал, утаивать только потому, что у него нет свидетелей. Не война, а паршивая авантюра! Вот они, причины сталинградского поражения! Неудивительно, что мировое еврейство поднимает голову. Но ничего, я вас, голубчики, отправлю в штрафную роту!»

Он смазал торчащие вихры бриллиантином и, захватив пачку «Атики», отправился к денщику Муле: он человек понимающий, в случае чего и совет даст.

Когда Малер разбудил Рудата — пора было идти в караул,— состояние Пёттера внушало серьезные опасения. За два часа он выхлестал манерку водки и литровую бутылку рома. Казалось, он не замечал вокруг никого и ничего, только минут пять кряду бессвязно сыпал площадной бранью. Кричал, пока не охрип. Может, из-за Вумме, вместе с которым пятнадцать лет работал в порту.

— К тебе любой сутенер на выучку пойти может,— восхитился кто-то из солдат.

— Мы не сутенеры,— рявкнул Пёттер.— Мы проститутки!

Никто не понял, что он хотел этим сказать.

— Как же ты пойдешь с ним в караул? — с сомнением спросил Малер.

— Ничего,— успокоил Рудат.— Два-то часа как-нибудь отстоим.

Он взял плащ-палатку и выволок Пёттера на свежий воздух, в светлую ясную ночь. На посту Пёттер тотчас захрапел. Рудат прикрыл его плащ-палаткой. Он собирался сказать Пёттеру насчет девушек, но теперь это было бессмысленно.

Час спустя четыре девушки в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет протискивались в дренажную трубу, проложенную колхозами для спуска в реку сточных вод. Труба была сантиметров восьмидесяти в диаметре, и раздеваться в ней было трудновато. Девушки пугливо поеживались. Узелки с одеждой они повесили на шею, иначе все намокнет. Трубу занесло илом, вода стояла по щиколотку и воняла жомом. До указанного Рудатом места нужно было проползти на четвереньках пятьсот метров. Чтобы поменьше бросаться в глаза в такую светлую ночь, они с ног до головы вымазались илом. Им было страшно.

Рудат наблюдал за устьем дренажной трубы. Оно находилось в бухточке, которая просматривалась только с его поста. Снедаемый тревогой, он курил, прикрываясь плащ-палаткой. Двенадцать десять. Ничего не видно и не слышно. «Наверно, не поверили,— подумал он. Возле самой трубы плеснула крупная рыба.— Значит, они все-таки там. Черт, пропади все пропадом».

— На мелочи упирать не стоит,— внушал Цимеру Муле.— Проступок в карауле, неповиновение — все это слишком обычные вещи. Надо бы, скорее, нажимать на то, что Пёттер торгует армейским имуществом. Это, конечно, тоже дело обычное, но задевает честь, как-никак преступление против собственности.

Расставшись с Муле, Цимер воспрянул духом. Перед ним открывались новые возможности. Пряный аромат ночного воздуха напомнил ему Вестфалию, возвращение из трактира домой. Вроде как деревья цветут. Он задумчиво помочился и вдруг заметил световые сигналы. Четкие световые сигналы, из городка. Цимер сбегал за Муле и, решив завершить свой первый фронтовой день геройским поступком, кинулся в роту собирать поисковую команду.

Рудат взглянул на часы. Двенадцать пятнадцать. Луна скрылась за облаками. «Ну же, давайте! — мысленно упрашивал он.— Чего вы ждете?» На той стороне захрипел динамик. Музыка. Не то Чайковский, не то еще что-то. «Какого дьявола?» Две фигурки выползли из трубы. Рудат поднес к глазам бинокль. Первая, наверно, Таня, хотя он представлял ее себе более упитанной. Девушки ползком пробирались вдоль ложбины, вымытой в береге сточными водами. Из громкоговорителя неслось:

— Товарищи из триста двадцать седьмой пехотной дивизии! Вы пришли сюда из-под Воронежа. Вы гибнете за безнадежное дело. Красная Армия сломала хребет Гитлеру. Но хребет Гитлера не обязательно должен быть и вашим собственным...

Рудат не прислушивался. Только смотрел на девушек: они уже доползли до реки и скользнули в воду. Темные живые пятнышки. Он затаил дыхание: по траншее кто-то бежал. Далеко справа затарахтел пулемет, обстреливая громкоговоритель.

— ...Есть две Германии — Германия кровавых нацистских паразитов и Германия трудового народа. Немецкий народ должен властвовать не над чужими странами, а у себя на родине. Вы должны очистить свою страну от нацистской чумы, обрекающей ваших родных и близких на голод и верную смерть. Товарищи из триста двадцать седьмой пехотной дивизии! Порвите с Гитлером и его военными прихвостнями, иначе вам не вернуться домой...

— Им легко умничать,— просыпаясь, сказал Пёттер. Потом опять зевнул и повернулся на другой бок. Девушки уже проплыли метров шестьдесят — семьдесят. Из трубы осторожно выбрались еще две.

— Часовой! Где часовой?! — послышался голос. Цимер.

— Тихо! — прошептал Рудат. Цимер приближался. Рудат выпустил в сторону Цимера белую осветительную ракету — чтобы предупредить девушек и затенить бухточку. Цимер мгновенно залег на дно траншеи. Девушки снова скрылись в трубе.

Цимер на карачках подполз в пулеметному гнезду — сейчас он задаст перцу этому часовому, конечно же, это не кто иной, как Рудат! — и заметил, что через реку кто-то плывет.

— Вы спятили? Неужели не видите, что тут происходит?

— А что происходит-то? — сказал Пёттер и вызывающе потянулся.

— В двухстах метрах от вас двое русских! Вот что!

— Где? — спросил Рудат. И, не сводя глаз с плывущих, которые были уже на середине реки, начал обстреливать противоположный берег.

— Ближе! Ближе!

Рудат лежал за пулеметом, чувствуя затылком пыхтенье Цимера. Скорректировал очереди по светящемуся следу и медленно повел огонь к середине реки. Девушки плыли быстрыми, неровными толчками. «Они будут считать меня сволочью,— думал Рудат.— Таня будет считать меня грязной нацистской свиньей. Отстреляю ленту, а потом скажу, что затвор заклинило. Отстреляю эту ленту, только в них ни за что не попаду».

— Левее, левее, идиот! — пыхтел Цимер. От него разило можжевеловой водкой. Рудат опять скорректировал огонь.— Еще! — Рудат напрягся изо всех сил, но Цимер упорно поворачивал пулемет в направлении темных живых точек. Светящийся след подбирался к ним все ближе. Девушки скрылись под водой. Трассирующие пули описали круг, вот и место, где девушки должны вынырнуть. Рудат хотел снять палец с гашетки, хотел крикнуть: «Затвор заклинило!», но увидел только, как девушки вынырнули в лунном свете ближе к тому берегу, почувствовал спиной тяжесть Цимера и еще увидел, как трассирующие пули настигли белые живые точки, и стрелял, стрелял, пока не кончилась лента.

— На сегодня все,— сказал Цимер, стряхивая с френча мусор.— Для этих мерзавцев купанье оказалось первым и последним. Согласитесь, Рудат, у Пауля Цимера и на фронте есть чему поучиться. Перемените позицию! — Очень довольный собой, он ушел собирать команду по розыску источника световых сигналов. Вот и встретился с врагом. Ничего особенного — он думал, что это куда страшнее.

Рудат повалился на пулемет, его тошнило. Слыша орудийные залпы с того берега, он мечтал, чтобы снаряды угодили сюда и разорвали его, смели с лица этой проклятой земли. Но стреляли дымовыми шашками, и скоро Сейм затянуло уже ненужной пеленой.

Пёттер поднял Рудата, который все еще корчился в приступах рвоты, и увидел, что парень сжег себе правую щеку — ведь он упал лицом на горячий кожух пулемета. Рудат был совершенно уничтожен. Его миловидное лицо дергалось, зубы стучали как в лихорадке.

— Что с тобой? — спросил Пёттер.— Неужели ты позволишь всякой сволочи куражиться над тобой?

— Это все Цимер. Я ничего не мог поделать. Я пытался. Это Цимер.

— Что Цимер? — не понял Пёттер.

— Это он застрелил девушек.

— Каких девушек?

— Таню и ее сестру. Им надо было на тот берег. Я же не знал, что сюда припрется Цимер. Не знал...

— Конечно, не знал,— успокоил его Пёттер.— Ты сделал все, что мог. Ведь не по своей же воле мы угодили в эту кучу дерьма.

— Мне нужно было ухлопать Цимера, а не стрелять по девушкам! Я сволочь и трус.

— Вот что, парень. Ложись-ка и поспи,— сказал Пёттер.— Войну не мы с тобой затеяли, наше дело смотреть в оба, чтоб не сдохнуть. И все.— Он оттащил пулемет в запасное гнездо и закутал парня в плащ-палатки. В лунном свете дымовая завеса над рекой казалась белой.

Этой ночью обер-лейтенант Вилле благополучно завершил новую главу своей книги. Называлась она «Боль как категория духа». Еще во власти творческого порыва Вилле зачитал ее вслух батальонному лекарю Хуберу, на редкость крупному детине, астматику, охочему до крепкого пива. Читал Вилле хотя пискляво, но лающим, командирским голосом, как бы приказывая слушателю задуматься.

— Боль есть средоточие личности. Лишь глубокое страдание облагораживает и дифференцирует, уводя наши помыслы к существу боли и к богу.

— Так оно и есть,— пробурчал Хубер.— Отчего, спрашивается, я пью как не от боли, снедающей измученную, взыскующую бога душу. Ваше здоровье.

— Боль, и только боль, способна на своих крылах вознести нас к богу. Что же заставляет нас бежать боли, обращаясь к таблеткам и анестезии, больницам и страхованию?

— Совершенно справедливо. Все это ерунда,— икнул лекарь.— Вздор.

— Война озаряет солдат-фронтовиков провидением грядущей великой боли. Число страждущих значения не имеет. Всемирно-историческая миссия нашей нации — на века уготовить боль для новой суровой личности.

— Замечательно, дорогой Бодо! — заплетающимся языком изрек Хубер.— Почему бы мне не пить, раз другие этого не выносят?

Он осушил восемнадцатую бутылку гамбургского «Сенатора» и повалился на пол спать, не внимая дальнейшим рассуждениям обер-лейтенанта.

— Где человек? — вопрошал Бодо Вилле, прервав чтение.— Где человек в этой духовной пустыне? — Снимая элегантные бриджи, он завидовал Сократу: у того не было недостатка в любознательных учениках.

«У старшего рядового Рудата симпатичное лицо, рыжие кудри и умные зеленые глаза»,— думал он. Свежие простыни слегка пахли можжевельником, и Вилле погрузился в сновидения.

Поисковая акция унтер-офицера Цимера прошла безрезультатно. Удалось обнаружить только плохо затемненную комнатушку, где какая-то старуха в нарушение всех предписаний гнала самогон из картофельных очистков и перебродившего свекольного жома. Даже полевая жандармерия наотрез отказалась принять рапорт. Тамошний обер-ефрейтор отозвался о донесении Цимера неуважительно и крайне бестактно. Фельдфебель, к которому Цимер, напирая на возможный

шпионаж и партизанские вылазки, обратился с жалобой, глупо ухмыльнулся:

— Ну, ты, видать, не иначе как из тыла явился.

И показал Цимеру карту области, где красной штриховкой были отмечены районы действий партизанских отрядов. В том числе район Рыльска. Потом достал из ящика листок бумаги — тетрадную страничку, исписанную по-русски,— и спросил:

— Чем господин военнослужащий вермахта считает эту вот записку?

Цимер пожал плечами.

— Это приказ о призыве, подписанный верховным командованием украинских партизан. Вчера изъяли у одного докторишки. Самто он приказал долго жить... Ну, мне пора! У нас тут кое-что еще запланировано нынче ночью.

Цимер вышел от фельдфебеля под впечатлением. Солдаты, не дожидаясь приказа, вернулись в роту.

Две машины, битком набитые жандармами, проехали мимо него на операцию: выгонять из домов и отправлять в эшелон молодых русских женщин. Пока Цимер шагал по враждебно затаившейся улице, в голове его снова шевельнулись малодушные мыслишки. Вдалеке послышался шум. «Мы слишком гуманны,— думал Цимер.— Застарелые германские нюни насчет гуманизма — вот что подрывает боевой дух!» Он хотел было устроить разнос солдатам, которые разбежались без приказа, но не рискнул сунуться в блиндаж к Пёттеру. У себя на квартире он аккуратно уложил под соломенный тюфяк свои суконные брюки и отбелил подворотничок. «Ничего, я вам еще покажу, где раки зимуют».

Ни свет ни заря Муле разбудил обер-лейтенанта Вилле:

— Повышенная боевая готовность, господин обер-лейтенант! На хуторе Плеское партизаны перебили отряд полевой жандармерии. Ну чисто зверюги... Это в четырех километрах отсюда. Никто и слыхом ничего не слыхал. Каждой роте приказано выделить один взвод на борьбу с партизанами.

Вилле мрачно слушал. Во сне его посетила великая мысль: отрешенная от боли красота кристаллов или что-то в этом роде. Как структура современной души или вроде того. И теперь он сердился. Возмущался, что его обременяют мелочами. Ничтожества. Вспомнить хотя бы, каким завтраком потчует его Муле. Топленым салом. И вообще, как он терпит этого Муле? Толстая морда проныры и соглядатая, ни намека на утонченность. Почему он не взял в денщики Рудата? Солдат молодой, иконы коллекционирует. Приятная внешность, неглуп.

— Тут воняет! — брезгливо сказал Вилле. И, заметив на полу в луже блевотины капитана медслужбы Хубера, плаксиво потребовал:

— Уберите эту свинью!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант! — козырнул Муле.— Только пусть господин обер-лейтенант сперва все-таки изволят приказать, какой взвод.

— Второй. Взвод этого псевдо-Гинденбурга, который постоянно действует мне на нервы своим усердием... Цимера...

— Кстати, о Цимере. Господин обер-лейтенант знают, что русские оказались бабами?

— Какие русские?

— Ну, те, которых Рудат нынче ночью скосил пулеметом. В карауле. Цимер их увидел. Хотели переплыть реку. Бабы, молодые голые бабы. Их прибило к берегу в расположении четвертой роты.

— Почему не доложили? — взвизгнул Вилле, усаживаясь в постели.

— Я думал, господин обер-лейтенант приказали не мешать. Как говорится, ввиду умственной работы.

Муле взвалил на плечо мертвецки пьяного лекаря и ухмыльнулся.

«Пора освежить тут воздух,— решил Вилле.— Ишь скалятся, пивные душонки. Подмазываются. Как это недостойно! Мне необходима чистая интеллектуальная атмосфера».

Обер-лейтенант тщательно умылся и натянул свежее, слегка пахнувшее духами белье. Он был очень чувствителен к запахам. С детства. Потом вызвал командира ротной группы управления, чтобы отдать необходимые распоряжения. Поинтересовался, какого он мнения о Рудате. Как возможном ординарце. Или кандидате в группу управления.

— Второй взвод, готовься! — гаркнул ротный посыльный, распахнув дверь Пёттерова блиндажа.— В семь тридцать вашего шефа вызывают на батальонный КП. Операция против партизан.

— А почему опять мы? — с набитым ртом спросил Малер. У него была язва, поэтому, едва продрав глаза, он начинал жевать, чтобы желудочный сок не бередил больное место.

— Потому как ваш новый взводный охоч до развлечений, я так думаю. Верно, Пёттер?

— Тоже мне открыл Америку,— пробурчал Пёттер, вылезая из-под одеяла. Рудата в блиндаже не было.— Где Рудат?

— В четвертой роте,— сообщил Малер.— Там, говорят, те две бабенки, с которыми вы разделались нынче ночью.

— Я пошел,— бросил Пёттер.

На пороге вырос унтер-офицер Цимер, чисто выбритый, портупея и сапоги сверкают, подворотничок белоснежный. Уставился на Пёттера в ожидании рапорта. Но тот застегнул ремень и шагнул мимо него к выходу.

— Вы куда?— осведомился Цимер.

— В нужник, если тебе так хочется знать,— огрызнулся Пёттер, обстоятельно раскурил чинарик и вышел.

— У него, видать, очень уж чувствительный кишечник,— заметил Малер.

Цимер лучезарно улыбнулся и достал блокнот:

— А у вас, надеюсь, не менее чувствительная память. Почему вы не побриты?

Малер снял с печки поджаренный хлеб.

— Почему вы не побриты, скотина? Встать! Смирно! — Малер вытянулся в струнку, и Цимер удовлетворенно отметил, что кое-кто из солдат тоже встал, хотя и с ухмылкой.— Хочу обратить ваше внимание на то, что через полчаса взвод должен быть умыт, побрит и одет по всей форме. Мы выступаем. Кстати, где наш друг Рудат?

— Убыл в четвертую роту, господин унтер-офицер! — доложил Малер.

— Прекрасно,— сказал Пауль Цимер.— Можете быть свободны!

Пёттер бежал через расположение. Он очень боялся, как бы парень не наделал глупостей, но, заметив Рудата чуть поодаль от группы молодых солдат, успокоился. На эскарпе лежали трупы девушек. У одной был в двух местах прострелен живот, у второй раздроблена ключица. Тела почти не обезображены. И цвет кожи не изменился, и не распухли. Обе были блондинки. Одна лет пятнадцати или шестнадцати, с едва наметившейся грудью и большими красными руками. Другая — лет двадцати, мускулистая, полная, с широким плоским лицом. Рот приоткрыт, на резцах поблескивают надетые для красоты металлические коронки. Ни та, ни другая не похожи на девушку, о которой рассказывал Рудат. Пухлый малый — отпрыск штудиенрата, недавно прибывший на фронт,— размахивая фотоаппаратом, отдавал распоряжения. Приспичило, видите ли, сфотографи-

роваться возле убитых. Он раздвинул им колени, чтобы были видны засунутые между ног бутылки.

— Кто это сделал? — спросил Пёттер.

— Тебе не нравится?

— Я спрашиваю, кто это сделал,— повторил Пёттер.

— А я спрашиваю, нравятся тебе эти девки или нет? — осклабился малый.

Пёттер шагнул к нему. Парень поправил ремешок фотоаппарата. Пёттер перегнал окурок сигареты в другой угол рта. Парень приготовился щелкнуть «кодаком», но в эту минуту кулак Пёттера со всей силой вмазался в пухлое, розовощекое лицо. Малый как подкошенный рухнул навзничь, изо рта и из носа брызнула кровь. Пёттер сгреб его за френч и успел двинуть еще несколько раз, потом их растащили, и кто-то крикнул «смирно!».

Унтер-офицер Цимер мигом смекнул, что происходит. Смекнул с удовлетворением. С раннего утра его не покидало предчувствие, что между мальчишкой с иконами, убитыми девчонками, световыми сигналами и его двумя любимцами существует какая-то связь. Теперь предчувствие стало подозрением. А это уже кое-что, если действовать с умом. Природный талант криминалиста, сызмальства оттачиваемый чтением дешевеньких детективов, расправил крылья. Надо найти русского мальчишку, затем по возможности выявить, кто стоит за его спиной, и, наконец, установить связи этих двух красавцев с гражданским населением. Главное — cherchez la femme [1]. Дельце для Муле, как по заказу. А чтобы эти подонки не сумели замести следы, немедленно обоих под арест, хотя бы на день-другой. Что касается Пёттера, все проще простого: истязание младшего по званию. С Рудатом сложнее. И тут Цимера осенило. Он показал на трупы и обратился к Рудату:

— Выньте бутылки.

Глаза солдата горели патологической ненавистью к начальнику, какую Цимер неизменно замечал у новобранцев, когда они были готовы отмочить глупость. Ну что ж.

— Я просил вас, Рудат, убрать бутылки,— ласково повторил Цимер.— Это приказ.

Рудат не шевельнулся.

— Очень глупо с вашей стороны, Рудат,— сказал Цимер.— Для ученого мошенника вроде вас чертовски глупо. Через десять минут доложите командиру роты, что отказались выполнить приказ. А вы, обер-ефрейтор Пёттер, пойдете под арест за избиение младшего по званию.— С этими словами Цимер удалился, гордо выпятив живот. Как замечательно, когда все наконец-то в твоих руках.

— Я частенько вижу вещие сны, это у меня от бабушки,— сказал Пёттер Рудату на обратном пути.— И знаешь, мне открылось, что в ближайшие дни этот предприимчивый патриот падет жертвой трагической случайности. Выйдет ночью проверять караул и наткнется ненароком на спотыкач от дисковой мины. Сволочь так и напрашивается.

— Если б он еще разинул пасть насчет бутылок, я бы его прикончил,— сказал Рудат.— Хватит, я в этом свинстве больше не участвую.

— Гордые речи прекраснодушного воина,— похвалил Пёттер.— Будь я в курсе, ничего бы не случилось.

— Ты был пьян.

— Верно. И тем не менее. Девчонки-то не те, про которых ты думал, а?

— Нет. Другие. Но что это меняет?

[1] Ищите женщину *(франц.)*.

— Очень многое. Солдат ведь как-никак не привык убивать родных и знакомых. Для этого требуется внутренняя убежденность почище нашей. Только где ее взять?

Рудат почувствовал, что ему и вправду стало легче. Без всякой причины, но стало легче. Теперь он мог взглянуть на случившееся со стороны и поразмыслить. Может, они давно убили отца в Бухенвальде, а он тут таскает им пулеметы до самой Волги и обратно до Сейма и убивает по ночам пятнадцатилетних школьниц.

— Хватит с меня. Я им больше не цепная собака. Нет.

— Да брось ты копаться в дерьме,— оборвал его Пёттер.— Я вчера сменял твои кремешки на копченую гусиную грудку. Съедим сегодня, перед тем как идти к Красавчику Бодо.

Пауль Цимер выбрал для рапорта на редкость неудачный момент. Обер-лейтенант Вилле только что получил приказ участвовать в операции против партизан. Надо сказать, речь шла не о какой-то заурядной акции вроде сожжения деревни или выкуривания бандитского гнезда, нет, речь шла о широкой карательной экспедиции против главного партизанского штаба, обнаруженного в Требловских лесах. Партизаны поставили под угрозу материально-техническое обеспечение и подготовку летнего германского наступления на Курской дуге. Вот почему возникла настоятельная необходимость бросить против них довольно крупные фронтовые части совместно с подразделениями СС и жандармерии. Самая грязная и опасная работа, какая только могла выпасть на долю строевого офицера. И самая неблагодарная. Вилле было поручено командовать батальоном. «Уж конечно, никто из господ батальонных командиров не пожелает расстаться со здешней спокойной жизнью,— кипятился Вилле.— Черт бы побрал это кадровое офицерство! Знай себе подыгрывают друг другу. В голове только лошади, бабы да ордена. И пьянки. A priori — это для них один сорт шампанского, а posteriori — другой. И все-таки самое ужасное в этих операциях против партизан то, что ни передовой, ни тыла попросту не существует. Черт подери, ведь специально в офицеров метят. Ох и проходимцы!»

— Значит, так, Муле: принесите мне обычный маскхалат, поношенный, потом теплые сапоги и обычную фуражку.

«Должно быть, их тысячи — ведь каждую неделю только в районе Сум взлетает на воздух больше двадцати транспортов. А они еще занимают деревни, взрывают склады боеприпасов и устраивают в лесу аэродромы! Что ж это за люди? Для чего им это? Кто их заставляет? Массовая муштра. Массовые рефлексы и бездумно затверженные пропагандистские клише. Выделяют жертвенное мужество, как собаки желудочный сок — по звонку. Ну и, конечно, атавизмы — жажда смерти, жажда убийства, страсть к разрушению и так далее».

— Мои личные вещи, Муле, в любом случае отправьте в дивизионный медпункт.

— Все?

— Конечно, все! — гаркнул Вилле.

Он подумал, не присовокупить ли к вещам и рукопись, но не мог с нею расстаться. Тонкие голубые странички, плоть от плоти его... Вилле торопливо перелистал манускрипт. В глубине души его всегда охватывало волнение при мысли, что он, Бодо Вилле,— автор.

В таком вот смятении чувств и застал раздосадованного Вилле унтер-офицер Цимер, явившись с докладом.

Он вызубрил свой рапорт наизусть, но так и не сумел его изложить. Едва услышав имена Рудата и Пёттера, Вилле страшно разорался. Он сыпал невразумительными проклятиями, обрушивался на кадровых унтер-офицеров с нападками, какие Цимеру и во сне не снились. Цимер до того оробел, что не осмеливался даже стереть

капельки слюны, которые Вилле вместе с бранью изрыгал ему в физиономию. Стоял как бронзовая статуя или как молочная корова в родной Вестфалии.

Поведение Вилле Цимеру разъяснил Муле, намекнув непристойным жестом на вполне допустимые педерастические наклонности обер-лейтенанта. В воображении Цимера заговор принял вовсе чудовищные размеры. Секунду он серьезно взвешивал, не нажаловаться ли ему на командира роты. Но здравый смысл и тактические соображения все же победили. «Надо уметь страдать за свои убеждения и выжидать».

Как ни омрачилось настроение Цимера при виде того сброда, что вопреки всем уставам был обряжен кто во что горазд — вылезшие из блиндажей солдаты походили на пехотный взвод не больше, чем обезьянья задница на человеческое лицо,— он не поддался на провокацию. Мало того, даже подольстился к Рудату:

— Я взял свой рапорт назад, Рудат. Забудем о нем. Не стоит отравлять друг другу жизнь.— Он и руку протянул, но Рудат ее не заметил.

— Не иначе Красавчик Бодо ненароком наступил нашему болвану на любимую мозоль,— сказал Пёттер.— Какого черта?! Лучше уж отсидеться в теплой кутузке, чем ловить по холоду партизан.

— Я им больше не цепная собака,— повторил Рудат, рассовывая по карманам лимонки.

— Вот что, милый друг, либо ты будешь делать то же, что и я, либо вообще ничего,— решительно заявил Пёттер.

Из своего расположения взвод прошлепал на батальонный КП. Откуда — на полковой. Из полкового — на КП вновь образованной ударной группы, развернутый в бывшем совхозном дворе.

Там солдат распределили по самоходкам, бронетранспортерам и машинам. Батальон Вилле вместе с мадьярами, власовскими казаками и литовскими эсэсовцами. Выдали водку и по две плитки шоко-колы. Национал-социалистский политофицер произнес речь, поминутно цитируя то германских философов Фридриха Ницше и Эрнста Юнгера, то непритязательные вирши какой-то медсестры.

Из его речи только с грехом пополам можно было понять, что населенные пункты партизанского края разрешено безнаказанно грабить. Большинство солдат уже изрядно подвыпили. Власовцы, выделывая головоломные трюки, гонялись на лошадях за свиньей. Визг, галдеж, улюлюканье. В обозе бабы. Вся эта низкопробность до глубины души возмущала Вилле. Черт знает что, так испоганить германскую идею! Ему было до тошноты противно, противно чисто физически. Получая приказ, он этого не скрывал и спросил:

— Почему водку не раздали позже и небольшими порциями?

— Потому что она нужна людям для работы,— отчеканил эсэсовский офицер, молодой хлыщ по фамилии Фюльманш.— Позднее вы поймете.

— Позвольте заметить, что мой батальон только координирует свои действия с вашим подразделением, однако не подчиняется вам,— холодно процедил Вилле.

— Несомненно. Поэтому вам и обеспечены все преимущества отдельного передового отряда. Равно как и эскадрону казаков, которые мечтают об автономии и тоже нам не подчиняются.

Вилле проглотил пилюлю. При обсуждении деталей карательной экспедиции ему пришлось еще не то проглотить. Он получил комплект боевых наград, в том числе несколько Железных крестов I класса и один Германский крест в золоте: батальон был отмечен особо, ибо иностранным подразделениям наград не полагалось.

Тем временем Рудат с Пёттером старательно набивали большой ящик из-под боеприпасов голландскими сигарами и австрийскими

сигаретами. Из запасов эсэсовского интенданта, который при скромных средствах обставил себе по-настоящему очаровательное гнездышко. Пёттер вскрыл его ломиком. Сейчас Пёттер сидел на стульчике в стиле рококо и пил шампанское, закусывая сырным печеньем. Рудат лежал на изящной дамской кушетке и глазел в потолок, разукрашенный охотничьими сценами в старонемецком духе: истекающий кровью благородный олень (четырнадцатилеток), преследуемый сворой собак, пересекал серебряную реку. Снаружи доносились свистки, выстрелы, грохот разогреваемых дизелей, разноязыкие команды.

— Грязная, истребительная акция, да еще с участием эсэсовских бандюг,— сказал Рудат.

— Точно,— отозвался Пёттер, обрезая голландскую сигару.— И я искренне заинтересован в том, чтобы ни ты, ни я не снабдили их первыми кандидатами на расстрел. Хороший солдат держится особняком, ибо только тогда он к концу войны останется в живых. Я всегда питал слабость к венгерской нации и венгерской кухне. А посему с помощью австрийских сигарет предоставил боевую силу нашего отделения в распоряжение венгерского продобоза, во обеспечение смычки с исконно германскими боевыми частями. По причине неблагонадежности мадьяры пойдут в середине колонны. Их шеф походатайствует перед Красавчиком Бодо, чтобы нас откомандировали. Пей.

Он налил Рудату шампанского. Тот выпил. Через окошко в уборной они выбрались из апартаментов интенданта и перед самым выступлением расположились на брезенте в кузове венгерского продприцепа, спрятав под плащ-палатками цветастые пуховики. Оба курили, глядя в бледно-голубое небо раннего лета. Облачка, тоненькие, как сигаретный дым. Зелень буков, будто свежелакированная. Моторы ровно гудели, прицеп покачивался, и Рудата клонило в сон. Он думал о Тане. Наверно, она все-таки спаслась... Рудат уснул. Пёттер вынул у него изо рта сигарету и швырнул ее на дорогу.

Колонна миновала хутор Плеское, сожженный дотла вместе со всеми хозяйственными постройками, жильем и молочной фермой. Пепелище еще дымилось. Тут явно поработали огнеметами два отделения саперов. Человек двадцать солдат завтракали, сидя под огромными вишнями. Опаленные кроны деревьев были пепельно-серые, вишенки съежились до размеров перчинки и почернели.

На опушке леса — трупы четырех жандармов, из-под брезента торчат только босые ноги. Среди убитых и тот фельдфебель, что поучал унтер-офицера Цимера.

Колонна длинной змеей медленно ползла вперед. Изредка вдоль дороги встречались деревеньки, все как одна безлюдные. Никто не знал, куда девалось население: то ли вывезено в Германию, то ли сбежало в лес. В одном из домов лежал в печке подгоревший, еще теплый хлеб. Не дождались, пока испечется. Власовцы шныряли по мазанкам, таща все, что под руку попадется, потом поджигали дома. Добыча убогая. Какой-то казачий офицер порол пожилого, хворого с виду киргиза за то, что тот высыпал из мешка овес и набил его русскими бумажными деньгами, которые нашел под полом разрушенной мельницы. Киргиз пихал деньги в мешок, а по лицу его бежала кровь.

Под вечер голова колонны беспрепятственно вышла к южной опушке Требловского леса.

Разбили лагерь, выдали продовольствие и спиртное.

Офицеров собрали на совещание. Шеф карательной экспедиции Фюльманш изложил обстановку:

— Все очень просто: четыре тысячи мерзавцев засели в лесу в районе Т., максимальная глубина — четырнадцать километров. Окопались по всем правилам, вооружены легким пехотным оружием и противотанковыми пушками. Все вокруг, естественно, заминировано.

Выступаем тремя группами. В течение ночи надо оцепить лесной массив. На рассвете начнем сжимать кольцо, постоянно поддерживая друг с другом связь. Задача дня: окружить партизан в квадратах С и Д 3—5 у деревень К. и Т. На следующий день при поддержке штурмовой авиации устроим мясорубку и, как водится, фейерверк.

Не дожидаясь вопросов, Фюльманш ушел.

Адъютант назвал командирам батальонов конечные пункты марша. Батальону Вилле вместе с мадьярскими подразделениями надлежит в ноль часов выйти в квадрат 4 (западная опушка) к населенному пункту Гульевка и установить связь с продвигающейся с запада группой Хоэнзее.

Вилле был раздражен хамской атмосферой совещания. Ему претил казарменный тон. Специально зайдя к Фюльманшу, он поинтересовался, какая судьба ожидает безоружное гражданское население. Фюльманш расхохотался.

— Для меня чрезвычайно важно установить, что ответственность за это несете вы,— сказал Вилле и холодно откланялся.

«Трагизм всех великих идей в том, что осуществляют их невежественные мещане. Поступки оскверняют замысел»,— записал он, вернувшись в батальон.

Потом долго изучал объявление о розыске партизанских вожаков. Пять плакатов с русским текстом: первоначально предполагалось, что развешивать их будут деревенские старосты. За соответствующую информацию населению сулили соль, спички и керосин. Батальонному командованию надлежало ознакомить с фотографиями личный состав. В случае поимки этих людей следовало сдать в гестапо. Неприметательные лица, решил Вилле, крестьяне, пролетарии, среди них еврей, типичный интеллигент, лицо асимметричное, вид неопрятный, волосы жирные, длинные. Судя по всему, партийные деятели, один в очках с никелевой оправой, какие в Германии даже больничные кассы уже не выписывают. Исключительно заурядные физиономии. Вилле сунул бумаги в планшет.

Муле доложил, что обер-лейтенанта дожидается какой-то эсэсовский интендант. Шумит, твердит, что, пока он отсутствовал, его квартиру обчистили люди из батальона Вилле.

Обер-лейтенант сдержанно спровадил его и дал приказ к выступлению. Интендант кричал что-то насчет воровства у своих и военно-полевого суда. Вилле только улыбнулся и велел запускать моторы. «Чиновничья душонка, нацистский бюрократ»,— думал он. Зато Муле заинтересовался описанием пуховиков. У него был нюх на подобные вещи.

Батальон продвигался на запад вдоль южной опушки леса. Длинное облако пыли. Хутора — обычно три-четыре деревянные хибары — и тут стояли пустые. Солдаты вылезали из машин, гоняясь за бесхозными курами. Разыскали даже брошенного на цепи молодого пса. Каждому хотелось погладить собаку. На одном чердаке наткнулись на гроб с медными ножками в виде львиных лап, полный репчатого лука. Шутки ради гроб прицепили к бронетранспортеру. После обыска спецкоманды, как водится, поджигали домишки. В ранних сумерках зарево было видно далеко. К Гульевке вышли без происшествий в 21.40. Вилле даже усомнился, что партизаны еще находятся в здешних лесах. Или они вовсе круглые дураки в военном деле. На его взгляд, операция велась слишком открыто.

Гульевка оказалась большой деревней, но людей и тут — ни души. Однако сносный ночлег подыскать можно. Жители, похоже, удирали сломя голову. В чердачной каморке осталась только какая-то умирающая старуха. Запах жуткий.

Вилле осматривал поповский дом. Одна комната битком набита иконами, расшитыми тряпками и всевозможной церковной рухлядью. Кругом лампады, черные кованые кресты, витиеватые латунные оклады. Странно. Чем-то они его раздражали. Пахло гнилыми фруктами и прогорклым маслом. «Холодная пышность окладов древних икон, только руки да лица выписаны кистью. Ни следа психологизма,— размышлял Вилле.— На всех руках стигматы, точно орнамент. Смерть, где твое жало?.. Глубокая связь греко-православного культа с болью. Надо бы изучить». Большое изображение Христа, очевидно алтарное, по всему образу — следы крови. Вилле разглядел в ранах тончайшие канальцы и спрятанные в доске баллончики с высохшей краской. «Ну и ну! Ох, хитрецы! — Открытие поразило его.— Культ, обман и массовое внушение. Надо бы поговорить об этом с Рудатом. За ужином. Не исключено, что этот хлам представляет художественную ценность. И может весьма украсить современный интерьер».

Он позвал Муле. Поручил ему разыскать старшего рядового Рудата и привезти сюда.

— У нас есть приличное вино?

— Так точно, господин обер-лейтенант! — проворчал Муле.

«Длинноносый золотушный кретин»,— сердито думал Вилле, усаживаясь в машину. Он ехал проверять меры по охранению населенного пункта и юго-восточного участка лесного массива.

Ни Рудата, ни Пёттера Муле не нашел, хотя вдоль и поперек исколесил всю Короленко, где стоял мадьярский штаб. Он мотался по деревне до тех пор, пока какой-то говоривший по-немецки фельдфебель не показал ему их квартиру. Увидев на койках цветастые пуховые одеяла эсэсовского интенданта, Муле прямо расцвел. В доме ни души. Чутье привело денщика в импровизированный офицерский клуб, точнее, штабной кабак. Офицеры, вино, бабы. И Пёттер тут как тут. Играют на сотенные билеты и на матрасы — небось из штабного имущества. «У-у, балканское отродье!»

Рудат сидел поодаль, бледный и пьяный. Чернявая бабенка прижимала его лицо к своему пышному бюсту и слюнявила поцелуями смазливую мордашку.

— Приведи мне парня в порядок! Покажи ему, чем может порадовать человека жизнь и вечная женственность! — гаркнул Пёттер.

Девица еще крепче притянула Рудата к себе и расстегнула блузку, оголив белую грудь.

— Не хочу! Сказано тебе: не хочу! — вяло отбивался Рудат.

— Ротный тебя требует,— сказал Муле.

— Сейчас? На кой я ему сдался?

— К сожалению, я не царь Соломон, а всего лишь Эрнст Муле. Пошли! — Он усадил вдрызг пьяного Рудата в коляску мотоцикла и помчался назад в Гульевку.

— Небольшой перерывчик,— обратился Пёттер к своим партнерам, которые явно были в проигрыше, и пошел к себе на квартиру. Там он постарался предусмотрительно спрятать вещички, позаимствованные у интенданта. А пуховики сменял у одного казачьего капрала на две трофейные оленьи шкуры. Капрал определенно остался в барыше.

— В сорок лет жизнь только начинается,— объявил Пёттер, тасуя новую колоду. Ему по-прежнему везло.

Обер-лейтенант Вилле схлестнулся в это время с казачьим атаманом, в прошлом землевладельцем с Дона. Кое-кто из его людей негласно мародерствовал в лесных деревнях. При этом два патруля подорвались на минах. Потери: четыре лошади и трое людей. Другие казаки, вернувшись в подпитии из лесу, открыли стрельбу и ухлопали немецкий спаренный пост. Еще двое солдат из второй роты бесследно исчезли. Вилле фальцетом пролаял, что расстреляет любого власовца, который без приказа покинет указанные позиции. Атаман держался невозмутимо: ему доставалось двадцать процентов всей добычи.

Вилле уже почти добрался до своей квартиры, когда его нагнал автомобиль с эсэсовцами. Обергруппфюрер — типичный ландскнехт с Рыцарским крестом — коротко сообщил ему приказ командования передислоцировать батальон в лесную деревню Хабровку, на семь километров в глубь леса, и блокировать с юга большой лесной проселок.

— А почему, позвольте узнать? — холодно осведомился Вилле, чуя каверзу Фюльманша.

— Потому что партизаны отошли на север, господин обер-лейтенант.

— И вы ничего лучше не придумали, как сообщить мне об этом сейчас, когда батальон уже занял позиции и расквартировался?!

— Вот именно,— сказал обертруппфюрер.— Это ведь операция против партизан, а не тыловые учения военного училища.

— Это я заметил,— съязвил Вилле.

— Что «это»?

— Что в вашем приказе и не пахнет теми азами военной тактики, которые, кстати сказать, изучают в училищах! У меня пока нет связи с Хоэнзее, и я считаю безответственным гнать ночью через партизанский лес батальон, сформированный наспех, да к тому же усталый!

— Наша задача ознакомить вас с приказом, господин обер-лейтенант, а не пускаться в дискуссии,— послышался из машины сипловатый голос. Вилле думал, что там никого нет.

Низенький, бюрократического вида шарфюрер СС включил карманный фонарик и делал какие-то пометки в черном блокноте. Справа и слева от него сидели дюжие эсэсовцы с автоматами. На Вилле он и не глядел. На рукаве шарфюрера виднелась эмблема гестапо.

— Есть еще вопросы, господин обер-лейтенант?

Вилле счел за благо воздержаться от вопросов, пробормотал что-то смягчающее насчет чувства ответственности, заботы о батальоне и прочая и прочая.

Он не договорил, с радостью увидев подъезжавшего Муле. Рудат вытянулся перед Вилле по стойке «смирно» и доложился.

— Отлично, Рудат,— сказал Вилле.— Погодите минуточку. Я только что получил приказ о передислокации.

Муле грубо выругался и развернул мотоцикл.

Луч света от мотоциклетной фары скользнул по лицам эсэсовцев в автомобиле.

«Быть не может! — подумал Рудат.— Я просто-напросто в стельку пьян. Таких лиц тысячи». В шарфюрере он узнал человека из подвала и отчетливо понимал, что ошибка исключена. Человека, который был тогда в никелевых очках. В темноте Рудат искал его глаза. И заметил, как один из сопровождающих навел на него, Рудата, автомат.

— Где-то я вас видел,— опять послышался из машины сипловатый голос.— Кажется, мы с вами уже сталкивались.— Фонарик осветил лицо Рудата, белые пятна вокруг ожоговых пузырей.

— Нет,— возразил Рудат,— я ни разу не имел дела с гестапо.

— Ни разу? — Человек задумчиво посмотрел Рудату в глаза. Потом погасил фонарик. Вилле облегченно вздохнул.

— Порядок,— сказал обертруппфюрер.— Через тридцать минут батальон должен быть готов к маршу, господин обер-лейтенант. Выступайте прямо на Хабровку. Вот здесь.— Он показал по карте.— Радиосвязь установите уже из Хабровки, так требует безопасность.

— А кто мне гарантирует, что дорога не заминирована? — спросил Вилле.

— Мы,— ответил обертруппфюрер.— Мы поедем впереди, чтобы вас, чего доброго, не напугали.—Он заржал, хлопнул обер-лейтенанта по плечу и уже на ходу вскочил на подножку машины.

Рудат глядел им вслед. Слышал брань Вилле, но не понимал слов. Парализованную щеку дергало, во рту все пересохло и склеилось.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант,— зачем-то сказал он.

Вилле посадил его в вездеход, распорядился на батальонном КП насчет передислокации и велел отвезти себя на квартиру.

— Что этому гестаповцу от вас понадобилось? — спросил Вилле, когда они с Рудатом остались наедине.

— Понятия не имею. Наверно, пошутить решил.

Оба замолчали.

— Вы меня тревожите, Рудат,— начал Вилле совсем другим тоном.— Честное слово. Скажите на милость, ну почему столько народу вас ненавидит? Цимер, Муле... или хотя бы давешний гестаповец. История с иконами, история с девчонками. Почему вас ненавидят? Мне бы хотелось услышать ответ.

— Не знаю, господин обер-лейтенант. Унтер-офицер Цимер знаком мне еще по казарме. Меня никогда не любили.

— Почему? Хотите, я вам скажу? Потому что вы, Рудат, человек неглупый и не скрываете этого. Умные люди всегда одиноки, Рудат. Очень одиноки. Поверьте, я могу об этом судить.

Он пристально смотрел Рудату в глаза. В его писклявом, как у кастрата, голосе звучали новые нотки, он словно пытался скрыть сильное волнение. «Ни дать ни взять отставной актер,— подумал Рудат.— Старая изолгавшаяся комедиантка». Вилле положил свою узкую ладонь ему на плечо и продолжал:

— Я хочу помочь вам, Рудат, ибо понимаю вас и чувствую, что и вы меня понимаете, чисто по-человечески. Вы не из середнячков, вы чужды обычности, чужды психологии толпы. У меня есть для вас сюрприз, вы будете довольны.

Он убрал руку с плеча Рудата, провел его в поповскую комнату и принялся рассуждать о мистерии искусства, которая есть не что иное, как открытая рана, о мифе страдания, первооснове всякой культуры. Показал Рудату лик Христа, блаженно кровоточащий из пятнадцати ран, и резиновые баллоны с высохшей краской. Разложил на аналое иконы с изображением пяти великомучеников, а под ними — пять объявлений о розыске партизанских вожаков, достав их из планшета. Физиогномические сопоставления. Говорил о бунте души против массовой цивилизации и болтовни насчет прогресса, о крестовом походе сокровенной искренности и о том, что Гитлер всего-навсего орудие мировой идеи. Рудат долго смотрел на фотографию человека в никелевых очках, потом сказал:

— Я должен идти. У меня вещи в Короленко.

— Вас отвезут. Надеюсь, мы вскоре сумеем продолжить нашу беседу в спокойной обстановке и поговорим основательнее.

— Охотно, господин обер-лейтенант,— ответил Рудат и подумал: «Мне только этого гомика не хватало».

Вилле изумился, застав в своей комнате Муле. Тот уплетал из банки селедку в желе и, по-видимому, уже давно подслушивал их разговор, не делая поползновений доложить о своем возвращении. На физиономии у него сияла добродушная ухмылка, ибо приехал он от Цимера, которому продал историю с пуховиками. Он, Муле, не намерен позволять всяким там извращенцам путать себе карты.

— Ты поосторожнее с Цимером,— посоветовал он, высаживая Рудата в Короленко.— Это большая лиса. Кстати, обер-лейтенант ничего тебе не говорил насчет группы управления?

— Нет,— сказал Рудат.— А при чем тут Цимер?

— Я тебе ничего не говорил. Сигареты есть?

— Ни одной.

Рудат не слишком доверял Муле. Настроение у него было препаршивое.

Пёттера Рудат на квартире не нашел. И вещей тоже не было. Пёттер грузил их в венгерскую санитарную машину, которую нанял за сотню сигарет.

— В чем дело? Что приспичило этому болвану?— полюбопытствовал Пёттер.

— А, ерунда,— махнул рукой Рудат.— Приспичило рассказывать мне о мистерии искусства, которая есть не что иное, как открытая рана.

— И что же?

— Ничего. Оставь вещи. Мы в этой колымаге не поедем.

— Почему?

— Она потребуется для другого, и потом, у нее тонкие стенки. Нас перебрасывают в Хабровку, на семь километров в глубь леса, прямехонько к партизанам.

— Ночью? Опупели они, что ли?

— Приказ СС,— коротко сказал Рудат.— Надо найти тарантас посолиднее.

— А чем тебе плóха «санитарка», пока она в тылу? Залезай!

Рудат покачал головой:

— Чует мое сердце, не миновать нам хреновой ловушки. Оставь машину.

— Да что с тобой? Что нюни-то распустил? Какая ловушка?

— По-моему, у меня температура,— сказал Рудат, вытирая рукавом парализованный уголок рта, и подумал: «Как же этот переодетый эсэсовцем тип меня не ухлопал? Почему они уверены, что я буду молчать? А потом сдохну вместе с Пёттером и остальными. Я им не цепной пес! Кому «им»? Никому не позволю делать из себя цепную собаку! Мать отравится газом, если меня убьют. А старика небось уже загнали на проволоку. Не стану я убивать для них школьниц. Таня... Как она выглядела? Желтые туфли с пряжками. Маленькая нежная грудь. Какое мне дело до этих деревенских Иванов? Должно быть, они захватили машину полевой жандармерии. Не могу я сказать об этом Пёттеру. Даже ему. Впрочем, попробуй-ка докажи, что я о чем-то знал! Ничего я не знал. Все равно мне из этой заварухи не вылезти. Так и так не вылезти. Черт побери всех сразу».— Проклятая щека опять донимает,— пожаловался он вслух.— Вот кончится эта хреновина, пойду в лазарет. А может, и не пойду. Пёттер, оставь в покое «санитарку», слышишь!

— Черт с тобой, ладно. Только заткнись наконец. Сотня сигарет псу под хвост.

Он выгрузил из машины вещи и закричал шоферу: «Никс гут! Никс гут!» — давай, мол, сигареты обратно. После долгих препирательств они сошлись на том, что шофер вернет половину. За эти полсотни сигарет Пёттер умудрился обеспечить себе и Рудату два местечка в одной из самоходок, направлявшихся в Гульевку. Давно отслужившие свой срок дребезжащие гробы, не раз подбитые и кое-как залатанные — для союзничков и так сойдет. Пёттер извлек из вещмешка бутылку «Наполеона» пять звездочек и пустил вкруговую.

— Только не торопиться. Терпеть не могу спешки на похоронах. Самоходка — орудие арьергардное, учтите.

Мадьярский унтер-офицер — смуглый, по-девичьи смазливый парень, весь увешанный пестрыми орденами,— хлебнул из бутылки и велел трогать. В Гульевку они прибыли чуть ли не последними. Только у самой деревни обогнали казачий отряд, который медленно плелся по обочине на тощих крестьянских лошаденках. Самоходка пристроилась в хвост ожидавшей колонны и заглушила мотор. Водитель полез под машину — якобы что-то там починить.

Кто-то шагал вдоль вереницы машин, посвечивая фонариком. Это был Цимер. Он как раз успел перехватить эсэсовцев и донести насчет

интендантовых манаток. Шарфюрер записал, и теперь Цимер совсем распетушился.

— Вас-то я и ищу,— объявил он, высмотрев наконец Рудата и Пёттера.

— А мы тебя нет,— огрызнулся Пёттер.— Нас откомандировали к мадьярам.

— Приятная новость для командира взвода.

— Ага,— поддакнул Пёттер.— А потому гаси свою коптилку и исчезни.

Он откинулся на выменянные меха и зевнул. Цимер выключил фонарик и удовлетворенно подумал, что самое позднее через сутки передаст этих мерзавцев военно-полевому суду. А Рудат думал, что никто бы не пожалел об этой грязной свинье Цимере. Он прикусил обожженную щеку и засунул в рот кусочек резиновой губки: слюна сильно текла. Закурил сигарету и долго смотрел на пропыленную, беспокойно копошившуюся в темноте колонну, от которой несло конюшней, пóтом и почему-то нужником, смотрел и думал о том, что жизнь этой грязной, смердящей, встревоженной, дергающейся вереницы людей и машин находится в его руках, что, может, уже через час здесь не останется ничего, кроме горы трупов и металлолома.

— Пёттер, мы идем прямиком в препаршивую ловушку. Чует мое сердце,— повторил он.

— Да забудь ты эту дурацкую историю с бабами, и все дела.

Русский ночной разведчик допотопного образца медленно летел над Гульевкой, тарахтя, как старая швейная машинка, и словно ничего не замечал. Когда самолет скрылся за лесом, Вилле выслал вперед власовцев, в отместку за строптивость атамана, но, разумеется, не мог воспрепятствовать тому, что сам атаман предпочел с частью эскадрона остаться в арьергарде. Из-за мин — партизанские минеры были люди с фантазией и горазды на выдумки — казаки пустили перед собой упряжку с бороной. Для тяжести возница стоял прямо на бороне, обрекая себя на верную смерть. Бледный, мокрый от пота, он погонял лошадей, что-то бормоча себе под нос. Казалось, он молился, но на самом деле он отчаянно материл свое начальство. Это был чахоточный киргиз, тот самый, что на мельнице набил бумажными кредитками мешок из-под овса.

Одна из лошадей упала, споткнувшись о глубокую колею, он хлестнул ее кнутом по глазам и опять выматерился, на сей раз громко. Лошадь вскочила, а возница не удержался и полетел прямо под борону, которая разворотила ему шею и спину. Пришлось назначать нового кучера.

Лесная дорога на Хабровку вроде и впрямь была не заминирована, не то что лес вдоль обочин, который, как донесли патрули, был нашпигован взрывчаткой. Загадочная глупость, по мнению Вилле, и Фюльманш, этот бесчувственный пес, похоже, о ней пронюхал. Все шло как по маслу, и Вилле мало-помалу начал находить в марше удовольствие.

Углубившись в лес километра на три, они услышали на севере шум боя: гром противотанковых пушек и минометов, дикий треск автоматных очередей. По-видимому, партизаны пытались вырваться из окружения. Вилле так и думал. Ох и идиотский у них будет вид, если он, Вилле, уже сейчас замкнет котел. Обер-лейтенант представлял себе операции против партизан не столь примитивными, более хитрыми и изощренными. Он приказал бросить борону и ускорить продвижение к Хабровке.

«*Занятие* леса возбуждает более глубокие и реальные ощущения, нежели *обладание* им. Воин (архетип охотника), решаясь на рискованное предприятие, замахивается на оседлое общество собственников. В средоточии опасности гнездится бодрость духа»,— мысленно запи-

сывал он для своих эссе. Ему пришло в голову и название главы: «Риск как всемирно-историческая категория». В горле першило от пыли. Вилле, сидя в самоходке, вдохнул первобытный аромат леса и продолжал философствовать. Непонятно, как он вообще мог когда-то быть страховым чиновником. Ему захотелось почитать свои сочинения Рудату. До чего же его тянет к этому парню! Непостижимо загадочное лицо...

Солдаты спали, точно брошенное как попало грязное белье — кто на животе, кто на спине, кто свернувшись калачиком,— в кузовах автомашин, на лафетах, на бронетранспортерах. Пёттер немного пободрствовал ради Рудата, но теперь и он заснул, широкое лицо покрылось каплями пота. Рудату не хотелось будить его. Он жевал губку за щекой и с минуты на минуту ждал сигнала, по которому их передавят, как клопов. Смотрел на узкую полоску неба меж вершин деревьев, молочно-белую от облаков, и ждал, что вот сейчас оттуда выплывет луна, как вчера над рекой, и что с ними разделаются. Вскоре после двух колонна вступила в Хабровку, а луна так и не появилась. Пошел дождь.

Хабровка, как и все прочие деревни, была безлюдна. Бревенчатые избенки, покосившиеся бараки лесорубов, построенная перед самой войной лесопилка с разбитым вдребезги оборудованием. Вилле приказал выставить охранение и послал конные патрули на север и на юг, в разведку. Солдаты чертыхались: им никак не удавалось отдохнуть. Шум боя стих.

Вилле приказал радистам сообщить координаты и выйти на связь с Хоэнзее и Фюльманшем. Радисты старались изо всех сил: полчаса кряду передавали шифровкой координаты, потом перешли на прием. В эфире мертвая тишина. Вилле торчал возле рации и добился, чтобы они проделали всю эту чепуху еще раз. Ни один из патрулей не смог проникнуть в лес дальше, чем на четыреста шагов — сплошные мины. Вилле заподозрил неладное. И правда, около трех они перехватили депешу Хоэнзее в Гульевку, откуда Вилле только что вывел свой батальон. Хоэнзее безостановочно вызывал Вилле, повторяя приказ прорываться к Гульевке.

— Он просто с ума сошел, не иначе! — сказал Вилле и велел радировать, что вышел на заданный рубеж и ждет того же от Хоэнзее.— Какая наглость! — воскликнул он и приказал радистам установить связь со штабом Фюльманша.

Хоэнзее, судя по всему, их не слышал. Он беспрестанно посылал в эфир свои координаты и повторял, что ищет батальон Вилле, а под конец сообщил, что вошел в соприкосновение с противником, что его атаковали превосходящие силы партизан. Вот и все.

Действительно, в тылу со стороны Гульевки доносился шум ожесточенного боя и залпы орудий. Было ясно, что батальон Хоэнзее, вооруженный почти исключительно пехотным оружием, попал в скверный переплет.

«Невероятное дилетантство,— думал Вилле.— Либо Фюльманш прохлопал, либо Хоэнзее. Наверняка Фюльманш, подавай ему успех, да побыстрее! Ох уж эти эсэсовские хлыщи, эти сопливые питомцы гитлерюгенда с их вечной ангиной. Бред какой-то!»

— Кажется, я поймал Фюльманша,— сказал радист.

— В таком случае радируйте наши координаты и сообщите, что Хоэнзее атакован под Гульевкой. Спросите, что нам делать... Пусть-ка великий полководец попотеет.

Фюльманш радировал, что отдаст Вилле под суд, если тот немедленно не прорвется к Гульевке.

— Передайте: или я вас. У меня все.

Вилле кипел от злости, но, разумеется, отдал приказ выступать на выручку Хоэнзее. Погнал в роты офицеров связи. Дождь усилился.

Мадьяры по собственному почину начали располагаться на постой и схватились с власовцами из-за лесопилки. Пока суд да дело, какой-то идиот, не долго думая, поджег лесопилку. Зарево освещало всю деревню. Никто не мог взять в толк, зачем надо возвращаться. Вилле пытался перебросить самоходки в голову застрявшей колонны и двинуть их в Гульевку, но безрезультатно. Тогда он вне себя от ярости сковырнул своей самоходкой груженую телегу, оставив от нее кучу обломков. Внезапно над опушкой леса появились самолеты русской штурмовой авиации. Три звена, по четыре Ил-2 в каждом, поливали огнем бортовых пушек ярко освещенную, рассыпавшуюся в панике колонну. Самолеты пронеслись вдоль колонны, взмыли вверх и опять бреющим полетом прошли над дорогой, пока не отстреляли весь боекомплект и не сбросили все осколочные бомбы. Считанные секунды — и кругом только безумное месиво сцепившихся друг с другом машин, лошадей, орудий, тележных дышел и искореженного железа, в котором с криками метались солдаты. Спустя восемь минут (столько продолжался налет) неподвижная колонна превратилась в ярко полыхающий погребальный костер.

Батальон численностью более шестисот человек потерял около ста двадцати человек убитыми и более двухсот тяжелоранеными, не говоря уже о лошадях и транспорте. Получить точные данные было пока невозможно, прежде надо проникнуть туда, где еще восемь минут назад находился центр колонны, а теперь громоздилась беспорядочная груда искромсанного взрывами металла. Оттуда неслись крики о помощи, поэтому пришлось растаскивать завал самоходками. Некоторые из них уцелели, потому что в начале налета ухитрились скрыться в лесу. Мощные моторы помогли им вырваться из этого ада, а гусеницы сметали все на своем пути. Вот каким образом обер-лейтенант Вилле, Рудат и Пёттер остались в живых. Унтер-офицер Цимер заработал ожог бедра и несколько мелких осколков в мягкое место. Спустив штаны, он допытывался у Муле, хватит ли этого, чтобы получить нашивку за ранение. Он давно мечтал о такой нашивке.

Под одним из лафетов лежала запутавшаяся в постромках, раненная в живот лошадь, головой она попала в вывалившиеся кишки какого-то солдата. Когда самоходка оттащила лафет в сторону, лошадь, увлекая за собой солдата, вскочила на ноги и бросилась в горящий барак. Раненый дико закричал. Рудат узнал в нем Малера, того, что вечно уминал по две порции жратвы.

— Берись! — сказал Пёттер.— Делать надо вот что: нагрузим таратайку ранеными — и ходу. Или ты намерен ждать следующего налета?

— Нет,— сказал Рудат.— А тот, с кишками, был Малер.

У околицы самоходку с ранеными задержал Цимер. Размахивая пистолетом, он стоял на разбитом вездеходе и орал, что батальон занимает круговую оборону, что из деревни никто не выйдет и что он застрелит всякого, кто попытается оказать сопротивление. Рядом с ним стоял автоматчик.

— Езжай прямо на них! — сказал Пёттер Рудату.— Дави их к чертовой матери! — Он положил палец на гашетку пулемета и приготовился скосить обоих.

— Ты с ума сошел.— Рудат заглушил мотор и вылез из кабины. Пёттер выпрыгнул следом.

— Нет так нет. Тогда попозже,— сказал он, глядя на Цимера.

— Что? — забеспокоился тот, чуя угрозу.— Вы это о чем?

— О вывозе раненых. Мы попросим ротного подтвердить приказ о вывозе раненых. Пошли.— Он отвел Рудата в сторону.— Так просто

нам с этой скотиной не разделаться. Ну почему ты не поехал прямо на него?

— Не знаю. Не могу больше смотреть на мертвецов.

— Тогда можешь спокойно поставить себя к стенке.

— Ага. В один прекрасный день я так и сделаю.

— Красавчик Бодо нас отпустит. Не подыхать же раненым тут.

— Пожалуй,— согласился Рудат.

Когда они нашли Вилле, у него был вид человека, который пережил тяжелый удар судьбы и мучится жесточайшей мигренью. Любое решение давалось ему чудовищным усилием воли. Например, решение о том, что остатки батальона займут у Хабровки круговую оборону, пока не будет установлена хоть какая-то связь с другими подразделениями. Батальон Хоэнзее, видимо, полностью истреблен в Гульевке.

Закрыв глаза, Вилле сидел у колодца на вытащенном из автомобиля сиденье, а Муле ставил ему на лоб горячие компрессы. Воду грели на примусе. Обер-лейтенант с детства страдал такими приступами, любая сильная встряска вызывала спазмы мозговых сосудов. Половина черепа раскалывается от боли, стреляющей в затылок, и каждая мысль оборачивается сверхчеловеческим напряжением. В это время Вилле не выносил света, шума, а пуще всего — неприятностей. Услышав голос Рудата, он поднялся. Этот голос успокаивал. Он подал Рудату руку, и ему показалось, что боль куда-то ушла: «До чего же велика сила симпатии».

Какой-то мадьярский фельдшер, выматывая Вилле нервы, допытывался, как быть с ранеными: запас морфия кончился, он ничем не в состоянии им помочь и больше не в силах выдерживать их вопли; что, если попробовать вывезти хотя бы самых тяжелых?

— Куда? — напустился на него Вилле.— Ведь лес кругом заминирован. А Гульевка, видимо, в руках партизан. Куда же мы их вывезем?

— Сами-то не подыхаете! — крикнул фельдшер, нервы у него были на пределе. В конце концов Вилле мог понять его. И не стал возражать, когда обер-ефрейтор Пёттер вместе с Рудатом вызвался рискнуть и попробовать пробиться на самоходке. По крайней мере отделался от настырного венгра. А в случае удачи можно доложить Фюльманшу и позаботиться о деблокировании Хабровки. Фельдшер требовал выслать конвой минимум из трех самоходок.

— Это исключено! — отрезал Вилле и только хотел ехидно спросить, кто же тогда останется в Хабровке, как в деревне вспыхнула паника.

На площадь высыпали солдаты с криками:

— Танки! Русские! Танки!

Все, кто хоть как-то мог передвигаться, устремились в лес. Слышались разрывы мин, рев танковых дизелей, крики брошенных раненых.

Вскоре все стало ясно: разыскивая Вилле, Фюльманш с танковой колонной пробился в Гульевку, а оттуда к Хабровке. Выскочив из башни, он сорвал с обер-лейтенанта погоны.

— Знаете, чего вам это будет стоить?!

— То обстоятельство, что мы оказались под вашим командованием, стоило нам нынче ночью двух батальонов,— горько сказал Вилле.— Напоминаю, я предупреждал о безответственности этой операции.

— Кого предупреждали? — спросил Фюльманш.

— Тех господ, которые привезли мне в Гульевку ваш приказ идти на Хабровку. Ваш шеф гестапо может подтвердить.

— Приятно слышать,— осклабился долговязый детина с костлявым лошадиным лицом и длинными золотыми зубами.— Очень рад видеть вас снова.

— То есть как? — не понял Вилле.

— Я — начальник гестапо. Разрешите представиться — Хазе, к вашим услугам. Мне все известно. Если не ошибаюсь, в Гульевке я был значительно меньше ростом. Надеюсь, теперь вы не станете отпираться.— Он сунул под нос Вилле объявление о розыске человека в никелевых очках и громко заржал.

— Это невозможно.— Вилле побледнел.— Совершенно невозможно. Он же был без очков.— Но в глубине души Вилле знал, что человек с длинными золотыми зубами не шутит.

— Однако невозможное случилось,— заметил Фюльманш.— Командиры двух немецких батальонов кинулись выполнять приказы партизана, объявления о розыске которого лежат у них в планшетах. Вы и Хоэнзее. Вы добились, что партизаны улизнули из котла, а ваши батальоны сели в лужу! Хороша ответственность! Знаете, что я могу с вами сделать?

Вилле был раздавлен. Все ясно. Фюльманш держит его за горло. Надо было запросить подтверждение приказа. Он был обязан запросить подтверждение. Фюльманш мог хоть сейчас арестовать его, мог испоганить ему всю карьеру. Вилле колотила нервная дрожь, он твердо решил пойти на попятный. В свое оправдание он живописал, с каким утонченным коварством партизаны обвели его вокруг пальца, сослался на подорванное здоровье и на особое доверие, которое он, Вилле, чуть ли не с пеленок испытывает к СС. Завершил он свою тираду просьбой разрешить ему искупить вину. Писклявый, как у канарейки, голос обер-лейтенанта прерывался от волнения, глаза подернулись влагой, как всегда от сострадания к себе самому. Большим и средним пальцами он прикрыл веки. Этот жест Вилле перенял у прежнего начальства и считал необычайно выразительным.

Снова открыв глаза, он увидел холодный блеск очков эсэсовского интенданта, того самого, которому отказал в розыске похищенного имущества. Интендант только что подошел в сопровождении унтерофицера Цимера. Вилле участливо осведомился, выяснилось ли недоразумение с вещами.

— Нет,— сказал эсэсовец и добавил, что в соответствии с поступившим сигналом приказал обыскать вещи личного состава батальона. На его поджатых губах застыла улыбка.

— Чьим сигналом? — раздраженно спросил Вилле.

— Моим, господин обер-лейтенант! — Цимер, вытянувшись по стойке «смирно», сделал шаг вперед. Лицо его побагровело, он сознавал, что поступил вызывающе, действуя в обход установленного порядка.— Я позволил себе сигнализировать, что упомянутые господином интендантом цветастые пуховые одеяла были замечены в Короленко, господин обер-лейтенант!

— Почему мне не доложили? Я требую, чтобы мне докладывали обо всех нарушениях! — горячился Вилле, радуясь, что разговор съехал на побочную тему, которую он считал безобидной.— Вам известно, у кого они были замечены?

— Никак нет, господин обер-лейтенант! — выпалил Цимер и победоносно поглядел на Петтера и Рудата.

Вилле понял этот взгляд, так же как и нарочито спокойный жест, каким Петтер раскурил сигарный окурок. Понял, почему рапорт был адресован не ему, а интенданту и почему интендант корчил из себя важную птицу. Понял, а потому решил не поддерживать Рудата.

— Я не потерплю этих безобразий! — заорал он на Цимера.— Хватит смотреть на все сквозь пальцы! Хватит замазывать! Я требую, чтобы виновный понес примерное наказание!

— Ну, в этом вы можете спокойно положиться на нас,— сказал Хазе.— Как видите, мы работаем быстро и всегда готовы помочь.

Он показал на приземистого мужчину с бесформенными ушами, который медленно шагал через площадь, волоча сверток с пуховыми одеялами. Это был Умфингер, правая рука Хазе, нюрнбергский кельнер, славившийся силой своих пальцев. Развернув сверток на брезенте перед интендантом, он сказал:

— Все в лучшем виде, обер-интендант, без единого пятнышка. А уж легкие — ну чисто пушинка.

Собравшиеся с интересом разглядывали цветастые пуховики обер-интенданта.

— И где же вы разыскали эту драгоценность, Умфингер? — спросил Хазе.

— Изъял у казачьего капрала. Этот жирный боров упирался и потому приказал долго жить. Он, видать, и столовое серебро коллекционировал, только, к сожалению, бессистемно.— Умфингер извлек из кармана маскштанов мешочек с серебряными ложечками и показал Хазе.

Цимер прямо остолбенел. Он твердо рассчитывал на успех, не зря же послал туда еще Муле.

А Вилле испытал облегчение — и не только из-за Рудата.

Пёттер выплюнул окурок:

— Так как же, господин обер-лейтенант, раненым-то где помирать — тут или на дивизионном медпункте?

— Всех раненых, способных выдержать перевозку, отправить в Короленко, оттуда их повезут дальше,— распорядился Фюльманш.

— Тогда пошли,— обернулся Пёттер к Рудату. Тот едва на ногах стоял — так ему было худо.

— Он погиб из-за тебя,— сказал Рудат, когда они с Пёттером остались вдвоем.— Из-за тебя! Из-за тебя! Только из-за тебя!— Широко раскрыв глаза, парень смотрел на Пёттера.

— Ну, знаешь! С этой минуты чихать я на тебя хотел.— разозлился Пёттер.— Если б вышло по-моему, не кто иной, как Цимер лежал бы себе сейчас мордой в грязи. Сам палец о палец не ударил, а тоже рот разевает! Как истеричка-монахиня, которая без мужика бесится! Ну и ступай к Красавчику Бодо, пусть он сунет тебя в группу управления. Небось водочка и сигареты пришлись тебе по вкусу, а?

— Твое место среди эсэсовцев! Там твердолобые скоты вроде тебя как раз нужны! Знаешь, кто ты? Ты... ты...

Он вывернул карманы, швыряя под ноги Пёттеру пачки сигарет. Тот спокойно подобрал их.

— Катись отсюда, парень. Я и без тебя выдюжу.

— Я тоже,— сказал Рудат, думая о том, что ему уже не хочется выдюживать, ни в одиночку, ни с Пёттером. Он до того вымотался, что едва на ногах стоял. Как пьяный, он брел на пять шагов впереди Пёттера, а в голове неотвязно вертелась одна мысль: он больше не хочет, не хочет!

Самоходку с ранеными они не застали. Ушла в Короленко, и вместе с нею их вещи. На том оба и расстались. Цимер искал Муле, чтобы допытаться, как же это они оскандалились. Он подозревал, что Муле работает на два фронта, и потому припер его к стенке, пригрозив, что не пощадит, если Вилле вздумает прищучить его, Цимера, из-за рапорта. Муле объявил, что у него-де память плоховата и он не виноват, что они осрамились. Когда он подошел, Умфингер уже и пуховики отыскал, и казака придушил. А потом начал рассказывать ему, Муле, что в юности выступал в вольной борьбе и звали его Душителем. Что тут было делать? Пёттер, по всей видимости, пронюхал. Жаль, конечно. В конце-то концов Муле тоже был заинтересован в положительном исходе дела. Хотя бы из-за Рудата.

Чтобы слегка возместить Цимеру убытки, Муле намекнул на подслушанный им довольно нескромный разговор между Вилле и Рудатом. Цимер не поверил. Едва они распрощались, к нему подошел Пёттер:

— Еще неизвестно, за кем будет последнее слово, взводный.

От откровенной угрозы Цимер сразу присмирел. Пёттер, похоже, в силе.

Фюльманш разрешил Вилле искупить вину. Когда огромное кроваво-красное солнце поднялось над Хабровским лесом, Вилле повеселел: еще легко отделался! Мертвых похоронили, раненых увезли, искореженную технику и конские трупы танками и тягачами отволокли на обочину. Лес вокруг был редкостной красоты, буковый, густой, темно-зеленый. В ясном небе — немецкие самолеты-разведчики, связь север — юг обеспечивали части СС. Прибыло даже несколько тяжелых «тигров», и солдаты поговаривали, что под Орлом в полной боевой готовности ждут летнего наступления тысячи таких танков. Вилле видел их впервые и исполнился эстетического наслаждения и уверенности в победе. Не то чтобы он совсем забыл о своей неудаче, особенно об унижении на глазах у рядового состава («Всяк судит по-своему, то-то и оно»), но, получив от Фюльманша задание сформировать из остатков батальона роту спецназначения, оправился от меланхолии и мигрени. Задание вполне почетное, решил Вилле.

Фюльманш приказал ему к полудню выйти с ротой в центр котла — к позициям на западной окраине населенного пункта Требловка — и проделать в минных полях проходы для тяжелого оружия. С этой целью роту усилили саперным взводом, оставшимся от Хоэнзее и располагавшим миноискателями. Власовцы тоже остались при нем. Лучшей возможности проверки в деле и пожелать трудно, не так ли?

— Совершенно верно,— кисло проговорил Вилле. И испросил самоходку, так как его автомобиль вышел из строя.

Измученный и ко всему безучастный, Рудат уснул в неглубокой воронке возле лесопилки. Он лежал ничком, и во сне ему казалось, будто его череп лопается с тонким, на диво мелодичным, на диво многозначительным звуком.

Звук шел от каски, упавшей в воронку возле его головы. Упустил каску унтер-офицер Цимер. Он собирал взвод.

— Сожалею, что помешал,— сказал Цимер,— однако вы срочно нужны в саперной команде, там без вас как без рук.

— Ротный приказал? — спросил Рудат и сплюнул.

— Это я приказываю, я — Пауль Цимер, я не позволю подложить себе свинью, не на такого напали! Живо! — «Вот ведь встретишься взглядом с этим косорылым мерзавцем, так прямо с души воротит».

Наконец рота вышла на западную окраину Хабровки, и тут выяснилось, что Цимер ненароком прикомандировал к саперам всех своих «любимцев». В том числе и Пёттера, который припоздал, потому что ездил в Короленко за вещами. Он подъехал на мотоцикле и швырнул Рудату под ноги его вещмешок. Молча. Вилле счел своим долгом выступить перед вновь сформированной ротой с речью, в которой говорилось о памяти коварно и злокозненно убиенных друзей, о справедливой твердости и германской пехоте, созидающей историю.

Какой-то сапер рядом с Рудатом буркнул:

— Видать, сегодня опять горячим обедом не пахнет.

Группы саперов с допотопными миноискателями вошли в лес первыми. Им надлежало отметить свободные от мин проходы для идущей следом роты и тяжелого оружия.

К счастью, минная полоса оказалась не глубже трехсот метров, так что потери были умеренными. Четыре человека почти одновремен-

но подорвались на самодельных партизанских минах; корпус у этих мин был деревянный, и миноискатель их не обнаруживал. Двое солдат были убиты наповал, третьему оторвало мошонку, и заметил он это, только когда по ногам потекло что-то теплое. Четвертому вывихнуло ступни и обломками дерева раздробило левую руку. Он радостно заковылял назад, рассматривая раненую руку,— может быть, отправят в госпиталь в Германию?

Вилле подтянул свои пехотные взводы и приказал двигаться быстрее — хотя к Требловке лесистая местность заметно повышалась, обзор из-за густого кустарника и высокой, похожей на тростник травы становился все хуже. Вилле ездил на самоходке по взводам и, горя желанием загладить хабровский позор, подгонял унтер-офицеров.

Солдаты последними словами кляли обер-лейтенанта, так как он не потрудился даже организовать транспорт для перевозки их имущества. Каждый тащил свои манатки на собственном горбу. Солнце, белое и жгучее, поднималось все выше, лес превратился в душную теплицу, полную влажных испарений. Люди взмокли от пота. Из низкого кустарника на них кидались полчища комаров.

Вилле разносил солдат, у которых не было москитных сеток. Орал что-то насчет малярийной опасности и пассивных увечий и в наказание велел назначить их связными.

— Бочонок холодненького пивка за тропическую малярию,— сказал сапер рядом с Рудатом. Рудат бросил и вещмешок и противогаз. Но Цимер снова притащил ему противогаз, а вдобавок еще чей-то пулемет: ведь Рудат же без вещей. Цимер понемногу опять распетушился и приказал пухлому штудиенратовскому отпрыску — тому самому, с фотоаппаратом — шпионить за Рудатом и Пёттером. Малый оказался смышленым, по совету Цимера, он рассказал шефу гестапо Хазе о девках из Рыльска, а также о своей стычке с Рудатом и Пёттером.

— Странно. Когда эти мерзавцы провернули номер с Вилле, Рудат опять-таки был рядышком. Весьма странно,— заметил он.

Хазе заинтересовался. И человеческими симпатиями Вилле к Рудату, и историей Рудатовой семьи. А потом в свою очередь подзавел Умфингера, чьи здоровые национальные чувства были на редкость легко возбудимы.

Из своей самоходки Вилле держал радиосвязь с Фюльманшем и сигнализировал разноцветными ракетами о выходе на тот или иной рубеж. Наблюдение и руководство операцией по затягиванию петли вокруг Требловки велось с борта двух самолетов ближней разведки типа «физелер шторх». Вилле был заворожен тем, что все идет как по маслу. Это отвечало его представлениям о войне в нынешнюю техническую эпоху. Он лишь недоумевал, почему партизаны не делают попыток вырваться из котла. Наверняка ведь не все ушли. Только численность подразделений, инсценировавших ночью псевдоатаку на севере, оценивалась в четыреста — пятьсот человек. Вряд ли они позволят согнать себя, как овец, в Требловку и перестрелять. Или все-таки надеются ускользнуть оттуда под видом гражданских лиц? Едва ли они настолько наивны. Но кругом тишина — людей нет, никто не стреляет, никто не сопротивляется.

Даже оборудованные полевые позиции, заложенные в нескольких километрах от Требловки, судя по всему в оборонительных целях, были покинуты, и притом не заминированы. Странно. Вилле еще не забыл беспрепятственный марш на Хабровку.

Получив донесение, что власовцы спугнули притаившихся в густо заросшей ложбине полдюжины баб, обер-лейтенант прямо с облегчением вздохнул. И немедленно выехал на самоходке, чтобы допросить их. Когда он прибыл на место, пять раздетых обезображенных трупов уже качались на суку. Допрашивали мальчишку лет пятнадцати, переодетого девушкой. С него сорвали одежду, подвесили за ноги

над костром, и атаман задавал вопросы. Мальчишка невразумительно мычал, если его подтягивали вверх, и дико вопил, едва лицо оказывалось вблизи огня.

Вилле приказал немедленно отвязать пленного. Мальчишка упал в горячую золу и стоял теперь перед Вилле — голый, лицо и шея в ожогах. Светлые волосы обгорели, изо рта течет кровь. Круглое заплаканное лицо распухло, тело судорожно вздрагивало. Мальчишка отчаянно старался унять дрожь, но не мог.

Пытаясь успокоить его, Вилле положил ему на плечо руку и дал плиточку шоколада. Затем через переводчика задал несколько деловых вопросов относительно численности партизан и их местопребывания и пообещал отпустить мальчишку, если тот ответит. Пленный смотрел на обер-лейтенанта точно на диковинного страшного зверя. Глаза у него были большие, светлые и — спокойные. Лицо беспрестанно дергалось, видимо непроизвольно, а глаза оставались спокойными. Взгляд их пронизывал Вилле насквозь. Он приказал повторить вопросы еще раз, и мальчишка ответил, что вчера партизаны прошли через Требловку, а больше он ничего не знает, ведь он нездешний, из Рыльска, приехал в Требловку к тетке, он согласен работать в Германии, он хороший работник. Говорил он захлебываясь, с какой-то поющей интонацией, неотрывно глядя на Вилле и гримасничая, а когда упомянул про работу, даже бицепсы напряг. Вилле кивнул и велел перевести, что в Германии ему будет неплохо и что сейчас ему дадут банку тушенки и перевяжут раны, пусть только он перестанет врать и тем самым докажет, что действительно заслуживает спасения. Пока переводчик говорил, Вилле, наблюдая за мальчиком, многозначительно потрогал кобуру пистолета. Мальчик покосился сперва на власовцев, потом на дерево с повешенными, сунул в рот кусочек шоколада и несколько раз лизнул окровавленную губу. «Словно лягушка или ящерица»,— подумал Вилле. Ему показалось, что мальчик принял решение. Да, принял, но какое! Он неожиданно бросился на обер-лейтенанта, едва не сбив его с ног, так что Вилле не оставалось ничего другого, как выхватить пистолет и выстрелить. Прямо в тощий живот. Дважды. Скорченный труп сжимал в кулаке половину шоколадки.

— Сразу видно, маловато у вас опыта в обращении с этими,— ухмыльнулся бритоголовый власовский атаман и выплюнул папироску.

Вилле повернулся к нему спиной и в двух шагах от себя увидел Рудата.

— Ужасно,— сказал Вилле.— Ужасно сознавать, что застрелил подростка, школьника.

— Дело привычки,— заметил Рудат.— Способности человека безграничны, чему он только не научится!

— Но что мне было делать, Рудат? Я ведь только хотел спасти мальчишку.

— Я никому не скажу, господин обер-лейтенант.— И Рудат заковылял вслед за солдатами которых этот эпизод заинтересовал лишь постольку, поскольку они смогли урвать пару тачек для перевозки собственного барахла. В тачках лежали вещи повешенных женщин: постельное белье, кастрюли ходики.

Вилле испытал своего рода спортивное удовлетворение, когда его рота первой вышла на окраину Требловки, опередив подразделения с транспортом и тяжелым оружием. Он подал дымовые сигналы и в одиннадцать ноль-ноль распорядился занять позиции на глинистых высотках. Вот она, Требловка, центр партизанского края — белая, освещенная полуденным солнцем. Эта довольно большая деревня лежала в безлесной лощине. Приветливые строчки белых домиков, прерываемые огородами и небольшими садами, тянулись вдоль узкой речушки и пыльного проселка из одного конца лощины

в другой. Белизна мазанок была самых разных оттенков, как заметил Вилле в бинокль. Голубоватая, розоватая и зеленоватая белизна нежнейших тонов. Там, где возле темно-зеленых дверей по стенам вился виноград или шпалерные деревца, он даже различил брызги бело-зеленого лизола и бело-сиреневой марганцовки, которые использовались для опрыскивания. Симфония белизны, подумалось Вилле, жизнерадостная, легкая, опрятная. Он открыл блокнот и записал насчет глубокой внутренней связи, объединяющей нежные звуки первых детских словечек с нежной чистотой белизны, каковая не есть цвет в физическом смысле, скорее, это намек на цвет, который соотносится с любым цветом как предвестие наслаждения с самим наслаждением, что опять-таки присуще и инстинктивным детским звукам.

Эта внешне мирная, спокойная деревушка, это партизанское гнездо чем-то и раздражало и необычайно манило Вилле. Ему так и хотелось ворваться туда, покорить ее, сломать. Без всякой связи он вдруг вспомнил соблазн, охватывавший его в детстве при виде огня, страстное желание потушить огонь, залить его. Забыв обо всем, Вилле мечтательно заключил, что над деревушкой висит зловещая тишина, как перед взрывом, когда слышится только тиканье часового механизма. Улицы, проулки, дворы безлюдны, окна и двери, невзирая на зной, плотно закрыты.

На близлежащих высотках одна за другой вспыхнули ракеты — условный сигнал был подан.

Фюльманш медленно летел над деревней в одном из самолетов-разведчиков, сообщая пехотным подразделениям, какие участки им надлежит прочесать. Всех лиц женского пола он приказал препроводить в школу, всех лиц мужского пола — в машинный сарай бывшей МТС, разумеется при условии, что они предъявят документы, выданные германскими властями, и не имеют при себе оружия. Встретив какое бы то ни было сопротивление, пехота обязана отойти на заданный рубеж, предоставив действовать танкам и огнеметам.

Рота Вилле получила приказ прочесать ближайшую к высоткам северо-западную окраину деревни.

Вилле проинструктировал свои отделения и едва распорядился насчет охранения, как появился Умфингер с истребительной командой.

— Чтобы помочь вам в допросах, господин обер-лейтенант,— пояснил Умфингер.— Для моих людей языковых трудностей не существует.

Четверо молодчиков с наглой ухмылкой вылезли из бронетранспортера с большими красными крестами на бортах, специально и не без шика оборудованного для ведения допросов. Патент Умфингера. Все четверо были смазливые молодые парни в элегантных мундирах и свежем белье. Пижонство привело их к тому, что они стали похожи как две капли воды. Одинаковые узкие бриджи, одинаковые прекрасного покроя сапоги, одинаковые светлые усики, одинаковые желтые футляры с инструментом, наподобие сумок для гольфа. Умфингер, со своим перебитым носом и бесформенными ушами, выглядел на их фоне особенно неряшливым и безобразным. Видно, он большой любитель контрастов. Парни как на подбор — стоят за спиной Умфингера, щерят в улыбке ровные белые зубы, словно позируют для рекламы.

В этих молодчиках было что-то зловещее, наводившее жуть и вместе с тем фиглярское, вызывавшее у Вилле внутренний протест. В глубине души он не желал иметь с ними ничего общего и намекнул Умфингеру, что как боевой командир отвечает за применение любых жестких мер, необходимых с военной точки зрения, но при всей готовности к сотрудничеству — буде в нем возникнет нужда — считает нецелесообразным брать действия Умфингера под свою ответственность. Умфингер ни слова не понял и объявил, что ребята у него — первый сорт, и машина любо-дорого смотреть, и что благородные металлы в случае обнаружения надлежит сдавать ему, Умфингеру, а

уж он переправит их куда надо. После этого он вытер платком потную лысину и обернулся к хлыщам с кожаными сумками:

— Эй вы, полезайте в машину!

Вилле бросил взгляд внутрь бронетранспортера. Там все живо напоминало операционную: пронзительно-яркие передвижные лампы, белая кожаная кушетка, положение которой можно было менять с помощью гидравлического привода. Умфингер включил небольшой аппарат — как выяснилось, магнитофон — и воспроизвел свой разговор с Вилле, закончившийся диким женским воплем, нестертым остатком прежней записи. Вилле передернуло, он сразу вспомнил, как десятилетним мальчиком побывал с отцом на бойне: прямо под ногами валялись огромные — с кулак — уже остекленевшие коровьи глаза. Его стошнило, а отец успокоил: животных, мол, приходится забивать и никуда от этого не денешься.

Вилле сказал себе, что новый порядок появляется на свет в слизи, крови и нечистотах — совсем как человек. И постарался запомнить эту формулировку, чтобы позднее записать ее. Потом отдал приказ вступить в деревню.

В самолете, на высоте примерно тысячи метров, Фюльманш жевал хрустящие хлебцы с сыром «жерве» (последний раз он ел в Хабровке) и наблюдал, как мертвая деревня начинает оживать, словно по мановению его руки. Словно он, Фюльманш, ворошит муравейник незримыми щупами — из белых мазанок тут и там хлынули живые существа, растерянно мечущиеся насекомые, а незримая сила собирала их в кучки и гнала двумя потоками — к школе и к машинному сараю МТС. Бесшумный механизм, придуманный им, управляемый им, пробуждал в нем возвышенные «океанические» чувства — он так именовал их, потому что любил море.

Рудат попал в одно из отделений, которые оцепляли и обыскивали дома, выгоняя на улицу жителей. В основном это были женщины, дети, старики и калеки, и едва ли в них можно было заподозрить партизан-подпольщиков. Они покорно сидели на своих узлах, завернув в одеяла кое-какую утварь и провизию, по пятнадцать — двадцать человек в комнате, люди из Требловки и окрестных деревень. При появлении солдат они вставали, поднимали руки и, если им приказывали, складывали ладони на затылке. Среди них были трех- четырехлетние малыши, подражавшие матерям и дедам. Как взрослые, торопливо, стараясь не привлекать внимания, они шли мимо пулеметчика, который стоял у двери и покрикивал: «Давай, давай!» — или молчал, как Рудат, механически помахивая рукой и сознавая в душе, что этим жестом посылает людей на бойню. Кое-кто мимоходом замечал пузыри у него на щеке, обожженной о кожух пулемета в ту ночь на Сейме. Он спрашивал себя, почему эти люди подчиняются, почему они покорны, и думал, что с него хватит, пора кончать, пока не поздно, но как это сделать, когда рядом торчит то Цимер, то Умфингер, то пухлый штудиенратовский отпрыск? И он все выгонял, выгонял из домов людей, чтобы их разбили на группы и чтобы Умфингер подыскал подходящих кандидатов для своей «санитарки».

Умфингер высмотрел себе двух женщин, которые показались ему впечатлительными. Он разработал так называемый анодный метод, находившийся пока на стадии эксперимента, но весьма перспективный. С помощью легких зажимов электроды крепились к физиологически самым чувствительным местам гениталий. Силу тока можно было менять — от легчайшего раздражения до резкой боли. За несколько минут — механическим способом, без малейшего умственного напряжения — можно было добиться той полной готовности к даче показаний, к которой опытные следователи стремились часами, чередуя уговоры и мордобой, вкрадчивую лесть и пытки. Умфингер велел

сделать чертежи этого несложного технического приспособления и снабдил их описанием своего метода. Он надеялся снискать таким образом благоволение рейхсфюрера, знавшего толк во всякого рода научных новшествах. То, что сегодня его молодцы ничего не добились, Умфингер объяснял только одним: эти штатские, этот ненужный брошенный хлам, действительно не знали, куда ушли партизаны.

Фюльманш придерживался иного мнения. Выслушав донесение Умфингера, он приказал ему работать — в игрушки играть некогда. После чего Умфингер, доведенный несправедливыми упреками до белого каления, взял в оборот одну из женщин, на вид городскую и довольно интеллигентную, и подверг ее допросу по своей старой, отработанной методике. С женщиной была маленькая девочка, и Умфингер заставил ее смотреть. Но услышал он все ту же, давно известную белиберду, никаких сколько-нибудь полезных сведений. Когда он на секунду ослабил хватку («Старею»,— подумалось ему), женщина плюнула ему в лицо и выкрикнула:

— Тебя вздернут прежде, чем я сгнию!

Он приказал подогнать машину к одному из сборных пунктов, вышвырнул задушенную женщину из кузова и заорал:

— Так будет со всяким! Со всяким! До тех пор, пока я не узнаю, где партизаны!

Люди тревожно загудели. Между Вилле и Умфингером вспыхнула резкая перепалка.

— Насколько мне известно, вы не любитель женщин,— кивнул на труп Умфингер.

— Я не любитель кровожадных тупиц, которые поганят честь германской армии,— отрезал Вилле.— С этой минуты я категорически запрещаю вам вести допросы во вверенном мне районе. И извольте доложить обо всем оберштурмфюреру Фюльманшу.— Он отвернулся и через переводчика сказал, что как офицер гарантирует спокойствие и порядок, если местное население будет выполнять его распоряжения и останется на сборных пунктах.

Умфингер смотрел на него и думал: «Ах ты собака! Ну, погоди! Франц Умфингер и не таким, как ты, на хвост наступал».

Он сообщил Хазе о поведении обер-лейтенанта, а Хазе передал донесение Фюльманшу, не без намека на странные симпатии Вилле. Этот рапорт был Хазе очень кстати, потому что сам он тоже не получил никакой полезной информации. Фюльманш буркнул что-то насчет посредственностей и добавил, что будет руководить допросами лично. Он не был паникером, однако история с неуловимыми партизанами и филантропическими вывертами Вилле мало-помалу приобретала весьма сомнительный оборот.

Тем временем Вилле, немного поостыв, спросил себя, не слишком ли он переусердствовал в споре с Умфингером. Ему всегда была свойственна чрезмерная горячность. А ведь если оставшиеся в котле партизаны улизнут из-под носа, отвечать Вилле. Пока обер-лейтенант препирался с Умфингером, Рудат наконец-то ухитрился отстать от своего отделения. Он миновал живую изгородь из жасмина, разделявшую два палисадника, протиснулся сквозь колючий малинник и очутился между высокими дощатыми заборами на заросшей сорняком, похожей на кишку дорожке. Он понятия не имел, где находится, просто шел по дороге, усыпанной мусором и лепешками навоза. Услышав шаги, попытался перемахнуть через забор, но неудачно. Силы оставили его, он сорвался и лицом вниз упал на тропинку. «Пусть убивают, пусть расстреливают! Не встану, и все!» Он чувствовал, что уткнулся лицом в крапиву, что из лопнувших пузырей течет сукровица, и слышал шаги — все ближе, ближе. Кто-то поднял его, перевалил через забор, потом спрыгнул сам и поставил его на ноги — Пёттер.

— Первым делом найдем себе тенистое местечко и отдохнем. Пошли!

— А вдруг Цимер начнет нас искать?

— Тогда тем более все в ажуре,— сказал Пёттер.— Прусскому обер-ефрейтору не возбраняется проявлять в ходе боевой операции чрезмерное усердие.

Под прикрытием забора, по задворкам еще не обысканных домов они вышли на крутую, окруженную зарослями дрока песчаную тропку и влезли на вершину холма. Теперь они очутились над деревней, в небольшом песчаном карьере. Раньше здесь, наверное, частенько играли деревенские мальчишки. Кругом пещеры и укрытия. На бруствере развевался самодельный флаг из носового платка. В одной из пещер — вход ее был прикрыт заплесневелым куском брезента — они нашли тряпичный сверток, а в нем стрелы, лук, деревянные ружья и копья с инициалами владельцев. К свертку была приложена картонка с красной надписью — предупреждение для непосвященных, которое они не могли прочитать.

Укрывшись за брезентом, они закурили. Если наклониться вперед, можно было как на ладони увидеть большую часть деревни, облака пыли, поднятые сапогами солдат, которые обшаривали дом за домом, и ботинками русских, которые брели к школе и машинному сараю. Повара ловили гусей, а еще дальше в ожидании приказа стояли танки и отделения огнеметчиков.

— В таком же песчаном карьере я мальчишкой играл в войну,— сказал Пёттер.

— И я тоже,— отозвался Рудат.— Неужели они всех перебьют?

— Нас при этом не будет, и мы ничего не увидим.

— Да, не увидим. Только услышим. А потом устроим еще одну облаву и опять услышим. И так без конца...

— Я вот все удивляюсь, откуда ты знал про Хабровку?

— Ничего я не знал. Только лучше бы уж я там подох. «Санитарка»-то взорвалась вместе с бабами.

— Ты чего? — спросил Пёттер, потому что Рудат внезапно вскочил и потянул его в сторону.

— Они нас видели!

— Кто?

— Вон те двое, на поленнице. По-моему, это Цимер и с ним еще кто-то.

Лежа на животе, Пёттер осмотрел сады и дороги в бинокль, который добыл себе в Воронеже. Действительно, по канаве в их сторону ползли двое. Вот они скрылись в ложбине, через некоторое время появились снова и выпрямились, чтобы перебежать к зарослям дрока. Пёттер узнал Умфингера и одного из его подручных.

Отполз назад, достал из вещмешка магнитную мину, русские лимонки, капсюли-детонаторы и катушку проволоки. Вынул капсюли, соединил все это проволокой и зарыл в полу и в стене пещеры, прямо над свертком с игрушками.

— Цимер? — спросил Рудат.

— Нет. Душегуб, специалист по пуховикам.

Пёттер обследовал дальний конец пещеры и обнаружил там узкий лаз, ведущий в другую пещеру, расположенную выше, которая в свою очередь соединялась с другими пещерами.

Ребятня превратила карьер в настоящую крепость. Пройдя метров тридцать, можно было выбраться на другую сторону, в заросший лопухами овраг. Пёттер протянул проволоку к самому лазу и забросал ее песком. Вернулся за вещами и на минуту выглянул из-под заплесневелого брезента, так что Умфингер не мог не заметить его. Они были метрах в двухстах, ползли к карьеру под прикрытием зарослей дрока.

— Что ж,— сказал Пёттер,— сами напрашиваются. Забирай манатки и пошли.— Он показал Рудату дорогу, по которой надо уходить, и стоявший на отшибе дом: от избытка служебного рвения они

якобы решили обыскать его. Комар носа не подточит, полнейшее алиби. С какой стати Умфингеру вздумалось шататься по заминированному району? Пёттер залег в проходе, сжимая в руке проволочную петлю. Чертовски жаль, что Цимер не с этими.

Умфингер и его приспешник с большой осторожностью подбирались к карьеру. Умфингер чуял крупное дельце. Когда после стычки с Вилле он услышал от Цимера, что Рудат с Пёттером вдруг ни с того ни с сего исчезли, в его неповоротливом мозгу родилась дерзкая мысль, что Вилле поддерживает контакт с партизанами, причем именно через Рудата, с которым состоит в противоестественной связи. Рассказанная Цимером странная история с бабенками в Рыльске, ложный приказ в Гульевке (почему при сем присутствовали Вилле и Рудат?), препирательства Вилле с Фюльманшем из-за полномочий, бесхарактерные возражения обер-лейтенанта против любых маломальски жестких мер, а теперь вот исчезновение Рудата — все это казалось ему не просто случайными вывихами ни уха ни рыла не смыслящих психов, а звеньями длинной цепи предательств; тогда легко объясняется и безуспешность операции, и неуловимость партизан. Здравые национальные чувства экс-официанта («Пусть у меня нет ничего за душой, но я знаю людей») подсказывали ему, что человек, занимающийся извращенным непотребством, и фатерланд предать может. Нет, все они определенно связаны между собой: гомосексуалисты, евреи, предатели фатерланда, коммунисты, Вулворт и длинноволосые писаки. Ах сволочи, он их за версту чует, не успеют они рта раскрыть. Кому нужны всякие там тонкости? Нюх — вот что главное. А его бог чутьем не обидел, и уж если он за что берется, то берется основательно.

Конечно, это пока домысел, наитие, можно и обмануться, но чем он рискует, если прощупает шныряющих в карьере слабонервных хлюпиков и на всякий случай — вдруг что-нибудь обнаружится? — подгонит сюда парочку машин. Когда этот прохвост, ничего не подозревая, опять вылез из-под брезента, у Умфингера возникло совершенно недвусмысленное предчувствие, что его ожидает продвижение по службе и тепленькое местечко. Вот умник наш, оберштурмфюрер Фюльманш, глаза-то вытаращит!

Фюльманш вылез из самолета и тотчас приказал везти себя на площадь, к школе и машинному сараю, куда были согнаны люди. Он подтянул в деревню танки и вызвал на совещание командиров и шефа гестапо Хазе.

— В данный момент вы тихо-мирно, без паники вывели из домов примерно тысячу человек. Тысячу! И девятьсот девяносто из них знают о партизанах куда больше всех нас, вместе взятых. Однако вы, в том числе господа из гестапо, ничего не выяснили. Верно? А теперь я вам продемонстрирую, как за какие-то четверть часа все это можно изменить, причем без нервозности, без всяких там уловок и прочей ерунды. Переводчик!

Подъехал автомобиль связи, и Фюльманш через громкоговоритель произнес впечатляющую речь:

— Жители Требловки! Ни для кого не секрет, чем по законам войны карается активная и пассивная поддержка вооруженных банд. Вы, как известно, виновны в такой поддержке. Но тем не менее я решил дать вам возможность искупить вину. В вашем распоряжении десять минут, и этого вполне достаточно. Я отберу десять человек, каждый из которых в течение одной минуты сможет откровенно, без принуждения сообщить нам все, что вы знаете о вооруженных бандах и особенно об их нынешнем местопребывании. Если первый из десятки окажется добропорядочным, значит, вся деревня Требловка добропорядочна и заслуживает соответствующего обращения. Но

если и десятый проявит упрямство и будет казнен, значит, упряма вся деревня, и вся деревня будет казнена. Я солдат и привык держать свое слово.

Он спрыгнул с машины. Фу, как тут мерзко воняет пóтом, какие тусклые глаза у этого сброда! Ведь пока он говорил, они смотрели мимо него, на танки.

Господа из вермахта совсем притихли и растерянно переминались с ноги на ногу. Все как-то смешалось, послышались крики — это Хазе отбирал и выстраивал в шеренгу десять местных жителей. Они стояли по росту, глядя на своих соседей, друзей и родных. За спиной у них расположился эсэсовец с пулеметом. Когда Фюльманш засек на своем летном хронометре первую минуту, заговорили сразу несколько человек. Благообразный, видимо, не вполне нормальный старик то пронзительно молился, то затягивал какие-то песнопения, а переводчик зачем-то все это переводил. Чтобы установить мало-мальский порядок, Фюльманш распорядился немедленно убрать старика. Кроме того, он приказал некоторым поменяться местами, так что в конец шеренги попали те, кто казался ему поинтеллигентнее, а следовательно, податливее.

Вилле все это представлялось нелепым кошмаром. Почему, скажите на милость, партизаны должны были сообщить местным, где собираются прятаться? Допустим даже, кому-то это известно, но почему непременно одному из десятки? Не будь у него кое-каких опасений, он бы последовал примеру толстого саперного капитана и ушел.

Глядя, как упала лицом вниз маленькая старушка (она сняла жакетку, чтобы не попортить), Вилле пожалел, что не ушел. Жутко и противно. Внезапно ему бросилось в глаза, что здесь нет Умфингера.

Пёттер лежал на животе, пригнув голову. Его массивное тело заполняло весь лаз. По многолетней привычке он задумчиво жевал потухший окурок сигары. Потом чуть подался вперед: ведь надо держать в поле зрения вход пещеры, чтобы не упустить момент. Он мечтал увидеть, как эта пара взлетит на воздух. Песок поверх мин и гранат высох и посветлел. Порядок. Ох, до чего охота поглядеть, как Умфингер и его прихвостень, этот напомаженный тевтон, взлетят на воздух. Страсть до чего охота, просто позарез необходимо.

Из деревни периодически доносились короткие автоматные очереди. Шесть не то семь раз подряд. Пожалуй, в один прекрасный день он все-таки напишет жене, чтобы она навестила дядю Лео. Это был пароль на случай, если он решит сдаться в плен. Такие вот хитрости. Он бы с радостью повидал дочурку, которая родилась после того, как он полтора года назад съездил домой в отпуск. Жена как раз купила новый радиоприемник, и, когда они его включили, Гитлер орал, что русский колосс разбит и больше никогда не подымется.

В деревне опять послышалась автоматная очередь, а вслед за тем — негромкие выстрелы где-то поблизости. Он выплюнул окурок и прижался щекой к влажному песку. В пещеру вполз Умфингер с автоматом на шее. Пёттер слышал его пыхтенье и видел, как он прополз четыре-пять метров. Да, если второй сейчас не появится, придется уложить Умфингера штыком. Как же он не учел, что эти скоты могут явиться поодиночке? — ругал себя Пёттер. Умфингер встал и снял автомат с предохранителя. Ну, теперь и за штык браться поздно. В эту минуту в отверстии пещеры возник второй, и Пёттер облегченно вздохнул. Сейчас они заметят сверток с игрушками и подойдут к стенке. Вот они уже у самой стены. Пора! Он потянул на себя проволочную петлю и начал считать. Внезапно их оторвало от земли и друг от друга, швырнуло на противоположную стену, затем пещера обвалилась, и больше ничего не было видно. Пёттер выдернул проволоку, выковырял из песка окурок и пополз обратно — разведанным путем.

— Все в ажуре,— успокоил он Рудата, который бросился ему навстречу.

— В овраге эсэсовцы,— торопливо сказал Рудат.— Машины три, не меньше. Я им живым не дамся.

Он открыл затвор пулемета и вставил новую ленту.

— Фиг они нас поймают,— сказал Пёттер.— При их-то неповоротливости. Пошли.

Эсэсовцы явились сюда наверняка не ради них. Минут пять в запасе еще есть, можно отыскать другой выход или хотя бы приличное укрытие, прежде чем каратели доберутся сюда.

Пёттер потащил Рудата через неведомые коридоры и пещеры, через бессмысленный лабиринт, который почему-то все равно уходил вверх. Его не оставляло чувство, что там есть выход — кусты, кроличьи норы, птицы... Именно кусты, кроличьи норы и птицы того песчаного карьера, где он играл мальчишкой, давали ему эту уверенность.

Как бы то ни было, надо отсюда выбираться.

Наконец они очутились в низенькой полуобвалившейся пещере. Ощупали потолок — корни, стена — сплошь крупные булыжники, точно скрепленные раствором. Значит, поверхность совсем близко. Лежа на спине, они начали штыками рыть землю. И тут услышали над головой шаги. По-видимому, разведпатруль. Затаились, выжидая, пока он уйдет. Снова начали копать — снова шаги, и лабиринт внизу тоже ожил. Отдаленные шорохи, голоса, которые то будто приближались, то опять удалялись, поспешные шаги над головой — и на несколько секунд полная тишина.

— Я им живым не дамся,— повторил Рудат.

— Слушай, ты можешь заткнуться, а?

Пёттер долбил каменную стенку, но та не поддавалась. Выковыривал булыжники и запихивал их в лаз, по которому они сюда попали, замуровывая себя и Рудата, точно в могиле. Воздух наполнился пылью, и вскоре от недостатка кислорода оба прерывисто задышали. Легкие и бронхи жгло огнем, словно они хватили перцу. Шорохи внизу слились в отдаленный гул, а они прикидывали, через сколько минут задохнутся — через двадцать или через тридцать, если в промежутках между приступами кашля будут дышать неглубоко и спокойно.

Рудат вспомнил, как однажды читал, что перед лицом смерти и в отчаянии человек взывает к богу, и подумал, что это затасканный вздор для душещипательной писанины,— сам-то он не взывал ни к чему. Он обливался холодным потом, ледяные струйки текли по телу, а дышать становилось все труднее. Он заставлял себя думать о тех трех-четырех людях, которые погорюют о нем с месяц-другой, но в сознании неотступно билось, что умирает он ни за что и двадцать два года жизни прошли впустую. А еще что-то в затуманенном, жаждущем кислорода мозгу твердило, что его обманом лишили этих двадцати двух лет и что он не позволит украсть у себя и что остальное, что он хочет жить и должен что-нибудь сделать. Он опять зашелся кашлем и рванул ворот френча. Перевернулся на живот, чтобы выплюнуть поднимавшуюся из легких жижу, может быть кровь, и инстинктивно схватился за пулемет. Судя по звуку, Пёттер снова у булыжной стены, методично пинает ее ногами. Рехнулся он, что ли? Рудат подполз к нему, хотел оттащить, но вдруг стена действительно подалась, и в образовавшийся пролом хлынул воздух, почему-то пахнувший антисептиком. Они орудовали штыками, расширяя дыру, чтобы можно было в нее протиснуться. Копали осторожно, стараясь не шуметь. Один раз пришлось остановиться: кто-то был вблизи забитого камнями хода. Казалось, огромный зверь вынюхивает след,

и Рудат подумал, что это, наверно, Цимер шныряет в лабиринте и, по обыкновению, сморкается пальцами.

— Черта лысого они нас нынче возьмут,— сказал Пёттер; он отдал Рудату катушку с проволокой, протиснулся в проем и по проволоке спустился вниз. Неглубоко, метра два с половиной — три. Рудат сбросил ему вещмешок.— Я тебя поддержу за ноги. Вылезай! — скомандовал Пёттер.

Из-за громоздкого пулемета Рудат замешкался и, болтая ногами в воздухе, никак не мог достать Пёттеровы руки.

— Отойди, я спрыгну. Отойди!

Очутившись на утрамбованной площадке, он в темноте поискал глазами Пёттера. Нет его, наверно, пошел дальше. Рудат отвязал пулемет и только через несколько шагов сообразил, что находится в сравнительно широком коридоре, который плавной дугой уходил вниз. В самом деле попахивало антисептиком — не то карболкой, а может быть, просто мочой. Нога наткнулась на что-то мягкое. Должно быть, Пёттеров вещмешок. Рудат наклонился и понял: мертвец. Хотел окликнуть Пёттера, сказать ему, как вдруг чьи-то руки стиснули горло. Падая навзничь, он увлек за собой противника, но тот не ослабил хватку. Вырываясь, Рудат отчаянным усилием вскинул голову и попал нападавшему в лицо, ударил раз, другой... Выходит, эсэсовские головорезы все-таки подкараулили их и ухлопали Пёттера, только он, Рудат, живым не дастся. Руки его шарили по земле — где-то здесь должен быть пулемет. Ага, вот он! Заметив, что противник снова метнулся к нему, Рудат дал очередь и бросился назад по коридору. Налетел на какую-то дверь, услышал за спиной топот и выстрелил еще раз. Налег на дверь, высадил ее и покатился вниз с четырех- пятиметрового травянистого откоса, судорожно сжимая пулемет и думая только об одном: эсэсовцам он живьем не дастся. Потом услышал рев моторов самоходки, грохот орудийного выстрела и только тут сообразил, что нечаянно попал в одно из разыскиваемых партизанских укрытий, что он, Рудат, навел на него эсэсовцев. Подъехало еще несколько самоходок и бронетранспортеров, взрывники и огнеметчики — народ умелый: за каких-то двадцать минут бункер был вскрыт и сопротивление сломлено. Солнце так палило — хоть яичницу на броне жарь. Заработали огнеметы: пламенный смерч пронесся по коридорам, сметая все на своем пути; а люди — те, у кого еще были силы, обожженные, искалеченные, обезумевшие — пытались уйти от огненных струй, ползли из полузасыпанных нор к выходу, навстречу смерти, под пулеметы эсэсовцев.

Очевидно, в укрытии размещался партизанский лазарет, пять или шесть десятков больных и тяжелораненых. Ну и, конечно, кое-какой обслуживающий персонал, главным образом молодые женщины и солдаты охранения. Среди убитых было много безруких и безногих, у большинства, видимо, были повязки, так как кое-где виднелись полосы необожженного мяса.

— Уму непостижимо, как все это смердит в летнюю жару,— сказал пожилой эсэсовец, заваливая входы песком, чтобы убить заразу.

Правда, без заминки не обошлось: человек восемь — десять партизан через запасной ход незаметно выбрались на самый верх бывшей каменоломни и засели там, умело используя в качестве прикрытия колючий кустарник и валявшиеся повсюду каменные глыбы. Подступиться к ним было практически невозможно. Бронетранспортеры вязли в сыпучем песке крутого откоса, самоходки тоже бездействовали, так как, даже выберись они на узкую площадку, партизанские позиции все равно попадут в мертвое пространство их орудий. Одну из самоходок с ударной группой послали наверх, но она нарвалась на мину и вышла из строя. Одного солдата убило, двоих ранило. Пришлось отступить. Следующую группу партизаны обстреляли с подбитой самоходки из пулеметов. Оттуда простреливался весь

склон, так что волей-неволей пришлось разнести собственную самоходку из противотанковых орудий.

Какой-то шарфюрер, в прошлом лавочник из Плауэна, сказал:

— Этим болванам, в сущности, все одно каюк — хоть сейчас, хоть через полчаса. Так нет же, дерутся до последнего патрона. Вот ведь фанатики!

Очень уж ему было жалко терять время: прошел слух, что по окончании операции выдадут настоящее пиво. Один даже болтал, что видел бочки, пльзеньское, из самого Пльзеня, там так и написано. А теперь торчи тут по милости десятка фанатиков! Утопить их в нужнике — и дело с концом! Он лично предпочитает пить из глиняных кружек, да чтоб пиво было похолоднее, так оно для здоровья полезней.

— Небось все уж высосали, нам и понюхать не достанется,— твердил бывший лавочник.

Чтобы разделаться с десятком партизан, из деревни пригнали тяжелый танк с огнеметами. К тому времени набралось порядком желающих участвовать в акции. По приказу Фюльманша прибыл Хазе — посмотреть, нет ли тут кого для допроса. Он на этот счет не обольщался, нисколько! Вот еще! Тратить на неучей умственную энергию! Можно только позлорадствовать, что этот неудавшийся тевтон Фюльманш сел со своей высокопарной речугой в лужу. То, что Фюльманш вынужден сейчас делать с оставшимся штатским сбродом, он, Хазе, сделал бы еще час назад, причем чище и дешевле. Ведь начнут теперь прикидываться умалишенными. После всех этих цирковых фокусов. Он не выносит истерики во время казней, до смерти не выносит. «Ну и черт с ним. Пусть Фюльманш сам расхлебывает,— думал Хазе.— Умфингера жалко, надежный был малый. Великолепный работник, из кого угодно котлету мог сделать». Хазе решил, что не погрешит против воли покойного, если заберет себе его коллекцию столовых приборов и монет. Надо организовать приличные похороны. Это его долг. Гибнут всегда не те.

— Что ж, сейчас мы устроим этим голубчикам зарядку,— сказал он командиру танка.— Вот выкурите их из нор, и трое-четверо достанутся на мою долю.

Услышав из деревни залпы танковых орудий, Рудат вскочил на ноги. Побежал по травянистому склону бункера, черному от пепла и почему-то похожему на волосы негра. Он упрямо карабкался по круче, срывался и снова лез, пока не очутился наконец на самом верху. Деревня лежала перед ним как на ладони. Фосфорные снаряды ударили по школе и по машинному сараю, белые струи огня полоснули по гроздьям людей, забивших окна и двери. Послышался треск пулеметов, тонкие крики, словно с далекого стадиона. А он все стоял, смотрел и слушал. Над деревней поднялось облако дыма, черное, жирное, странной формы. Надо запомнить. Облако напоминало заспиртованный разрезанный мозг. Вот на верхнюю площадку каменоломни выскочил танк и включил огнемет. Рудат слышал всхлипы пламени. Стрекот русских пулеметов и автоматов становился все тише, все реже. Потом наступила тишина. Из камней сквозь горящие кусты выползли четыре человека, сложили оружие, те, кто еще держался на ногах, сцепили ладони на затылке. Молодчики Хазе бросились на них с кулаками и погнали вниз по склону, осыпая градом ударов, пока вконец обессиленные люди не упали и не поползли на четвереньках. Внизу подоспели власовцы, с бранью стали срывать с них лохмотья, бить нагайками.

Среди партизан Рудат увидел женщину — ее били по груди, по животу. Это была Таня. Волосы у нее сгорели, вместо бровей и лица — багровый мокнущий ожог. Она спотыкалась, прикрывая руками тело и разбитую посиневшую грудь. Что-то кричала, он не мог

разобрать что. Однорукий партизан упал и остался лежать на спине, а власовский атаман встал ему на живот и что-то заорал. Однорукий поднял голову, точно силясь разобрать слова, открыл рот, точно для ответа, но из горла у него фонтаном хлынула кровь.

— Кончайте с этой сволочью,— распорядился Хазе.— Пора и отдохнуть. Загоните их на бункер.— Бросив туда взгляд, он заметил какого-то солдата, который неподвижно глядел перед собой, и крикнул ему — а то, может, еще решил обзавестись могильным камешком с золотой надписью:— Слезай, да поживее!

Рудат заскользил по откосу вниз, а партизан погнали наверх. Они пытались посторониться, дать ему дорогу, потому что в руках он по-прежнему сжимал пулемет и показался им еще одним эсэсовцем, свеженьким и отдохнувшим. Таня упала. Он узнал ее желтые туфли с пряжками.

Ко всеобщему удивлению, действительно подъехал бронетранспортер с двумя бочками пива. Солдаты радостно завопили, начисто забыв о трех партизанах, которые стояли там, на верху бункера, поддерживая друг друга, чтобы не упасть.

Хазе стоило большого труда назначить команду для расстрела, так как солдаты уже наполнили котелки пивом. В самом деле настоящее пльзеньское. Хлебнув как следует, они прикрыли котелки касками, чтобы туда не попал мусор. Кто-то мечтательно сказал:

— Чтобы нам опять каждый день такое пить!

Потом они подтащили пулемет и развернули его в сторону партизан.

Рудат глянул вверх: полураздетые, обожженные, избитые, партизаны стояли, тесно прижавшись друг к другу. Посередине Таня. Все трое были обуты, и один нагнулся завязать шнурок, распустившийся по дороге. Рудату как-то вдруг отчетливо вспомнился отец: худая шея, бритая шишковатая голова. Они ждали словно в некотором замешательстве, потому что эсэсовцы уронили пулемет в грязь и довольно долго возились с затвором. Наконец им удалось вставить новую ленту. Истерзанные фигуры на минуту выпрямились и подняли вверх сжатые кулаки. Словно тронутый временем памятник. Партизаны запели. И Рудат вспомнил родной городок, духовой оркестр из рабочих, за которым бегал мальчишкой. Они пропели несколько строчек, громко, не в лад, о том, что «с Интернационалом воспрянет род людской», но тут застрочил пулемет, и первая же очередь скосила всех троих.

— Хочешь пива? Ты же еще не пробовал,— сказал кто-то Рудату и налил ему полный котелок. Рудат выпил. Внутри все словно умерло, осталась только пустота и апатия. «Ты ведь должен что-то чувствовать,— думал он,— хоть что-нибудь должно в тебе происходить, черт побери, что-нибудь решительное, что-нибудь... что-нибудь... что-нибудь...» И чувствовал, как холодное пиво стекает по пищеводу в желудок. Выпустил из рук котелок и застыл, не в состоянии решить, идти ему, или сесть, или вытереть рот? Попробовал шевельнуть рукой, но импульс увял, еще не став движением. Попробовал слушать, чувствовать, думать, но мысли стирались, не успев оформиться. Он искал точку опоры и не мог найти ее, не знал, что́ ищет. Он словно очутился под колпаком, опустошенный, отрезанный от мира. Казалось, будто некий сложный кабель обрубили топором, а потом спаяли снова, только неправильно. Будто некая электронная система, обезумев, посылает беспорядочный поток сигналов, которые забивают друг друга, блокируют, и смысл ускользает. Он хотел закурить, достал из кармана пачку сигарет и, внезапно забыв, что собирался делать, выронил ее. Спросил себя, отчего это пачка упала, да так и застрял на этом вопросе, неотрывно и тупо глядя прямо перед собой, пока не подскочил от страха: ему вдруг почудилось, что ноги стали огромны-

ми и бесформенными и больше не помещаются в сапогах и что легкие разбухают и вот-вот разорвут грудную клетку, так что он задохнется. Он провел ладонью по шее и удивился: как же так, зачем это рука трогает шею и почему она черная и в крови.

— Рудат, слышь, тебя ротный требует! Ищет тебя как ненормальный! Из-под земли, говорит, достаньте!

Окликнул Рудата не кто иной, как Эрнст Муле. Подъехав на мотоцикле, он втащил старшего рядового в коляску и повез к ротному. Судя по всему, Муле изрядно поддал, он был навеселе и неслыханно дружелюбен. Мотоцикл мчался по ухабистым песчаным дорогам, Муле без умолку тараторил, а Рудат, точно окаменев, безучастно сидел в коляске.

— Ну, Рудат! Ну, старик! Кто бы мог подумать, а? Герой Требловки! Вот это номер! Вдвоем — вдвоем! — накрыть партизанский бункер. Пусть-ка эти умники так попробуют! Можешь не говорить, что там было, сам вижу, без словаря понятно. Пёттер был отличный мужик, ей-богу, отличный. Судьба есть судьба, и ведь сколько я, к примеру, знаю всяких там подонков, так нет же — этих пуля не берет! Честно! Ладно, старик, не вешай носа, друзья тебя в беде не оставили и не оставят, будь спок! Даже когда ты... Ну, вообще-то я не должен тебе этого говорить. Ротный готовит тебе сюрприз, ты не представляешь, но я просто не могу молчать: ты получишь Германский крест в золоте, станешь взводным и примешь командование группой управления. Ну и отпуск, естественно, и все такое. А? Вот это я понимаю! Да за такую новость просто необходимо тяпнуть со стариком Муле по глоточку настоящего ямайского рома! Поздравляю! Если кто и рад, так это Эрнст Муле, настоящий, надежный друг!

Он затормозил и протянул Рудату фляжку. В ней был ямайский ром, который он вчера получил от Цимера за сообщение о том, что он, Муле, видел интендантовы пуховики в Короленко на квартире Пёттера и Рудата.

— Ваше здоровье, господин унтер-офицер! — сказал Муле.

Рудат выпил. Муле трещал, что этот старый болван Цимер теперь тише воды ниже травы, так что Рудат может раздавить его, как вошь, ротный-то, мол, смекнул, что он за птица, после того подлого доноса гестаповскому шефу Хазе. В общем, Рудат теперь от Вилле что угодно получит, правда-правда. Стоит ему захотеть, и обер-лейтенант его даже на офицерские курсы пошлет. Плохо ли? Три месяца дома, в Германии, бабы, кино! Эрнст Муле худого не присоветует.

Он громко трещал, хлопал Рудата по плечу, на лбу у него выступили мелкие капли пота. Вспотел он от страха за свое денщицкое место. «И как я только мог связаться с этой вестфальской деревенщиной? Ведь знал же, что ротный глаз положил на мальца. Теперь уж что говорить, вся эта история Вилле ох как на руку. «Герой Требловки», «украшение роты»... и в кинохронику заснимут, и нос начнет драть. Да, этак и без отпуска недолго остаться. Неужто наш хитрюга обер-лейтенант и впрямь педик? Разве нормальный мужик что поймет по его непроницаемой харе?»

У Муле было такое ощущение, будто он говорит со стенкой, будто Рудата все это нисколько не интересует, будто он не слушает, думая о чем-то своем. Даже как-то не по себе стало. Ни слова, ни движения, глаза пустые. Только ром выхлестал — и все.

— Давай-ка еще по маленькой,— предложил Муле.— Все-таки здорово ты!

Они уже ехали по Требловке. Кругом тишина. Солдаты сваливали в грузовики чемоданы и узлы. Машины переезжали от одного пустого дома к другому. Возле площади Муле пришлось сделать крюк, потому что школа и машинный сарай еще дымились и танки загораживали подъездные пути. Резко воняло соляркой.

Рудату вдруг стало страшно холодно, а вместе с холодом пришла некоторая ясность. Мысли ворочались еще туго и медленно, часто застревая на мелочах («При чем тут осколки стекла?»), то и дело путаясь, но все же он сумел кое-как разобраться в истории, которая началась совсем не в подвале и завершилась тоже не в забитом трупами выжженном бункере. История была омерзительная, и он понимал, что непременно должен довести ее до конца — любого конца. Хотя все было ему до тошноты безразлично, чуждо и происходило будто вовсе не с ним. Он сам себе казался выпотрошенным трупом, разобранной боевой машиной, за которой оставили кое-какие функции: например, она могла двигать конечностями и по-прежнему крепко сжимала заряженный пулемет, обладала памятью и способностью протестовать, протестовать каждым исстрадавшимся мускулом, каждым измученным нервом, каждой истерзанной клеткой мозга. Они въехали в гору, цвел дрок — точно желтая сыпь на изрытом лике земли.

Рота Вилле, наспех собранная из остатков разбитых под Хабровкой подразделений, расположилась лагерем на чуть возвышенном лугу под большими деревьями. Жарили гусей (один гусь на четверых), и было вдоволь пива, чтобы поднять настроение. Солдаты уже меньше бранили и эсэсовцев, которых всегда снабжают лучше, и войну вообще. Многим было весьма не по нутру, что пришлось участвовать в карательной экспедиции. Кто-то пустил слух, что дивизию перебросят, скорее всего, в Италию. Некоторые расписывали все в подробностях. Поговаривали и об отпусках. Вилле приказал два часа отдыхать. Солдаты спали, били вшей, гоняли в футбол, вместо мяча — свиной пузырь. Обер-лейтенант благодушествовал и даже постоял в воротах. Геройский поступок Пёттера и Рудата неожиданно представил его перед Фюльманшем в выгодном свете. Ведь Фюльманш полагал, что оба действовали по приказу Вилле. И теперь Вилле радовался, что может наградить именно Рудата, действительно радовался. Что ни говори, только в таких оригиналах и есть изюминка. Он подозвал нескольких солдат и намекнул, что надо бы встретить Рудата посердечнее.

Цимеру даже пиво казалось безвкусным. Считая, что его обошли, он ломал голову, как бы вывернуться из неудачной ситуации, и в конце концов решил извиниться перед Рудатом сразу после того, как Вилле прицепит ему эту штуковину. Тяжко, но ничего не поделаешь.

Едва мотоцикл Муле выскочил на луг, рота и футбол бросила, и про вшей забыла. С криками «гип-гип ура!», как приказывал Вилле, полдюжины солдат кинулись к коляске и на плечах понесли Рудата к условленному месту, где уже собрались остальные. Два шутника изображали оркестр, еще несколько затянули под их музыку песню второй роты, которая на страх врагу не знает поражений или что-то вроде того. Потом кто-то крикнул «смирно!», и песня смолкла. Появился Вилле. Медленно подошел ближе и наконец остановился перед Рудатом, на которого опять нахлынуло прежнее беспокойство, ощущение оторванности от мира и необъяснимый страх. Вилле дал команду «вольно» и начал заготовленную речь, глядя на Рудата, грязного, неподвижного, измученного, но не выпускающего из рук пулемет. Растроганный этим зрелищем, Вилле преисполнился симпатии к Рудату и решил говорить без бумажки. Вообще-то обер-лейтенант собирался произнести остроумную и понятную речь, но вдруг заговорил о новом человеке, которого рождает наш век, о солдате-фронтовике, прошедшем сквозь огонь сражений и изведавшем глубины страдания, закаленном и неколебимом, поднявшемся над моралью и взявшем в свои крепкие руки будущее, сиречь творящем историю. Нужно

только научиться распознавать этого нового человека, сущность его раскрывается в тысячах неприметных героических поступков безвестных германских воинов, и в лице Рудата он, Вилле, воздает должное не просто всей роте, но и многим тысячам безымянных, серых и грязных солдат, которым не пели песен и деяния которых суть новая сага и новая одиссея. Солдаты скучали и украдкой поглядывали на часы. Вилле говорил тихо и проникновенно, круглыми фразами расписывая Рудатов характер и заслуги, пытаясь установить с ним чисто человеческий контакт. Не забыл он и Пёттера и, прежде чем продолжить речь, снял фуражку.

Рудат смотрел на Вилле: как хитро он зачесывает свои светлые прямые волосы, прикрывая зачатки лысины. Отметил, что обер-лейтенант надел чистое белье, и даже как будто почувствовал запах духов. Смотрел, как Вилле продолжает говорить, переступает с ноги на ногу, принимает изящные позы, как он улыбается, щеря ровные мелкие зубы. Потом скользнул взглядом в сторону и задержался на взводном Цимере, который, вытянувшись в струнку, стоял чуть позади. А дальше за Цимером — Требловка и дымящиеся развалины школы и машинного сарая. Резкий, как у кастрата, голос Вилле проникал ему в мозг — так вонзается в уши неумолчный собачий лай или уличный шум,— и голос этот возглашал, что за геройское поведение в Требловке старший рядовой Рудат произведен в унтер-офицеры и награжден золотым Германским крестом. Вилле щелкнул пальцами. К нему подскочил Муле с унтер-офицерскими погонами и коробочкой с орденом, а шутники грянули туш. Рудат смотрел, как Вилле открывает футляр и растроганно улыбается ему, Рудату, и Муле тоже ухмыляется своими тусклыми рыбьими глазами, и Цимер, чуть склонив набок багровую физиономию, шевелит толстыми губами, точно заучивает устав. И только в эту минуту он осознал, что это не бред и не шутка, что он, Рудат, в самом деле *их* герой и что чествуют они его заслуженно. Он шевельнулся, словно желая убедиться в истинности невероятного, и глаза его — единственное живое пятно на застывшем лице — наполнились ужасом. Тех троих это как будто даже развеселило и еще усилило их симпатии: ведь скромный храбрец, судя по всему, никак не мог постичь, какая великая честь выпала на его долю. Рудат смотрел, как их улыбки становятся все шире, как Вилле торжественно шагает к нему на фоне голубого неба... Но вот их лица стерлись, а перед глазами возникли лица партизан на сожженном бункере, распухшие и неузнаваемые, в середине Таня... окровавленные губы шевелятся... тарахтит пулемет... Пулемет, который был в его руках. Палец лежал на гашетке. Рудат слегка откинулся назад, чтобы погасить отдачу, ствол пулемета молотил по ребрам. Он видел, как посерело изумленное лицо альбиноса Вилле, как Вилле рухнул, как следом за ним упал Цимер, потом очередь прошила отскочившего в сторону Муле, а он все стрелял, пока не кончилась лента.

Вечером шестого мая 1943 года в помещение для ареста при дивизионном военно-полевом суде в С. был доставлен молодой солдат. Арестованный находился в состоянии, напоминающем ступор, он неподвижно лежал на носилках и ни на что не реагировал. Глаза были открыты, но он не говорил, и все попытки вступить с ним в контакт закончились неудачей.

Этот солдат, удостоенный за беспримерную храбрость Германского креста в золоте, застрелил при вручении награды командира роты, взводного и одного из рядовых. Поскольку достоверные мотивы поступка не выяснены, дивизионный врач до начала судебного разбирательства направил подследственного в К. в отделение военной психиатрии для установления его вменяемости.

■

ГЛОРИЯ ГУАРДИА

Последняя ставка

РОМАН

Перевод с испанского В. ОБРУБОВА

«Это звено континента — родная моя земля...» — писал годы назад выдающийся панамский поэт Деметрио Корси, тут же с нескрываемым чувством горечи добавляя: «...и цель тех, кто под флагом свободы цепи рабства куёт».

Трагической судьбе родины, закованной в цепи империализмом Соединенных Штатов еще в начале века, посвящали свое творчество многие поэты Панамы. Недавно увидевший свет роман «Последняя ставка» панамской писательницы Глории Гуардиа представляет собой значительный вклад в прозу Панамы, раскрывающую страницы прошлого и настоящего этого центральноамериканского государства.

На ленте, венчающей национальный герб Панамской республики, воспроизведен по-латыни девиз: «Pro mundi beneficio» («На благо мира»), подчеркивающий особое значение Панамского канала в системе мировых морских путей, однако, по выражению одного панамского публициста, действительность заставляла прочитывать девиз и так: «Pro yanqui beneficio» («На благо янки»).

Панаму, благодаря своему географическому расположению служащую естественным звеном, связывающим юг и север континента, рассек почти посредине Панамский канал, ставший источником обогащения Соединенных Штатов и вместе с тем открытой, кровоточащей раной в сердце панамского народа.

Захватив в 1903 году полосу территории Панамы — от Атлантического до Тихого океана,— Соединенные Штаты даже назвали ее как свою колониальную собственность по-английски: «Canal Zone».

«Под флагом свободы», как писал Деметрио Корси, в том году американская агентура, среди нее — представители панамской олигархии, при прямой поддержке одиннадцати крейсеров и эсминцев и десанта морской пехоты США, используя сепаратистские настроения панамцев, инсценировала переворот в Панаме с целью отделения ее от Колумбии, в состав которой Панама входила со статусом департамента. Этим маневром было сломлено противодействие Колумбии, не желавшей уступить Соединенным Штатам часть Панамского перешейка для строительства канала, и США развязали себе руки. Спустя несколько дней после провозглашения «независимости» Панамской республики Соединенные Штаты по договору Хэя — Бюно Варильи не только заполучили «на вечные времена» желаемую полосу территории для сооружения межокеанского канала, но и самые широкие права вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нового государства.

Примечательно, что договор 1903 года был поспешно — до прибытия в Вашингтон официальной панамской миссии — заключен французским спекулянтом Филиппом Бюно Варильей, одним из главных акционеров обанкротившейся «Французской компании канала», срок концессии которой истекал через год, и государственным секретарем США Джоном Хэем в частном доме последнего, а не в государственном департаменте, причем Бюно Варилья, не имея собственной печати, скрепил документ печаткой... Джона Хэя. Так кабальный договор Хэя — Бюно Варильи вошел в историю межамериканских отношений циничнейшим документом экспансионистской политики США. В период американского господства канал для панамцев стал символом утраты национального суверенитета, бесправия, эксплуатации, расовой дискриминации. Юрисдикция

© Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1977.

ГЛОРИЯ ГУАРДИА — GLORIA GUARDIA.

Панамская писательница, литературовед, автор многих книг, в том числе романа «Белый сумрак» («Tiniebla blanca»), литературоведческих работ «Хосе Марти, предвестник модернизма» («José Martí, precursor del modernismo»), «Тематический триптих поэзии Мигеля Эрнандеса» («El tríptico temático de la poesía de Miguel Hernández») и др.
Роман «Последняя ставка» («El último juego»), предлагаемый читателю, отмечен первой «Центральноамериканской премией по жанру романа».

США означала фактическое порабощение, колониальный режим. Пишущему эти строки вспоминается, как многие годы назад в столице Панамы было трудно обнаружить, пусть в качестве сувенира, национальную монету — бальбоа, в обращении фактически находились лишь доллары США (обе денежные единицы паритетны).

Накануне второй мировой войны Соединенные Штаты навязали Панаме соглашение, в соответствии с которым приобрели право на оккупацию страны «при чрезвычайных обстоятельствах», а позднее разместили здесь свои военные базы.

И ныне в планах Пентагона по-прежнему важное место занимает зона Панамского канала — стратегического значения район, где расположен крупный военно-экономический комплекс с четырнадцатью авиационными и военно-морскими базами, насыщенными современным вооружением разного типа. Совсем недавно, в феврале нынешнего года, Соединенные Штаты провели в зоне Панамского канала большие маневры «Блэк фьюри-3», в которых участвовали американские войска, дислоцированные в Панаме, а также значительные военно-морские, авиадесантные и артиллерийские части, переброшенные из США. Это еще раз подтвердило мнение латиноамериканской печати, что зону Панамского канала, если не всю Панаму, вашингтонские стратеги рассматривают как передовой бастион «корпуса быстрого реагирования», нацеленный на страны Латинской Америки, предопределенный для интервенции в любую из этих стран. С другой стороны, общеизвестно, что в военно-учебных центрах Пентагона и ЦРУ, находящихся в зоне канала, усиленно готовятся головорезы — «зеленые береты», которых тут муштруют для антипартизанских действий, для подавления национально-освободительного движения в Латинской Америке, прежде всего — в Карибском регионе, и, разумеется, в самой Панаме.

Но панамский народ борется. Борется за полную национальную независимость своей страны, за ее деколонизацию, за ликвидацию империалистического господства, за возвращение Панаме зоны канала.

Особенный размах национально-освободительная борьба панамского народа приобрела на протяжении последних десятилетий, и Соединенным Штатам пришлось пойти на пересмотр некоторых статей договора 1903 года, формально отказаться от роли «гаранта независимости» Панамы, несколько увеличить размер ежегодной ренты за пользование каналом, покинуть те военные базы, которыми Панама разрешала пользоваться во время второй мировой войны. Пришлось Соединенным Штатам отказаться и от попыток разместить в этой стране 103 военные базы и оккупировать всю страну, как определял договор, заключенный в 1947 году американским послом в Панаме генералом Ф. Хайнсом и исполнявшим обязанности министра иностранных дел Панамы Ф. Филосом,— единогласно, под давлением народных масс его отвергла Национальная ассамблея Республики.

Упорная борьба панамского народа не раз принимала очень острый характер. В 1958—1959 годах панамские студенты дважды осуществили операцию «Суверенитет», или «Посев знамен», проникнув в зону канала и водрузив там панамские флаги. Против студентов были брошены подразделения американской военной полиции и пехоты, парашютисты США, пускавшие в ход бомбы со слезоточивым газом, брандспойты, пули, штыки. Панамская земля была обильно полита кровью и в дни народного выступления в январе 1964 года, когда американские солдаты расстреляли мирную демонстрацию панамцев, требовавших возвращения Панаме зоны канала. Кровь патриотов не пролилась напрасно. В октябре 1968 года в Панаме произошло важное событие: свергнув правительство местной олигархии, к власти пришла группа офицеров Национальной гвардии, которую Соединенные Штаты считали своей верной опорой (американцы в свое время распустили панамскую армию, учредив вместо нее репрессивный орган — Национальную гвардию). Настроения этой группы офицеров, создавшей антиолигархическое, антиимпериалистическое правительство, весьма наглядно выразил ставший во главе его полковник, ныне генерал Омар Торрихос в письме к американскому сенатору Эдварду Кеннеди. «Когда я был капитаном,— писал он,— то подавил как-то выступление, возглавляемое студентами и вызванное вескими причинами. Я был ранен. Я был ранен сильнее, чем кто-либо другой из моей части, и также убежден в том, что гибель юношей-партизан не означала ни уничтожения, ни исчезновения причин недовольства, заставивших их протестовать путем вооруженного восстания. А прочитав их программу, я понял, что если бы я не носил форму, то находился бы по их сторону баррикад. Именно тогда у меня возникла твердая мысль, что если мне когда-нибудь представится случай возглавить наши вооруженные силы, то я их обязательно на сей раз «обвенчаю» с высшими интересами родины» («Проблемы мира и социализма» № 2, 1980). Вполне закономерно, что Народная партия (коммунистов) Панамы оказала поддержку патриотическому правительству Торрихоса, выступившему за возвращение зоны Панамского канала, а затем и самого канала под национальный суверенитет.

Подготовка, подписание и утверждение договора Хэя — Бюно Варильи в 1903 году, о чем говорилось выше, скорее напоминали сюжет какого-то дешевого авантюрного романа — правда, с трагическим для панамского народа финалом. Однако в 1977 году Вашингтону уже не удалось поставить фильм по своему сценарию: несмотря на все ухищрения, маневры и угрозы империализма США, панамский народ до этого решительно отверг три проекта кабальных соглашений, предложенных американской стороной, и в конце концов Соединенные Штаты были вынуждены подписать такие новые договоры о канале, которые по своей сути означают шаг вперед на пути к деколонизации Панамы. Конечно, как и следовало ожидать, империалистические круги США постарались хоть на чем-то выиграть, пускаясь на всякие оговорки: Вашингтон согла-

сился признать, что территория зоны канала принадлежит Республике Панама и упраздняется юрисдикция США, но фактически канал должен перейти в собственность Панамы лишь в конце 1999 года, но до конца нынешнего века Пентагон сохранит здесь пять военных баз, но право панамского народа провозгласить нейтралитет канала пока не признано... «Несмотря на то, что новые договоры не означают ликвидации угнетения,— подчеркивает Генеральный секретарь ЦК Народной партии Панамы Рубен Дарио Соуса,— их заключение эффективным образом будет способствовать завершению борьбы панамского народа за свою полную национальную независимость. Это — законная победа панамского народа... хотя нас еще и ожидают впереди немалые трудности».

Картину борьбы панамцев за национальную независимость раскрывает довольно широко, хотя и своеобразно, роман Глории Гуардиа. Молодой писательнице удалось отразить обстановку напряженности борьбы за новые договоры о Панамском канале в 70-х годах — в этом особая актуальность, политическая острота романа. Правда, для сюжетного построения, в целях драматизации произведения автор сочла возможным, как сообщает панамский журнал «Ревиста насьональ де культура», использовать факт, происшедший не в Панаме.

Панораму событий в Панаме писательница показывает через восприятие человека, принадлежащего к традиционной панамской олигархии, отнюдь не участника и даже не сторонника революционного процесса в стране, однако занимающего важный пост, весьма близкого к правительственным кругам Панамы наших дней (это обстоятельство побудило нас несколько подробнее осветить исторический фон). Позиция Гарридо порой приближается в какой-то степени к позиции наблюдающего со стороны, аутсайдера. Дед его был причастен к заключению пресловутого договора 1903 года, а в романе Роберто Гарридо III (это же династия!) уполномочен революционным правительством вести переговоры с американцами о новом соглашении; и вот, вызванный в президентский дворец, он предается воспоминаниям — почти весь роман построен как «внутренний монолог» главного действующего лица,— мысленно обращаясь к возлюбленной... Надо отдать должное автору романа, сумевшей представить образ Гарридо жизненно, не одномерно, передать его душевное состояние, его смятенность, ущербность, подчас трусость. Он — сын своего класса, выразитель интересов национальной буржуазии со всеми присущими ей противоречиями: то он выступает как конформист, то в нем пробуждаются чувства патриота, и в американском империализме он видит врага своей родины. Характерно, что еще со дней детства у него сохранились впечатления о встрече с соратником национального героя Никарагуа, легендарного борца против империализма США Аугусто Сесара Сандино (кстати, Сандино в свое время высоко оценивал подвиг деда писательницы — генерала Бенхамина Селедона, с оружием в руках оказавшего сопротивление морской пехоте США, оккупировавшей Никарагуа в 1912 году, и в том же году убитого по приказу из Вашингтона).

Можно поставить писательнице в упрек, что она — в силу тех или иных причин — решительный протест панамцев против навязываемых Вашингтоном своих условий при обсуждении с Панамой новых договоров о канале свела к действиям так называемой «боевой группы», оставив в стороне массовые народные выступления в поддержку патриотической линии правительства Торрихоса (об этом в романе лишь упоминается). Бесспорно, подобные, изолированные от масс, акции «ультрареволюционно» настроенных молодых экстремистов, идейно незрелых, стремящихся к радикальному, немедленному, любой ценой, изменению существующего положения,— это не метод революционной борьбы. Хотя Глория Гуардиа не идеализирует такого рода действия, но вместе с тем и не вскрывает их ошибочность, бесперспективность, вредность в революционном процессе, которому авантюризм чужд, как чужды и террористические акции. В этом свете заслуживает внимания небольшой, но симптоматичный эпизод — на последних страницах романа шофер того же Гарридо, вспоминая происшедшее, задумывается: «Вообще-то все здорово разыграли партизаны... Хотя, с другой стороны, сеньоры, нужно ли было орудовать так?»

По-видимому, преднамеренно автор назвала эту «боевую группу Фронта национального освобождения» именем героя Панамы — вождя индейцев Уррака, доблестно сражавшегося в XVI веке против чужеземных захватчиков — испанских конкистадоров. Не символично ли и название романа — «Последняя ставка»?

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Вчера я увидел тебя, Мариана, в последний раз — а мне так хотелось бы долго-долго всматриваться в тебя; на лицо твое нельзя взглянуть мельком, надо вглядываться бесцеремонно, беззастенчиво, пусть даже не без умысла, запечатлевая твои пухлые губы, высокий лоб, выступающие смуглые скулы; я подошел к тебе: «добрый вечер, Мариана»,— в ответ быстрый жест, едва заметный обмен улыбками, и ты удалилась через весь зал туда, где беседовала группа приглашенных, «привет, Хоакин, привет, старина!» — я искал повода заговорить с тобой, но куда там, ты была в своем репертуаре, рассказывая окружающим, как тягостно на работе: день напролет за электрической пишущей машинкой, кофе, пожалуйста, застенографируйте это, добрый день, в пять совещание директоров с какими-то проходимцами, составьте памятную записку для вице-президента компании, толстяка с ягодицами как будто из желе,—

слушающие умирали со смеху; «представьте себе тушу, воздрузившуюся на мой письменный стол»,— продолжала ты говорить, расхаживая и жестикулируя, то и дело разражаясь смехом, и я тоже смеялся вместе со всеми, чтобы не показаться смешным; переходя с места на место, ты выглядела удивительно изящной — вот и сейчас перед моими глазами твои стройные ноги, легкая походка,— все пожирали тебя взорами, пока Хоакин провозглашал один тост за другим, и ты возвращалась к рассказу о толстяке, лысом, безбровом, обрюзгшем, и твои слова тонули в хохоте, в музыке, исполняемой оркестром, а я по-прежнему следил за тобой. И это было все, Мариана. Тот день изменил течение жизни, мне пришлось сказать «прощай»— слово, отразившееся, отпечатанное, скрепленное черными буквами, выписанное тушью... сообщение Национальной гвардии. Панамские террористы прибывают в Ливию. Сегодня в шесть часов сорок пять минут по местному времени в ливийскую столицу Триполи прибыли террористы, которые на протяжении более шестидесяти часов в одной из фешенебельных вилл района Обаррио держали в качестве заложников около тридцати влиятельных лиц... я убавляю громкость приемника... колонна автомашин-цистерн обеспечит доставку воды в Лос-Анджелес, Бетанию и Вилья Касерес... Марлен Дитрих приняла нью-йоркских журналистов, которым объявила о предстоящем первом своем выступлении в телевизионном шоу 13 мая... Приоткрыв ветровое стекло автомобиля, я разглядываю толпу, заполнившую улицу: точно муравьи, люди появляются из своих жилищ в Эль Мараньоне, Эль Чоррильо или в Калидонии, идут, засунув руки в карманы, покупают лотерейные билеты, выпивают чашечку кофе в таверне «Кока-кола», перекусывают — холодное яйцо, порция риса с фасолью и ломтики зрелого банана,— затем спускаются цепочкой с Лома де ла Пава. Мариана. снова я повторяю твое имя... они садятся в автобус или на «козу» за десять центов... ты родилась под знаком Рыб, Мариана, Piscis [1], Мари-Ана, Марина... и тебя принесли крестить в расшитом халате твоей прапрабабушки, женщины с бледным вытянутым лицом, чей портрет висел в одной из многочисленных золоченых рам, украшавших пепельно-голубую столовую в доме твоей бабушки... а люди между тем пересаживаются и платят еще пять сентаво... крещение должно было состояться в той церкви, что у моря; дамы и господа... Мариана, где же ты? Ladies and Gentlemen...[2], сумрачная часовня, ужасающие святые с выпученными глазами, Христос с негритянской шевелюрой, изъеденное жучком деревянное распятие... this is WCA transmitting from Panama City, historical town, where the two Oceans meet, welcomes you any time of year [3], Панама вам предлагает чудесный мир, тропическое волшебство со своими реками, пляжами и горами, и все это в вашем распоряжении, радиостанция WCA сообщает точное время — семь часов сорок минут, seven forty, Ladies and Gentlemen, and this through the courtesy of the Bank of Transylvania [4], банка с более чем столетним опытом, yes, Ladies and Gentlemen, leave your money in Panamá, a paradise where your money is safe [5], Панама — латиноамериканская Швейцария — предлагает вам гарантии и великолепное обслуживание, вложите сегодня же ваши деньги и похороните тем самым ваши заботы, похороните их в клубе «Монтаньяс Альтос дель Чагрес», самом крупном и современном во всей Центральной Америке частном клубе, специально спроектированном для вас и вашей семьи,— it belong to an international chain, there you and your family will enjoy the beauty of the Chagres River, we have thought of you and your children [6],— помните, что дети — это привилегированные дочери и сыновья Революции, и когда вы думаете о своих детях, вы вспоминаете и о «Children's Bank»[7] с его поразительными сюрпризами, с его «Disney World»[8], лотереями, автомашинами, чудесным миром Утенка Дональда и Мышонка Микки, Плуто и Думбо, летающего слоненка,— все это и многое другое, как только вы откроете счет своих сбережений в «Children's Bank», между 42-й улицей и авенидой Кубы... я опускаю взгляд на руль автомобиля, обливаясь потоками пота,— солнце ударило в ветровое стекло, мгновенно ослепив меня.

— Гарридо! Что случилось, старина, что случилось?

---

[1] Рыба *(лат.)*. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Леди и джентльмены... *(англ.)*.
[3] Говорит радиостанция WCA из Панама-Сити, исторического города, где встречаются два океана, добро пожаловать в любое время года *(англ.)*.
[4] Семь сорок, леди и джентльмены, передаем благодаря любезности банка Трансильвании.
[5] Да, леди и джентльмены, вкладывайте свои деньги в Панаме, в раю, где ваши деньги будут в сохранности *(англ.)*.
[6] Он принадлежит к международной цепи клубов, здесь вы и ваша семья сможете наслаждаться красотами реки Чагрес, мы также подумали о вас и ваших детях *(англ.)*.
[7] «Детский банк» *(англ.)*.
[8] «Мир Диснея» *(англ.)*.

Как же зовут этого типа, который окликнул меня? Редкие усики, смуглое лицо, накрахмаленная рубашка, галстук кричащих тонов — я улыбаюсь, пытаясь вспомнить, кто он, но бесполезно... «когда ты думаешь, любовь пришла, бросаешь все и отдаешься ей»... ба, зеленый свет, я трогаюсь, а тут же красный, опять стоп, и, как назло, Освальдо Айяла поет по радио, и еще — невыносимое, ослепляющее солнце. Мариана, из бумажника я достаю твою фотографию, боль на этот раз возникает где-то в груди, вздымается выше, застывает в висках, скажи, почему все должно было произойти именно так? Я переключаю приемник на другую волну, однако ни сейчас, ни позже не могу спокойно думать о тебе, индифферентно смотреть на тебя, хотя и понимаю, что, вероятнее всего, эта индифферентность не что иное, как выражение полной самоотдачи до опустошенности — верно же? — это все равно что подойти к нулю от единицы или двойки, но не дальше; за этим пределом уже начинается мистика, а это как раз то, чем ты, истинная женщина, всегда была переполнена, и в этом ты совсем непохожа на твоих тетушек, которые — какой ужас! — носили платья колоколом, когда мода уже была на прямые рубашки, и которые, если вокруг царило веселье, говорили полушепотом, со скорбным выражением лица, твои тетки — я вздыхаю,— эти старые девы... опять красный на светофоре... твои тетки, Мариана, с четками в руках, бормочущие молитву по кому-нибудь из умерших соседей или родственников, а если не оказывалось покойников, они искали только что оперированного, а уж если тут им не везло, изучали в газетах колонку светской хроники, не сообщается ли о дне рождения кого-то или о чьем-то юбилее... да, этот тип в соседнем автомобиле, снова пытаюсь вспомнить, как же его зовут — Алонсо? Арройо? Арельяно? — фамилия начинается на «А»... Гарридо наблюдает за ним через зеркальце заднего обзора, и свое лицо в сравнении с лицом того, другого, кажется ему более располагающим, приятным, благородным, в конце концов, лицом достойным, хотя он никогда не забывает, что нос у него крупный, губы чересчур тонкие, баки чрезмерно распушились, а залысины глубоки, но даже если отбросить то, что Гарридо о себе думает и чего не думает, так или иначе ему тридцать восемь лет, которые, впрочем, не отразились на его внешнем виде и которые если уж чем и отличались, так это своей необычайной монотонностью, да, бесславно они протекли между двумя домами в районах Белья Виста и Обаррио или в поездках по Соединенным Штатам, по Европе и северному побережью Африки; а то, по-видимому, должно было случиться там, в Белья Виста — опять светофор,— конечно, все это произошло в Белья Виста — снова нажимаю на акселератор,— мы покинули танцы в клубе после полуночи, всей компанией дошли до автоматов, племя беззаботных в белых гуайяберас [1], в черных мокасинах и брюках в обтяжку до предела; «ребята, пропустим еще по глотку»,— и так началась, точнее, продолжалась пачанга, еще глоток, еще и еще, о'кей, о'кей, и все расползлись по дурно пахнущим комнатенкам кварталов Рио Абахо и Хуана Диаса, сброшены юбчонки, поцелуи — эй, красотка! — ласки между наставницей и учеником, черные-чернущие ночи, гулкий бриз, врывающийся в деревянное святилище, сцена с жесткой койкой посредине — ну и торс у тебя, парень! — и эти тела — что за проказница! — эти возбужденно движущиеся тела, пахнущие морской водой, вначале движущиеся неловко; зажигаются огни — тускло мерцающая лампочка, длинный рассказ о невзгодах, чужие голоса, проникающие сквозь прогнившие доски стен, honey, sweetheart [2], бросаю взгляд на часы дворца имени Хусто Аросемены — без десяти восемь, город уже проснулся, подъезжаю к стоянке, малыши на роликах катаются по улице, бродячий продавец лотерейных билетов подходит ко мне и предлагает счастливый номер: выиграете в среду, завтра! — с балкона напротив доносится женский голос, разносчики газет на велосипедах выкрикивают названия: «Ла Эстрелья»! «Критика»! «Эль Матутино»! «Ла Эстрелья»! Ставлю машину на стоянке, захватываю с собой портфель и пиджак, открываю дверцу, выхожу и отдаю ключи от машины дежурной, с неохотой приближаюсь к главному подъезду дворца, воздвигнутого близ авениды 4 Июля, иначе — авениды Президента Кеннеди, еще иначе — авениды Мучеников, но, прежде чем войти, невольно поворачиваю голову, и мой взгляд упирается в близкий и столь далекий Холм Ancon [3], и вот я, семилетний, в коротких штанишках, Мариана, в штанишках небесного цвета, декламирую, почти не понимая смысла, нервно переступая с ноги на ногу, как в канкане, там, в классе учительницы Бениты, в колледже «Христианских

[1] Тропическая легкая мужская блуза.
[2] Милый, дорогая *(англ.)*.
[3] Здесь, в зоне Панамского канала, оккупированной США, почти в центре столицы Панамы, расположены службы Пентагона.

братьев», в том старом, что в квартале Мирамар, декламирую строки из стихотворения Амелии Денис [1]:

Когда на пост идешь ты, часовой,
Захвати мою лиру — она с траурной
лентой,
Ведь покинул тебя ангел-хранитель твой,
И Анкон, мой любимый, уже не мой!..

— Доброе утро, лиценциат! Мы все время думали о вас.

— Спасибо. Доброе утро, Ломбардо.— Портье с поклоном распахивает передо мной входную дверь здания, коридоры пустынны, в лифте тоже никого, все как будто вымерло, все пусто, все опустошено, и сравнить нельзя с тем, как лет десять назад здесь ежедневно писалась История панамцев, когда заседала Национальная ассамблея; я поднимаюсь на восьмой этаж, очень жарко и влажно, лифт грязный, стенки его обшарпаны.

— Лиценциат! — Я посмотрел на мужчину, уборщика, который обратился ко мне, как только я, ни на кого не глядя, вышел из лифта в узкий коридор.— Доктор Пéрес-Да́вила в прошлую пятницу оставил эту папку для вас. Он просил меня передать ее вам. Рад вас видеть в полном здравии.

— Спасибо, спасибо, спасибо,— повторяю ему в ответ несколько раз; отсюда, с последнего этажа, передо мной открылась панорама большей части города, распахиваю одно из широких окон, смотрю наружу: залив, крыши старых домов, а дальше один, два, три, четыре — другие невозможно разглядеть,— новые многоэтажные, многоквартирные здания... официант с подносом, заставленным бокалами виски, виски с водой, виски со льдом, виски с содовой, виски «сухое», лед с виски — так, как это нравится твоим, Мариана, кузине и кузену, Тересе и Хуану Альмильятеги, помнишь ту неимоверно длинную террасу, на которой каждый вечер мы рассаживались и наслаждались, потягивая виски «Чивас Регаль», которое Хуан закупал ящиками в Свободной зоне [2], а в пятницу, в половине восьмого, американский посол, первым из гостей, пожимал мне руку, пока Кета обменивалась поцелуями с миссис Вильсон, how charming of you to give this party in our honour, Carrido [3], и тот июльский вечер, когда скупые на слова официанты — our pleasure, Mr. Ambassador [4] — бесшумно скользили вокруг, Mrs. Wilson and myself are just delighted to be with you tonight [5], поддерживая подносы на вытянутых руках, и замирали в стороне с одинаково бесстрастным выражением лица, my wife and myself are equally delighted to have you over [6], а гости подходили, угощались, меняли один бокал на другой, и фоторепортер из «Ла Эстрелья» наводил тем июльским вечером свой аппарат на Вильсона и Хуана Альмильятеги, низенького, толстенького, толстощекого, со столь характерными маленькими глазками, скрывающимися за очками в черепаховой оправе,— дон Хуан, пожалуйста, посмотрите сюда, в аппарат,— и тот изображал улыбку, похожую скорее на гримасу, так контрастировавшую с утонченным вкусом, элегантностью, изяществом, с последним словом моды — со всем, что Тереса и особенно ты, Мариана, вложили в декорирование апартамента в самом модерновом здании города, представляющем собой воистину национальную гордость, апартамент, стоивший твоим кузенам тысячи и тысячи долларов и более шестидесяти месяцев нетерпеливого ожидания, а я, Мариана, притихший, наблюдал за всем и — не спрашивай меня почему, быть может, потому, что не нашел себе лучшего занятия,— пересчитывал гостей по мере того, как они входили, и насчитал их до семидесяти семи, я видел, как они целовали Тересу, а лучше сказать — едва касались ее щеки краешком губ, и как торопливо направлялись в угол зала, чтобы полакомиться лангустами или камамбером, привезенным недавно из Франции, как спешили они на украшенную папоротниками террасу, где в тот июльский вечер растения выглядели особенно эффектно со своими гигантскими, пышными, сочными зелеными шлейфами, слегка касавшимися полированного пола и ритмично покачивавшимися под тропическим бризом, налетавшим с залива; замечаю Гарсиа, который, сукин сын, то и дело поглядывает на меня из угла, и мне становится не по себе; я отхожу от окна, погружаюсь в газету за прошлую пятницу, которую он мне передал вместе с документами некоего Переса-Давилы:

---

[1] Амелия Денис де Икаса (1836—1911) — панамская поэтесса.
[2] Беспошлинный район в панамском порту Колон.
[3] Как это любезно с вашей стороны, Гарридо, устроить коктейль в нашу честь *(англ.)*.
[4] С удовольствием, господин посол *(англ.)*.
[5] Госпоже Вильсон и мне действительно приятно побывать у вас этим вечером *(англ.)*.
[6] Моей супруге и мне также приятно быть с вами *(англ.)*.

Ассошиэйтед Пресс. Уполномоченный Соединенных Штатов на переговорах по поводу нового соглашения о Панамском канале Элсуорт Банкер вчера, в четверг, поздно вечером вернулся в Вашингтон, завершив на острове Контадора новый раунд переговоров с панамскими представителями. Перед отъездом он подтвердил, что новое соглашение может быть подписано в ближайшие дни. Посол Банкер отбыл в сопровождении генерала Долвина, посетившего Панаму с тем, чтобы министерство обороны приняло более непосредственное участие в переговорах.

Министерство обороны до сих пор активно выступало против того, как государственный департамент проводил переговоры, считая, что последний допустил слишком много уступок, шел навстречу предъявленным Панамой требованиям насчет возможного контроля с ее стороны над операциями по обороне канала.

Заинтересованность Пентагона в переговорах обусловливается наличием четырнадцати военных баз Соединенных Штатов в Зоне Канала, на которых размещено около 10 000 американских солдат.

В течение большей части года Пентагон и государственный департамент обсуждали вопрос о возможных уступках в ходе переговоров. Представители Пентагона предлагают права на оборону Канала сохранить за Соединенными Штатами на неограниченное время, однако не все панамцы находят приемлемым это предложение. (Продолжение см. на стр. 22 № 226.)

Оторвавшись от газеты, я смотрю на город, ага, сегодня же вторник, а по вторникам, как обычно, проводились утренники в «Салоне Кларет», на которые каждый захватывал с собой раскладной стул, и вдруг — бах! — падение, пинки и поток брани, пока неудачник не устраивался на стуле, стараясь не отрывать взгляд от экрана, ведь это значило пропустить последний эпизод с Гари Купером в «Прощай, оружие!», у многих слезы, покрасневшие глаза, зажигается свет, слезы, кругом слезы... и этот Гарсиа, пристально смотрящий на меня, отчего я уже чувствую себя неловко... шум и ужасная, удушающая жара, нарастающий, нарастающий шум с улицы, и слезы, но все равно, что ни говори, а здесь лучше, чем в машине и чем дома с Кетой и с малышами, и звонки, и телефоны, и опять тот же настойчивый взгляд Гарсиа. Я просматриваю серию документов предстоящего межамериканского конгресса юристов, подписываю один документ, второй, пятый, а шум все не смолкает,— Мариана, ты заметила, какая у меня ужасная подпись? — подхожу к окну, вновь оглядываю террасу апартамента твоих кузенов, и — черт возьми!—опять тот июльский вечер и Гильермо Гутьеррес, писатель, который за последние годы был удостоен двух или трех премий имени Миро [1], беседует с женой доктора Гонсалеса Маркеса, выказывая свою безграничную способность удивляться; я один-одинешенек, стоя выпиваю виски и вижу, как Хуан Альмильятеги удаляется в туалет, который ты, Мариана, вместе с Тересой так шикарно обставила: цветы, желтые полотенца, различные духи, коврик апельсинового цвета; вероятно, там Хуана вырвало, он принял алказельцер, привел себя в порядок и вышел оттуда уже освеженным, расположенным беседовать с кем угодно, готовым раствориться в музыке, доносящейся из зала, где стояла стереофоническая радиола; и официанты, Мариана, которые все кружили и кружили меж гостей, и фоторепортер из другой газеты, который навел на меня объектив, очевидно после пожалев об этом, поскольку я был один, все они видели меня лишь с бокалом в руке; и это происходило как раз в тот вечер, когда все началось,— верно ведь, ты знаешь, о чем я хочу сказать тебе, Мариана? И опять официанты с серебряными подносами, и Тереса, часто исчезавшая на кухне, и Антония, та самая, которая обучалась преподавать особо одаренным детям, а теперь распространялась о педагогике перед пианистом Рикардо Браво, пока тот безотрывно смотрел на ее высокую грудь и такие прекрасные руки, Браво, конечно, посвятил бы ей целых два вечера в Lincoln Center [2] лишь за то, чтобы расстегнуть на ней блузку, она действительно потрясающе привлекательна, неотразимо женственна, эта Антония, и самое скверное заключается в том, что она верна мужу, который настолько сер что не может оценить ее красоты, только и знает, что продавать тракторы да болтать о тракторах; откуда мне это известно? — я просто находился там, когда Браво передали записку, а он, изощряясь в любезности, вел с ней разговор на общие

[1] Рикардо Миро (1883—1940) — панамский поэт, публицист и дипломат.
[2] Американский информационный центр с концертным залом в городе Панаме.

темы, постепенно обезоруживая Антонию, готовый нагло атаковать ее чудесные груди; ты, Мариана, наверное, не знаешь, да это тебе и незачем было знать, что Антонию, еще маленькую, мы прозвали Глупышкой, не беспокойся, дорогая, об этом я не скажу никому, тем более что в тот вечер не Антония считалась самой важной персоной, а ты и также Тереса, которая была так внимательна, что в нужный момент подошла к адвокату Фернандо Мартинесу Ариасу, кандидату на пост министра экономики, высокому блондину, представительному верзиле, и вручила ему бокал молока — Мартинес Ариас уже многие годы не берет в рот ничего спиртного, я хорошо это помню, Мариана, так как мне однажды пришлось лететь вместе с ним, когда он направлялся на операцию — удалять язву — в госпиталь имени Джона Гопкинса в Соединенные Штаты, и об этом очаровательная Тереса не забыла, а будущего министра ее внимание растрогало, и он начал декламировать строфы о Тересе Прелестной, о Прелестной Тересе; я заметил, что он поцеловал ее в обе щечки, и услышал, как напомнил он ей с чистой воды тоской, обычной в таких случаях, что двадцать лет назад все мы жили на 38-й и 39-й улицах, и что в пять часов после школы гоняли мяч, и что обожали друг друга, забыв об этом после, и это была любовь пятнадцатилетних, никому не причинившая зла и о которой сейчас уже никто не помнит, кроме, конечно, их двоих — его в тот июльский вечер с бокалом молока в руке и ее с поцелуями на обеих щеках; как раз тогда произошла встреча, Мариана, я бы даже сказал, произошел матч между Фернандо и беднягой Хуаном Альмильятеги, который ничего не знал об их давнишнем романе, впрочем, бедняга Хуан всегда был не от мира сего. Ты хорошо знаешь, что́ я имею в виду: наши быстротечные романы, наши уличные схватки и выборы королевы красоты нашей улицы, наши маскарады и карнавалы, наши тогдашние тайны пятнадцатилетних,— ты же, Мариана, все это прекрасно знаешь,— Хуан ни тогда, ни после не принадлежал к ватаге с 38-й и 39-й улиц, потому что он жил на авениде Эспанья, был как бы придатком своего отца, толстого испанца в черных подтяжках, который в то время начинал дело по бакалейной торговле, а их дом — черт побери, мне даже стыдно становится, когда о нем вспоминаю! — громадный домина без жизни, без света, без надежд, я бы сказал, приобретенный на скопленные гроши мавзолей, приукрашенный трудом бледной женщины с пустыми, пожалуй, голубыми глазами, с фиолетовыми губами, с внешностью лоточницы; здесь иногда по воскресеньям нас угощали обильной яичницей с картошкой, расточавшей запах оливкового масла, запах, который я и сейчас отмечаю сразу и который я очень люблю. Так вот, о том матче, Мариана, о той скоротечной встрече между Хуаном Бедолагой и Фернандо Великолепным, я их видел как на ринге: с одной стороны — Гулливер, светловолосый, стройный и самоуверенный, элегантнейший, в темном костюме по последней моде, который делал его на десять лет моложе и на двадцать лет стройнее, обращавшийся к хозяину дома с подчеркнутой любезностью, с другой стороны — Мальчик-с-Пальчик, который моргал и моргал глазами, не представляя себе, как отвечать; за ними обоими я как раз наблюдал, когда ты вошла триумфально, и все обращались к тебе, называя настоящим твоим именем, и каждый целовал тебя с особым удовольствием, восхищенно, а не просто из вежливости, подойдя поздороваться с тобой, а ты, предполагая подобное, преднамеренно опоздала на вечер, зная, что Хуан будет таращить на тебя глаза, не находя слов, ведь в течение десяти лет он не решался подойти к тебе. А Тереса, прекрасная, прекраснейшая, будто Мариана в миниатюре, еще с тех пор, когда обе двоюродные сестры были крошками, благодарила тебя за опоздание, позволившее ей одной блистать в огромном зале, который вы вместе украшали, в зале, где прохаживались — ну, точь-в-точь, как в ту пятницу,— элегантно одетые мужчины и женщины, блистать непринужденно, как и в эту пятницу, совсем как в эту пятницу, я бы сказал, почти непринужденно, среди сотни лиц, сотни тел и тысячи жестов... а тем временем Кинтин Ариас де ла Гуардиа настоял представить меня Марте, археологу, которая только что приехала из Рима или из Лондона, а она — беспардонно! — подала мне левую руку, продолжая восхищаться индейским идолом, светившимся будто сам по себе под лучом рефлектора в нише зала, затем Марта обратилась по-итальянски и по-английски к двум типам, с которыми я не был знаком и которые, как выяснилось позже, были недавно появившимися в нашем обществе дипломатами, и продолжала болтать с ними, не замечая меня,— очень невоспитанная тетка, несмотря на все ее титулы,— с какими она представлялась, ее представляли, нас представляли, а я все ждал, когда же она перейдет на французский язык, немецкий или русский. И в это время приблизилась ты, Мариана, и меня спросила: «как давно мы с

тобой не говорили по-латыни?» — и оба, не сдерживаясь, мы расхохотались, и мне было так хорошо с тобой, когда ты приподнялась на цыпочки, чтобы прошептать мне на ухо: «она полиглот также и в постели»,— а затем ты увела меня на террасу, под нежный бриз с залива, в отсвет городских огней...

— Дон Тито, вас к телефону.

— Спасибо, Гарсиа,— отвечаю и медленно иду к письменному столу в соседнем кабинете, а трубку поднимаю с некоторой настороженностью — никто, никто, кроме Переса-Давилы, не знает, что в этот вторник двадцать пятого ноября в восемь часов с минутами я нахожусь тут, во дворце имени Хусто Аросемены.

— Ну как, Тито, все в порядке? Я ужасно беспокоился за тебя.

— Спасибо,—отвечаю и не узнаю голоса того, кто со мной говорит.—С кем имею честь?

— Ну что ты, это Пепе. Я здесь с Пересом-Давилой, он, похоже, хотел бы переговорить с тобой, а я воспользовался случаем, чтобы первым приветствовать тебя. Я ведь, старина, действительно ужасно за тебя беспокоился, действительно ужасно...

Я ничего не отвечаю, не знаю, что сказать, наступает длительное, тяжелое молчание, а когда же, наконец, я прерываю паузу, то явно показываю, что не желаю ни вспоминать, ни вступать в доверительные отношения с кем бы то ни было:

— Слушай, Хосе, мне приятно слышать тебя, и, пожалуйста, скажи Пересу, что я получил его докладную, но еще не прочел, пусть он меня извинит, я позвоню ему позже.

Тон моего голоса холоден, уклончив, отдаляющ — Пепе это почувствовал, понял мой ответ как «отойди-и-оставь-меня-в-покое» и тут же повесил трубку. А я возвращаюсь к окну, утренний ветерок, хотя уже достаточно знойный, на какое-то мгновение проясняет мои мысли. Да, только на какое-то мгновение транзистор Гарсиа передает танцевальную музыку, женский голос поет, кричит, визжит, верещит модное болеро. Пепе, Пепе Гонсалес — повторяю твое имя,— давно я не слыхал такой трубы.

— И как вы все это расцениваете? — спрашивает меня Гарсиа.

— Что «все это»? — отстраненно думаю, что он спрашивает меня о болеро, или о колумбийской кумбии, или о кубинской румбе, или черт знает о чем — о том, что поет в этот момент женщина по радио.

— Все то, что произошло, дон Тито?

— Что произошло? — переспрашиваю его, разыгрывая роль глупца.— Не знаю,— вру ему, и он понимает меня. Не говоря больше ни слова, надеваю очки, открываю папку, полученную от Переса-Давилы, и начинаю читать докладную:

> Министр промышленности и торговли передал мне вечером, что по сообщению «Уолл-стрит джорнэл» — номер за вчерашний день, четверг — межнациональная компания «Юнайтед брэндс» давала взятки государственным чиновникам Коста-Рики, Гондураса, Панамы, Италии и Западной Германии. «Юнайтед брэндс» признает до сих пор лишь выплату 1,2 миллиона долларов Гондурасу за то, чтобы был снижен налог на экспорт бананов. Полагаю, Панаме необходимо потребовать от компании немедленного официального разъяснения по этому поводу. Если она этого не сделает в ближайшие сорок восемь часов, у нас будут аннулированы все концессии ее филиала и последний будет выдворен из страны...

Я пытаюсь сосредоточиться на содержании докладной, но в памяти всплывают — что за чертовщина! — вчерашний день, позавчерашний, последние шестьдесят часов, а также тот июльский вечер,— да, сейчас я знаю, я уверен, что тогда между нами еще не было любви, а скорее разгоралось все сметающее, все поглощающее бурное влечение. И прекрасная Тереса, плутовка Тереса, видимо, что-то почувствовала — она приблизилась к нам и хотела заговорить о чем-то обыденном, но почему же она — ради бога, скажи,— почему она сделала такие большие глаза и почему незаметно удалилась побеседовать с секретаршей управляющего колумбийской авикомпании «Авианка» Мариолой де Сантос, которая только что прилетела из Перу или с Эгейского моря? Я знаю лишь, что там, где были ты и я, музыка едва слышалась, и заговорщицкий дух недозволенного понемногу как бы обволакивал нас. Двое, трое — или кто его знает сколько — официантов сновали мимо нас с серебряными подносами, на одном из подносов стояли бокалы с шампанским, и ты воспользовалась этим, чтобы предложить тост с подтекстом: «за Кету, которая подарила тебе троих детей в течение трех лет, и за великолеп-

ную форму капиталовложений, что она собой представляет». И ты подняла бокал, другой рукой отстраняя локон, заслонявший половину твоего лица, а я, опершись ногой на один из цветочных вазонов, которых так много здесь расставила Тереса, растерялся, не знал, как ответить на этот выпад, и все еще не оправившись от удара, Мариана, в самом деле, не оправившись от удара, выпил залпом шампанское и стал рассказывать тебе о пляжах Крита, лазурных-лазурных — как хотелось бы вернуться туда опять! — я говорил и повторял снова и снова, любуясь тобой, Мариана, и во мне нарастало желание, да, любуясь твоей талией, бедрами, роскошной упругой грудью, шеей дюйм за дюймом, я представлял тебя обнаженной, на пляже, обнаженной во всем твоем великолепии, ты же только улыбалась, слегка пригубила шампанское, наконец, взглянула на часы, холодно поцеловала меня в щеку и просто так, не попрощавшись, удалилась через декорированный тобой элегантный холл, откуда минуту назад — или десятилетие назад? — ты появилась с таким триумфом.

— Гарсиа, мне — номера телефонов остальных организаторов конгресса.

— О-о-они у... у... Мир... Мирны, дон Тито.

— Пусть передаст моей секретарше.

— Хо-хо-хорошо.

Я расхаживаю по кабинету взад и вперед, Гарсиа молча дает мне прикурить, странный он человек—на людей смотрит всегда так, будто хочет спросить что-то чрезвычайно важное; такая жара сегодня утром, такая влажность, пот стекает со лба на виски, с висков к шее; поднимаю взгляд, все-таки Гарсиа никак не внушает доверия — что там еще? — я выглядываю из окна, день портится, серые тучи, солнце то скроется, то выглянет на минутку и опять скроется, это к дождю; так вот это что, ну да, солнце! — я делаю пару затяжек, выпускаю дым через рот,— так это солнце заставило меня сегодня открыть глаза еще до шести, первый дневной свет проник через прямоугольник окна,— кашляю как всегда от сигаретного дыма,— свет чересчур яркий, он подтолкнул меня соскочить с постели, бежать умываться, я оглядел себя в зеркало: поблекшие глаза, сероватые подглазья, выросшая за ночь щетина затемняла лицо, кончиками пальцев провожу по обеим щекам, ощупываю их — боже мой, Мариана, скажи, почему все это так произошло? — я слежу за своими движениями, они неуклюжи, нет, скорее машинальны, всегда одни и те же: встаю, умываюсь, бреюсь, одеваюсь, одна и та же круговерть изо дня в день без каких-либо изменений, лишь сегодня несколько изменен ритм, все делал медленнее, поглядывая на Марию-Энрикету, сначала на ее чулки, потом трусики, рубашку, она спала с открытым ртом, тело неподвижно, и только размеренное дыхание поднимает и опускает грудь, я, уже одевшись, как обычно, смотрю с затаенным страхом, опасаясь разбудить, иначе она накинет халат и сядет со мной завтракать, и опять будут гренки и кофе с молоком, которые Фелисидад нам подает каждый божий день с тех пор, как мы поженились четыре года назад, меня передергивает, будто в тысячу первый раз я делюсь тем, что произошло вчера, позавчера, чтобы тут же забыть все; а небо продолжает заволакивать тучами, черные тучи закрыли уже почти весь небосвод,— о чем же думает Гарсиа, не спускающий с меня глаз? — но я его не спрашиваю,— ко всем чертям! — это дало бы повод для нескончаемого разговора, и отхожу от окна, а музыка не прекращается, по-прежнему визгливая, которая так нравится служанкам; «ты что слушаешь?» — спросил я Фелисидад сегодня утром, когда, еще полусонный, я зашел на кухню, где она завтракала с Элиасом; «а что, сеньор не знает, что я слушаю?» — и отдаю себе отчет, мой вопрос глуп, но не настолько же, чтобы она отвечала подобным образом; я подошел к холодильнику, открыл его, рассчитывая налить стакан сока, любого, какой есть: апельсиновый, ананасный, лимонный, сок гуанабаны — все равно какой, лишь бы утолить жажду, но в холодильнике не оказалось ничего, еще раз осматриваю коридоры, гостиную, столовую — всюду следы пуль; открыл настежь окна, морской влажный бриз медленно проникает в дом, и опять воскресли бередящие воспоминания об этой пятнице; сажусь за письменный стол, подписываю какие-то документы и тут же представляю подходящего ко мне посла: Your wife is incredibly charming [1],— и фоторепортеров, нацелившихся на Вильсона в тот момент, когда он произносил свою фразу, и Кету, счастливую, сохраняющую

[1] Ваша жена невероятно очаровательна *(англ.)*.

неизменную и соразмеренную полуулыбку, и опять передо мной служанка: «кофе сервирован на террасе около бассейна, дон Тито»,— продолжаю перелистывать документы и делаю это столь же тщательно, как сегодня утром осматривал каждый уголок своего дома, когда все снова вернулось на круги своя, впрочем, так и должно было быть, иначе было бы неестественно, а стало быть вредоносно... кофе я выпил, но проклятая улыбка приумножилась, отразилась в сотнях других улыбок, точь-в-точь как накануне свадьбы, когда Кета вышла в темных очках и устроилась рядом со мной на заднем сиденье автомобиля Чале и Марселы; я, предложив ей сигарету, пошутил, нельзя ли убрать эту улыбочку ко всем чертям, и она отрезала: «убирайся», на что я ответил: «прокатимся, пока ты не успокоишься»; мы оба говорили полушепотом, чтобы другие не заметили и не подумали, будто свадьба уже расстроилась, что сватовство между мужчиной в тридцать с лишком лет и девчонкой в двадцать несерьезно, и, очевидно, с тех пор, ну, конечно, Мариана, именно с той прогулки, когда Кета прятала глаза под ужасными темными очками, я начал ближе познавать ее сущность, неприятные ощущения нарастали fortissimo, по мере того как приходилось сопровождать ее по воскресеньям в церковь на утреннюю мессу или приглашать в кафе «Squirt» и угощать шоколадным с ванилью мороженым, по мере того как мы начали ходить на дни рождения той или иной подружки, отвращение к ней настолько возросло, стало таким огромным, что в один прекрасный день взорвалось, разлетелось на тысячи осколков, положение ухудшилось неописуемо, чувство отвращения я испытывал утром и вечером, даже на рассвете, этим чувством словно был пропитан воздух, которым мы дышали, но, видишь ли, Мариана, мне всегда не хватало сообразительности, я не отдавал себе отчета, пока не оказалось, что уже поздно, иными словами, когда я ответил «да» пузатому священнику приходской церкви в тот мартовский вечер, когда после «конечно да» дали знак розовощекому мальчику-служке, что настало время передать мне обручальное кольцо, которое я должен был надеть Кете, а она, взяв меня за левую руку, прошептала сквозь всхлипывания: «дай мне твое кольцо, я тебе его надену» и прочее, мне уже было ясно: это все, капкан захлопнулся под органную музыку, доносившуюся издалека, и просьбы фотографов, всегдашних фотографов, «улыбнитесь», «улыбнитесь еще раз», а она уже осушила глаза вышитым платочком, который, по ее уверениям, принадлежал еще матери или бог знает кому, на моем лице появилась гримаса, так и запечатленная навсегда, очевидно, та же самая, что до сих пор видна, если не... какого черта этот Гарсиа все время смотрит на меня так странно? Я встаю, делаю несколько шагов, вытаскиваю платок, отираю пот со лба, высовываюсь в окно и вижу детей, которые играют под этим девятичасовым, затянутым облаками солнцем, а солнце, бледное солнце едва освещает памятник, воздвигнутый очередными политическими лидерами несколько лет назад в честь президента Хосе Антонио, то бишь Чичи Ремона, после того как его убрали январским воскресеньем 1955 года, когда он присутствовал на бегах на ипподроме «Хуан Франко» [1],— что за чертовщина! — быстро возвращаюсь к письменному столу, подписываю один, два, три, пять, бог знает сколько документов, и подумать только — в тот день толстяк Ремон был, как всегда, очень доволен собой, отпускал непристойные шутки, в промежутках опустошая бутылки шампанского за успех кобылы и за то, что он наконец отделался от мафии, как он ее называл, когда прозвучали выстрелы: тракатакатан, тракатакатан — одна автоматная очередь, вторая, третья, и убийцы нахлынули со всех сторон, улыбавшиеся, пританцовывавшие, распевавшие модную тогда песенку «Ушел кайман, ушел кайман...», убийцы оспаривали честь принять участие в этой бойне, получить возможность насладиться кровью, которая била струей, окрашивая все в алый цвет, а он, бедняга, павший на месте, беспомощный, с животом, превращенным в месиво, бугай-полковник, в свое время хвастливший тем, что он может назначать и смещать президентов, был брошен в грязи на милость санитаров, которые отнесли его в одних подштанниках на носилках в морг, однако — черт возьми! — Мариана, об этом теперь уже никто, буквально никто не помнит, и самое важное ныне то, что мои дети проснулись, играют со служанками-индеанками, пекущимися о них дни и ночи, а все остальное пусть идет прахом, как и то, что произошло,— верно же? — и пусть мне не говорят, пусть не настаивают, что нужно мстить, я не из таких, я за статус-кво до гробовой доски; закуриваю сигарету и начинаю подсчитывать, сколько времени мне потребуется, чтобы добраться от дворца име-

[1] Бывший начальник полиции полковник Хосе Антонио Ремон Кантера (панамцы называли его фамильярно — Чичи), фактический диктатор страны, был президентом республики с октября 1952 по 2 января 1955 года, когда его застрелили на ипподроме.

ни Хусто Аросемены до моей адвокатской конторы — нужно спуститься на лифте, взять на стоянке автомобиль, проехать по авениде 4 Июля, она же авенида Президента Кеннеди, она же авенида Мучеников или как там ее еще назовут, а затем по виа Насьональ, а уж оттуда свернуть на улицу Мартина Сосы, с тем чтобы немного спустя въехать на виа Эспанья, а рассчитав все, я начинаю в уме редактировать ответ Пересу-Давиле,— ну и увалень! — пусть прочтет, примерно так же, как я читал докладную,— итак, встретившись с Абелем Рамиресом, то есть с министром, он должен настоять, чтобы в связи с обвинениями «Уолл-стрит джорнэл» были бы даны разъяснения и как можно скорее; как только он этого добьется, если только добьется, мы соберемся все вместе, хотя он об этом не должен упоминать, так как, будучи невероятно тщеславным, он захочет взять инициативу на себя и станет ужасно переживать, если все это допнет, чем нарушит и без того очень шаткий баланс в их отношениях... я встаю, в последний раз смотрю через стекла окон, а дети там внизу играют и адски шумят, некоторые из них даже прыгают в воду, окружающую памятник, и снова вижу Гарсиа,— как раздражает меня этот тип! — он приближается ко мне, подонок, я сухо смерил его взглядом, на часах девять двадцать, на тех самых часах, которые более двадцати лет назад мне подарил мой дед Тито, да, Мариана, тот национальный герой, тот, что любил розы, и с тех пор я никогда с часами не расстаюсь.

— Прощай, Гарсиа,— бросаю ему и, наклонив голову, прохожу мимо, он в ответ лишь слегка улыбается и не говорит мне ничего, и от этого я чувствую себя очень, очень хорошо, точнее, чувствую облегчение — ты же знаешь, как не люблю я вступать в бесцельные, никчемные разговоры, и это я однажды дал понять Пепе, когда мы с ним решили пропустить по стопке в баре клуба, а он мне долго и нудно разъяснял — ты же знаешь этого гения и скептика, он тогда еще общался с Гилем Ромеро, Гиль всегда его заводил, начинял всякими идеями,— что теперь-то уж да, теперь-то уж мы, конечно, проглотим Дядюшку Сэма вместе с его цилиндром, лакированными ботинками и седой бороденкой, поскольку в Совете Безопасности русские и другие поддержали нас в вопросе о Канале; Пепе, который придирался к Гильермо, поносил его всячески, называя «старой потаскухой» и даже «продажным предателем Родины», а я — ты же меня знаешь, Мариана,— я взял и сменил тему, спросив Пепе, что он делал вчера вечером, мне действительно стало страшно — вдруг этого Гильермо хватит удар и он упадет замертво, а мне потом выпутываться из дерьма, но видишь, все прошло само собой, и они продолжают оставаться закадычными друзьями, и только я, завидев их, стремлюсь улизнуть; я вхожу в лифт, в тот самый заплеванный, на котором сюда поднялся, и только сейчас осознаю, что другого лифта ведь здесь нет, действует только один этот, слишком замызганный для такого здания, и вижу Ломбардо, который мне кланяется, когда он выпускает меня из лифта и открывает входную дверь, до меня едва доносятся его слова, что-то вроде «до свидания, дон Тито», я начинаю прикидывать в уме: два, восемь, двенадцать — нет, бесполезно, не могу представить себе, сколько же лет этот человечек тут обязан открывать дверь; я помню его еще в старой Ассамблее, то есть во Дворце правосудия на Лас Боведас [1], когда я был еще сопливым мальчишкой, а отец, одетый в белый тропический костюм, ремешок, на золотой пряжке его инициалы, в кармашке — кружевной платок, прогуливался по коридорам Национальной ассамблеи, распространяя аромат французских духов, «послушай-ка, сеньор депутат»,— его окликали, у него просили помощи, а он произносил длиннющие речи — ну просто Цицерон! — и говорил группе крестьян из Рио Гранде: «спокойно, ребята, до выборов только десять дней, и если меня переизберете, я обещаю, выхлопотать пенсию для вдовы Эрнандеса и чтобы назначили Чико и Мемо...» — и крестьяне уходили, а отец со злым смехом посылал их к чёрту, этих глупых индейцев, которые только и знают, что гнуть, гнуть и гнуть спину на работе, а я смотрел на все это широко раскрытыми глазами: подхожу к «мерседесу», открываю дверь, снимаю пиджак, сажусь, включаю радио — ну и делец был мой старик! — жму на газ, заворачиваю на авениду 4 Июля, слева от меня Зона Канала, хочу сказать «Панама зеленая, Панама белая, Панама тропического очарования» (из болеро Фабреги [2]) и «сияющего солнца» (из поэмы Миро), а направо другая Панама — ужасная, только нет здесь Саласара Бонди [3], чтобы рассказать о бедности и грязи; снова поворачиваю на виа Насьональ, давно некрашенные дома, изможденные лица людей, трущобы Мараньона или Калидонии с лавчонкой, баром, харчевней, гаражами, парфюмер-

[1] Район старого города Панамы.
[2] Рикардо Фабрега (род. в 1905 г.) — панамский композитор, автор популярных произведений.
[3] Саласар Бонди (1924—1965) — перуанский поэт, автор книги «Лима ужасная».

ным киоском; кондиционер автомашины охлаждает едва-едва, регулирую термостат, проезжаю один, два, три светофора, к счастью, они действуют скоординированно, затем выезжаю на Трансокеаническую — что-то наподобие автострады,— по сторонам дощатые хибарки с курятниками, с развешанным на проволоке бельем и большие здания, типичный город «третьего мира», развивающегося, если же сказать проще, без поэзии, то еще неразвитого; закуриваю сигарету, дым попадает в горло, я закашлялся — чертовщина! — опять в памяти праздник в пятницу, кричащая Кета и Марука Гонсалес, трусиха, как всегда, трусиха, распростершись на полу, лицом вниз: «послушайте, послушайте!» и приказы: «руки вверх, лицом к стене!» — и Вильсон, который подходит со своей клишированной фразой «what a delightful party, this is only way to get to know Panamanians» [1], нажимаю акселератор, «Файрстон — лучшие автопокрышки в мире», поворачиваю, перестраиваюсь в правый ряд, светофор на улице Мартина Сосы, а вдалеке холм Креста, в него упирается задняя стена резиденции американских послов... «самолет авиакомпании «Эйр Панамá» с двадцатью двумя лицами на борту, включая экипаж, вылетел вчера в 12.02 пополудни, взяв курс к ливийской столице Триполи, в самолете среди других находятся папский нунций, архиепископ Панамы, послы Венесуэлы и Мексики, которые добровольно вызвались сопровождать террористов, гарантируя их отлет, трое...» — я быстро переключаю приемник, меня отвлекает голос другого диктора, рассказывающего о курсах профессиональной подготовки для пятидесяти руководителей муниципалитетов, занятия проходили в Капире... в Капире — это там, когда я был еще женихом Кеты, нет, нет, тогда я еще не был ее женихом, но чуть не каждый вечер заходил за ней, жившей в Альто дель Гольф, мы ходили в кино, прогуливались по авениде Бальбоа, а как-то, отправляясь на Коронадо, мы проехали по Капире, по Серро Кампана, купили помидоры, латук, апельсины, Кета красовалась в шортах, рельефно выделявших каждую из ее аппетитных ягодиц, похожих на пару вызревших тыковок; в ту пору Кета еще не купила себе «мерседес» и водила свой красный «молибу», и Чале, пока мы раздевались в доме супругов Паредес, мне сказал: «если Кета и ты вместе прибыли на Коронадо провести день, то это непременно обязывает тебя жениться на ней»; вначале я был озадачен, а затем возмутился: еще чего не хватало! — но делать уж нечего, я ее поцеловал, мне даже понравилось целовать ее на глазах у всех, разгорелась суматоха, смех, шутки, веснушчатая Кета, рыжая Кета лежит на песке, а я целую ее и целую и чувствую себя великолепно, мне бы, дураку, хватило и одного поцелуя, а теперь для всех мы стали женихом и невестой... выезжаю на виа Эспанья, перед глазами — калейдоскоп светотеней, автобусов, такси, автомашин, мотоциклов, пешеходов; наконец добираюсь до гаража First National City Bank [2], ставлю машину, отдаю ключи дежурному.

— Добрый день, Седеньо.

— Ой, дон Тито, не может быть! Остались целехоньки?

— Да, старина.

— Как хорошо-то,— улыбается он; мне приятен этот Седеньо, с ним никогда никаких проблем; я вызываю лифт, нажимаю кнопку четвертого этажа, часто мне выпадает на долю подниматься и спускаться, спускаться и снова подниматься, кажется, вся моя жизнь свелась к этому.

— Дон Тито! — слышу восклицание Марты, она встает, приветствуя меня, и я вижу ее, мою секретаршу,— она обнимает меня, а я чувствую себя неловко, но тоже обнимаю ее, хотя готов был отдать все что угодно, лишь бы эта сцена была опущена из сценария, но где там, Марта верна традиционному ритуалу, включающему и большие и малые игры, я знаю: это еще не конец, сейчас последует вопрос о Кете и о детях.

— Все чувствуют себя хорошо,— обрываю ее, хватит эмоций. — Кто-нибудь?...

— Ожидает?

— Да.

— Два клиента и один журналист.

— Им было назначено?

— Нет, никому.

— Ну, тогда вы знаете, как нужно действовать, и никому ни слова.

— Понятно. Донья Кета звонила уже три раза. Просила сообщить, приедете ли вы обедать, если не приедете, она с детьми отправится к своим родителям.

---

[1] Что за восхитительный прием, это единственный путь познать панамцев *(англ.)*.
[2] Первый национальный городской банк *(англ.)*.

— Позвоните ей и скажите — у меня срочные дела, а на полпервого закажите завтрак в «Сарти».

— Хорошо.

Я прохожу в свой кабинет, открываю дверь, зажигаю свет и отсюда до письменного стола считаю десять шагов — в доме тестя жизнь идет, очевидно, в своем обычном ритме,— выдвигаю правый ящик стола, достаю ручку, надеваю очки,— Кета, должно быть, уже возле бассейна, вместе с ней Хулия, Алисия, Мариэла, Антония и дети, которые бегают и кружатся со своими няньками,— я механически просматриваю почту,— Кета вышивает один, два, три коктейля джин-тоник, чтобы успокоить нервы, подойдет Эухенио с вопросом «что закажут сеньоры? лангусту?» — «да-да, включи плиту, когда придут гости»,— и повар удаляется готовить, а они, обращаясь друг к другу darling и dear [1], начнут откровенничать, обмениваться сплетнями. И, конечно, больше всего они захотят поговорить о нападении, проклятом нападении, закончат свою болтовню, прежде условившись об очередной вечеринке по случаю дня рождения Гиля, или Альберто, или наверняка моего, тем более мой день рождения не за горами; бассейн этого дома с каждым днем все меньше и меньше используют по прямому назначению; ныне его наполняют водой в тех случаях, когда Кармела и Хосе возле него устраивают званый ужин, зажигают зеленые лампы и подсветку у пальм, но теперь это бывает очень-очень редко, по крайней мере, не так, как раньше, после нашей с Кетой помолвки, тогда по воскресеньям здесь собиралось много людей, друзья и родственники друзей, и эта стая, разбросанная по жизни, выпивала по два коньяка, приготовленных моим тестем по клубному рецепту, и все танцевали, прыгали, веселились, рассказывали анекдоты в духе «черного юмора», подавались приготовленные Эухенио лангусты, а иногда и салат, моя в ту пору будущая теща, высокая, худущая, рыжая, появлялась у бассейна, вырядившись в желтое кимоно с оранжевыми горошинами, рассказывала о свадьбах прошедшей недели, затем переходила на темы о разводах или о конкурсах королев красоты карнавала, в ее мечтах было создать панамскую версию american way of life [2] или еще лучше — стать вроде beautiful people [3], но бесконечные уик-энды приходили к своему финалу, все развивалось по естественным законам, как любила ты говаривать, Мариана, да, осыпаются с деревьев пожелтевшие, высохшие листья, перезрев и начав гнить, плоды манго, папайи, апельсинов и лимонов чернеют, сморщиваются, издают отталкивающий, сладковатый, отвратительный запах... в конце концов и ты бросила мне обвинение, что я оказался причиной, а если уж не причиной, то движущей силой всего происшедшего; в конце концов и ты говорила со мной холодно, упрекая, что я проституировал самого себя, женившись на Кете, «элегантной пустышке», помнишь, так ты ее определила? Я вижу тебя — как ясно вижу! — сидящей на постели — на нашей постели — перед зеркалом, ты сняла туфли, читала книгу и вдруг бросила хорошо рассчитанную фразу: «это, Тито, клан прилизанных и вечно улыбающихся»,— а я пытался объяснить тебе, да-да, объяснить, что во всем, что произошло, Кета не повинна, скорее это был несчастный случай или случайность без каких-либо последствий, а я лишь придерживался принятых правил игры, назови это еще одной увеселительной прогулкой либо затяжкой with the famous micromite filter — через знаменитый тонкий фильтр, называй как хочешь, моя любовь, но ведь нельзя отрицать, что к этому идут и приходят всегда по одной дорожке, которую ты знаешь хорошо и пользоваться которой не хочешь, вот именно поэтому, Мариана, ты видишь меня в сером костюме, направляющимся в юридическую контору, мне пришлось нанять секретаршей Марту, чтобы она принимала моих клиентов, я вынужден разъезжать на серебристом «мерседесе-350 SL», это все ты меня атаковала да еще с оскорбляющими жестами, с обидными словами, отточенными, как бритва, черт возьми! — не будь же такой упрямой, Мариана, и пойми, что Кета со всем ей присущим необходима в жизни, необходима с ее наклеенными ресницами, с ее трехчасовыми косметическими ваннами, с ее репликой «darling, почему ты мне об этом не сказал раньше?» — да, она необходима и даже очень, хотя ты над этим смеешься, но она выполняет чудовищное количество обязанностей по моим связям в обществе, она меня сопровождает на званые завтраки и ужины, ездит на похороны, ежедневно после обеда отвозит детей к моим или своим родителям, сопровождает жен моих компаньонов по магазинам, посещает друзей, попавших в больницу, посылает им букеты цветов — ну, хватит! ты

[1] Дорогая, милая *(англ.)*.
[2] Американский образ жизни *(англ.)*.
[3] В данном случае — «сливки общества» *(англ.)*.

же великолепно знаешь, что́ я хотел тебе сказать, не строй из себя глупенькую,— она полностью посвящает себя своим обязанностям, она неплохой человек, and please, Mariana, don't call it shit [1], она этого не заслуживает, не заслуживает, Мариана!

— Дон Тито, секретарша Переса-Давилы на проводе,— слышу я голос входящей Марты, а за окном шумит сильный, монотонный ливень.

— Не хочу сейчас с ним говорить. Передайте ему, что мы встретимся что-то около пяти.

— Больше ничего?

— Ничего, Марта, и, пожалуйста, не пускайте ко мне никого.

— Слушаюсь.

Поднимаю глаза, передо мной — фото Кеты с детьми, этот снимок сделали совсем недавно, и Робертито мне вручил его рано утром запакованным в прочную бумагу, все по форме,— вынимаю носовой платок и отираю лоб,— Роберто серьезен, Родольфо мило улыбается, Родриго... ладно, о Родриго можно сказать, что у него пока еще не определились черты лица. Смотрю на Кету, она все та же, и подумать только, в марте исполняется пять лет... в прошлом году — прикуриваю еще одну сигарету... или это было два воскресенья тому назад? — она организовала праздник на нашей вилле, там, у пляжа Коронадо, солнце жгло немилосердно — стряхиваю пепел,— недавно посаженные деревья, дети плавают в бассейне, а я снимаю их новой камерой «Роллей-35», Кета, повторяю ее имя,— все начинается со случайного прикосновения, мы почти спим, вернее, почти засыпаем,— соседние виллы полны народа, площадка для игры в гольф напоминает зеленое панно с морем и горами на втором плане, прибывают приглашенные, звучит музыка — чудесно! — танцующие тела, возбуждающий ритм, официанты из клуба, официанты там опытные, скользят меж гостей: виски с содовой, лед с виски, how charming of you, Garrido, to give this party in our honour... our pleasure, Mr. Ambassador [2], восклицания, истеричка Марука Гонсалес, выкрики, чертовка Марука Гонсалес, Кета,— снова смотрю на моих детей, только из-за этого стоило побыть с нею, сажусь, отыскиваю пепельницу, стряхиваю пепел и, запрокинув голову, закрываю глаза, каждое рождение сына — особая нота в программе, каждое рождение как бы повторяет все предыдущие рождения, Мариана, вообще-то, в абстракции, это слово в энциклопедических словарях обозначает процесс, в результате которого появляется на свет ребенок, помнится, как стоял я, ошеломленный, там, перед большим застекленным окном родильного отделения клиники Сан-Фернандо, стоял около часа или что-то вроде этого, рассматривая его, моего только что родившегося сына, я разглядывал его нос, тельце, такое совершенное, и даже ноготки мне показались прекрасными,—большая, неописуемая радость, чрезмерная, говорить трудно тебе об этом сейчас, любовь моя,— я встаю, делаю несколько шагов,— нет, сегодня вечером, нет, сегодня вечером ничего не будет, и ни за что на свете я не хочу сегодня вечером слов, жестов, выражений, которые напомнили бы мне, как горячо я люблю сыновей, а дети, наверное, будут ужинать в своей комнате, заполненной игрушками, а няньки-индеанки поднесут мне на руках Родольфо и Родриго, чтобы я их поцеловал, дети пахнут так прелестно, а Робертито, как бы не так, его уже не носят на руках, он станет играть, займется электрическим поездом или Утенком Дональдом, которого Кета и я привезли ему, когда ездили навещать Орландо, и Кета тоже зайдет на минутку в детскую — если она, конечно, будет дома, то есть если она не отправится вместе с Хулией или Мариэлой за покупками,— зайдет, нахмурит брови, отчего вокруг глаз появятся морщинки, рукой рассеянно погладит локон рыжих волос Родольфо, и она, а за ней и няньки-индеанки повторят: «будьте, мальчики, послушными» — и назовут бобиком Роберто, и опять ему скажут: «сколько раз тебя предупреждали, не качайся на гватемальском стульчике, подаренном бабушкой Кармелой, съешь-ка ложечку супа за мамочку, за папочку, еще ложечку за всех четырех дедушек и бабушек»,— а я, ты же меня знаешь, Мариана, я молча гляжу на эту сцену со скрещенными руками, будучи уверенным, что здесь я лишний, а потому гашу сигарету, целую их, обнимаю, но, ей-богу, я не понимаю, в чем же заключается такого рода любовь, не думаю я, что она вызвана лишь эгоизмом или желанием видеть себя генетически повторенным в них, и не из чувства ответственности я люблю их, нет, конечно нет,— я снова сажусь,— но, видишь ли, именно обо всем этом я никогда не мог говорить с Кетой, в нашем общении мы никогда не заходили дальше ее темных

[1] И, пожалуйста, Мариана, не говори о ней дурно *(англ.)*.

[2] Как это любезно с вашей стороны, Гарридо, устроить такой коктейль в нашу честь... с великим удовольствием, господин посол *(англ.)*.

очков и ночных прогулок в автомашине, а когда однажды я спросил ее, что такое отцовство, по ее мнению, она ответила: «боже мой, Тито, это значит иметь детей!» — и я понял, что толковать больше не о чем, а мы произносили слова-слова-слова, и все это в конце концов вылилось в разговор насчет ныряния в бассейне, а она стояла передо мной в бикини, сверкая проклятой улыбкой, с бокалом джин-тоника в руке, и вдруг я почувствовал себя, любовь моя, внезапно постаревшим, меня охватило какое-то дикое раздражение и даже огромное желание швырнуть ее так, чтобы она летела по улицам, но вместо этого я смеялся и восхвалял ее глупости, а она продолжала идиотски хохотать великолепно поставленным хохотом по рецептам модных женских журналов «Ванидадес» не то «Буэногар»; от такого хохота волосы становились дыбом, я невольно вспоминал отца, единственного человека, умевшего с металлом в голосе заявить, что я, Роберто Аугусто Гарридо III, сын Человека, который золотой печатью отметил свой род выделив его среди всех других — счастливых и бедствующих, более или менее просвещенных и отсталых, сильных и слабых, и потому, как только родился я, он заказал выгравировать мое имя на серебряных ложках, тарелках и бокалах, а оттуда оно перекочевало на металлическую табличку, прикрепленную к моей парте, когда я еще учился в колледже Ла Саль, а затем появилось на авторучке «паркер», на наручных часах, а позднее, значительно позже, оно свелось к инициалам на золотых пряжках к ремню, на запонках и на зажимах для галстука — те же сверкающие три буквы РАГ, которые он носил инкрустированными во лбу, в сердце, в близоруких глазах, эти три буквы он прогуливал по коридорам Национальной ассамблеи, уверяя мистера Гиббенса, что контракт о таможенных льготах будет подписан завтра, и поднимал бокал отменного сухого мартини в честь своего назначения на тот или иной руководящий пост в межнациональных фирмах Гиббенс — Маклоски-Янкелович — Белл; а теперь его уже никто не спрашивает об этой монограмме, все ее чересчур хорошо знают, он поручил выгравировать ее и на клюшках для игры в гольф, которые когда-нибудь перейдут ко мне по наследству, и установить на воротах загородной виллы в Эль Валье, и указывать на огромных кубках, которые на скачках выигрывают его лошади, и, кажется, даже на коробке домино, в которое он играет, и я также должен буду играть, как и он, по вторникам и четвергам на террасе клуба.

Тито Гарридо поднимается с дивана в своем кабинете и отыскивает в карманах пиджака зажигалку, которую тут же обнаруживает на столе, прямо перед собой. Около окна он закуривает еще одну сигарету, хотя знает, что и эта сигарета не доставит удовольствия.

Гарридо смотрит через запотевшее стекло большого окна кабинета, увидев свое лицо, он пытается улыбнуться, чтобы как-то изменить его выражение, но рот остается неподвижным, схваченный гримасой автоматической улыбки, улыбки, четко выраженной, электронной, одной из тех, что предназначены для фотосъемки. А ливень продолжается, ливень сильный, лимонного цвета, как все ливни в октябре и ноябре, когда затопляются улицы, автомобили вязнут в грязи, тротуары превращаются в маленькие лагуны, реки, особенно Матаснильо, выходят из берегов, в школах отменяются перемены. Когда я был маленьким, Мариана, и когда ты, конечно, была маленькой — я полагаю, что и ныне происходит то же самое,— ты помнишь, при таком дожде нас заставляли читать вслух стихи Беккера, отрывки из фрая Луиса и из того Монтальво [1], из-за которого у нас почти мгновенно срывался голос, а по ночам мы собирались поиграть в призраков, Пепе накрывался белой простыней, начинались жуткие рассказы, мы прятались по комнатам белостенного дома с красными розами, принадлежавшего моему дедушке Тито, и не было никого более беззаботного, чем мы тогда — не правда ли? — достаю из бумажника, где всегда храню ее, твою фотографию, смотрю на себя, на твои слегка выдающиеся скулы, пухлые губы, округлый подбородок, какое наслаждение, лаская, чувствовать бархатистость твоей кожи, снова припасть к истокам жизненной энергии, вернуть себе потерянное детство и задержать бег времени, которого уже не хватает, стряхнуть пыль одиночества, поджидающего нас; ты меня спросишь, любовь моя, и наверняка ты будешь права, если спросишь, хорошо, и на это я тебе отвечу, Мариана, ты — мой-единственный-закон, ты-моя-совесть, ибо, «когда больше нет будущего (как уже нет будущего ни для тебя со мной, ни для меня с тобой), а есть лишь

[1] Густаво Адольфо Беккер (1836—1870) — испанский поэт-лирик. Фрай Луис (1527—1591) — испанский поэт, монах. Хуан Монтальво (1833—1889) — эквадорский писатель и общественный деятель, видный оратор-полемист.

настоящее, что застыло, все прожитое оживает, но уже не как воспоминание, а как мгновенная вспышка, отражающая всю существующую вечность», и в такой момент озарения либо вспышки, или как мы это еще захотим назвать, я выясняю для себя, что познать тебя было для меня путешествием к концу всех дорог, вплоть до открытой двери, ведущей в бесконечность, но, видишь ли, тогда я этого всего не знал, в ту пору я был сумасбродом и полагал, что, если владею всей тобой, всей-всей и закоулками и проспектами, то ты будешь моей всегда,— какой дурень! — и тем не менее вероятнее всего, что, если прошлое и повторится, если я могу рассчитывать на будущее, я снова совершу ту же ошибку, и снова буду умолять, и снова буду тосковать по лучшему или несколько иному поцелую либо желать неизреченной интимности, но все это вне времени и отдельно, скажем, от сигнала, вспыхнувшего в этот миг на телефоне, чтобы известить меня — кто-то на проводе, и я должен снять трубку и говорить, а пока я беру трубку, разглядываю каштанового цвета ковер, темно-желтые гардины, диван, два кожаных кресла, столик с четырьмя пепельницами, наконец, весь кабинет, полностью обставленный Кетой и создающий ощущение присутствия моей жены здесь и там, демонстрирующий ее клишированное восприятие красоты, в соответствии с картинками американских журналов по домоводству и садоводству — «Прелестный дом» и «Дом и сад»,— не то из журналов, переиздаваемых в Венесуэле, в Буэнос-Айресе или Мехико и покупаемых ею еженедельно, в надежде найти в них свой портрет, или же узнать подробности личной жизни бывшей кинозвезды Грэйс Келли, или как стать идеальной женщиной для супермена, или как блеснуть в интимных отношениях и не испугать при этом, или, быть может, изучить семь простых приемов похудеть, все это потому, что Кета — женщина изысканной культуры в рамках модных журналов, и скажи, Мариана, любовь моя Мариана, что же мне остается делать, кроме того как посмотреть на часы и убедиться: ба, уже десять?! — а ведь каждая минута это еще один опадающий листок,— или покусывать хотя бы карандаш, пока слушаю Марту, которая мне говорит что-то, и одновременно просматривать бумаги, оставленные ею на письменном столе?

— Хорошо, Марта, соедините меня.

— .....

— Передайте полковнику, что с большим удовольствием я повторю президенту и членам кабинета все, что рассказал ему вчера.

— .....

— В пять в Президентском дворце, согласен.

— .....

— Нет, для меня нет, но чтобы охранять жизнь моих детей,— может быть, двух в доме и круглосуточно.

— .....

— Не беспокойтесь, я не дам интервью никому на свете. Я хорошо понимаю, что на карту поставлена национальная безопасность.

— .....

— В пять в Президентском дворце. До свидания и спасибо за беспокойство. Прощайте, прощайте.

Входит Марта и приносит мне газеты вместе с почтой, которую доставил посыльный, на первых полосах я вижу сообщение, распластавшееся на всю газетную страницу, от которого я оцепенел, как жестоко подано: ТРАГИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — читаю и перечитываю, сам Уильям Рэндольф Херст с его сенсациями выглядел бы сопливым лилипутом перед столь жутким описанием событий, происшедших вчера утром; задерживаюсь взглядом на фотоснимке автобуса, ищу подпись, теперь я знаю, да, теперь я понимаю — это не дурной сон, внутри меня будто все оборвалось, буквы заплясали перед глазами:

> Группа партизан вместе с их заложниками во время следования по улицам города Панамы в Токумен [1], где самолет компании «Эйр Панама» ожидает их — партизан, освобожденных заложников и сопровождающую их делегацию в составе архиепископа и членов дипломатического корпуса — для вылета в Триполи, столицу Ливии. В правом углу, среди фигур других пассажиров, между двумя винтовками, выделяется лицо министра торговли доктора Абеля Рамиреса. У ближайшего окна видны инженеры

[1] Международный аэропорт города Панамы.

Хуан Альберто Ривера и Хоакин Менендес, перед ними — закрытое маской лицо, очевидно девушки-партизанки. В другом окне автобуса слева направо: на переднем плане дон Антонио Вальярино, в глубине доктор Рикардо Аросемена, посол Панамы в ООН. В двух последних окнах — голова в капюшоне еще одного партизана, несколько винтовок и четкий силуэт другого налетчика.

Ошеломленный Тито Гарридо снова зажигает сигарету, откладывает в сторону газету и быстро просматривает поступившую почту, но сосредоточиться не удается, он встает, делает несколько шагов вокруг письменного стола и направляется к маленькому бару, имеющемуся в кабинете, наливает себе довольно-таки большой бокал — так вот, об этом нападении, Мариана, оно, очевидно, не скоро изгладится из памяти, ни правительство, ни народ, никто и никогда не смогут забыть все так просто, проглотить одним глотком, как сейчас я опоражниваю бокал и читаю изложение заявления архиепископа, сделанного им перед посадкой в самолет, отлетавший в Ливию.

«После стольких часов исключительного напряжения самым трагичным моментом для меня был наш путь от дома доктора Гарридо к автобусу. Действительно, это были мгновения, полные большой тревоги». Так начал вчера свое повествование для газеты «Эль Матутино» духовный наставник паствы нашей страны сеньор архиепископ Панамы, рассказав о том, что стало эпилогом события, в котором он явился главным действующим лицом, будучи посредником в переговорах, о чем наши граждане уже знают. Продолжая рассказ об отъезде в аэропорт, архиепископ указал, что в этот период наивысшего напряжения он вышел первым из здания, за ним последовал папский нунций, затем — послы Венесуэлы и Мексики и, наконец, заложники и партизаны. Незадолго до этого, по просьбе налетчиков, архиепископ, как и падре Хосе Родригес, исполнявший в столь тревожные часы обязанности его секретаря, внимательно осмотрел окрестности, прилегающие к дому, расположенному в фешенебельном квартале Обаррио. Архиепископ попросил военных отойти в сторону.

ПРИКАЗЫВАЮТ ОСВОБОДИТЬ ПУТЬ

Как только автобус тронулся с места, напряжение возросло еще больше, поскольку партизаны потребовали, чтобы водитель не обращал внимания на красные сигналы светофоров, а если он не послушается, то рискует своей жизнью. Автобус компании «КУТСА», полный заложников, партизан и посредников, помчался на большой скорости к аэропорту Токумен по улице Рикардо Х. Альфаро. Перед въездом на кольцевую автостраду около пивоваренного завода следовало сделать остановку, но партизаны потребовали от шофера не соблюдать правила уличного движения. Тогда архиепископ жестами попросил водителей остановить свои автомашины, следовавшие по основной автомагистрали и имевшие право преимущественного проезда.

ЗНАМЯ И ГРАНАТА

С вполне понятным волнением от пережитого архиепископ живо вспоминает молодого, очень молодого партизана, усевшегося рядом с шофером. Левой рукой партизан поддерживал знамя партизанской группы, а палец продел в кольцо предохранителя осколочной гранаты, готовый сорвать его. В правой руке юного партизана был пистолет-пулемет. Все остальные налетчики (приблизительно человек двенадцать) держали свое оружие на изготовку.

НЕКСТАТИ ПОЯВИВШИЙСЯ АВТОМОБИЛЬ

Но, очевидно, наибольшую тревогу для архиепископа, сопровождавших его дипломатов и заложников при переброске задержанных из дома доктора Гарридо в автобус, когда военные уже очистили путь, вызвало появление какого-то частного автомобиля; партизан, следивший за ходом операции, заставил его остановиться, закричав: «стой, или буду стрелять!» Тогда архиепископу пришлось объясняться с водителем и попросить его немедля уехать. Другая автомашина также намеревалась пересечь путь

автобусу, и снова архиепископ был вынужден уговорить водителя вернуться. Положение в эти моменты было исключительно острым.

Когда автобус, в котором ехали партизаны с заложниками и посредниками, приблизился к перекрестку улицы Рикардо Х. Альфаро и Трансокеанической автострады, шофер должен был поневоле затормозить перед светофором. Один партизан, похоже самый молодой из всех, потребовал, чтобы шофер не сбавлял скорости. И архиепископу пришлось вмешаться, чтобы предупредить возможную аварию, потребовать остановки. Командир партизан согласился остановить автобус.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО АРХИЕПИСКОПА

— Как случилось, что вы, сеньор архиепископ, выступили посредником в этих событиях?

Архиепископ ответил:

— Как христиане и сторонники мира, мы твердо убеждены в пользе диалога. В этом смысле мы понимали и чувствовали, что наш долг — принять непосредственное участие в этих событиях, дабы избежать новой трагедии и кровопролития. Мы сделали все, что было в наших силах, стремясь добиться решения вопроса без какого-либо насилия.

Далее он сказал:

— Хотелось бы отметить, что́ нам представляется жизненно важным в вопросе сосуществования людей: хорошо продуманный диалог может разрешить любой, даже самый щепетильный конфликт, если у противоборствующих сторон наличествуют добрая воля и дух согласия.

Закончив чтение, Гарридо откладывает газету в сторону и, полулежа на диване, прикрывает глаза, однако минуту спустя, скорее автоматически, чем преднамеренно, берет со столика журнал. «Реквием по партизанской борьбе в сельской местности» — название редакционной статьи в журнале «Висьон» почти двухнедельной давности привлекает его внимание: «Начиная с 1965 года в Перу, Венесуэле, Колумбии и Гватемале местные воинские части фактически разгромили партизанское движение в сельской местности, сведя его к действиям раздробленных, изолированных групп, не представляющих опасности для правительств»,— что за чертов сарказм! — отпиваю еще глоток — что же это за сверхтупые люди, Мариана! — я начинаю настойчиво твердить, будто полоумный, слово «Висьон» — синоним образа, изображения, восприятия, обозрения, телевидения, а к слову «похищение» — черт побери! — не могу найти ассоциации, оно оставляет меня в черном одиночестве, с моими гримасами и моими морщинами, и все потому, что было столь мгновенно, да, я одинок, как телевизионное шоу без рекламы сигарет «Уинстон», и вот я здесь один, Мариана, одинешенек, битком набитый объявлениями, защищенный дверями и словами, которые скрывают меня, а ты, словно светящаяся искорка на телеэкране, хватит бегать, одинешенек... стучат в дверь, войдите, говорю, меня не слышат, да-да, входите, входите, входите, одинешенек, и никого, только стук-да-стук в дверь, за окном все еще ливень, одинешенек, а перед глазами отец, он входит, я смотрю на него и хочу ему сказать: «послушай-ка, какого черта ты сюда лезешь?» — но вместо этого я говорю ему:

— Привет, папа! — звучит вполне вежливо, я встаю, чтобы обнять его.

— У меня мало времени,— всегда он со своими разъяснениями, ах вот как, он меня не обнимает, нет, а впрочем, для чего? — это уж чересчур, скажем, лишне.— Ты не давал интервью? Надеюсь, нет?

— Нет, папа,— всегда я с ним — карамба! — сплошная учтивость.— Кроме того, полковник...

— Какой там полковник, ни черт, ни дьявол!..—он захлебывается от тщеславия.— Здесь крупнейший специалист в политических вопросах — я; а эти только что пришедшие к власти военные, эти горе-герои, что они понимают в делах государства? Пока никому ни слова. Ты меня слышишь? Ни одного. Все должно быть хорошо скоординировано. Может быть, провести пресс-конференцию с заранее подготовленным заявлением? А то, что сделал архиепископ, просто смешно, очень смешно...—повторяет он, и, конечно, я с ним не спорю.

— Ну и ну.

— Что «ну и ну»?

— То, что архиепископ вмешался весьма некстати.— И я пытаюсь улыбнуться, но — что за дьявольщина! — у меня тут же возникает автоматическая улыбка из тех «да, папочка, я к твоим услугам, папочка», и он это улавливает, довольный расхаживает по кабинету, остановившись у окна, даже не взглянув на меня, спрашивает:

— Ты уже читал заявление партизан?

— Нет, у меня не было времени.

— Отредактировано наихудшим образом, произведение психически расстроенных, умственно отсталых, закомплексованных людей.

— Ты так думаешь?

— Что-о! Ты еще сомневаешься? Что это с тобой происходит, а-а? — Воцаряется тишина, кажущаяся беспредельной, мы смотрим друг на друга, и я знаю, что в душе он обзывает меня не только дураком, но и последним дерьмом, и даже хуже, больше того — я вижу, как он выходит, хлопнув дверью, отнюдь не стараясь скрыть своего раздражения, нам не о чем говорить, и он это хорошо знает, а я, любовь моя, за столько лет «знакомства» догадываюсь об этом, хотя отец с обычным для него упорством продолжает отстаивать свое право на участие в моей жизни, пусть иногда его рукопожатие и отличается крайним равнодушием; я наливаю себе еще один бокал и понимаю, что все, да, все, все, все именно так и должно быть, как это продумал он, а я, хотя упрямо ищу что-то другое, бессилен, закуриваю еще сигарету, и твой голос, любовь моя, твой голос звучит: «Тито, не делай из этого проблемы,— я выпускаю сигаретный дым,— пусть все течет само по себе,— говорила ты мне всякий раз,— это как дыхание, которым ты живешь, и ты на что-то наталкиваешься, видишь это и, кажется, иногда даже реально испытываешь чувство любви, но продолжаешь жить своей жизнью, отставив эту практику поисков, находок и открытий»,— я слишком поздно понял, как всегда слишком поздно, что у тебя был момент озарения, вспышки истинной правды, когда ты высказала мне все это. Я подхожу к магнитофону, ставлю пленку, на которой несколько дней назад мною было записано совещание с коллегами, перед тем как мы, участники переговоров, должны были встретиться с представителем США Банкером: нужно освежить в памяти все, что говорилось тогда, особенно перед сегодняшним вечером, когда мы соберемся в Президентском дворце. Я нажимаю клавиши магнитофона, вспыхивает огонек, неожиданно ощущаю запах одеколона, Мариана, тот же «Жан-Мари Фарина», тот же самый, которым пользовался мой старик с тех пор, как я себя помню, всюду проникающий запах одеколона вперемешку с запахом черной сигары, и вдруг слышу голос Гаудиано, хриплый, врывающийся, будто залп — на изготовку, цельсь, огонь! — «Договор 1903 года — мошенничество, кабальный договор, который нам оставил половинчатый суверенитет в Зоне Канала, а правительство Соединенных Штатов свободно использует наше привилегированное географическое расположение, поставив его на службу своим интересам и своей экономике»,— я и ты, любовь моя, мы в тот вечер вдвоем на террасе Национального театра, и я ласкаю твое лицо своими ладонями и открываю поразительное волшебство, таящееся в твоих глазах, «сеньоры, с нас хватит, наше терпение лопнуло!» — твои глаза смотрят на меня, а я вглядываюсь в них и чувствую прилив твоей нежности, твоей бархатной ласковости,— «и сейчас весь мир это знает, и панамский народ не намерен более капитулировать никогда и ни перед кем!» — передо мной вырисовывается силуэт твоей фигуры на фоне ночи,— «они учинили насилие над нами, да, насилие, я слишком хорошо знаю этих янки,— Гаудиано все больше распалял себя,— вопреки всем договорным положениям, они милитаризировали Зону, создали здесь ядерные установки прибегнув к силе, тем самым поставили под угрозу безопасность нашего народа, перечеркнули нейтралитет Канала, на что имеет право Панамское государство, чем пользовались и другие государства мира»,— почти детская застенчивость, с которой ты попросила дать прикурить тебе сигарету, не бойся, я ничего не предприму, сказала ты мне, и я тебе ответил тем, что ты восприняла как мое меткое выражение, а это была лишь цитата из Тейлора: «Fear is the mother of foresight»[1], ты громко рассмеялась. «Базам — нет! Слушай внимательно, Гарридо: базы — ни за что! — твой кристальный, радужный смех, сверкающий и переливающийся словно ртуть.— Ты не согласен с нашей позицией, Гарридо? — внезапно ты обняла меня за талию.— Дело не такое простое, стране нужно,— впервые я ощутил прикосновение твоих трепещущих рук,— не глупи, нам нужно было выступить и в девятьсот третьем, а отдали все, за исключением нейтралитета»,— мы оба закрываем глаза, отдавшись мгновению, сочетавшему нас хотя бы на миг, чтобы я смог признать в тебе единство, саму жизнь,— «ваша позиция утопична,

[1] Страх—мать предусмотрительности *(англ.)*. Ф. Тейлор—американский экономист.

тот, кто соглашается на переговоры, признает возможность уступок и компромиссов, речь идет о том, чтобы обе стороны пришли к соглашению,— время, любовь моя, уже без имен, без фамилий, без часов,— в этом случае, так сказал Банкер, предварительно обусловленные позиции делают переговоры возможными»,— ты, Мариана, и я наслаждались взаимной близостью в том театре с позолоченными ложами, с красными коврами и с фресками Роберто Льюиса[1] ...как теперь слышу размеренный, монотонный голос Рейеса: янки просто так не пойдут на аннулирование договора 1903 года,— меня охватывает чудесное ощущение того, что я жив,— не следует себя обманывать, дружище, им необходимо любым способом легализовать свое военное присутствие в Зоне Канала, и этого они смогут добиться только путем заключения нового договора»,— голоса продолжают звучать, один голос сменяет другой, голоса нарастают, я уже не могу сосредоточиться и вконец разбитый опять отхожу к окну, ливень не прекращается, сильный ливень лимонного цвета, небо тоскливое, но голоса, Мариана, не те — другие, которые доносятся не с магнитофонной ленты, отдаваясь эхом в мозгу: «никаких баз, Гарридо, ни за что и никогда!» Сначала их было только пятеро, путь себе они проложили с винтовками в руках, раздался протяжный крик, Элиас и Фелисидад, напрягая все усилия, тщетно пытаются закрыть входную дверь, распахнутую настежь в честь наших приглашенных, беспорядочная стрельба, голоса, беспрестанные возгласы: «Да здравствует Фронт национального освобождения! Да здравствует боевая группа «Уррака»[2]!» — давка, крики и ты, Мариана, там с желтой ленточкой, перехватившей волосы, сигаретный дым, заполнивший зал, официанты, растянувшиеся рядом с женщинами на полу, опустевшие подносы, разбитые бокалы, рюмки, и Рикардо Аросемена, сбросивший пиджак, развязавший галстук, и ты с желтой ленточкой, перехватившей волосы. Зову Марту.

— Отмените, пожалуйста, разговор с Пересом-Давилой. Объясните ему, что меня вызвали в Президентский дворец.

Гарридо вышагивает по кабинету, у него вздрагивает подбородок, несколько раз он прижимает руки к вискам. Какая боль здесь, сверлящая, пульсирующая, все тело обволакивает холодный пот; руки дрожат, он придавил их к животу, а они дрожат, он потирает область желудка, а они дрожат, он чувствует учащенное биение сердца и снова бредет, не поднимая головы, к окну, прислушивается к потокам ливня, бьющего в стекло, к глухому шуму проезжающих поблизости автомобилей, а руки дрожат, он упирается лбом в холодное оконное стекло, бросает взгляд на часы — уже почти одиннадцать,— завяжи черный галстук, как тогда, когда я узнал, что такое смерть, когда мы пошли хоронить дедушку Тито, попли на ту длившуюся будто без конца траурную церемонию в кафедральном соборе, завяжи черный галстук, а я, одиннадцатилетний, бегаю по каменным плитам церкви, и раз, и два, и три, и четыре, завяжи черный галстук, прыгаю на первое надгробие, совсем как игра в классики, завяжи черный галстук, а ведь надгробие и вправду походило на классики:

[1] Роберто Льюис — панамский художник, директор Академии живописи.
[2] Имя вождя панамских индейцев, возглавлявшего в течение почти десятилетия борьбу против испанских конкистадоров в начале XVI века.

завяжи черный галстук, и опять прорываются голоса: «Да здравствует Фронт национального освобождения! Да здравствует боевая группа «Уррака»!» — в парке играют детишки — дай мне реал [1], сопляк, не жмись, дай биту,— это был день национального траура, утвержденный президентом республики,— и шесть, и семь,— «Базам — нет! Соглашения о базах не пройдут!» — я перепрыгиваю на другое надгробие: «Фелисиано Паскуаль, родился 27 июля 1861 года и скончался 28 января 1869 года, недолгие дни его существования переполняли счастьем сердца родителей! Расставание с ним навеки преисполнило их скорбью, оставив в удел им горе и слезы»,— у гроба деда, покрытого национальным флагом, стоит почетный караул, я тщетно пытаюсь заговорить с этими военными, уже сколько часов мы провели тут, мне было страшно скучно, а мне твердили: «успокойся, Тито, иди присядь возле мамы»; вся семья неподвижно сидела на скамейках первого ряда, мужчины все в белых тропических костюмах, в больших солнечных очках, скрывавших лицо, а женщины — в черном, гордые своей способностью порыдать,— всем-женщинам-встать-вместе-отдать-сумочки, и те же самые женские глаза, покрасневшие, вспухшие, вылезшие из орбит,— люди подходили и нас обнимали,— how charming of you, Garrido, to give this party in our honour,— очередь соболезновавших застопоривалась где-то около папы, каждое рукопожатие сопровождалось речью, которую он стойко выслушивал: «спасибо, друг, спасибо за участие», соборный колокол тем временем размеренно бил и бил,— our pleasure, Mr. Ambassador... — в первом ряду восседал и президент, тоже в белом, но без черных очков, это привилегия родственников покойного, вместе с президентом были министры, среди них, Мариана, я узнал министра иностранных дел, он ведь дядя Хосе Мигеля, моего приятеля по колледжу, вот уже двое суток, как все связано с этой смертью, днем и ночью дом переполнен родственниками и друзьями, а я, измученный протокольными обязанностями и отцовскими наставлениями не называть пришедших по именам, а обращаться к ним: ваше превосходительство, ваша милость, сеньор магистр, сеньор министр, и, наконец, ночь последнего бдения, когда меня послали в сад поиграть с Панчо, сыном соседа, в саду благоухали розы, и все доносившиеся звуки смешались в непонятном гуле: голоса одних, рассказывавших анекдоты, других, молившихся, перебирая четки, бормотавших: распятие-и-смерть-нашего-господа-Иисуса-Христа, выкрики газетчиков: экстра-экстра-Панама-Америка-Ла-Насьон... экстра-экстра-умер-национальный-герой-Гарридо-Панама-Америка-Ла-Насьон,— все это запечатлелось в моей памяти, впервые раскрыв передо мной, что такое смерть,— до этого я видел лишь мертвых воробьев, малиновок, дохлых собак, да, может быть, порой дохлую крысу,— я открывал для себя смерть, вернее, познавал ее значение, ее безграничность, точнее, столкнулся с однозначным звучанием смерти, и нежданно — то впечатление, Мариана, от увиденной в газетах большой фотографии, всюду одной и той же фотографии, на которой он выглядел несколько более молодым и крепким, и еще впечатление от прочитанного, читаного и перечитанного сообщения, запомнившегося под конец наизусть, хотя я так и не понял его содержания: «огромное потрясение во всей стране вызвала кончина вчера утром национального героя, дипломата, государственного деятеля и прежде всего выдающегося гражданина доктора Роберто Аугусто Гарридо, подписавшего в 1903 году нашу Хартию Независимости и несколько позже назначенного министром иностранных дел, в силу чего на его долю выпало не только быть свидетелем всех печальных событий, касавшихся возникновения нового режима, установленного в Зоне Канала, но и быть участником, в качестве высокого панамского представителя, переговоров между администрацией упомянутой Зоны и Национальным Правительством»,— слезы оставляли на губах моих солоноватый привкус, ведь дедушка был совсем не тем, что о нем написано, дедушка был просто дедушкой, чудесным дедушкой, который каждую субботу приглашал нас на обед и играл с нами, который разводил розы и был обладателем лучшей в нашей стране конюшни в Серро Пунта,— я закрываю глаза, прикладываю бокал с виски и льдом к левой щеке, затем отпиваю еще глоток, в памяти всплывает старичок, приятель дедушки Тито, одетый в темный шерстяной костюм с двубортным жилетом, с бриллиантом в черном галстуке и золотыми запонками, с цепочкой для часов и в накрахмаленной манишке, он обнял меня и прошептал: «детка, чуть побольше уважения к памяти твоего дедушки»,— а я смотрю на него во все глаза, вдруг осознав, что мой дедушка уже стал для всех только памятью, то есть фактом, датой, именем, которые следует сохранять в воспоминаниях, я прильнул к старику, послушно сел рядом с ним, а вскоре задремал, подумав, что в эту

[1] Серебряная монета.

субботу наверняка уже не будет званого обеда, как обычно по субботам, и только когда голос архиепископа загремел, чуть не переходя в вопль, я проснулся, наверное, прошло уже много времени, у всех на лицах было написано крайнее изнеможение, а священнослужитель — ни дна ему, ни покрышки! — продолжал ораторствовать, ораторствовать и ораторствовать с жестким, отталкивающим немецким акцентом, тем более отталкивающим, что только что окончилась война и мы ничего не хотели слышать о немцах, к тому же в колледже Ла Саль монахи-наставники были французами, и нам они привили ненависть к Гитлеру, а Гитлером мы представляли всю Германию и всех, кто дружил с немцами, потому и в архиепископе я видел Гитлера — он вопил с амвона, восклицал, взывал, еле переводя дух, совсем как Гитлер, и мой сосед, который с осуждением покачивал головой, наконец не выдержал и начал говорить такие вещи, постукивая при этом тростью, такие вещи, в которых я не мог разобраться, и поныне помню лишь, что он называл Боссюэ [1], какую-то француженку Энрикету, постукивал и постукивал тростью, даже заявил что-то вроде того, что все это чистый плагиат, грязный плагиат, когда немецкий священник сделал переложение, которое никаким переложением и не было, текста, известного нам всем:

Владей и распоряжайся своими вещами,
как хочешь и как тебе кажется нужным,
и ты не найдешь ничего, кроме
страданий, страданий по воле твоей либо
по принуждению.
и так ты обрящешь свой крест.

На улице ливень наконец прекратился. У бара Гарридо вновь наливает себе виски, много виски, лед с виски, и голова у него начинает кружиться. Сколько бокалов он выпил? Три или четыре? Whisky, something special [2]. Марта, как всегда, входит тихонько и спрашивает, не хочет ли он чашку черного кофе, протягивает ему иностранные газеты — вот уже мое фото, черт побери, мое фото, а не моего деда, фотоснимок события дня. Я быстро просматриваю газеты: тысячи слов на разных иностранных языках описывают происшедшее — «Монд», «Оссерваторе романо», «Вашингтон пост», «Эль диа», «Нью-Йорк таймс», а в последней газете я читаю длинную редакционную статью и отдельное заявление заместителя государственного секретаря по латиноамериканским делам, заверяющего, что «вопрос о Канале, господа, нужно решать быстро и благоразумно, но без применения жесткой линии, однако конгресс стоит на своем, и вот последствия». Я откладываю газету, голова кружится, как волчок, успеваю отметить, что в мексиканской газете «Эксельсиор» сообщения помещены на первой полосе, опубликованы даже фотоснимки последнего раута... и тебя я вижу, Мариана — Мариана — Мари — любовь моя, улыбающаяся, обнимающаяся с Хоакином, а с вами рядом Рикардо Аросемена и миссис Вильсон, и у каждого бокал в руке, isn't it a nice party, yes, ma'm, a nice party, oh God... отвожу взгляд, a very nice party [3], отодвигаю в сторону газеты, встаю, все это, ну и чертовщина, стало раздуваться непомерно,— «Базам — нет! Слушай внимательно, Гарридо: базы — ни за что! Никакой совместной обороны!» — теснота, сигаретный дым, клубящийся дым, клубящийся в зале, поблескивающие капельки пота, расплывающаяся косметика на лицах приглашенных дам, официанты, артисты национального ансамбля и музыканты, сидящие рядом с женщинами на ковре, и Марука Гонсалес в приступе истерии, и та партизанка в маске, целясь в нас, твердит, будто заведенная, повторяя ритмично, как бы декламируя: «Да здравствует Девятое января! За наше полное освобождение! Переговоры перед лицом народа! Ни одной военной базы! Суверенитет или смерть! Мы победим!» — кончив этот припев, она опять начинала его заново, пока ты, Мариана, не подошла к ней и не сказала что-то вроде «пора сменить пластинку», Хоакин даже расхохотался, в это время появился их командир Сэро [4] и отдал приказ: «Пятому охранять дверь в гараж»,— и тогда нам стало ясно, что между собой они называют друг друга по номерам, а не собственными именами, 0 — 1 — 2 — 3—4—5, я, Мариана, прыгая по надгробьям в кафедральном соборе, узнаю: «Хоакин Асприэлья родился 5 августа 1823 года и скончался 18 мая 1847 года, его безутешные родители, братья и племянники посвящают ему это воспоминание и оплакивают его смерть, случившуюся в полном расцвете молодости»,— партизаны, натянувшие на свои лица женские нейлоновые чулки, 6—7—8,— заупокойная месса заканчивалась, архие-

[1] Жак-Бенинь Боссюэ (1627—1704) — французский богослов.
[2] Виски, что-то бесподобное *(англ.)*.
[3] Не правда ли, прием прекрасен, да миссис, прием прекрасен, о боже... прекраснейший прием *(англ.)*.
[4] Сего — ноль *(исп.)*.

пископ бормочет у гроба моего дедушки молитву по-латыни: Liberame, Domine de/morte aeterna, in die illa/treménda/Quand coeli/movéndi sunt et terra/Dum véneris judicare saeculum/per ignem... вот гроб выносят из собора, за ним волной запах ладана, удушливый запах ладана, и тянется нескончаемый кортеж родственников, министров, судейских лиц, депутатов, послов, представителей академии испанского языка и истории, директоров клубов «ротариев» и «львов», «дочерей Марии», одетых во все белое и с золотыми ладанками, старикашек из масонской ложи, и венки, множество траурных венков, больших, малых, средних, массивных, круглых, в форме креста, в форме и расцветке иностранных флагов, и наконец, Мариана, целая вселенная цветов, мир в цветах, и прежде всего розы, которые так любил дедушка Тито, розы местные и привезенные из дальних стран, изысканных сортов — столистная, многоцветная, спиноза, спиносиссима, эглатерия, канина, арвенсис, нежная, ясная, каролина, виргинская, сетигера, калифорнийская,— все были здесь: белые, красные, розовые, желтые, чайные, кремовые, с шипами или без шипов,— и тот старик, Мариана, вел за руку меня, ошеломленного, забытого всеми, брошенного среди невероятного скопления людей, и вот гроб установлен на шасси большой пожарной машины с зажженными факелами, музыканты из оркестра республики, в парадной форме, в течение многих и многих часов, пока мы медленно вышагивали к кладбищу Амадор, играли похоронный марш из «Героической симфонии» — это по просьбе, высказанной ранее моим дедушкой,— а после неизбежный похоронный марш Шопена, а по сторонам, Мариана, множество людей, стоящих как бы в почетном карауле шпалерами на тротуарах, люди на балконах и даже на крышах домов, мимо которых проходил траурный кортеж, и, казалось, не было ему конца, вероятно, уже три или четыре часа пополудни, а политические деятели, воодушевляясь, произносили на кладбище непрестанные и скучнейшие речи до тех пор, пока министр иностранных дел, да, дядя Хосе Мигеля, побледнев, не упал в обморок, и лавина фоторепортеров бросилась снимать его на земле...

Какое-то время Гарридо сидит на диване, неподвижно, с опущенной головой. Перед его глазами все снова проходит, как на экране — действительность в цветном фильме. Сценарий хорошо известен Гарридо: зажмурившись, он все равно знает — ничто на свете, именно ничто, не сможет заставить его забыть случившееся. Это все равно что быть кинозвездой и проигрывать сцену, которую показывают на огромном и вогнутом экране, как в широкоформатном кинематографе. со звуковыми эффектами, с лучом света, выхватывающим важнейшее, а он выступает за режиссера-продюсера-актера-главного-героя-зрителя,— и ты, Мариана, в ту ночь ты была в черном платье, а я следовал за тобой с безграничным желанием ласкать тебя, и оба мы смеемся, выходя из театра, отправляемся в мое бунгало в Лас Кумбрес, я все тебе сказал, мы всматриваемся друг в друга, а взаимное желание нарастает, мы бросились на траву, тела наши переплелись — бесчисленные поцелуи, оплодотворенная нашей любовью земля,— пожиная любовь и открывая для себя — точно-точно! — открывая, что любовь, когда это настоящая любовь, это только любовь, еще любовь, и ничего больше, и всегда любовь, Мариана.

Кое-кто в то утро вспомнил о Гарридо. Кое-кто купил газету, прочел последние известия о нападении и, быть может, снедаемый любопытством, остановился поглазеть на эту виллу в квартале Обаррио, внезапно превратившуюся в своего рода театр, который вынуждает нас теперь с большей осторожностью оценивать настоящее. Кое-кто попытался также заговорить с прислугой из этой виллы и даже проникнуть за двери внутрь этого мирка, хранителя теперь уже стольких загадок. Но все попытки оказались обреченными на полный провал. Нам уже ясно, что вилла Тито Гарридо никогда больше не будет доступна так, как это было до той пятницы, когда мы изредка наведывались в нее, надеясь, что там, если не он, так Кета, нас встретят с распростертыми объятиями. Поэтому в далекие годы нашего детства, когда время не считалось за время и мы измеряли его только от и до рождества, днями рождения, а наступал уик-энд, и мы купались у берегов острова Табога, а позже летом занимались верховой ездой в Эль Валье, тогда, Мариана, ты и я были чуть-чуть постарше моих сыновей, но ты уже осиротела, жила с бабушкой Лусией и двумя незамужними тетушками в огромном доме — пещере одиночества, если точнее, бездонного одиночества, но никто, никто, конечно же никто в ту пору не мог предположить, что жить с теми старухами все равно что находиться в аду, и никак не иначе, и вместо этого, подтвердишь сама, мы искренне считали, что дом у тебя — настоящий рай: нет ни папы, ни мамы, донекающих постоянной волынкой

не-делай-этого-делай-то на протяжении всего дня, и испытывали неописуемую зависть, видя у тебя массу игрушек, ты всегда имела самые лучшие игрушки, самые большие, самые дорогие, самые удивительные, как будто в твой дом переехал весь магазин игрушек Феликса Б. Мадуро и «Французский базар» тоже, из-за этого и многого другого весь квартал завидовал тебе и даже временами обожествлял тебя, я не оговорился «временами», это было именно так, поскольку не всегда мы тебя обожествляли, особенно когда ты являла ту, иную сторону своего характера, холодную, надменную и властную сторону, способная подняться на недосягаемую высоту жестокости, как это было на дне рождения Росарито Приэто, когда она что-то упомянула насчет гибели твоих родителей в той ужасной катастрофе и что, дескать, твой папочка был в этом сам виноват; «все ведь говорили, что машину он водил как сумасшедший»,— вдруг ни с того ни с сего бухнула бедная глупышка Росарито Приэто, а ты молчала и только смотрела на нее, смотрела, как помню, горящими, налитыми ненавистью глазами, они и поныне у меня в памяти, а перед тем, как нам уйти, ты уселась на пол, мы еще были там, подозвала Росарито Приэто и вернула ей корзиночку со сладостями, а возвращая ее, издевалась над пиньятой[1] в виде кролика, приговаривая, что на празднике не было ничего хорошего: ни волшебника Лопеса, ни шаров, ни лотереи, ни подарков, ни фильма с Пепе Кариокой, сразу видно, что все подарки — домашнего изготовления, не были заказаны донье Марите, и что тебе здесь было скучно, как устрице, и что ты не можешь понять, зачем пришла сюда, и это ты повторяла столь яростно, что Росарито Приэто разревелась, разревелась безудержно, навзрыд, неутешно, заразив всех нас, пошли всхлипы, слезы, хныканья, жалобы, скулеж, выкрики, тычки и пинки, и все мы — из ватаги 38-й и 39-й улиц — возненавидели тебя, даже стали бояться, и как раз в ту пору, конечно же в ту пору, я обнаружил в тебе что-то особенное, но уже не хватило времени разобраться: начались твои поездки, то и дело ты уезжала, а это означало, что для нас ты исчезла, всякий раз твоя бабушка нам объясняла — можно подумать, что нам так нужны были ее объяснения,— что тебя опять нет, что, дескать, она поместила тебя в закрытый колледж мисс Портер, куда янки-миллионерши направляют своих дочерей, и было ясно, что несчастная старуха невероятно возгордилась от твоих же россказней, только об этом она и болтала, когда мы на рождество всей ватагой пришли к вам посмотреть вифлеемские ясли и волхвов — самая роскошная панорама во всем квартале — с огромными фигурами, привезенными из Испании не то где-то заказанными; эти фигуры твоей бабушкой и тетками были расставлены среди пустынь и оазисов, родников, жирафов, слонов, пастухов со стадами, пальм, кипарисов, среди курятников с курами, цыплятами, гусями и утками, среди водопадов, ветряных мельниц, больших и маленьких лагун, разнообразнейших жилищ, прибавьте к этому световые эффекты, музыку и всяческое «так далее» — и вы поймете, почему мы стояли разинув рты; нас паразило и то, что ты уже в совершенстве говоришь по-английски, что ты каталась на лыжах по настоящему снегу и даже ездила верхом на охоту за лисами в hunt country[2] Коннектикута и Пенсильвании; а если еще учесть твою экстравагантность, то ты для нас раз и навсегда превратилась в вершину вершин, да что там — в венец элегантности, утонченности и экзотичности; и поверь мне, Мариана, сейчас я признаюсь тебе потому, что, начиная с нынешнего ноября, с многокилометровой дистанции воспоминаний, ограниченных пределами одного города, где время — это время молчания и дождей, дождей и молчания, я, наконец, могу тебе сказать так, как говорю сейчас — просто и искренне,— могу подтвердить, что и для меня, как и для многих других, ты, дорогая, была наивысшим символом, несбыточной мечтой, и хотя ты была моей, это произошло столь мгновенно, столь мимолетно, что поныне мне кажется, будто ты и я в нашей любви мчались в каком-то полете, будто любили мы на лету, на бегу, постоянно торопясь, опасаясь, как бы не настигли нас старость, крах, как бы не истекло наше время, когда мы превратимся, следуя за другими парами, в неких ископаемых, и сегодня, когда я смотрю на тебя, запечатленную вместе с Хоакином на снимке в мексиканской газете «Эксельсиор», ты снова представляешься мне недосягаемой женщиной, которая вот так взяла и ушла, не сказав «прощай», ни тем более «до свидания», и которая оставила меня в сомнении — увидимся ли мы еще раз? Сам не зная почему, я опять смотрю на выражение лица Хоакина и впервые замечаю, что на фотографии он выглядит ужасно осунувшимся — «у меня синдром ужаса», сказал он мне, когда нас поставили лицом к стенке,— и тот

[1] Подвешенная к потолку игрушка со сладостями, которую участники празднества с завязанными глазами стараются разбить.

[2] В охотничьих угодьях *(англ.)*.

партизан, любовь моя, тот метис с бачками, в зелёно-оливковой форме, единственный без маски, тыкал в ребра автоматом «М-14» и спрашивал меня: «где Вильсон? куда, черт подери, ты его подевал?» — а я, я ничего не говорил, ты меня знаешь, Мариана, я сохранял спокойствие, Хоакин же рядом со мной, заметив мое молчание, запричитал вроде того, что посол, дескать, уехал,— «я же сказал тебе, что он уехал», а мне так хотелось прошептать ему: «Хоакин, дружище, заткнись, мы все из-за тебя влипнем в жуткую историю»,— но где там, я даже и пикнуть не мог, произносил эти слова про себя, мысленно, тогда как Хоакин послал партизана к чертовой матери, пусть-де ищет посла в саду у соседей, потому как этот гринго-посол, «слышишь, метис,— ах, ты этого не знал? — переспросил, не дожидаясь ответа,— гринго этот завоевал золотую медаль по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Берлине в тридцать шестом году, и при первых ваших выстрелах он перелетел через ограду, вот так легохонько, не то что я, дурак, остался дожидаться вас с виски в руках»,— меня охватила паника, Мариана, а он, ничуть не изменившись в лице, один-одинешенек продолжал говорить и говорить, как заводной,— «послушай, метис,— он наслаждался, называя партизана метисом,— послушай, метис, если уж говорить начистоту, то у меня вначале мелькнула мысль, что твоей пушечкой ты нагонишь здесь жару...» Я встаю, сажусь, закрываю глаза, открываю их, снова встаю, в этом странном танце пересаживаюсь с места на место вдоль всего дивана, как вдруг мой взгляд останавливается на Марте — она вошла и стоит передо мной с чашкой кофе, а я не могу понять, давно ли она обращается ко мне, вижу только ее губы, тонкие, слегка тронутые губной помадой, губы, как змеи, шевелятся, светло-голубые глаза временами поблескивают, вот сейчас она подходит к окну и отдергивает шторы, и свет полуденного солнца, Мариана, режущий, словно бритва, врывается в комнату и ослепляет меня, все вокруг Марты и она сама тотчас же потемнело.

— Как вы теперь себя чувствуете, дон Тито?

— Лучше, спасибо,— отпиваю глоток кофе, горчит.— Только вот свет, Марта, свет...

— Вас беспокоит?

Конечно беспокоит, дьявольщина, если бы не беспокоил, я не стал бы упоминать о нем, но вместо этого вслух я отвечаю:

— Немного,— я понимаю, и она лучше, чем кто-либо, понимает, что в моем голосе прозвучало раздражение, но Марта прекрасно воспитана, не проронив и слова, она тихо и аккуратно задергивает шторы, я остаюсь в полутьме, не требующей от меня никакого напряжения, и признаюсь тебе, Мариана, дорого бы я заплатил, если бы Марта оставила меня в покое, но у нее не хватает проницательности, она опять приближается, эх, черт возьми, пусть только не подходит слишком близко, вот... вот... вот, ни шагу больше; не глядя, она берет одну из многих газет — у Марты есть свои пунктики, и один из них — читать, читать все подряд, то есть все-все-все, иногда я даже подозреваю, нет ли в этом определенного стремления совать нос куда не следует, но, впрочем, об этом и речи быть не может: она — человек добрый, а я все вижу в мрачном свете, и злодей в этом фильме — я. Но вот, Мариана, я слышу, она о чем-то меня спрашивает, да и как раз о том, чего я не желал бы слышать.

— В «Эксельсиор» опубликован немыслимый репортаж,— замечает она, как всегда пуская в ход любимые прилагательные: «немыслимый», «чудесный», «поразительный».

— Да, да, Марта...— и повторяю тебе, Мариана, я отдал бы все что угодно, повторяю, все что угодно... я подарил бы ей автомобиль, красный «Малибу», пару туфель от Шарля Жордана, любую другую вещь, лишь бы она не раскрывала рта, лишь бы оставила меня одного, но где там, как всегда преданная, беспокоящаяся, инквизиторски настойчивая, она продолжает:

— Создается впечатление, будто их репортер был в курсе всего. Как это им удалось? — спрашивает она меня, полагая, что я, как бог, должен знать все.

— По правде, не знаю, простой профессионализм, хорошее журналистское чутье. В конце концов...— я все понимаю, как бы то ни было понимаю; но чтобы говорить, точнее, чтобы думать, мне нужно совершить над собой безумное усилие, переходя от образов к буквам, из букв требуется выбрать подходящие в соответствии с их начертанием, а уже после составлять буквы в слова, слова с ударением на последнем слоге, на предпоследнем слоге, третьем и четвертом слогах от конца слов, с ассонирующими и диссонирующими ударениями, в слова простые, сложные, изначальные и производные,

создавать словосочетания, и лишь затем возникают фразы, которые надо расположить в абзацы, различного объема, и каждый абзац со своим звучанием, со своей жизненной страстью, каждый разрастается до масштабов вселенной. Мариана, любовь моя, вдохнув, выдохнув, опять вдохнув, повторяю твое имя, сосредоточенно вдумываюсь в него, знаешь, в твоем имени скромная, спокойная, пусть несколько грустная красота, вызывающая у меня чувство ностальгии, красота, в которой перемешались дождь и поцелуи, рассыпавшиеся в беспорядке волосы и еще поцелуи, и ты и я вместе на траве, ты и я, вчера и позавчера, Мариана, и те люди, первые пятеро ворвавшихся, да-да, пять лиц, затянутых нейлоновыми чулками, и тут же перестрелка, и тотчас дом захвачен, завоеван, занят этими людьми, все они молодые, молоденькие, но обуреваемые какой-то яростью, непонятной мне и моим гостям, и чтобы никто из нас не шевельнулся, никто и не пошевельнулся, я ищу тебя взглядом, Мариана,— крики: «Да здравствует боевая группа «Уррака»! Да здравствует Фронт национального освобождения!» — я также ищу взглядом Кету; икра, привезенная из Майами в специальных холодильниках, разбросанная по полу, оставляет грязные пятна на гранитных плитах.

— Политический анализ в «Нью-Йорк таймс» весьма точен...— Марта что-то комментирует своим всегда размереннейшим тоном, после чего начинает громко читать написанное Тэдом Соренсеном [1] в его колонке:

> Наша страна, возможно, имеет огромную и превосходящую мощь, как мы любили говаривать, касаясь Вьетнама. Однако у другой стороны — более могучая сила: национализм поколения, не забывшего унижений, и симпатии большей части мира...

Она продолжает читать статью и одновременно комментировать, ее глуховатый голос вскоре становится невыносимым, я перестаю обращать на нее внимание, и, наклонив голову, отпиваю черного кофе, и опять слышу свист, пронзительный свист пуль, Мариана, пуль, впивающихся в стены, разбивающих бокалы, бутылки, блюда, пепельницы, и вот первая группа ворвавшихся партизан: «базам — нет! Слушай внимательно, Гарридо! Базы вон из нашей страны! Мы никогда не будем пушечным мясом для империализма янки!» — и я, Мариана, я, десятилетний, объятый ужасом в день 22 декабря, накануне рождества 1947 года, вместе с шофером нашей семьи, да, точно, вместе с Бенитесом, мы сидим возле Боведас [2] в машине и слушаем радио на протяжении всего дня, я ем сандвичи с мясом, сандвичи с яйцом и майонезом, приготовленные женой Бенитеса, и ждем, пока мой отец и другие пятьдесят депутатов заседают за закрытой дверью, вернее, за запертой на засов дверью во Дворце правосудия и решают или пытаются решить вопрос, ратифицировать или нет Договор Филоса — Хайнса о целесообразности передать этим янки на десять лет с последующим продлением еще на десятилетие, исключительно на усмотрение Вашингтона, стратегические пункты, вернее, те же самые базы, да, Мариана, среди них и база Рио Ато, которую янки фактически захватили почти перед самой войной благодаря подсказке моего старика-всезнайки моему дружку генералу Стоуну, а также и другие базы конечно,— а что же еще оставалось делать? — эти базы мы согласились передать по Договору 1942 года, поскольку тогда мы находились в состоянии войны с державами «оси» и были союзниками, предполагалось, что аренда носила временный характер, но война-то кончилась, а янки, черт побери, и не подумали возвращать базы, и президент Республики, объятый-ужасом-устрашенный-находящийся-на-грани-помешательства из-за угроз Mr. Secretary of State [3], и депутаты, объятые-ужасом-устрашенные-находящиеся-на-грани-помешательства из-за того, что президент Республики объят-ужасом-устрашен-находится-на-грани-помешательства, по одному сбежались во Дворец, пока не набралось их сорок семь, тогда они дали честное слово: не беспокойтесь, сеньор президент, этот договор не только пройдет, но пройдет при первом же обсуждении,— говорили они ему, однако дело,— карамба! — приняло совсем иной оборот, положение с каждым днем все ухудшалось, пока совсем не стало мрачным, иными словами, могло бы все вот-вот пойти ко дну, тогда министр иностранных дел представил сеньору президенту прошение об отставке, обвинив янки в явном нарушении договорных обязательств, отставка отозвалась в Вашингтоне будто взрыв бомбы, и полился оттуда поток инсинуаций, обвинений, угроз, которые вместо того, чтобы запугать народ, нагнать на него страх и ужас, побудили его выйти на улицы,

[1] Т. Соренсен — бывший советник президента США Дж. Кеннеди, публицист, обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» по внешнеполитическим вопросам.

[2] Древние крепостные стены и бастионы в старой части города Панамы, где находится Дворец правосудия.

[3] Г-на государственного секретаря *(англ.)*.

в ту пору и начались публичные выступления, распространялись листовки Патриотического фронта, проходили демонстрации вроде демонстрации десяти тысяч женщин, которые — при разгоне полицией — теряли туфли, сумочки, золотые браслеты и заколки, разные брошки, а я, Мариана,— ты же меня знаешь,— перепуганный, сидел рядом с Бенитесом и наблюдал за всем, смотрел, как студенты раздавали листовки, расклеивали листовки, привязывали к фонарям веревки, я еще спрашивал их, какого дьявола они привязывают эти веревки, а они — в белых промокших, пропотевших рубашках — хором отвечали мне: «Договор так или иначе будет отвергнут, молокососик, а если его не отвергнут, то все депутаты, начиная с твоего отца, будут вздернуты, как грозди бананов»,— у меня чуть слезы не брызнули из глаз, черт побери, Мариана, слезы; проходили часы, нагнетая тревогу, а депутаты сидели во Дворце взаперти, пока их не призвали голосовать, и результат голосования был единодушным: договор отвергнуть,— и тут все депутаты запели Национальный гимн, уже не опасаясь быть повешенными, они обнимались со всеми, кто в ту полночь проник в Ассамблею с возгласами: «базам — нет! базы — ни за что!» — вопрос положили в архив, вернее — в ящики письменных столов, а еще точнее — так и застрял он в чернильницах, пока в 1955 году янки — а их нет-нет да и разжигает — не объединились с панамскими военными и Ремоном, нашим Великим Чичи, который по-своему истолковал срочный запрос министерства обороны США и передал им Рио Ато просто так, бесплатно, без всяких компенсаций, чтобы эту базу они использовали для проведений маневров и военной подготовки,— в тот раз вопрос был утвержден Ассамблеей в обмен на незначительные внешнеторговые привилегии, пройдет он так же и теперь, как только поставят его на плебисцит, а из этого похищения, из этого треклятого похищения заложников, конечно, ничего не получится: полковник — не ощипанный цыпленок, Мариана, и, разумеется, ни партизаны, ни кто-нибудь другой не заставят его изменить свое мнение, а он, вполне понятно, согласится с предложением об односторонней или совместной обороне Канала, с ним в этом я полностью согласен, так как, черт побери, нужно же как-то защищаться от коммунизма, а у того в руках уже Куба, хватит, баланс военной мощи, дьявольщина, уже нарушается, и хотя бы на этот раз поверь мне, что я это так и сказал полковнику, в таких же выражениях, там, у него, когда мы с ним проглотили пару стопок по случаю моего назначения представителем на переговорах с американцами, и он еще отмечал ловкость, познания и опыт — know-how — моего отца и высказывал пожелания, что бы я не отходил от отцовской линии, а тем временем обнимал меня, доверительно хлопал по спине, рассыпая остроты за остротами, и нужно признаться, Мариана, эта хитрая бестия, этот deep-down — весьма остроумен. Я взглянул на Марту, она уже прочла статью Соренсена и приводит в порядок бумаги и газеты, разбросанные повсюду; перехватив мой взгляд, она смотрит на меня своими голубыми глазками, высокая, худущая, белолицая, и всего этого у нее чересчур, чтобы хоть в какой-то мере привлекать мужчину, а к тому же ее манера держаться, подчеркивая свою девственность, будто золотое ожерелье носит на лебединой шее, не то как Глория Вандербильт красуется в драгоценностях от ювелирной фирмы Картье,— ее тщеславие, пожалуй, граничит с эксгибиционизмом, хотя скорее это эксгибиционизм наоборот, то есть эксгибиционизм улитки, утверждающей, будто бы секс создан for the birds and not even for the birds [1] и что ее первый и также последний поцелуй остались в воздухе либо забыты еще в серьезном школьном ранце.

— Уже пора, Тито,— слышу я голос Гильермо Феррари через открытую дверь, они входят вместе — голос и его обладатель. Гильермо присаживается возле меня и быстро прикуривает, даже не предложив мне сигареты.— Я названиваю тебе все утро, а Марта говорит, что тебя, разбойника, нет, так что решил приехать сам и посмотреть, что же с тобой происходит.

— А что со мной может произойти! Абсолютно ничего, у меня всего лишь не было желания кого-либо видеть, я сказал об этом Марте, и она выполняла мои указания.

— Так вот что! А она, сонная муха, чудеснейшим образом выполняла твои указания.

— Ну, ладно, что за срочное дело привело тебя? — спрашиваю я, поспешив сменить тему разговора.

— Это у меня-то срочное! Какая хреновина! Как раз тебе я должен так сказать! Сейчас, по крайней мере, весь город может спать спокойно, после того как выпроводили этих сукиных сынов. В субботу и в воскресенье я пытался подъехать к твоему дому, но куда там, никого и близко не подпускали.

[1] Для птиц и не только для птиц *(англ.)*.

— Ах да...— отвечаю ему чуть не в крайнем отчаянии.

— Как это «ах да»? Сейчас, понятно, ты обрел хладнокровие, самоуверенность.. Ну а партизаны?

— Кто знает... пойди и спроси о них в G-2[1], я только знаю, что они бахвалились, будто они — истинные патриоты. Разве ты не читал их заявление?

— Читал ли я их сообщение? Хе! Сукины дети ведь потребовали, чтобы их заявление транслировали по радио, по телевидению, чтобы печатали, пели, выплясывали, как угодно передавали, пока они держали вас заложниками. Хочешь, я продекламирую его на память, как стихи?

— Спасибо, не надо, не напрягайся.

— Какое тут напряжение, дружище, это заявление я сегодня декламировал министру внутренних дел: «Сегодня лишь два слова вбирают в себя все значение долголетней борьбы панамского народа против иностранных вооруженных сил, окопавшихся в Зоне Канала: «Базам — нет!»... этот клич слышен...»

— Хватит же,— прерываю я.— Что было сегодня с утра?

— Ничего особенного. Совещание со всеми владельцами радиостанций, телеканалов, газет и радиогазет и так далее и так далее.

— И?

— То, что и предполагалось: с сегодняшнего дня передаются только музычка да всякие дохлые программки, строжайшим образом запрещено комментировать переговоры, вопросы национальной экономики, положение студентов, государственные проекты, словом, ты знаешь — какое паскудство! — что это значит.

— Намордник, по крайней мере, на какое-то время.

— Браво! Браво! Ты угадал, братец, один ноль в твою пользу. Братец Кролик тебе может позавидовать.

— Слишком поздно ты признаешь это, старина.

— В подхалимах никогда не ходил, хрен с ними, и этот единственный отзыв о тебе ты можешь рассматривать так же, как если бы я сказал, что ты Великое Дерьмо.

— Послушай, хоть немного уважения к Марте.

— Ну что? Пусть убирается туда, где ей положено быть! А, Марточка? Вы уберетесь отсюда и оставите своего шефа и меня один на один? Валяйте быстренько, а то я чертовски остер на язык, деточка. Девственница и великомученица, не так ли, моя куколка?

Марта, ничуть не смутившись, точнее, не подав виду, что речь идет о ней, продолжала ходить по кабинету, собирая бумаги, газеты, документы и тщательно приводя их в порядок на столе: лишь после того как, по ее мнению, работа была завершена, она простилась с Гарридо, включила люстру и удалилась... А я, Мариана, признаюсь тебе, испытал огромное облегчение, будто мне удалось снять тесный ботинок; уже спокойнее, без опасения, что Марта может прочесть мои мысли, я принимаюсь разглядывать Феррари: да, уродец он отменный, безобразнейший, один нос чего стоит, длинный, толстый, красный, с крупными порами.

— Слушай, старина, что касается нападения...— решил я прямо заговорить на эту тему,— что касается нападения, то это весьма банальная история, не такая уж сенсационная, как люди думают. Иными словами, нет ничего интересного для твоей утренней программы: шестьдесят часов просидеть в углу столовой, умирая от страха, питаясь холодными объедками после приема, спать на том же самом месте, вставать только для того, чтобы сходить в туалет, откуда несет вонью, и мочиться там под прицелом партизанки. Это все...

— Брось болтать! — прервал он меня.— Не разыгрывай из себя супермена, потому как, если кто и сдрейфил, так это ты, паршивец,— твой дом они превратили в свинарник, я сам видел вчера в полдень, когда все убрались в аэропорт, в Токумен. А где убитые?

— Ничего не знаю, мы были в отдельных комнатах, и я что-то заподозрил, лишь когда увидел «скорую помощь».

— В вопросе о базах будут изменения?

— Я же сказал тебе, ничего не знаю, черт побери, абсолютно ничего.

— Ясно, значит, уже готов для всех ответ.

— Если тебе так будет угодно...

---

[1] Органы контрразведки *(англ.)*.

— Сынок своего отца, ничего не скажешь, несчастный. Вероятно, тебе уже звонил министр, не так ли? Оттуда пошли идиотские россказни, ведь министр подал тебе мысль?

— Ну-ну, продолжай...

— Эх ты, обормотище! А я-то по радио развернул кампанию за то, чтобы правительство ослабило подпругу и тебя бы не убили. И именно благодаря мне, слушай внимательно, благодаря мне были переданы три миллиона, благодаря мне, педераст ты аховый, остался ты живехонек, чтоб сейчас рассказывать сказки.

— Я тебе благодарен, старина, добро оплачивается добром. А сейчас уходи побыстрее, ибо мы под наблюдением.

— Да не может быть!

— Как ты слышал. От тех из G-2 не улизнет ни одна...— Я вижу, он пересекает порог, столь же быстро, как и пришел, ни с кем не попрощавшись; до меня доносятся слова Марты, очень любезно сказавшей ему «до скорого, сеньор Феррари»; мне думается, это самое неприятное из всего, что ему хотелось бы услышать в нынешнее утро.

Гарридо опять остается один. Возбужденный, он стремительно встает, шагает по кабинету, лишь на секунду приостанавливаясь, чтобы погасить люстру, включенную секретаршей; в прежнем полумраке он подходит к письменному столу, садится и просматривает утреннюю корреспонденцию; два контракта, счета к оплате, руководство фирмы извещает о годовом собрании в отеле «Ла Сиеста». Ежемесячная публикация крупнейшего в столице клуба «Унион» с хорошо знакомой фотографией из памятного альбома, и на этом снимке я вижу всех, любовь моя, твоих кузенов и моих кузенов и кузенов твоих кузенов и моих, улыбающихся после осушенных бокалов, женщины в традиционных праздничных юбках польерас, мужчины в крестьянской одежде, похоже, это был один из карнавальных воскресных вечеров много лет назад, когда там, в старом клубе, устраивался парад национальных костюмов и все светское общество, все, кто принадлежал к нему, медленно, размеренно входили в зал и становились в большой круг, а модницы в польерас шествовали, придерживая широкие юбки, огромные, словно опущенные раскрытые веера из голландского полотна цвета копры или белые с кружевами и вышивкой; тут были все, Мариана,— ты помнишь? — ты же хорошо всех их знала и называла с ходу: эта красная накидка наверняка унаследована от прабабушки, та — расшита голубым или желтым, та — вышита крестом с ажурной мережкой, те — с мережками в виде паучков, лучиков, цветочков, листочков... здесь ты сделала большую паузу и выдох, и если тебя кто-нибудь просил, ты продолжала: вышивка с люрексом на лицо, вышивка с люрексом наизнанку, вышивка с люрексом в мережке, но ты и я прекрасно знали, что это была шутливая игра, чтобы как-то убить время и подчеркнуть тупость дефилирующих матрон... зажмурив глаза, я провожу пальцами по лицу, нос немного подкачал, скулы, губы, боль как будто переместилась только в виски... ты и я, любовь моя, оба в нашей столице на каникулах, ты и я, оба еще подростки, свесившись через балюстраду второго этажа старого клуба, внимательно следим за торжественным выходом масок в ту августовскую ночь первого карнавала... я вытираю пот со лба, фотографы нацеливаются на американского посла Вильсона, когда он пытается танцевать панамский народный танец тамборито, а музыка играет вовсю, да, можно сказать вовсю — а f-u-l-l, и Лолита Кесада, стоя неподвижно в сторонке, смотрит, как ее ансамбль прихлопывает в ладоши, пританцовывает и поет: панамец, панамец, па-на-амец /жизнь моя/, как хочу, чтобы ты поскорее бы увел меня /под веселую дробь барабана/ — и ты, любимая, и Кета тоже, веснушчатая Кета, рыжая Кета, стали танцевать с Вильсоном, it's quite simple, Mr. Ambassador, just follow us, quite simple...[1] а он беспомощно, безуспешно пытается подражать вам, и вот наступил момент соло барабана, трижды: такатакатантан — такатакатантан — таканакатантан — прозвучал он захватывающе, завораживающе, по-колдовски, и все, включая Вильсона, как в бреду, закружились в кумбии[2] вокруг бассейна, у каждого в руке по зажженной свече, и мигающие огоньки отражались в воде, бликами скользили по стволам пальм в саду, ритмичные порывы бриза заставляли трепетать листву, раскачивали манго, лимоны и апельсины, и величественная, застывшая на месте, проникающая всюду луна пожирала тени наших тел, вернее, разжигала в этих самых телах всепожирающую страсть, а ты и я, еще подростки, сидим на жестких деревянных стульях, сто или даже тысячу раз крашенных и перекрашенных в белый или небесно-голубой

[1] Это очень просто, господин посол, только повторяйте за нами, очень просто... *(англ.)*.

[2] Народный танец.

цвет, и там же рядом с нами тетушки-девы, бабушки-вдовы и матери-разведенки, одним словом, все далекие от возбуждения либо эротизма, с громадными веерами в руках и лицами, похожими, несмотря на избыток косметики, на ореховую скорлупу, перебрасывались колкими замечаниями, скажем: «ты заметила, Хулиэта, что Грасиэле чего-то еще не хватает, кроме вставных зубов?» — однако сама Хулиэта не слушала, да, по правде говоря, и не пыталась слушать донью Берту, поскольку углубилась в подсчеты карат рубинов в сережках Марселы, а там, в другом углу, барышня Гильермина, которую кое-кто считал не от мира сего, а другие просто рехнувшейся, одетая, точно монахиня-кармелитка, непрерывно шевелила губами, как бы творя молитву, но мы-то с тобой прекрасно знали, что тот, кто принимал это за молитву, глубоко ошибался: Гильермина пересчитывала разные драгоценности, красовавшиеся на дамах, разряженных в наши национальные костюмы: золотые цепочки, цепи, аппликации, бриллианты, четки, гребни, сережки, розочки, филигранные пуговицы, жемчужные подвески, запонки, кольца, пряжки, мониста и пятнадцать пар подвесок — «и все из золота и жемчуга,— повторяла она,— из золота и жемчуга»,— и снова принималась пересчитывать, пока королева карнавала резвилась под музыку, танцевала, выделывала всяческие антраша, вспрыгивала на стулья и столы, и снова спрыгивала, опять кружась в танце без передышки; а миссис Вильсон около половины одиннадцатого перестала отплясывать кумбию, погасила свечку, вышла из круга, сделала знак мужу, и оба направились к нам. Кета и я еще раз услышали: thank you, both, for a lovely party, I shall give you a ring tomorrow morning [1],— спустя какие-то минуты партизаны ворвались в дом, будто дикие звери, и вот пули впиваются в стены, отлетая рикошетом, разбивают бокалы, бутылки пепельницы, министр Рамирес и Хуан Альберто Ривера, как и многие другие, бегут в сад, тщетно пытаясь перепрыгнуть через ограду (они же не были акробатами) или скрыться за деревьями... Мариана-Марина-Мария-любовь-моя, мало кто знает, лучше сказать никто, за исключением проклятых партизан... вновь повторяю твое имя... никто не знал, что наш дом — настоящая мышеловка, да, настоящая западня для мышей и крыс, в которую войти и выйти можно лишь через парадный подъезд, через черный вход и через гараж, а как раз эти проходы были блокированы ими прежде всего; когда все ходы и выходы были взяты под контроль, в доме появились еще новые партизаны — семь человек, у них с собой были полиэтиленовые пакеты с едой, термосы с водой, сигареты и бог весть что еще; и под дулом автоматов они по одному отвели нас в зал, всех нас, мужчин и женщин, ансамбль народной музыки, и прислугу, и официантов — всех усадили в зале на ковер восточной работы, который Кета так выгодно купила в Свободной зоне, а я взглядом искал тебя, тебя и мою жену, в этот миг поспешно, не знаю уж только как, заглатывавшую не только бриллиант-солитер, а может быть, и серьги, и думаю, что все это даже без отрыжки, тут еще чертовка Марука Гонсалес бьется в приступе истерики, и вдруг возглас: «Эй, вы, предатели, торговцы Родиной, встать к стене, руки вверх! — и далее: — Базам — нет! Слышишь, Гарридо? Этому не бывать!» — и все мы вместе с гостями неподвижно стояли перед белой стенкой в течение — быть может, нам это показалось? — всей ночи, вернее, тысячи и одной ночи, сердце подкатывалось к горлу, когда партизаны с явным наслаждением обыскивали нас, ощупывая и будто раздевая донага, несчастный Тоти Хименес со страху даже наложил в штаны. И только ты, Мариана, казалась равнодушной ко всему, что происходило, похоже, время для тебя остановилось, и творившееся вокруг было единственным, чем ты жила, и это похищение было даже необходимостью, своеобразной животворящей силой, которая вознесет тебя на самый верх или приведет в то особое состояние, когда ты сможешь сменить свою собственную кожу, как сказал бы твой друг Карлос Фуэнтес [2], на другую, более чувствительную. Новая кожа даст тебе возможность осязать тот нереальный потусторонний мир за пределами окружающей тебя действительности, которая, чего я пока не замечал, начинала вызывать у тебя отвращение, и все это я смог осознать только тогда, когда стоял там с поднятыми руками, черт побери, а дуло автомата — у моих ребер, и слушал твой размеренный голос, совершенно чуждый этой омерзительной категоричности партизан; голос, который в конце концов был я-ты-он-она-мы-вы-они-все — одновременно, все вместе, соединенные одной пуповиной с миром, он пробуждал желание слиться в одну многолюдную бесконечную мешанину, которая сохраняла очень малую, а вернее, не сохраняла никакой связи с ограниченным миром

[1] Спасибо вам обоим за очаровательный вечер, я позвоню вам завтра утром *(англ.)*.
[2] Один из романов современного мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса называется «Смена кожи».

твоей бабушки и твоих незамужних тетушек, с миром всех женщин или почти всех тех, которые подобно Кете носят темные очки и напичканы изощренной культурой, заимствованной из модных журналов, и именно в эту пору я понял, что́ ты хотела сказать мне всем этим: не усложняй ничего, пусть все плывет по воле волн,— и я, не знаю почему, вдруг я вспомнил тебя, лежащую на пляже у Форта Амадор в один из тех летних месяцев, когда нам с тобой было по восемнадцать — двадцать, а рядом с тобой и постоянно вместе с тобой в тот период твоей жизни был некий высокий стройный блондин, ни дать ни взять — настоящий викинг, который приехал вместе с тобой из Соединенных Штатов и о котором поговаривали, что он, дескать, твой любовник, хотя никто не мог подтвердить этого — к тому времени твоя бабушка Лусия, та самая, что выписывала из-за границы фигурки для рождественских яслей Христовых, и та, у которой были древние-древние часы, швейные машинки с ручным и ножным приводом и различные музыкальные шкатулки и шкатулочки, к тому времени она уже умерла, и твоя семья — то есть две незамужние тетушки, которые стали еще молчаливее и которые выехали из нашего квартала, так же как и ты,— не попрощавшись ни с кем, поселилась в доме с чердаками и чердачками, с дюжиной темных каморок, куда один раз в день заглядывали лишь служанки, да и то только для того, чтобы стереть пыль, а ты, Мариана, обитала там вместе с этим и над всем этим — бесстрастная, каждое мгновение будто подчеркивая свое неописуемое, безбрежное одиночество.

Приближался полдень. Каких-то пять лет назад для Гарридо часы, время, возможно, не имели столь уж большого значения; теперь привычки, ритм жизни были тесно связаны со временем. Правда, Тито с некоторым усилием признает, что так лучше, и с легкой улыбкой на лице подавляет еще сохраняющийся внутренний импульс восстановить былые права, утраченные после женитьбы. Так-то лучше. Лучше. Не спеша закурив сигарету, он вызывает Марту.

— Да, дон Тито?

— Я выйду позавтракать, не заказывайте для меня в «Сарти».

— Спасибо, что предупредили.

Отдав распоряжение, он задумчиво покачался на кресле, взглянул на шторы. Нужно, конечно, открыть окна. Нервное напряжение спало, и, похоже, все становится на свои места. Дождь перестал, и небо, очистившись от туч, заголубело,— пожалуй, лучше всего сейчас прогуляться под выглянувшим солнцем. И опять в памяти всплывает Кета — ее холодное равнодушие, ее деланная улыбка, ее объятия, лишенные чувства, но ведь все-таки что-то должно оставаться в ее молодом теле, что могло бы еще привлекать? Встав, он всматривается в свое отражение в оконном стекле. Идиот, пора отрешиться от любого проявления идеализма. Равнодушные объятия Кеты — это именно то, в чем он нуждается, то, что придает ему силы, что возвращает устойчивость, которую он терял при встречах с Марианой, когда его плоть стремилась к интимности, к стихийному взрыву, искала ласки на траве... Он следит за медленно растворяющимся в воздухе дымком — да, теперь ничего больше не будет, пора кончать игру, нет нужды называть это имя, хватит, хватит, говорю; он снова отирает платком лоб — да пойми же ты, женщина, пойми же,— он с силой прижимает лоб к стеклу,— я здесь весь твой, как чужестранец, уже не узнающий собственный дом,— он беспокойно опускает голову,— вот я, покинутый, во власти охвативших меня мрачных сил,— он ослабляет узел галстука,— больше не могу, помоги мне,— он расстегивает пиджак,— твое имя, я повторяю его еще раз, скажи же, что ты здесь, скажи же, что ты со мной, любовь моя, что это тебя чувствую я, ощущаю тебя, в моей памяти твои горячие щеки, твои полные губы, твой округлый подбородок,— Тито Гарридо, стыдясь перед самим собой, уже не может сдержать слезы, навертывающиеся под крепко сжатыми веками. Да, давненько, не правда ли, давненько не плакал? Сколько же лет? «Не плачь, Тито, не мужское это дело»,— а какое значение теперь имеют эти слова, сказанные когда-то матерью, тогда были счастливые дни, у малыша появлялись слезы, если ему говорили «да» и если ему говорили «нет», а кроме того, малыш втайне испытывал какое-то наслаждение, чуть ли не болезненную страсть, если на губы попадали слезы с солоноватым привкусом, чудесным привкусом детства, Мариана, той поры, когда он играл с латунной автомашиной, или с электрической железной дорогой, или оловянными солдатиками,— еще раз достаю твою фотографию, как заколдованный рассматриваю тебя, и тут же стараюсь перевести взгляд на улицу, где сотни автомобилей движутся по виа Эспанья, слышу звук клаксонов, тормозов, снова клаксонов, долгий пронзительный скрежет, проходят и останавливаются автобусы, за-

бирая тех, кто поспешно покидает конторы, а я продолжаю думать о тебе, хотя и отдаю себе отчет в том, что, может быть, бесполезны все мои усилия восстановить собственное равновесие, сохраняя осмотрительность, чувство меры, чего ты, любовь моя, так блестяще меня лишила; я думаю о детях, думаю о том, что ты и я, да и все вокруг многого избежали бы, если бы каждый обуздал свое безрассудство, если бы каждый плелся по своей избитой дороге, привязанный к своей серой судьбе, к своей жизни вполсилы, к набившей оскомину еде, к постели, где два тела абсолютно безразличны к лихорадочному, пьянящему сумасбродному чувству, и все потому, что ты стала моим проклятием, любовь моя, да, я говорю тебе это без всякого упрека, нет, лгу, конечно, это повторяю тебе я, любовь моя, полный горечи, на какие-то мгновения замерев, вдыхая запах ладана, который вот уже сутки напролет преследует меня, и признаю, что все бесполезно, я не смогу убежать от настоящего без некоторой доли мелодрамы, а потому лучше спокойно докурить сигарету так, как делаю сейчас, усевшись в кожаное кресло, пора уже думать о завтраке, который я закажу, прибыв в «Сарти», на десерт надо взять «пирожное королевы», мое любимое сладкое блюдо, правда давно приевшееся, но — шут с ним! — оно мне нравится, и я буду его есть, пусть даже раскаюсь из-за тяжести в желудке, которую потом ощущаешь, я снова отираю пот, выступивший на лбу, а ведь в комнате совсем не жарко, я в этом убеждаюсь, посмотрев на окна, которые закрыты и запотели, наблюдаю, как ниточка воды тянется по запотевшему стеклу — какая влажность! — кладу сигарету на край пепельницы, пора выйти на улицу... Не спрашивай меня почему, но внезапно — черт возьми! — совершенно неожиданно для самого себя я вспоминаю, что мне тридцать восемь лет, и это уже никого, никого, никого, кроме мамы, не волнует, может быть, еще кроме Кеты, потому как завтра или послезавтра я войду в дрейф, а потом и на дно, а она какое-то время будет еще порхать птичкой, но я уже не смогу удовлетворять ее, я ощущаю свои еще мускулистые руки, сильную грудь, ровный живот, почти без жировых накоплений, без «клетчатки», как бы сказала моя жена, хотя и покрытый зарослями волос. Помнишь, Мариана, как мое тело слилось с твоим в объятиях, в ту первую ночь августа, обнаженные, на траве, когда я раскрывал твой мир, а ты — мой, оба страстно искали наши тайны в смуглой коже, в твоей — влажной и нежной, моей — гладкой и разгоряченной, при лунном свете я ищу тепло твоих вытянутых бедер, при лунном свете ласкаю губами острые пики твоих грудей.

— Дон Тито, я ухожу завтракать,— слышу я голос Марты, прерывающий мои воспоминания.

— Да-да, хорошо.

— Я вернусь без четверти два.

— Хорошо, Марта, приятного аппетита.

— Спасибо, вам желаю того же.

Я смотрю на часы — уже минуло двенадцать, пора наконец встать и тоже пойти позавтракать. Гарридо, не торопясь, поднимается с кресла, застегивает пуговицы пиджака, поправляет узел темно-синего с красными горошинами галстука, подаренного Кетой год назад в день его рождения, приглаживает волосы, не так давно начавшие редеть со лба и на висках; причесываясь, он еще раз убеждается, что любое, самое незначительное движение стоит ему сейчас изрядных усилий. Затем он подходит к письменному столу, берет кожаную папку, наполняет ее документами, хотя прекрасно знает, что ничего не будет читать во время завтрака; быстро выйдя из кабинета, он пересекает приемную — царство Марты, нервно указательным пальцем нажимает на кнопку лифта, обеспокоенный, постоянно обеспокоенный тем, чтобы не встретить кого-нибудь из многих, работающих в соседних многочисленных конторах. И как назло происходит то, чего он так боялся,— лицом к лицу сталкивается с молодым, низкорослым, очень бледным японцем, одетым в безукоризненный кремовый шерстяной костюм; японец почтительно кланяется, прежде чем к нему обратиться:

— Мое почтение, друг Гарридо.

— Мое почтение, Танака,— отвечаю ему, еще не оправившись от некоторого замешательства.

— Могу ли я спросить, как себя чувствуют ваша высокочтимая супруга и ваши дети? — Он произносит слова, как всегда, очень четко, отчеканивая каждый слог.

— Спасибо, все чувствуют себя хорошо.

— А вы?

— Как видите, очень хорошо, спасибо.— Я смотрю на него с таким выражением,

словно хочу выпалить: «ну, говори же, наконец, я знаю, что тебе неймется расспросить меня о перестрелке»,— но, разумеется, ничего не высказываю, и это дает ему основание обратиться снова:

— Ходят слухи, друг Гарридо...

— Мне они неизвестны...— прерываю его — черт побери!— как настоящий азиат, он сейчас попытается взять меня на абордаж.

— ...что правительство не намерено поставить на плебисцит вопрос о базах.

— Сразу скажу вам, Танака, этот слух абсурден!— Заметив мое раздражение, он еще раз отвешивает поклон, а когда мы подходим к лифту, исключительно любезно уступает мне дорогу, чтобы я вошел первым, однако в лифте он опять принимается атаковать меня:

— Вы чересчур категоричны, друг,— говорит он с миной подчеркнутого превосходства, что меня особенно задевает.— Весьма опасно принимать столь жесткую позицию... особенно в подобных случаях.

— Таковы уж мы. Чего же вы хотите? — отвечаю я, не скрывая своего желания отделаться от разговора на эту тему раз и навсегда.— Вы же меня знаете, знаете и панамцев и должны бы уже привыкнуть...

— И все же, независимо от этого, подобные действия рискованны, пагубны,— настаивает он с тщеславным видом, с надменностью такого вида: я-намного-важнее-вас-зарвавшийся-индеец. Однако я не позволяю себя смутить и, вспомнив нелепые выходки Феррари, даже сам не зная почему, отвечаю японцу:

— Может быть, но тем не менее из-за этого они не теряют своего значения.— Я откланиваюсь и на этот раз предлагаю ему первым выйти из лифта, спустившегося на нижний этаж; в холле прощаюсь с ним, при рукопожатии, ощутив его длиннющие, похожие на зубочистки, влажные от пота пальцы, вяло пожимающие мою руку, вижу его полиловевшие и, кажется, даже вздрагивающие, видимо от злости, конечно от подлинной злости, губы — он открывает рот в последний раз, чтобы с едва скрываемой гордостью заявить мне: его бюро переедет в новое здание, да-да, в то самое, которое построят неподалеку от «Токийского банка»,— меня это, однако, уж совсем не волнует, я только думаю, Мариана, что снаружи царят удушающая жара и ослепляющее солнце, а потому спешу надеть темные очки, с ними чувствуешь себя более уверенным на улице, на моих улицах, любовь моя, наших улицах, по которым наше поколение отмечало изменение ритма собственной жизни,— эти улицы на наших глазах из узких немощеных проулков превратились в крупные транспортные артерии, где в полдень фланируют тысячи и тысячи горожан, местных и иностранных коммерсантов, снующих из подъезда в подъезд небоскребов «Фёрст нэйшнл сити бэнк», «Чейз Манхэттен бэнк», «Банку ду Бразил», «Бэнк оф Бостон», не то «Банко де Лондрес», тысячи и тысячи людей, живущих в этом квартале, тех, кто, наскоро прожевав сандвич в кафе «Макдональд», покупает белье для своих любимых во французских модных магазинчиках, а драгоценности для жен в ювелирном магазине «Фастлих», поздравительные открытки для своих детей в «Хэллмарк», затем проводит ночи на шоу в «Плейбой клаб» или «У Максима», с тем чтобы после заснуть в отеле «Панама» или «Континенталь», а на следующее утро подтвердить заказ на билеты в авиакомпаниях «Браниф» или «Пан-Америкен»,— и которые почти ничего или совсем ничего не знают о том, что, когда ты, Мариана, и я были детьми, мы играли здесь, на пустырях или близ роскошных вилл вроде «Корал Гэйблс», в один прекрасный день проданных, снесенных или переоборудованных, например, в «Коммерческий Антиокийский банк», а на месте садов поднялись здания в десять, двадцать или тридцать этажей, возникли автостоянки при этих зданиях,— вот так исчезли деревья, и все преобразилось, стало каким-то высохшим, скучным или, наоборот, более красивым — не нам судить об этом, любовь моя, лучше спросим у иностранцев, которые облагодетельствовали нас своими долларами и которые здесь не испытывают ни капельки тоски по нашему прошлому, по ушедшему, которые думают,— и, может быть, они в этом правы,— что Панама — это процветающий город, город на подъеме, международный финансовый центр, в котором ежедневно представляют кредиты на сотни миллиардов, а потому нечего церемониться с прошлым, со стариной, мир воспоминаний — дьявольщина! —существует лишь для олухов, для лунатиков, артистов, старух, для ветеранов войны с тропическими эпидемиями и для героев теленовелл, находящих вдохновение в золотой-эпохе-которой-и-не-было или которая была, но только в их болезненном воображении, и никогда не занимавшихся каким-либо порядочным делом,— но в честь какого святого я закатил эту речь? — ведь я

тоже принадлежу к тем облагодетельствованным, Мариана, конечно, к тем, кто ныне представляет собой креольскую гордость и, так сказать, паритет между бальбоа[1] и долларом, а также прославленные туристскими проспектами ослепительные зори тропиков,— я уже на виа Эспанья, мимо проносятся автомобили — джж!.. — «Гарридо, к стенке, руки вверх!» — приостанавливаются автобусы, и, поверь мне, я иду как-то неуверенно в толпе, должно быть потому, что мало хожу пешком, отвык видеть рядом с собой столько людей, людей — черт побери!— которых не знаю: мелких банковских клерков, часовщиков, продавщиц, уборщиц, портье, иностранных управляющих,— я смотрю на них, они смотрят на меня, медленно продвигаюсь вперед, меня задевают, толкают; «простите»,— скажет кто-нибудь из них и пройдет дальше, вероятно, какой-то воспитанный кассир или кто-то из служащих французского магазинчика, я иду своей дорогой, а они обгоняют, переходят улицу, останавливаются, поднимаются и спускаются, входят и выходят из автобусов и такси, а жара, Мариана-любовь-моя-Мариана-Марилюбовь, удушающая, я ускоряю шаг, пытаюсь как можно быстрее попасть в отель «Континенталь» и укрыться там, хотя бы на время, от этого раздражающего солнца, от этого зноя.

— Как делишки, Тито?— кто-то хлопает меня по плечу и следует мимо.

— Так делишки...— едва успеваю ответить, но уже не обращаю на него внимания,— слава богу, наконец дошел и, остановившись, оглядываю, как обормот, магазинные витрины нижнего этажа отеля, зачем-то перечитываю надпись «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА — NO PARKING» и вспоминаю, что эти слова да еще слово «STOP» были первыми, выученными мною по-английски до того, как, пятнадцатилетнего, меня послали в колледж, где учились Джо и Джек Кеннеди, и Джон Томпсон, и Шрайбер по кличке Мясник, и все братья и друзья девиц, учившихся в женском колледже мисс Портер, где учились будущие выпускники американских университетов: Йельского, Гарвардского, Принстонского, но я-то не пошел ни в Йельский, ни в Гарвардский, а попал в университет Джона Гопкинса в Балтимору — хотя разницы нет; в витрине я вижу канделябры, подносы, чайные сервизы, самовары, кувшины для воды, солонки и перечницы, блюда и столовые приборы, серебряных петухов с распущенными крыльями, стопки из серебра высокой пробы,— и представлялась мне Кета, когда в большой комнате она с помощью своей матери, своих тетушек и двоюродных сестер расставляла свадебные подношения; счастливая, рыжая, она подошла, обняла меня: «смотри, Тито, сколько красивых подарков мы получили»,— сказала она мне, а я в моей белой гуаябере, загоревший под мартовским солнцем, улыбаясь, заметил про себя, что моя теща не только весьма властна, любит командовать, но и тщеславна, и что Кета, по всей видимости, будет такой же; по просьбе родственниц Кеты я приготовил им коктейли, не забывая сохранять должную дистанцию, чтобы они в доверительном тоне не стали бы расспрашивать меня, как это у них бывает, об интимных подробностях медового месяца, ей-богу, мне стоило большого труда сдержаться, чтобы не послать их самым любезным образом к такой-то матери; когда, похоже, эта опасность миновала, я под руку с Кетой пошел осматривать свадебные подарки, она упоенно болтала, показывая, что́ ей больше всего нравится; воспользовавшись тем, что служанка, разносившая вкусные пирожки с мясом, отошла, я молниеносно влепил Кете поцелуй и не мог не обратить внимания на ее веснушчатую розоватую кожу: такие же веснушки, очевидно, у нее рассыпаны по всему телу,— она взглянула на меня как-то рассеянно, а быть может, в тот момент и влюбленно, и мы, обнявшись, вернулись в зал, из зала перешли на террасу, переполненную друзьями и родственниками и родственниками друзей, где я увидел отца Кеты— он только что приехал,— толстый, степенный креол в кругу своих близких, исключая моих родителей, которые на этот раз были вынуждены принять приглашение; какой-то крохотный человек вышел вперед и произнес в нашу честь цветистую речь, тут мне стало ясно, черт подери,— именно такой стиль по вкусу этой публике; как обнимали человечка, как ему аплодировали, как восторженно женщины кричали ему, что тост в день рождения Хосе должен произнести только он, всеобщий любимец; я безуспешно пытался слиться с этой публикой, которую, в общем-то, знал весьма хорошо, но с которой до этого не имел случая общаться, но с завтрашнего дня этих людей придется часто видеть в моем доме; от меня не ускользнуло, что карапуз после своей речи начал пить как безумный, а все вокруг наперебой предлагали ему стопку, еще стопку, еще стопку, оказывается, для того, чтобы он поделился с гостями новыми скабрезными анекдотами, «с перчиком», как сказала моя теща, такую

[1] Панамская денежная единица, один бальбоа равен одному доллару.

просьбу подхватили и подруги моей тещи, сморщенные, поблекшие старые девы; а я, Мариана, ты же меня знаешь, молча, с бокалом в руке и с сигарой во рту, выжидал: быть может, все же наступит тот час, когда прозвучат слова «спокойной ночи» и я смогу затеряться во тьме на пороге моей предстоящей жизни: официанты по-прежнему неслышно скользят вокруг,— Mrs. Wilson and myself are just delighted to be with you tonight...[1]— официанты, предлагающие на вытянутой руке подносы с напитками, будто неутомимы, сохраняют удивительно невозмутимое выражение лиц — my wife and myself are equally delighted to have you over...[2]— приглашенные все прибывали, подходили, брали бокалы, меняли осушенный на полный,— а в тот сентябрьский вечер фоторепортер из газеты «Ла Эстрелья» наводил объектив на Билла Ариаса, высокого атлета с улыбкой Роберта Тэйлора, Билл неловко держал на руках Рудольфо, нашего второго новорожденного, которого мы днем крестили в храме Сердца Марии; «дон Билл, посмотрите в объектив, пожалуйста, чуть-чуть приподнимите ребенка»; крестному отцу, подтянувшемуся и выпятившему грудь,— «у него совсем-совсем нет живота,— судачили женщины,— и все потому, что он в клубе делает приседания — sit-ups, да-да»,— Берта, медицинская сестра, показывала, как он должен держать ребенка; Кета то и дело входила в зал и снова уходила на кухню, раздавая распоряжения, тогда как теща печатными буквами записывала в белую книжечку преподносимые подарки: серебряные ложечки, стаканчики, тарелочки, броши, копилки в виде поросенка, брелки, гребни и щеточки, отделанные серебром, и почти на каждом подарке выгравирована монограмма с пожеланием счастья, а мой отец и мой тесть, два старых толстяка, гордясь продолжением своего рода во внуках, произносили тост за тостом под французское вино; Робертито не отходил от няньки: «не отпускай руки, а то потеряешься среди гостей»,— фоторепортер позвал нас: «дон Тито, донья Кета, сейчас я сфотографирую всех четверых на память»,— это как раз тот снимок, Мариана, на который все смотрят с восхищением, когда бывают у нас дома, мы его повесили в гостиной, рядом с фотографией дедушки Тито.

Оторвавшись от витрины и от воспоминаний, Гарридо пускается в путь. Коридоры отеля, царящий тут сумрак приносят облегчение. Он снимает темные очки и осторожно укладывает их в футляр. Не поднимая головы, он идет и видит только туфли встречных — все эти туфли наверняка принадлежат туристам, которые к этому часу уже успели посетить Канал, повидали достопримечательности столицы: «Золотой алтарь», Национальный театр, Боведас, Музей религиозного искусства, руины Старой Панамы — и сейчас возвращаются, уставшие, обедать или еще купить вышитые нашими мастерицами скатерти, сумки, коврики, а также безделушки из дерева, украшения из яшмы, а то фотоаппараты, мини-компьютеры, наручные часы, китайские ширмы, лакированные кувшины — одним словом, все то, что можно приобрести в этой стране за небольшую цену. В холле отеля много людей. Несколько здешних служащих в красной униформе с золотыми галунами вносят и выносят чемоданы тех, кто приехал и кто уезжает. Гарридо, не задерживаясь, направляется к журнальному киоску купить последние номера «Тайм», «Ньюсуик», «Юнайтед стэйтс ньюс энд уорлд рипорт». Только он протянул руку, намереваясь открыть стеклянную дверь и войти в газетный киоск, как молодой парень, примерно лет двадцати, наверное студент университета, вручил Гарридо сложенный листок бумаги и, не проронив ни слова, поспешно удалился. Гарридо разворачивает листок, кислая гримаса передергивает его лицо. Не мог он сдержаться, увидев написанное:

БАЗАМ — НЕТ!
НИ ОДНОСТОРОННЯЯ ОБОРОНА,
НИ СОВМЕСТНАЯ!
БАЗАМ — НЕТ!

У Гарридо вздрогнули губы. Так вот оно что: ведь это — заявление, проклятое заявление террористов, заявление, которое вся страна слышала, и неоднократно, слышала по радио и телевидению в течение шестидесяти часов, пока их держали заложниками. Тито Гарридо не может оторвать глаз от листовки, но буквы как будто расползаются, расплываются, уплывают из поля зрения:

В двух словах сегодня выражены смысл и цель многолетней борьбы панамского народа против иностранных сил, окопавшихся в Зоне Канала.

БАЗАМ — НЕТ! Этот клич слышится во время различных манифестаций протеста, проводимых студенческими группировками. Этот призыв —

[1] Миссис Вильсон и я весьма довольны вечером, проведенным с вами... *(англ.)*
[2] Моей жене и мне также очень приятно принимать вас у себя... *(англ.)*.

в листовках организаций, наиболее последовательно отстаивающих справедливые и неизменные чаяния панамского народа. БАЗАМ — НЕТ! — это голос негодования, прозвучавший в народных демонстрациях 1947 года против соглашения Филоса — Хайнеса и поддержанный громкими голосами позже, в 1958 и 1959 годах. БАЗАМ — НЕТ! ТЫСЯЧУ РАЗ — НЕТ! — повторяли тысячи матерей, увидевшие, как погибали сыны Панамского перешейка, омытого кровью в скорбный день 9 января 1964 года, как требовали тысячи студентов, рядом с которыми падали сотни раненых, сраженных свинцом империализма янки. БАЗАМ — НЕТ! — провозглашаем мы, бойцы боевой группы «Уррака» Фронта национального освобождения, в доме предателя, нынешнего уполномоченного по переговорам о новом соглашении Роберто Аугусто Гарридо, где мы вступаем в борьбу за нашу Родину, освобожденную от цепей. Мы воодушевлены горячим желанием, чтобы каждый панамец смог свободно сказать слово во имя возрождения Родины.

Высказывание прославленного панамского мыслителя Хусто Аросемены [1] и сегодня сохраняет печальную историческую актуальность: «Нет сомнений, что мы совершили крупные ошибки. Забыв характер и повадки наших соседей, мы отдали им, и это нужно назвать так, важнейшую арену международной коммерции, которая гением королевы испанской Изабеллы и Колумба обретена была для наших народов. Будучи слишком расточительными в предоставлении компании, строившей межокеанскую дорогу[2], концессий и до крайности щедрыми по отношению к беспощадным спекулянтам, мы не понимали, что уступить территорию — это передать власть, а предоставить земли под постоянные и дорогостоящие постройки — это почти все равно что уступить территорию» (1856 год). Эти слова были произнесены в мудром предвидении того, что произойдет, но мы не захотели извлечь уроки из истории. Эти слова сегодня, как и вчера, обращены к тем честолюбцам, которые видят в Родине лишь рынки, содействующие их личному обогащению. Но эти слова обращены также и к тем, кто мечтает о величии своей Родины, на земле которой можно умереть с честью.

БАЗАМ — НЕТ! Пусть янки убираются с Канала! — таким был и таким остается поныне воинственный клич нашего народа. Мы не можем допустить, чтобы был подписан договор с еще большими уступками, чем договор 1903 года, мы не можем допустить, чтобы новым договором предоставлялось юридическое основание для создания ВОЕННЫХ БАЗ и чтобы с одобрения Вашингтона у нас воцарилась военная диктатура. Если и будет подписан какой-нибудь договор о базах, он должен содержать только два условия:

1. Немедленная ликвидация баз;

2. Возмещение за фактическую оккупацию в настоящее время нашей территории и за весь произвол, которому мы подвергались.

Если не будет заключено вышеизложенное соглашение, Панама продолжит борьбу за восстановление суверенитета своей территории, а Соединенные Штаты будут продолжать нести клеймо позора за осуществляемое ими насилие. Час борьбы уже пробил; бойцы боевой группы «Уррака» Фронта национального освобождения взяли на себя инициативу перед всем миром разоблачить беззаконие, творимое по отношению к панамскому народу,— мы хотим проинформировать мировое общественное мнение о фактической оккупации нашей территории североамериканскими военными базами, чего не разрешалось даже самим договором 1903 года.

БАЗАМ — НЕТ! — провозглашали вчера и провозглашаем сегодня мы, бойцы боевой группы «Уррака» Фронта национального освобождения. Мы не предадим тех, кто мечтал увидеть разорванными цепи империализма.

БАЗАМ — НЕТ! Себастиан Тапиа поныне парализован после демонстраций в декабре 1947 года...

БАЗАМ — НЕТ! И ушли в землю, чтобы высоко взвиться вновь, 75 панамских флагов в Зоне Канала, в ноябре 1958 года...

---

[1] Хусто Аросемена (1817—1896) — панамский политический деятель, выступавший против колониалистской экспансии США в Латинской Америке.

[2] Эта железная дорога на территории нынешней Панамы была построена в 1850—1855 гг.

БАЗАМ — НЕТ! Наши флаги падали на землю в 1959 году...

БАЗАМ — НЕТ! И погибли Асканио Аросемена и еще двадцать человек, кроме трехсот раненых в январе 1964 года...

БАЗАМ — НЕТ! И продажное правительство Маркоса Роблеса и его прихвостней не смогло подписать соглашения 1967 года...

БАЗАМ — НЕТ! И боевая группа «Уррака» Фронта национального освобождения штурмом захватила виллу предателя Гарридо и требует, чтобы настоящее заявление без перерыва передавалось по радио, по телевидению, публиковалось в газетах,— пусть все граждане американского континента и всего мира узнают настоящую историю нашей борьбы за национальное самоутверждение.

Да здравствует Фронт национального освобождения!

Да здравствует боевая группа «Уррака»!

Пробежав последние строки листовки, Гарридо нервно комкает бумагу и не раздумывая бросает ее в красный почтовый ящик. «Авиапочта — Air Mail» — уже после замечает большие белые буквы на темном фоне ящика, но поздно!.. Эту листовку, конечно, найдет какой-нибудь почтовый служащий, прочтет и наверняка передаст ее родственнику либо другу, и пойдет листовка по цепочке. Тут уж ничего не поделаешь. Тито Гарридо опускает голову. Честь касты и достоинство его растоптаны за какие-то секунды бандой мальчишек, которые, по правде говоря, даже не смогли отредактировать свое воззвание. Сделав несколько шагов, он вдруг спохватывается и, обеспокоенный, быстро оглядывается, не наблюдает ли кто-нибудь за ним. И действительно, его заметили — то один, то другой узнает его, то один, то другой останавливает свой взгляд на его ввалившихся глазах, на его усталом лице, на его лиловых губах, подрагивающих, несмотря на все усилия Гарридо сохранять внешнее спокойствие. Он сбегает по лестнице, и, взглянув на него, мы можем сказать, что да, это тот самый наш школьный товарищ по колледжу, который каких-нибудь двадцать с лишним лет назад спешил на встречу с нами, чтобы вместе отобедать, как это бывало столько раз; но, если приглядеться, есть что-то новое в слегка ссутулившихся плечах, выдающих тяжесть лет, которые обрушились на этого человека. Возле отеля на тротуаре высокий, тощий негр в красной униформе кланяется ему:

— Добрый день, дон Тито.

— Добрый, добрый день, Вильямс,— отвечаю ему и ускоряю шаг, чтобы побыстрее дойти до «Сарти». А вот и ресторан, Мариана, я уже вижу большие зеленые буквы вывески, и снова голос портье гостиницы, который мне говорит:

— Мистер, моя жена и я, мы очень беспокоились за вас...— Я поворачиваюсь к нему, чтобы поблагодарить, чтобы сказать что-нибудь скороговоркой, но куда там — в этот самый момент к нему подходит турист, что-то у него спрашивает, и я уже никому ничего не говорю, иду своей дорогой, Мариана, смотрю на часы — уже час пополудни, рев автомобильных гудков, выхлопы мотоциклов, Мариана-Марина-Мариловь моя, мне все-таки страшно,— мерзавцы! — именно сейчас, когда мне, собственно, нечего бояться, именно сейчас, поверь мне, именно сейчас я боюсь, ужасно боюсь, и твой раскатистый смех, я слышу звонкий взрыв твоего смеха там, на траве, в ответ на мою фразу, которая, по правде говоря, и не была моей-то: Fear is the mother of foresight,— и чувствую удушливый запах пороха, и вспоминаю того партизана, который подошел ко мне и заорал в самое ухо: «где Вильсон? Куда ты его спрятал?» — а я продолжал молчать, пока вдруг не прозвучал голос Хоакина, как вспышка, как вольтова дуга, как электрический разряд, разметав и ковбоев и индейцев; уже начинало светать, и тут эти прожекторы, осветившие нас, и голоса полицейских, усиленные мегафонами: «сдавайтесь, дом полностью окружен»,— и затем звенящая тишина, тишина, отражавшаяся от стен, столов, кресел в каком-то своеобразном ритме,— вот тогда партизаны все сразу и вдруг открыли стрельбу в потолок, по направлению к саду; истерические крики женщин: «нет, нет, не убивайте нас, пожалуйста»,— и звук пуль, пуль, отлетавших рикошетом от стен, разбивавших бокалы, бутылки, пепельницы, и этот пороховой запах, Мариана, и снова темнота и тишина, и вот тогда-то нас разделили,— помнишь? — тогда женщин увели из гостиной и коридора в маленькую комнату, мужчин отвели в столовую, а музыкантов из национального ансамбля и официантов они оставили сидеть там, в удобных креслах зала, и вот так, черт возьми, закончилась

первая ночь, Хоакин и я смотрим друг на друга, и на рассвет за окном, и на партизана, который ни на секунду не сводил с нас карабина.

— Добро пожаловать, дон Тито, уже давненько вас здесь не видали.

Это точно, уже давно я не хожу сюда, портье из «Сарти», увидевший меня издалека, здоровается со мной, отвечаю на приветствие,— ты обратила внимание, Мариана, что этот город никогда не перестает быть городом, здесь — весь свет, те, кто действительно относится к светскому обществу, все знают друг друга, узнают друг друга, перемывают другу косточки, и это многих, ты в этом не сомневайся, привлекает — это все равно что посвящение, коронация, ощущение вечного апофеоза; и потому редко кто выбирается из своей лужи, какое там, они в этой самой луже рождаются, растут, женятся, размножаются, играют в гольф и домино, сажают розы, здесь людей и хоронят,— я вижу, как метр приближается ко мне:

— На сколько персон, сеньор Гарридо? — спрашивает он меня, я отмечаю его смущение — наверняка потому, что мое присутствие здесь внушает страх и беспокойство иностранным туристам, но мне все равно, и, глядя ему в глаза, я отвечаю:

— На одного, Рамирес.

— Только на одного? — переспрашивает он, и я абсолютно уверен, что он это делает скорее для того, чтобы смутить меня, чем для того, чтобы подтвердить заказ; я замечаю, как он переполнен самолюбованием, вот так, давая мне понять, что любой, кто хотя бы что-нибудь из себя представляет, никогда не обедает в «Сарти» в одиночестве, я все это превосходно понимаю, но, чтобы досадить ему, просто досадить, я повторяю:

— Да-да, на одного,— ага, теперь он понял мое презрение, мою насмешку и — о ужас! — его охватывает беспокойство. Изящно, с легкой, очень по-европейски деланной ужимкой он показывает мне столик, сопровождает меня, отставляет и подставляет мне стул, на какую-то минутку удаляется, чтобы тотчас же вернуться с меню и картой вин, последняя здесь, в тропиках, явно ни к чему, подать сейчас, в полдень, карту вин — непростительный faux-pas [1], и даже может стоить ему места, поэтому я преднамеренно, демонстративно не обращаю внимания на меню и на карту вин, а просто-напросто заказываю: суп из лангусты, телячий эскалоп в марсале.

— А что пожелали бы выпить? — спрашивает он меня, мигом отмечая заказ.

— Самый сухой мартини.

— А на десерт?

— «Пирожное королевы», если есть.

— Да, сеньор, конечно есть.

— Хорошо,— говорю я ему, а на лице изображаю учтивейшим образом пошел-каты-прочь-и-подальше и подкрепляю соответствующим жестом; метр, всегда такой европейский, всегда такой сметливый, все схватывает на лету, удаляется, возможно сожалея о своем бестактном вопросе.

Ресторан постепенно заполняется публикой. Уже, кажется, не осталось ни одного свободного столика. А здесь хорошо, здесь, в полумраке, и Гарридо, заняв удобное место в глубине зала, окидывает взглядом интерьер ресторана. Деревянные панели, обои цвета красного вина, имитирующие камку, натюрморты, мягкие ковры, затененные лампы, сверкающие белизной скатерти, салфетки треуголкой — все это в общем придает обстановке атмосферу покоя, комфорта, и все это он видел чуть ли не в тысяче других подобных заведений в разных частях света, и именно это подтверждает, по крайней мере в данное время, что цивилизованные люди с хорошим вкусом были, есть и будут и лишь им доступно все это, в его глазах внезапно сверкнула искорка самодовольства, а кое-кто из любопытных, наблюдавших за ним, перехватив выражение его глаз, отмечает про себя, что этот человек, точнее блеск в глазах Тито Гарридо, может означать лишь одно: забудь неприятности, никогда нас не одолеют сукины сыны, всякие там коммунисты, никогда нас не одолеют,— и потому эти «кое-кто» продолжают спокойно вкушать и пить в свое удовольствие; появляются в ресторане новые посетители, тоже с интересом поглядывают на Гарридо, но блеск в его глазах уже исчез. Тито перестал рассматривать интерьер, склонив голову, рассеянно курит сигарету в ожидании аперитива. Но покою приходит конец — Альбертито Лопес заметил Гарридо и от самой входной двери зала громко приветствует его; остановившись у тележки с французскими винами, он даже афиширует дружеские отношения с Гарридо. Высоченный, хрупкий, манерный Альбертито вызывает некоторую жалость. А он сам,

[1] Ложный шаг *(франц.)*.

может быть, он тоже вызывает жалость? Впервые Гарридо задумывается над этим: «да, а я, черт возьми, вызываю ли я к себе жалость?» Конечно, Альбертито совсем иное дело: трескучий нувориш, ничтожный сумасброд в стиле смотри-на-меня-но-не-прикасайся, который, когда умерла его единственная сестра, закупил себе роскошный траурный гардероб в Майами, жулик с прилизанными волосами, этот Альбертито, а вот сейчас он, как порядочный social climber[1], приветствовал меня, и только затем, чтобы все вокруг обратили на него внимание; не знаю, Мариана, не знаю, почему-то вспомнил я Хоакина, тоже по своему характеру не чуждого саморекламы, но очень храброго — не правда ли? — мужественного, когда это было нужно, я убеждаюсь, что мне он стал дорог после шестидесяти часов, проведенных вместе с ним в столовой моего дома, я даже восхищаюсь им, он этого заслуживает, надо только ближе узнать его, как ты говаривала раньше, Хоакина нужно знать, первое впечатление о нем обманчиво, однако не забуду, когда в субботу тянулись часы, а монсеньор не возвращался, напряжение все возрастало и возрастало, при нем я произнес твое имя, более того, сказал ему, что значит твое имя для меня, Хоакину не потребовалось повторять дважды, он промолчал, и само молчание подтвердило, что между нами только что заключено взаимное соглашение, которое он — в этом я уверен — безусловно выполнит, если что-нибудь со мной случится.

— Ваш мартини, дон Тито.

— Спасибо,— не успеваю отблагодарить официанта еще раз, как он уже подходит к другому столику, и я слышу голос какой-то американки, которая по-итальянски с нью-йоркским выговором заказывает Tagliatelli Alfredous[2]; мартини меня обрадовал, опустошаю бокал чуть ли не залпом — вот такой мартини мне по вкусу, Мариана, вылавливаю на дне бокала одну упругую, солоноватую оливку, гордую своим одиночеством.

— Пытался я поздороваться с тобой, Тито, вчера, при выходе из церкви...

Конечно, это Пако Альварес, взирающий на меня через очки в массивной черепаховой оправе, водруженные на огромнейшем носу, почему-то никогда ранее мне не доставляло такого удовольствия, как сейчас, разглядывать носище, ни дать ни взять — совсем как у Сирано де Бержерака, невольно сравниваю с моим, но куда там, мой нос, Мариана, намного изящнее, я бы сказал — пристойнее, не так ли?

— Прости, дружище, не заметил.

— Я так и подумал... Могу ли на минутку присесть к тебе? — говорит он бесхитростно и напрямую, и мне трудно отказать, сослаться на то, что хочу побыть один, чтобы все меня оставили в покое; изобразив некоторое подобие улыбки, жестом я показываю на стул, а он весь искрится счастьем, конечно, по-своему, в своей фиглярской манере, в его ужасной манере позировать, скорее, пожалуй, паясничать.

— Чего-нибудь выпьешь, Пако?

— Да, спасибо, составлю тебе компанию по мартини.— Он заказывает себе аперитив и для меня тоже.— Ты знаешь, Тито, день за днем, час за часом я следил за этой историей, и, поверь мне, я глубоко сочувствую, сочувствую тебе, и надо же было произойти этому в твоем доме,— произносит он прерывающимся голосом, как будто ему перехватило горло, но не думай, это не помешало ему обозреть окружающих, прежде чем уставиться на меня.

— Спасибо, Пако, похоже, все следили...

— О, конечно! Но в моем случае, ты понимаешь, нет никакого сравнения с так или иначе нездоровым любопытством многих других.

Воцаряется пауза — я чувствую себя как-то неприятно, напряженно, и все вокруг становится неприятным, напряженным, и Пако явно замечает это, однако не потому меняется его пристальный взгляд в упор.

— Да-а...— протягиваю я, пытаясь скрыть овладевшее мною беспокойство.

— Ты помнишь, я был одним из заводил, как у нас говорят, в тот памятный «посев знамен» в пятьдесят восьмом и в пятьдесят девятом?..

— Да, помню.

— И что я был там, ты тоже помнишь, когда полицейские из Зоны силой вырвали у нас панамский флаг, открыто измываясь над ним, когда пустили в ход против нас бомбы со слезоточивым газом, брандспойты и огнестрельное оружие?

— Помню.

---

[1] Светский пройдоха *(англ.)*.
[2] Вермишель а-ля Альфредо *(искаженное итал., англ.)*

— И что я видел появление воинских частей янки, подчеркнуто и без всякого основания продемонстрировавших свою мощь, и что я также видел, как они встали с примкнутыми штыками, чтобы не пустить нас в Зону?

— Помню.

— И что я участвовал в столкновении, когда было ранено более сорока панамцев?

— Помню.

— И что я был одним из первых, кто направился к посольству янки и сорвал их флаг, развевавшийся над зданием?

— Помню и это.

— Хорошо, тогда я требую от тебя ответа, Тито, у меня есть на это право, я его завоевал, как говорят, в жестоком бою, что произошло? Скажи мне, что же действительно произошло в твоем доме?

Но я не отвечаю — еще чего! Тем более не все было так, как ему хотелось бы услышать; Пако начинает нервничать, морщит носище, отбрасывает голову назад, затем вперед и снова назад, я молчу,— мне ясно, чего он ждет, а я молчу, для него это невыносимо, и он, затаив дыхание, ждет любого моего разъяснения, однако я — ты же меня знаешь,— я преднамеренно молчу, всем своим видом подчеркивая многозначительность молчания; подходит официант и приносит аперитив, я с удовольствием ощущаю во рту вкус охлажденного мартини, зажмурив глаза, крепко сжав губы; Пако, видимо, уловил мою досаду.

— Я вовсе не хотел создавать для тебя дополнительные сложности,— бормочет он.

— Нет, дружище, не об этом речь...— отвечаю ему вполголоса,— я очень устал, издерган...

— Естественно, старина, прошу меня извинить, но, видишь ли, речь идет об очень важном деле, и, по всей вероятности, мы с собой еще не скоро увидимся, а перед тем как принять решение, нужно все точно знать.

Я опять замыкаюсь в себе, Мариана, все разговоры с Сэро — в прошлом, запечатаны наглухо. Достаю сигареты, предлагаю одну Пако, а он подносит зажигалку; все это я проделываю, поверь мне, лишь для того, чтобы хоть немного оттянуть необходимость — хотя бы безответственно, как сказал бы кое-кто,— высказать собственные суждения, которые — заранее знаю — не будут ни трезвыми, ни точными, и никогда, Мариана, таковыми они не станут, ни сейчас, ни через двадцать лет, я осужден вечно пребывать в плену своих воспоминаний и сомнений, рожденных этими воспоминаниями; заговорить мне стоит немалых усилий, ведь известно, что Пако Альвареса не обманешь.

— Это был налет...— начинаю я не спеша,— был налет экстремистов... в налете участвовали молодые, неразумные идеалисты, можешь так их назвать, которые рано или поздно поймут абсурдность своей позиции, особенно в нынешнем мире, где существует противостояние между янки и русскими и их соответствующими союзниками, это — фундаментально, а кроме того, в конце концов, пора уже перестать глупо разглагольствовать о том, что, если третий мир...— Черт побери, я, конечно, взорвался, Мариана, и гляжу на Пако, который, не докурив, гасит сигарету, выпивает залпом мартини, бесспорно, совершенно бесспорно, что мои последние слова крепко задели его, он как-то оцепенел, сидит безмолвно, будто обдумывая, что же ответить, а я в нервном напряжении, мигаю от сигаретного дыма, попавшего в глаза, и все же не отвожу взгляда от этого человека, примерно лет сорока с чем-то, со вкусом одетого, достойного, уважаемого всеми, и не понимаю, в самом деле не понимаю, как можно еще в его возрасте действовать сообразно таким чувствам, как героизм типа если-нужно-то-погибну-за-родину, а он, прищурившись, посмотрел на меня, весьма внимательно, и приглушенным, но хорошо поставленным голосом начал говорить — каждый слог звучит едва скрытым оскорблением, утверждением властности, не терпящей возражений, констатацией того, что он предпочитает обходиться без наставников, жить согласно своим принципам.

— Слушай, Роберто,— говорит он, а мне неприятно, что он называет меня полным именем: он умышленно так делает, чтобы подчеркнуть сходство моей позиции с позицией моего отца, которого зовут дон Роберто.— Слушай, старина, ты же хорошо знаешь, что обстановка на континенте и у нас в стране изменяется, она не создается строго по шаблону России или Соединенных Штатов... Мы заявляем, что хотим быть свободным народом, мы требуем, чтобы Канал стал нашим, зачем же нам продолжать

подыгрывать великим державам? Ни с одними, ни с другими — на кой черт, только с Панамой, всегда и только с нашей страной!

— Какой ты наивный! — прерываю я, чтобы лишить его возможности продолжать и дать ему понять, что мне эта позиция героя из фильма Косты Гавраса представляется абсолютно смешной, но Пако, куда там, не может остановиться, каждый мускул его лица напряжен, как бы передавая всему ему особую стойкость.

— Может быть, так оно и есть, Роберто,— отзывается он.— Но уж лучше быть наивным, чем циником,— какого еще дьявола,— по крайней мере мы, приверженцы националистической линии, не подпишем каких-либо соглашений, содержащих уступки, ни с кем — ни с Коста-Рикой, ни с Колумбией, ни с губернатором Зоны Канала! Да, мы — сторонники скорейшего, немедленного возвращения нам Канала и демилитаризации его Зоны и настаиваем на том, чтобы не подписывался договор, который не отвечал бы этим требованиям,— о чем говорить, ведь колониалистское мышление правительства янки не изменилось ни на йоту. Мы полагаем, что в нынешних переговорах незачем касаться вопроса о новом Канале либо о юридической легализации военных баз янки в Зоне. А в душе мы надеемся на гарантии проведения общественного обсуждения всех пунктов этих переговоров, а также любого другого вопроса, представляющего общенациональный интерес, и, наконец, мы выступаем за политику жестких самоограничений, которая содействовала бы экономическому развитию страны, или хотя бы не увеличивала нашу экономическую зависимость, которая и так возрастает день ото дня...

— Прекраснейше звучит все это, Пако,— воспользовался я паузой, чтобы вмешаться в его монолог.— Что бы ты ни говорил и каких бы идей ты ни придерживался, ты не должен упускать из виду, что мы все еще живем во времена, когда многое решает политика двух великих держав, и потому твоя точка зрения нереальна. Приходится уступать, раз необходимо вести переговоры, и нужно признать, что мы еще не располагаем ни авторитетом, ни силой, чтобы потребовать то, что справедливо, то есть все, о чем ты упомянул и что в лучшем случае соответствует подразумеваемым чаяниям нашего народа.

Я умолкаю. Пако Альварес встает и протягивает мне руку, мы обмениваемся взглядами. По правде говоря, у меня уже нет сил, я не в состоянии встать и попрощаться с ним, я могу лишь смотреть на него, и сквозь тьму нашего обоюдного молчания в пожатии его широкой ладони я начинаю ощущать силу человека, способного на героические поступки. Да-да, Мариана, я встретил жизнь, готовую на самоотречение, на самопожертвование, увидел несокрушимую волю, и очень многое в этой бросающей вызов позиции меня пугает — черт возьми!..— только закрываю глаза, как слышу возгласы — «Базам — нет!» — пули отлетают рикошетом от стен, разбивают бокалы, бутылки, пепельницы, пахнет порохом; представляю Берту Вальярино, которую на рассвете нашли в нашей ванне, где она спряталась, скорчившись,— как только втиснулась она в нее вместе с двумя музыкантами, переодетыми под селян!— и они все, втроем, кричали: «Нет, нет, ради бога, не убивайте нас!» — Их ужасные вопли разносились по всему дому: «Нет, нет, ради бога, не убивайте нас!» Мы увидели их, когда они выходили из ванной без кровинки в лице, выпучив от страха глаза, с поднятыми вверх руками, а как раз в этот момент из сада возвращались с опущенными головами министр Рамирес и Хуан Альберто Ривера под дулом партизанского автомата — «Нет, нет, ради бога, не убивайте нас!» — оба они безуспешно пытались перемахнуть через каменную ограду сада и были там пойманы; партизан докладывает этому Сэро, правда негромко: «Командир, попалась еще одна крупная рыбешка». Скажи мне, Мариана, когда, когда же кончится эта заваруха?

— Послушайте,— подзываю я официанта.

— Да, сеньор?

— Еще мартини, самый сухой.

— Очень хорошо.

Официант кивнул и ушел, но, поспешив, он случайно наткнулся на застекленную витрину, в которой владелец «Сарти» выставил десять или двенадцать бутылок розового лансера и калифорнийского кьянти; витрина качнулась, Мариана, да так качнулась, что чуть не грохнулась, видимо, метр заметил происшедшее издалека, поскольку тотчас же оказался тут как тут:

— Болван! Скотина! Смотри, дождешься, в один прекрасный день лишишься места.

Я убедился, любовь моя, что французские манеры метра — не что иное, как костюм, взятый напрокат, костюм, который ему непомерно велик, а во всем остальном он — бедняга из бедняг, какой-нибудь горемыка из Талаверы де ла Рейна, не то из Кармоны [1], взглянув на его руки, я сделал вывод: они, покрытые морщинами, грубые, с узловатыми, жесткими пальцами, с квадратными ногтями, могут в изрядной степени поведать историю жизни человека, и как-то невольно мне вспомнились руки Сэро — не знаю, какого черта я снова думаю о нем,— касаюсь лба, боль не отпускает, особенно в висках, мысленно рисую себе Сэро там, в университете, шагающим к юридическому факультету, на нем темный галстук, старый, мятый галстук, брюки цвета хаки и белая в заплатках сорочка, я воображаю, как он обращается к своим товарищам с речью, отпиваю глоток воды, он представляется мне почесывающим затылок, точно таким же, каким ты, Мариана, и я видели его столько раз за те шестьдесят часов, мы с ним смотрели друг на друга, лицом к лицу, изучая друг друга и безмолвно ненавидя друг друга; я отпиваю еще глоток воды, уже час с четвертью, а мартини все не несут; уже кое-что, Мариана, я открыл в нем — может быть, его достоинства? — что-то непостижимое, почему-то до сих пор я нахожусь под воздействием этого человека; помнишь, Мариана, то субботнее утро, первое утро после налета партизан, когда солнце, сияющее как всегда, вливалось через окна и удручающая тишина прерывалась лишь хватающим за душу воем, отчаянным воем собак нашего квартала, да, Мариана, вой собак и вдруг голос партизана, самого молодого из них, шепотом сказавшего Сэро: «Их надо прикончить, вот и все!»... — прикончить? Кого? Собак? Нас? — смятение достигло высшего предела, а Сэро, разъярившись, ему отрубил: «Ты что, совсем рехнулся, парень, не наше это дело — приканчивать животных в этом квартале и на окрестных улицах между виа Эспанья и Пятидесятой, да к тому же на крышах соседних домов полным-полно полицейских, вооруженных пистолетами, винтовками»,— опять душераздирающий вой, вой собак, где-то привязанных.

— Сеньор Гарридо, ваш мартини.

— Спасибо, дружище, я уж подумал, что ты про него забыл.

— Да нет! Просто возникли проблемы, всегда проблемы, вы же знаете, как у нас.

— Да, старина, не беспокойся.

Отпив глоток, я ощущаю прохладу аперитива и вместе с тем замечаю, что на руках моих выступил пот, черт знает что!.. Холодный пот прошиб его в момент налета партизан, в ознобе он физически ощущал тягучесть минут: будет ли он тут, когда часовая стрелка покажет следующий час? Смуглая партизанка подошла ко мне, Мариана, и проронила: «Либо мы все выйдем отсюда, либо мы все здесь умрем!..» — а взбалмошный Хоакин, ты же его знаешь, не выдержав, еще спрашивает: «Когда же, черти, и через кого вы начнете переговоры?» — мне так безумно хочется крикнуть еще раз: «Да заткнись ты, наконец!» — но сил хватило только раскрыть рот без единого звука; многое бы отдал я за то, чтобы прыгнуть к нему и заткнуть ему глотку, но я оставался там, где стоял, с открытым ртом, совсем как в кошмарном сне, когда ты напрягаешься, пытаясь крикнуть, а голоса нет и гортань пересохла; я стал расхаживать по столовой, а Хоакин все болтает и болтает без остановки, и вдруг я услышал — он сказал что-то Сэро, что-то вроде того: «Валяй, скорее кончай свои сказки, хватит, уже восемь часов мы, как дураки, сидим в этом вонючем дерьме», у меня мелькнула мысль, что нет большего злослова на земле, чем панамец, охваченный страхом, и тотчас же я предположил, что Сэро нанесет силовой comeback [2], нокаутировав в одном-единственном раунде, но каково же было мое удивление, когда я услышал его даже несколько любезный ответ,— что за черт! — это же наверняка ловушка, сказал я сам себе, но нет, похоже, Сэро был откровенен, выказал mean well [3] и повторил снова, его мысль сводилась к следующему: «В таком деле мы, панамцы, договоримся сами, среди панамцев. Вы слышите меня? — почти кричал он.— Среди панамцев, сами!» Внезапно, что за чертовщина, он бросил фразу, буквально выстрелив ею прямо в упор: «Монсеньор — вот человек, который нам нужен!» — и эта фраза, признаюсь тебе, Мариана, нас застала врасплох, я втихомолку было начал прикидывать, подбирать в уме факты и спустя какое-то время пришел к заключению, что этого падре они наверняка знали, когда он еще служил приходским священником в Пенономэ [4], если не там, то откуда же у них

[1] Города в Испании.
[2] Ответный удар *(англ.)*.
[3] Добрые намерения *(англ.)*.
[4] Город в панамской провинции Коклэ.

такая вера в него? Но чем же вызвано желание втянуть церковь в подобные передряги? И я мысленно сортировал, раскладывал даты и факты в соответствии с моими способностями живого компьютера, как вдруг Сэро без всякого перехода подал мне знак, чтобы я встал, под дулом автомата меня провели в зал, где я наткнулся на музыкантов и артистов из народного ансамбля, все они спали вповалку, некоторые даже громко храпели; мой дом, Мариана, мой дом я увидел превращенным черт знает во что, из кресел, диванных подушек и ковров была воздвигнута настоящая баррикада, лишь тебя, Мариана, и Кеты, вас двоих нигде не было видно, и за той баррикадой — трое партизан, вооруженных автоматами 32-го калибра и М-14, автоматные магазины разбросаны по полу, был там неподалеку еще один, тот самый метис с пушистыми баками, который так настойчиво расспрашивал об американском после Вильсоне, сукин сын тоже был с автоматом 12-го калибра; и теперь он продолжал держать меня на мушке, а тем временем Сэро приказал мне взять телефонную трубку: «Слушай, звони прямо монсеньору, он уже должен закончить первую дневную мессу»,— и вот в трубке раздается удивленный голос, Мариана, всем нам знакомый голос спрашивает: неужели дело поистине столь серьезно, что требует его личного присутствия в такой ранний час, я отвечаю ему: «Да, монсеньор, очень-очень срочно» — и объясняю, вернее, пытаюсь в рамках возможного объяснить все разом, а Сэро, бледный, переводит холодный взгляд то на свой револьвер, то на мой висок, под тик-так-тик-так настенных часов, моих наручных часов, всех часов дома и моего сердца, стучавшего так некстати, а утро наступало такое же, как и раньше было, опустошенное, беззвучное, только с доносившимся откуда-то трупным запахом; вели диалог лишь архиепископ, который задавал вопросы, и я, отвечавший на них под контролем Сэро; палец партизанского командира застыл на спусковом крючке, готовый нажать в любой момент; на лице Сэро едва проступила легкая улыбка, когда он из моих слов понял, что архиепископ согласился быть посредником, чтобы избежать бесполезного кровопролития: весь диалог продолжался, Мариана, не знаю сколько — может, час, а может, и несколько секунд — трудно да и невозможно определить, ощущая у своего виска оружие на изготовку, кроме того, те остальные, за баррикадой, тоже держали меня на мушке, и в эти мгновения сверхчеловеческого напряжения, как в свете магниевой вспышки, пронеслись воспоминания о моей недолгой любви, о моей нежной любви, о моей безумной любви к тебе, Мариана, любимая моя, в любое время дня и ночи — ты, мятежная, свободная, утверждающая собственные правила игры, Мариана; набросив на себя халат с цветами, ты, с распущенными волосами, иногда закрывавшими тебе лицо, готовила себе чашку чая с лимонником там, в уголке кухни моего бунгало в Лас Кумбрес, а я, устроившись на белом диване, пил коньяк, ежеминутно поглядывая на тебя, чтобы еще раз убедиться, что ведь это точно, что ты со мной, что ты моя так же, как моей была и в прошлую ночь, и в предыдущую, и в другую, и во многие другие ночи, и только что, когда наши лица слились в поцелуе, а ты протянула руку, чтобы обнять, охватить мою спину, и все начиналось заново, и вдруг я открыл в себе до тех пор неведомое — оказалось, что обладаю солидными силами, энергией, неистощимой способностью любить, и стремление прикоснуться к тебе, стиснуть тебя в объятиях, слиться в одно целое с тобой, достигая вершин желания, могло претвориться, лучше сказать, уже претворялось, во что-то неописуемо прекрасное, только из-за этого стоило родиться; мне вспоминается, как я, невероятно счастливый, будто на седьмом небе, растянулся там на постели, на нашей постели, Мариана, ощущая себя наверху блаженства, твоя щека прижалась к моей, моя борода чуть царапнула твою смуглую кожу, по-видимому, в тот самый момент, ну, конечно же, в тот самый момент, как только мне взбрело в голову заговорить с тобой о нашем браке, жениться сегодня же. «Я пойду попрошу у Кеты развод»,— сказал я тебе; но вместо того чтобы выразить радость, твои глаза вспыхнули странным блеском, они сверкали, пока блеск постепенно не исчез, и все мои усилия были напрасны, я не мог заставить тебя нарушить твое молчание, я не мог заставить тебя, как бы я того ни хотел, сказать мне что-нибудь: «Мариана, ну скажи ради бога что-нибудь», прошла целая вечность, пока ты, наконец, повернулась ко мне и начала говорить, не позволяя прерывать себя, пока не высказала все, что хотела, а я лежал, донельзя пораженный,— ты рассказывала мне о том, как еще девушкой имела любовника, он был твоим ровесником, таким же юным, и что твои тетки требовали, чтобы вы поженились, а я, Мариана, слушал тебя и не слушал, не мог поверить твоим словам: дескать, ты не вышла замуж ни за него, ни за кого другого, «потому что, Тито, я ищу спутника, который мог бы со мной разделить все»,— последнее ты произнесла так быстро, что я

едва успевал проследить за твоей мыслью, «с таким спутником не пришлось бы объясняться пустыми словами», я смотрел и смотрел на тебя, как смотрят на надпись «конец фильма»,— быть может, это было начало? — ответа так и не мог найти, а ты, Мариана, говорила и говорила мне о простом человеке — твоем идеале, о мужчине, который бы не жонглировал громкими словами, не занимался вечно обманывающим резонерством, «мужчина, который бы взял меня в жены, Тито,— говорила ты мне, повторяла ты мне,— взял бы меня в жены только за то, что я есть, только за то, что́ я есть: женщина с маленькой буквы». А я, Мариана, заключив, что ты уже кончила говорить, поднялся и вышел из комнаты, я не мог сдержать слезы и, думая о моей бурной и нежной любви, дал себе слово быть достойным тебя.

— Дон Тито, разрешите, пожалуйста.— Метр вернулся и показывает официанту, как и где он должен сервировать суп из лангусты.

— Да, наверное, уже пора.

— Извините нас, на кухне кое-какие осложнения...

— Об этом уже упоминал другой официант,— отвечаю я, не в силах подавить зевок, и, по правде говоря, у меня нет ни малейшего желания продолжать разговор, абсолютно безразлично, что скажет метр, подделывающийся под петиметра, к тому же после трех мартини мне чертовски хочется спать, Мариана, броситься в постель и проспать бесконечную сиесту, не просыпаться до завтрашнего или послезавтрашнего утра или, еще лучше, проспать целый год, а проснувшись, убраться из этой страны на какое-то время, на годы, на века; из первой ложки супа листочек петрушки застревает меж зубов, не без труда вытащив его, я наслаждаюсь вкусным, вру, отменным яством, повар не поленился перемешать лангусты с луком, сельдереем, сдобрить долькой чеснока, лавровым листом и еще добавил бренди, что совсем великолепно!

Тот, кто случайно обратил бы внимание на Гарридо в эту минуту, не смог бы себе представить, что этот человек уже давно, годы назад вступил на стезю гастрономических сафари. Это началось еще в Европе, когда он учился в Болонье на курсах переподготовки от Университета имени Джона Гопкинса, где слушатели из разных стран собирались, чтобы повысить свою квалификацию и, как они говаривали, пожить интенсивной жизнью; среди изысканий и открытий этого эпикурейского мирка были вина, женщины, опять вина, беспрерывные оперные спектакли, и как-то неожиданно перед ними развернулись сферы утонченных экзотических яств, однако для Тито Гарридо, больше чем для кого-либо (и именно поэтому он старался не знакомить никого с тем, что им обнаружено), это открытие послужило как бы исходной точкой примитивного обряда, возмещавшего крохи потерянного рая, разумеется, не следует забывать, что Гарридо, как и мы, уже с детства был приучен к тому, что он представляет собой нечто большее, чем продукт общества, в котором боготворят молитвенники и дома терпимости, кружевные и вышитые платки, петушиные бои и воскресные обеды, когда подают цыплят с макаронами, всегда обильно политыми липкой и сладковатой томатной подливкой, которую он терпеть не мог. В двадцать с лишним лет уехав в Италию, Гарридо рассчитывал найти там среду, для которой, по его предположениям, он был создан. И вот там, в компании нескольких друзей, он испытал особенную радость, даже счастье, возможно, первое настоящее в его жизни. Луис, Альберто, Эусебио, Альфредо, Жан-Пьер, Паоло, Дж. Б., Гильермо и Гарридо стали, чуть не случайно, собираться каждую субботу на квартире толстого Паоло Палоцци. Молодой белолицый слуга, которого звали Габриэле, встречал и пропускал их к хозяину. Уже в прихожей слышался веселый хор мужских голосов, от недели к неделе звучавший для Тито Гарридо все более близким и родным, в его жилы будто вливалась иностранная кровь, совершенно изменявшая монотонность пульсации его собственной, так, по крайней мере, ему думалось вначале. Габриэле предлагал им всякие закуски: то испанские, то венесуэльские, то кубинские, то перуанские либо французские, итальянские, английские, а изредка что-нибудь приготовленное по панамским рецептам, которые Тито запрашивал в письмах у своей тетушки Исабель, хранившей кулинарные секреты своей прабабушки Матильде, жившей когда-то в Картахене [1]. После закусок их приглашали к столу, где слуга подавал им суп, разный каждую неделю: суп из спаржи, из огурцов, холодный томатный суп, суп из лангусты, була-була, рыбный суп с чесноком, всевозможные консоме, в том числе тропический и по-мадридски. Отведав разнообразных супов,

[1] Город в Колумбии.

достойных похвал гурманов, собравшихся на обед, толстяк Паоло звонил в колокольчик, призывая Габриэле сменить тарелки и принести устрицы и другие дары моря, птицу или мясо, не забыв при этом, естественно, и соусы: дрезденский, кумберланд, голландский, лионский, маринара, иные,— ритуал свершался в строго определенном, неторопливом ритме, здесь ко второму блюду почти всякий раз подавались французские вина из бургундских погребов, подбирались изысканнейшие сыры — да что там сыры, даже слова каждого из собеседников, казалось, предварительно взвешивались и соразмерялись, каждый выступал мастером в искусстве скрывать свои мысли, избегать любого выражения, которое могло бы напомнить о барах, где они порой убивали в попойках ночи напролет...

Возвращаюсь из туалета и вижу, что у моего столика опять «колдует» метр, он дает указания официанту по сервировке эскалопа в марсале — зрелище богов! Но на этот раз мне не до них. В ушах звучит голос монсеньора, доносившийся с улицы: «Здесь архиепископ Панамы... я согласен быть посредником, чтобы избежать кровопролития...» — пытаюсь сосредоточиться на еде и не могу, не могу ни о чем другом подумать — перед глазами тучная фигура архиепископа, одетого в черную сутану, на голове красная шапочка; хриплый голос Сэро спрашивает: «Вы один?» — безуспешно ковыряю телятину, в рот не идет, да она и невкусная, повара перестарались с вином, чересчур сладкий, неприятный привкус; — а монсеньор отвечает: «Да, я пришел один, скажите, где могу войти», партизаны кричат: «Пройдите метров пятнадцать к югу, толкните ворота гаража, они не заперты», — я подношу ко рту ломтик хлеба с чесночным маслом, сильный запах чеснока; уже и другие партизаны переспрашивают: «Вы один?» — и опять монсеньор подтверждает: «Да, ребята, я пришел один»,— после до нас донесся шум, но не голосов, не звуки выстрелов — шум передвигаемой мебели, которой была забаррикадирована дверь, этот шум нас порадовал: мы будем жить, еще есть надежда рано или поздно выйти отсюда! И вот архиепископ стоит перед нами — Мариана, ты помнишь? — низенький, толстенький, как всегда добродушный, приветствует нас, спрашивает, не ранен ли кто-нибудь, рассматривает ногу Рикардо Аросемены, до сих пор на его рану никто не обращал внимания; затем архиепископ поинтересовался, кто из партизан является командиром, вперед выходит Сэро, как и ранее не выпуская оружия из рук. Он представляется: «Я монсеньор, командую»; архиепископ отдает распоряжение: «Немедленно вызвать врача, нужно оказать помощь доктору Аросемене, он и так потерял много крови» — и тут же начинает переговоры. Дальнейшее развернулось так быстро, Мариана, слишком быстро, что, по-моему, не все сохранилось в памяти; насколько мне помнится, ему отвечали что-то вроде того, что они представляют собой гуманное и патриотическое движение, прежде всего уважают достоинство человеческой личности, эти слова, кстати, вызвали взрыв хохота у Хоакина, он так дико хохотал, что стены дома сотрясались, его хохот даже вызвал панику среди заложников, однако Сэро, похоже, никак не реагировал на выходку Хоакина и не отрывал глаз от архиепископа, подчеркивая своим видом полное пренебрежение и даже чувство безграничной ненависти к нам; я отпиваю глоток воды — надо бы забыть все это, но взрыв хохота... нет, твоего заразительного смеха, Мариана, там, на траве, прозвучавшего как предвестник громового раската: «Fear is the mother of foresight», да, страх — мать предосторожности... — а Сэро предупреждает: «Мы не отойдем от наших требований», fear — страх, и опять взрыв хохота Хоакина, заглушившего слова архиепископа; в наступившей паузе слышен голос партизана: «Мы требуем, первое: чтобы «Эйр Панама» предоставила нам самолет для перелета в Триполи, этим самолетом будут отправлены политические заключенные, заложники, перечисленные в прилагаемом списке; второе: чтобы это заявление, которое я вручаю вам сейчас, было передано по государственному радио, телевидению, опубликовано в газетах и, по возможности, распространено за границей; третье: чтобы нам вручили три миллиона долларов в мелких купюрах...» И я вижу, Мариана, вижу, как Сэро расхаживает по комнате, убежденный в своей правоте, он повторяет свои требования, выделяя каждое слово, потирая руки, и вдруг, подойдя к столу, произносит сразившую всех, будто удар острого ножа, ужаснувшую всех фразу: «в случае отказа выполнить наши требования мы будем вынуждены казнить по одному заложнику каждые двадцать четыре часа,— и добавляет:— Исключение составят слуги, артисты народного ансамбля и женщины. Женщины свободны, могут покинуть дом сейчас же, если хотят, если не собираются остаться с нами, чтобы быть свидетелями всех последствий».

— Привет, Тито.

Поднимаю глаза.

— Рикардо, ты! — Он действительно поразил меня своим появлением.— Как рад тебя видеть, дорогой мой! — Я окидываю его взглядом, он очень бледен, залысины как будто еще продвинулись, усталые глаза впали, пожелтевшие от никотина пальцы сжимают мою правую руку; я расспрашиваю его, как он себя чувствует, каково состояние раненой ноги,— в течение стольких часов о ране он не проронил ни слова.

— Хорошо, дружище, хорошо,— отвечает он,— ведь меня только слегка задело, неглубоко. В газетах было все чересчур преувеличено.

— Да, они всегда преувеличивают. Пропустишь чего-нибудь?

— Может быть, кофе. Я только что пообедал.

Я подзываю официанта, заказываю два кофе и отменяю десерт.

— Кофе черный, не правда ли, Рикардо?

— Да, да. Я несколько раз тщетно звонил тебе в контору, а секретарша Хименеса твердила, что не имеет ни малейшего понятия, где ты можешь быть.

— И как же?

— Да никак, мне пришла идея позвонить Марте домой, и вот она наконец-то...

Мы остаемся одни, наступает долгая и тягостная пауза, Рикардо пальцами приглаживает редкие пряди волос, которые то и дело спадают ему на лоб, поправляет галстук — видно, что он не знает, как начать разговор, хотя и ему, равно как и мне, хотелось бы поговорить, но, быть может, мы так ничего и не скажем друг другу.

— Все это мучительно, мучительно...— повторяю я, чтобы начать разговор.

— Именно так, Тито, и я считаю так.

Я пытаюсь перехватить взгляд Рикардо, нашего посла в ООН, пытаюсь что-то обнаружить в нем такое, что поможет вскрыть панцирь замкнутости этого человека, который на протяжении шестидесяти часов ни разу или почти ни разу не вымолвил слова жалобы и который своим мужеством, по-моему, даже завоевал симпатии Сэро, но таков уж Рикардо, он и был таким даже в те далекие дни, когда мы вместе учились в колледже; он и тогда — непонятно почему — вызывал расположение к себе, однако красноречием не отличался; уже идет второй час — как летит время, Мариана,— Рикардо, видимо, ждет, что́ я ему скажу, а я спрашиваю его, не посоветует ли он, что следует предпринять.

— Быть может, подготовить заявление,— говорит он.— Что-нибудь, подписанное всеми нами, кто был все время там. Ничего громогласного, что-нибудь такое, что скорее бы погасило шумиху.

— Кстати, утром мне тоже пришло в голову что-то подобное.

— Самое важное, чтобы никто из нас не молол бы отсебятины, ни звука журналистам по этому вопросу.

— Ты прав. Слишком уж разболтались. Не правда ли?

— Слишком,— подтвердил он.— Кстати, этим вечером ты не собираешься в Совет министров?

— Да, меня приглашали.

— Тогда мы встретимся там. Надо разработать такую программу, чтобы народ продолжал бы оказывать поддержку правительству,— говорит он, протягивая сигарету и давая прикурить; мы смолкаем, а я, Мариана, вижу Рикардо там, в моем доме, и опять, черт знает что, вмешиваются выкрики: «Да здравствует Фронт национального освобождения! Да здравствует боевая группа «Уррака»! — сигаретный дым плавает по залу, женщины на полу, официанты, пустые подносы, разбитые бокалы, «базам — нет! Базы ни за что!» — и свист пуль, пуль, отлетающих рикошетом от стен, Рикардо без пиджака, с распущенным галстуком, окровавленная икра ноги, архиепископ требует немедленно вызвать врача, «сеньор Аросемена потерял много крови», прибыл доктор Фабрега, и снова раздается тот же вопрос: «Доктор, вы один?» — глухой голос, который невозможно спутать с другими: «Да, я пришел один»,— высокий костлявый старик входит через дверь, костлявый и слегка сгорбленный, поправляет свои бифокальные очки, снимает серую соломенную с узкими полями шляпу, прикрывающую блестящую лысину, лысину в сотне золотистых веснушек, выделяющихся на бело-синеватой коже, старик приветствует старческим ворчанием одинаково заложников и партизан, не задерживаясь, осматривает раненую ногу Рикардо; разливается всепроникающий запах йода, спирта и снова йода, слегка кружащий голову, и все мы, вероятно одновременно, подумали, что этот человек лечил нас в детстве и чувство благодарности к старику врачу всех нас объединило; к нему подошел один из партизан: «Пожалуй-

ста, доктор, посмотрите, может, вы и мне подлечите спину»,— молча, но с одинаковой скрупулезностью он дезинфицировал и обрабатывал раны заложника и партизана; Рикардо там, как и здесь, в ресторане, бесстрастно покуривает, медленно пуская кольца дыма, часами не меняя позы, зажигая сигареты одну за другой,— и сейчас он не обращает внимания на ресторанный шум, усиливающийся по мере того, как посетители заканчивают есть, кладут ножи и вилки на тарелки, отодвигают стулья, громко переговариваются, оплачивают счета, уходят; появляется, наконец, официант с кофе — Mrs. Wilson and myself are just delighted to be with you tonight,— проскальзывающие мимо официанты приносят подносы, иные стоят не шелохнувшись, все на одно лицо — my wife and myself are equally delighted to have you over,— гости меняют пустой бокал на полный, фоторепортер из газеты «Ла Эстрелья» наводит объектив на группу: «Миссис Вильсон, сеньорита Мариана, дон Хоакин, дон Рикардо, посмотрите, пожалуйста, вот сюда, в объектив, улыбнитесь, пожалуйста»,— и все улыбаются, с бокалами в руке,— isn't it a nice party, yes, ma'm a nice party, a very nice party,— Рикардо, погруженный в свои раздумья, кажется, очнулся и, взяв чашечку кофе, обращается ко мне, уже не утаивая желания расстаться.

— Итак, до вечера,— говорит он, затем достает авторучку, что-то бормоча под нос, записывает на листочке белой бумаги, допивает кофе и встает.— До свидания,— прощается он,— и спасибо за это,— указывает еле заметным жестом на чашку.

— Не стоит благодарности,— отвечаю я, протягиваю руку и невольно задерживаю взгляд на его пальцах — толстых, пожелтевших от никотина, и как-то неожиданно возникает вопрос: такими ли должны быть пальцы у господина посла в ООН? Прихрамывая, он удаляется, опираясь на тонкую трость из красного дерева,— бедняга, рана, очевидно, продолжает причинять сильную боль, как бы ни скрывал ее Рикардо, но он таков — сплошная загадка, прирожденный дипломат, как о нем сказали, вошедший в нашу революцию через широкую дверь престижа своего молчания; я вспоминаю, Мариана, как около года назад в Нью-Йорке он произнес одну из тех речей, которые обычно хорошо принимают в стенах ООН,— он коснулся истории заключения договора 1903 года, когда в одну из ноябрьских сред государственный секретарь США Джон Хэй вызвал к себе домой представителя французских компаний в Панаме Бюно Варилью на экстренную встречу, и тем же вечером они оба подписали проект договора о провозглашении независимости Панамы до того, как в Вашингтон прибыла на поезде официальная панамская делегация во главе с Амадором и Бойдом, как бурно откликнулись на это присутствовавшие на заседании, какой ажиотаж был среди корреспондентов прессы стран «третьего мира», «шапки» газет гласили: «Правда о Панамском договоре 1903 года: не было никаких переговоров»; «договор 1903 года — аморальный документ, навязанный Вашингтоном и подписанный французом, не имевшим полномочий»; «Панаме не были известны условия договора 1903 года, и она их не обсуждала».

Гарридо смотрит на часы — скоро два, после обеда уже, видимо, нет необходимости заходить в контору, он вернется в свой кабинет, если потребуется решить какой-то особенно важный вопрос, вот тогда он поработает с обычным усердием. К усердию призывала его еще мать, не терпевшая бездеятельности, апатий, безволия. «Никому чтобы и в голову не пришло, что сын Соледад де ла Гуардиа — лентяй! — приговаривала она.— Бездельничают только индейцы! Эти кретины всю жизнь готовы валяться в гамаке в ожидании, когда с пальмы свалится кокосовый орех, хоть бы выбил им зубы!» Моя мать, Мариана,— моя старушка за последнее время очень часто приходит мне на память, ее фигура, как тридцать лет назад, миниатюрная, элегантная, смуглое лицо, улыбающееся, с орлиным носом,— если и ласкала меня, то так сдержанно, что даже я не всегда мог заметить, Мариана, многие и многие часы она проводила за работой, вязала в своей уютной комнате с белыми домотканными гардинами, куда отец заходил очень редко, да и то поздно ночью, однажды я подсмотрел, как на рассвете он подошел на цыпочках, открыл дверь маминой комнаты, еще заскрипели несмазанные петли, а потом донесся сухой шум пружин под матрасом из гусиных перьев, и, по правде говоря, Мариана, я не могу себе представить их тела объединенными любовью, жаром объятий, нет, у моих родителей единение было иного рода, примерно как у нас с Кетой; он никогда не упускал из виду, что был сыном прославленного героя родины Роберто Гарридо, и она — праправнучка Эдуардо де ла Гуардиа-и-Хаэна, родившегося в Пенономэ в 1776 году, правнука, в свою очередь, по прямой линии дона Диего де ла Гуардиа-и-Карильо де Вике, уроженца Пуэрто де Санта Мария в Андалусии, камердинера короля Карлоса II, к тому же рыцаря ордена Сантьяго, армейского капитана,

которому из-за дуэли с трагическим исходом пришлось в 1676 году бежать в Америку, уже в Панаме он создал свою семью, носившую его имя, так что можно вообразить, каковой была эта пара самовлюбленных и всем довольных: она из-за того, что у ее единственного сына — кровь Гарридо, он — потому что породнился с трехсотлетней историей, запечатленной в могильных памятниках.

— Чем мы можем быть вам полезны, дон Тито?

— Счет, Рамирес, я очень спешу.

Метр уходит, парочка, которую я не узнал, приветствует меня, пытаюсь вспомнить, кто они, но бесполезно, здешняя публика — ты, очевидно, заметила, Мариана,— ведет себя весьма панибратски, все клянутся, что они твои друзья, переходят с тобой на «ты», похлопывают тебя по спине, и лишь на том основании, что однажды их представили тебе на каком-то коктейле или на открытии клуба «Холидэй Инн» в Пунта Пайтилье... А где же метр? Он о чем-то оживленно беседует с кассиршей, она обращается к племяннику владельца ресторана, наконец, они услышали, как я барабаню пальцами по пустому бокалу, метр несет счет на квадратном алюминиевом подносике, отвешивает мне изысканный поклон, всего тринадцать бальбоа и двадцать центов, я достаю билет в десять, а затем в пять бальбоа и оставляю их на подносе, меня потянуло зевнуть, вынужден прикрыть рот ладонью, а метр, официант и племянник владельца выстроились в нескольких шагах от меня, я приподнимаюсь, метр и официант бросаются отодвинуть стул, иду к двери, выходящей на улицу, теперь портье, по-видимому получивший указания, спешит ко мне:

— До скорого свидания, дон Тито.

— До свидания, до свидания,— цежу сквозь зубы, а в уме выбираю кратчайший путь к моей конторе, лучше напрямик через гаражи, но нет, спокойнее идти старой дорогой, хотя при этой жаре, Мариана, во влажной духоте совсем нечем дышать; быстрее пересекаю улицу и — плюх! — попадаю туфлей в лужу, оставшуюся от утреннего ливня, ничего не поделаешь, придется все же завернуть домой и переобуться; да, домой, повторяю про себя, и подумать только, еще вчера утром я не знал, выйду ли я живым из этого дома, моего дома, живым, Мариана, я ищу тебя, Мариана, любовь моя, в слогах твоего имени: Ма-ри-а-на, вытираю пот со лба, шеи, перед глазами цветистые рекламы: «Welcome to Panama's Casa de Licores» [1], а далее следует перечень виски и рома — «Джонни Уокер», «Олд Парр», «Канекас», «Чивас Регаль», «Ройял Салют»... Архиепископ вместе с Сэро у двери в то нескончаемое субботнее утро перечисляют имена музыкантов, артистов из народного ансамбля и женщин — я продолжаю шагать по улице: «Парфюмерия Лулу только для элегантных дам»,— вызывают женщин по именам и фамилиям, голоса отдаются эхом в атмосфере всеобщей паники: Мария-де-Гонсалес-Хулия-де-Ривера-Берта-де-Вальярино-Марта-де-Рамирес-Хульста-де - Аросемена-Мариана-Моралес-Мария-Энрикета-де-Гарридо... и Кета, без кровинки в лице, подходит к архиепископу, без кровинки в лице и без своей всегдашней искусственной улыбки «Peninsular Life Insurance Company» [2] страхует Вас от всего», без кровинки в лице, униженно просит: «Ваше высокопреосвященство, вступитесь, пожалуйста, пусть мне позволят взять с собой смену белья для меня и моих троих детишек, они со вчерашнего вечера, то есть с тех пор, как я их послала к своим родителям, ходят все в тех же костюмчиках», и партизан, прищурив глаза, чтобы лучше разглядеть собеседницу, уступает с определенным чувством превосходства: «Мы же сказали вам, сеньора, мы — гуманное движение, уважающее человеческое достоинство, если хотите, можете забрать с собой весь дом, это нас не интересует, вы меня слышите, сеньора, нас-не-интересует,— и затем жестом игрока, который привык делать ставки на все, поскольку у самого ничего нет, присовокупляет: — Да уходите, женщина, уходите сейчас же»,— и ты, Мариана, ты, которая с трудом скрывала свое отвращение к Кете — «импортная фирма принимает к расчетам кредитные карточки»,— ты, которая, быть может, на какое-то мгновение разделяла точку зрения Сэро, с брезгливостью смотрела на Кету, веснушчатую Кету, рыжую Кету, и попросила у партизана разрешения остаться: «Да, парень, не удивляйся, хочу остаться до конца событий»,— а тот, вначале изумившись, согласился: «Хорошо, оставайтесь»,— и я, Мариана, уловил твое чувство торжества перед инфантильным тщедушием моей жены, под наблюдением партизана удалявшейся по коридору дома, все еще всхлипывая, сморкаясь и дрожа, чтобы вернуться сюда с двумя набитыми бельем чемоданами, а Сэро вызывает музыкантов, отдает им

[1] Добро пожаловать в Панамскую ликерно-винную фирму *(англ., исп.)*.
[2] «Страховая компания полуострова» *(англ.)*.

банджо, скрипки, ударные треугольники, маракасы,— затем вызывает артистов из народного ансамбля, официантов, прислугу дома и обращается к ним с торжественной речью: мы, дескать, освобождаем вас, поскольку вы простой люд... Кета все всхлипывала и всхлипывала, она, правда, пыталась отыскать меня взглядом, но вскоре исчезла за поворотом, а напряжение внутри дома все возрастало...— перед глазами мелькают призывы: покупайте — продавайте — берите напрокат — оставляйте в заклад — наслаждайтесь — выбирайте — берите — носите — вкладывайте — оцените сами— блистайте — выделяйтесь повсюду: от Парижа до Сан-Франциско и от Панамы до Мадрида — новость — вдохновение — отличительная черта — символ престижа, элегантности и превосходства... Холл отеля «Континенталь» переполнен, люди снуют туда и сюда — «Сегодня «Патриций и Антония» в кинотеатре «Конкистадор»,— посетители выпивают глоток в баре, подписывают документы, беседуют со своими компаньонами. «...Ну что вы еще требуете от меня... дайте мне только цифры... цифры, дружище»,— играют в казино, курят настоящие кубинские сигары с тем же безразличием, с которым укладываются в кровать с любой, с кем час назад познакомились в «Плейбой клаб» или в «Эль интимо»,— здесь хорошо, Мариана, здесь, вдали от палящего солнца, от солнца, которое мешает дышать, здесь можно провести и минуты и часы,— а что это такое?.. Вероятнее всего, кто-то только что наклеил листовку на голубой кафель стены холла, буквы бросаются в глаза:

НИ СОВМЕСТНАЯ ОБОРОНА,
НИ ОДНОСТОРОННЯЯ ОБОРОНА!
БАЗАМ — НЕТ!
НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ ЯНВАРЬ!

Я снова перечитываю листовку и останавливаюсь на мгновение, чтобы рассмотреть воспроизведенную на ней фотографию окровавленного человека, распростершегося на земле с растерзанным, разинутым ртом, с выпученными, как шары для игры в гольф, глазами, и, черт возьми, спрашиваю себя, Мариана, неужели это действительно лицо панамца, руки и губы мои дрожат, я подсчитываю в уме, да, прошло ровно одиннадцать лет и десять месяцев с того дня — девятого января: для меня девятое января отождествилось и всегда будет отождествляться с письмом моего старика, в котором он сообщал: «Вчера вечером, Тито, наш президент приостановил дипломатические отношения с Соединенными Штатами»,— я пересказываю содержание письма Робертсу, моему профессору международного права, он громко и раскатисто расхохотался, а я, покраснев, закашлялся, задохнулся от стыда и обиды — this makes a fabulous story [1],— и несколько дней спустя, надеясь спасти собственный престиж, я приношу письмо министра иностранных дел мистеру Secretary of State, чтобы мы все в классе могли обсудить его, и голос Робертса, жесткий, полный самоупоения, нас напутствовал: «You must underline the terms, if you find them, gentlemen, the appropriate use of the terms that might denote the conflict between the two countries» [2].

Письмо министра иностранных дел мы читали вслух:

> Господин Государственный секретарь, от имени Правительства и Народа Панамы представляю Вашему превосходительству формальный протест в связи с актами безжалостной агрессии, осуществленными Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, расквартированными в Зоне Канала, против территориальной целостности Республики и ее беззащитного гражданского населения, совершенными вчера вечером и сегодня утром.
>
> Трагический итог необоснованной агрессии, о которой я упомянул выше и у которой нет прецедентов в истории отношений наших двух стран, на сегодня — семнадцать убитых и более двухсот раненых панамцев. Кроме того, имуществу и зданиям, расположенным в некоторых секторах города Панамы, приграничных с Зоной Канала, вследствие бесконтрольных агрессивных действий североамериканских Вооруженных сил нанесен серьезный ущерб.
>
> Бесчеловечная форма нападения полиции Зоны Канала, а затем и североамериканских Вооруженных сил на паломничество не более чем пяти-

[1] Это невероятная история *(англ.)*.
[2] Вы должны проявлять тщательность в выборе терминов, которые могли бы охарактеризовать конфликт между двумя странами *(англ.)*.

десяти обоего пола учащихся средней школы, которые собирались мирным образом развернуть национальный флаг на этой полосе панамской территории, не имеет никакого оправдания. Неквалифицируемый инцидент воскресил в памяти эпизоды прошлого, которые, как мы считали, больше никогда не повторятся на земле континента.

Достойные осуждения насильственные действия, вызвавшие эту ноту, Панама не может ни замалчивать, ни тем более терпеть. Мое Правительство, в полном сознании своей ответственности, воспользуется всеми возможными средствами, которые предоставляют в его распоряжение Право, Региональная американская система и Международные организации, с тем чтобы добиться справедливого возмещения за загубленные жизни, за раненых, за разрушенное имущество, а также применения назидательных санкций к ответственным за подобные бесчинства, и получить гарантии, что в будущем ни Вооруженные силы, размещенные в Зоне Канала, ни гражданское североамериканское население, проживающее на этой полосе национальной территории, не предпримут вновь подобных агрессивных действий против слабого и безоружного, но решительно защищающего свои неотчуждаемые права народа.

В заключение, в связи с имеющимся поручением, информирую Ваше превосходительство, что в связи с ранее упомянутыми событиями Правительство Панамы полагает разорванными дипломатические отношения с Вашим Правительством и вследствие этого направило инструкции Его превосходительству Послу Аугусто Г. Аранго вернуться как можно скорее на Родину.

Пользуюсь возможностью выразить Вашему превосходительству заверения в моем высочайшем уважении.

Письмо...— размышляет по пути Гарридо,— письмо... Это уже мертвая буква. Лишь однажды он задерживается около улицы Феликса Б. Мадуро, привлеченный выставленными в витрине шелковыми рубашками. Великолепные рубашки «Арроу». Он смотрит на них, а преследуют его другие мысли... Девятое января — базам — нет!.. базы ни за что! Как хотелось бы отмахнуться от этих навязчивых мыслей, он даже поднимает руку ко лбу. Хотелось бы забыть убитых, кровь, коллективную истерию, забыть все, чтобы снова стать тем, кем он был до проклятого налета, захвата заложников. Но невозможно! Еще несколько секунд, и вся его гордость... Он ускоряет шаг, вливается в поток пешеходов на виа Эспанья. Отсюда до его конторы рукой подать. Уже чуть больше двух часов пополудни, публика как будто в полном безразличии возвращается в конторы, в банки, в магазины. Он пробегает взглядом очередные объявления: «Сдается контора с ковром, кондиционером, автоматическим лифтом, 30 кв. м.»... «Здесь строится будущая резиденция банка Сантандера и Панамы»... Подальше виднеются две башни церкви св. Кармен — «безобразная неоготическая архитектура»,— как мне комментировал толстый Паоло, посетивший Панаму более пяти лет назад... пять лет — тогда я еще не был женат на Кете, и подумать только, что через десять лет Робертито станет почти мужчиной, а я почти стариком... солнце, дьявольское солнце сжигает меня, заставляет снова надеть спасительные темные очки, в которых я смахиваю на пилота испанской авиакомпании «Иберия», а к ней у меня сердце не лежит... ускоряю шаг — со всех сторон визгливые голоса, выкрики рабочих, команды такелажников, шум грузовиков, рокот гигантских подъемных кранов на строительстве небоскреба Токийского банка; обуреваемый страстным желанием. Мариана, поскорее добраться до своей конторы, отдать кое-какие распоряжения Марте и уйти домой принять холодный душ, наконец, подхожу к двери из солнцезащитного стекла; что за чертовщина? — толпа лиц без имен надвигается на меня, проходит через мои зрачки... базам — нет!.. базы ни за что, Гарридо!.. и то раннее утро тревожного воскресенья...

— Доктор Гарридо, сюда, пожалуйста, взгляните в объектив, пожалуйста.

Гарридо моментально ослеплен фотовспышкой репортера. Опять вспышка, опять и опять. Приходится прокладывать себе путь локтями среди тех, кто поджидал его у лифта.

— Убирайтесь! — цедит он сквозь зубы.

Деревянная дверь его конторы кажется ему такой далекой, пока он к ней приближается, толчок локтем здесь — «Qué sera-t-il du traité, Monsieur Garrido? [1]— другой удар

[1] А что насчет договора, мсье Гарридо? *(франц.)*.

локтем там, наступил кому-то на ногу,— Pensa lei che il Governo deciderá la cuestione delle basi per plebiscito?»[1]—кафель в пятнах аммиака, чьи-то четыре ноги преграждают путь,— «Да фотографируй его лицо, Альваро!..» — он продолжает проталкиваться с помощью локтей,— «Have you talked to Bunker since the assault?» [2] — он быстро оглядывает лица, отводит взгляд,— «Храните молчание, премьер заставил!» — дикий хохот и опять фотовспышки,— «Merde!..» [3] — «Не будь дураком, Гарридо!» — за ним следует неотрывно какой-то субъект в белой тенниске и в белых туфлях:

— Please, Mr. Garrido, John Stuart from the «Wall Street Journal».

— Get lost, will you?

— Please, Sir, it's for more than a million readers up in the States.

— So what...

— It's for your own benefit, Sir [4]. — Я впервые вглядываюсь в него, он торопливо достает редакционное удостоверение, показывает мне.

— O. K. but, you alone, no photographer, you understand? No photographer.

— Thanks a lot.

— Come in, fast, and close the door behind you [5].

Наконец, попав к себе, Гарридо останавливается, порывисто дышит, искоса посмотрел на американца, стоящего рядом, и молча, жестом показал ему на кресло. Марта приносит стакан воды со льдом и подает его Гарридо.

— Спасибо, спасибо... Они застали меня врасплох, черт бы их побрал. Я думал, что иностранные корреспонденты подчинятся премьеру и оставят всех в покое.

— Да что вы, дон Тито! Ведь этим они живут...

Мягкий, привычный голос Марты тонет в гуле, все более и более нарастающем, удары кулаками и ногами в дверь, которую я запер на ключ, слышны выкрики корреспондентов: «Ага, не хочешь рассказать нам о событии века, открой дверь, или мы ее взломаем, негодяй!» — и снова страх охватывает меня, руки и ноги подрагивают.

— Марта, позвоните в полицию, пусть их разгонят. А также сообщите в министерство внутренних дел, в министерство юстиции. Полезно, чтобы и те были в курсе...

— Сделаю немедленно, дон Тито.

Марта остается у телефона, а я знаком приглашаю гринго следовать за мной, даже пытаюсь изобразить улыбку и удержать ее хотя бы в течение минуты на лице, чтобы произвести — пусть с некоторым опозданием — хорошее впечатление на репортера «Уолл-стрит джорнэл»; мы проходим в мой кабинет, и я, Мариана, зажигаю свет, выключаю, подхожу к окну, отдергиваю шторы, оставляю на столе портфель, угощаю сигаретой гринго, он выжидательно стоит, вероятно удивленный тем, что я согласился его принять, и наверняка уже обдумывает свой репортаж и рассчитывает, что было бы неплохо, если его перепечатают в других газетах, а то и переведут на другие языки, а если репортаж окажется прекрасным, кто знает, быть может, отметят премией Пулитцера; репортеру всего лишь тридцать лет, однако за плечами — Вьетнам, теперь вот Панама, раз избрал такую профессию, надо двигаться, бегать, бегать и бегать, ловить события, известия, иначе кто-нибудь перехватит и будешь покрываться плесенью в редакционном архиве, еще хуже — совсем на тебя махнут рукой, будут презирать; глазки Стюарта, будто глазки терьера, спрятавшиеся под бровями в стиле Гленна Форда, зорко следят за мной и, очевидно, ждут, когда приглашу его сесть, подаю этот знак и наблюдаю, как из кармана брюк цвета хаки он извлекает миниатюрный батарейный диктофон и кладет на стол.

— Sir, if you wish, we can speak in Spanish [6].

— Конечно, предпочитаю,— отвечаю я, размышляя, когда же, где и как выучил испанский язык этот человек, но все выясняется без моих расспросов: заговорил он по-испански с явным техасским акцентом.

---

[1] Не думаете ли вы, что вопрос о базах правительство решит путем плебисцита? *(итал.)*
[2] Вы говорили с Банкером после нападения? *(англ.)*.
[3] Дерьмо! *(франц.)*
[4] Пожалуйста, м-р Гарридо, Джон Стюарт из газеты «Уолл-стрит джорнэл».
— Пошел к черту.
— Будьте добры, сэр, это для более чем миллиона читателей в Штатах.
— Ну и что..
— Это в ваших же интересах, сэр *(англ.)*.
[5] О'кей, но только вы один без фотографа, слышите? Без фотографа.
— Большое спасибо.
— Заходите быстро и закрывайте за собой дверь *(англ.)*.
[6] Сэр, если вы желаете, мы можем говорить по-испански *(англ.)*.

— Какую часть населения представляет собой группа «Уррака»? — спрашивает он, выговаривая испанские слова мягко и медленно, едва не выводя меня из терпения.

— Одно предупреждение, молодой человек, и чтобы это было абсолютно ясно: никак не касаться нападения, никак. Поняли? На все остальные темы — с удовольствием, но эта тема, повторяю, под запретом,— подчеркиваю я.

— О. К., О. К., as you wish [1],— отвечает он, хотя ему, бесспорно, не по вкусу установленные мною правила игры, что-то бормочет себе под нос, но — черт возьми — он же должен понять: лучше это, чем ничего. Я не спеша затягиваюсь сигаретой, выпускаю облако дыма, кашляю, встаю и направляюсь к внутреннему телефону.

— Марта, пожалуйста, два кофе. I gather you like coffee?

— Yes.

— Black?

— I suppose so.

— Yes or no?

— Yes, yes [2].

— Черных, Марта, черных.— Я сажусь в одно из кресел напротив Стюарта и продолжаю курить, несколько затяжек одна за другой, и дым уже начинает обволакивать нас; я принял позу полного безразличия, которая на янки обычно производит должное впечатление,— когда же он начнет забрасывать меня вопросами? — еще затяжка, молчание, он готовится к интервью, что-то ищет в карманах брюк, в кармашке белой тенниски, ага, малюсенький блокнот, быстро листает страницы, делает какие-то пометки, исправляет... я провожу рукой по волосам... «Или мы отсюда выйдем все, или все умрем!..» напряжение возрастает, телефон звонит и звонит, голос какого-то репортера, опять тишина и удушающая жара — из-за шума отключены кондиционеры, и снова телефон... по выражению лица Сэро можно понять, что три миллиона долларов собрать не так-то просто, одна из партизанок тщательно обыскивает шкафы, выдвижные ящики письменного стола, других столов, приподнимает ковры, диванные подушки, отодвигает кресла, вскрывает стамеской сейф, но драгоценности и документы оставляет внутри; транзистор Сэро постоянно включен: репортажи, информационные сообщения разных радиостанций, поток новостей и марши, марши, колокольчики, ксилофоны, флейты маршей усиливают напряженность; Сэро приказывает Хоакину, чтобы тот связался с одним, с другим,— «Давай, давай, на колени, звони, стоя на коленях,— с пистолетом у виска его провели к телефону,— говори, скажи этим истеричным хилягам, чтобы умерили тон сообщений, скажи, что с вами обращаемся хорошо, слышишь, что с вами обращаемся хорошо, подонок! — следует пощечина...— что с вами обращаемся хорошо...»

— Когда были начаты нынешние переговоры? — наконец репортер сформулировал вопрос; мы смотрим друг на друга, я пытаюсь сосредоточиться: да, нынешние переговоры... Гарридо, будь осторожен, тебя обвиняют в том, что ты — сторонник пересмотра соглашений,— молчи, я же действительно таков, мы все таковыми являемся, и он тоже, да-да, Мариана, он, полковник, он также сторонник пересмотра договоров, как и многие другие, но утверждают и противоположное, иные даже бросают ему обвинение, что он — коммунист, слова еще ничего не значат, суть — в действиях, и надо принимать его, каков он есть, речь идет об умеренном деятеле, это следует признать, об умеренном, но смелом деятеле, своеобразном продукте среднего учебного заведения Сантьяго и «Эскуэла де лас Америкас» в Форте Гулик [3].

— Как вы знаете...— начинаю я говорить,— это очень долгая история, но ее нужно обязательно напомнить, да, история в самом деле длиннющая,— я устраиваюсь поудобнее в кресле, зажигаю новую сигарету и предлагаю Стюарту сигарету из пачки,— как вы знаете,— повторяю я,— Панама и Соединенные Штаты еще в 1962 году условились начать переговоры о новом соглашении, когда наш президент Чиари посетил президента Кеннеди в Вашингтоне, но из этого ничего не получилось, пока не произошли январские события 1964 года...— Я делаю паузу и смотрю на диктофон, который вращается, вращается и вращается.— В январе 1964 года,— продолжаю я,— отношения между Панамой и Соединенными Штатами достигли своего критического состояния из-за

---

[1] О'кей, о'кей, как вы пожелаете *(англ.)*.

[2] — Думаю, вы не откажетесь от кофе?
— Да.
— Черный?
— Очевидно, да.
— Так да или нет?
— Да, да *(англ.)*.

[3] Военно-учебный центр в Панаме, организованный и руководимый Пентагоном для переподготовки офицеров латиноамериканских армий.

достойных сожаления событий в результате «инцидента с флагом», превратившего разделительную линию между Панамой и Зоной Канала в настоящее поле сражения...— я достаю носовой платок и отираю пот («Ни совместной обороны, ни односторонней обороны, базам — нет, январь всегда с нами!»),— эти беспорядки были вызваны неподчинением группы слушателей американской высшей школы в Бальбоа [1] указанию президента Кеннеди о том, что панамский флаг должен развеваться рядом с флагом Соединенных Штатов на всех общественных зданиях Зоны Канала, и то, что вначале показалось вспышкой молодежного ослушания, вскоре вылилось в столкновение Вооруженных сил Соединенных Штатов в полном боевом снаряжении с панамским гражданским населением, это столкновение привело к трагическому результату — двадцать четыре человека убитых, сотни раненых, огромный материальный ущерб, правительство Панамы установило, что республика стала жертвой агрессии, и разорвало отношения с Соединенными Штатами,— я снова отираю носовым платком лоб и в который раз, Мариана, вспоминаю профессора Робертса — «you must underline the terms, gentlemen, the appropiate use of the terms that denote the conflict between the two countries»,— Марта появляется с подносом в руках и предлагает нам по чашке кофе.

— Спасибо, Марта, спасибо,— говорю ей, а она только улыбается и уходит... да, the appropiate terms, gentlemen,— в памяти всплывает письмо моего отца: президент вчера вечером приостановил на время отношения с Соединенными Штатами; юристы отмечают, что президент не знает, что говорит, дипломатические отношения не приостанавливают, их разрывают; я рассказываю об этом Робертсу, а в ответ следует его громкий хохот, да, только хохот, едва не сотрясающий стены, а я, раскрасневшись, задыхаюсь от кашля,— «This makes a fabulous story, young man, a fabulous story»,— это невероятная история, юноша, невероятная история,— я поворачиваюсь, чтобы увидеть Стюарта, тот невозмутимо сидит и выжидает.— Так о чем я, ах да, о разрыве, хорошо...— продолжаю я,— благодаря посредничеству Организации американских государств обе наши страны восстановили дипломатические отношения в апреле того же года, а в июне президент Джонсон и Чиари подписали совместную декларацию, согласно которой оба государства договорились возобновить диалог для выработки нового соглашения, «чтобы навсегда устранить причины конфликта между двумя нациями...»

— Об этом кое-что уже известно, мистер Гарридо,— прерывает меня Стюарт,— а чем же завершились переговоры?

— Конечно, конечно, мой друг, переговоры продолжались три года и завершились подписанием трех соглашений, которые потом стали называть «триединством»; мы, как и многие панамцы, расценивали эти соглашения как значительный прогресс для Панамы в ее длительной борьбе за освобождение от тяжелых и пагубных для нас условий договора Хэя — Бюно Варильи, но политиканы, находившиеся в оппозиции к президенту Роблесу, начали шумную кампанию против новых соглашений, и Роблес, не рассчитывавший на поддержку Национальной ассамблеи, воздержался представить ей документы для изучения и ратификации...

Наклонив голову, я вытираю обе руки — опять выступил пот,— вспоминаю моего отца, стоявшего с опущенной головой, Мариана, старик тогда впервые почувствовал себя потерпевшим поражение — президент отказался формально представить соглашения Национальной ассамблее; «Я пропал, пропал»,— повторял он и даже попросил у меня совета, находясь рядом с ним, я впервые почувствовал себя полезным, участились посещения Законодательного дворца в любое время, беседы с другими депутатами, и ночью и днем, и снова ночью, и в часы рассвета, ощущался все нарастающий нажим со стороны народа, тогда как политические партии сдавали свои позиции, склоняясь перед насилием, под влиянием того, по рекомендации этого, пока в один прекрасный день — бах! — все лопнуло, соглашения не будут представлены депутатам; мой отец укрылся за стеной молчания, тщетно другие законодатели атаковали его телефонными звонками домой — дзинь-дзинь-дзинь круглые сутки,— сообщения в прессе, по телевидению, по радио, уличные демонстрации, ожидалось, что и Роблес вот-вот падет, в любой момент может пасть...

— Каковы принципиальные завоевания договора 1967 года? — спрашивает меня Стюарт, а мне, Мариана, сейчас даже этот год кажется таким далеким-далеким, Мариана, вновь повторяю твое имя и вновь вспоминаю прошлое, вот я сижу вместе с моим отцом, мы оба записываем, подчеркиваем, вычеркиваем; «Папа, представь эту

[1] Бальбоа — административный центр Зоны Панамского канала, находящейся под юрисдикцией США.

памятную записку президенту, пусть народ узнает, что от этого выиграет»,— «Это бесполезно, Тито, президент — проигравший человек, теперь здесь командуют партии, а ему они отказали в поддержке»,— я смотрю на часы, уже полтретьего, мокрые туфли раздражают, как было бы здорово принять сейчас холодный душ, беру чашку, кофе опять горчайший.

— Основными завоеваниями этого договора были,— быстро перечисляю: — Во-первых, аннулирование договора Хэя — Бюно Варильи. Во-вторых, передача Панаме в 2000 году Канала со всеми его активами, как-то: зданиями, оборудованием, портами в Бальбоа и Кристобале и так далее... В-третьих, участие Панамы в управлении Каналом в рамках директивного совета, состоящего из четырех панамцев и пяти североамериканцев, иными словами, в рамках нового международного юридического учреждения, которое руководило бы операциями на Канале вплоть до передачи последнего Панаме в 2000 году. В-четвертых, увеличение ежегодных отчислений от эксплуатации Канала приблизительно до суммы в 35 миллионов долларов. В-пятых, немедленная передача Панаме значительных участков Зоны Канала, включая территории по обеим сторонам перешейка, в том числе территорию базы «Франс Филд». В-шестых, прекращение в течение ближайших пяти лет осуществления американским правительством своих функций характера юрисдикции в таких областях, как полиция, пожарная охрана, почта, судебная администрация, здравоохранение, просвещение и т. п. И, в-седьмых, немедленное восстановление налогового суверенитета Панамы в Зоне Канала.

Я выложил ему всю историю, как говорится, от «а» до «я», а он только поглядывал на меня, покачиваясь в кресле, лицо его расплывается в дыму, он потягивает кофе, поджимает губы, помечает что-то в своем блокноте; «Ты — циник,— говорил мне Сэро, не выпуская автомат из рук,— ты привык всю жизнь балансировать ради своей выгоды, а со страной будь что будет, а? Будь что будет, дерьмовый аристократишка»,— а почему бы и нет, к чему этот надоедливый провинциальный детерминизм партизан, такую позицию приходилось занимать ради интересов родины,— а все остальное? Черт возьми, вопрос лишь в том, чтобы привыкнуть, приспособиться, отец несколько раз говорил мне: «Если полковник тебя позовет, ступай, сын мой, отбрось предрассудки и ступай, а то нас сожрут коммунисты»,— и в апреле семьдесят первого года меня позвали, и я согласился начать переговоры, поездки туда, сюда — из Панамы в Вашингтон, из Вашингтона в Панаму,— Кета и я в ту пору еще молодожены, она в истерике, почему я оставляю ее одну так надолго; США тогда занимали более непримиримую позицию, чем в шестьдесят седьмом году, время шло, пролетел год, и никаких результатов, только поездки,— я смотрю на Стюарта, он ведь должен знать эту историю, этот faux pas, конечно, он должен знать,— а когда мы от имени правительства Панамы изложили особый характер наших требований и наших контрпредложений, это вызвало бурю гнева в Вашингтоне, переговоры были парализованы, а напряжение в отношениях между двумя странами все возрастало и возрастало и достигло своей кульминации в марте семьдесят третьего года, когда здесь, в панамской столице, проходила выездная сессия Совета Безопасности ООН, посадившего Вашингтон на скамью подсудимых, и американский посол Скали — бледный, глаза остекленели — наложил вето на резолюцию о восстановлении суверенитета Панамы над Зоной Канала, проект которой мы и другие страны представили Совету Безопасности; несколько месяцев спустя — поворот в позиции Вашингтона, Банкер назначен главой делегации США на переговорах...— Стюарт неизвестно что записывает в свой блокнот.— Чтобы дать более конкретный ответ на ваш вопрос,— продолжаю,— можно сказать, что нынешний раунд переговоров ведет свое начало от визита в Панаму мистера Киссинджера в феврале семьдесят четвертого года и от провозглашения Декларации принципов, так называемого «Соглашения из восьми пунктов»...— Закуривая новую сигарету, я закашлялся, мне мешает дым, искоса поглядываю на Стюарта — если бы он знал, Мариана, если бы он знал, каким личным триумфом для меня было подписание этого соглашения — основы для дальнейших переговоров; часы, дни и месяцы напряженной работы по подготовке проекта, который сохранил хотя бы что-то из того многого, что мы потеряли в связи с отклонением договора 1967 года, и затем представление в семидесятом году проекта в совет министров, который тогда же было заявил, что такого рода проект не может служить основой для новых переговоров, в конце концов наше правительство приняло тот же проект и, в свою очередь, предложило его Вашингтону, а там пошли на уступки, впервые за многие годы пошли на уступки, к сожалению, мы слишком поздно открыли, что это был лишь жульнический трюк мистера Киссинджера с целью избежать обсуждения проблемы

Канала на Межамериканской сессии ОАГ, которая вскоре должна была состояться в Тлателолко [1], но — черт побери! — люди иногда кое-что забывают да и не воспринимают дипломатических ухищрений, Соглашение в итоге подписали, и мы могли превозносить его как великое завоевание, оно и было так воспринято.

— Что вы думаете, мистер Гарридо, о перспективах ратификации договора в конгрессе Соединенных Штатов? — спрашивает Стюарт, даже не взглянув на меня, будто обращается к диктофону или ковру, и я вдруг понял — он великолепно знает всю подноготную этой истории, ловкий тип и, конечно, удачлив, он бесспорно сделает карьеру в «Уолл-стрит джорнэл», поскольку и сейчас задает вопросы, которые нравятся полутора миллионам читателей газеты там — в Далласе, Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или во Флориде, и я стараюсь продумать так мои ответы, Мариана, чтобы завоевать симпатии бизнесменов, я должен сказать все что угодно, лишь бы успокоить их в вопросе об инвестициях, ибо капиталовложения Соединенных Штатов у нас достигают почти трехсот миллионов, а все-таки нужно создать «образ» стабильного коммерческого центра; откашлявшись, я говорю более уверенным тоном:

— Прежде всего я не думаю, что мы должны исходить из возможности предварительного вето в связи с резолюцией, подписанной тридцатью семью сенаторами. Сенаторы выражали свое несогласие с любым отказом Соединенных Штатов от своих «суверенных прав» в Зоне Канала, ссылаясь на поправку, принятую конгрессом и запрещающую финансирование любых переговоров, которые лишили бы Соединенные Штаты их прав на Канал.

— Мистер Гарридо,— опять прерывает меня Стюарт,— я был бы очень благодарен, если бы вы мне пояснили, на чем основывается ваша столь оптимистическая позиция.

— На том, что вы лучше, чем кто-либо, знаете, что дискуссии в сенате — это еще не все, к тому же есть разница между поддержкой резолюции и голосованием за договор большего значения.

— А что предпримет Панама, чтобы создать благоприятное о себе представление в сенате? — Я вижу, как на лбу Стюарта собираются и разбегаются морщины.

— Это не только забота Панамы, это наша совместная задача, Стюарт,— отвечаю я.— Кроме того, как я понимаю, государственный департамент уже начал кампанию в Соединенных Штатах, разъясняя в общей форме цели этих переговоров, утверждая, что уже достигнут определенный успех. По мнению делегации, возглавляемой послом Банкером, многие из сенаторов, подписавших резолюцию, выразили свое возражение лишь против чего-то еще несуществующего, но они изменят свою позицию, как только договор станет материально ощутим. И, разумеется, об обстановке в Вашингтоне делегация Соединенных Штатов имеет лучшее представление, чем мы. Недавнее выступление мистера Киссинджера в Питтсбурге с заверениями, что Соединенные Штаты будут и впредь защищать свои жизненные интересы в Зоне Канала, обороняя последний, вызвало большой отклик в американской печати, и это, естественно, повлияет на сенаторов, как и открытые обсуждения в университетах и других общественных местах, где молодежь, полная активности еще со времен войны во Вьетнаме, оказывает нажим на общественное мнение США.

— Пентагон как будто принимал участие в переговорах? — спрашивает он меня, я понимаю, что круг смыкается, что репортер подойдет к проблеме американских военных баз в Зоне Канала.— Какое значение имеет это?

— Большое. Пребывание здесь, в Панаме, на прошлой неделе генерала Долвина воспринято с удовлетворением, это говорит о том, что непосредственное участие министерства обороны в переговорах поможет устранить подводные камни, которые до сих пор мешали. Включение генерала Долвина в состав делегации вместе с послом Банкером окажется весьма результативным и полезным,— повторяю я прежнюю идею, но это неважно, полезно еще раз подчеркнуть.— Генерал, очевидно, передаст своим коллегам в Пентагоне информацию о тех фактах, которые заинтересованные компании пытались скрыть или исказить, чтобы затруднить ход переговоров, а тем самым воспрепятствовать их завершению и подписанию нового договора, который столь важен для обеих сторон...— Перед моими глазами мелькают недавние эпизоды: партизаны врываются в мой дом, пули отлетают от стен рикошетом, разбивая бокалы, бутылки, пепельницы,— базам — нет! базы ни за что! — проходят часы, а архиепископ не возвращается, удушливая полуденная жара, известия по радио; полковник вернулся на своей авиэтке с острова Контадора, где он проводил уик-энд и куда ему сообщили о происходивших собы-

[1] Район в городе Мехико.

тиях; как раз сейчас архиепископ должен сообщить ему условия партизан, от которых зависят наши жизни, а партизаны постоянно держат нас на мушке и готовы стрелять в любую минуту; Сэро подходит ко мне: «Аннулирование договора Хэя — Бюно Варильи, ликвидация юрисдикции янки «на вечные времена» в Зоне, возвращение нам суверенитета над Каналом, чего мы никому и никогда не продавали и не передавали,— не так уж много, аристократишка дерьмовый, нынешние же переговоры — фарс чистой воды, конфетка, чтобы подсластить пилюлю для глупых и невежественных, все дело в военных базах,— Сэро протягивает мне какие-то бумажонки,— вот тут сказано о гнете милитаристской машины,— он размахивает листовками,— мы выгоним отсюда этих преступников и, кстати, вас вместе с ними, мы покончим со всеми вами... читай, мы обклеим весь твой дом листовками, вся страна должна знать это...» — я читаю:

Совместная оборона — это только
предлог, чтобы продолжить
военное присутствие янки в Панаме,
совместная оборона — совместное угнетение,—

партизанка расклеивает листовки на стенах зала, коридора, приемной, где они держали под стражей тебя, Мариана, вместе с Фернандо Мартинесом и с моим кумом, то есть с Биллом Ариасом, с министром Рамиресом и Риверой, и ты наверняка прочла эти бумажки, и все остальные тоже их читали:

Офицеры, которых фабрикует
«Эскуэла де лас Америкас» —
эта созданная янки колыбель преступников,—
не могут быть защитниками интересов народа.

Возвращение Зоны Канала
должно стать завоеванием народных масс,
Зона Канала должна принадлежать народу
и не служить предметом дележа
между олигархией и военщиной.

Панамский народ в своей
борьбе против империализма
готов принять реальную помощь
от других народов Латинской Америки,
а не от фашистских диктатур,—

и снова голос Сэро: «Три миллиона долларов мы пустим на приобретение оружия, и наша партизанская борьба покончит с предателями, врагами родины»,— а время идет, я пытаюсь сохранить спокойствие, выдержку, а время идет, и твое имя, Мариана, все чаще и чаще срывается с моих губ, Хоакин уже понял значение этого имени, твой голос слышится издалека, ты разговариваешь с одним из партизан...

— Какова позиция Панамы на настоящих переговорах? — Я успокаиваюсь, уже раскусил его заход насчет баз. Закуриваю еще сигарету, затянусь раз, другой перед тем, как ответить, и после ответа, а затем извинюсь — гляжу на часы: без четверти три,— через два часа мне надо быть в Президентском дворце.

— В том, что касается наших суверенных прав, мы занимаем твердую позицию,— отвечаю я.— Но в то же время нельзя не учитывать тот факт, друг, что основным клиентом Канала являются Соединенные Штаты, следовательно, если мы хотим делать бизнес, то должны оставаться в хороших отношениях с вами.— Произнеся это, я поднимаюсь, подхожу к письменному столу, беру портфель, подтягиваю узел галстука, застегиваю пиджак, подаю Стюарту руку.— Итак, считаем, что на этом закончили наш диалог,— говорю я,— надеюсь, вы удовлетворены.— А он, застигнутый врасплох и, по-видимому, разочарованный, также протягивает мне руку, выключает диктофон, прячет его в карман.

— Thank you, Sir, you've been most kind to receive me.

— My pleasure, boy, my pleasure [1],— отвечаю я, провожая его до двери, а в комнате секретаря Марта уже улавливает мое настроение, тем более я перестаю улыбаться и быстрым жестом показываю ей на корреспондента, чтобы она не выпускала его из виду, пока он не уйдет, наступает тишина, не слышен стрекот пишущей машинки, я возвращаюсь в свой кабинет, закрываю за собой дверь, достаю из ящика письменного стола документы, которые Марта пометила красным карандашом «срочно», подписываю их, невероятно хочется принять холодный душ и с минуту полежать, погрузившись в ванну, нет, лучше полежать подольше; а те заявления сенатора Термонда, что Зона Канала, дескать, является территорией Соединенных Штатов, что последние ее купили, как Аляску или Луизиану... однако посол Банкер опроверг это утверждение в

[1] Спасибо, сэр, вы были так любезны, приняв меня.
— С удовольствием, молодой человек, с удовольствием *(англ.)*.

Лос-Анджелесе, подчеркнув, что нет, это вредный миф, десять миллионов, которые были уплачены в девятьсот четвертом году, предназначались в обмен на права, предоставленные им Панамой по договору, и, следовательно, наше присутствие в Зоне должно основываться на условиях договора, но не в ущерб суверенитету,— как же я упустил напомнить это Стюарту? — упустил, жаль, но не стоит слезы лить по сбежавшему молоку, я также ничего не сказал и об экономическом значении Канала для янки, но, может быть, так и лучше, неминуемо пришлось бы задеть и другую тему — военную, а уж после наверняка коснуться и вопроса о базах, о заложниках,— позову-ка Марту, пусть она распорядится, чтобы мне подали машину, а я спущусь по запасной лестнице, четыре этажа — черт побери! — сколько лет, как не занимался подобными упражнениями.

— Марта, скажите, пожалуйста, Седеньо, чтобы он подогнал машину как можно ближе к черному ходу и ждал меня с включенным мотором, я сейчас спущусь.

— Да, дон Тито.

— И кроме того, посмотрите, пожалуйста, нет ли в коридоре посторонних, все ли ушли.

— Хорошо. Да, кстати, в последних известиях «Радио Революции» передает заявление монсеньора в Триполи.

— Как?

— Передает сейчас.

— Но разве не были даны указания не касаться этого?

— Как видите.

Я перехожу в дальний угол кабинета, где у меня стоит стереофонический приемник, включаю радио и одновременно беру сигарету, слышу визгливый голос, прерывающийся голос дикторши, уменьшаю громкость, ворвались рекламные объявления, местная информация, извещения партийных организаций, а вот и голос архиепископа, доносится еле слышный, усталый голос: «...в самолете я сел около иллюминатора, чтобы иметь возможность откинуть голову и немного поспать, не спал уже две ночи, начиная с субботы, и буквально через пять минут после старта один из юношей, между прочим побывавший в тюрьме, подсел ко мне и сказал: «Простите меня, не даю вам отдохнуть, но всем нам хотелось бы поговорить немножко с вами»,— мы начали с ним беседовать, спустя некоторое время он уступил место своему товарищу, и так они менялись по очереди, шли часы, наконец мы прибыли в Триполи — почти двадцать часов полета с одной лишь посадкой на несколько минут в Дакаре для заправки самолета; во время перелета никто не мог уснуть, возбуждение у всех было огромно, и когда, наконец, самолет приземлился, на борт поднялись представители ливийских властей и приказали сойти первыми членам боевой группы «Уррака» Фронта национального освобождения, а за ними — дипломатам; сейчас мы, господа члены дипломатического корпуса и я, находимся в специальном зале аэропорта Триполи, где нам оказывают особое и всестороннее внимание, угощают съестным, прохладительными напитками, пока мы ожидаем вылета обратным рейсом в Панаму, который, как объявляют, состоится примерно через час, более или менее...» — Голос монсеньора смолк, его сменил другой голос — голос дикторши, пронзительный, экзальтированный, опять послышались марши, не глядя, закуриваю сигарету, неудачно — обжигаю большой и указательный пальцы, прижимаю их к губам, сплевываю и выключаю радио — хватит, бог мой, хватит! — громко хлопнув дверью, выхожу из кабинета.

Гарридо медленно спускается по бетонным ступенькам внутренней лестницы здания, предназначенной только для экстренных случаев: пожаров, отключения электроэнергии, редких землетрясений,— под бременем перенесенных ударов он даже сгорбился, а тут с каждым шагом надо спускать сто семьдесят пять фунтов своего веса. «Пользуйтесь внутренней лестницей лишь в экстренных случаях»,— повторяет он, морщины на лбу, складки, недавно появившиеся у губ, стали более резкими за эти дни, их уже никак не спрячешь, что-то они перечеркивают в его молодцеватом атлетическом облике. Весь он как бы серьезно обесценился после пережитого, измочален, словно за один рывок проскочил на «мерседесе» со скоростью 150 километров в час до Коста-Рики, конечно, через Холм Смерти и по Панамериканской автостраде с ее выбоинами и обвалами. Губы его слегка шевелятся — считает: пройдено еще двадцать, восемьдесят, девяносто ступеней... здесь темно, спускаешься и думаешь, Мариана, думаешь, что там, в Лас Кумбрес, мы поднимались и спускались, даже не переводя дыхания, поднимались и спускались по дороге, на которую неумолимо наступали тропические растения, пышные растения, которые, словно опьяненные воздухом, бурно разрастаясь, захватывали

в свои владения узкую дорожку от шоссе к дому и от дома к озеру, где ты и я столько раз купались при луне, в ночной темноте, наши тела как бы выплывали из мрака, вот ты на фоне ночи, думаю о твоих бедрах, несколько полноватых, думаю о твоем почти детском целомудрии, с каким ты полностью отдавалась природе, обнаженная, когда ты бросалась навзничь на траву, срывала один-другой дикий цветок, подносила его к губам, играла с ним долго-долго, молча, пока я тебя ласкал, ласкал не спеша, целовал дюйм за дюймом всю тебя, и вот только сейчас мне вспомнилось, что за все четыре месяца нашей близости никогда, Мариана, даже в моменты полной интимности, даже когда, распластавшись на земле, мы словно сливались с землей, становились самой землей, становились вселенной во вселенной, твои губы ни разу, ни разу не произнесли, что ты меня любишь,— еще двадцать ступеней,— ни разу, Мариана, почему же? скажи, почему ты говорила лишь о наших отношениях, Мариана, «об этой связи, Тито, которая нас объединяет»? и только иногда твои слова имели особое звучание, которое я так и не смог распознать — что за этим скрывалось? — и к тому же как ты притворялась! — ты просто мастерски притворялась перед Кетой, да, перед Кетой, вряд ли она подозревала нас в чем-то, нет, но послушай, Мариана, скажи, эта связь, или как ты ее называешь, была для тебя чем-то бо́льшим, чем простым приключением, конечно, скажи мне, что да, я требую, нет, я умоляю тебя, чтобы ты на этот раз оставила свой обычный иронический тон в оценке событий и фактов, давая всему откровенное определение в твоей острой, бросающей в дрожь манере, и только сейчас я понимаю, что, говоря так, в лучшем случае ты как бы цеплялась за минуты наслаждения, зная, что в состязаниях со временем нужно выжимать все из наших лет, пока мы еще тут, поднялись на пик жизни, находимся на ее вершине, а ведь это так недолго, почти совсем ничего, дорогая, пока не появятся морщины, мешки под глазами, огромная лысина, варикоз, хрупкими станут сосуды, пульс будет лихорадочным, но скажи мне: уже и в то время ты была уверена, что всему придет конец, или не хотела подгонять события? — ты же всегда была, еще с тех пор, как тебя помню, такой естественной, я бы сказал, откровенной, в своей правдивости становящейся иногда даже крутой и резкой, Мариана, я целовал твои губы, постепенно приоткрывавшиеся, нежные, влажные, податливые перед натиском моих губ, ты была самой стихией, любовь моя, но ты заронила у меня сомнения в отношении меня самого, моих раздумий, в отношении серии формул и догм, господствующих надо мной и которые, как это глупо, чуть было не определяли форму, в какой мне надобно выражать свои чувства,— болван же я, черт возьми, Мариана, любовь моя, каким болваном я был! — твое дело, как и вся ты, твое обнаженное, чистое тело, которому нечего скрывать, откровенное, сплошная беззащитность, зовущая любить тебя, обнимать тебя, владеть тобой, чтобы впитывать в себя каплю за каплей твой чистый смех, твой открытый взгляд, твой прямой взгляд на жизнь, твою живую любознательность, даже твою иронию, которая помогала мне раскрывать в новом свете самого себя и других, а твоя нежность как бы снова возрождала меня к жизни,— последняя ступенька лестницы позади, открываю дверь, наконец-то дневной свет! Седеньо с автомобилем поджидает меня.

— К вашим услугам, дон Тито!

— Спасибо, дорогой, спасибо. Зайди завтра к нам в контору.

— Хорошо. Вы же знаете, дон Тито, мы всегда к вашим услугам.

— Знаю, старина, знаю. Не забудь зайти завтра...

Я быстро даю задний ход, минуя гараж и автостоянку, а солнце тотчас же заставляет меня достать темные очки, три часа пополудни, солнце проникает сквозь кроны деревьев, выстроившихся вдоль улицы, на которой никак не могут ни засыпать выбоины, ни зарыть канавы; минуя здания старого колониального стиля, купленные американцами, французами, швейцарцами, немцами, которые перестраивали их в банки, рестораны или магазины; как хочется, Мариана, вернуться в прошлое, возвратиться в давнее, отбросить время назад; фонтаны, всюду царит покой, я в свои восемь лет, за ручку с тетушкой Исабель, вместе с ней посещаю супружескую чету старых никарагуанцев, старых политических эмигрантов; «Добрый день»,— они только что построили этот дом или тот двухэтажный, где теперь разместился один из семидесяти с лишним банков, насчитывающихся у нас; я, открыв рот, слушаю рассказы старика, как он воевал против американской морской пехоты[1]: «Мы с пистолетами в руках взбирались по Койотепе, маленькая горсточка людей, но мы были настоящие мужчины и потому сражались против войск захватчика»,— мой рот раскрывался бы все шире и шире, если было бы воз-

[1] Речь идет об оккупации Никарагуа морской пехотой США с 1912 по 1933 г.

можно, старик потрясает руками, а тетка Исабель толжает меня локтем: «Прикрой рот, Тито, не распускай слюни»,— старик пристально и сурово смотрит в окно или на дверь: «Сомоса никому не позволяет вспоминать войну 1912 года против янки, он всего-навсего большая марионетка в руках североамериканских живоглотов Рузвельта, Трумена и тех, кто после них». Тетка Исабель отсидела ногу, меняет позу: «С нами не выпьете прохладительного ананасного?» — тетку интересуют только колумбийские дела, ну в крайнем случае наши панамские, и она оговаривает меня: «Тито, или ты прикроешь рот, или никогда больше я не буду брать тебя с собой». Умирая со стыда, я смотрю во все глаза на взрослых, старик меня приглашает: «Заходи, сынок, заходи в другой раз один, сам заходи»,— но зайти к нему мне больше не пришлось, и только услышал я о нем, когда он умер, а его дети уехали жить в Майами, там, по слухам, стали миллионерами; я быстро пересекаю одну улицу, вторую, мелькают деревья, один светофор — красный, второй, поворот, выезжаю на улицу Самуэля Льюиса, небоскреб, храм Сердца Марии, два жилых, недавно выстроенных здания, движение транспорта сумасбродное, поворачиваю направо, новые жилые дома как в Форте Лаудердэйл — как мало воображения у наших архитекторов, впрочем, в этом, может быть, не только их вина, вспоминаю, как Кета искала эскизы, заказывала макеты, о которых говорилось в журнале «Хаус бьютифул» — «Прекрасное жилище» — в разделе «Вы также сможете иметь свой дом-мечту», и эти планы, эскизы, мечты, черт бы их забрал, потоком поступали по почте вместе с кучей разной дребедени, а Кета объясняла мне, что не могла устоять перед искушением всяческих умопомрачительных рекламных объявлений, и вот прибыл к своему дому в две тысячи квадратных метров, мой дом, модель № 111 258 «Тропическая мечта»,— творение анонимного архитектора; план его привязал к местности и юридически оформил кум моего тестя, он уже более тридцати лет занимается своей профессией и, кстати, президент весьма популярной строительной фирмы; Элиас заметил меня, торопится открыть ворота, въезжаю, ставлю машину рядом с темно-розовым «ягуаром» Кеты, выхожу из машины, и вдруг возникает какое-то неприятное ощущение, черт его знает, то же самое, что и вчера вечером, и позавчера вечером, нужно подавить его, хорошо, но как?

— Сеньора и дети дома? — спрашиваю я Элиаса.

— Нет, сеньор, машина ее отца заехала за ними рано утром, до сих пор не вернулись.

— Ага. Все в порядке?

— Да, сеньор, никаких новостей.

— Хорошо. А ты? Как твои дела?

— Да так, ничего.

— Ну-ну...— и не добавив ничего, вхожу в дом; Фелисидад, служанка, убирается, меняет цветы в вазах; оглядывая зал, столовую, гостиную, сорванные листовки, на стенах — следы от пуль.

— Добрый день, сеньор.

— Добрый.

— Сеньора еще не вернулась.

— Я знаю. Каменщики не пришли?

— Нет, сеньор.

Я направляюсь в спальню, сбрасываю пиджак, вешаю на плечики, сдегка распускаю узел галстука и снова выхожу в зал, чтобы налить себе виски со льдом, с водой, с содой, виски без всего, только бы забыться.

— Пойду приму душ,— извещаю служанку, а она смотрит на меня с изумлением, да и сам я удивлен не меньше: во имя какого святого поделился с ней? Ванна наполняется свежей водой — почти холодной, и наконец я погружаюсь в нее и потягиваю виски, один глоток за другим, лежу неподвижно, еще глоток и еще один, Whisky-Something-Special, лед во рту, охлажденное виски опускается до желудка, а вода в ванне становится все более и более холодной, наверное, прошло уже четверть часа, прежде чем стал мылиться, вволю ополоскался, заворачиваюсь в полотенце, желтое махровое полотенце с большой зеленой монограммой, подхожу к шкафу за чистым бельем, надеваю все как обычно, изо дня в день...

Полуодетый, он смотрит на свое отражение в трельяже Кеты, берет спичку, сигарету, зажигает и, погруженный в раздумья, наблюдает за пламенем, за дымом, опустившись в кресло, закрывает глаза; обстановка в комнате ему известна, может ее

описать на память: круглый столик с телефоном, резная кровать из красного дерева с балдахином и прочим, «Toile de joie» de F. Schumacher and Company [1], которое не только покрывает, но и украшает кровать, бежевый ковер, темный комод с фигурками из каррарского мрамора, ранее принадлежавшими прабабушке по линии де ла Гуардиа. Он протягивает руку, чтобы слегка коснуться хрустальной вазы с красными розами. Нравится ли что-нибудь ему в этой комнате?..— нет, об этом не может быть и речи, кто же, Мариана, это знает лучше, чем ты? Я встаю, понемногу подбираю одежду, где же темный костюм, да, тот, который сшит у Бетеша для национального праздника, снимаю с вешалки пять, семь, десять костюмов, все темные к тому же, а мне не нравится черное, и серое мне тоже никогда не нравилось, а вот и он — теперь, любовь моя, я с головы до пят разряжен, как вдова, недостает лишь черной вуали: рубашка и галстук серые, ботинки черные, носки черные, разодет, как твои старые тетки-девы; да, я дома, до последней пятницы здесь протекала моя жизнь, в этих стенах заключался мой микромир, которого, казалось, было мне вполне достаточно. Собираю белье, осторожно раскладываю его на кровати, старая привычка, которую я наверняка унаследовал от моей няни-негритянки, от моей вечно накрахмаленной няни, привычка, вызывавшая возмущение моей матери, а после и Кеты. «Я тебе уже говорила, что так ты перемнешь все и можешь испортить постельное покрывало!» — а после и Кеты, повторяю еще раз, повторяю ее имя, да-да, веснушчатая Кета, моя жена, рыжая Кета, мы оба, распростертые на этой самой кровати, обнаженные, ее тело в веснушках, которое мне нравится и вместе с тем противно и которое ничем не напоминает твое тело, Мариана, Мариана — любовь моя; тело Кеты без тайн, без открытий, мы оба были просто представителями двух полов, секс без желания, секс, заключенный в окаменевшие отношения, и раз и два очередное возбуждение и пустота, своего рода неписаный пакт, дьявольщина, она и я прекрасно знаем, что никто из нас не решится нарушить раз и навсегда установленные нормы; конечно, Мариана, тебе я не открываю ничего нового, ничего, что бы ты не предвидела с самого первого момента, с той самой ночи в доме Тересы, когда ты произнесла памятный тост «за Кету, подарившую тебе трех сыновей в течение трех лет», и «за прекрасную форму инвестиций, которую она собой представляет»; я вижу, как ты поднимаешь бокал, а другой рукой отбрасываешь прядь волос, закрывшую было глаза, я вижу тебя также в ту ночь в Национальном театре, пытаюсь оградить себя фразой Тейлора «Fear is the mother of foresight» — фразой, которая вызвала у тебя взрыв смеха, с этой фразой я захожу в туалет, pink-pretty-and-practical [2], подхожу к домашней аптечке, открываю ее,— чем не подходит тебе эта фраза? — пробегаю взглядом этикетки лекарств, в зеркале вижу себя — в твоем распоряжении я, Роберто Аугусто Гарридо III, сын Человека, уважаемое, приятное лицо, в конце концов подходящее лицо, но рассмотреть себя могу только анфас, мой профиль всегда готовит для меня неприятные неожиданности, ищу расческу, делаю пробор слева, глубокие залысины, густые баки и очень тонкие губы, ощупываю подбородок, нет, бриться не нужно, и так хорош, выбираю одеколон, резкий аромат бьет в ноздри, даже слегка кружится голова, смочил лоб, затылок, щеки, достаю платок, смачиваю и его одеколоном; Мариана, теперь я знаю, чем ты была для меня, я прекрасно знаю, а чем же, Мариана, чем был я для тебя? Может быть, ошибкой?..

Гарридо автоматически кружит по спальне, а уходя, аккуратно прикрывает за собой дверь, делает это как бы бессознательно, словно боясь разбудить Кету или малышей; осторожно ступая, он проходит в библиотеку, дом будто вымер, и повсюду на стенах — следы пуль; библиотеку он постоянно держит запертой на ключ, оказывается, партизаны оставили эту комнату нетронутой. На своем месте — фотографии членов семьи, на одном снимке он с полковником и президентом в обнимку в тот Новый год в Коронадо, куда был приглашен также и американский посол Вильсон с женой, много выпили там шампанского, очень много болтали, чересчур много, а потом президент пригласил нас, Мариана, прокатиться на своей яхте, то есть яхте Революционного правительства, а миссис Вильсон безумолчно тараторила, рассказывала что-то вроде того, что, когда они были на Ривьере, какой-то Ари приглашал их прокатиться на «Кристине», а Джекки тогда не было, она с детьми уехала в Нью-Йорк, не то в Палм Бич, а вот ее свекровь и все остальные толковали только о семье Кеннеди, и бедный полковник изнывал от скуки, поскольку президент говорил по-английски, а вскоре и все во-

[1] «Покрывало радости» Ф. Шумахера и К° *(франц и англ.)*.
[2] Розовый-прекрасный-и-практичный *(англ.)*.

круг перешли на английский, oh boy, this is what I call a party[1], даже обмениваться шутками стали по-английски, а бедный полковник уже совсем умирал от скуки; президентская яхта тихо плыла навстречу предрассветному голубеющему небу, Кета и я ели сандвичи с лангустами, изрядно подсоленными, запивали шампанским, опять пили шампанское, и вдруг, черт бы его взял, никто не знает откуда и как появился фоторепортер, проклятый фоторепортер, я стал искать Вильсона, но где там, он сумел вовремя увернуться, тогда полковник, президент и я крепко обнялись — счастливого Нового года! — и нас сфотографировали.

В библиотеке Тито Гарридо зажигает лампы, усевшись в глубокое кресло, просматривает кое-какие документы, убирает их в папку — четыре часа пополудни,— и стоит только откинуть голову на спинку кресла, как опять явственно слышишь — что делать! — «базам — нет! базы ни за что!» — партизаны вторгаются в дом, как дикие звери, пули рикошетом отлетают от стен, разбивают бокалы, бутылки, пепельницы; и та, вторая ночь, ночь с субботы на воскресенье, безысходность воцарилась среди нас, ни на что мы уже не надеялись, ни на что; архиепископ еще не возвратился после переговоров с полковником; и вдруг Сэро подходит ко мне, я вижу темные глубокие круги у него под глазами, жестокие глаза, черные, будто сама ночь, и бросает в мой адрес «дерьмовый аристократишка!» — я не психолог, ничего подобного, но у этого бедолаги, похоже, комплекс страха, и страх свой он скрывает, пуская в ход ругань, оскорбления, фразы-штампы, банальнейшие, избитые проповеди о цепи олигархических махинаций, как он говорил и повторял с ненавистью, «целая цепь олигархических махинаций... Позором запачкано честное имя Панамы, настолько, что одно упоминание об этом вызывает горечь порядочного панамца»,— в ответ взрыв смеха Хоакина с явной издевкой: «Ты? Ты порядочный? Дай-ка я посмеюсь над твоим дерзанием, старик!» — Сэро, в свою очередь, нагло продолжал обвинять, заявляя скучным голосом: «Вы и ваши постоянно подыскивали возможности играть в переговоры с главной империалистической державой, игра началась еще при провозглашении Республики и длится благодаря вам»,— Хоакин презрительно сплевывает на пол, а Сэро впервые выходит из себя, угрожая автоматом, он кричит: «Не провоцируй меня, сукин ты сын, не провоцируй, а то в один миг расслюнявишься!» — и снова тянутся часы, Мариана, и Сэро, поглощенный какой-то идеей, долгое время сидит неподвижно в углу столовой, а затем, как обычно не выпуская из рук автомата, говорит: «Сейчас Вашингтон озабочен тем, чтобы сохранить нынешнее правительство у власти,— думаете, этого мы не знаем? Все это распланировал тот же Киссинджер, и ты, и ты тоже, Гарридо, и все это часть общей игры, они знают, что только нынешнее правительство — единственное, которое способно согласиться на новый договор, включающий уступки военного характера, вот они и хотят оставить это правительство у власти,— думаете, мы не знаем? Именно поэтому за последние семь лет Вашингтон вбил в нашу страну больше денег, чем за первые шестьдесят пять лет существования независимой республики,— думаете, этого мы не знаем? А почему Пентагон согласился принять на себя военную подготовку одиннадцати тысяч человек из Национальной гвардии? На такое мероприятие янки вряд ли пошли, если бы предполагали, что эти силы смогут угрожать Зоне Канала...» — наступившую потом долгую тишину нарушал лишь ночной бриз, порывистый, липкий, проникающий в окна дома; Сэро опять принялся за свое, утверждая, что все будет изменено, «аристократишки дерьмовые»,— его ненависть к нам, казалось, выпирала изо всех пор, заражала все вокруг, ненависть, «аристократишки дерьмовые», грубая демагогия, «камня на камне не останется», «империализм падет», горечь в голосе, «падет», злоба в голосе, гнев ослепляет нас, крепнет взаимная неприязнь, «мы научились сражаться у народа Вьетнама», «почему мы должны вступать в переговоры с империализмом янки?» И когда мы поверили, что время остановилось, снова прожекторы осветили нас, донеслись голоса полицейских, усиленные мегафонами: «Сдавайтесь, дом со всех сторон окружен!» — опять тишина, предзнаменование смерти, тишина билась в стекла окон, через которые влетали порывы ноябрьского бриза, ворошили, раскидывали бумажки в комнатах и улетали дальше; многие часы прошли, а может быть секунды, мы услышали приказ партизан: «Никому не двигаться, всем оставаться на своих местах»; они открыли стрельбу в потолок дома, в сад, дикий крик и никому не нужная песня, и свист пуль, отлетавших от стен, крик, звеневший в бокалах крик, бутылки, пепельницы, запах пороха, Мариана, и опять тьма и тишина.

Гарридо встает, остался еще час до встречи в Президентском дворце. Один час.

[1] Ну, парень, вот это вечеринка, должен сказать *(англ.)*.

Он прохаживается по комнате. Созерцает книги, сотни книг, в строгом порядке расставленных на полках. Подходит к хрустальной вазе и вдыхает аромат цветов. Розы дедушки Тито. Непременно розы, и только розы, семья считает их чем-то фамильным, исключительно кастовым. У стереофонического проигрывателя выбирает пластинку. Вольфганг Амадей Моцарт. Kenzert für Flote und Harte mit Orchester C-dur KV299.[1] Столь знакомая желтого цвета фирменная наклейка с черными буквами Deutsche Grammophon Gesellschaft [2], осторожно кладет пластинку на диск проигрывателя, стирает налет влаги — ноябрьский бриз запечатлел свою отметку. Вступительный аккорд — какая звучность, поразительнейшая гармония двух инструментов: арфы и флейты... Пылкость и радость, напоминают старинные серенады итальянцев... Он весь отдается музыке. Флейта сначала, а теперь арфа, руки подсознательно следуют за ритмом, отмечая такты... Однако еще нужно успеть просмотреть кое-какие документы; выключаю проигрыватель; письма, памятные записки, одну из них я уже давно направил Хорхе Мендосе, перечитываю ее, давно написал эту памятную записку, когда Хорхе только что назначили министром экономики, он еще позвонил мне, не смогу ли я дать ему консультацию, этот документ стал для него как бы трамплином, теперь я это знаю, документ датирован 31 августа 1970 года, столько лет прошло, я не знаю, как, почему этот документ оказался здесь, правда, припоминаю, как с Хорхе — высоким, крепко сколоченным, широкоплечим — мы поздно вечером в его кабинете обсуждали проект контракта о нефтяной концессии и я предложил в общих чертах принципы нового кодекса о минеральных ресурсах, который без какой-либо дискриминации регулировал бы все контракты, заключаемые нашей страной с фирмами, занимающимися у нас разведкой и добычей полезных ископаемых, и Хорхес еле заметной улыбкой, по-видимому довольный услышанным, сказал мне: «Старина, ты должен познакомиться с полковником, вернее, он должен познакомиться с тобой»,— и это было начало, Мариана, от незначительной консультации ad honores [3] и до сальто-мортале, Хорхе нажал звонок и вызвал свою секретаршу, а она соединила с командованием Национальной гвардии, о'кей, о'кей, в пятницу в пять часов, и потянулись месяцы визитов в штаб командования, полетов на вертолете и на двухмоторном реактивном самолете по всей республике, полковник убеждается, что стране я нужен, и вот однажды — бах! — без особых вступлений мне предлагают исключительно важный пост — быть главным представителем на переговорах о Канале, и все это свершилось столь быстро, да еще с таким обилием виски; «Подумай пару деньков,— сказал он мне,— я не могу долго ждать»; Хорхе и полковник подняли бокалы за то, что подцепили меня на крючок, и за нашу фамильную династию политических деятелей, за то, что мы, все Гарридо, дали родине на протяжении семидесяти лет; я было бухнул: «Подумать? подумаю», а они лишь смеялись, перемигивались, произносили бесчисленное множество тостов, о чем-то перешептывались между собой, должно быть, передавали один другому какую-то остроту, рассчитанную лишь à deux [4]; Мариана, любовь моя, я рассказываю тебе о том Хорхе, моем друге еще по колледжу Ла Саль, который в ту субботу, как только узнал о происходящем в моем доме, прилетел сюда первым самолетом из Нью-Йорка или из Вашингтона, где он вел переговоры об очередном займе, о том самом Хорхе, который, прилетев, помчался non-stop [5] из аэропорта Токумен в штаб командования, он очень хороший друг, я узнал обо всем по передачам радио, услышал его знакомый голос в транзисторном приемнике, который Сэро держал включенным,— у Хорхе брали интервью, он вызвался быть сопровождающим архиепископа и участвовать в переговорах от имени полковника, но ответ партизан на его предложение был отрицательным, категоричное «нет», равно как и тогда, когда предложили кандидатуру сеньора папского нунция, голос Хорхе звучал несколько взволнованно, и это было странно, потому что он, по утверждению его же собственной жены, никогда не волнуется, никогда, то есть ни в тот момент, когда занимается с ней любовью, ни тогда, когда не занимается, это не то что Кеннеди, у которого в таких случаях, по словам журнала «Тайм», возникают головные боли, как он признавался Макмиллану на Бермудах, заставив британского премьер-министра разинуть рот от изумления, но не об этом сейчас ведем разговор, конечно не об этом, это нас не касается, Мариана, речь идет о проклятых партизанах да о взволнованном голосе Хорхе... ужасная тишина, я бы сказал, леденящая тишина,

[1] Концерт для флейты и арфы с оркестром, C-dur К. 299 *(нем.)*.
[2] Германское граммофонное общество *(нем.)*.
[3] Ради чести, безвозмездно *(лат.)*.
[4] На двоих *(франц.)*.
[5] Без задержки *(англ.)* — специальный сигнал на правительственных машинах.

Сэро подвел меня с поднятыми руками к телефону: «Валяй звони этому сукину сыну и скажи ему, чтобы крепко-накрепко заткнул свою пасть, а то такие болтливые, как он, очень плохо кончают, кончают под землей»,— и я передаю Хорхе: «Дружище, не думай, с нами обращаются не так уж плохо»,— взрыв хохота Хоакина до сих пор отдается в моих ушах. я безуспешно пытаюсь снизить накал уязвленного самолюбия министра, он расспрашивает: «Не нужно ли чего прислать с монсеньором?» — я тут же воспользовался случаем: «Да, чистое белье, что-нибудь из еды и сигареты, много сигарет»,— добавил я, взглянув на пожелтевшие от никотина пальцы посла Рикардо; вскоре опять зазвонил телефон, на этот раз говорил архиепископ, да хранит его господь, говорил из соседнего дома, то есть от семейства Фабреги; «Я уже иду,— чуть не кричал он,— но груз тяжелый, я не один»; он появился вместе со священником Хосе Родригесом, он еще известен под кличкой Квелый Хосе — кажется так? — язвенник и утешитель для вдов и будущих разведенных, долговязый, сутулый, с засаленными волосами, в маленьких круглых очках, ты еще рассказывала мне, любовь моя, что как-то он от тебя сбежал, лишь ты попросила у него какого-то пустякового совета; архиепископ и священник были нагружены чемоданами, а также продуктами из клуба «Унион», из клуба «Гольф», из Форта Амадор, и, главное, они принесли двенадцать длинных блоков сигарет марки «Вайсрой», любезность, конечно, международного чиновника и миллиона его друзей, все они, вероятно, агенты 007, всегда аккуратно причесанные и улыбающиеся; что же было после? — уже не помню, смешалось в памяти...

Стереопроигрыватель выключен. Великолепный проигрыватель, самый лучший, как сказала бы Кета, как сказала бы, может быть, и моя мать и — уж наверняка — теща. Подхожу к креслу, сажусь, моя теща — очень серьезная штучка, Мариана, всегда во всем разбирается, даже в том — добропорядочные эти люди или нет, а под добропорядочными подразумевает она лишь знатных, известных — «Да-да, Тито, ты не отделяйся от высшего общества»,— а я, Мариана, нарочно притворялся непонимающим, разыгрывал из себя идиота, чтобы вызывать большее беспокойство моей тещи — я выдыхаю дым от зажженной сигареты,— чтобы высказать ей, Мариана, не говоря ничего, дать ей понять, что в клан Гарридо эти Монтальбан со всем их креольским ритмом и духом, с их миллионами на зашифрованных счетах, с их двухэтажной виллой на берегу залива и с их домовладением в Майами затесались как выскочки-коммерсанты без каких-либо традиций, без родовой славы,— я опять выпускаю сигаретный дым,— как раз так и говаривала тетушка Исабель, а затем и мама, когда я им объявил, что намерен жениться на Кете, представь себе, Мариана, ведь эта публика любит шуметь о том, что вот состоялось знакомство с таким-то или знают того-то — я стряхиваю пепел в пепельницу,— а после нашей помолвки — полное молчание, к тому же сдержанность в нашем кругу ценится высоко, очень высоко, все равно что сказать «молчание — золото», и, кстати, твоя, Мариана, сдержанность отличает тебя от остальных — от сигареты уже ничего не остается,— затем пришел мой старик и спас положение, заявив, что беспокоиться не о чем, так как Кета, выйдя замуж, навсегда откажется от отцовской фамилии, оставив, в самом крайнем случае, первоначальную «М» с маленькой точкой — и будет Энрикета М. де Гарридо, а потом и буква «М» исчезнет, так, собственно, и случилось: она, то есть Кета, ныне одна из Гарридо, даже очень Гарридо, наверное, даже более Гарридо, чем сама тетушка Исабель и чем дядюшки Хосе-Доминго и Хуан-Альберто, и нельзя забывать, что в рекордно короткий срок она родила трех наследников, тем самым через широкую дверь вошла, как говорится, законным членом в нашу семью, пусть никто не сомневается в этом, теперь, услышав даже нотки сомнения, мой старик взрывался от ярости,— сигаретный дым обволакивает меня,— он ее очень ценит, Мариана, и это не пустые слова, так как именно благодаря ее деньгам он основал ту самую фирму, да-да, эту International Importing and Exporting Business [1], в которой стал президентом, «для твоего же собственного блага, дочка,— сказал он ей,— чтобы охранять твои интересы», а ее сделал секретарем-казначеем — я погасил сигарету,— и ныне они оба влюблены друг в друга. Кто-то робко стучится в дверь.

— Да?

— Разрешите, дон Тито.

— Да, Элиас?

— Пришли каменщики. Они у меня в гараже.

— Сейчас выйду.

Тито Гарридо встает, смотрит на Элиаса, тот спрашивает, нужно ли сопровож-

[1] Международный импортно-экспортный бизнес *(англ.)*.

дать, Гарридо отвечает еле заметным кивком. Снаружи жарко. Четыре часа двадцать минут. Скоро нужно отправляться в Президентский дворец. Гарридо молча идет. Если бы можно было одним-единственным словом, одним глаголом, пусть в неопределенной форме, описать физическое состояние, которое он испытывал в это мгновение. Нет, не удается. И шофер тоже ничего не говорит, идет за ним, вместе проходят по коридору, через кухню, прачечную, открывают дверь в гараж. Вот они, их четверо. «Зачем же столько?» — спрашивает Гарридо, несколько удивленный. Один, в крайнем случае двое закончили бы работу часа за два.

— Добрый день,— слышу я, как мне говорят хором, словно в школе.

— Добрый. Вы все с собой принесли — цемент, песок и так далее?

— Да, сеньор, мы готовы приступить к работе,— и все четверо застыли неподвижно, сильные руки по швам. Ждут, может быть, пока темные глаза Гарридо утвердят одного за другим в памяти. Его проницательный взгляд, какой-то новый взгляд, незнаком даже Элиасу.

— Идите за мной, — распоряжается он наконец, и четверо подчиняются; в тишине Гарридо слышит биение своего сердца, учащенные удары сердца, детонацию выстрелов пистолетов, автоматов, сухой и металлический лязг.

— Следов от пуль много, их видно,— говорю я им и смотрю на четырех каменщиков, которые уже разошлись по залу, гостиной, столовой, по коридорам; я наблюдаю за ними, какое-то время они рассуждают между собой. «Вот это тридцать второго калибра»,— говорит один.— «Нет, брат, это от автомата двенадцатого калибра!» — говорит другой; а партизаны, Мариана... «базам — нет!» — пули отлетают рикошетом от стен,— «базы ни за что!» — разлетаются вдребезги бокалы, бутылки, пепельницы,— «базам — нет!» — и снова выкрики: «Да здравствует Фронт национального освобождения! Да здравствует боевая группа «Уррака»!» — страх не дает мне передышки.

— Работа будет выполнена к вашему возвращению, сеньор, слово сдержим...—а страх захватил меня всего, «Fear is the mother of foresight», Мариана — любовь моя, страх — fear — схватил будто спазма: партизанка держит меня на мушке, «Или мы все выйдем отсюда, или все умрем!», я расслабляю узел галстука, голос посла Вильсона: «How charming of you to give this party in our honour»,— «Our pleasure, Mr. Ambassador», — а ведь раут был устроен не в его честь, а в честь посла Банкера и генерала Долвина, только они уехали раньше, и уж ничего не поделаешь, прием пришлось проводить с икрой из Майами, с дюжиной банок гусиной печенки, с трюфелями, «our pleasure, Mr. Ambassador», улыбки, и все на самолете отбывают из международного аэропорта Токумен на остров Контадора, тропический рай, который вы, Mr. Ambassador, избрали своей второй резиденцией, сотни кинооператоров наводят камеры на нас, на Банкера, Долвина, на всю делегацию, участвующую в переговорах, а также на Вильсона, мы обмениваемся рукопожатием, на нас наводят камеры, «Нет, вы лучше обнимитесь»,— «Oh, yes, an abrazo, very latin, sure enough»,[1]— «Будет какое-либо заявление?» — «Да, мы собрались здесь после стольких месяцев работы, воодушевленные духом взаимопонимания и американского содружества»,— чик, еще одна фотография,— «Давай, Нино, запиши, это очень важно для броского заголовка... дон Тито, не уклоняйтесь, смотрите, пожалуйста, сюда, в фотоаппарат... в телекамеру, не уклоняйтесь...» — издалека слышен телефонный звонок.

— Разрешите. — Я оборачиваюсь: это Фелисидад, служанка, обращается ко мне.

— Да?

— Дон Тито, сеньорита Марта просит вас к телефону, говорит, что очень срочно.

— Иду. Ребята, сделайте все это как следует.

— Положитесь на нас, гарантируем.

— Элиас, поручаю тебе.

— Хорошо, дон Тито.

Я смотрю на часы — четыре часа двадцать пять минут, возвращаюсь в библиотеку, запираю дверь на ключ, беру телефонную трубку:

— Да, Марта?

— Только что звонили из Президентского дворца.

— И?

— Совещание перенесено на шесть.

— Хорошо, что известили, я как раз собирался выезжать.

— Я говорила также с юридической конторой лиценциата Переса-Давилы.

[1] О да, одно «объятие», очень латиноамериканское, несомненно *(англ. и исп.)*.

— Ага...

— Встреча назначена на завтра в десять, он сказал, что подъедет к нам.

— Спасибо, Марта. Это все?

— Да, дон Тито, и всяческой удачи.

— Спасибо, спасибо...

Еще есть время просмотреть другие документы. Последнее совещание на острове Контадора с участниками переговоров: нужно выработать программу, продумать новую стратегию, чтобы народ продолжал поддерживать позицию правительства,— а за окном покачиваются высокие сосны, газон еще не подсох после утреннего ливня, по тротуару проходят двое мальчишек, так и я прогуливался по пляжу острова Контадора с тем янки, типом из министерства обороны, одним из стольких пентагоновцев, прибывших на остров вместе с генералом Долвином, жаркое солнце, наши следы на песке, парусник, покачивающийся вдали: «Do you ski?» — «No, I don't particulary like to».— «Pity».— «Living in this country, not much else to do, is there?» — «Oh, we manage...»[1]— бриз взвихрил песок и бросил его в нас, утомительный ноябрьский бриз,— we manage,— я искоса наблюдаю за гринго, он молод, ребра выступают, впалый живот, белесая кожа вызывает отвращение, мы прогуливались по песку, ритмично нарастал и угасал шум волн, так же как и идеи, высказывавшиеся этим типом, разгорались и затухали, повторялись, соревновались с прибоем: «Нужно действовать предусмотрительно,— говорил он мне,— предугаданно — предуготовившись — подготовившись — в противном случае избиратели — обитатели зоны Канала — военные — конгрессмены — сенаторы — губернаторы от Аляски до Уайоминга расценят это соглашение — как невезение — уступку — отступление — неудачу — поражение — провал — несчастье — капитуляцию — разгром — катастрофу и, естественно, что всего этого необходимо избежать, особенно после уотергейта и Вьетнама, и тем более перед президентскими выборами, и тем более перед празднованием двухсотлетия Соединенных Штатов». — «Но обратите внимание,— парировал я,—Панама—бомба замедленного действия»; волны набегали и отступали, спорили с человеческим голосом,— Хэмфри, среди других, уже говорил им об этом: «You must be careful» [2]. «Либералы всегда были довольно-таки опасным меньшинством,— перебивал тот меня,— меньшинством по своему характеру капитулянтским, возьмите хотя бы Франклина Делано [3], например, которого так любили коммунисты»; я замкнулся в полном молчании, с этим типом не о чем было говорить, а позже, заметив с пляжа стену отеля, который возвели там в срочном порядке, направился туда выпить виски со льдом; вокруг — чистый песок под жарким солнцем на безоблачном небе, и на песке— только следы сотен иностранных туристов да иной раз одного-другого панамца, волны — то голубые, то зеленые, то серые,— Мариана, волны набегают на песок и вновь скатываются в океан, лишь белая, холодная пена нежными кружевами оседает на берегу, смывая навсегда следы с песка.

Руки Гарридо безвольно повисли, голова склонилась на грудь, пересиливая себя, он медленно встает, чтобы взять газету, которую заметил на угловом столике. Бегло просматривает заголовки на первой полосе. Это воскресный номер, и, естественно, информация о заложниках вынесена на первую полосу. Он останавливает взгляд на своей огромной фотографии, на снимках Абеля Рамиреса, министра торговли, и Рикардо Аросемены. О других заложниках говорится скупо, каких-то два-три слова в море подробнейшего описания событий. Гарридо, испытывая невероятную внутреннюю напряженность, читает и перечитывает репортаж, губы его даже шевелятся, повторяя бог знает что. И вдруг в поле его зрения попадает краткое извещение, выделенное черным обрамлением: «Нашим читателям: на стр. 3 — лекция Элсуорта Банкера перед Советом Международных Исследований в Лос-Анджелесе». Гарридо внимательно перелистывает газетные страницы одну за другой, пока не находит указанную,— этот текст он уже читал еще вчера, но читал так скоропалительно, что почти ничего не запомнил. Достав из футляра очки, он погружается в чтение, подчеркивая самое важное шариковой ручкой.

«Оборона Канала:

...Панама признает все значение Канала для обеспечения нашей безопасности...

...в результате этого на Соединенные Штаты возлагается первостепенная ответственность по обороне Канала в течение действия договора...

[1] — Вы катаетесь на водных лыжах? — Нет, не нравятся они мне.— Жаль.— Проживая в этой стране, чем еще заниматься? — О, мы ухитряемся... *(англ.)*.

[2] Вы должны быть осторожны *(англ.)*.

[3] Имеется в виду президент США Франклин Делано Рузвельт (1882—1945).

...Панама предоставит Соединенным Штатам «права пользования», если те обеспечат оборону морского пути... Панама примет участие в обороне Канала в соответствии со своими возможностями...».

А посол, Мариана, пришел первым, пожал мне руку, пока Кета обменивалась поцелуями с миссис Вильсон,— базам — нет, базы ни за что! — молчаливые официанты,— our pleasure, Mr. Ambassador,— официанты бесшумно скользят между гостей,— убираю шариковую ручку,— Сэро подходит ко мне,— снимаю очки, засовываю их в футляр, свернув газету, откладываю ее в сторону; аннулирование договора Хэя— Бюно Варильи, прекращение бессрочности осуществления отдельных юридических прав янки в Зоне, «Это еще не говорит ни о чем, дерьмовый аристократишка, это конфетка, которой хотят усладить глупцов и невежд, все дело — в обороне», я встаю, направляюсь в сад, прохожу через зал и гостиную, официанты протягивают руки с подносами, «Всем оставаться на своих местах»,— все на одно лицо, бесстрастные и обезличенные, «My wife and myself are equally delighted to have you over» [1], и прибывающие гости угощаются, меняют пустые бокалы на полные, в бассейне нет веды, ставлю кресло-качалку у ствола хакаранды, сажусь, а перед глазами снуют туда-сюда официанты, и ты, любовь моя, а также Кета, веснушчатая Кета, рыжая Кета, пошли танцевать с Вильсоном — «It's quite simple, Mr. Ambassador, just follow us, quite simple»[2],— и он тщетно пытается следовать за вами; всплывает в памяти, Мариана, и тот апрельский вечер, когда отец и я собрались, правильнее сказать, вся семья собралась вокруг бабушки Марии-Луисы, старушки девяноста четырех лет, которая умирала, прожив двадцать три года вдовой после смерти дедушки Тито; «Что тебе полковник сказал сегодня?» — спросил меня отец, как только мы отошли от остальных. «Он предложил включить меня в состав делегации по переговорам»,— ответил я ему; услышав это, он широко открыл глаза, а затем на его всегда невозмутимом лице появилась гримаса, которую я не знал, как истолковать: удовлетворение или же презрение. «Ну-с, и что же ты думаешь делать?» — допрашивал он меня после паузы. «Я как раз этим и занят, изучаю вопрос, сегодня я посоветовался с моими двумя компаньонами, чтобы установить, какую часть моей нынешней работы они смогли бы взять на себя, если приму предложение»; все ближе и ближе слышались голоса других родственников: дядюшек Хосе-Доминго и Хуана-Альберто, тетушки Исабели, а также жен, детей и внуков; «По моему мнению, ты должен принять это предложение».— Прерывая нас, раздался властный голос тетушки Исабели: «Пора идти к маме».— «Следует отбросить предубеждения, сынок»,— прошептал мне тогда отец на ухо,— нужно лишь найти наилучшие средства, чтобы обеспечить защиту наших интересов»; и вся семья вытянулась длинной процессией к бабушкиной комнате. «Кстати, надо бороться за то, чтобы Канал оставался постоянно открытым для морского транзита,— отец продолжал говорить мне на ухо,— и чтобы Канал действовал эффективно, на основе тарифов, доступных для грузоотправителей всего мира, и чтобы был максимально защищен от саботажа и от угрозы коммунистов».— «Послушай-ка, Роберто, перестань перешептываться с твоим сыном,— вновь послышался властный голос, перекрывший голоса остальных,— иди во главе всех к комнате мамочки»; отец с матерью под руку, затем Хосе-Доминго и его жена, и так ad infinitum [3], спустя мгновения — призрак старушки с растрескавшейся и пожелтевшей кожей лица, с выступавшими скулами, глаза ее как две маленькие-маленькие пещеры, она восседала в кресле среди подушек, подушечек и подушищ, точно королева, и благословляла нас, к ее ногам были набросаны лепестки белых, красных и желтых роз, она уже отходила; «Вспомните меня завтра, когда меня уже не будет»,— бормотала она еле слышным голоском; дети были перепуганы этим зрелищем, кто-то вскрикнул: «Ай!» — соборование, священник, церковный служка, пара монахинь, которые входили и выходили, медсестры со шприцами, со льдом, с кружками и блюдцами всех размеров; «Снимите с нее туфли, они ей жмут»,— прошептал кто-то,— «Нет — платье»,— «Нет — вставные зубы», и старушку стали освобождать от того и от этого, пока не оставили нагой под ярким нескромным светом, подчеркивавшим каждую морщину, каждую складку пожелтевшего тела; бабушку переворачивали, поднимали, распрямляли — «Хотите сплюнуть, хотите, чтобы вас вырвало, хотите помочиться, может, сходить по большому?» — ее глаза,— черт возьми! — потухшие глаза уже ничего не выражали, они только следили за трубкой, плясавшей перед ней, между носом и животом, а слуги

[1] Моей супруге и мне было приятно находиться с вами *(англ.)*.
[2] Всё очень просто, господин посол, следуйте за нами, очень просто *(англ.)*.
[3] До бесконечности *(лат.)*.

расхаживали с серебряными подносами, которые годами не вынимались из шкафов, виски с водой, виски с содой, чистое виски; «Мамочка просила, чтобы мы все поужинали этим вечером здесь вместе с ней»,— твердила тетушка Исабель, повторяя всякий раз, выходя из зала и входя на кухню, из комнаты старушки в зал и снова на кухню, отдавая приказания: «Похороны должны быть так же великолепны, как и у папы»,— виски с водой, с содой,— «Ты с ума сошла, это же анахронизм»,— впервые за этот вечер промолвил дядюшка Хосе-Доминго, в семье — просто Минго, чистое виски, стаканчики под кока-колу для детишек, стаканы с молоком — для сердечников, стол накрыт на двадцать четыре персоны, «Грешно было бы выбрасывать на помойку мамочкину одежду и ее скарб, давайте отошлем все это к монахиням в богадельню»,— «Великолепный стол!» — «А норковую шубу и боа, которые она надевала, когда ездила в Соединенные Штаты и в Европу?» — «Нет, это нужно разыграть между нами»,— «Конечно же да, и именно завтра»,— на обеденном столе из красного дерева разместились шесть трехсвечных канделябров, столовые приборы, солонки, перечницы, маленькие пепельницы, блюда — все из серебра высшего качества; а я, Мариана, ты же меня знаешь, я сидел как всегда молча, созерцая сервиз, покрытый кобальтом и золотом от Розенталя, приобретенный еще до первой мировой войны, либо это из Лиможа? Я рассматривал чудный хрусталь баккара, взяв в руки бокал и потягивая белое вино, красное вино, воду, пока семья увлеклась спором, удобно или нет сейчас, за едой, послушать какую-нибудь легкую музыку: «А почему бы и нет, карамба! — кто-то воскликнул. — Так она же еще не умерла!..» — Дискуссия продолжалась при свете восемнадцати мигающих свечей, мы пили и ели и, будто вороны в стае, никак не могли прийти к единому мнению; «Лучше Агустина Лару»,— «Нет, пусть будет трио Лос Панчос»,— «Ой! Ради бога, Лучо Гатику»,— жаркое, рис с бобами гуанду, овощи, зрелые бананы, мы повторяли то или иное блюдо по своему вкусу.— «Все это потому, что мы так, так, так глубоко романтичны!» — приговаривала тетушка Рита, передавая салат, и тут же она предложила в качестве компромисса: «Хорошо, давайте послушаем четыре песенки, которые сделали бессмертным нашего обожаемого Педро Варгаса [1],— «Сибоней», «Звездочка», «Голубка» и «Прощай, Марикита милая...» — и она затянула мотив последней. «Замолчи, идиотка, не будь смешной»,— приказал ей Минго, и вот так мы добрались до десерта, Мариана, тем временем я спорил с самим собой — принять или не принять полученное от правительства предложение, да или нет?.. Принять — не принять?.. «Ох, как же вкусно это пирожное!..». Нет надобности ломать над этим голову, я начал составлять письмо, которое направлю полковнику рано-рано на следующий день...

— Карамба, darling [2]! Почему ты такой молчаливый? — И я чувствую теплые губы моей жены на своем лбу.

— Привет! А где детишки? — и я, очнувшись, раскрываю глаза, смотрю на нее— Кета-darling собрала все волосы на затылке, надела белое декольтированное платье, на груди — большой медный крест, и веснушки кажутся тоже из меди: фоторепортер светской хроники из кожи вылез бы, чтобы запечатлеть мою жену, в этот момент столь самодовольную, под хакарандой у бассейна. — Хочу их видеть, я хочу видеть моих детей,— говорю я, понимая, что мои слова звучат капризно и мелодраматично, в такие минуты я становлюсь сам себе противен.

— А я не хочу, они невыносимы.

— А я хочу их видеть,— повторяю, чуть не крича.

— Я уже слышала, darling, тогда тебе придется отправиться туда, где они сейчас,— говорит она улыбаясь,— гора, darling, на этот раз должна пойти к Магомету.

— Ни капельки остроумия,— цежу я сквозь зубы и вижу, как она уходит, а я рад, одним махом встаю, Кета, конечно, в своем репертуаре, всегда говорила мне: «Darling, пусть я прослыву забывчивой, это даже лучше, так я смогу избежать морщин»,— очевидно, и это она вычитала в одном из стольких журналов, которые покупает без разбору и которых у нее целые горы, конечно, бедняга сама не способна изобрести порох, но видишь ли, любовь моя, все же она не так плоха, а некоторые в ней видят даже superdarling, ведь она щедро раздает подарки и чаевые, и — многие у нее в кармане, к тому же она хорошо танцует, умело рассказывает анекдоты, изящно одевается, и не было еще ни одного льстеца, который не сказал бы мне, что мы — чудес-

[1] Агустин Лара—мексиканский композитор, Лучо Гатика—чилийский певец, Педро Варгас — мексиканский певец.
[2] Дорогой *(англ.)*.

нейшая пара, но какой ценой, черт побери!.. Я снова пересекаю сад, прохожу через зал, гостиную и сталкиваюсь с каменщиками.

— Как дела, ребята?

— Двигаются, сеньор.

Я захожу в nursery — в нашу детскую, в этот креольский «Disney-World», где так приятно, я смотрю на них, безмятежных моих сыновей; Робертито целует меня.

— Смотри, папа, смотри,— он показывает пожарную машинку, которую ему недавно купила Кета.

— Какая хорошенькая! — говорю я и возвращаю ему поцелуй.

— Папа, свози меня в парк «Уррака».

— Завтра после обеда.

— Нет, сегодня.

— Я тебе сказал: завтра,— и, как всегда, когда ему противоречат, Робертито удаляется надув губы, а Родольфо и Родриго еще в нижнем белье; у Родольфо — очаровательная улыбка, я не хотел бы верить, что это улыбка Кеты; няньки-индеанки входят в детскую и выходят, раздевают детей, наливают ванночку, достают из шкафа уток, лебедей и других птиц из пластмассы, после купания — кушать, было сказано: «Эта ложечка — за маму, эта — за папу, эта — за дедушек»,— обычный ритуал до отхода ко сну, так сегодня, так завтра, из года в год; Робертито раскачивается на гватемальском плетеном стульчике — «Не раскачивайся, упрямый мальчик»,— Робертито, я с удовольствием произношу это имя, и как хотелось бы мне, Мариана, любовь моя, чтобы от тебя был бы наш плод; мысленно представляю тебя в тот вечер, да, в четверг вечером, накануне раута у меня в доме, я, вернувшись с острова Контадора, приехал к тебе домой,— «Сеньорита у себя в комнате, проходите», ты лежишь в постели с книгой,— «Что читаешь?» — мимолетный поцелуй, легкое прикосновение твоих влажных губ, я беру книгу из твоих рук, фотография на обложке — загадочное лицо юноши, его левая бровь слегка приподнята, «Жизнь и смерть Гарсиа Лорки» — темно-лиловым шрифтом по белому фону, а имя автора — Марсель Оклэр — желтыми буквами, «Она — француженка, лично знала поэта, была его другом и была другом тореро Санчеса Мехиаса и других»,— сказала ты мне и открыла какую-то страницу: «Тито, пожалуйста, послушай... «Это — не литература, а сама жизнь, воспринятая чувством,— читала ты тихим голосом,— полностью захваченные мыслью о жизни, герои не созерцают жизнь, они увлечены ураганом страсти, выражаемой ими бессознательно, некритично, неодолимо, как затопляет вода или пожирает огонь»,— помнится, как я посмотрел на тебя, ты кончила читать, никак не прокомментировала прочитанное, вернее — ты заговорила о приеме, который я должен был устроить на следующий день, «конечно да»,— пообещала ты мне приехать, с Хоакином или даже одна, хотя бы на минутку; ты открыла окна, и мы вдвоем прислушивались к шелестящим налетам бриза, сильного ноябрьского бриза, потрясавшего кронами пальм, раскачивавшего их стволы; взяв подушки, мы сидели на полу, «не уходи пока, я тебя прошу, Тито»,— сказала ты, и меня поразил тон твоей просьбы, тогда ты начала рассказывать о чувстве страха, которое испытывал Гарсиа Лорка всякий раз перед расставаниями: «Это был ужас, это была паника, охватывавшая его», и ты стала развивать тему: «Прощание — преддверие смерти»,— сказала ты мне, и я долго смотрел на тебя, «преддверие смерти»,— повторила ты, не знаю как, но это чувство страха передалось мне, а лунный свет, проникавший в комнату, странным образом сковывал эмоции, возбуждаемые твоим присутствием; опускаюсь на корточки, няньки приносят мне детей — целую одного, второго и третьего, сажаю Родриго к себе на колени, ласкаю его, а на память приходят твои влажные губы, Мариана, и, встав, провожу рукой по лбу — почему все произошло так, как произошло? — скажи мне, почему, Мариана?.. Откуда-то долетает визгливый голос Кеты, отдающей приказания; без пяти пять; голос Кеты слышен и в библиотеке из очень далекого далека...

— Ну и что ты думаешь об этом?

— Мы должны ввести правительство в курс всего.

— А что ты подразумеваешь под «всего»? — спрашиваю я, не в силах подавить зевок.

— Все как есть, выложить все: разговоры с Сэро, угрозы, информировать о поддержке, которой располагают эти люди...

Я отодвигаю стул, телефонную трубку прижимаю к другому уху, стоя слушаю возбужденный голос Абеля Рамиреса, который пытается меня убедить в правоте своей точки зрения до того, как мы соберемся в Президентском дворце.

— Но ведь они знают все, и намного больше, чем это,— говорю я и опять позевываю, виски отчаянно клонит ко сну, не прерывая разговор, начинаю перелистывать кое-какие бумаги.— Занять сейчас паникерскую позицию было бы смешно, старик, абсурдно, нечто вроде постклимакса, не правда ли?

— Не думай так, лучше согрешить в предусмотрительности, чем быть застигнутым врасплох, Гарридо.

— Спокойно, старик, эти типы уже за границей, сейчас вопрос в том, чтобы развенчать их, и, насколько мы их знаем, можно не сомневаться — они сами пережрут друг друга.

— А между тем правые ультра организуются для наступления на правительство, чего доброго — будут способны даже объединиться с экстремистами-леваками, и тогда мы окажемся перед снежным комом, летящим с горы...

— Сомневаюсь в этом.

— Смотри, у меня есть доказательства.

— Думаю, у тебя их не больше, чем в штабе Национальной гвардии.

— Хорошо, но...

— Что же ты все-таки предлагаешь?

— То, что я тебе уже сказал.

— Ни за что, Абель, я скорее позволю отрезать себе оба уха.

— Как, как?

— Я не сплетник, Абелито, а также не буду изображать из себя всезнайку только потому, что все произошло в моем доме.

— Да не об этом идет речь — под ударом национальная безопасность.

— Именно поэтому сапогами пусть занимается сапожник.

— А что же мы?..

— ...должны искать и консолидировать поддержку масс вокруг нового договора.

— Конечно, но тем не менее...

— Я тебе уже сказал, что нет, нет у меня конкретных доказательств.

— Так я и не утверждаю, Гарридо, мне что-то показалось, точно?

— А мне, представь себе, так не показалось,— разговор уже давно начал надоедать мне, я смотрю в окно и представляю себе Абеля на другом конце телефонного провода, господин министр торговли, брюнет с сильными руками и крепкими мускулами, весь в напряжении,— Сэро подходит к нему, а тот сидит и ждет Сэро, партизан переводит барабан револьвера, взводит курок: «Ты ведь человек из народа, а предал свой народ, мерзавец!» — партизан направляет дуло оружия к правому виску заложника. «Первоклассный вор, брюхач дерьмовый!» — Рамирес пытается отвести свой взгляд, но столовая дома, где он сидит, не представляет ничего, на чем можно было бы сосредоточить свое внимание — четыре стены, обеденный стол, несколько серебряных украшений на столе, увядшие цветы, картина с натюрмортом, стулья,— сидят другие заложники, а дуло револьвера у его виска, в любой момент может прозвучать сухой, металлический щелчок. «Ты бахвалишься тем, что ты с народом, а сам принимаешь подачки от межнациональных компаний, чтобы жить как римский император — три дома здесь, пять машин, апартаменты в Испании, твоя жена заказывает себе платья у модисток за границей, твои дети учатся в военных академиях Соединенных Штатов»,— всем телом Абель дрожит, как желе... я достаю платок и провожу им по лбу — вообразить только его фигуру с приставленным к виску револьвером, ужас!

— Хорошо, Абель, мы встретимся там,— прерываю я его, он наконец понимает.

— До свидания...

Я слышу жужжание телефонной пчелы, извещающей, что контакт прерван; за окном солнце, очевидно, уже спряталось, день явно портится, и что верно, то верно — в ноябре не уследишь, как день проходит, Мариана, я собираю бумаги, закрываю портфель, выхожу из библиотеки и слышу голоса Робертито, Родольфо и нянек, представляю своих сыновей с мокрыми головками, они кончили купаться, поели, и теперь им позволено немножко поиграть перед тем, как затеряться в чудесном времени без времени, пока усталость не загонит их в кроватки, а затем их будут ждать и солнце, и крики, и игры, и купание в бассейне или на пляже, и дворцы из песка, и двух- или трехколесные велосипеды, пожарные автомобильчики, и опять солнце, всегда солнце,

открытое светлое время, мои дети, неосязаемый ритм беззаботной жизни; я зажигаю сигарету, вижу каменщиков, они уже работают в столовой, Кета говорит с ними — сама взялась руководить, на ходу помахал им рукой — продолжайте, продолжайте, ищу Элиаса, зову его, издалека прощаюсь с женой.

— Да, сеньор?

— Готов, Элиас? В порядке «ягуар»? Отвезешь меня в Президентский дворец.

Тито выходит из дома через гаражную дверь в сад, зеленый газон великолепен, величественны сосны, привезенные из Майами, благоухают розы; шум с улицы усиливается по мере того, как, пересекая сад, он приближается к выходу; один, второй, третий автомобиль, здесь бриз ощутимее, навстречу — чета, муж и жена, живущие в квартале от его дома, но он с ними едва знаком; они останавливаются, Гарридо смотрит на них настороженно, женщина протягивает ему правую руку, и этот ее жест как бы вырывает его из замкнутого мирка раздумий.

— Добрый вечер, дон Тито.

— Добрый вечер, сеньора,— отвечаю ей достаточно холодно, даже раздраженно, строго взглянув на приземистую женщину, с ногами, похожими на бруски, своей рукой чувствую ее мягкую и вялую ладонь, короткие, тупые пальцы, на круглом лице ее пара голубых косящих глазенок, спрятавшихся за бифокальными очками, которые их еще уменьшают, если это только возможно.

— Привет, Гарридо! — Ее муж, Бен Коген, берет меня за локоть правой руки и пожимает, разыгрывая дружеские отношения, которых не было и нет — черт бы его забрал, как он жмет,— и, чтобы освободиться, я делаю вид, будто хочу причесать волосы, а он провозглашает: — Моя жена и я очень много думали о вас все эти дни...— Я тушу сигарету, подобные декларации начинают звучать будто в исполнении бесчисленного хора в национальном масштабе, бесконечно повторяются одни и те же бредни устами белых, и черных, и желтых, устами знакомых и совсем не знакомых мне людей: какого дьявола они считают, что обязательно должны высказать мне явную фальшь? Такого рода галиматья не может не вызвать усталости и возмущения — полное отсутствие элементарной сообразительности у этих людей! Это бесспорно, но что же мне делать? Никогда ранее я не мог предположить, Мариана, что обнаружится столько тупиц,— передо мной колышется брюхо Когена, поддерживаемое парой подтяжек,— собственно, эти люди ничего такого не сказали мне, но тем не менее успели обозлить, опасаюсь, как бы этот человек вновь не ухватил меня.

— Извините, я спешу,— говорю я им и пытаюсь уйти, но сосед, как назло, упредил меня, взяв за руку; я, растерявшись, вынужден задержаться, хотя мелькает мысль: какое право имеет этот человек навязывать мне свою волю?

— Только один вопрос, Гарридо, как, по-вашему, полковник не отступит ни на сантиметр, не так ли?

— Не знаю,— отвечаю я ему, уже не скрывая своего утомления, граничащего, быть может, с пренебрежением.

— Базы навечно — наша единственная гарантия, чтобы коммунизм не захватил эту страну! Так и передайте полковнику от меня...— «от него», повторяю я про себя и едва удерживаюсь от презрительной улыбки, боже, сколько вздора можно намолоть за одну минуту! Не проронив ни слова, лишь кивнув головой, подхожу к автомобилю — Элиас за рулем, надел кепи для торжественных выездов, не дожидаясь, когда он откроет мне дверцу, я быстро сажусь на заднее сиденье, он оборачивается и вопросительно смотрит.

— Да, Элиас, можем отправляться.

Приказ отдан, водитель подобрался, мягко заработал мотор, руки сжали баранку руля,— приказ, как и тот, другой: «Приготовиться, в одиннадцать выезжаем в аэропорт Токумен»; партизаны ведут себя возбужденно, переходят из комнаты в комнату; чтобы захватить оружие с собой в дорогу, его заворачивают в матрасики, покрывала, простыни, скатерти, собирают большое количество боеприпасов, неизрасходованных магазинов для автоматов, партизан с пушистыми баками, метис, который не закрывал лицо ни маской, ни капюшоном, распределял среди своих соратников ручные гранаты, подготавливал запасные головые свечи, тогда как Сэро распоряжался: «Идите к задней двери гаража, монсеньор, вы и падре Родригес, будьте любезны осмотреть близлежащую площадку, а ты, Гарридо, иди за послами, остальные — позже»;

хлопала дверь из красного дерева так, что отдавалось в окнах, шаги гулко звучали по каменным плиткам, «ты, Гарридо» — это тыканье преисполняло меня ослепляющим гневом, огромный автобус компании «КУТСА» ожидает нас у дверей, да, этот гнев до сих пор слепит меня, Мариана,— почему случилось все так, почему произошло таким образом? Полуденное солнце тоже слепило меня, Национальная гвардия отошла от дома на разумную дистанцию; «ягуар» сейчас несется по 50-й улице, гигантские пальмы, «Посетите нас сегодня же, войдите в Мир моды — во всем блеске Кристиан Диор, Пьер Кардэн, Дживенчи, Джон Клосс, Ив Сент-Лоран»,— я поглаживаю темную кожу автомашины, прекрасный автомобиль, несомненно спроектирован для дам, кондиционированный воздух, специальные подушечки для спины, подставки для ног — «Гарридо, ты сядешь впереди»; раненый партизан, который все время пролежал в одной из спален моего дома, поднимается в автобус, ранение в плечо,— кто же его перевязал?..— квадратный затылок Элиаса, его темные глаза смотрят на меня через зеркало заднего обзора, а я через такое же зеркало пересчитывал их, партизан было двенадцать,— можно ли Элиасу полностью доверять? — мужчины и женщины, нацелившие автоматы из окон автобуса, и знамя Фронта национального освобождения, демонстративно привязанное к стволу винтовки; я снова смотрю на часы: пять часов тридцать минут; я также пересчитываю и других своих спутников в автобусе: архиепископ, три дипломата, шофер автобуса — курносый профиль, выдаются широкие губы, пара выпученных от испуга глаз ищет моего взгляда, и я отвечаю ему молниеносно и красноречиво: — что делать? — отвечаю ему на том языке, который особенно понятен в момент опасности; «Слышишь, ты, мулат Рамирес,— на заднее сиденье!..» — чернущая борода, плотно приросшая к выступающим скулам; посол Аросемена и Хоакин Менендес — у окна, приказы Сэро так и следуют один за другим: «Не останавливаться перед красным светом, парень»; ужас охватил всех, когда какой-то автомобиль выскочил наперерез, а Сэро кричит тому шоферу: «Остановись, или я убью тебя!» — тот отпрянул, и наконец, Мариана, шум мотора «пегаса», резкий скрежет пневматических тормозов; началась дикая гонка по виа Эспанья, безумная гонка мимо Оперного театра, мимо супермаркета «Минимакс», автобус летел, игнорируя светофоры, полиция на мотоциклах следом за нами, мимо института гидроресурсов, мимо гигантских транспарантов с надписью между национальными панамскими флагами.

СУВЕРЕНИТЕТ ПАНАМЫ НАД ЗОНОЙ КАНАЛА

— проносятся мимо гостиницы, магазины, рестораны, банки — оружие партизан снято с предохранителей,— церковь Кармен,— автобус пролетает на один, на второй красный свет, сворачивает направо, оружие партизан нацелено сквозь ветровые стекла автобуса,— мимо — университет,— рев сирен автомашин, которые безуспешно пытаются приблизиться к нам, оружие партизан готово к бою, встречные группы студентов выкрикивают здравицы: «Да здравствует Фронт национального освобождения! Ви-ва! Ви-ва! Ви-ва!» — оружие наведено на нас, автомобильные сирены гудят впереди, сзади, по сторонам, отдаются в затылке, в спине, гудят с надрывом...

— Элиас, сверни на авениду Хусто Аросемены, а потом по двадцать девятой до авениды Бальбоа.

— Слушаюсь, дон Тито.

...Партизанка угрожает шоферу: «Если остановишься, я тебя пристрелю, негритеночек... — дулом автомата касается его широкой и потной шеи,— пристрелю, губастый негритеночек»; другой голос: «Призываю к милосердию, сеньоры, во имя господа бога, к милосердию...», молчание; опьяненные гневом глаза молниеносно оглядывают толпу зевак, кто-то кричит: «Вон они, едут!» — прибой аплодисментов, то одна, то другая рука взмахивает в знак приветствия; кого же приветствуют? Нас? Их?..— Элиас тормозит на пересечении авениды Федерико Бойда и 50-й улицы, и я мог полюбоваться видом прекрасного бульвара, засаженного деревьями,— бульвар вызвал у меня, Мариана, столько воспоминаний юношеских лет: ухоженные сады, старинные виллы в стиле Беверли Хиллс, здесь мы посещали бассейн в саду Рафы, играли в теннис с Джоако и Питером, с Хуанчо и Бенито, и никто не был столь счастлив, как мы тогда,— правда?— племя в белых гуайаберах, черных мокасинах и узеньких брючках, «Ребята, выпейте по глоточку, прежде чем разойдетесь», и те, кто ныне фигурирует в качестве гранд-дам города, тогда устраивали в два счета праздники,— «о'кей, о'кей, еще

глоточек, еще», юбки поднимались, декольте опускались, объятия, поцелуи, поцелуи,— «Приветик, красотка!» — мы танцевали щека к щеке, пикантнейшие поцелуи; не знаю, почему-то сейчас я, Мариана, вспоминаю стройную фигуру твоей кузины Тересы, исполнявшей румбу, не переодеваясь для этого,— «Ай, ай, ай, сколь чуден наш мамбо!»— а далее отплясывали и ча-ча-ча, и меренге под оркестр Переса-Прадо,—«Ай-ай-ай, сколь чуден, сколь чуден наш мамбо!» — девичьи груди с ароматом тропиков, тела, по-змеиному извивающиеся, и снова в бассейн, и снова за теннис; то один, то другой хвастался, что он, дескать, чемпион игры в гольф и лучше всех, и все мы были убеждены, что мы — отменные кабальеро, и в соответствии с духом времени, скорее в шутку, чем в знак уважения, обращались друг к другу: «старина», «старик Джоако», «старикан Питер»...

Впрочем, нет нужды, думает Тито Гарридо, вспоминать то, что происходило вчера, позавчера, двадцать лет назад или, может быть, час назад. А вот то, что он попал в скверную историю, так это бесспорно, он не забывает и того, что его жизненный путь весьма тривиален. Мальчишка проезжает мимо на велосипеде, выкрикивая название «Эль Панама-Америка», Гарридо приказывает шоферу остановить машину, купить газету. Его внимание сразу же привлекает заголовок: «Архиепископ и трое дипломатов возвращаются на родину», он пытается рассмотреть фотографии, снятые в аэропорту Триполи, но безуспешно, без очков ничего не видит, однако и в очках невозможно разобрать лица, установить настроение, прочие детали. А Элиасу уже все надоело. Нынешний хозяин чересчур скуп на слова, могила да и только, не то что Хименесы, которые уехали в Соединенные Штаты; он отирает пот со лба, пожалуй, не продержится долго у этой какой-то странной семьи, а теперь вот еще налет на дом, черт знает что, не дай бог, еще будут таскать его в полицию. Он снимает кепи, приглаживает волосы и опять натягивает кепи; вообще-то все здорово разыграли партизаны — верно ведь! Хотя, с другой стороны, сеньоры, нужно ли было орудовать так...

— Послушай, остановись-ка около церкви Непорочной девы и купи другие газеты, вечерние,— говорю я шоферу и, по правде, сам не знаю, зачем отдал это распоряжение, в других газетах появятся те же самые известия, только наоборот — с конца к началу, а лучше с начала к концу, конечно, те же самые, но либо с точками, либо без запятых, либо с точками и запятыми, выдуманные-перевыдуманные злым гением иностранных агентств — Ассошиэйтед Пресс, Юнайтед Пресс Интернейшнл, ЭФЭ, Франс Пресс и т. д., и т. д. ...урок того, как можно всякую дребедень повторить на восьми колонках газетной полосы. Но Элиас уже выходит из машины, останавливается потолковать то с одним человеком, то с другим, может быть, он им говорит: «Мой хозяин— вот это персона, да еще какая персона!» «Big Chief? [1]» — «Какой там Chief, просто самый знаменитый дурак года, сеньоры...». Можно ли доверять Элиасу? Я спускаю боковое стекло автомашины и слышу музыку, новые, незнакомые ритмы, поднимаю стекло... Элиас возвращается, передает мне газеты, я перелистываю их: «Монсеньор вылетел из Триполи» — архиепископ и папский нунций возвращаются домой в воскресенье вечером,— они беседуют с Сэро, уговаривают его, чтобы они оба и еще послы Венесуэлы и Мексики были приняты в качестве гарантов при полете в Ливию: «Смотри, мой мальчик, без этих послов отъезд не пройдет, посол Венесуэлы через свое правительство получил разрешение на приземление в Триполи самолета, на котором полетите вместе с политическими заключёнными, посол Мексики от своего правительства тоже получил директиву оказать посреднические услуги»,— партизан задумался, он ослабляет ремень, пьет большими глотками из бокала — что-то похоже на западню в последний час; «Зачем этого нунция прислали сюда с целым набором заранее подготовленных требований»,— смогли расслышать мы слова Сэро и увидели, как он закурил сигарету и предложил другую монсеньору, не обращая никакого внимания на третьего, он подчеркнуто исключал его из переговоров, умышленно не замечал, а затем все трое стали дискутировать, жестикулировать, прогуливаться по залу — речь уже не шла о том, кто первый уступит, скорее это была подспудная борьба гордости и принципов,— и вот так, наверное, прошел целый час, кто знает. Вспоминаю, как Сэро впервые за три дня встал и с подчеркнуто фиглярским видом выложил на чайный столик в зале свой пистолет, было ли это доказательством,— но чего? — только они знали это; автомашина уже пересекает участок пути, отделяющий 39-ю улицу от 38-й, мои улицы, твои улицы, Мариана, окаймленные ныне маленькими лавчонками, аптеками, уни-

[1] Большой начальник *(англ.)*.

версальными магазинами, зубоврачебными консультациями, культурными учреждениями «Французского альянса», конторами по оформлению земельных угодий, филиалами фирмы «Кодак», в эти же часы, но в другие годы мы были бы уже здесь и играли бы, и ты со своими длинными косами, худая девчонка, вечно дравшаяся с Росарито Приэто, у которой пиньята изображала кролика, а затем все вместе мы залезали бы на ограду у дома Висенте или Бэби Гарсиа, оттуда день казался желтым, кремовым, розовым, серым, а иногда всей ватагой ходили бы на набережную собирать раковины, а море было голубым, светло-зеленым, темно-лиловым и серо-жемчужным, а потом возвратились бы домой, чтобы не опоздать к часу семейного ужина, и только ты, только ты с твоей бабушкой и с твоими обеими вечно скорбящими тетушками... автомобиль резко тормозит, будто кто-то взвизгнул от боли, но это просто одна, две, три женщины спорят из-за столкновения автомашин, и вокруг собирается толпа, миновали церковь Христа, на улицу уже не смотрю, мне хочется закричать во все горло, кричать так, как поют во весь голос, Мариана, петь, как кричат во весь голос,— боже мой! — твои глаза в тот четверг вечером, длинные ресницы, казавшиеся накладными, твой звонкий, раскатистый смех, твой открытый взгляд; «Нет-нет, монсеньор, поймите же, это несчастный случай, клянусь вам»,— а ты и я там, в Лас Кумбрес, то вверх, то вниз без передышки по тропинке, заросшей экзотическими растениями, которая ведет от шоссе к дому и от дома к озеру,— «Клянусь вам!» — мы плаваем и при лунном свете и в полной темноте,— «Это несчастный случай»,— наши тела вырисовывались тенями, как хорошо-то!— «Поймите, из-за этого все может сорваться». И твоя фигура во весь рост на фоне ночи, твои бедра, быть может несколько широковатые — «Монсеньор, умоляю вас, поймите же,— просил он, унижался,— это была ошибка, достойная сожаления, она пошла... стала выходить из туалета, когда была дана команда всем оставаться на своих местах» — почти детская наивность, с какой ты отдавалась в твоей наготе, когда ты бросилась навзничь на траву и срывала один за другим дикие цветы, Мариана, вся жизнь у меня перед глазами, сама жизнь, и о жизни хочу сказать тебе нечто существенное, нечто срочное, хочу сказать, хотя ты знаешь, что я хочу тебе сказать; автомобиль останавливается перед светофором рядом с госпиталем святого Томаса, нет, нет, сегодня вечером дождя уже не будет, машины двинулись, гонка продолжается, самолет «Иберия—Эйр Панама», готовый к отлету, ожидает на взлетной дорожке аэропорта Токумена, автобус заканчивает бешеную гонку, Сэро отдает приказ: заложникам быстрее выйти, срочно оставить автобус; партизаны садятся в самолет, солнечное утро, мы шагаем к товарным складам, приветствия толпы, крики, полицейское оцепление, мы шагаем медленно, неуверенно, страх еще не покинул нас, флажки, удушающая жара,— Элиас не осмеливается включить радио в машине, потому как, я чувствую, он стесняется меня — чудной человек, в самом деле, ведь так просто ему спросить, но он этого не делает, и мы продолжаем ехать в тишине, удивительный человек этот Элиас, но в глубине души он мне нравится, он уже поворачивает на 29-ю улицу, и все в тишине, в благословенной тишине, как будто он не типичный панамец, наши люди столь говорливы, что любого могут засыпать словами, но нет, я ошибаюсь, человек из провинции совсем не походит на столичного жителя, мулата, или метиса, либо китайца, а Элиас — чистокровный индеец, всегда молчалив, ему нравится, чтобы вначале обратились к нему, чтобы с ним заговорили, чтобы говорили с ним, он постоянно ждет чего-то, постоянно дожидается, всегда замкнут, пусть другой что-то сделает, скажет, на что-то решится, а он умеет только следовать, слушаться, услужливо соглашаться, когда ему выговаривают, и тогда он может себе позволить думать, что другой его преследует, подвергает гонениям, враждебно к нему относится, торопит, охотится за ним, наступает ему на любимую мозоль и на пятки, и тогда он чувствует себя так, как ему нравится, то есть он будет чувствовать себя как в собственной тарелке: оскорбленным, угнетенным, раздраженным, провоцируемым, возбужденным и замученным тем, кто взял на себя инициативу; мы пересекаем авениду Бальбоа по направлению к рынку — избираем кратчайший путь к Президентскому дворцу, очень узкая улица, полная луж и грязи, жутко воняющая рыбой, очистками, прелыми тропическими фруктами, гнилыми овощами, я зажимаю нос платком, смоченным одеколоном, однако вонь проникает через французское благоухание, я отворачиваюсь, но бесполезно; продавцы лотерейных билетов сидят посреди улицы со своими зелеными, розовыми, желтыми, апельсинового цвета билетами — возьмите на счастье! — восклицания, одно, другое, автомобильная пробка, машины застряли среди тачек, грузовиков, велосипедов, мотоциклов; шатаются пьянчуги, старухи в лохмотьях, с корзинами на голо-

ве, выкрикивают: лук-картошка-помидоры-салат!.. коробки с побитыми на улице яйцами; полицейские в огромных темных очках, в безукоризненной форме, свисток регулировщика движения, автомашина, еще одна, опять остановка, китаец продает вареного поросенка, другой хотел бы у него купить фунт, но прежде торгуется, мясник несет на плече два больших куска говядины, и кровь капает: кап-кап-кап... мы поднимаемся по склону на небольшую площадь Альфаро, слева — море, рыбацкие суда, целый дощатый флот, а вдалеке роскошные небоскребы на Пунта Пайтилье, отель «Холидей Инн», пальмы, частные яхты, ежедневно совершающие рейсы на острова Контадора или Табога, опять — красный свет; на стене дома чьей-то рукой написано огромными красными буквами «БАЗАМ — НЕТ! ДОЛОЙ ЯНКИ!», узнаю листовки, всюду расклеенные: «БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ ПУШЕЧНЫМ МЯСОМ ДЛЯ ИМПЕРИАЛИЗМА!» — отвожу глаза,— в ночь с воскресенья напряжение продолжало нарастать, сон пропал, переговоры застопорились, Сэро приходил и уходил, рассыпая налево и направо ругательства и оскорбления, радиоприемник партизан постоянно включен, передаются последние правительственные сообщения, послы заседают на продолжающемся совещании, лишь в тот момент мы впервые узнали, что в ночь налета на мой дом были убиты телохранитель министра Рамиреса и шофер дона Антонио Вальярино, их похоронили этим утром после вскрытия — пулевое ранение в пах, в желудок, навсегда открытые глаза, множество народу на похоронах, несмотря на жару, сам полковник, встреченный овацией, прибыл на кладбище Амадор, он лично поздоровался с родственниками; времени — пять часов пятьдесят минут, старинная церковь Милосердия, во французском стиле балконы, историческая Соборная площадь, образованная церковью, почтой и отелем,— архитектурные следы былого господства испанской и французской империи, старое здание университета Санта Мария, где ранее была резиденция архиепископа, и новое здание, способное напугать любого, пять часов пятьдесят три минуты, опять листовки, всюду листовки: «СОВМЕСТНАЯ ОБОРОНА — СОВМЕСТНЫЕ РЕПРЕССИИ!» — спокойный голос полковника, объявившего, что правительство в ближайшее время достигнет договоренности с партизанами Фронта национального освобождения. Антонио Вальярино опустил голову на стол; вдруг послышались стоны, разорвавшие тяжелую тишину, и неожиданно я почувствовал, Мариана, как по моему телу разлилась острая боль, страшные позывы к рвоте, я не мог сдержаться, вкус желчи во рту, скажи мне, Мариана, почему все так произошло? Скажи мне почему? — и вдруг будто ударила молния в последнюю минуту — не во сне ли я, не придумал ли я? Не знаю, но ведь назвали твое имя, я сорвался с места и увидел четырех мужчин, они входили в парадную дверь с носилками, они прошли мимо нас, скрылись в спальне; монсеньор и нунций поспешили за санитарами — новый удар молнии,— они вышли из дома, унося тело, покрытое простыней... может, вынесли матрас?.. Я видел, как затем проследовали мимо меня архиепископ и нунций, от черного цвета их сутан у меня потемнело в глазах... как же это случилось? Хоакин схватил за руку партизанку, расспрашивал ее,— оказывается, вчера вечером, когда нас захватили, метис нечаянно выстрелил, она как раз выходила из туалета, несчастный случай, поток отборнейших ругательств вслед за жалобным вскриком — и свалившаяся на меня, сломавшая меня боль, боль, охватившая всего, с головы до пят,— да, они сказали так, снова называли твое имя, его повторяли по радио, оно было на устах всех — заложников и партизан одновременно,— твое имя, какое право имели они называть твое имя, Мариана? Страшная, подавляющая тяжесть будто влилась через окна, и наступила беспредельная тишина — Мариана, это ты? Это ты лежишь, вытянувшись, на жестких носилках? Это твое, только твое тело?.. Невольно закрываю глаза.

— Сеньор, прибыли к Президентскому дворцу.

Холодным ветром потянуло с залива.

■

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

А. МУЛЯРЧИК

ПАРТИТУРЫ УГРОЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

«Подлинный лик войны никогда не заглянет в наши книги» — так решительно и лаконично высказался в середине 60-х годов прошлого века Уолт Уитмен, предчувствуя наступление в американской литературе длительной полосы господства умозрительно-жеманной прозы, типичной для так называемого «нежного реализма». Обременительный груз того, что получило также наименование «традиции благопристойности», был сброшен писателями США лишь спустя несколько десятилетий. Вначале Стивен Крейн в «Алом знаке доблести», а затем плеяда представителей «потерянного поколения» — Каммингс, Хемингуэй, Дос Пассос — открыли глаза своим соотечественникам на бесчеловечную суть военных конфликтов, зарождающихся в недрах буржуазного общества.

С тех пор военная тема и жанр «военного романа» прочно укрепились в американской прозе. Причину этого радикального поворота следует, однако, искать не столько в крахе былых викторианских запретов и предрассудков, сколько в возникновении нового и весьма важного фактора — милитаризации образа жизни и мышления многих современных американцев. «Война — непременный спутник двадцатого столетия... В конце концов у нас потому так много военных романов — как джингоистского, так и пацифистского склада,— что мы живем в мире, в котором грохот пушек не умолкает ни на минуту»,— справедливо говорилось в предисловии к недавней литературоведческой работе «Война и романист» (1976), принадлежавшей перу — чем не знак времени?! — подполковника американской армии Джонса.

Многие романы о войне и ее отзвуках в памяти народов находятся среди высших достижений передовой реалистической литературы США минувшей трети века — достаточно напомнить о «Молодых львах» Ирвина Шоу и «Нагих и мертвых» Нормана Мейлера, об отдельных произведениях Джона Херси, Джона Килленза. «Если бы я не пошел на войну, из меня никогда бы не вышел настоящий литератор»,— писал недавно Мейлер в предисловии к изданию своего раннего романа «Путь к Нарциссу», отмеченного явной печатью идейного квиетизма и эстетской изнеженности. «Хвала господу,— продолжал писатель,— что мой молодой талант попал на самую жесткую наковальню, какую только можно себе представить. Он был выкован в условиях американской действующей армии, и ко мне пришло ощущение социального, ощущение общества, раздираемого классовой борьбой,— то самое качество, которого напрочь был лишен мой путь к «Нарциссу».

В лучших произведениях «военных романистов» война и армия неизменно служили благодатным материалом для глубокого анализа противоречий, свойственных всей капиталистической системе. Однако в противовес этому направлению еще с начала 50-х годов в США появилась апологетическая беллетристика, использовавшая в качестве сюжетной основы события современной международной политики и с бо́льшим или меньшим успехом проповедовавшая внешнеполитические установки наиболее реакционных кругов американской элиты. Бесспорным лидером этой группировки к настоящему времени является Герман Вук — прозаик скромного дарования, но крепкой профессиональной выучки, неизменно обеспечивающей его книгам внимание со стороны широкой читательской аудитории.

Как известно, в США отсутствуют общеобязательные школьные или университетские учебники истории, и каждый волен самостоятельно ориентироваться в ворохе литературы, чтобы составить представление

МУЛЯРЧИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род в 1938 г.)

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Джона Стейнбека» (1963), «Американский роман в 20-е годы XX века» (1968), один из авторов книги «Американская литература и общественно-политическая борьба: 60—70-е гг.» (1977); многих статей по проблемам американской литературы.

о прошлом человечества. Роль нормативного учебного пособия едва ли приличествует художественной прозе — как-никак ее специфика состоит в живой образности, а не в соединении информации с необходимым дидактизмом. Однако эти эстетические истины, по-видимому, не смутили Вука, когда в середине 60-х годов он составлял план дилогии, посвященной событиям второй мировой войны. Опубликованные соответственно в 1972 и в 1978 годах романы «Ветры войны» и «Война и память» имели вполне определенное назначение — служить популярным руководством в интерпретации фактов истории для американского массового и прежде всего молодого читателя.

Используя каноны романа-эпопеи, восходящие к «Айвенго» и «Квентину Дорварду» Вальтера Скотта, Вук представляет важные исторические сдвиги в основном через восприятие нарочито приземленного «среднего героя». Избрав центральным персонажем книги скромного офицера американской армии Виктора Генри по прозвищу Курносый, который волей судьбы становится наблюдателем, а иногда и участником действий, определивших взаимоотношения мировых держав, Вук умело перемежает крупный и общий планы изображения, дающие в совокупности широкую картину военной стратегии и политических интриг

Хронология «Ветров войны» охватывала период до нападения Японии на Пирл-Харбор. Соединенные Штаты еще считались нейтральной страной, но Генри в качестве одного из лиц, представляющих американские интересы в Европе, удается стать свидетелем переговоров, которые западные дипломаты вели с Советским Союзом в летние месяцы 1939 года, и блицкрига в Польше, и «странной войны», а затем и оккупации Франции, и развития боевой обстановки на восточном фронте. И хотя в заключительных главах романа отдавалось должное мужеству советского народа и его армии, остановившей у стен Москвы военную машину нацизма и нанесшей ей весьма чувствительный удар, общая трактовка международной политики на рубеже 30—40-х годов получала у Вука отчетливую антисоветскую окраску, и она была целиком выдержана в духе официозной историографии.

В романе «Война и память» фокус изображения переместился с Западной Европы на Тихий океан. Обосновывая тезис о решающем вкладе США в победу союзников над державами «оси», Вук подробно описывал кампании по освобождению территорий, захваченных японскими милитаристами. Крейсер, на котором служит Виктор Генри, получает повреждение и тонет во время боев за остров Гуадалканал. Оправившись после ранения, Генри возвращается к дипломатии, и этот сюжетный ход давал Вуку возможность «обозреть» ситуацию, складывавшуюся в странах антигитлеровского союза. Вместе с помощником президента Рузвельта Гарри Гопкинсом герой романа отправляется в Лондон и Москву, участвует в Тегеранской конференции и даже попадает в Ленинград после прорыва девятисотдневной блокады. Параллельно развивалась и любовная интрига, завершавшаяся разводом Генри с неверной женой и его увлечением Памелой Тьюдсбери, дочерью влиятельного английского журналиста.

Пытаясь подражать классикам, Вук соединял войну и мир, батальные и интимные сцены, вымышленных персонажей и фигуры подлинных исторических военачальников и политических деятелей. Творческие возможности прозаика оказались, как и можно было ожидать, много ниже столь грандиозного замысла. «Литературные достоинства дилогии отнюдь не пропорциональны ее объему»,— не без ехидства писали рецензенты, оставляя за пределами внимания, впрочем, главный недостаток книг Вука — полную зависимость их идейно-философского содержания от тенденциозных концепций буржуазных историков и политологов.

Консерватизму идейных воззрений Германа Вука вполне созвучны и откровенно злопыхательские построения авторов книги «Третья мировая война: 1985» — еще одного «военного бестселлера» на американском книжном рынке последнего времени. Бывший натовский стратег Джон Хэккет в соавторстве с шестью такими же, как и он, генералами-отставниками вознамерился написать нечто вроде «романа-предостережения», обращенного в совсем уже недалекое будущее. Под видом выдержек из фиктивной военной истории тут был обрисован очередной вариант «глобального конфликта», не раз, видимо, проигрываемого на «ящиках с песком» во время регулярных военных учений НАТО. Его начало приурочивалось авторами книги к вступлению в должность президента США вымышленного лидера республиканской партии Томпсона, одерживающего в 1984 году победу над вполне реальным нынешним вице-президентом У. Мондейлом. За исключением этой и некоторых аналогичных деталей, в остальном сценарий грядущего столкновения повторял тридцатилетней давности выпуск ныне покойного журнала «Колльерс», бывший одной из наиболее памятных вех «холодной войны».

Как отмечала даже американская критика, мнимая «агрессивность» Советского Союза обосновывалась в романе семи генералов с помощью «довольно селективного и фрагментарного использования цитат», то есть путем тенденциозной подборки выдержек из буржуазной прессы. Однако последнее слово в разоблачении надуманных обвинений принадлежало, как ни удивительно, самому Дж. Хэккету. «Однажды за ленчем мы с одним издателем разговорились на эту тему,— поведал Хэккет некоторые подробности относительно своей книги.— Вначале ее идея показалась мне хотя и любопытной, но абсолютно абсурдной. Но чем чаще мы прикладывались к бутылке, тем сильнее крепла моя вера в успех нашего предприятия». Сама по себе история рожденного под воздействием винных паров пропагандистского опуса не кажется слишком необычной, но прискорбно то, что выпущенный в буквальном смысле из бутылки фантом «советской угрозы» оказал в конце 70-х годов весьма ощутимое воздействие на сознание «среднего американца».

Эффект книги Хэккета не был бы, пожалуй, столь впечатляющ, если бы ей не предшествовал целый ряд аналогичных сочинений, нацеленных на возрождение в США

идейно-психологических стереотипов, характерных для атмосферы «холодной войны». «Данный роман... не является изображением того, что непременно должно произойти. Но в нем содержится предсказание того, что может случиться, если определенные тенденции в мировой политике получат продолжение и без помех будут доведены до своего логического конца»,— это зловеще звучащее предупреждение адресовалось читателям романа Аллена Друри «Вспомни о Ниневии, вспомни о Тире» (1973), само название которого должно было напомнить об участи древних цивилизаций, ставших жертвой нашествия варваров. Бывший вашингтонский журналист Друри предлагал здесь свой вариант партитуры будущих международных событий, создавая далекий от действительности образ Советского Союза как «ненадежного партнера», снедаемого жаждой безграничной идеологической и территориальной экспансии.

Запугивая американских обывателей, Друри рисовал жалкую участь их страны, лишенной ядерного превосходства, зажатой в тиски бесчисленными военными базами «красных», беспомощной перед нацеленными на ее жизненные центры ракетами и космическими аппаратами. Внушив читателю чувство чуть ли не отчаяния по поводу «драматического падения престижа» Америки, Друри, однако, спешил предоставить ему и рецепты «возрождения» роли США как жандарма мирового порядка. Спустя всего два года в следующем романе — «Обещание радости» (1975) — он набрасывал сценарий усиления геополитической мощи Соединенных Штатов при условии опоры Вашингтона на великодержавные устремления Пекина. Так задолго до первых сдвигов в официальной позиции тут был выброшен лозунг «китайской карты», и это всего лишь один пример разработки и даже предвосхищения в «массовой беллетристике» некоторых тенденций международного развития.

«Политическая фантастика», получившая к концу 70-х годов широкое распространение в литературе США, вовсе не обязательно была устремлена только в будущее. Немалый соблазн вызывало и прошлое; «что было бы, если бы...», исходя из этой предпосылки, авторы ряда книг вновь обращались к истории минувшей мировой войны, как бы заново переписывая некоторые ее страницы. Порой эти условные допущения служили целям чисто фабульным, как, например, в романе Кена Фоллета «Игольное ушко» (1978), где шпиону фашистского абвера вменялось в задание разведать точное направление предполагаемой высадки англо-американских войск на Европейском континенте. Принявший благообразный облик англичанина и имя Фабер, агент проникает-таки в тайну камуфляжа, окутывавшего подлинные военные приготовления союзников. Он узнает, что центром удара избрано не побережье вблизи Кале в узкой горловине Английского канала, а сравнительно отдаленный берег Нормандии. Если ему удастся убедить в своей версии высших чинов в Берлине, Германия может быть спасена. Но... тут вмешивалась всемогущая рука романиста, который, в соответствии с фактами, ставил все на свое место и обрекал своего персонажа на поражение в напряженной борьбе со служащими английской контрразведки.

Еще один вариант концовки войны в Европе был предложен беллетристом Гарри Паттерсоном (выступающим также под псевдонимом Джек Хиггинс) в романе «Обмен во Дворце мертвых» (1977), основывавшемся на циркулировавших одно время слухах о попытке Мартина Бормана в последние дни существования рейха купить собственную свободу ценой немедленной репатриации англо-американских пленных. Несмотря на крайнюю гипотетичность этой версии, Паттерсону нельзя было отказать в стремлении создать хотя бы видимость фактической основы для своей книги. В то же время большинство авторов современного авантюрно-шпионского чтива порывает всякую связь с исторической правдой ради досужих вымыслов, эксплуатирующих, как правило, известные стереотипы антисоветского мышления. Особенно ярким примером такого рода является, без сомнения, вся литературная деятельность Хелен Макиннес, считающейся на Западе «королевой политического детектива», включая ее романы «Резидент» (1977) и «Прелюдия к ужасу» (1978).

Обнадеживающим отступлением от сложившихся трафаретов мог поначалу показаться роман молодого, но успевшего о себе заявить как в Англии, так и в Соединенных Штатах прозаика Лена Дейтона «СС над Британией», опубликованный в начале 1979 года. Что было бы, если бы история пошла другим курсом, задавал вопрос автор, если бы в 1941 году Гитлер не напал на СССР, а форсировал бы Ла-Манш и вторгся на Британские острова? И вот в романе возникают зримые черты «нового порядка», распространенного на Англию, которая разделила теперь участь почти всей Западной и Центральной Европы. Группенфюрер Фриц Келлерман воплощает гнетущую власть нацистского режима, который до поры до времени чувствует себя хозяином в покоренной стране. Однако, как и повсюду, в Англии возникает движение Сопротивления, и эпизод этой вымышленной, но и вполне правдоподобной борьбы составляет сюжет книги.

Один из самых дерзких замыслов лидеров движения состоит в намерении освободить плененного в лондонском Тауэре короля Великобритании и вывезти его за границу, чтобы там он мог служить символом для объединения сил, враждебных иноземным захватчикам. Ключевую роль в осуществлении этого замысла должен сыграть работник разведслужбы Дуглас Арчер, который вначале держится скептически, но постепенно все внимательнее прислушивается к своим патриотически настроенным согражданам. Борьба за душу Арчера следует параллельно внешней событийной линии, изобилующей обычными для приключенческого романа тайнами, разоблачениями и погонями.

Такова общая канва книги Дейтона, но, как убеждаешься, одной фабулы явно недостаточно для того, чтобы звучание произведения выявилось со всей определенно-

стью. Вчитываясь в книгу, с сожалением приходишь к выводу, что ее центральная, казалось бы, подчеркнуто антифашистская идея является лишь чисто сюжетообразующим фактором, далеко не подчиняющим себе прочие компоненты содержания. По сути автор рисует чрезвычайно благостную картину жизни в оккупированной стране, лишь мимоходом упоминая о казнях партизан, о преследованиях евреев, о введении правил строгой сегрегации, превращающей исконных жителей острова в граждан «второго сорта». С другой стороны, немалое место в романе уделено сценам отвратительного братания местных и пришлых «арийцев», которых объединяет ненависть к марксизму и Советскому Союзу. Особенно колоритен в этом смысле своеобразный «пир Тримальхиона», на который сходятся коллаборационисты всех мастей и оттенков, одержимые стремлением к наживе ценой предательства национальных интересов.

В романе «СС над Британией» имеются и другие сильные штрихи, которые при надлежащей акцентировке могли бы увеличить в нем удельный вес антифашистской проблематики за счет чисто развлекательных элементов. Однако цель автора заключена как раз в обратном: своего читателя он стремится увести от серьезных мыслей, предлагая ему взамен острые ощущения как результат головоломной интриги. «Лен Дейтон делает свой бизнес на легком чтении, и поэтому социальные и политические аспекты его книги занимают в ней едва заметное положение»,— не без основания отмечала американская либерально-демократическая критика. И это далеко не первый случай извращенной трактовки идеи борьбы с фашизмом в современной англоязычной «массовой беллетристике». Из точно таких же установок исходили англичанин Фредерик Форсайт («Досье «Одесса», 1972), а также автор «политических детективов» Леон Урис, использовавший в романе «КБ-7» (1971) память о жертвах нацизма для злостной антисоветской пропаганды.

В совершенно ином свете проблемы войны и мира предстают на страницах большой реалистической американской прозы — в романе Уильяма Стайрона «Выбор Софи» (1979), в недавних произведениях Джеймса Джонса «Побудка» (1978) и А. Майрера «Последний кабриолет» (1978). Напечатанная посмертно «Побудка» завершала цикл, куда входили также романы «Отныне и во веки веков» и «Тонкая красная черточка», и доводила до апогея сквозную тему трилогии — тему прогрессирующего распада фронтового товарищества под воздействием испытаний как военной, так и гражданской жизни. Той же эпической широтой дышали страницы романа Майрера «Последний кабриолет», в котором прослеживалась судьба поколения, прошедшего через Пирл-Харбор и высадку на «страшные Соломоновы острова» (какими они представлялись еще Джеку Лондону), но заблудившегося в «неоновых джунглях» послевоенной Америки. Более противоречива художественная структура книги Стайрона, будоражившей у современного человечества память о гекатомбах лагерей смерти, подобных Освенциму. Но несомненно, что ненависть к тотальному порабощению личности явилась важнейшим мотивом, руководившим создателем этого масштабного произведения. Традиции антивоенного романа, разоблачающего идеологию милитаризма и человеконенавистничества, не ушли из той части литературы США, которая руководствуется высокими идеалами гуманизма и общественного служения. Вместе с тем, как можно было видеть, различные жанры «массовой беллетристики», включая квазиисторическую эпопею, «политическую фантастику» и шпионский роман, ведут активное наступление на эмоции и мысли американцев, возлагая особые надежды на «проникающую силу» пропагандистского заряда, замаскированного столь соблазнительным в своем многоцветии развлекательным камуфляжем.

Несмотря на очевидный примитивизм, эта литература далеко не так безобидна и легковесна, как считают некоторые исследователи морально-идеологических параметров особенно обострившейся в последнее время международной обстановки. Печатающиеся лавиноподобными тиражами и раскупаемые почти на всех углах и перекрестках, эти книги перелагают на псевдообразный, легко усваиваемый миллионным читателем язык официозные военно-политические и идеологические доктрины, созревающие в тиши университетских кабинетов и научно-прикладных центров. То, о чем размышляли авторы программных сочинений типа сборника «Защищать Америку» (1977), «Диалоги об американской политике» (1979) или только что вышедшего шестисотстраничного труда «Америка в 80-е годы», подготовленного Гуверовским институтом войны, мира и революции, приходит сейчас к «среднему американцу» (помимо недолговечных и не всегда аналитичных сообщений средств массовой информации) в основном через произведения «властителей умов» наподобие Германа Вука и Аллена Друри. И буржуазные идеологи с каждым годом все более отчетливо осознают значение этих форм «массовой культуры» для формирования общественного мнения по жизненно важным проблемам внутренней и тем паче внешней политики США. «Мы верим, что только сильные консервативные президенты способны заключить достойный мир с другой стороной, и сейчас страна хочет видеть в Белом доме скорее гладиатора, нежели еще одного просто толкового администратора...» — эти восклицания прозвучали со страниц ориентирующегося на американский «истеблишмент» ежемесячника «Эсквайр» накануне прихода в Белый дом Джимми Картера. Воинствующий тон, взявший с тех пор верх в определенных кругах США, вызывает серьезную озабоченность. Мобилизация всех средств пропаганды, включая и книжную индустрию, для отстаивания тезиса о советской «военной угрозе» может привести лишь к возникновению атмосферы искусственного отчуждения, противоречащего идеалам и насущным задачам международного сотрудничества.

◆

Критика

Д. ЗАТОНСКИЙ

ВКЛАД ЧЕХОВА

И сейчас еще существует не так уж мало современников Драйзера или Ромена Роллана. Современников Чехова почти не осталось. Но Драйзер или Роллан — история литературы (славная, значительная и все-таки история), а Чехов — как бы сама современность. Мне, по крайней мере, всегда трудно отделаться от странного ощущения, будто многие чеховские вещи написаны чуть ли не вчера. Иллюзия эта связана с тем, как он рисует окружающую его жизнь и как умеет почувствовать и понять населяющих землю людей.

Эрнест Хемингуэй писал рассказы, можно бы сказать, «чеховского склада»: они коротки, экономны, пластичны, исполнены подтекста и пронизаны настроением героя. Собственно, Хемингуэй пошел в этом направлении дальше Чехова. Его проза являет собою открытый разрыв с прежней спокойной описательностью, с безмятежной прочностью авторского всеведения, с закругленностью словесных периодов, отделяющих и отдаляющих от себя объект изображения. Хемингуэй довершил разрушение «автономной» риторики, начатое Стендалем, Флобером, Толстым, Достоевским, Чеховым. И не только в том смысле, что начисто отказался от всех самоцельных стилистических фигур, от всех красивостей. Он привел к полному, по-своему прямо-таки «идеальному» соответствию своего героя, его лирический мир и манеру о них рассказывать. У него нет ни одного пейзажа, ни одного портрета, ни одного диалога, который выпадал бы из общего тона, существовал бы сам по себе, как-то противостоял бы целому. С точки зрения литературной эволюции хемингуэевский путь был необходимостью, но в некотором смысле вел к неизбежным потерям; Чехов по-прежнему остается современным, а Хемингуэй порой начинает казаться как бы «представителем» 30—40-х годов нашего века.

Искусство не впадать в экстрему — один из важных чеховских уроков. Но дело не только в этом. Чехов обновлял литературу, открывал ей путь в XX век. То был путь и неповторимо индивидуальный, и в то же время самый широкий, самый общий, вбиравший разные потоки и освящавший их. Отсюда и отсутствие музейной пыли на формах чеховского реализма.

Вклад писателя в развитие литературы (особенно если писатель велик) — это не просто сумма его произведений, взятых, так сказать, в самих себе, во всей непосредственности их содержания и во всей обусловленности формы. Вклад писателя — это и прочерченный им след, тот исходящий от него новый толчок, который способен ускорить темп общего литературного движения или даже — пусть ненамного — изменить направление последнего. Этой стороны чеховского вклада в мировой художественный процесс я и намерен коснуться. О ней можно написать целую книгу. А я пишу лишь короткую статью, почему и вынужден себя ограничивать. Чехов осуществил революцию на театре. Французский писатель А. Лану сказал о нем: «Бóльшая часть нашей драматургии обязана ему своим эмоциональным своеобразием, неожиданным звучанием, своей особой, сложной и вместе с тем уверенной манерой проникновения во внутренний мир персонажей». Я, однако, остановлюсь лишь на вкладе Чехова-прозаика, да и тот обозначу в самых общих чертах. Тех, что, как

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский критик и литературовед, член-корреспондент Академии наук УССР, доктор филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «В поисках смысла жизни. Взгляд на современную литературу на Западе» (1966), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время. Зарубежные литературы XX века» (1979) и многих статей. Работы Д. Затонского неоднократно печатала «Иностранная литература».

мне кажется, определяют место автора «Дамы с собачкой» или «Архиерея» в становлении повествовательных форм XX века.

«Было бы приятно,— писал Чехов,— сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в семистах строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам». Возможно, что Чехов и в самом деле видел первопричину в этом: в необходимости, в привычке, сложившейся еще в годы работы для «Зрителя», «Будильника», «Осколков», где ничего, кроме миниатюр до сотни строк, в печать не брали. Вообще не суть важно, что было здесь яйцом, а что — курицей. В свете чеховского вклада важно лишь, что, изображая своих героев, писатель «все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе». По Чехову это — отказ от субъективности. Оно так и есть, если принимать во внимание только ту авторскую субъективность, которая отдает риторикой и дидактикой, ибо оторвана от изображаемого и блюдет по отношению к нему дистанцию. Существует, однако, и иной вид субъективности. Она как бы исходит от персонажей, поскольку повествовательная ткань оказывается пронизанной их мироощущением; действительность являет себя читателю чем-то претворенным, даже присвоенным ими; жизнь и представление о ней, ее оценка плотно прилегают друг к другу, чуть ли не сливаются.

Этот симбиоз субъективного и объективного и порождает особую, неповторимую чеховскую интонацию: «...было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению.— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине». Описание первых минут после близости пропущено через ощущения, через настроение Гурова. Тем самым описание перестает быть описанием; вернее, поднимается над самим собой. Оно не утрачивает ни объективности, ни информативности, но оно заострено и прояснено вмешательством индивидуального сознания. Завядшие черты, печально висящие длинные волосы, унылая поза — все это не просто один из портретов Анны Сергеевны, а отражение, моментальный снимок ее душевного смятения, который, может статься, не слишком верен в смысле эмпирической точности. Тем более что портрет Анны Сергеевны — одновременно и след душевного смятения самого Гурова. Но зато душевное смятение каждого из героев воссоздано не только в сложности своей, а и в предельной своей наглядности.

«Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня; канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешились. Канава обрывалась отвесно, край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга» — это отрывок из «Пармской обители» Стендаля, из той ее знаменитой главы, где изображается битва при Ватерлоо. Сцена набросана энергичными, резкими штрихами, предельно скупо и на удивление наглядно. Воистину, закроешь глаза и видишь: купы деревьев, набухшая, желтая глина канавы, горстка всадников на мокром лугу... Но дело, конечно, не только в ясности, экономности, простоте слога. Битва при Ватерлоо дана глазами Фабрицио, пронизана его ощущением и его непониманием происходящего. И в этом, вероятно, главный секрет: по-настоящему пластичным способен стать лишь образ, видение, восприятие, ощущение которого мы, читатели, делим с героями, образ, который опосредуется через них или даже прямо через автора, но не автора-эпика, автора-ритора, вещающего с расстояния, а того, что меряет мир на себя, что не *рассказывает*, а *показывает*.

Удивительно ли, что именно Чехов по-настоящему открыл в литературе богатство пластического рисунка?

У Стендаля нет других глав, которые были бы написаны так, как посвященная битве при Ватерлоо; Флобер и Толстой, в чем-то унаследовавшие эту его манеру, пользовались ею тоже далеко не всегда. Поздний Чехов почти сплошь, ничего не рассказывая, все показывает. «...Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо» — это из «Анны на шее». Из «Дамы с собачкой»: «Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков».

В отрывках этих на поверхности лежит четкость, выпуклость, какая-то даже пронзительность зрительного впечатления. Но есть и нечто иное, не сразу, не вдруг уловимое, делающее каждый из текстов чем-то особым, на прочие непохожим. Причем именно оттого, что они построены по одному принципу. Пьяненького Петра Леонтьича видит Аня; провинциальный театр во время антракта — Гуров. И каждый живет в своей ситуации, у каждого — свое настроение. Аня только что обвенчалась с нелюбимым, чужим стариком, вместо свадебного путешествия едет с ним на богомолье и потому так остро ощущает всю фальшь, всю противоестественность происходящего. Гуров, понукаемый тоской по «даме с собачкой», неожиданно для самого себя поехал к ней и спутнул ее в театре — отсюда (от волнения его, от смущения, от неспособности самого себя понять) то странное, сдвинутое, дробное и несогласуемое переживание окружающего, которым проникнут отрывок.

Итак, каждый из отрывков, помимо зрительного образа, создает определенное настроение, со зрительным образом органически связанное, диктующее ему его форму. Настроение это не столько выражается словами, сколько стоит за ними, неизмеримо углубляя картину воссоздаваемой действительности. Это и есть чеховский *подтекст*. Он наличествует не только тогда, когда прямое называние явления, лица, предмета заменено намеком; он как бы разлит по всей повествовательной ткани — по крайней мере, если речь идет о лучших произведениях Чехова. И это — тоже вклад, то, что отличает прозу *до* него от прозы *после* него. Конечно, до Чехова были и лермонтовская «Тамань», и некоторые страницы Стендаля, Флобера, Толстого, Достоевского. Однако подтекст не просто как отдельный прием, а, если угодно, как стиль ввел в литературу Чехов.

В известном смысле этим был обозначен и сдвиг в изображении человеческой психологии.

Стендаль, нарисовавший войну, какой ее видит юный Фабрицио, в остальном, как правило, удовлетворялся традиционным психологическим анализом. Он разбирает характеры своих героев, раскладывает их черты по полочкам, комментирует и систематизирует. Иными словами, касаясь внутреннего, остается снаружи. Кроме того, в этот момент человеческое сознание как бы принимается им за нечто статичное, самому себе равное.

Не ограничившись описанием личности, представляя ее внутренний мир в непрерывном, непрямолинейном движении, Толстой сделал решающий шаг и проник не только в тайны, а и в сам механизм человеческой психики (достаточно вспомнить «поток сознания» раненого князя Андрея в «Войне и мире»). И все-таки как диалектик души Толстой по большей части не покидал надежного русла психологического анализа — даже когда представлял Анну Каренину за считанные минуты до самоубийства. Толстой передает не столько содержание мыслей Анны, сколько их форму; он не говорит: «она была растерянна», а отражает растерянность эту в строе мышления. Однако он упоминает «раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца», ее отвращение, ее страдания. Потом и самой Анне, и нам, читателям (не говоря уже об авторе), она вполне открыта, совершенно понятна.

У Чехова все это выглядит нередко иначе: «Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты». Так изображен странный поступок земского врача Овчинникова в рассказе «Неприятность» — никак не объяснен, но и не просто показан. Происшествие подано изнутри, как бы из поля зрения самого Овчинникова, но не выглядит от этого более мотивированным. Напротив, вне окружения всех обуревавших доктора чувств пощечина могла бы показаться более естественной: ведь фельдшер — в который уж раз — явился в больницу пьяным. Однако почему бить человека (причем именно человека, занимающего определенную позицию в этой жизни) для кроткого Овчинникова — удовольствие, непонятно не только Овчинникову. Вне контекста рассказа это осталось бы непонятным и читателю. Впрочем, и в дальнейшем Чехов никакого комментария не дает; он лишь подводит нас к верному решению тем, что усложняет и заостряет ситуацию. Доктор мечется: то ему хочется, чтобы фельдшера выгнали, то чтобы восторжествовала несправедливость в лице влиятельной фельдшеровой тетушки и в отставку отправили его самого. А фельдшера, явившегося с повинной, он уговаривает подать в суд, вызывая презрение последнего. Узел до безнадежности запутывается. Но когда председатель земской управы (который не может позволить себе роскошь лишиться такого врача, как Овчинников) все же распутывает узел, заставив озлобившегося фельдшера просить прощения, это тоже не то: «Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!

— Что же вам нужно? — огрызнулся на него председатель.— Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нет, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!»

Последние, как бы случайно вырвавшиеся слова — ключ: речь все время идет об отношении к жизни и о самой жизни — о неустроенности, дикости, несправедливости, немыслимости российского бытия на рубеже столетий. Только противоречия и антагонизмы социальные преломлены сознанием доктора Овчинникова, более того, приняли вид глубоко личных его проблем. Это не умаляет их значения, скорее, сообщает им ту болезненность и ту всеобщность, которые сами по себе внушают мысль о необходимости, о неизбежности перемен.

Так внутреннее, индивидуальное, психологическое начинает нести у Чехова гораздо бо́льшую содержательную нагрузку, чем то было до него. Но мыслимо это, по-видимому, лишь при условии, что расшифровка душевных движений уходит в подтекст. Потому что выполнить свою функцию способен лишь образ сознания, слитого с определяющим его бытием, представленным в живом, сложном, текучем взаимодействии с ним, а не на столе для анатомических вскрытий.

Однако вот какой возникает вопрос. Чеховская интонация, чеховская пластика, чеховский подтекст, наконец, особый чеховский психологизм — разве все это не атрибуты и одновременно не порождения

излюбленной Чеховым малой формы? Возможно ли (да и нужно ли!) на всем протяжении объемистого романа писать лишь такой вот скупой, лиричной, субтильной прозой, вовсе обходясь без описательности, риторики, густой и красочной образности, даже просто длиннот? История романа, существовавшего до Чехова, утверждает: нельзя; опыт романа, появившегося после Чехова, свидетельствует: можно (из чего, разумеется, никак не следует, будто это единственный достойный внимания опыт, указующий путь *всему* романному развитию).

Впрочем, к теме «Чехов и жанр романа» я намерен обратиться ниже, а здесь взгляну на только что поставленные вопросы в ином аспекте. Нет сомнения, что конгениальная Чехову-прозаику форма — это форма малая. Однако лишь в ограниченной степени он свою малую форму унаследовал от предшественников («Тамань» Лермонтова, «Коляска» Гоголя и т. д.), в основном же создал ее сам.

«Новелла...— так определил в свое время сущность этого жанра Ф. Шлегель,— это анекдот, «история», новость, фактическое происшествие или даже независимая фабула, но такая, которая существовала до художника...» Иными словами, организующим моментом в новелле является сюжет, внешний по отношению к действующим лицам не ими порождаемый, а вовлекающий их в свою орбиту. Ранний Чехов (и даже не такой уже ранний) писал новеллы. Они строились на неожиданности, на недоразумении, вторгавшихся в человеческую жизнь. Чехов зрелый писал рассказы, где сюжетами была сама жизнь. О чем «Скучная история»? О старом человеке, лишенном «общей идеи», утратившем (а может, так и не нашедшем!) себя, отчужденном от близких, не знающем, как предотвратить их гибель. О чем «Дама с собачкой»? О любви — серьезной, тоскливой, безнадежной и лишенной приключений. О чем «Архиерей»? Об одиночестве, о смерти, о забвении. О чем «Именины»? О женщине, любившей мужа, но мучившей его и себя. О чем «Студент»? О круговороте и связи времен. Даже в «Неприятности» пощечина — не происшествие, а линза, преломляющая бытие.

Чеховские «скучные истории» выглядят произвольными извлечениями из нескончаемого потока действительности. Поэтому их зачины нередко кажутся случайными, а концовки — разомкнутыми, открытыми. Даже в тех случаях, когда рассказ завершается смертью героя, они не обрывают нить, ставят не точку, а многоточие. Как в «Архиерее», где преосвященного Петра скоро забыли и только мать его, выходя по вечерам на выгон за коровой, бывало, рассказывала другим женщинам, «что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили».

В рассказах этих отсутствует видимый, традиционный строй (завязка, кульминация, развязка), ибо держатся они напряжением стиля и нравственной своею силой — убежденностью в том, что дальше так продолжаться не может, и верой в будущее.

Спору нет, во всем этом есть немало индивидуального, неповторимо чеховского. Но есть и нечто другое, связанное со временем, с эпохой, с начавшимся на рубеже веков пересозданием литературы.

Взглянем на рассказ Генри Джеймса «В следующий раз» (написан он в 1895 году, то есть в пору чеховской зрелости). Там некий критик и эссеист не без скептической и горьковатой иронии излагает историю писательской карьеры своего приятеля и единомышленника Рея Лимберта. Лимберт — настоящий художник, большой талант, которого ценят знатоки, но не понимает мещанская публика, держат на голодном пайке издатели. Обремененный семьей, замученный долгами да еще имея перед глазами пример в лице родственницы жены, Джейн Хаймор, успешно торгующей своими литературными поделками, Лимберт пробует писать ниже своих возможностей, потакать неразвитым вкусам. «Однако это нелепое, даже чем-то героическое усилие,— констатирует рассказчик,— не устояло перед целомудренной чистотой его таланта». Каждая новая книга Лимберта — это «откровенный, беспощадный, бесстыдный шедевр!.. Слишком странен был этот провал, слишком жутким торжество!» После очередного провала Лимберт надеется написать плохую книгу «в следующий раз», но так и умирает, не дождавшись своего «триумфа». И ситуации здесь английские, и герои, и реалии, даже юмор. Но есть и другое, по-своему общезначимое.

«Впервые читая роман Достоевского или знакомясь с пьесой Чехова,— писал Т. С. Элиот,— мы оказываемся... заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем». Наблюдение это и будучи перевернутым справедливости не утратит. При всей своей специфичности рассказ Джеймса структурно близок чеховским рассказам. Отношения Лимберта с читающими снобами, их нежелание его понять и его неумение к ним приспособиться — это сугубо личная проблема героя. Но в ней отражены, преломлены, как в фокусе, собраны конфликты и противоречия общественные. Если хороший, настоящий писатель не признан обществом — это уже свидетельство против общества. И если он прилагает все силы, чтобы стать плохим,— значит, воистину завелась гниль в Датском королевстве! Наконец, последний, самый высокий аккорд: писателю это не удается; он снова создал «бесстыдный шедевр»... Неудача не только говорит в пользу Лимберта, она и обличает социальную систему. Ибо какова должна быть пропасть между нравственным идеалом и житейской нормой, чтобы пропасть эту нельзя было преодолеть?

Социальное воплощение в личном, в индивидуальном — разве не напоминает это чеховскую «Неприятность»? Спору нет, неудавшаяся халтура — одно, а нанесенная фельдшеру пощечина — другое. Но, право же, и в попытке Лимберта опуститься до Джейн Хаймор есть какой-то неосознанный, смешной, жалкий, гротескный про-

тест. Это тоже пощечина — себе и обществу. Да и художественная роль обеих пощечин сходна: создавать не острый фабульный поворот, а многозначную психологическую коллизию.

К новеллистическим сюжетам Джеймс уже в середине 80-х годов относился почти так же, как зрелый Чехов: «М-р Безант,— иронизировал он над одним из своих оппонентов,— с моей точки зрения, не проясняет вопроса, утверждая, что сюжет, если только он хочет сохранить свои признаки сюжета, должен состоять из «приключений». Почему из приключений, а не из зеленых очков?»

«В следующий раз» — не событие, не происшествие из жизни Рея Лимберта, а чуть ли не вся его жизнь. Но она преподнесена в чужом пересказе и потому может быть начата, казалось бы, в любой точке: вообще не с Лимберта, а с визита к рассказчику миссис Хаймор. И завершается история эта, так сказать, ироническим многоточием. «Отступничество»,— так характеризует рассказчик последнее, неоконченное произведение Лимберта,— великолепный фрагмент и безусловно обещал сделаться одной из самых удачных его книг. Не стану, впрочем, утверждать, что она пробудила бы библиотечные коллекторы от их вековечной спячки».

Интонационно стиль Джеймса значительно отличается от чеховского: он более энергический, лишен мягкости, то откровенно ироничен, то несколько приподнят; подтекст не играет в нем сколько-нибудь существенной роли. Но Джеймс, как и Чехов, экономен в использовании поэтических средств, скуп в описаниях лиц и предметов. Словом, его рассказ принадлежит в принципе к тому же новому жанровому образованию, что и рассказ чеховский.

О прямых влияниях не может быть речи: Чехов вряд ли что-нибудь слышал о Джеймсе, так как умер еще до того, как Джеймс стал превращаться в классика, а Джеймс (не только раньше родившийся, но и позже умерший) лишь в старости мог оказаться среди свидетелей начинающейся мировой славы русского собрата. Близость между ними свойства типологического.

А. В. Чичерин предложил термин «нерудовский этап в истории критического реализма». Чешский писатель Ян Неруда, расцвет творчества которого приходится на 60—70-е годы, вместо широких эпических полотен создавал короткие рассказы, отмеченные тонкой разработкой деталей, проникновением в сферы обыденного, житейски прозаического, ясным осознанием порочности буржуазного строя. Это, по мнению А. В. Чичерина,— веление времени, закономерности движущегося, развивающегося литературного процесса. «Чехов,— пишет исследователь,— вовсе не знавший произведений Яна Неруды, в 80-х годах по-своему решает те же задачи, создавая не «Войну и мир», а «Крыжовник», не «Анну Каренину», а «Ариадну» или «Анну на шее»[1].

Корифеями переходного, переломного этапа, когда малые формы прозы потеснили монументальный роман, были и Мопассан, и Гарди, и Джеймс, и Уайльд, и Пиранделло (хотя все они писали романы). Но этап начался и кончился, а Чехов остался. Не только как автор неких бессмертных творений (в этом смысле остались и прочие названные писатели), а и как живой пример. Его влияние на литературу в XX веке — после того как роман восстановил свои позиции — не упало; напротив, оно возросло.

Естественно, что прежде всего в глаза бросается «зависимость» от Чехова тех прозаиков, что работают с малыми формами. Если писатель не очень крупен и не слишком самобытен, он способен превратиться в сознательного или бессознательного эпигона — столь естественными, столь само собой разумеющимися выглядят в нашем столетии чеховское художественное направление и чеховская манера письма. Взять хотя бы французского писателя Марселя Арлана и его рассказ «Близость» (1937). Стареющие муж и жена. В веренице похожих один на другой дней он и не заметил, как все в них самих изменилось. Но вдруг взглянул на жену и обнаружил, что она — чужая: «...пустой взгляд, усталый рот, ссутулившиеся плечи». Ему не по себе, и он уходит побродить по ночному лесу. А возвращаясь, видит человека, который стоит и смотрит на их ничем не примечательный дом. И чувство близости к жене, опирающееся на все совместно прожитое и пережитое, вернулось. Он пытается объяснить ей про человека, глядевшего на свет их окон, но не умеет, да и она не понимает, и он беспомощно заканчивает разговор: «Нет, нет! Но ведь... но ведь это же чудесно...»

И сюжет, и интонация, и подтекст, и весь повествовательный строй здесь типично чеховские. Однако именно эта напрашивающая на сравнения близость обнаруживает ахиллесову пяту неплохо написанного рассказа Арлана. В нем есть все, кроме чеховской глубины, чеховской значительности; он — только о жизни этих двух людей, в остальном же — почти ни о чем.

Меньше чеховских аксессуаров и больше чеховского духа в рассказе другого французского писателя, Эжена Даби, «Человек и собака» (1936). Старик каменщик приютил бездомного пса. Пес понравился маленькой девочке, живущей в вилле по соседству с его работой. И старик отдал пса, потому что пес привязался к девочке и потому что у богатых ему будет лучше. Но каменщик тоскует, чувствует себя еще более одиноким и неприкаянным. За скупыми строками незамысловатой, построенной на полутонах истории проглядывают дали. Ведь тут соприкасаются и тотчас расходятся два чуждых, несоединимых мира.

Пьер Гаскар, еще один французский писатель, сказал: «Правдивость и простота, свойственные чеховскому искусству, не представляют собой для других писателей какой-то «модели». Скорее, это для них — призыв. Писателей обычно восхищает у Чехова именно то, что они уже сами ощуща-

[1] А. Б. Чичерин. Идеи и стиль. изд. 2-е. М., 1968, стр. 334.

ли и вынашивали в себе; имя этому — душевное благородство и чувство справедливости». В целом Гаскар, без сомнения, прав: Чехову нельзя подражать. Но следовать за ним можно и нужно. Причем не только в нравственных убеждениях. Думается, что многие из чеховских художественных уроков воспринимаются порой как правила самой литературы потому, что они уже усвоены, стали сегодня чем-то чуть ли не повсеместно принятым.

У самого Гаскара есть рассказ под названием «На маленькой площади» (1956). По общей своей архитектонике это почти чеховская картинка из жизни. Маленький городок, возрождаемый детскими воспоминаниями рассказчика. Булочная. Кузня. Молодая жена булочника, зачем-то бегающая через площадь между булочной и сараем. И сын кузнеца, в нее влюбившийся. Их молчаливый роман и их бегство. Все это дано пластично, через визуальные детали, порождающие особое настроение и подтекст. Но у Гаскара своя индивидуальная манера, собственный творческий почерк. Слог у него напряженный, и весь образ действительности выглядит от этого заостренным, приподнятым, чуть экстатичным: «Был только один человек на площади, чей взгляд не только весил — он давил, обжигал; с болезненной неподвижностью он был устремлен в одну точку и тревожил меня. То был взгляд младшего кузнеца». Гаскар — писатель, познавший трагедию второй мировой войны и ужас нацистской оккупации, в чем-то зависимый от экзистенциализма. Но в чем-то он и наследник Чехова.

У Чехова — разные наследники. Пожалуй, самый среди них общеизвестный и бесспорный — это английская писательница Кэтрин Мэнсфилд, автор сборников «В немецком пансионе» (1911), «Блаженство» (1920), «Праздник в саду» (1922), «Гнездо голубки и другие рассказы» (1923), «Нечто детское и другие рассказы» (1924). Ее даже называли «английским Чеховым» как за открытую к Чехову приверженность, так и за умение без поучения и дидактики, лишь с помощью тонкого психологического рисунка выразить неустроенность, конфликтность британской жизни первой четверти нашего века. Однако Мэнсфилд — и, надо сказать, не она одна — толковала Чехова несколько позитивистски: как художника, ограничивающегося изображением зла и грустной улыбкой по поводу его распространенности. Мэнсфилд и в своем творчестве старалась следовать этому чеховскому мифу.

Оттого интереснее и, наверное, продуктивнее американская ветвь наследников Чехова. Короткий рассказ (short story) — это в Соединенных Штатах особый, можно сказать, национальный жанр, со своей историей и собственной судьбой. И когда под влиянием великих общественных сдвигов началось пересоздание этого жанра, русский художественный опыт оплодотворил национальную традицию. Первым реформатором американской новеллы был Шервуд Андерсон, создатель книг «Уайнсбург, Огайо» (1919), «Триумф яйца» (1921), «Кони и люди» (1923). И он писал: «Пока я не нашел русских прозаиков — Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова,— я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла. У нас в Америке плохая традиция, идущая от англичан и французов. Наши пользующиеся популярностью рассказы в журналах привлекают остроумным сюжетом, разного рода трюками и фокусами. Закономерным результатом этого является то, что описание жизни человека перестает быть важным, становится второстепенным. Сюжет не вырастает из драмы, естественно возникающей из переплетения человеческих отношений, тогда как у... русских писателей всюду, на каждой странице чувствуется жизнь». Андерсон, таким образом, высказывается против новеллы и за рассказ. Причем за рассказ чеховского склада. Об этом свидетельствует и его художественная практика.

«Уайнсбург, Огайо» открывается миниатюрой «Книга о гротескных людях». Над этой книгой работает старый писатель, с недавнего времени обнаруживающий в людях, с которыми сталкивается, гротескные черты. Некогда, твердит писатель, пока мир был еще молод, существовало множество прекрасных мыслей. Но люди превратили их в застывшие истины. И каждый норовил присвоить себе побольше таких истин. Это-то и делает из людей гротески, то есть существа ограниченные, неподвижные, нетерпимые...

Перед нами — программа не только нравственная, но и эстетическая. Андерсон ратует, по сути дела, за литературу «антигротескную» и сам создает ее — прозу, которая не навязывает решений, а будит чувство справедливости, объективную и одновременно лиричную, простую, ясную и исполненную сложного внутреннего значения.

Элис Хайндмен отдалась Неду Карри, но тому не удалось устроиться в местной газете, и он уехал на Запад, в Чикаго. Она ждала, работала в мануфактурной лавке и копила деньги на будущую их жизнь. Элис страшилась одиночества и потому посещала методистскую церковь и позволяла аптекарскому приказчику Уилу Харли провожать себя домой. А однажды она голой выбежала под дождь и окликнула одинокого прохожего. Но тот оказался стариком, к тому же глуховатым. «Многим людям,— с грустной иронией заканчивает рассказ Андерсон,— суждено жить и умирать в одиночестве, даже в Уайнсбурге». Рассказ именуется «Приключение». Название это тоже иронично, потому что никакого приключения у Элис не было; была только совсем загубленная жизнь. Как у Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой», как у Кати из «Скучной истории», как у Ольги Михайловны из «Именин» или даже как у Ариадны, которая, подобно Элис, боялась одиночества. И в то же время «Приключение» — чисто американский рассказ. Специфичны в нем не только реалии и характеры; сам композиционный строй, сама логика построения действия традиционны для Нового света. Будучи пролагателем путей в национальном искусстве, Андерсон как бы скрещивает американскую традицию с чеховской линией художественного развития. Это, надо думать, наиболее плодотворный путь.

Вклад Чехова не ограничивается влиянием на судьбы малой прозы; он относится и

к прозе большой. Между прочим, и в том смысле, что способствовал расшатыванию незыблемых жанровых границ между малой и большой прозой. В 1889 году Чехов работал над романом, но писал его, как сообщал А. С. Суворину, «в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идей и действующих лиц». Роман так и не увидел свет. Но в данном случае интересен не результат, а замысел. Роман в новеллах, конечно, не открытие Чехова. В русской литературе нечто вроде такого, свободно сложенного, но и по-своему цельного, романа представляли собою еще тургеневские «Записки охотника». Однако по-настоящему промежуточный этот жанр стал утверждаться лишь в XX столетии, причем как раз в среде чеховских наследников.

«Уайнсбург, Огайо» — не просто сборник новелл; они между собою связаны если не «общностью интриги», так, по крайней мере, общностью «идей и действующих лиц». Все герои живут в Уайнсбурге — вымышленном, типично американском провинциальном городке; их судьбы как-то переплетены; и, главное, все они — жертвы безвременья, пасынки жизни. По-иному (более изощренно, но и более искусственно) сложна книга Хемингуэя «В наше время»: сначала было восемнадцать миниатюр; потом к ним присоединилось восемнадцать рассказов, вставленных между миниатюрами; и последние стали именоваться «главами» и приобрели порядковые номера; наконец, в качестве своего рода введения всему этому был придан фрагмент «В порту Смирны». Согласования же внутренние еще менее уловимы, чем у Андерсона, и вытекают из общего душевного состояния, единого излома тревожной, негармоничной эпохи. Что же до хемингуэевского «Иметь и не иметь», то, хотя там существует сквозной герой — Гарри Морган,— это роман в новеллах, две из которых даже публиковались отдельно.

Жанровые отличия между романом и рассказом стираются в известной мере и у Фолкнера. Его роман «Дикие пальмы» — результат слияния двух самостоятельных рассказов; рассказ «Перси Грим» эмансипировался от текста романа «Свет в августе», а рассказ «Пестрые мулы», напротив, превратился в известный эпизод романа «Деревушка». Но может быть, особо в этом смысле примечателен фолкнеровский рассказ «Когда наступает ночь». Там изображен страх негритянки Нэнси, которая еженощно ждет, что муж ее Джеба, прячущийся где-то во тьме оврага, придет и зарежет неверную жену. Фолкнер во многом противоположен Чехову: он нередко многословен, привержен рембрандтовским световым и теневым контрастам, красочности, даже меднотрубной торжественности. Однако и он не описывает страх Нэнси, а показывает его с помощью немногих деталей, запечатленных детским сознанием Квентина Компсона. Например, Нэнси не чувствует боли, когда прикасается к стеклу керосиновой лампы или берется за раскаленную сковороду, и это выдает ее истерическое состояние... Сама по себе история Нэнси предельно проста и требует для своей реализации не более одного-двух свидетелей страха героини. На деле же их много больше: кроме Квентина Компсона его брат и сестра, отец и мать, их черная служанка Дилси — как бы перекочевавшие сюда из романа «Шум и ярость». Рассказ «Когда наступает ночь» имеет два измерения: в первом — он стоит лишь за самое себя, во втором — относится к фолкнеровской йокнапатофской эпопее в целом.

Нечто подобное можно найти и у Бальзака в его «Человеческой комедии». Во-первых, почти каждое из входящих в нее произведений следует рассматривать и как нечто самостоятельное, и как слагаемое единого колоссального цикла. Во-вторых, эти слагаемые в жанровом отношении разнородны: ведь в «Человеческую комедию» входят и романы, и повести, и новеллы. Причем объемистый роман «Блеск и нищета куртизанок», средняя по размеру повесть «Гобсек» и небольшая новелла «Обедня безбожника» здесь в некотором роде равноправны. И такое равноправие уже само по себе способствует размыванию границ между малой и большой прозой.

Новелла и роман издавна друг с другом взаимодействовали, но и друг с другом воевали, являя наглядный пример единства и борьбы противоположностей. Роман (по крайней мере, в новое время) начинал складываться как сумма, цепь новелл. Достаточно вспомнить «Декамерон» Боккаччо или его композиционно более зрелых пикарескных потомков, связанных внутри себя уже не обрамлением, а сквозным героем — плутом Ласарильо или плутом Гусманом, переходящим от хозяина к хозяину и тем самым из ситуации в ситуацию. Однако в XVIII — XIX веках роман эмансипировался от новеллы не только по своему строю, но и по слогу. В это же примерно время новелла обзавелась законченной и строгой теорией, к созданию которой приложили руку и Гёте, и романтики, и Пауль Гейзе. Никогда, пожалуй, между романом и новеллой не было такого «антагонизма», как в первой половине XIX столетия. Но обострение несовместимости лишь предвещало ее конец. Победоносный, более экспансивный роман то и дело вторгался на чужую территорию. Например, так называемый «физиологический очерк» — форма, способствовавшая утверждению критического реализма,— был не чем иным, как романным представлением о малой прозе, хотя бы в силу своей совершенно противопоказанной классической новелле описательности.

Казалось бы, фолкнеровский рассказ «Когда наступает ночь» играет посреди йокнапатофской саги сходную роль. Но сходство обманчиво. Да, перегородки сломаны. Однако у Фолкнера доминирует стиль рассказа. Фолкнер — если и не ученик Чехова, так, во всяком случае, писатель, который пришел в литературу после чеховского пересоздания повествовательных жанров.

«Все его творчество,— написал Т. Манн о Чехове,— отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает не-

---

Д. ЗАТОНСКИЙ
ВКЛАД ЧЕХОВА

объятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противоестественности дореволюционных порядков»[1]. Да, Чехов создал свою эпопею. И ее значительность не просто в разнообразии сюжетов, в совокупной всеохватности тематики и даже не только во взгляде на изображаемое — мудром, грустном, обвиняющем и исполненном надежды. Взгляд этот неотделим от чеховской прозы, немыслим вне ее — ее ритма, ее простоты, ее глубины, ее сдержанности, ее живописности. Как, например, в рассказе «Студент». «Прошлое,— думал он,— связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь в гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Чеховская проза (вне зависимости от того, сознавал это Чехов или нет) не предназначена только для рассказа. Рассказ для нее — своего рода опытное поле, где испытывались формы общезначимые. Не поэтому ли именно после Чехова прозаики все легче и все свободнее нарушают жанровые табу?

И стирание различий между прозой большой и малой не ограничивалось объединением нескольких рассказов в роман или тем, что стиль эпоса поступал, так сказать, на выучку к стилю рассказа. Сам строй чеховского рассказа начал влиять на романную архитектонику. Действие внутреннее вытесняло действие внешнее, и это, в свою очередь, влияло на характер сюжета. Вместо растянувшейся на десятилетия хроники одна-другая ситуация, разрешимая — по крайней мере на поверхности — в течение немногих дней. Хемингуэй признавался, что, берясь за перо, ни разу не имел намерения написать роман, а только рассказ — просто некоторые из них сами собой разрастались. Попробуйте пересказать «Фиесту»: увечный Джейк Барнс любит развратную Брет Эшли; он пьет с ней, и с Майклом, и с Биллом, и с греческим графом; потом они, исключая графа, но включая Роберта Кона, едут в Испанию, ловят форель и пьют во время фиесты; Брет удирает с юным матадором, и Джейк приезжает за ней в Мадрид. Ну чем не сюжет для небольшого рассказа? Рассказ Чехова «В овраге», где действие объемлет несколько лет и имеет своим предметом упадок семейства деревенского купца Цыбукина, больше напоминает традиционный роман. Однако именно чеховская техника передачи внешнего через внутреннее, объективного через субъективное, социального через индивидуальное способствовала становлению таких романов, как «Фиеста», как «Зима тревоги нашей» Стейнбека, как «Завтрак для чемпионов» Воннегута, как «Энгельберт Рейнеке» Шаллюка, как «Тетушка Хулия и писака» Льосы, романов, в которых широкое, весомое обобщение вырастает из конфликта как будто частного.

Вот лишь один из многих возможных примеров: книга современного американского писателя Джозефа Хеллера «Что-то случилось» (1974). Там некто Боб Слокум повествует о себе. Он — самый простой американец чуть выше среднего достатка. И жизнь у него тоже самая простая, американская: служба в фирме, умеренный карьеризм, мелкие взаимные подсиживания и отношения с женой, с детьми, с соседями. Но в том-то и дело, что «что-то случилось», и простая жизнь вышла из наезженной колеи, превзошла меру дозволенной ненормальности. Слокум без видимой, разумной причины боится всех своих сослуживцев — не только начальников, но и подчиненных. И ничто у него больше не ладится: ни отношения с любовницами, ни постельные дела с женой, ни взаимопонимание с дочерью и сыном. Все шатается, рушится, уходит, как вода между пальцами. Очерченный Хеллером мир намеренно сужен: это лишь непосредственное окружение Боба Слокума, предел, ограниченный интересами и запросами его незамысловатой личности. Никакой широкой картины действительности, тем более панорамы социального бытия. Общества, пусть антагонистического, но цельного, нет хотя бы потому, что сослуживцы Слокума — все эти Грины, Блэки, Уайты, Брауны, Кейглы — даны лишь в момент отталкивания от него, а не в связях с ним и между собою. Оттого и фирма, в которой все они заняты,— не нечто реально обозримое, а мифическое, кафковское, чуть кошмарное. Фирма показана не такой, какая она есть на самом деле, а какой ее боится и не понимает Слокум. Однако герметика не препятствует проникновению в слокумовское логово социальной болезни. Напротив, неблагополучие мира, окружающего героя, просматривается тем явственнее, тем непоправимее, чем индивидуальнее, даже интимнее сфера приложения изображаемого Хеллером кризиса.

Возможно, читателю прежде всего бросилась в глаза связь этого романа с Достоевским. К чеховской грусти и к чеховской светлой мягкости у книги Хеллера прямого отношения нет. Но есть непрямое и тем не менее очень существенное отношение к Чехову. Оно прежде всего в том, что и сюжет, и строй романа «Что-то случилось» по-своему ближе всего к сюжету и строю рассказа. Причем в двух смыслах: во-первых, мы в целом имеем здесь дело с ситуацией частной и одноплановой, а во-вторых, и сама ситуация эта (то есть жизнь Боба Слокума) слагается из простых, частных и одноплановых ситуаций, не видоизменяющих, только варьирующих основной конфликт. И роман «Что-то случилось» — это «рассказ» в принципе чеховский. Он «кусок жизни» без вымышленного начала и искусственного конца; автор в нем говорит и думает в тоне своего героя и чувствует в его духе; наконец, Слокум, повествуя о себе самом, точно так же себя не понима-

[1] Томас Манн. Собр. соч. в десяти томах. М., Гослит., 1961, т. 10, стр. 539.

ет, как доктор Овчинников из чеховской «Неприятности».

Есть, впрочем, у новейшей литературы Запада и иные формы связи с традицией Чехова — более органичные, непосредственные, глубокие, непреходящие.

«Сейчас мой идеал — Чехов,— недавно сказал австрийский писатель Петер Хандке.— Я бы хотел писать, как он,— свободно, естественно, неброско и точно. Чехов привлекателен для меня еще и тем, что он далек от истории, в которой я вижу большую опасность» [1].

В своей юношеской прозе Хандке подражал Роб-Грийе и вообще французскому «новому роману», в своих нашумевших авангардистских пьесах он чем-то был близок Ионеско и Беккету. Однако последние десять лет Хандке пишет небольшие романы — «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Несчастье без желаний», «Час истинного ощущения», «Женщина-левша», «Медленное возвращение на родину»,— романы, принесшие ему мировую известность. Правда, с чеховскими рассказами их, на первый взгляд, сближает лишь размер да еще то, что и здесь все построено на частном конфликте, что социальная критика прорастает сквозь судьбу личности. Но на деле сегодняшний Хандке ближе к Чехову, чем Хеллер. Как и Хеллер, он рисует людей неблагополучных, несчастливых, одиноких, отчужденных. Однако с некоторых пор Хандке все настойчивее пытается нащупать путь к человеческому счастью, к цельности, к нравственному благородству.

Герой «Часа истинного ощущения» Грегор Койшинг, сотрудник австрийского посольства в Париже, переживает тот же кризис, что и Боб Слокум, может быть, даже в форме более резкой, обостренной. Он выпадает из естественного движения жизни, утрачивает связи с миром. Ему осточертевает служба, его оставляет любовница, от него уходит жена, и в довершение в уличной сутолоке он теряет ребенка. И все же Хандке дает герою некий шанс, приоткрывает дверь в возможное будущее. Койшинг присаживается на скамью в сквере. В песке у своих ног он обнаруживает три предмета: лист каштана, осколок зеркала и детскую приколку для волос. «В этот момент,— так разъяснял Хандке смысл этого эпизода в одном из интервью,— этим вечером на протяжении одной-двух секунд он ощущает это как успокоение — подобно тому как в сказке в лесу герой видит на земле три волшебных предмета, и они помогают ему — и переживает в течение нескольких вздохов счастье, согласие, удовлетворенность и тайну...».

Казалось бы, ничего особенного: утопия, сказка. Но то, что герой подошел к краю пропасти, чтобы взглянуть вниз и возродиться, типично для некоторой части зарубежной литературы 70-х годов. Она не в силах дальше жить чистым отрицанием, дышать хаосом — пусть это даже отрицание старого мира и запах хаоса, возникающего при его крушении. И литература отправляется на поиски идеала; для нее снова важно надеяться, ей снова нужна доброта, человечность, поэзия. Оставаясь современной и по идеям, и по форме, она за всем этим обращается к классике. И наверное, не случайно прежде всего к Чехову. Ведь он — не только сама современность, это о нем написал А. И. Куприн: «Мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей».

Чехов — эпоха в мировой литературе. Писатели Запада следуют за ним на самых разных путях, непрестанно открывая в нем все новые и новые грани, наиболее близкие творчеству и мироощущению каждого из них, особенно их волнующие. Оттого почти немыслимо объять чеховский вклад целиком. И остается присоединиться к Шону О'Кейси, некогда признавшемуся:

«Трудно говорить о Чехове — он слишком велик, слишком многогранен, чтобы его можно было измерить...».

[1] «ИЛ» № 11, 1978, стр. 260.

◆

К семидесятипятилетию Вилема Завады

СПАСИБО, ЖИЗНЬ!

Какова роль поэзии в жизни человека? Как измерить и взвесить ее значение? Трудно сказать. Мы не должны требовать невозможного от поэзии и от искусства. Само по себе оно мало что может решить или изменить. Однако все мы, пережившие две мировые войны, помним, какой поддержкой в трудные минуты могло стать хорошее стихотворение, картина или музыка. Искусство столь же необходимо нам и сейчас. У тех, кто его любит и понимает, жизнь не может быть пустой. Ведь именно искусство делает ее полнее и интереснее. Оно закаляет характеры, помогает преодолевать невзгоды. Люди, которые умеют сосредоточенно читать стихи, могут научиться мыслить самостоятельно, жить интенсивной духовной жизнью, сами создавать духовные ценности. Вряд ли здесь стоит много говорить о так называемой ангажированности. Я думаю, что все наши большие поэты были впряжены в какую-то упряжку, пахали землю, ворочали пласты тяжелой глины, что-то тянули за собой и поднимали вверх. Ну а мы, разве мы ищем другой судьбы? Я не хочу оставаться в стороне. Не хочу оказаться среди тех, кто все высмеивает, для кого нет ничего святого. Знаю, в жизни немало абсурдного, но есть в ней и смысл, и стремление к гармонии. Возможно, утверждение это кому-то покажется наивным, что ж, я предпочитаю прослыть человеком наивным, нежели быть холодным и равнодушным интеллектуалом. Искусство должно оказывать положительное воздействие, либо оно не нужно. Я был бы рад, если бы мои стихи хоть немного помогли добрым силам жизни.

Это мое интуитивное и в то же время вполне осознанное стремление.

(Из интервью Вилема Завады с проф. Ф. Бурианеком)

«Спасибо, жизнь!» — так Вилем Завада, народный поэт Чехословакии, назвал свою недавнюю книгу стихов. Слова эти тем значительнее и весомее, что принадлежат человеку, далекому от легкого, благодушного отношения к действительности. Они тем существеннее, что проясняют, как бы выделяя его в чистом виде, жизнеутверждающее начало, сокрытое в поэзии, полной драматизма, порой сдержанно-суровой, которая никогда не избегала сложных проблем бытия, не обтекала его острых углов, как обтекает неглубокий дождевой поток камни на дороге. Она скорее пыталась сдвинуть их с места, чтобы облегчить путь идущих по земле людей.

Завада принадлежит к творческому поколению, лучшие представители которого — каждый по-своему — помогали утверждению в искусстве XX века прогрессивных идеалов. Завада на пять лет моложе Иржи Волькера и Витезслава Незвала. Волькеру в марте, а Незвалу в мае этого года исполнилось бы восемьдесят лет. Все они, правда в разное время, пришли в литературную Прагу из провинции, все учились в Карловом университете, все трое стали поэтами, известными далеко за пределами своей страны. Каждый из них олицетворяет определенные тенденции и этапы в развитии чешской социалистической поэзии, а все вместе — демонстрируют ее силу, масштабность, широчайший диапазон.

Вилем Завада — один из крупнейших поэтов наших дней, на которого равняются многие молодые авторы, художник, соединивший в своем творчестве разные этапы в развитии прогрессивной чешской литературы. Сохраняя верность лучшим традициям отечественной поэзии, он помогает открывать в ней новые глубины и горизонты.

Прошло более полувека с тех пор, как робкий молодой студент показал Незвалу, уже успевшему стать вождем и кумиром молодых поэтов, свои первые стихи, а среди них стихотворение с суровым названием «Панихида». Оно дало заглавие первому сборнику Завады (1927) и вызвало бурный восторг Незвала, который показывал его своим друзьям, возвещая рождение нового таланта. Стихи Завады диссонировали с общим, несколько беззаботным тоном чешской поэзии тех лет. Они были пронизаны скорбью по погибшим в первой мировой войне, отвращением к буржуазному миру торжествующей бесчеловечности, они звучали как исповедь молодой души, «множество раз перепаханной болью».

«Горькую правду жизни», излитую в первых стихах, молодой поэт постигал не по книгам. Уже сам жизненный старт как бы настраивал его на серьезную, драматическую волну. Завада родился 22 мая 1905 года в деревне Грабова под Остравой, где на железоделательных заводах работал его отец. Когда Вилему было десять лет, а брату и сестре и того меньше, отца унесла первая мировая война. Завада рос среди простых людей, земледельцев, углекопов, горняков. Рос в краю, где как бы сталкивались разные лики жизни. На север от родной деревни лежали промышленные районы, к западу и югу — районы сельские, зеленые предгорья Бескид. «На одной стороне — мир тяжелой промышленности, превращающий землю в ад, но дающий заработок тысячам людей, а с другой стороны — земля прекрасная, светлая, солнечная, но плодящая больше камня, чем хлеба. Там — огненная геенна шахт, здесь — якобы рай света. Вот два полюса нашего родимого края»,— писал Завада в 1935 году. «Два лика одной земли сливаются в моих глазах, сплетаются друг с другом: одни картины плывут над другими, как облака над землею»... Точно так же они сплетались и в его стихах:

Свою юность промечтал, шагая мимо
коксовых печей, овеян флагом дыма.
И на остовы глядел клетей подъемных,
и порою слышал, как ревело в домнах.
Слышал день и ночь я под землей
гуденье...

(Перевод Д. Самойлова)[1]

читаем мы в сборнике «Сирена» (1932), а через несколько страниц совсем иной пейзаж:

А рядом — край дорог, поселков
пропыленных,
край тощих тополей и выцветших озер,
картофельных полей, величиной с
пеленку,
где после смены вновь работает шахтер.

(Перевод Г. Ефремова)

Ночь поэт сравнивал со штольней, где в «беспредельности мрака шурфуют звезды горняцким каганцем», поэзию — с «озоновым горючим», расплавляющим «металл отчаяния в подземелье души».

Земля между Остравой и Бескидами дала стихам Завады не только свои внешние приметы. Она раскрыла перед поэтом противоречия жизни, помогла найти ориентиры, дала его искусству настоящую демократическую закваску. «Вспоминая о своей земле, разве можно забыть о своих земляках? Я дышал одним с ними воздухом, впитывая в себя их заботы и тревоги. Тяжелая борьба за каждый кусок хлеба, опасная работа, где-то на самой грани между жизнью и смертью, нищета, безработица, невыносимые моральные и материальные условия, которые унижают, деморализуют человека,— настоящий ад серой, бездушной жизни. Такие картины тоже остаются в памяти... И разве можем мы не жаждать свободы, уважения к человеку, счастья? Разве можем не стремиться к социальной справедливости, которая позволила бы человеку развить все свои богатейшие задатки, придавленные жизнью? В сознании моем все время звучит тяжелый, исполненный трагизма ритм этой земли со всеми ее социальными проблемами. Я думаю, не надо повторять, что мое место — среди шахтеров и бедняков, среди трудящихся, среди угнетенных. Их судьба — моя судьба, их борьба — моя борьба. И дорога у нас общая — к новому строю».

[1] Стихи цитируются по книге: Вилем Завада. «Стихи». Москва, «Художественная литература», 1978.

Завaду нельзя назвать поэтом «социальным» в узком смысле этого слова, он скорее художник философского склада. И все творчество Завады — своими проблемами, образами, исходными импульсами связано с жизнью, с судьбой народа. Она нашла в нем свое четкое, хоть и не зеркальное, не фактографическое, а как бы пропущенное сквозь «сверкающие глубины души» отражение и приобщила к судьбам человечества. В поэзии Завады дышит двадцатое столетие. Климат истории, ее сумерки и рассветы определяют «климат» его книг. В сборники 30-х годов проникает гнетущая атмосфера экономического кризиса, в котором поэт угадывал признаки гибели старого мира. Щемящая любовь к земле, «изгнанной из рая», к «отчизне скорбной», оказавшейся под вражеским сапогом, живет в стихах «Крепостной башни» (1940). «Запах бедствий и небо грозовое» над Европой, которую заполонили «крючки свастик на мундирах черных», отражаются в строках о второй мировой войне. Сборник «Воскресение из мертвых» (1946) — первый, изданный после Освобождения. Весенняя заря, на пражских улицах, как цветы, распустились баррикады антифашистского восстания. Сама природа, «потоки вод и горы, леса и партизаны» поднялись на борьбу, взошло и запылало «солнце с Востока»:

И небосвод грохочет дымный,
и нарастают праведные гимны
народов той земли, где солнце всходит,
где предрешается в борьбе, в труде,
в походе
судьба других земель, судьба земного
шара.

И пламя встречного, ответного пожара
в слиянии с весеннею зарею
ведет непобедимый строй
людей, влюбленных в жизнь.

(Перевод В. Корчагина)

Светлеют горизонты послевоенной поэзии Завады. Опять «полевые цветы» родных лугов встречаются в его стихах с шахтерской Остравой, сейчас уже городом не подневольного, а свободного труда, «городом света». Гордость за простых людей, тружеников и борцов, созидателей новой жизни, определяет новые ритмы его стихов. Но Завада и теперь не перестает защищать человечность, остро реагирует на тревоги и боли людей, опровергая миф о бесконфликтности, беспроблемности социалистического искусства. Он чувствует опасность, исходящую от «цивилизации смерти», от «последних фараонов», мечтающих загнать человечество в «пирамиды бомбоубежищ», «начинить их страхом и ужасом». Он чувствует опасность, исходящую от мира наживы, калечащего души. И борется против его пагубного влияния. Поэзия Завады ставит серьезные нравственные проблемы, помогает духовному формированию личности, воспитанию характеров, в которых твердость и мужество сочетались бы с кристальной чистотой души. И как всегда, родная земля щедро дает поэту свои образы, краски, подсказывает выразительное и наглядное решение темы:

От вековечной борьбы и работы
покрылась каменными наростами
старая мать-земля.
Стань твердым и ты,—
чтобы душа твоя в жизнь изливалась
не так, как брызжет черная жижа
из разъезженной колеи,
а как из базальтовых нагромождений
стрелами, рвущими камень,
бьют родники,
рождая дрожание радуг.

(Перевод В. Корчагина)

В своей статье об Иржи Волькере, который стоял у истоков революционной литературы, Завада написал, что Волькер, бурно переживший процесс идейной эволюции, «пришел к социализму, осознав его историческую неизбежность и в силу нравственных принципов». Вероятно, это же можно сказать и о самом Заваде, в поэзии которого понятие «социалистический» как бы становится синонимом понятия «человечный», «нравственный».

Лирика Завады 70-х годов (сборники «На пороге», 1970, «Спасибо, жизнь!», 1977) приобретает ярко выраженный философский характер. Завада и прежде проявлял склонность к философским обобщениям, но теперь вплотную подходит к «вечным» вопросам. Все чаще он задумывается о смысле жизни и смерти, любви и труда, размышляет о назначении поэзии, о собственной судьбе и судьбе человека вообще. При этом Завада не становится на пассивно-созерцательные позиции. Он «не хочет оставаться в стороне», стремится активно помогать «добрым силам жизни». Просто в его строках концентрируется, требует каких-то общих выводов и решений большой жизненный опыт.

На склоне 30-х годов у Завады вышел сборник «Дорога пешком», возникший в результате самого непосредственного общения поэта с родной землей, ее полями, тропинками, людьми. Но и в 70-е годы, окидывая жизнь и землю мысленным взором, суммируя и обобщая, поэт не теряет непосредственных контактов с осязаемым, приникающим к лицу и к рукам миру. Поэт не уходит в сферу отвлеченных абстракций. Его стихи выстроены из конкретных, повседневных впечатлений.

И теперь поэзия Завады всей душой с «бедняками». Только образ этот, словно бы несущий в себе воспоминания о юности поэта, приобретает, как и многое в поэзии Завады, символический смысл, становится олицетворением честного, бескорыстного отношения к людям, к труду. «Бедняк» у Завады — носитель здоровых нравственных начал, антипод «безжизненных людей», пресыщенных циников, скулящих мещан:

Лишь беднякам ведома радость жизни,
и я верен навеки подлинной бедности.

(Перевод Т. Глушковой)

Искренний в своих чувствах поэт не считает нужным подавлять переживания, связанные с ощущением быстротечности неумолимого времени. Мотив «порога», «края» жизни, земли звучит в иных его стихах поистине с бетховенским трагизмом. Но ведь большое искусство никогда не избегало этой темы, которая в интерпретации подлинных художников не действует на человека угнетающе, а, наоборот, помогает справиться с тяжелыми переживаниями, облегчить душу. Поэзия Завады, не страшащаяся заглянуть в мрачную бездну, де-

лает все, чтобы бездна эта не гипнотизировала людей, не обрекала на пассивное и смиренное ожидание конца, чтобы даже на склоне дней, в преклонных, зрелых годах человек не складывал оружия, не вешал голову «как грустящая верба», не потрясал «инвалидной книжкой», а жил бы не только среди, но и для людей, продолжая радоваться вечному чуду бытия. Поэзия Завады учит негромкому, незаметному героизму, которого часто требует обычная повседневность. Сберечь гордость, силы души, способность к отдаче — во власти человека. Поднятое ввысь сердце из стихотворения «Лазарь, пробудись и встань», с которым мы знакомим наших читателей, заставляет вспомнить пылающее сердце Данко, освещающее людям дорогу. Именно в сплетении с драматическими мотивами старости, смерти особенно сильно проявляется жизнеутверждающее начало поэзии Завады, скрытое в ее глубинном течении. Известный чешский писатель Богумил Ржига сказал: «В чем секрет того, что все живет, не умолкает проникновенный голос завадовской поэзии? Откуда в ней столько энергии, направленной на поддержку человека?.. Она не избегает трудных вопросов, так как содержит в себе силу, способную все преодолеть. Здесь секрет ее жизнестойкости, в этом ее социалистический характер. Сборник Завады «Спасибо, жизнь!» нельзя лишь пролистать. Надо погрузиться в него, перечитывая вновь и вновь, чтобы стихи проникли в сердце. И мы умножим свои душевные силы, откроем новый источник познания жизни, проникнемся всеобъемлющей и неумирающей надеждой» [1].

Поэт, как известно, лучше всего раскрывается в своих стихах. Но статьи, эссе, воспоминания — это тоже органическая часть творчества Завады, связанная с его поэзией единой системой кровообращения. С очерками и воспоминаниями Завады из его книги «Земля и люди моего сердца» журнал «Иностранная литература» уже знакомил советских читателей [1]. Ниже мы предлагаем новые, еще не публиковавшиеся у нас фрагменты из того же сборника. В одном из них рассказано о взаимоотношениях Завады и Незвала, которых связывала тридцатилетняя дружба. Незвал — «удивительный кудесник» поэзии, темпераментно боровшийся за ее совершенство, всегда привлекал Заваду как человек и художник искренностью, душевной щедростью и глубиной.

Статья «Поэзия и детство» формулирует творческое кредо поэта, раскрывает Заваду как тонкого, ненавязчивого пропагандиста поэзии. Завада выступает в ней не столько как поэт-профессионал, заинтересованный в успешном развитии любимого жанра, сколько как гуманист-просветитель, осознающий, что народ и поэзия, поэзия и жизнь, поэзия и человечество связаны друг с другом самыми тесными, вековыми узами. Он напоминает, что они необходимы друг другу, что от их тесного союза выигрывают как искусство, так и действительность. В жизни, в природе, в обществе скрыты неиссякаемые родники поэзии, делающей осмысленнее человеческое существование. Заваде важно, чтобы огромный потенциал воздействия искусства не пропадал впустую, а находил отклик. Чтобы не ослабевало между обществом и литературой поле взаимного притяжения. Ему крайне важно, чтобы не только поэзия тянулась к людям, но чтобы и люди тянулись к стихам.

[1] «ИЛ» № 5, 1977.

Л. БУДАГОВА

[1] «Tvorba», 15.III, № 11, 1978.

ВИЛЕМ ЗАВАДА

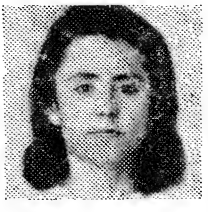
ПОЭЗИЯ И ДЕТСТВО

Между поэзией и детством немало общего. Поэзия рождается в момент душевного подъема, горения мысли. Молодость бурлит идеями и страстями, жаждой творчества, обостряет восприимчивость. Она готова завоевать весь мир, идти вперед, избавившись от старых привычек, преодолев стереотипы мышления и речи. В юности почти все люди поэты. А поэзия, искусство — это непреходящая молодость человечества, его вечное детство.

И в то же время поэзия стара как мир. Она родилась, когда человек только-только начинал осознавать окружающее, слышать и видеть, мыслить и чувствовать. Еще толком не умея говорить, лишь издавая нечленораздельные звуки, как дитя, которое просит пить, он уже пытался с их помощью общаться с себе подобными.

Зачаточные формы поэзии встречаются в заклинаниях, которыми наши предки отгоняли злых духов, болезни, голод, наводнения или смерть и просили у

© Vilem Závada, 1975.



БУДАГОВА ЛЮДМИЛА НОРАЙРОВНА.

Советский литературовед, кандидат филологических наук, автор монографии «Витезслав Незвал», 1967, ряда статей и исследований по чешской литературе XIX—XX веков. Выступала с переводами произведений чешских писателей.

добрых духов защиты, удачной охоты, обильного урожая. У некоторых первобытных австралийских племен этнографы нашли заклинания, вызывающие дождь:

Дад а да да
Дад а да да
Дад а да да
Да ката каи
Дед о дед о
Дед о дед о
Дед о дед о
Да ката каи

В слогах «дад» и «да» отчетливо слышится, как падают капли на землю или на воду. Вероятно, похоже звучали и другие просьбы.

Когда-то очень давно, когда Европу, Америку и другие континенты покрывали дремучие леса и населяли дикие племена первобытных людей, в восточной части средиземноморского бассейна, в Малой Азии, между Тигром и Евфратом, в Индии, в Китае и в Египте уже жили народы с развитой материальной и духовной культурой. Например, культура Месопотамии сложилась на более древней основе, заложенной давно вымершими народами, от которых не осталось даже названий. Только в самое последнее время на месте древних поселений были открыты остатки их культуры. Ученые изучают, пытаются расшифровать найденные надписи. Оказывается, уже за многие тысячелетия до нас существовала поэзия, составлялись своды изречений, в которых была сконцентрирована народная мудрость.

Постепенно появлялась эта поэзия, откликавшаяся на самые важные события в жизни людей: рождение ребенка, обручение и свадьбу, сбор урожая, войны или смерть. Она возникала в разных уголках нашей планеты — на востоке и западе, на севере и на юге, в странах вечного льда и в странах жаркого солнца. Где бы ни жил человек, всюду ему сопутствовали богатейшая и разнообразнейшая лирическая поэзия и песни; люди лепили фигурки, рисовали изображения женщин и зверей. Всюду по-разному проявлялся неодолимый дух творчества, живущий в человеке — в искусстве серьезном и развлекательном, веселом и грустном, религиозном и плутовском. Поэтические творения, где отразились представления людей о возникновении жизни на земле, их отношение к богам и мифологическим героям были вершинными достижениями древней культуры. Многие из них, как, например, эпос о Гильгамеше, Книга Иова или некоторые библейские книги, создавались на протяжении тысячелетий... Основные сюжеты переходили от одного народа к другому, обрастали новыми мотивами, видоизменялись, пока не сложились в том виде, в каком дошли до нас.

Древнегреческие философы писали свои трактаты стихами, например, Парменид и Эмпедокл. Так, в стихотворной форме выразил свое материалистическое толкование мира и размышления о физических законах Лукреций Кар. Сочинение Гесиода «Труды и дни» — это зарифмованная астрономия и руководство по земледелию. «Георгики» Вергилия — это книга о роли земледелия. «Илиада» Гомера — своеобразный поэтический аналог позднейшей эпопеи Толстого «Война и мир», а «Одиссея» — предшественница авантюрных и фантастических романов.

С появлением письменности, и особенно после изобретения книгопечатания, положение изменилось. Поэзия, которая была сначала просто предшественницей прозы, развивается теперь как особый род искусства со своими специфическими темами и жанрами. В ее распоряжении — поэтический эпос, легенды, эпопеи, разнообразнейшие формы лирики. Но иногда поэты не хотят сочинять рифмованные строки, отказываются от традиционных повествовательных приемов. Постепенно им открывается волшебная сила метафоры, способной вызвать в читателе целую гамму самых разных чувств и образов. Однако отказ от эпических элементов, от традиционных форм чреват одной опасностью. Поэзия нередко становится сферой изощренных экспериментов, доступной лишь избранным. И получается, что иногда в прозе, тесно связанной с жизнью, бывает поэзии несравненно больше, чем в творениях иных поэтов, которые воплощают узкий мирок субъективных впечатлений, навеянных к тому же искусством, книгами. В разных областях искусства то и дело происходят диалектические колебания от конкретного к абстрактному, от непосредственного к отвлеченному, и наоборот. Поэзия в настоящее время возвращается к объективному миру. Еще тысячу лет тому назад практически было сказано все, даже более выразительно и сильно, чем это подчас удается теперь. За тысячелетия до нас поэты уже пытались экспериментировать, создавали, например, оптические стихи, каллиграммы и т. д. И все же каждый художник испытывает неодолимую потребность высказываться вновь и вновь, в сотый и в тысячный раз возвращаясь к одним и тем же проблемам.

Перед искусством сегодня те же огромные возможности, что и на заре человечества. Поэзия обступает нас со всех сторон. Она в красоте природы, в море и в звездах, в прелести старинных городов и новейших достижениях цивилизации, она в делах возвышенных и повседневных, но в первую очередь — в отношениях между людьми, в вечных человеческих проблемах. Поэт словно дитя у Уолта Уитмена: ребенок спросил, что такое трава, и принес ее целую горсть [1].

[1] В. Завада имеет в виду строки из поэмы Уолта Уитмена «Песня о себе» (1855): «Ребенок сказал: «Что такое трава?» — и принес мне полные горсти травы...» Перевод К. Чуковского. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Между поэзией для детей и поэзией для взрослых не должно быть особой разницы. Каждый поэт в глубине души ребенок, он видит мир по-своему, не переставая удивляться ему. Стихи для детей не должны быть на откупе у дилетантов и рутинеров, они должны стать заботой настоящих поэтов.

Стихи с удовольствием декламируют самые маленькие дети, им интересно играть со звуками и словами, с рифмами и смыслом слов. Способность понимать поэзию можно развить...

Литературу и поэзию надо изучать так же, как математику, физику, языки. Важно сначала усвоить правила, грамматику, чтобы она вошла в сознание. А потом можно об этом не думать, даже лучше не думать. Только тот, кто хорошо знает правила, может наслаждаться игрой, но он первый же и осмеет игрока, если тот, перестав играть, станет размышлять лишь о правилах. Важно и полезно знать законы поэтики. Хотя, конечно, поэт не думает о том, что лучше использовать — ямб, хорей или дактиль; применить ли анастрофу, анафору или метафору,— форма рождается вместе с содержанием. Еще более важно, как мне кажется, показать молодым читателям, что же это такое, поэзия?.. Можно начать с народного творчества, которое до сих пор служит неиссякаемым источником и для поэзии профессиональной. Нельзя рассматривать фольклор как единственно возможный способ творчества, как образец, которому надо слепо подражать. Но где еще скрыто столько поэзии, сколько в строфах народной песни?..

...Надо объяснять молодежи, что поэзия и искусство не есть нечто второстепенное, люди вкладывают в них сокровенные мысли и чувства, они могут стать оружием в борьбе. Проблема эстетического и литературного воспитания достаточно сложна и требует самого серьезного внимания...

Вряд ли мы привьем уважение и любовь к поэзии, если станем принуждать школьников к механической зубрежке, а в наказание будем заставлять переписывать стихи. Школа не может уделить изучению литературы много времени. Но при школах, в молодежных клубах, библиотеках организуются кружки, где заинтересованные могут более глубоко изучать литературу. Их нужно научить понимать, что дает то или иное стихотворение, в чем его достоинства и недостатки. Я знаю людей с высшим образованием, которые не понимают поэзии, равнодушны к ней. Знаю людей почти необразованных, способных интуитивно понять поэтов очень непростых. Вряд ли стоит из всех, кто любит литературу, растить писателей, чтецов, музыкантов или актеров. В юности многие чувствуют призвание к искусству, но мало кто обладает настоящим упорством и талантом, чтобы заниматься им профессионально. И жизнь их будет гораздо счастливее, если они станут честно, с чувством внутреннего удовлетворения трудиться на каком-нибудь другом поприще. Основная задача литературных кружков, как мне кажется,— научить молодежь читать и понимать литературу, смысл искусства, чтобы люди могли черпать в нем силу, духовно обогащать себя.

НЕЗВАЛ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Отношения между людьми искусства часто бывают непростыми, запутанными, хрупкими. Художники ранимы, но и сами умеют причинять боль. Часто они вместе ставят спектакли, снимают фильмы, но при этом далеко не всегда симпатизируют друг другу. И тем сильнее надо ценить настоящую дружбу, способную устоять не только перед легким дуновением ветерков, но и перед натиском бурь.

Мне выпало большое счастье. Мы дружили с Витезславом Незвалом тридцать лет, и никогда ничто не омрачало наших отношений. Тридцать лет — немалый срок, тридцать лет общения с великим поэтом — подлинный дар судьбы. Минуты, проведенные рядом с ним, относятся к прекраснейшим в моей жизни. Вряд ли стоит рассказывать подробно о том, где мы бывали, что пережили вместе. В Незвале было столько человеческого и поэтического обаяния, что в его присутствии все остальное отходило куда-то на задний план. Витезслав Незвал буквально ослеплял меня, и даже в воспоминаниях это ощущение преобладает над конкретными событиями. Попробую все же в самых общих чертах рассказать, как мы познакомились, каким я знал его.

Первый раз я увидел Витезслава Незвала на вечере поэзии в Страковской академии. Но познакомился я с ним в кафе «Национальное», где, как в «Тумовке» и в «Унионке», одно время любили бывать молодые, революционно настроенные представители художественного авангарда. Наверное, мы проводили там слишком много времени, но эти кафе давали нам больше, чем университет или собрания и дискуссии, что проводятся нынче в писательских клубах. Я думаю, многие вспоминают те утраченные годы не только с грустью, но и с любовью. Было нас в ту пору гораздо меньше, чем теперь, но литература, театр, музыка, кино, балет, живопись, скульптура, архитектура не были так разъединены. Писатели принимали близко к сердцу проблемы изобразительного искусства, с удовольствием сотрудничали с театрами, ходили на современные спектакли и фильмы. А представители других видов искусства в свою очередь вносили ощутимый вклад в литературу. Мне кажется, что тогда начинающим авторам было проще

и легче найти доступ к старшим собратьям по перу. За одним столом с Незвалом, Ванчурой, Гонзлом, Сейфертом, Э. Ф. Бурианом, Тейге сидели, бывало, Юлиус Фучик, Иван Секанина, Теодор Шмераль, переводчик «Капитала» Маркса и многие другие прогрессивные журналисты и деятели культуры. Общение с ними помогало разобраться в социальных проблемах, в борьбе политических партий, приучало к сотрудничеству в газетах.

Как-то в субботу после обеда я сидел за столиком кафе совсем один. Вошел Незвал и подсел ко мне. Сердечность Незвала подкупала, и скоро мы разговорились. Он спросил, не пишу ли я стихов. Я с большим смущением признался, что пытаюсь писать стихи, а через несколько дней Незвал взял кое-что из моих первых опусов, обещав все внимательно прочесть. Скоро Незвал вернул мне листочки, на обороте которых были написаны его замечания. Он так тщательно проанализировал каждый стих, как это потом не делал уже почти никто из критиков, писавших о книге в целом. Его мнение было мнением специалиста, досконально разбиравшегося во всех тонкостях своего искусства. У меня голова закружилась от радости, хотя Незвал откровенно и тактично указал все корявые места, которые я с благодарностью исправил. Особенно понравилось ему стихотворение «Панихида». С той поры началась наша дружба. Незвал ввел меня в Деветсил [1] и постепенно перезнакомил со всеми своими друзьями.

Но больше всех мне нравился он сам — душа Деветсила. Незвал умел быть настоящим другом, обладая редким даром вдохновлять и поддерживать людей, которых любил. Он мог и постоять за них, используя все свое влияние. Но от малознакомых или чем-то обидевших его он заслонялся тяжелым железным панцирем. С годами он становился все более внимательным, чутким и тактичным по отношению к людям, которые говорили в искусстве на другом языке, чем он.

В статье «О некоторых проблемах современной поэзии» (1956) Незвал назвал себя поэтом на редкость бесцеремонным. Но это не надо понимать буквально. Незвал был очень сложным человеком и художником. Лишь на первый взгляд он казался монолитом, под его «бесцеремонностью» скрывался человек необыкновенно тонкий, с чуткой и ранимой душой, полный внутренних противоречий. Но в политическом отношении он всегда оставался убежденным и непоколебимым коммунистом.

Меня многое связывало не только с Витезславом Незвалом, но и с Франтишеком Галасом, которые одно время дружили, а потом, после периода взаимного охлаждения, разошлись. Это были люди разного склада. Антиподы иногда притягивают друг друга, но с Незвалом и Галасом случилось иначе. Наверное, это естественно, ведь слишком яркие индивидуальности не всегда могут понять других. Я не хочу разбираться в их взаимоотношениях. Галас был человеком ранимым, но порой сам натягивал на себя кольчугу и обнажал меч. И все же иногда ему явно недоставало незваловской дружбы, а Незвал нередко страдал от того, что в кругу его друзей не было Франтишека Галаса. Когда Галас умер, Незвал написал о нем три великолепных, исполненных печали стихотворения.

Незвал всегда весь кипел и бурлил, заражая всех своей энергией. Это был один из самых наших темпераментных и в то же время доступных для восприятия поэтов. Писать стихи было для него наслаждением. Он работал довольно легко. В совершенстве владея неисчерпаемыми запасами своей памяти, Незвал мог очень быстро и в любых условиях — в поезде, в самолете, в ресторане или кафе, на берегу реки, или у моря, или гуляя по улице — написать хорошие стихи. Но он мог, заперев себя в четырех стенах, писать днем и ночью, не переставая, писать на едином дыхании, не сделав от начала до конца ни одной поправки. Но он умел и основательно перерабатывать свои тексты. И при этом страстно любил жизнь, отдавая ей предпочтение перед искусством, и умел жить как мало кто другой. Встает вопрос: когда же он успел столько всего написать? Ведь его творческое наследие исчисляется сотней книг, куда вошли стихотворения, романы, пьесы, эссе, киносценарии, переводы, а кроме того, он сочинял музыку и рисовал.

Наверное, объяснение в том, что это был поэт огромной силы воображения. Любой толчок вызывал целую лавину воспоминаний и ассоциаций. Он понимал жизнь, тонко чувствовал музыку стиха и пластику образа и умел ясно мыслить. Он мог не только за несколько минут написать великолепное стихотворение, но и без всякой подготовки выступить с интереснейшим докладом об искусстве и поэзии, полном глубоких мыслей, достойных художника его уровня. И ему аплодировали не только люди, близкие по духу, но и противники и оппоненты. На его стихах и теоретических статьях молодые поэты учились, как надо писать. Он не любил ловкачей от искусства, которые измеряют художественные ценности кассовым сбором, отождествляя подлинный успех с дешевой популярностью, тех, кто гонится за внешней красивостью, подменяет пафос громкими фразами, а внутреннюю пустоту прикрывает внешними эффектами.

Незвал не требовал, чтобы с ним обязательно соглашались. С ним можно было спорить, схлестнуться в острой полемике. Он всегда был предельно искренен, иногда безжалостен в своей откровенности, но каждый понимал, чего он добивается и к чему стремится. Постепенно Незвал превращается в легенду, но его творчество стало частью духовной и культурной жизни нашего народа.

Перевод с чешского Л. БУДАГОВОЙ

[1] Союз революционно настроенной творческой молодежи 20-х годов.

Лазарь, пробудись и встань

Лазарь, пробудись и встань
Лазарь, ты слышишь?
Пробудись и встань
Почему твоя голова свесилась
Как грустящая верба
Почему она поникла
Будто ее прихватил мороз?
Не лежи как мумия
Не сиди неподвижно как сфинкс
У последней черты

Ты сошел в могилу как в бездну
Ты сошел в нее своими ногами
Чтоб не упасть вниз головой
Любят мужчины чуть дверь приоткрыв
Заглянуть через щель
Туда в самые недра жизни
За грань смерти

Еще не рухнули колонны твоих ног
Еще держит тебя спинной хребет
Еще не засыпал песок
русло твоих жил
Еще по ним течет мощный крови поток
Еще раздуваются мехи твоих легких

Еще ты в силах коснуться рукамн земли
Еще ты можешь мыслью своей управлять
Еще можешь встать на колени
К воде источника припасть
и напиться

Еще у тебя есть гордость и совесть
не размахивай своей инвалидной книжкой
не стучи перед собой посохом слепца

Сожми как кулак свое сердце
и подними его ввысь

Жизнь течет по земле без конца и начала
Ты не одинокий путник на забытой тропе
На свете людей что песка морского

Сперва каждый идет своей дорогой
идет не теряясь в общем потоке
идет не теряя лица своего
Каждый тянется к чему-то
каждый думает о чем-то
Лишь немногие помнят о смерти
но даже в заботах и муках
делают свое дело и дальше идут
Мы существуем не в четырех стенах
Как бесполезная заброшенная вещь
Нет мы живем с хлебами на полях
С деревьями в садах
и нет пути другого
как только быть с людьми
и ближе быть к земле
и в них забросить искру иль зерно
Смотри на облака и с ними уплывай
Смотри и на детей и смейся с ними
Но мир не посыпай золой
души перегоревшей

И мы пойдем туда куда идут другие
И каждый там останется наедине с собой
И с тем что вышло из рук его и головы
но может быть и тень его
кому-то будет освещать дорогу
Возможно кто-то обопрется на нее
когда не будет знать куда идти

И даже если сам ты уж давно
как птица не летаешь
у тебя остались на спине
обломки крыльев
и есть в тебе самом
кусочек неба
как пузыречек воздуха
внутри у плавунца-жучка
и эту каплю радости и света
что держит на поверхности воды
ты никогда не сможешь
придавить ногою как окурок

Еще в тебе есть фотолинза
— божественное око
Ты им видишь солнце
даже если небо в тучах
и даже если закрываешь глаз рукой
Не смерть ищи но вглядывайся в жизнь
Открой ее с обратной стороны
которой мы почти не видим

Хотя бы на одной коротенькой волне
шли о самом себе сигналы
немного музыки
немного шума
чтоб люди знали:
не одни они
уснуть не могут
чтоб тебя услышал тот
кто одиноко бредет в ночи
транслируй же свою мечту
как телепередачу
транслируй яркие картины жизни
чтоб солнечным лучом хотя б одним
мир полный боли озарить

Перевод ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

© Vilem Závada, 1977.

◆

Заметки писателя

КРОНА И КОРНИ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Как говорил Агостиньо Нето, «народ и народная жизнь будут всегда стоять за каждой мыслью писателя, за каждым словом и фразой, которые он напишет, потому что они связаны так же неразрывно, как свет и тень, крона и корни».

Как утверждает Бхишам Сахни, для искусства нет барьеров, хотя, конечно, во многих странах Азии и Африки предстоит еще уничтожить языковые, социальные, психологические препятствия на пути становления новой культуры.

Мы публикуем сегодня аналитическое эссе прозаика Бхишама Сахни о многообразии и единстве духовного богатства Индии и глубоко эмоциональное эссе поэта Мануэла Руя, где переплетаются два голоса — кочевника и поэта.

БХИШАМ САХНИ: «ОЧЕНЬ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ»

Я хочу поделиться мыслями о роли писателя в Азии и Африке и проблеме культурной интеграции и творческого сотрудничества на примере моей родины.

Индия — громадная страна с огромным населением, с шестнадцатью официальными языками и тьмой диалектов, с разнообразными культурами, с большим числом религий, верований и каст и с очень долгой историей.

Некоторые черты культурной жизни Индии кажутся мне уникальными в своем роде — я хочу вкратце перечислить их. Несмотря на пеструю картину языков и культур Индии, существует нечто общее, позволяющее говорить о единой индийской культуре. Едино наше культурное наследие. Священные книги индусов, эпические поэмы древности, мифологии, религии и религиозные ритуалы, нравы и обычаи, даже кастовая структура общества — едины для преобладающего большинства населения Индии. Например, если житель Бенгалии, расположенной на северо-востоке Индии, отправится на юг, в Карнатак, ему придется столкнуться с языковым барьером, но, несмотря на это, он не будет чувствовать себя чужаком — ведь культурная среда останется той же. Он может пойти в театр на спектакль по мотивам «Рамаяны», и постановка мало чем будет отличаться от той, которую можно посмотреть в Бенгалии.

Иные из форм культуры, зародившись в определенном этносе, распространяются затем по всей стране. Балет в масках катакхали, типичный для Южной Индии, популярен и на севере страны — классическая индийская музыка не знает ни религиозных, ни кастовых барьеров. Другой пример: вся Индия смотрит фильмы, снятые на языке хинди. Как ни странно, для индийского кинематографа почти не существует ни религиозных, ни языковых границ. Довольно часто героем фильма бывает пенджабец, героиней — девушка из Бенгалии, автором сценария — писатель из Уттар-Прадеш, режиссером — южанин, а певица может оказаться родом из Махараштры. Одна южноиндийская актриса рассказывала мне, что она снималась в фильмах почти на всех языках Индии.

БХИШАМ САХНИ (род. в 1915 г.).

Индийский прозаик, пишет на хинди. В 1958 г. получил степень доктора фолологии в Пенджабском университете. Генеральный секретарь Национальной федерации прогрессивных писателей Индии. На русском языке публиковались его рассказы и повести: сборники «Гнев всевышнего» (1960) и «Окна отчего дома» (1979).

В условиях моей страны эти вещи могут выглядеть необычно или странно, но на самом деле это не так. Они являются красноречивейшим свидетельством того, что в многоязыком обществе искусство есть могучая объединяющая сила. Для искусства нет барьеров, оно разрушает исключительность — тормоз на пути национальной и культурной интеграции. Сегодня, с помощью современной техники, предоставляющей в распоряжение художника все могущество зрительных и слуховых средств массовой информации, можно значительно ускорить процесс взаимного сближения культурных регионов.

В области литературы дело обстоит несколько по-другому, и я вынужден отметить, что, несмотря на свои потенциальные возможности, литература играет куда меньшую роль в процессе культурной интеграции и осознания людьми своей принадлежности к одной стране, чем другие формы искусства.

Две трети населения Индии по-прежнему неграмотны, количество читателей невелико, еще меньше число людей, покупающих книги. Переводы литературных произведений с одного индийского языка на другой немногочисленны, отбор их бессистемен, бывает, что рассказ или стихотворение, попав в литературный журнал, расходится по всей Индии, но бывает это редко. Литературы на различных индийских языках по-прежнему разгорожены водонепроницаемыми переборками. Иными словами — прежде чем писатель начнет играть действенную роль в обществе, предстоит сделать очень многое: должна быть ликвидирована неграмотность, в школах и колледжах должно быть организовано серьезное преподавание различных индийских языков, должна быть разработана система взаимных переводов и т. д. Тем не менее писатель располагает возможностями для действия и обязан воспользоваться ими.

Я хотел бы обратиться здесь к языковой проблеме, которая, как мне кажется, стоит перед многими странами Азии и Африки.

Индия получила в наследство от своих бывших британских покорителей английский язык — источник многих бед для нас, помеху на пути к достижению социального мира и гармонии. Как нам поступить с английским языком? Мы помним, что английский был введен британскими колониальными властями в административных целях. С течением времени возникла общественная прослойка англизированных индийцев. Владение английским языком было в те времена признаком общественного престижа, каковым оно в известной степени является и по сей день. Англичане стремились отдалить индийскую интеллигенцию от языка и образа жизни индийского народа. В определенной степени им удалось этого добиться: индийцы с английским образованием пренебрежительно относились к нашему культурному наследию, именовали индийские языки «туземными», рассматривали нравы и обычаи народа как нечто архаичное и оторванное от современности.

Вопрос, стоящий перед нами, заключается в следующем: какое место должен занимать английский в нашей стране, чтобы стать средством национального пробуждения и национальной интеграции, а не быть им помехой? Это трудный вопрос, и попытки найти ответ на него очень часто приводили к трениям, а подчас и беспорядкам. Английский язык в Индии — палка о двух концах. Невозможно отрицать, что он полезен как средство познания мира за пределами Индии, что он связывает нас с миром, помогает ускорить наш прогресс в науке и технике, дает возможность идти в ногу с современностью. Мы не можем отказаться от использования английского, потому что это лишь замедлит процесс нашего развития. Наоборот, сегодня нам уже мало знать только английский, нам нужны и другие иностранные языки, и не только в узкопрактических целях, но и в более широком плане — для укрепления взаимопонимания с другими странами и народами.

В то же время мы не можем отдавать предпочтение английскому, не рискуя поставить под угрозу прогресс и развитие наших языков. Общеизвестно, что народ не может развиваться, не имея собственного языка. К тому же английским владеет около четырех процентов населения Индии — и только. Нет в Индии области или региона, где говорили бы по-английски,— это язык определенной прослойки народа, живущей по преимуществу в городах.

Таким образом, с одной стороны, Индия должна способствовать расцвету своих языков, с другой же — постараться сохранить английский и извлечь из него максимальную пользу.

Шовинистическое неприятие английского способно нанести нам такой же урон, как предоставление преимуществ этому языку.

Английский язык сыграл — и может сыграть в дальнейшем — весьма положительную роль в деле культурной интеграции и становления национального самосознания, и нам следует максимально использовать возможности, предоставляемые его существованием,— будь то в целях перевода или для общей взаимосвязи.

Сказанное в отношении языка относится к целому ряду областей социальной деятельности. Шовинизм и пережитки прошлого не должны мешать нам ясно видеть задачи сегодняшнего дня, а первейшей из этих задач является необходимость выработки объективного, научного подхода к действительности. Это касается и проблемы культурной интеграции, которая в общественных структурах индийского типа несет в себе потенциальную опасность: наша мифология и книги древности могут быть использованы для укрепления религиозного мракобесия, шовинизма, кастовости. Мы должны считаться с этой опасностью. Без правильной перспективы, без понимания современной действительности мы рискуем сбиться с пути и помешать процессу культурной интеграции и формирования национального единства. Только обладая правильной перспективой, писатель способен сыграть позитивную роль в культурном единении своего народа. Писатель должен вырабатывать научное мировоззрение в противовес религиозному, широкий гуманистический подход в противовес узкошовинистическому; он должен отождествлять себя с жизнью и надеждами народных масс, а не со взглядами привилегированной эли-

ты; он должен научиться сочетать национальные устремления с подлинным интернационализмом.

Лишь в этом случае сумеет писатель по-настоящему помочь и культурному единению, и развитию национального самосознания своего народа.

Махатма Ганди говорил: «Я не хочу закрывать окна моего дома. Я не исповедую религию тюрьмы. Я хочу открыть мой дом навстречу всем ветрам, но я не хочу быть сбитым с ног порывом ветра. В моем доме найдется место для скромнейшей из божьих тварей, но нет в нем места для религиозной или кастовой надменности».

Ассоциация писателей Азии и Африки и подобные ей организации играют благороднейшую роль именно в этом процессе: они помогают нам увидеть вещи в правильной перспективе, дают нам представление о том, где искать решения наших общих проблем, освобождают нас от шор шовинизма и узости подхода, расширяют наш кругозор и зовут к решению проблем, которые История поставила перед нами.

Перевод с английского М. САЛГАНИК

МАНУЭЛ РУЙ: «Я ПОЭТ, Я КОЧЕВНИК»

Цветок

Капельки пота на разогретых лепестках
как хорош ты цветок в ноябре!
Пусть пыльца твоя разъедает
кости войны
и не сшить мундира из лепестков.

Когда больше не будут стрелять на этой земле
я сорву тебя и поставлю
в дуло винтовки
стой на часах цветок
у входа в поэму!

Я кочевник. Я иду через пустыню и ищу воду. Я нахожу ее, и стадо пьет. Бык, пустыня, вода — вот мои мысли и слова. Но я могу передать их поэту, и он превратит слова в стихи. Я поэт, я пишу. Я связующее звено между поэмой рассказанной и поэмой написанной, между одним языком и другим. Оба они соединились во мне, ангольце. Я кочевник. Я слагаю стихи. В одних я говорю о том, что вижу сам, другие подсказывает мне память — она хранит нашу культуру, в ней жизнь моих предков.

Я поэт, я писатель. Я слышу живой голос, но на бумагу ложатся только слова, я перебираю знак за знаком в поисках звучания и ритма — и пытаюсь перевести их на тот или иной язык. Но если даже я точно передам устный рассказ кочевника средствами языков, обладающих письменностью, в тот самый момент, когда слова лягут на бумагу, я стану убийцей того, что звучало: получится сказание без сказителя, без дерева, в тени которого он сидит, без общей трапезы, требующей присутствия сказителя, без костра, согревающего его и дарящего огонь ритуалу. Живая сказка, превращенная в новый, литературный текст, не дышит, не движется: у нее отняли паузы, красноречие жестов, свободное обновление образов, свежие краски в пересказе старых историй. Однако я, владеющий пером, заставляю свои стихи дышать тем же воздухом, что и кочевник. Есть многое в поэзии кочевника, что помогает мне писать: мой ритмично повторяющийся стих — это топот копыт, когда гонят скот, и в стихах у меня слышится треск ломающейся ветки.

Я стою перед вами и одновременно ощущаю, что соединяю в себе многих людей, без которых я не смогу ничего создать,— ведь моя личность определяется обществом, где я живу. Кочевник неотделим от меня. Товарищ. Первое слово — знак нашего сближения; вершиной этого чуда станет наше единение в нации: каждый из нас — анголец. Вначале чудо основано на различии: у каждого из нас свой язык, цвет кожи, манера выражать свои мысли, образ жизни. Но бомбардировщик, несущий смерть кочевнику, несет смерть и мне. Кочевнику хочется счастья, я тоже мечтаю о счастье. У кочевника есть Революция, я тоже ее частица. У нас общие цели, у нас в руках средства культуры. И оружие наше могуче, оно из прочного сплава, подобного сплаву металлов. Поэтому нельзя сохранить наши «я», не соединив их в «мы». Может быть, в первую очередь — «мы», чтобы потом каждый смог назвать себя «я».

Я кочевник. С каждым днем мне все понятней написанное и сказанное на другом языке Я уже научился разгадывать сплетение символов на бумаге. Я учусь и я пони-

---

МАНУЭЛ РУЙ МОНТЕЙРО — MANUEL RUI MONTEIRO (род. в 1939 г.).

Ангольский поэт и прозаик. Окончил юридический факультет Лиссабонского университета. В правительстве независимой Анголы возглавлял департамент информации. В настоящее время преподает в университете города Лубанго и является одним из руководителей Союза писателей Анголы.

маю, что нас много, ведь мы — Революция. Я привыкаю к оседлости, вступаю в кооператив, пробую новую пищу: например, рыбу. Поэт услышал мой язык и сказал: есть слова удивительные, я их вставлю в свои стихи.

Я литератор. Кочевник прав: мне с каждым днем все понятней его речь, и точно так же с каждым днем все лучше понимаем друг друга мы, ангольцы, говорящие на разных языках. У нас много языков, много непохожих культур. И в языке кочевника есть названия, необходимые стихам, которые я пишу на моем, а не на его языке. Мой язык меняется и становится сплавом, где новые, живые краски сказаний. Самое верное слово я могу найти в языке кочевника. Например, выражение «это восхитительно» звучит для меня красивее на кимбунду, чем по-португальски.

И вот мы — кочевник и я — не хотим теперь возвращаться к прошлому. Для нас все в будущем, которое начинается сейчас. Мы стремимся к преобразованиям.

Я попросил кочевника прочитать «Мать» Горького и «Стену» Гильена, переведенные на его язык. Сначала кочевник попросил объяснить непонятное. И ему понравилось. Итак, вначале он приобщился к своей нации через революцию. А теперь рассказанное Горьким и Гильеном стало близко и понятно ему, хотя они родились на других континентах.

От Кабинды до Кунене — наша земля. Она едина, потому что у нас общие идеалы. Много племен, много культур — из них создается страна, которую мы строим. У поэта белая кожа, и сам он не был рабом. Но он выступает в своих стихах против рабства, так ему велит его долг. Поэт написал поэму, и она огромна, как огромны различия между нами, соединившимися в одной нации (о, великая сила слова «товарищ»!). Другой поэт боролся с расизмом и воспевал любовь и братство людей. Он негр. А поэт, никогда не кочевавший по пустыне, как никто, сумел написать о бредущих по пустыне стадах. Мы, народ, соединивший в себе племена, отвергаем единство, основанное на принадлежности к одной расе или племени.

Мы с кочевником не хотим возвращаться к прошлому. Для нас все в будущем, которое начинается сейчас. Мы стремимся к преобразованиям. Я, литератор, признаю традицию, нужную сегодняшнему, а не вчерашнему дню. Мы запишем речь кочевника и создадим письменность для языка, который раньше был только устным. И сам язык преобразится, как только его слова лягут на бумагу. А мой поэтический язык изменится под действием живой разговорной речи.

Родина, соединившая в себе множество языков и культур, дает своим гражданам богатые возможности для творчества — разве угнаться за нами убогому национализму, ограниченному одним языком и расой? В такой стране, как наша, действительность предстает в неисчерпаемом разнообразии красок, и само общение — это многогранное творчество, в основе которого человек.

Ценность культуры определяется усилиями людей, стремящихся к общему счастью, когда счастье одних людей не создается за счет горя других. Нам говорят о языковом барьере. Между мной и кочевником не барьер, а только различие, с него начинается чудо творчества, вершина которого — распустившийся цветок: наше национальное чувство.

Мы с кочевником, объединенные в нацию, преодолеваем трудности на пути к культурной интеграции. И только наше стремление к единству позволяет скоординировать творческие усилия. Творчество неотделимо от нашей жизни, от каждого ее простого движения. Творчество необходимо для лучшей жизни, и благодаря ему каждый сможет сохранить самобытность, ведь мы хотим счастья для всех. Стремясь к великому чуду слияния в нацию, мы достигаем еще большего чуда — интернационального братства. Так расцветает прекрасный цветок гуманизма.

Перевод с португальского
Н. ИСПОЛЬНОВОЙ

◆

Заметки на полях

ЧТО СТОИТ НА ПУТИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К ЗАПАДНОМУ ЧИТАТЕЛЮ?

Литературные контакты, литературная «коммуникация» приобретают в наши дни все больший размах. Мы — как читатели — едва ли не каждодневно открываем для себя новые имена, названия, а то и целые регионы на литературной карте мира. Хорошо известно, что и советская книга — в переводе или в оригинале—достигает теперь самых удаленных от нас точек земного шара. Но путь ее к зарубежному читателю не гладок. Порой перед ней возникают барьеры отнюдь не литературного и не языкового свойства. Советская книга служит миру, но в этом служении ей нередко мешают. Кто мешает? И почему?

Развернутый ответ на эти вопросы содержит статья профессора Лейпцигского университета Эрхарда Хексельшнайдера «Советская литература в современной идеологической борьбе», опубликованная журналом «Веймарер байтреге» (ГДР). Тема статьи — восприятие (или, если использовать новомодный литературоведческий термин,— рецепция) советской литературы в капиталистических странах в 70-х годах, прежде всего в ФРГ. Правда, Хексельшнайдер строит модель не столько «рецепции», сколько «антирецепции» советской литературы. Он рассказывает о тех препятствиях, которые возникают на ее пути к читателю под воздействием целенаправленных усилий буржуазной пропаганды. Сложный процесс борьбы демократической общественности за подлинное освоение советской литературы остается на периферии исследования. Зато в раскрытии избранной темы автор предельно скрупулезен.

Заметим также, что по ходу анализа ученый нередко опирается на положения если и не общеизвестные, то достаточно знакомые; по крайней мере, многие из них уже высказывались прежде, в том числе и самим Хексельшнайдером (в частности, в его книге «Распродажа одного мифа. К вопросу об интерпретации советской литературы в ФРГ», вышедшей в 1975 году в Берлине). Однако в данном случае повторение отчасти уже сказанного необходимо. Дело в том, что при всей своей несомненной гибкости и пластичности буржуазная пропаганда упрямо консервативна в своей функционально-идеологической сути; все ее видимые «отклонения от нормы» на поверку оказываются всего лишь тактическими уловками, конъюнктурной мимикрией. Естественно, что разоблачение этой мимикрии, раскрытие старой личины под новым обличьем, или, иначе говоря, сведение внешне новых явлений к знакомым понятиям, стало для Хексельшнайдера одной из главных задач.

Статья начинается с общей характеристики рецепции советской литературы на Западе. Хексельшнайдер констатирует, что ситуация, сложившаяся в последние годы, далеко не однозначна. Бесспорно, что в ряде стран Америки и Европы минувшее десятилетие ознаменовалось заметными положительными сдвигами в издании и распространении произведений советских писателей. Многие фирмы приступили к выпуску целых библиотечек советской литературы. Так, в одной только ФРГ подобные библиотечки выпускает сразу несколько издательств, в том числе «Бертельсман» (серия «Новая советская проза», включающая книги Юрия Трифонова, Олега Куваева, Валентина Распутина, Сергея Залыгина), «Вильгельм Финк-ферлаг» (серии «Центрифуга» и «Славянские пропилеи», которая знакомит читателя с произведениями, относящимися к начальным этапам развития советской литературы), «Дамниц-ферлаг» (серия журнала «Кюрбискерн» «Малая рабочая библиотека», куда, в частности, вошли романы и повести Александра Серафимовича и Василя Быкова). Хексельшнайдер убежден, что именно установка на широкое ознакомление западного читателя с достижениями советской литературы наиболее пер-

спективна, поскольку именно она соответствует динамике читательских потребностей. Однако, подчеркивает ученый, нельзя закрывать глаза и на явления негативного плана.

Наглядным примером может служить издательская практика в той же ФРГ. Во-первых, советскую (как, впрочем, и русскую дореволюционную) литературу здесь переводят — в сравнении с литературами других стран — не так уж много:

«...По официальным данным западногерманского Биржевого союза немецких книгоиздателей, в ФРГ доля беллетристики, переведенной с русского на немецкий (включая дореволюционную и эмигрантскую литературу), составляла в 1964—1974 годах от 2,4 до 3,9% всех переводных изданий. В 1974 году было выпущено 81 название этой беллетристики (3,6%), в 1975 году — 97 названий (4,7%). Таким образом, количественно доля переводов с русского — в сопоставлении с переводами из американской, английской и французской литератур — сравнительно невелика».

Во-вторых, значительную долю этих изданий (примерно одну треть) составляют произведения не советских писателей, а сочинения литераторов, внутренне чуждых советскому обществу или вовсе порвавших с ним. Причем именно их буржуазная критика стремится представить «в качестве подлинных художественных достижений современной русской культуры».

В-третьих, книги советских писателей издаются, как правило, незначительными тиражами, их почти не рекламируют, поэтому во многих случаях они с трудом доходят до читателя.

«Хотя новых произведений появляется не так уж мало, их тиражи в среднем... колеблются между пятью и шестью тысячами экземпляров... Число проданных книг обычно и того меньше. Исключения, подобные истории с повестью Гавриила Троепольского «Белый Бим, черное ухо», выпущенной поначалу издательством «Клаассен» (Дюссельдорф) в количестве 3 тыс. экземпляров, а затем массовым тиражом... лишь подтверждают правило. Так, книга Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура» (издательство «Пипер», 1973) и повесть Трифонова «Обмен» (также «Пипер», 1974) в течение года разошлись всего по 1600 экземпляров каждая. «Нетерпение» Трифонова (издательство «Шерц», 1975), распродано в количестве лишь 3 500 экземпляров... Книги других писателей вообще остаются лежать на полках».

«Картина, таким образом, получается весьма противоречивой»,— резюмирует Хексельшнайдер. Постоянно возрастающая притягательная сила социалистических идей все в большей мере стимулирует интерес и к советской литературе, причем следует отметить, что именно эстетические достоинства нашей литературы превращают ее в действенное средство политического просвещения:

«Высокий художественный уровень советской литературы как литературы нового общества, ее обращение к принципиально новым конфликтам — все это привлекает к ней все большее число людей. Открытие советской литературы и сегодня нередко означает для них открытие нового мира».

Однако именно просветительская действенность советской литературы вынуждает буржуазных идеологов к усиленным поискам средств и способов ее нейтрализации. Отсюда — многочисленные попытки искусственно задержать распространение советской литературы, поставить барьеры на ее пути к западному читателю, рождающие в конечном итоге очевидный «разрыв между растущими и неоднократно подтвержденными читательскими потребностями» и степенью их удовлетворения.

Полемическое острие статьи Хексельшнайдера направлено против тех буржуазных литературоведов и литературных критиков, которые отрицают наличие каких-либо идеологических и тем более политических моментов в отношении к советской литературе на Западе. В освещении таких критиков все определяется только двумя факторами: стихийными требованиями рынка, то есть читательским спросом, и профессиональной честностью издателей и рецензентов, руководствующихся в своей деятельности якобы лишь художественными достоинствами конкретных произведений.

В марте 1977 года, например, западногерманский Федеральный институт стран Восточной Европы и международных исследований выпустил в свет брошюру некоего Петера Хюбнера «Литература ФРГ в СССР и советская литература в ФРГ (1974—1976)». Цель брошюры состояла в том, чтобы доказать, будто советских писателей издают в ФРГ больше и лучше, нежели западногерманских писателей в нашей стране.

Как и следовало ожидать, в своем предприятии Хюбнер отнюдь не преуспел. Обвинения в адрес советских издательств строились им исключительно на передержках и на подтасовках. В 1974—1976 годах, например, по данным Всесоюзной книжной палаты, в нашей стране было выпущено 25 названий книг западногерманских писателей. Хюбнер, однако, настаивает на другой цифре: 14 названий (да и то с учетом журнальных публикаций). На каком основании? А на том, что издания на языках народов СССР вообще, видите ли, нельзя принимать в расчет, как недоступные для большинства населения. Иначе говоря, многомиллионная часть многонациональной советской читательской аудитории, желающая познакомиться с произведениями западногерманских писателей на своих родных языках, единым росчерком пера исключалась из числа советских читателей. Трудно даже сказать, чего больше было в подобных рассуждениях: невежества или просто провокационного политического жульничества. Скорее всего, видимо, последнего: брошюра Хюбнера явилась на свет в связи с дискуссией на Белградской встрече по проверке исполнения итоговых документов Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Впрочем, упражнения Хюбнера на «советскую издательскую тему» в конечном счете не выходили за рамки буржуазных пропагандистских стандартов. Обратимся поэтому к его выкладкам по поводу распространения советской литературы в ФРГ. Пытаясь во что бы то ни стало доказать преимущества западногерманской издательской практики, Хюбнер настойчиво повторял, что советская литература представлена на книжном рынке ФРГ в достаточно широком «ассортименте» — по крайней мере, куда более широком, нежели литература ФРГ в СССР, и что этот ассортимент, равно как и тиражи изданий, полностью соответствует запросам и потребностям читателя. Что же касается выпуска «сочинений», которые, как пишет Хюбнер, «не смогли появиться в СССР», то что, мол, поделаешь, если спрос на них «иной раз выше», чем на книги «советских писателей, официально признанных (в СССР.— Д. А.) в качестве значительных». Иными словами, на вооружение был принят тот самый тезис о «механизме рынка», довлеющем над безусловно аполитичными и «безыдеологичными» издателями, о котором говорилось выше.

Хексельшнайдер не спорит непосредственно с Хюбнером, хотя, как явствует из справочного аппарата статьи, имя и труды этого автора ему известны. И все же его работа является убедительным опровержением как самого Хюбнера, так и экспонированной в его брошюре точки зрения. В этом смысле обращают на себя внимание приведенные в статье материалы полемики по проблемам освоения советской литературы, развернувшейся в ФРГ в марте 1977 года — то есть как раз тогда, когда была опубликована брошюра Хюбнера.

Дискуссию, отмечает Хексельшнайдер, начал известный писатель Альфред Андерш. В открытом письме Константину Симонову, напечатанном в еженедельнике «Ди цайт» под красноречивым заголовком «Неизвестная советская литература», Андерш прямо заявил, что знакомство с этой литературой в Западной Германии в значительной мере носит односторонний, откровенно тенденциозный характер: читателю настойчиво пытаются внушить, будто вся она «состоит из А. Солженицына, А. Солженицына и еще раз А. Солженицына», старательно ограждая его в то же время от встреч с подлинно советскими писателями. И подчеркнул, что у этой тенденциозности вполне определенная политическая подоплека:

«Применительно к советскому вопросу речь идет... не о смене моды, но о неизменно актуальном и тщательно скалькулированном «воспроизведении» «холодной войны». Коль скоро этого требует «холодная война», значит, Солженицын «наш» (и он знает это и раздувает эту войну — и тем отличается от большинства других «диссидентов», многие из которых не ведают, чему служат); коль скоро Вас, Симонов, нельзя использовать в целях «холодной войны», значит, Вы и Ваши советские коллеги — не «наши».

Дискуссия есть дискуссия. У Андерша, показывает Хексельшнайдер, нашлись не только союзники, например, философ Ганс Хайнц Хольц, но и противники (театральный критик Хеннинг Ришбиттер, славист Вольфганг Казак). Однако даже самые решительные оппоненты писателя в конечном итоге не столько опровергали, сколько — разумеется, невольно — подтверждали его обвинения. Типичным в этом плане было выступление Вольфганга Казака. Придерживавшийся в целом (как, впрочем, и большинство противников Андерша) той же позиции, что и Хюбнер, этот ученый и не пытался отрицать тех перекосов в восприятии советской литературы, о которых говорил писатель. Он только видел в них «преимущества» характерного для ФРГ как части «свободного немецкоязычного пространства» «плюралистского» подхода к отбору произведений для перевода, позволяющего якобы создать «истинное» — то есть соответствующее не «официальному», а некоему «не выраженному в печати литературному общественному мнению» нашей страны — представление о советской литературе. Казак, таким образом, не скрывал, что у его плюрализма — недвусмысленно антисоветская, политико-диверсионная подоплека. И не замечал, что тем самым обращает острие своей полемики против самого себя.

Тезис о «безыдеологичности» подхода к изданию советской литературы в ФРГ (как, впрочем, и других капиталистических странах) оказывается тем самым чистейшей фикцией. Правда, справедливости ради следует отметить, что в отношении к отдельным советским писателям за последнее время кое-что изменилось. Редактор прогрессивного мюнхенского журнала «Кюрбискерн» писатель Фридрих Хитцер в интервью, опубликованном в одном из прошлогодних ноябрьских номеров еженедельника «Зоинтаг», констатировал, что сейчас в ФРГ наконец «открыли» Константина Симонова. Однако это «открытие», как показывает то же интервью, никак не меняет картины в целом.

Сложнее обстоит дело с тезисом о диктате рынка. В известной мере он не лишен оснований — в том смысле, что издательское дело в капиталистических странах подчиняется законам коммерции и что в своей деятельности буржуазный издатель не может не считаться с особенностями рыночной конъюнктуры. И все же, показывает Хексельшнайдер, применительно к советской книге в ссылках на рыночный механизм есть немалая доля отнюдь не наивного лукавства. К объективным трудностям сбыта, порожденным такими факторами, как общий уровень культуры населения, читательские вкусы и привычки и т. п. (об этом еще пойдет речь ниже), в данном случае добавляются трудности искусственные, необязательные — например, те, что создаются недостатками рекламы.

«Обычная отговорка западных издателей сводится... к тому, что, мол, советская литература почти неизвестна, поэтому-де нет никакого смысла рекламировать советских писателей. Возникает заколдованный круг: неизвестного или почти неизвестного автора, принадлежащего к почти неизвестной литературе, невозможно популяризировать, поскольку он почти или совсем неизвестен».

С точки зрения бизнеса такая логика выглядит по меньшей мере странно. Остается предположить, что за ней скрывается не боязнь коммерческого риска, а робость совсем иного рода. Не мифическая плюралистская объективность и не фатальная власть рынка порождают преграды на пути советской литературы к западному читателю — их порождают вполне определенные социально-политические устремления правящих кругов «свободного мира». Эти преграды нельзя рассматривать как отдельные, изолированные явления литературной жизни. Разные по характеру и конкретным источникам, они сводятся к одному и тому же: к попыткам отделить массовую аудиторию от подлинной советской литературы, использовать растущий интерес к ней в своекорыстных, далеких от литературы целях. Именно поэтому нужно говорить не об отдельных «стихийных» помехах; нужно говорить о своего рода системе идеологического контроля (или, как пишет Хексельшнайдер, системе «манипуляции» общественным сознанием), которой в капиталистических странах стремятся подчинить восприятие советской литературы.

Во избежание кривотолков необходимо подчеркнуть, что речь идет не о какой-то официальной системе. Именно поэтому буржуазные идеологи (в частности, тот же Хюбнер), как правило, категорически отрицают ее существование. И тем не менее ее реальность давно уже не является секретом. Вот, например, цитируемое Хексельшнайдером высказывание западногерманского переводчика-слависта и ученого-киноведа Ганса-Иоахима Шлегеля:

«Трудности, возникающие в деле популяризации советской литературы, указывают на те формы скрытой цензуры, которая проявляется в почти непреодолимом переплетении условий книжного рынка и энергичной манипуляции читательскими ожиданиями со стороны барышников и спекулянтов, подвизающихся в органах массовой информации».

Может быть, «цензура» — здесь слишком сильное слово, но по сути все верно.

Основа этой системы, показывает Хексельшнайдер,— неприкрытый антисоветизм.

«Призрак антисоветизма — вот что противопоставляется... растущему международному авторитету советской литературы. Все силы и средства нацелены на то, чтобы извратить исторические достижения, современную внешнюю и внутреннюю политику КПСС и Советского государства, подорвать престиж Советского Союза, преуменьшить значение его опыта для мирового революционного процесса. Эстетическое многообразие советской литературы и ее обращение к актуальным проблемам в жизни советского общества трактуются как ее слабость. Причем — и это одно из характерных явлений идеологической борьбы 70-х годов — примитивный, грубый, фронтальный антисоветизм, опирающийся в значительной мере на аргументацию, перенесенную в эпоху «холодной войны» из фашистских времен, переплетается с антисоветизмом утонченным, скрытым, выдаваемым иной раз даже за попытку «улучшить социализм».

В соответствии с этим, подчеркивает Хексельшнайдер, именно антисоветские предрассудки, усердно насаждаемые в сознании людей, становятся главной преградой, возникающей перед советской литературой.

«Путь советской литературы к западному читателю перекрывают не непостижимый механизм рынка и не чужеродность, непонятность ее тематики, ее материала для аудитории. Срабатывают в первую очередь те антисоветские установки, которые с момента основания Советского государства старательно культивируются господствующими классами империалистических стран, составляя основное содержание массовой буржуазной пропаганды, и которые действительно оказывают свое воздействие на население, а для многих делают непредвзятое отношение к советской литературе почти невозможным».

Конечно, не все препятствия, мешающие распространению советской литературы на Западе, имеют своим источником антикоммунизм и антисоветизм. Некоторые из них порождены тем, что Хексельшнайдер называет общим уровнем культуры в странах Запада. Любопытно в этом плане приведенное им свидетельство литературного критика Хедди Просс-Веерт, которое весьма ядовито раскрывает причины равнодушия некоторых читателей к советской беллетристике:

«Хотя эта литература и содержит обильную и в высшей степени интересную информацию о своей стране и ее людях, в ней, однако, нет ни слащавых историй, с героями которых читатель был бы готов с удовольствием себя отождествить, ни тех грубых, сногсшибательных эффектов, к которым у нас столь привычны: всяких там ложносентиментальных катастроф, сенсационной психопатологии, сексуальных извращений».

Попадая на западную почву, советская литература сталкивается с той же общекультурной ситуацией, с какой постоянно приходится иметь дело прогрессивной и вообще «серьезной» литературе буржуазных стран: говоря языком рецептивной эстетики, ее идейно-художественный уровень оказывается выше «уровня ожидания» части читателей. Эта неподготовленность аудитории, особенно в сочетании с устаревшими или заведомо ложными представлениями о нашей стране, является источником тех объективных трудностей в распространении советской литературы, о которых говорилось выше в связи с тезисом о диктате рынка. Конечно, можно констатировать, что в этих случаях буржуазные фирмы пожинают плоды собственных усилий, направленных на производство массового чтива. Однако издатель, в особенности если он искренне заинтересован в издании советской книги, вынужден принимать специальные меры для нейтрализации этого вполне возможного «эффекта» читательской эстетической глухоты.

Определенным препятствием для распространения советской литературы нередко становится и качество переводов. Во-первых, бывают случаи намеренной фальсификации подлинного текста. Так, строка из популярной песни на слова Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» в переводе приобрела совсем иной смысл: «Думаешь, русские о п я т ь хотят войны?» Во-вторых — и это, пожалуй, главное,— многие переводы явно выполнены небрежной или неквалифицированной рукой. Хороших переводчиков, поясняет в связи с этим Хексельшнайдер, не хватает, к тому же оплата их труда обычно невысока; они просто вынуждены спешить и не могут позволить себе тщательно работать над текстом. Естественно, что перевод порой неадекватен оригиналу не только в художественном, но и чисто смысловом отношении.

И все же ведущую роль в системе контроля над восприятием советской литературы играет антисоветская, антикоммунистическая пропаганда, и прежде всего антисоветски ориентированная литературная критика, выполняющая сразу две функции: «наставническую», поскольку она предназначена формировать общественное мнение о советской литературе, и «таможенную», поскольку именно ее суждения и оценки должны определять (и нередко действительно определяют) отбор книг для перевода. Основная цель этой критики, о чем достаточно откровенно сказал упомянутый выше Вольфганг Казак, сводится к попыткам доказать, будто советская литература есть не что иное, как свидетельство... слабости и непрочности социалистического строя. Отсюда — специфическая направленность ее «творческих поисков». Внимание буржуазных «таможенников» от литературы привлекает прежде всего: 1) произведения, в которых остро ставятся актуальные проблемы социалистической действительности и которые поэтому считается возможным использовать как удобный повод для антисоветских спекуляций (целое направление «советологической» литературной критики, отмечает Хексельшнайдер, занято тем, что пытается представить «критику социальной действительности с позиций социализма как критику социализма вообще»); 2) произведения, в которых ощутим отход от магистральных проблем современности; 3) произведения, идейно ошибочные.

Буржуазная критика, таким образом, настойчиво пытается ввести советскую литературу в «диссидентское русло». В качестве иллюстрации Хексельшнайдер цитирует саркастические строки известного западногерманского переводчика Александра Кемпфе:

> «Советский писатель может в течение многих лет писать и печататься, опубликовать немало хороших, даже социально-критических произведений — Запад все это ничуть не взволнует. Но стоит только книге данного автора не пройти в печать, как он моментально становится для нас «своим», хотя в принципе никаких существенных изменений с ним не произошло. Наши фабриканты книг и мнений натасканы именно на этот сигнал: они тут же готовы схватить кусок — подобно собакам у Павлова».

С другой стороны, понятно, какой бесценной находкой оказываются для этих фабрикантов поделки самих диссидентов. И неудивительно, что для их издания и распространения не жалеют средств. Здесь — вопреки обычной практике — не скупятся на гонорары переводчикам. На рекламные затраты. И разумеется, на тиражи.

Пропагандистский и коммерческий ажиотаж вокруг этих сочинений порождает порой прямо-таки гротескные ситуации. Несколько лет назад «Литературная газета» сообщала о нашумевшей в ФРГ истории с «бестселлером», вышедшим в свет под названием «Московские ночи»: разрекламированный как «первый эротический роман «самиздата», он на поверку оказался «творением» авторского трио в составе Хайнца Гюнтера, Бенно фон Маррота и Гюнтера Хайна, выступавших под псевдонимом Г. Х. Конзалик. Но, видимо, высказывает предположение Хексельшнайдер, это — «не единственный факт такого рода»:

> «Не случайно Мартин Вальзер в романе «Падение» создал сатирический образ некоего писателя, который сочиняет свои произведения на Западе, затем переправляет их в Москву, чтобы перевести на русский, а потом — с помощью западных журналистов — «реэкспортирует» их в качестве последних сенсаций «самиздата».

Хексельшнайдер подчеркивает, что в последние годы литературоведы-советологи заметно активизировались. Прежде всего усилились их нападки на советскую литературу и ее лучших представителей; советология весьма оперативно откликнулась на обострение идеологической борьбы, причем все чаще обнаруживается прямая связь между ее литературно-эстетическими и социально-политическими доктринами. Отчетливо выявляется также тенденция к международной консолидации советологических сил, причем характерно, что на платформе антисоветизма в единый фронт смыкаются самые различные группировки: от ультраправых до ультралевых, от консервативных до анархистских, от социал-реформистских до троцкистских и маоистских. Правда, есть факты, свидетельствующие, казалось бы, о сдвигах иного рода. На советологические конгрессы и съезды все чаще приглашают ученых из социалистических стран — в знак «готовности» советологов к «откровенному диалогу». Порой раздаются голоса, призывающие к пересмотру чересчур уж одиозных советологических литературных концепций — вроде той, что была выдвинута в свое время небезызвестным Глебом Струве. Однако все эти сдвиги в конечном счете — не более чем все та же конъюнктурная мимикрия, не меняющая сути ни советологии вообще, ни советологического литературоведения в частности. Как и прежде, по словам Хексельшнайдера, их задачей является «дезинформация и дезориентация населения капиталистических стран, вмешательство во внутренние дела социалистических литератур, всеобъемлющая обработка общественного мнения».

Восприятие литературы всегда было в значительной мере обусловлено общественно-политическими фактами. Что касается

советской литературы, то политические устремления правящих кругов Запада вопреки утверждениям буржуазной пропаганды играют здесь особую роль, порождая серьезные препятствия на пути советской книги к массовой аудитории,— таков вывод, к которому подводит читателя Хексельшнайдер. С этим нельзя не согласиться. Хотелось бы только обратить внимание на некоторые моменты, не затронутые в статье, но имеющие непосредственное отношение к теме. Прежде всего надо отметить, что политической коррекции на Западе пытаются подвергнуть восприятие и других литератур социалистических стран. В последние годы, например, в Западной Германии немало пишут о литературе ГДР. Анализ работ таких авторов, как Конрад Франке, Фриц Раддац, Ганс Дитер Зандер, показывает, что предлагаемые в них концепции направлены на то, чтобы внедрить в читательское сознание те же стереотипы восприятия, о которых писал Хексельшнайдер. На эту же мысль наводят опубликованные в прошлогоднем декабрьском номере «Ваймарер байтреге» статьи западногерманского писателя Оскара Ноймана «Условия восприятия литературы ГДР в ФРГ» и литературоведа из ГДР Бенно Пубанца «Еще раз о литературе ГДР и политическом образовании в школах ФРГ». Единственное, что отличает восприятие и трактовку литературы именно ГДР (в статье Пубанца это показано особенно четко),— это настойчивое стремление лишить ее идейно-эстетического и национального своеобразия как литературы формирующейся социалистической нации, «интегрировать» ее в «общий поток» немецкоязычной буржуазной литературы.

Опираясь на факты из литературной жизни ФРГ и отчасти Франции, Хексельшнайдер правомерно связывает процесс освоения советской литературы с развитием демократической культуры в капиталистических странах в целом:

> «В капиталистических странах борьба за истинно народную прогрессивную литературу неотделима от борьбы за распространение революционной по самой своей сути советской литературы».

Как значительное достижение в этой борьбе ученый отмечает консолидацию прогрессивной и социалистической литературной критики, противостоящей буржуазной советологии, что нашло свое выражение, в частности, в выпуске посвященных советской литературе тематических номеров ряда прогрессивных журналов («Кюрбискерн» в ФРГ, «Нувель критик» во Франции и др.).

Несомненно, однако, что этот вопрос нужно рассматривать шире: в связи с развитием литературной ситуации в целом. В том же номере «Веймарер байтреге», в котором напечатана статья Хексельшнайдера, публикуется и работа известного литературоведа Урсулы Райнхольд «Дискуссия о реализме», посвященная проблемам западногерманской литературы последнего десятилетия. Райнхольд убедительно показывает, что за минувшие годы в литературе ФРГ заметно окрепли реалистические тенденции, справедливо связывая этот процесс с активизацией демократического движения в стране, ростом политического самосознания трудящихся.

Сходные мысли высказал в своем выступлении на Мангеймском съезде ГКП в октябре 1978 года известный драматург Франц Крёц. Более того: Крёц утверждал, что в 70-е годы в литературе ФРГ — несмотря на все сложности и противоречия в ее развитии — возникает и укрепляется направление, которое можно определить как направление социалистического реализма.

Эти наблюдения весьма знаменательны. Видимо, укрепление прогрессивных, реалистических тенденций в современной западногерманской литературе определенным образом скажется и на рецепции советской литературы в этой стране. Вместе с тем очевидно, что речь идет не о локальном явлении, но об одной из закономерностей литературного процесса современности. Не секрет, что идеи мира и сотрудничества все больше укрепляются в сознании людей разных стран, разных взглядов и убеждений. В применении к нашей теме — советская литература за рубежом — это особенно важно. Конечно, советская литература всегда будет на острие идеологической борьбы эпохи: это ее неотъемлемое свойство (как, впрочем, и свойство любой настоящей, подлинно прогрессивной литературы). Но именно в процессе этой борьбы — борьбы за утверждение гуманистических идеалов мира и социального прогресса — она все больше будет завоевывать сердца людей на земле.

Д. АЛЕКСАНДРОВ

◆

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ, ИЛИ ФУТУРОПРОРОЧЕСТВА ГЕРМАНА КАНА

Речь в данных заметках идет о предлагаемых буржуазными футурологами прогнозах будущего, охватывающих как внутренние проблемы различных стран и общественных систем, так и международные дела, то есть перспективу мира в целом.

В работе «Фиаско футурологии», с частью которой читатели «Иностранной литературы» познакомились в минувшем году, в качестве «увеличительного зеркала» для немарксистских концепций были взяты антиутопии О. Хаксли и Дж. Оруэлла. Сейчас мы предлагаем читателю в таком качестве книгу «Следующие двести лет. Сценарий для Америки и мира»[1], написанную Германом Каном в соавторстве с В. Брауном и Л. Мартелом.

Чем объясняется такой выбор?

Г. Кан — признанный апостол западной прогностики. Будучи создателем так называемого Гудзоновского института, он одним из первых вступил на путь составления средне- и долгосрочных прогнозов и, как бывает в таких случаях, сумел пожать лавры, достающиеся пионерам. Вдобавок, отличаясь большой трудоспособностью, этот теоретик на протяжении десятилетий стремится поддержать свою репутацию и выпускает книгу за книгой, ставя свое факсимиле едва ли не на всех участках карты будущего.

Книгу Кана, пожалуй, можно назвать самой дерзновенной из всех его попыток постигнуть будущее. Она распространяется, как видит читатель, ни много ни мало как на два столетия. В то же время в самой работе есть несколько «слоев». Кан и его сотрудники не только пытаются предсказать, что будет в 2176 году, но и повторяют свои предположения, касающиеся более близкого к нам периода, в первую очередь рубежа двух тысячелетий, воспроизводя при этом содержание другой работы («Двухтысячный год»[2]), которая была написана Каном в соавторстве с А. Винером и пользовалась в свое время популярностью бестселлера.

По сути дела, данная книга представляет все основные направления футурологического поиска. Кан не скрывает, что в

[1] Kahn H., Brown W., Martel L., The Next 200 years. A Scenario for America and the World. N. Y., 1976.

[2] Kahn H., Wiener A. The Year 2000. L., 1967.

ШАХНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ХОСРОЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский ученый, доктор юридических наук. Президент Советской ассоциации политических наук, первый вице-президент Международной ассоциации политических наук, автор книг «Социалистическая демократия», «Коммунизм и свобода личности», «Социализм и равенство». «Социалистическая судьба человечества», «Фиаско футурологии».

Публикуемая статья войдет в книгу «Грядущий миропорядок», которую готовит к печати «Политиздат».

качестве теоретической «парадигмы» им взята идея «постиндустриального общества» в том виде, как она описана Д. Беллом. Вдобавок в его прогнозе легко прослеживается влияние различных технократических идей, концепций менеджеризма, социальной инженерии, «народного капитализма» и т. д. Иными словами, недостаток оригинального теоретического мышления обернулся в данном случае достоинством книги Кана: представляя собой своего рода корзину, куда сброшены, хорошо перемешаны и в доступной мере интегрированы самые разнообразные немарксистские доктрины будущего, она служит идеальным объектом для оценки рисуемого ими образа грядущего.

И, наконец, еще один немаловажный момент. Кан исходит здесь из установок наиболее рационального (относительно других, разумеется) направления немарксистской прогностики, которое отрицает теории «судного дня», делает ставку на социальный и научно-технический прогресс, избегает примитивного антикоммунизма.

Разумеется, помимо названной книги по мере необходимости будут привлечены свидетельства и других авторов.

Прежде всего о выборе времени. Почему Кан рискнул отправиться в столь дальнее путешествие в будущее, где любые предположения принимают характер поневоле иллюзорный, умозрительный? Ответ прост: книга увидела свет в 1976 году, когда отмечалось двухсотлетие Соединенных Штатов Америки, и ее замысел был продиктован амбициозным намерением продемонстрировать, какие успехи сулят следующие два века их существования.

На первый взгляд сам по себе такой замах мог бы показаться не столь уж предосудительным. Правда, серьезные прогнозы составляются с учетом реальных возможностей предвидения и, уж конечно, приурочиваются не к произвольно избранным датам. Но ведь и набрасывать узду на воображение не слишком разумно: в конце концов, никому не возбраняется выбирать для прогноза любую точку на координате времени.

Однако Г. Кан и его соавторы далеко не случайно принимают за точку отсчета провозглашение независимости США. Тем самым они без обиняков дают понять, что современная история человечества начинается тогда, когда американские колонии бросили вызов английскому владычеству. Не утруждая себя аргументами, авторы прогноза, по сути дела, именно с этим событием связывают начало промышленной революции, преобразившей лицо мира. Отсюда и вывод, что четырехсотлетний период (то есть двести лет существования США и двести лет вперед) «окажется таким же драматичным и важным в истории человечества, какими были предшествовавшие десять тысяч лет»[3].

Подобная мера отсчета уже в самом зародыше содержит претензию на то, что все развитие человечества будет рассматриваться с точки зрения американской и под углом зрения американизации мира.

«Первые двести лет существования Соединенных Штатов Америки,— читаем в книге,— явились и отражением и двигателем века индустриализации. 1776 год, когда была провозглашена независимость США, был также годом выхода в свет «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Поэтому указанный год служит удобной вехой для обозначения начала промышленной революции, а два отмеченных события символизируют наступление уникальной эры в мировой истории: именно промышленная революция стимулировала беспрецедентную производительность труда и экономический рост; именно США были призваны сыграть ведущую роль в этом развитии»[4].

Вот поистине пример националистического самоослепления. Надо уж очень хотеть доказать недоказуемое, чтобы прибегать к столь надуманным доводам. При всем уважении к одному из классиков политической экономии дата публикации его произведений не может, конечно, приниматься за революционную веху в развитии производительных сил.

Еще более любопытны последующие рассуждения Кана и его коллег. Знаменательно, пишут они, что «двухсотлетие США должно почти совпасть с поворотным пунктом истории; такой поворотный пункт означает, возможно, начало великого перехода человечества в мир, который, не будучи утопией, окажется способным создать как возможность, так и основу для относительного покоя и процветания почти каждого, даст надежду на радость и осуществление чаяний»[5]. Иными словами, не следует сомневаться, что если рай все-таки существует, то путь туда проложат Соединенные Штаты.

■

Но оставим пока сомнения, которые внушают заявки на особую роль США, и рассмотрим сценарий американских авторов самым беспристрастным образом. Вообще, меньше всего мы склонны занимать позицию зряшного, огульного отрицания, а тем более зубоскалить по поводу неудачных выражений. По собственному опыту каждый, кто отваживается исследовать будущее, знает, что критиковать всегда легче, чем высказывать суждения по существу. К тому же марксистская традиция предполагает внимательное, вдумчивое отношение к любым теориям, с тем чтобы извлечь из них «рациональное зерно».

Отметим прежде всего, что Кан отрицает неомальтузианский тезис «пределов роста». Центральная мысль его «геоцентрического» сценария состоит в том, что темпы прироста мирового населения и экономики приближаются в наше время к своей исторической кульминации; вскоре они на-

[3] Kahn H. ... The next 200 years, p. 1.

[4] Ibid., p. 8.

[5] Ibid.

чнут замедляться, примерно через сто — двести лет выровняются и будут более или менее естественно соответствовать друг другу. Главной причиной такого благоприятного хода событий явится растущее процветание, которое, как уже показал опыт экономически развитых стран, влечет за собой сокращение рождаемости. Отсюда проблема экспоненциального роста населения решится сама собой.

В трех предлагаемых авторами вариантах темпов роста населения за шесть десятилетий (1950—2010) апогей достигается в течение ближайших нескольких лет, после чего кривая должна пойти вниз. Исходя из этого, предполагается, что через двести лет на Земле будут проживать от пятнадцати до тридцати миллиардов человек. По существу, три четверти остального изложения занимает доказательство тезиса о том, что наша планета располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить в изобилии средства, необходимые для существования этого количества людей. Реальность такой перспективы подчеркивается ссылкой на грядущие достижения науки и техники, которые позволят полностью освоить океан (в частности, создать огромные плавучие и подводные индустриальные комплексы), а также осуществить более или менее широкую миграцию в космос.

Последнее, по словам Кана, предполагает уже не геоцентрический, а так называемый космический вариант сценария. Впрочем, понятие это в книге слабо разработано. Едва ли вообще правомерно разделять (и тем самым фактически противопоставлять) основные направления развития; логично предположить, что выход в космос явится, как и до сих пор, составной частью усилий по преобразованию и благоустройству земного общества, а не дорогой бегства от перенаселенности, массовой эмиграции в поисках нового пристанища.

Вернемся, однако, к главной теме. Начать с того, что сама по себе вера в возможность преодоления нынешних кризисных ситуаций, а в более широком смысле — в неодолимость общественного прогресса не принадлежит к числу открытий Кана и его сотрудников. Именно эта идея, причем научно обоснованная, лежит в основе теории научного коммунизма, она приобрела в марксистском учении, по существу, характер аксиомы. Больше того, пресловутый тезис Медоуза и Форрестера о «пределах роста» вызвал серьезные возражения и у большинства буржуазных теоретиков (он был пересмотрен практически во всех последующих докладах Римскому клубу [6]). Кстати, выдвигая свои оптимистические варианты будущего, Кан опирается именно на выводы демографических и экологических прогнозов оптимистического звучания, появившиеся в первой половине семидесятых годов.

В то же время было бы неверно недооценивать сам факт, что апостол буржуазной футурологии, отражающий в своем творчестве не периферийные, случайные, а генеральные, доминирующие ее тенденции, решительно высказался против концепции неизбежности апокалипсиса. Этим объясняется не только благосклонное отношение к книге Кана многих его коллег-футурологов в западном мире, но также позитивные ее оценки в целом на страницах прогрессивной печати.

Между тем оптимизм Кана нуждается в проверке. Более того, именно эта тема заслуживает главного внимания, позволяет кратчайшим способом прийти к пониманию сути буржуазного сценария будущего.

Заметим сразу же, что оптимизм Кана имеет з а д а н н ы й характер, основан он по преимуществу не на научном расчете (хотя различные калькуляции, в том числе — проделанные специалистами Гудзоновского института, в изобилии приводятся в книге), а на постулировании благоприятного исхода мирового развития как желательной цели. Напомнив, что в наше время приобрели популярность различные прогнозы, предрекающие человечеству крайне мрачное будущее, авторы сообщают о своем намерении «разработать прямо противоположный сценарий», который, как они полагают, будет ближе к действительности и даст относительно верное представление о том, что происходит [7]. Другими словами, рассуждают не по принципу науки: так будет, потому что в пользу этого свидетельствуют тенденции развития, а по логике своеволия: так может быть, потому что нам этого хочется.

Возникает вопрос: а почему именно так, только ли из-за того, что в отличие от Медоуза Кан, скажем, обладает более здоровым нравом и жизнелюбием, которое избавляет его от мрачного взгляда на завтрашний день? Разумеется, не только. Главная причина оптимизма Кана связана с характером прогноза и датой, к которой он приурочен. В самом деле, ведь речь идет о двухсотлетии США, которое было пышно отпраздновано в капиталистическом мире и сопровождалось безудержными восхвалениями по поводу успехов этой страны во всех сферах человеческой деятельности. Причем эти успехи приписывались в первую очередь экономической и политической системе капитализма в ее американском варианте. Спрашивается, можно ли было браться за составление юбилейного прогноза, настроившись на похоронный лад?

Другой, тесно связанный с этим мотив, побуждавший ориентироваться только на благоприятную перспективу, лучше всего проясняет тезис З. Бжезинского о так называемом «разочаровании в прогрессе». «Самый популярный политический манифест, появившийся много десятилетий спустя после Коммунистического манифеста,— писал он еще до своего вступления на поприще практической политики, — это необычайно пессимистический манифест «Пределы роста», рисующий апокалипсическую перспективу как следствие безудержного развития. Утрата веры в прогресс привела к тому, что в «задающих тон» кру-

[6] Римский клуб — группа ученых, поставивших задачу разработки глобальных экономических прогнозов. Под эгидой клуба публиковался ряд докладов, посвященных проблемам будущего *(здесь и далее прим. автора)*.

[7] Kahn H. ... The next 200 years, p. VIII.

гах Запада распространяются настроения пессимизма и неверия в возможность позитивных перемен». Такой пессимизм, подчеркивает Бжезинский, очень опасен, поскольку он парализует активность, необходимую для приспособления системы к требованиям века.

Можно не сомневаться, что идеологическая сторона дела, стремление «взбодрить» правящий класс буржуазного мира, подкинув при этом «утешительные доводы» массовой пропаганде, явились если не единственным, то весьма важным стимулом для кановского оптимизма. Но в конце концов влияние буржуазной идеологии еще не обязательно свидетельствует о неполноценности тех или иных планов и прогнозов. Пусть они продиктованы какими-то корыстными классовыми соображениями и расчетами — разве не самое важное то, что в сценарии намечена перспектива прогресса, могут спросить читатели?

Нет, не самое важное, потому что (и это хочется подчеркнуть особо) оптимизм Кана не только заданный, но еще и казенный оптимизм. Впрочем, видимо, второе неизбежно сопутствует первому.

Формула оптимизма, как мы ее понимаем сегодня, отнюдь не прямолинейна и не сводится к утверждениям, что все к лучшему, горизонт чист, небо безоблачно и т. д. Она включает признание имеющихся трудностей, а также проблем, которые могут возникнуть впереди, призывает смело идти им навстречу, преодолевать их, отбросив малодушие и уповая на свою счастливую судьбу. И до той поры, пока вопрос ставится именно так, у нас нет особых претензий к оптимизму господина Кана. Суть в том, однако, что его казенный характер весьма умело задрапирован общечеловеческими этическими абстракциями. Чтобы убедиться в этом, обратимся к приводимой в книге таблице, излагающей четыре точки зрения на будущее (А — «убежденные неомальтузианцы», Б — «сдержанные пессимисты», В — «сдержанные оптимисты», Г — «сторонники научно-технического и экономического роста») [8]. Сравним их оценку долгосрочной перспективы — в вольном толковании Кана и его коллег, разумеется.

Комментируя свою таблицу, авторы заключают: подходящая реалистическая программа может быть составлена лишь на основе того мнения, что «развитие мира происходит в направлении от В к Г».

Прекрасно, кто, кроме реакционеров, станет возражать против прогресса! Нельзя не согласиться и с лозунгом: «Человек должен открыто и смело идти навстречу будущему, ибо он сам будет его создавать и наслаждаться им». Вопрос лишь в том, о каком человеке идет речь, в какие общественные условия он поставлен? Задавшись им, нетрудно обнаружить в таблице вопиющие передержки.

В самом деле, во всех оценках долгосрочной перспективы социальный фактор упоминается здесь только единожды в самом пессимистическом прогнозе и притом в условном наклонении: «Если в ближайшее время не будут осуществлены революционные преобразования, то в XXI веке произойдет величайшая катастрофа...» Читатель тем самым подталкивается к двум умозаключениям: во-первых, революция рекомендуется не кем иным, как неомальтузианцами, поскольку эти плохие или слепые люди не видят иного выхода из кризисной ситуации, в которой оказался мир; во-вторых, такой выход в действительности существует — он связан с развитием науки и техники, с теми, кто верит в прогресс и потому не нуждается ни в каких революциях. Вот ведь как ловко прогресс отрезан от революции, человек от общества и социализм от будущего. Фантастические умельцы, право, эти футурологи из Гудзоновского института!

В наше время, как мы уже отмечали, подавляющее большинство сколько-нибудь серьезных социологов и политологов, работающих на Западе, так или иначе признают необходимость социалистических решений применительно хотя бы к международной проблематике. Что касается Кана, то подобные порывы ему чужды. Спроецировав в будущее свою примитивно-консервативную и асоциальную точку зрения на общественный прогресс, он получает искомый результат — мир, в котором прекрасно живется и дышится процветающему буржуазному индивиду. Да и другим, в общем, не так уж плохо, ибо Дядя Сэм и его ближайшие друзья великодушны в той мере, в какой это не отражается на их интересах, а умеренная благотворительность запрограммирована самим Евангелием.

■

Вглядимся или, вернее, вчитаемся в псевдоутопический мир Германа Кана, нарисованный воображением скорее футуриста, нежели футуролога. Об одной его черте мы уже говорили. Это проамериканский мир. Все в нем — организация производства, техника и способ ее применения, власть и управление, образ жизни людей и формы их досуга, трудовые и бытовые отношения, культура, повторяем — все проникнуто американским духом.

Впрочем, не только американским, но в более широком смысле этого понятия буржуазным духом вообще. И в этом — вторая характерная черта будущего по Кану. Пожалуй, она наиболее ярко проявляется в рассуждениях о необходимости обеспечить через двести лет «достойное отношение к богатству».

Американцам, сообщает Кан, предстоит стать исключительно богатыми, а потому они должны научиться пользоваться этим богатством, «не становясь пресыщенными, разочарованными или сугубо антиматериалистичными. Они должны научиться серьезно относиться к повседневным делам (не позволяя себе чрезмерно увлечься ими), чтобы избежать скуки и компенсировать то обстоятельство, что для поддержания своих эмоций им больше нет необходимости вести тяжелую жизненную борьбу.

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ...

* См. таблицу на стр. 204.

А	Б	В	Г
Мрачна и безнадежна. Если в ближайшее время не будут осуществлены революционные преобразования, то в XXI в. произойдет величайшая катастрофа. Она явится следствием широкомасштабного ущерба окружающей среде и экологическому режиму многих районов. Миллиарды людей погибнут от голода, загрязнения среды или войн за истощающиеся ресурсы. Другие миллиарды будут подавлены жестокими авторитарными правительствами. Оправданно применение суровых и даже драконовских мер в настоящее время, чтобы ослабить масштабы и силу будущей катастрофы.	Катастрофа возможна. Нельзя предсказать, какая именно катастрофа является более вероятной. На этот счет существуют различные возможности, даже если мы будем осторожны и предусмотрительны сегодня. Если мы не примем в скором времени решительных мер, то на человечество могут обрушиться климатические изменения, разрушение экологической системы океана, чрезмерное загрязнение окружающей среды или другие беды. Человеческое общество не должно больше бросать столь безрассудный вызов окружающей среде и экологии. Мы обязаны также более осторожно управлять своими ресурсами и ростом населения, по крайней мере, после ближайшего бедствия, если не до него.	Возможен успех. XXI в., по-видимому, ознаменуется появлением во всем мире постиндустриальной экономики, при которой большинство проблем бедности будет разрешено или смягчено. Основные беды будут порождаться стремлением к богатству и роскоши. Исторический переход к жизни в условиях материального изобилия будет отмечен некоторыми страданиями и бедствиями, однако для нынешнего мира нищеты и бедности важнее всего конечная перспектива.	Высокий оптимизм и уверенность. Мы не можем знать конечных целей человечества, но они включают цивилизацию в масштабах Солнечной системы и достижение уровня жизни на Земле, соответствующего утопическим представлениям. Возможности современного технического и экономического прогресса только начинают раскрываться. Опасности существуют, но они были и будут всегда. Малодушию не должно быть места. Человек должен открыто и смело идти навстречу будущему, ибо он сам будет его создавать и наслаждаться им.

Они должны научиться быть джентльменами и леди, которые проводят свое время, занимаясь с успехом трудными — если и не полезными — делами».

Возможно, такая жизнь покажется невыносимо мелкой, замечают авторы, но она есть «результат того, что уже не нужно вести борьбу против варваров, нацистов, голода, болезней или ради завоеваний». А в качестве компенсатора отсутствующих опасностей американцам XXII века рекомендуется по примеру древних афинян... заниматься гимнастикой. Впрочем, сетуют авторы, «наши соотечественники больше походят на спартанцев и римлян, которые делали все, чтобы быть готовыми к предстоящей войне, но становились ленивыми во времена мира и процветания». А посему помимо гимнастики дается совет «...научиться уважать ценности семейной жизни и общения с друзьями. Эпикурейские (как в греческом, так и в современном смысле этого слова) идеалы обретут ценность в глазах многих, если американцы станут проводить свое свободное время дома, не пристреливая каждого попавшегося на глаза от скуки или избытка фамильярности»[9].

От этих строк так и отдает самодовольством сытости. Читая их, невольно вспоминаешь характеристику, данную К. Марксом Иеремии Бентаму: «архифилистер», «трезво-педантичный, тоскливо-болтливый оракул пошлого буржуазного рассудка XIX века»[10]. Ирония судьбы состоит в том, что сам Кан, которого можно считать «оракулом буржуазного рассудка» XX века, хочет быть в хороших отношениях с основоположником марксизма и даже пытается апеллировать к его авторитету. Приводя в своей книге большую выдержку из «Капитала», он явно рассчитывает внушить читателю, насколько выиграет мир от тотальной капитализации, но не замечает убийственного сарказма, который Маркс вкладывает в описание методов и последствий этого процесса: «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее товаров — вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства и заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию»[11].

Здесь мы уже переходим к следующей особенности кановской утопии, на которой следует остановиться отдельно. Речь идет о том, что американизированный буржуазный рай Гудзоновского института сохраняет едва ли не все известные виды *социального неравенства*. Это, если так можно выразиться, крайне несправедливый рай.

Например, сообщая, что в настоящее время размер валового национального продукта на душу населения варьируется от 100 до 10 тысяч долларов, авторы заявляют: для нас не явится неожиданностью, если в конце XXI века все еще будет существовать довольно большой разрыв в этих показателях, возможно, от основного минимума в несколько тысяч долларов до максимума в 10—20 раз большего. Предсказывается, что разница в абсолютном объеме валового продукта на душу населения (в отличие от относительного) в ближайшие сто лет возрастет, но это не должно вызывать опасений ни в моральном, ни в политическом плане, поскольку-де мало кто из рабочих и крестьян, интеллигентов и бизнесменов в развивающихся странах придает большое значение разрывам в доходах. Главная цель большинства людей, декларирует Кан, улучшить собственное благосостояние, а не сравнивать свое положение с положением других.

Допустим, что это так и для людей, живущих сегодня впроголодь на слаборазвитой периферии мира, гораздо важнее гарантированный кусок хлеба, чем преодоление неравенства. Разве отсюда следует, что такой же будет жизненная философия их потомков, когда и низкий порог доходов будет обеспечивать достаточно высокий уровень благосостояния? Логичней предположить обратное.

Посмотрим, однако, какой валовой национальный продукт обещает Кан отдельным странам. Речь идет при этом о перспективе, «свободной от сюрпризов...», то есть основанной на экстраполяции нынешних тенденций роста, без учета возможных крупных социальных и технических изменений.

Разрабатывая свой прогноз, авторы разделили страны мира на четыре экономические группы, в зависимости от уровня их нынешнего развития и доходов. В первую, «развитую», входят промышленные государства Северной Америки, Западной и Восточной Европы, Япония, Израиль, некоторые страны Британского содружества и Персидского залива. Вторая, именуемая «коммунистической Азией», включает Китай, Северную Корею и четыре страны бывшего Индокитая. Третью группу составляют страны, которые авторы называют добывающими, а четвертую — недобывающие, или наиболее отсталые. Между этими четырьмя группами авторы распределяют валовой продукт, который, по их предположению, достигнет через 200 лет приблизительно трехсот триллионов долларов или, при численности населения Земли в 15 млрд. человек, составит в среднем 20 000 долларов на каждого.

Какой же отсюда делается главный вывод? Оказывается, соотношение в доходах десяти процентов самых богатых и двадцати процентов самых бедных групп мирового населения, равное сейчас 100:1, могло бы сократиться через двести лет приблизительно до 5:1, с поправочным коэффициен-

[9] Kahn H. ... Opus cit., p. 196.
[10] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 623.
[11] Там же, т. 4, стр. 428.

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ...

том 2 или 3 в ту и другую сторону. Если, однако, замечают авторы, наш прогноз неверен, то соотношение, близкое к 100 : 1, может сохраниться. Причем им даже не приходит на ум предположить, что прогноз может оказаться неверным в другом направлении. Ничего себе оптимизм!

Заслуживают далее внимания факторы, которые, по мнению гудзоновских футурологов, могут задержать или даже остановить прогресс развивающихся стран. «Вот некоторые из них: интенсивное разрушение или подрыв местных социальных структур, морали, традиционных верований и характера; порождение чрезмерных надежд; чрезмерная эксплуатация местного населения иностранцами; политические и социальные беспорядки; внутренняя напряженность, вызванная самим присутствием иностранцев; неуместная благотворительность; оскорбительные манеры или взгляды» [12].

Нетрудно заметить, что в глазах Кана преодолению отсталости развивающихся стран способно помешать все, что так или иначе связано с социальными изменениями, с революцией. По существу, приведенное высказывание напоминает ханжескую проповедь, требующую от бедняков покорно дожидаться, пока господа позаботятся об их участи, и грозящую неприятностями, коль скоро они вздумают взяться за это дело собственноручно. Что касается того, в какой мере способны задержать развитие «оскорбительные манеры», то в истории мы не находим достаточного материала для ответа на этот вопрос. Но поистине поразительно, что прогнозисты с берегов Гудзона фактически не называют своими именами главные причины, способные помешать и уже мешающие преодолению отсталости развивающихся стран: империализм, колониализм и неоколониализм, грабительскую политику международных монополий по отношению к молодым освободившимся государствам.

У читателя может возникнуть сомнение: неужели высокомерие нашего оракула достигло таких размеров, что он всерьез предполагает, что будущее развивающихся стран зависит целиком от благотворительности (разумеется, «уместной», то есть не превышающей определенного уровня) экономически развитых стран Запада? Да, именно так. Нисколько не принижая роли природных условий, а также правительств и народов Ближнего Востока, говорится в книге, «...мы все же считаем необходимым отметить, что ближневосточные нефтяные богатства приобрели за последние пятьдесят лет свою нынешнюю ценность в первую очередь благодаря развитым странам. Конечно, развитой мир не создал их из соображений одного лишь альтруизма, но безусловно то, что ему требуется очень много сырья и других материалов и что он располагает капиталом, техникой и организациями, нужными для разработки природных ресурсов. Поэтому, если какая-либо страна земного шара имеет хоть что-нибудь пригодное для использования (от малоквалифицированной рабочей силы до любого вида полезных ископаемых или туристских объектов), то такие ресурсы могут быть выявлены, а затем пущены в дело ко взаимной выгоде данной страны и иностранных государств» [13].

Иными словами, делается попытка закрепить на длительную перспективу сложившееся неравноправие в системе международного разделения труда. Одни страны в силу того, что они располагают капиталом и техникой, будут использовать природные богатства и даровые рабочие руки других, а также посылать туда своих туристов. Те же должны воспринимать это не как вынужденную и навязанную им роль «придатков» экономически развитых стран, а чуть ли не как благодеяние со стороны последних.

Справедливости ради надо сказать, что американских футурологов нельзя обвинить в данном случае в увертках. Они не то что со стыдливостью, но даже с известным удовлетворением рисуют «радужные» перспективы, открывающиеся перед развивающимися странами в связи с потребностью развитых капиталистических стран в рабочей силе, которая должна особенно обостриться в предстоящие два десятилетия. Ведь потребность эта касается главным образом неквалифицированных рабочих, находящихся на самой низкой ступени социально-экономической лестницы, а жители развитых стран больше не хотят выполнять черную работу, поскольку имеют много лучших возможностей.

Далее следуют рекомендации странам «третьего мира», как им использовать свой шанс с наибольшей выгодой. Так, чтобы заработанные рабочими-эмигрантами средства возвращались на родину и могли быть здесь вложены, дается совет подумать о задержке выплаты части заработной платы и перечислении ее непосредственно соответствующим правительствам. Прочитав это место, мы только было подумали о рабском труде, как наткнулись на следующее высказывание самого Кана: «Многие могут назвать это принудительным трудом или эксплуатацией, но только не сами рабочие, которые смогли бы зарабатывать, может быть, в десять раз больше, чем в собственных странах (где многие были бы благодарны вообще за какую-нибудь работу)...» [14]

Все верно, ни к чему не придерешься. Но лишь с точки зрения буржуазного рассудка, который рассматривает существующие порядки как вечные, а главное — нормальные. Авторам и не приходит в голову подойти к вопросу с другой стороны — поразмыслить, существуют ли иные, более эффективные, справедливые, гуманные, наконец, способы борьбы за постепенное сокращение и конечное преодоление безработицы в отсталых странах (целенаправленная политика развития, организация новых рабочих мест, действительно равноправное разделение труда, эквивалентный обмен и т. д.). Ничего подобного. Благо-

[12] Kahn H. ... Opus cit., p. 35.

[13] Ibid., p. 36, 37.

[14] Ibid., p. 39.

детельствовать (в большой мере — в собственных интересах) — да, но прибегать к социалистическим методам — упаси бог!

■

Пожалуй, особенно поразительный пример снобизма — небольшой раздел, озаглавленный: «Импорт «грязных» и «лакейских» видов деятельности». Он начинается с полемического высказывания по адресу тех, кто считает, что перекладывать грязные и постылые дела на развивающиеся страны аморально, что это особо порочный вид эксплуатации «третьего мира». В отличие от подобных «чистоплюев» люди, занимающиеся практической деятельностью, пишут авторы (имея в виду, натурально, самих себя), понимают, что бедные и необученные всегда занимались более черной и менее приятной работой. Так обстоит дело и внутри отдельных стран, и во взаимоотношениях между ними. «Фактически одна из возможностей для бедного или необученного состоит в том, чтобы взять на себя работу, которую богатый и высокообразованный больше не хочет делать сам или не может больше найти для этого местных исполнителей»[15].

Наши сторонники «практической деятельности» распространяют свои рекомендации и на экологию, намекая, что развивающиеся страны должны быть готовы предложить свои услуги для размещения производств, которые существенно загрязняют окружающую среду и от которых богатые страны будут постепенно избавляться. Правда, эта мысль в книге завуалирована, но от этого она не становится менее циничной [16].

В этой связи стоит упомянуть о так называемой модели «1984 А», описанной в книге «Кризис империализма», выпущенной группой арабских экономистов. Согласно этой модели, формируется новое международное разделение труда. Центр, состоящий из высокоразвитых стран, оставляет у себя новую индустрию, оттесняя на периферию «классическую загрязняющую промышленность» — сталелитейную, химическую, легкую. Новая индустрия, благодаря высокому уровню автоматизации, почти не требует рабочей силы. Граждане центра занимаются паразитизмом, а население периферии поставляет им все для этого необходимое. «Иначе говоря, массы периферии, пролетаризованной и эксплуатируемой центральным капиталом благодаря контролю центра над техникой, будут производить избыточные продукты для потребления в центре»[17]. Не ясно ли, что подобная картина является прямой реакцией на моделирование будущего по методу Кана и других его единомышленников?

Возникает, однако, один весьма серьезный вопрос: уместно ли ссылаться на нравственность, коль скоро речь идет о политической и экономической проблеме, при рассмотрении которой необходимо принимать во внимание прежде всего реальные факты? Ведь если не существует иного способа для преодоления отсталости и «разрыва», то единственное, чего стоит требовать от футуролога,— это отказаться от высокомерного тона и сопровождать свои неумолимые выводы более подходящими к данному случаю человеческими чувствами.

В действительности все дело как раз в том, что аморальные идеи одновременно оказываются и самыми непрактичными. Разумеется, на протяжении какого-то отрезка времени неизбежно сохранение и возможно даже углубление того неэквивалентного и несправедливого обмена между развитыми капиталистическими государствами и народами развивающихся стран, при котором последним приходится расплачиваться за технику и технологию не только своими национальными богатствами, но и частью самих себя. Однако в этом и есть одна из главных причин, п о б у ж д а ю щ и х и з м е н и т ь с у щ е с т в у ю щ е е п о л о ж е н и е, и всякий добросовестный исследователь будущего обязан учесть этот потенциальный источник развития.

Коротко говоря, неоколониализм, воспеваемый Каном как средство постепенного преодоления отсталости, на деле ведет к своему естественному результату: обострению антагонизма, накоплению ненависти. Подлинное же решение проблем слаборазвитости и «разрыва» может быть найдено лишь на путях социализма, при условии максимально уважительного отношения к интересам всех народов.

Ну и наконец, чтобы закончить с этим вопросом, добавим немаловажную деталь: вопреки собственным рассуждениям о неисчислимых выгодах, которые извлекут слаборазвитые страны, взяв на себя «грязные и лакейские виды деятельности», авторы сообщают, что «большой разрыв в доходах между государствами может сохраняться веками даже при наличии тенденции к его сокращению»[18]. Веками, то есть вечно. Одно это пророчество обесценивает все прочие, изложенные в сценарии «Следующие двести лет». Оно лишний раз свидетельствует о творческом бесплодии «буржуазного рассудка», не способного постигнуть характер общественного прогресса, возможности революционного обновления мира.

■

Буржуазность Кана и его сотрудников, может быть, особенно наглядно «выпирает» в тех разделах книги, где делаются попытки очертить контуры культуры и образ жизни людей спустя два века. Их вовсе не интересуют при этом такие первозначные

[15] Ibid., Opus cit., p. 43.

[16] Кстати, пока Кан прогнозировал, американские концерны времени не теряли: по сообщениям прессы, они уже «пристроили» около миллиона тонн радиоактивных отходов, которые должны быть захоронены в некоторых африканских странах.

[17] La crise de l'imperialisme. Par S. Amin, A. Faire, M. Hussein, G. Massiah, P., 1975, p. 27.

[18] Ibid., p. 208.

проблемы, как, скажем, преодоление отчуждения, связанного с разделением труда, или существенных различий между умственной и физической деятельностью. Зато всерьез беспокоит, что «если значительная часть населения будет работать лишь три дня в неделю, то ужасная скука, поразившая аристократию XVIII и XIX века, могла бы возродиться в еще большем масштабе»[19].

Поверить им, так едва ли не главную часть времяпрепровождения наших потомков займут изысканная кухня, аристократический, соответствующий правилам хорошего тона стиль жизни, эпикурейские ценности, внутреннее убранство и использование самостоятельно изготовленных предметов домашнего обихода[20]. Вполне логичным следствием подобного уклада является предположение, что «некоторые люди, в порядке исключения, захотят, возможно, совершать подвиги в космосе или на дне моря, однако большинство будет удовлетворено тем, что жизнь стала более богатой и безопасной, а упомянутыми подвигами предпочтет восхищаться со стороны»[21].

Прорицатели из Гудзоновского института понимают, конечно, что рисуемая ими картина будущего не слишком привлекательна, особенно для молодежи. Поэтому они предупреждают, что наряду с теми, кто будет наслаждаться благами технизированного рая, будет много и неудовлетворенных, тех, кому такое общество покажется недостаточно интересным и вдохновляющим. Сюда относят «тщеславных и честолюбивых людей, стремящихся к успеху». Впрочем, искателям острых ощущений, как уже говорилось, предлагается выход — отправиться в космос[22].

Не может быть сомнений относительно того, чем вдохновлена эта убогая и унылая, по собственному признанию ее авторов, картина «потребительского рая». Она представляет собой не что иное, как перенесенное в будущее современное буржуазное общество, с той лишь разницей, что если сегодня так называемый гедонистский образ жизни является достоянием лишь правящей монополистической верхушки, то в перспективе приобщение к нему сулят более широким слоям населения.

Более широким, но отнюдь не всем. Было бы неверно предполагать, что в прогнозе Гудзоновского института намечается хотя бы частичная перестройка современной социальной структуры капитализма. Правда, авторы старательно уходят от четких ответов на вопрос, как будет обстоять дело с классами и социальными слоями. Но из некоторых косвенных суждений вытекает с достаточной ясностью: точно так же, как планируется сохранение неравенства между различными нациями, предполагается сохранение и классового неравенства внутри буржуазного общества.

Из раздела, посвященного проблемам морали (?), можно узнать, что умственный труд в XXI веке превратится в массовую профессию, «его работники станут объектом более острой критики, поскольку их средний уровень неизбежно снизится, а контакты с представителями других социальных групп ослабнут. Превратившись в обширную прослойку, они приобретут большую уверенность в себе, станут активней защищать свои интересы и открыто претендовать на руководство обществом. По мере того как общественный статус этой группы будет ухудшаться, а ее численность возрастать, различные ее элементы будут организовываться иногда в те или иные правительственные органы либо другие общественные институты. Таким образом, возникнет новый серьезный социальный конфликт»[23].

Рассуждения, как видим, до предела путаные. Но если все же сделать усилие и попытаться усвоить заложенную в них мысль, то она сводится примерно к тому, что, претендуя на власть, «белые воротнички» возбудят отрицательные эмоции у других членов общества. Возникает элементарный вопрос: кто же эти другие члены общества, если подавляющее большинство будут составлять люди умственного труда? Очевидно, не ничтожная к тому времени кучка работников физического труда, которая будет настолько слабой, что лишится всякой возможности конфликтовать с кем-либо. Остается предположить, что недовольными могут быть те, кто реально управляет сегодня и будет пытаться сохранить эту привилегию на будущее, в том случае, разумеется, если сохранится сам. Иначе говоря, речь может идти только о классе собственников.

Бесполезный труд пытаться найти в книге Кана хоть какое-то разъяснение того, что же случится с собственностью на средства производства — создается впечатление, что о ней забыли. Но, разумеется, дело обстоит не так просто. Сознательно уходя от ответа на этот центральный вопрос, от которого зависит развитие всего общества в будущем, авторы всем духом своего повествования представляют сохранение капиталистической системы хозяйства как бы само собой разумеющимся.

Впрочем, Кан и его сотрудники в этих вопросах не блещут оригинальностью. Игнорируя собственность на средства производства и классовую борьбу как основной источник и стимул социальных изменений, они не очень озаботились поиском правдоподобной модели, которая могла бы объяснить причины и указать направления общественного прогресса, а, не мудрствуя лукаво, взяли за образец пресловутую концепцию «постиндустриального общества» Д. Белла. Вдоль оси «индустриализма» выстраивается ими и разбивка будущего по десятилетиям. Вот таблица, которая представляет собой, можно сказать, квинтэссенцию всего прогноза:

[19] Kahn H. ... Opus cit., p. 200.
[20] Ibid. p. 23.
[21] Ibid., p. 197.
[22] Ibid, p. 24.
[23] Ibid., p. 199.

«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД»
200-ЛЕТНЯЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(в долларах 1975 г.)

Год	1776	1976	2176
Население	750 млн. чел.	4.1 млрд. чел.	15 млрд. чел.
Валовой мировой продукт (ВМП)	150 млрд.	5.5 трлн.	300 трлн.
ВМП на душу населения	200	1300	20 тыс.
Подготовка	до 1776 г.	Общества доиндустриального периода.	
	1776—1925	150 лет начальной индустриализации Европы, Японии и Северной Америки.	
	1926—1955	Три десятилетия первых шагов ко всемирной индустриализации и возникновению обществ массового потребления в Европе, Японии и Северной Америке.	
Решение главной задачи	1956—1995	Четыре десятилетия всемирного и быстрого роста экономики и населения; начало возникновения супериндустриальной экономики; технологические кризисы и многие другие исторические повороты, например, кульминационные пункты в росте мирового населения и, возможно, валового продукта. (Первые шаги в космосе.)	
	1996—2025	В течение еще трех десятилетий — продолжение начального этапа возникновения постиндустриальных экономик в европейских и некоммунистических странах, тяготеющих к Китаю, возможно и в СССР. Полное развитие супериндустриальных обществ и культур в передовых странах. (Первые серьезные попытки колонизации космоса.)	
	2026—2175	150-летний период возникновения постиндустриальных экономик почти всюду на Земле. (Создание самостоятельного динамического общества в Солнечной системе.)	
Возможная промежуточная цель человечества	После 2176	Полное развитие постиндустриальных институтов и культур почти всюду на Земле. (Человек обращается к созданию таких обществ повсюду в Солнечной системе, а также, возможно, и к освоению звезд.)[25]	

Сразу же бросается в глаза великолепное и неповторимое сочетание «великий переход в долларах 1975 года». Пожалуй, невозможно более лаконично выразить всю суть футуровидческих упражнений Германа Кана и его команды. И остается только восхищаться, с каким апломбом высчитываются вероятные сроки создания «постиндустриальных экономик» в различных странах, причем неизвестно, из каких соображений Советский Союз загнан чуть ли не на задворки общественного прогресса.

Впрочем, видно, нам надо не обижаться, а быть довольными, что Кан и его сотоварищи снисходительно разрешили-таки некапиталистическим странам присоединиться к группе так называемых передовых наций. Гораздо хуже обстоит в этом смысле дело с политикой. Стремясь узнать, какие формы власти утвердятся в 2176 году, мы находим следующие рассуждения: «Многие страны станут относительно или хотя бы номинально демократическими. Вместе с тем некоторые демократии приобретут, возможно, более авторитарный, чем подлинно парламентарный характер. Дело не в том, какой государственный строй лучше — демократический или авторитарный. Более важен тот факт, что богатое, технически развитое общество почти обязательно должно быть (по крайней мере вначале) в какой-то степени космополитичным, светским, пацифистским, релятивистским и, возможно, гедонистским»[26].

Пытаясь додуматься до того, каким может быть «авторитарный гедонизм», можно, к примеру, представить себе узников концентрационного лагеря, наслаждающихся хорошим питанием и ласковой заботой со стороны тюремщиков. Не приходится говорить, на чью долю планируется подобная перспектива. Среди небольшой группы стран, которые, по мнению Кана, заслуживают быть отнесенными к числу демократических,— государства «района атлантической протестантской культуры», а также Швейцария. В других районах «демократия все еще остается сравнительно непрочной, хотя она уже укрепилась в Израиле, во Франции, в Западной Германии и Японии, а в меньшей степени — в Италии, Колумбии, Венесуэле, Сингапуре, Гонконге, Коста-Рике, Малайзии и, возможно,— в Мексике и на Филиппинах». И, наконец, во всех прочих примерно 125 странах мира «фактически нет настоящей демократии»[27].

[24] Ibid., p. 6.
[25] Ibid.
[26] Ibid., p. 205.
[27] Ibid., p. 206.

Стоит ли после этого удивляться нелепым пророчествам, которыми изобилует «200 лет спустя», если исходной базой для футуровидцев служили подобные оценки? И вот что еще следует заметить. Далеко не случайно, что в довольно объемистой книге вопросам политики, политических систем и режимов посвящено буквально несколько абзацев. Это объясняется не только понятным желанием обойти острые проблемы настоящего и будущего в «юбилейном прогнозе». И не только профессиональной ориентацией Кана и его коллег. Решающее значение имеет здесь философия «техноидиллизма», которой они вдохновлялись, вера во всемогущество экономического роста, возможность с его помощью «уладить» любые социальные и политические проблемы, в том числе — лихо перепрыгнуть через пропасть, разделяющую в мире капитала классы и нации.

■

«Вульгарный экономизм» — так можно охарактеризовать концепцию прогресса, согласно которой содержание каждого очередного этапа истории определяется почти исключительно формулой экономической деятельности и выводимым непосредственно из нее, минуя общественные отношения, типом культуры. Повторяя с незначительными коррективами схему английского экономиста К. Кларка, авторы следующим образом описывают основные этапы исторического развития человечества.

Первичная экономическая деятельность является добывающей. Это главным образом сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, лесоводство и рыболовство. Соответствующие ей общество и культура могут быть представлены как организованные для «действий совместно с природой и против нее» и для защиты от «варварских вторжений и налетов».

Вторичная экономическая деятельность включает строительство и производство. Ей соответствуют общество и культура преимущественно урбанистического типа, организованные для «действий совместно с материалами и против них, а также против природы». Другие важные виды вторичной деятельности — организация наступательных и оборонительных войн.

Возникающая постиндустриальная экономика будет вначале иметь черты обслуживающей. Здесь основную роль играет так называемая третичная экономическая деятельность, а именно: обеспечение первичной и вторичной деятельности — например, транспорт, страхование, финансы, управление, просвещение, подготовка кадров. Природа становится сравнительно контролируемой. Утверждается организационный и профессиональный плюрализм в распределении власти и престижа, главной ценностью становится знание, а не опыт. Войны больше не выгодны, к широко организованному насилию прибегают в основном лишь в оборонительных целях.

Наконец, в XXI веке надо ожидать перехода к иному виду обслуживающей экономики — четвертичной, или действительно постиндустриальной. В ее рамках первичная, вторичная и третичная деятельность составят лишь небольшую часть человеческой активности. Все больше людей будет производить предметы для самих себя, цели станут важнее средств. Фактически, замечает Кан, «будет существовать тенденция к выбору таких средств, которые являются также и целями, одновременно во многих случаях различие между целями и средствами будет постепенно исчезать. Подобное положение часто обнаруживается и в первичном, или доиндустриальном, обществе; по существу, между нашими представлениями о возможном постиндустриальном обществе и многими доиндустриальными обществами имеется немало сходства. Четвертичное общество может быть охарактеризовано как направляющее усилия людей на «действия совместно и против самих себя, совместно и против других людей, совместно и против сообществ людей» [28].

Как читатель видит, здесь эклектически перемешаны самые различные воззрения и даже их обрывки. Чего только нет в образовавшейся «кучe» — от некоторых компонентов «четвертичной цивилизации» Ж. Фурастье до туманных намеков на гегелевский закон отрицания отрицания, от разумных соображений о необходимости нового подхода к выбору средств достижения целей до высокопарных и теоретически неграмотных допущений об исчезновении вообще каких-либо различий между средствами и целями.

Словом, чтобы расчистить эти авгиевы конюшни, нужен Геракл. Да и не так уж необходимо браться за эту задачу. Удовольствуемся констатацией того, что если сильная сторона Гудзоновского института — манипулирование цифрами, то, безусловно, слабая его сторона — теоретическое мышление. Малообоснованные и путаные пророчества Кана и «кановцев» обнаруживают лишь убогость футурологической мысли [29].

Этот вывод, пожалуй, можно сделать главным и для общей оценки рассмотренного нами прогноза. Подход к историческому процессу, на котором он основывается, и рисуемая им перспектива отличаются отсутствием подлинного воображения. Мироустройство конца XXII века, в полном смысле этого слова исчисленное в долларах, при всех заманчивых посулах изобилия, веселья и радости — это крайне скучный и бездуховный общественный порядок, который не может стать желанной целью ни для какого серьезного политического течения даже правого толка. Тем более не могут согласиться с ним революционное и демократическое движения, ибо в американизированном буржуазном раю остаются практически в нетронутом виде все атрибуты прошлого — классовое неравенство, на-

[28] Kahn H. ...Opus cit., p. 22.

[29] Австрийский философ Г. Свобода заметил, что жрецы Дельфийского храма побледнели бы от зависти, прочитав произведения Кана. По словам Свободы, хотя Кан и считается трезво мыслящим, серьезным футурологом, выводы его в некоторых случаях не более достоверны, чем предсказания пифий. (Swoboda H. Propheten und Prognosen. München, 1979 p. 50).

циональная рознь, неэквивалентный обмен, авторитарные системы правления и т. д.

В этом смысле утопия Кана несравненно бледнее самой «Утопии» Томаса Мора или «Города Солнца» Томазо Кампанеллы, сумевших из глубины мрачного средневековья провидеть будущее гораздо более светлым и жизнеутверждающим взглядом.

А ведь Кан — наш современник. В его распоряжении были все знания, накопленные человечеством за четыре с половиной века, прошедших с той поры, как первый утопист сложил голову на плахе. И среди этих знаний — сокровища марксистско-ленинской теории. Смешно, конечно, требовать от футурологов, чтобы они руководствовались учением научного коммунизма, в то время как их сверхзадача как раз и состоит в поиске жизнеспособной альтернативы этому учению. Но они могли бы, по крайней мере, для успокоения профессорской совести использовать все то, что благодаря марксизму вошло в прочный обиход всякого социального анализа, в том числе в работы наиболее серьезных представителей западной политологии.

Увы, Кан и его друзья этого не сделали. В результате вместо попыток хоть как-то ответить на такие коренные вопросы, как тенденции и перспективы развития классовой борьбы, отношений собственности, производства и обмена, функционального и международного разделения труда, будущее механизмов власти и управления, возможности построения нового миропорядка — экономического и политического, вместо всего этого мы слышим в буквальном смысле жалкий лепет относительно того, что людям XXII века в условиях изобильной Америки придется заниматься гимнастикой подобно древним афинянам и «научиться быть джентльменами и леди, которые проводят свое время, занимаясь с успехом трудными — если и не полезными — делами»[30].

Вообще, угадывать детали быта, вместо того чтобы концентрировать внимание на узловых проблемах социальной жизни, свойственно многим западным футурологам. К примеру, в монографии, изданной в 1977 году в Лондоне под названием «Европа в 2000 году», можно найти утверждение, что общество будущего станет более серьезным, веселье и радость сохранятся, но будет меньше фривольности и т. д.[31]. А ведь милые догадки относительно того, как будут развлекаться наши потомки, заслуживают снисхождения, когда их встречаешь, скажем, у бытописателя Л. Мерсье[32], но отнюдь не у наших современников, причисляемых к сонму людей науки и прибегающих к содействию ЭВМ, чтобы вычислить параметры завтрашнего дня. «Сочинять будущее» — это функция научной фантастики. Функция же науки — исследовать его.

Почему же, спрашивается, футурологов так и тянет на всевозможные выдумки? Ну, разумеется, прежде всего потому, что это несравненно проще. При известной сноровке можно выдавать футуропророчества в любом количестве, какое способен поглотить рынок. А спрос на них нынче почти так же велик, как на предсказания астрологов. Люди, живущие в условиях гонки ракетно-атомных вооружений, безработицы и галопирующей инфляции, чувствуют себя неуютно, им до отчаяния хочется верить, что апокалипсиса удастся избежать, а день грядущий окажется милосердней или, по крайней мере, ненамного хуже дня сущего. И, в полном соответствии с законами капиталистического производства, футурологи используют конъюнктуру, поставляя массовому потребителю «оптимистические пилюли будущего», изготовленные по принципу: «что вам будет угодно!».

Вот в чем квинтэссенция того направления футурологии и прогностики, которое олицетворяет Герман Кан и которое может быть с полным основанием названо коммерческим. Причем коммерция в данном случае не простая, а в высшей степени идеологизированная, сочетаемая с вполне определенным политическим расчетом. Предлагая свои прогнозы, футурологи этого направления руководствуются не только спросом на пророчества, но и социальным заказом. Так же, как служители религиозных культов, современные жрецы «культа Будущего», спекулируя на реальных нуждах и потребностях людей, в действительности уводят их от борьбы за обновление мира.

Американский социолог Э. Боулдинг именует это направление футурологии технократическим (в отличие от гуманистического) и причисляет к нему помимо Кана таких теоретиков, как Б. де Жувенель во Франции, Д. Гарбор в Англии, Ф. Бааде в ФРГ, Д. Белл, Э. Винер и другие в США. По его свидетельству, они помогают правящим кругам разрабатывать социально-экономическую стратегию удержания власти и четыре пятых их работ финансируется правительствами, военными учреждениями, крупными корпорациями. Так что футурологическая экспертиза становится монополией господствующего слоя в национальном масштабе и богатых капиталистических наций — в международном[33].

С этими оценками нельзя не согласиться. И как раз в силу своей классово-буржуазной ангажированности прогностики с Гудзона уступают не только утопистам XVI века, но и тем своим коллегам, которые стремятся более объективно оценить реалии эпохи, пусть не в полной мере, но при-

[30] Ibid., p. 196.

[31] Europe 2000 L., 1977, p. 272.

[32] К тому же Мерсье в меру своего разумения пытался угадать, как будут решаться во Франции XXV века и более существенные вопросы — например, управление: «При всех успехах, коих достигли у нас наука и просвещение, разумеется, было бы просто позором для рода человеческого, если бы мы, сумевшие измерить расстояние меж землей и солнцем и определить вес планет, оказались бы неспособными обнаружить простые и действенные законы, с помощью которых надобно управлять разумными существами!» (Л.-С. Мерсье. Год две тысячи четыреста сороковой. Л., 1977, стр. 136).

[33] Boulding E. Futurology and the imaging capacity of the West. «The Teilhard Review», L., 1972, vol. 7, Febr., № 1.

нимают во внимание социальный фактор, не чураются кое в чем прислушаться и к голосу марксистов.

Речь идет в первую очередь о футурологах гуманистического направления[34], к которым можно отнести таких известных западных ученых, как Ф. Поллак, Р. Юнк, О. Тоффлер, и ряд других. Речь идет также о прогностиках, сгруппировавшихся вокруг Римского клуба. Причем не только о тех, кто, по нашему мнению, продвинулся дальше других в постижении тайны грядущего — Д. Месаровиче, Я. Тинбергене, Э. Ласло, А. Печчеи и их товарищах, но также о Д. Медоузе — авторе того самого доклада «Пределы роста», который стал «возмутителем спокойствия» в западных научных кругах и породил дискуссию, не утихающую до сих пор.

Такое утверждение может показаться парадоксальным: ведь Г. Кан опровергает концепцию неизбежного якобы апокалипсиса, именно поэтому «200 лет спустя» встретили в целом благожелательный отклик на страницах некоторых прогрессивных изданий. Все так. Но я могу объяснить это лишь тем, что псевдооптимизм приняли за чистую монету, громко пропетый с берегов Гудзона гимн капиталистической предприимчивости был по ошибке принят за гимн прогрессу. Что же касается Д. Медоуза, то, хотя он предложил неверное решение, безусловной его заслугой является сама постановка проблемы, причем в столь острой форме, что к ней было привлечено внимание широкой общественности[35].

Есть, правда, одно обстоятельство, которое в какой-то мере «извиняет» Кана и его сотрудников,— они не только не претендуют на достоверность своего сценария, но сплошь и рядом оговариваются, что могли бы «составить и противоположный по смыслу». Пресловутое «что вам будет угодно!». Уместно ли предъявлять какие-либо претензии к людям, которые играют в поддавки?

Уместно, и прежде всего потому, что намеки на противоположный сценарий — это блеф. Не станут авторы «200 лет спустя» вместо рая рисовать ад, ибо они буржуазные технодиллетанты. Вдобавок, как уже подчеркивалось, сценарий их представляет своего рода оду к юбилею США, и потому описываемое ими благоденствие в 2176 году — это благоденствие главным образом для американцев и поамерикански. Какой же тут может быть иной сценарий? Все жестко запрограммировано.

Сам Кан, как и многие другие футурологи, является сторонником так называемого «самооправдывающегося пророчества», суть которого состоит в том, что прогноз, способный воздействовать на умы, тем самым создает реальные предпосылки для его осуществления. Эта концепция, по справедливому замечанию Э. Араб-оглы, выгодна для футурологов, поскольку «позволяет им занять, казалось бы, «неуязвимые позиции», то есть объяснить свои неоправдавшиеся «пророчества» тем, что люди «поверили не тому, кому следовало», и, стало быть, не вправе винить кого-либо, кроме самих себя»[36].

Заявив, что перспективы капиталистического Запада всецело зависят от того, кому поверит общественное мнение, оптимистам или пессимистам, оракул футурологии обрушился на прогноз Медоуза: «Это не просто пессимистический взгляд на вещи, а самый верный путь быть ввергнутыми в бедствия, породив самооправдывающееся пророчество»[37]. Но можно и спастись. Для этого надо всего лишь поверить радужным расчетам Гудзоновского института.

Что ж, будучи оптимистами по духу своего мировоззрения, мы не разделяем оптимизма Г. Кана, так же как, естественно, и пессимизма Д. Медоуза. Пророчества этих футурологов, за исключением некоторых рациональных догадок и предположений, не имеют шансов на реализацию, ибо не учитывают объективных тенденций современного общественного развития, не считаются с революционным содержанием нашей эпохи.

---

[34] В упоминавшейся статье Боулдинг выделяет наряду с технократическим и гуманистическим еще одно направление — «футурологию участия». Сюда он относит И. Галтунга в Европе, А. Васкова в США и их единомышленников, которые объявляют себя сторонниками «творческого беспорядка» и рассчитывают построить «острова будущего» снизу, в результате стихийного порыва масс.

[35] Стоит напомнить, что в докладе Д. Медоуза подчеркивается необходимость утверждения прогрессивных общественных порядков как условия «глобального равновесия», предотвращения экокатастрофы: «Общество, содействующее иововведениям и техническому развитию и основанное на равенстве и справедливости, является иамного более подходящим для перехода в состояние равновесия, чем находящееся в состоянии роста, с которым мы связаны сегодня». (Meadows D. H. ... The Limits to Growth. N. Y., 1972, p. 175). Таким образом, ошибочная посылка первого доклада Римскому клубу состоит в отрыве понятия «рост» (развитие) от его социальных последствий.

[36] См. «Общественные науки» № 1, 1979, стр. 136.

[37] «U.S. News and World Report», 2.XII 1974, pp. 53, 54.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ЛИДИЦЕ: ИСТОРИЯ ИЮНЬСКОГО УТРА

В этот роковой день решался вопрос о жизни и смерти сотен людей. Они пока еще жили своими обычными заботами и радостями, не подозревая, что надвигается нечто ужасное.

27 мая 1942 года.

1) 27 мая 1942 года в Праге было совершено покушение на жизнь наместника имперского протектората обергруппенфюрера СС Гейдриха. За поимку преступников объявляется награда в 10 миллионов крон. Тот, кто скрывает преступников, оказывает им какую-либо помощь или знает что-либо об их личности или местопребывании и не сообщит об этом, будет расстрелян вместе со своей семьей.

2) В районе оберландрата Праги с момента передачи по радио настоящего сообщения вводится чрезвычайное положение:

а) всем гражданским лицам запрещается выходить из дому от 21 часа 27 мая до 6 часов утра 28 мая.

б) На это время все рестораны, кино, театры и увеселительные учреждения должны быть закрыты, общественный транспорт прекращает свою работу.

в) В тех, кто, нарушив приказ, окажется в это время на улице, будут стрелять, если они не остановятся по первому требованию.

г) О дальнейших мерах в случае необходимости будет объявлено по радио.

Начальник СС и полиции в имперском протекторате Чехия и Моравия К. Г. Франк.

Прага. 27 мая 1942 г.

© Miroslav Ivanov, 1975.

На страну опустился мрак. Люди с ужасом ждали, что произойдет дальше. Через каждые полчаса сообщение повторялось: пражское радио передавало его, начиная с 19 час. 40 мин. каждые десять минут, а с 20 час. 20 минут до 21 часа — каждые пять минут.

Нацисты хотели вызвать психоз страха.

В 20 часов 05 минут Гиммлер уведомил Франка, что получил его донесение о введении чрезвычайного положения и одобряет все намеченные им меры. Хотя было арестовано несколько сот человек, следы никуда не вели.

Страх и возмущение наполняли души чехов. Что будет завтра?

Ежедневные казни, на углах улиц с устрашающей регулярностью появлялись красные плакаты, на которых стояли имена расстрелянных.

Народ молчал.

Появляется новый плакат: правительство протектората добавляет от себя к обещанной награде еще 10 миллионов крон.

Найдется ли Иуда? Пока его нет. Дни бегут, принося известия о новых сотнях казненных. Гитлер начинает сомневаться, что Франк был прав, пытаясь уверить мир, будто в Праге нет серьезного сопротивления. Не следует ли учинить устрашающую массовую экзекуцию? Она бы нагнала ужас на людей, заставила заговорить.

В Берлине создается особая комиссия для расследования обстоятельств покушения.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — MIROSLAV IVANOV (род. в 1929 г.).

Чешский писатель, публицист. Автор многих известных произведений современной документальной прозы — «Боги ушли» («Bohové odesli», 1959), «Ленин в Праге» («Lenin v Praze», 1960, 1964, 1973), «Секрет КЗР» («Tajemstvi RKZ», 1969), «Не только черные мундиры. Монологи о покушении на Рейнгарда Гейдриха» («Nejen Černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha», 1963, 1964, 1973), «Марсово поле» («Martova pole». Svědectvi bojišť, 1974) и других.

Мы публикуем фрагменты книги М. Иванова «Даже камни горели» («A hořel snad i kámen». Praha, Svoboda, 1975).

Во главе ее — всесильный Кальтенбруннер. Комиссия заседает в Праге, к ней сходятся все нити следствия. Результаты пока незначительные, просто никаких. Сюда же поступают письменные доносы.

По иронии судьбы, колеса адской машины раскрутил не донос, а любовная записка. Она была написана отнюдь не ради двадцати миллионов крон. И отправитель не нуждался в заверении, что его «сообщения останутся в полной тайне».

Вторник, 3 июня, шестой день после покушения; Ярослав Пала — владелец фабрики электробатареек «Палаба», он же мэр городка — разбирает почту в своем кабинете. Позднее он рассказывал:

«При просмотре почты в мои руки попало письмо, хотя и посланное по адресу фирмы Пала, но при более внимательном рассмотрении оказавшееся адресованным работнице под номером 210, да к тому же с указанием имени: «Андулка...»

Фабрикант вскрыл письмо и прочитал:

Дорогая Аничка! Прости, что я пишу тебе так поздно, но ты, наверное, поймешь почему, ты ведь знаешь, сколько у меня дел и забот. То, что мне нужно было сделать, я сделал. В тот роковой день я ночевал где-то в Чабарне. Я здоров. До встречи на этой неделе. Потом мы уже больше не увидимся.
Милан

«Почему вы вскрыли конверт?» — спросил Палу председатель суда, разбиравшего это дело после войны.

«Почту сортировали мои служащие, на моем столе это письмо оказалось уже вскрытым»,— оправдывался фабрикант.

«Так почему же вы, увидев обращение «Дорогая Аничка», стали читать это письмо? Вы не имели права читать его, надо было снова положить письмо в конверт и с извинением вручить его адресату. Так поступил бы порядочный человек...»

Фабрикант пытается возражать: «Письмо показалось мне настолько важным, что совесть не позволила бы мне уничтожить его...»

Он замолчал, вероятно почувствовав, что его ответ прозвучал не так, как ему хотелось бы.

«И что же вы тогда предприняли?»

С минуту он обдумывал свой ответ, видимо, искал щелку, сквозь которую можно было бы выскользнуть. Щелки не нашлось: «Я позвонил в полицейский участок в Слане, сообщил, что в мои руки попало очень важное письмо, и попросил прислать за ним.

В полицейском участке трубку снял поручик Ярослав Смаха. После войны он дает показания: «Я не спросил о содержании письма, но обещал кого-нибудь послать за ним». Об этом деле он доложил районному жандармскому начальнику надпоручику Франтишеку Полаку, который послал за письмом на фабрику Пала стражмистра Выбирала... Стражмистр Выбирал вспоминает: «Получив приказ, я сел на велосипед и отправился на фабрику «Палаба», где меня ожидал в канцелярии сам фабрикант Пала. Он вручил мне письмо и попросил прочитать. Когда я прочитал, он спросил:

«Что вы скажете?»

Я нарочно ответил: «По-моему, речь идет о самом обыкновенном любовном письме, смысл которого посторонний вряд ли поймет...» Пала возразил: «Нет, вы ошибаетесь, я думаю, это один из тех, кто покушался на Гейдриха. Уж хоть бы они нашли их поскорей и оставили нас в покое».

Я не ответил ему и спросил адрес фабричного номера 210. Помню, что картотека была уже у Палы в руках: фабричный номер 210 — Анна Марушчакова, Голоусы, дом 1. Сейчас она больна и лежит дома...»

Трагедия начала приобретать более ясные очертания. Мать Анички Марушчаковой в письме чрезвычайному народному суду (оно пришло 8 апреля 1947 года) рассказывает, что произошло дальше:

«Кладненские гестаповцы приехали в Голоусы в восемь вечера. Это было 3 июня 1942 г. Все у нас перерыли и ничего не нашли. Только старший стражмистр из Брандыска нашел в другой комнате связку писем. Это были, ну, знаете, любовные письма. Кладненские гестаповцы обрадовались, что-то друг другу сказали по-немецки, но я не поняла что. А моя дочка, Аничка Марушчакова, хорошо знала немецкий, она все поняла. Я заметила, что моя дочка Аничка вдруг вздрогнула. Тут и я поняла, что дело плохо. Потом один из гестаповцев подошел к Аничке и заговорил по-чешски. Он ей сказал, что она поедет с ними. Я, ее мать, Гелена Марушчакова, спросила, куда они ее увозят. Гестаповец мне ответил, что ее везут в полицейский участок и что она через час вернется...»

Автомобиль остановился перед кладненским гестапо.

Сейчас начнется допрос. Девятнадцатилетняя девушка не представляет, какими окажутся его последствия. Она не понимает ничего, почти ничего, ей ясно только, что ее Милан в чем-то провинился. Уже дома, в Голоусах, гестаповцы все время расспрашивали о нем.

Аничка и не подозревает, что дело идет о жизни или смерти нескольких сот человек. Почти сотни детей... Она не знает, что решается вопрос о ее жизни и о жизни женщин, которых она никогда не видела и чья судьба теперь в ее руках.

Ее колотит озноб, она плачет. Столько мужчин окружает ее, одни ведут себя грубо, другие успокаивают: стоит, мол, все им рассказать, и она будет свободна. Но пусть не вздумает что-нибудь скрыть.

Что же ей скрывать, отвечает она, ведь ничего плохого она не делала.

«А что это за письмо?»

Она снова расплакалась.

Из показаний ассистента-криминалиста Оскара Фелкла 25 мая 1945 г.: «Марушчакова на допросе сообщила, что она недавно познакомилась с молодым человеком, который говорил очень туманно и то и дело упоминал Лидице. Он спрашивал, нет ли у нее в Лидице родственников, а когда Марушчакова сказала, что у нее там подруга, попросил ее *передать привет Гораками и сказать, что Пепик здоров, все у него в порядке и о нем нечего беспокоиться.* На этом основании Марушчакова решила, что она познакомилась с молодым Гораком. Неизвестный молодой человек приезжал в Олшаны на мужском велосипеде с кладненским номе-

ром. Кажется, самого номера Марушчакова точно не помнила и назвала три возможных варианта...»

Эти показания Фелкла впервые объясняют, каким образом гестапо обратило внимание на Лидице. До того момента никто из кладненских гестаповцев не имел и понятия, что существует деревня с таким названием.

Из послевоенных показаний Фелкла:

«Придя в полицейский участок в Бштеград около полуночи, я попросил(!) надпоручика Полака поговорить с начальником участка Бабуреком в моем присутствии. Полак спросил его, относится ли деревня Лидице к его району и проживает ли там семья Гораков, имеющих сына по имени Йозеф. Начальник участка Бабурек ответил, что там проживает несколько Гораков, но только у одних имеется сын Йозеф, который в годы республики был офицером чехословацкого военно-воздушного флота и вместе с другим офицером — артиллеристом Стршибрным бежал из страны осенью 1939 года Мы затребовали словесный портрет Горака, потому что Марушчакова описала, как выглядел тот молодой человек, с которым она встречалась».

В Лидице полиция произвела обыск в каждом доме. Никто там не знает, что происходит и о чем идет речь. Гестаповцы тщетно пытаются уличить в чем-либо семьи Гораков и Стршибрных. Они не находят ничего, кроме портретов двух молодых людей, которые в то время — в 1942 году — служили в чехословацких летных частях в Великобритании. Но все же для верности члены обеих семей — всего 16 человек — арестованы и доставлены в Кладно.

Поскольку Марушчакова сообщила, что у Милана был велосипед с маркой завода в Кладно, и назвала три возможных номера— все владельцы велосипедов под этими номерами были арестованы:

805, 808, 809.

Скленичка из Розделова, Салач из Вальдека, Ржига из Врапиц.

Днем 4 июня была устроена очная ставка. С одной стороны комнаты — Марушчакова, с другой — трое мужчин. Как бы сложилось все, если бы на предыдущем допросе она не назвала чисел 805, 808, 809? Если бы она их не знала? Если бы забыла?

А теперь шеф кладненского гестапо Гаральд Визман следит за каждым движением девушки, за каждой переменой в ее лице. Глаза Анички широко открыты, расширены от страха, отчаяния, ужаса. Двое из троих мужчин не имеют понятия, почему их сюда доставили и что будет дальше. Третий знает слишком хорошо. Но скорее всего и он не мог, даже в страшном сне, предвидеть, к чему приведет его письмо. А сейчас он стоит перед Аничкой вместе с двумя другими мужчинами и, наверное, делает ей знаки, чтобы она молчала. Но она не поняла. Ей не пришлось долго размышлять, достаточно было мимолетного взгляда:

«Это он».

«Арестовать!»

«За что?»

«Сами знаете...»

За Вацлавом Ржигой закрылись двери тюрьмы: таинственный Милан был обнаружен. Энергичный допрос, который за этим последовал, однако, принес Визману и его подчиненным большое разочарование: Ржига не был парашютистом и не происходил из Лидице.

Значит, тезис о том, что отправитель письма может быть связан с покушением на Рейнгарда Гейдриха, не оправдал себя.

После войны Фелкл сообщил чехословацким следственным органам:

«Ржига признался в том, что он просил Марушчакову передать семье Гораков, что сын Пепик здоров и что у него все в порядке. Когда же Ржиге задали вопрос, кто просил его об этом, он ответил, что на днях встретил случайно молодого Горака, которого он очень хорошо знал, и тот попросил передать от него привет родителям. На основе показаний Ржиги можно было сделать вывод, что он действительно хорошо знаком с семьей Гораков...»

Запомним эти слова, они могут оказаться очень важными

«Ржига на допросе показал, что письмо не имело никакого отношения к просьбе передать привет семье Гораков и к его встрече с молодым Гораком. Насколько я помню, Ржига заявил, что он был женат и что у него уже долгое время продолжалась связь с Марушчаковой. Он боялся, что жена может узнать об этом, так как они жили не так далеко друг от друга, поэтому он и написал Марушчаковой письмо, привлекшее такое внимание. Если не ошибаюсь, на вопрос, почему он писал так таинственно и непонятно, Ржига ответил, что он хотел дать девушке понять, почему ему придется исчезнуть из этих мест...» Это показание датировано 11 мая 1945 года.

Поскольку и Ржига и Марушчакова погибли в концлагерях, у нас нет сегодня других свидетельств.

«Что же было дальше, Визман?» — спрашивает председатель суда.

«Пятого и шестого июня мой заместитель Томсен заготовил донесение о результатах следствия. Томсен высказал подозрение, что члены семей Гораков и Стршибрных служат в чехословацкой армии за границей, но добавил, что ему не удалось обнаружить материал, который бы подтвердил его предположение. К этому донесению были приложены фотографии молодого Горака и молодого Стршибрного, найденные во время обыска в Лидице 4 июня 1942 г. Далее Томсен сообщал в своем донесении...»

Тут между обвиняемым Визманом и его бывшим заместителем Томсеном произошел резкий обмен мнениями. Томсен вскочил и крикнул Визману:

«Я составил донесение, но вы его подписали!»

Визман встал, дрожа от волнения, казалось, он хотел уничтожить Томсена взглядом. Он яростно выкрикнул: «Я заявляю вам прямо в глаза, что это заключительное донесение подали вы сами».

В зале волнение... И неудивительно. На основе этого донесения, которое дошло в Прагу, очевидно, 6 июня, через несколько дней была осуществлена злодейская операция по уничтожению Лидице.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ
ЛИДИЦЕ: ИСТОРИЯ ИЮНЬСКОГО УТРА

При расследовании лидицкой трагедии надо было выяснить и вопрос об оружии, которое, по утверждению нацистов, было спрятано в деревне. Томсен на допросе сообщил: «При обыске я обнаружил два охотничьих ружья и заржавленный револьвер. Но мне это не казалось существенным доказательством».

Визман дает сходные показания: «Я могу абсолютно точно заявить, что в донесении не было и намека на то, что в Лидице было найдено оружие или радиопередатчики, потому что упомянутые предметы были обнаружены только 10 июня». Это соответствовало тому, что заявил Визман на другом допросе:

«Я полагаю, что оружие было подброшено в Лидице агентами-провокаторами».

Уму непостижимо!

Между шестым и девятым июня не произошло ничего нового. Дело перешло в высшую инстанцию — в Берлин. Нацисты оказались в эти дни в отчаянном положении: со времени покушения прошло уже две недели, а никакого следа его не было обнаружено. Поступали доносы, но они ни к чему не вели. Участники покушения оставались неизвестными, и особая комиссия не знала, что предпринять. Нервозность возрастала с каждым часом. Тогда возникла уже не новая мысль: надо провести акцию, которая бы запугала чешский народ и заставила его упасть на колени. Чтобы виновники были выданы. Нужна акция, которая устрашила бы смелые сердца и придала решимости трусам и предателям.

Мы до сих пор не знаем точно, когда в Берлине было принято решение о лидицкой операции. Видимо, инициатором выступил Франк.

Тогда в Берлине, наверное, снова перечитали донесение Томсена о безрезультатном следствии, связанном с Лидице. Что ж с того, что оно было «безрезультатным»,— главное, в этом донесении называлась конкретная деревня.

Решающим оказался день 9 июня 1942 года — дата официальной церемонии похорон Гейдриха. Тогда Адольф Гитлер дал аудиенцию президенту протектората Гахе и его правительству.

Запись об этом приеме сделал, во-первых, тогдашний член правительства протектората оберфюрер СС Вальтер Бертш, а во-вторых, Франк. По его записям мы цитируем:

«Прием фюрером Гахи и правительства протектората 9 июня в 18 часов в здании новой имперской канцелярии в Берлине. Присутствовали: правительство протектората в полном составе, посол Хвалковский, президент Гаха. С немецкой стороны: фюрер, имперский командующий СС Ламмерс, Далюге, Борман, Зепп Дитрих, Франк, Шауб

При появлении правительства фюрер вместе с сопровождавшими его лицами пошел навстречу президенту Гахе, поздоровался с ним, и затем Мейснер поименно представил ему всех членов правительства. Гаха, стоя, дрожащим голосом объявил о том, что он возмущен убийством Гейдриха, о том, что он чувствует себя особенно потрясенным, потому что как юрист привык мыслить категориями правового сознания, а эта акция выходит за пределы всякого права и является проявлением насилия. Фюрер пригласил господ сесть и начал говорить спокойным, почти тихим голосом, который во время его речи набирал силу, пока не перешел на крик: «Этот час, господа, имеет для вас историческое значение. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы сделать вам несколько сообщений. Я надеюсь, что вы в ваших собственных интересах отнесетесь к ним с полной серьезностью... Я веду эту войну для того, чтобы дать Европе, наконец, прочный мир и покой. Нарушителей мира, которые препятствуют осуществлению моей задачи, я буду устранять всеми способами. Ничто не сможет мне воспрепятствовать выселить из Чехии и Моравии несколько миллионов чехов, если они не желают принять предложенные условия существования. На этой территории будет место только для одного народа. Один из двух народов должен уступить. Я твердо решил, что это не будут немцы: мы не отдадим Чехии и Моравии. Лучше пусть одно поколение (чехов) перенесет в течение двадцати лет тяжкое горе по поводу утраты своей родины, чем в Европе сохранится опасность, которую представляют собой чехи, являющиеся врагами рейха. Хотя — я говорю о вас — мне будет жаль, если меня к этому принудят, но я ни в коем случае не побоюсь осуществить и это мероприятие, если будет нужно, еще в течение войны...

Одно из двух: или обстановка в Чехии и Моравии станет для меня приемлемой и чешский народ изменится под вашим водительством, господин президент, и под вашим управлением, господа члены правительства, и тогда он сможет жить в мире, оставаться на своей земле и трудиться для блага великого рейха, или, если вы не поймете серьезности ситуации и не сумеете изменить обстановку, чешский народ будет стерт с лица Европы».

Удивительный прием, во время которого униженный Гаха называет устранение тирана Гейдриха насилием, а Гитлер говорит о том, что он сотрет чехов с лица Европы, как о некоем акте справедливости. Обратим внимание на момент, когда имела место эта аудиенция. 18 часов. Если мы прочитаем вслух всю речь Гитлера, то убедимся, что она продолжалась примерно 10 минут. Краткое заявление Гахи и его ответ на угрозы Гитлера самое большее — еще 10 минут. Представление членов правительства и все церемонии при встрече и прощании длились не более 8 минут. Итого, около получаса. Таким образом, примерно в 18 ч. 30 мин. правительство протектората во главе с президентом Гахой удалилось. Через 75 минут, то есть в 19.45, К. Г. Франк передал по телефону в Прагу приговор Лидице... Начальник службы безопасности штандартенфюрер СС Хорст Бёме записал:

«9 июня в 19 часов 45 минут группенфюрер СС Франк сообщил мне по телефону из Берлина текст приказа от имени фюрера: «Деревня Лидице должна быть сожжена, все взрослые мужчины расстреляны, женщины отправлены в концлагерь, а дети отосланы для надлежащего воспитания. В операцию следует включить пожарные отряды...»

Злодеяние приобрело конкретные очертания.

Когда мы теперь размышляем о тогдаш-

них событиях и их последовательности, нас поражает одно обстоятельство: то, что Гитлер сумел во время приема Гахи и правительства протектората промолчать о судьбе, уготованной Лидице. Если он решил ликвидировать эту деревню еще до прихода правительства и президента, то удивительно — и совершенно не соответствует его нраву,— что он об этом не говорил и что он не угрожал этим конкретным наказанием, а ограничился абстрактными угрозами.

Представим себе ситуацию: только что кончилась погребальная церемония, и все присутствующие еще находятся под ее впечатлением. Является Гаха со своим правительством, Гитлер начинает почти тихо, но во время своей речи распаляется и переходит на крик. Потом правительство вместе с Гахой удаляется и Гитлер остается со своими приближенными. Возможно, кто-нибудь сказал: надо что-то предпринять, чтобы чехи не думали, будто фюрер бросает слова на ветер. Вероятно, начали перебирать материалы следствия по делу о покушении. Результаты были неутешительными, скорее позорными для Берлина. Чешский народ молчал, и предатель пока не нашелся. Тогда кто-то из присутствующих — может быть, Франк? — вспомнил о донесении Томсена, в котором — единственном среди всей кипы исписанной бумаги — называлось хотя бы имя конкретной деревни.

А может быть, все произошло по-другому. При допросе гестаповец из Кладно Эвальд Гартге показал, что уже утром 9 июня в его канцелярию явились Визман с Томсеном и сообщили ему о неслыханной операции. Да, вы прочитали правильно, именно утром. Потом, примерно в четыре часа дня, в кладненское гестапо прибыл Хорст Бёме и доктор Гешке, начальник пражского гестапо. Согласно показанию Визмана, они уже тогда ознакомили присутствующих с информацией Франка. Тут вкрадывается противоречие: ведь Бёме записал, что инструкция из Берлина от Франка поступила только в 19.45.

Или Бёме неверно указал время телефонного разговора, или уничтожение Лидице было задумано еще раньше.

Совещание в Кладно кончилось около 19 часов. Бёме приказал, чтобы тамошнее гестапо, охранники, войско и жандармы были приведены в состояние готовности. Визман должен был обеспечить эвакуацию сельхозинвентаря и домашних животных (поэтому он тут же дал соответствующие инструкции референту оберландрата в Кладно). Визман также передал приказы начальнику гарнизона в Слануме и начальнику охранной полиции в Кладно. Деревня Лидице — это название повторялось во время совещания много раз — должна быть окружена к 22 часам. Все, кто захочет туда попасть, должны быть впущены, оттуда не должен выйти никто.

Бёме прощается, *ему еще нужно съездить в Прагу*. Он назначает место, где они встретятся с Визманом: в девять вечера у сарая к северу от Лидице.

Многое здесь неясно. Как могло произойти, что, получив только в 19.45 приказ от Франка из Берлина, собственно говоря, приказ Гитлера, переданный Франком, Бёме еще утром начал подготовку к проведению лидицкой акции?

Снова возникает вопрос: уж не спутал ли Бёме время телефонного звонка из Берлина...

После войны все эти обстоятельства были расследованы. К сожалению, те, кто что-то знал, старались замести следы. Но все же можно утверждать, что Бёме не ошибался в своих записях. Он действительно разговаривал с Франком в 19.45.

Попробуем объяснить, в чем тут дело.

Когда во время следствия Франка допрашивали по поводу лидицкой трагедии, он пытался запираться. Не мог якобы вспомнить ничего конкретного. Но вопросы следователей, материалы следствия и не в последнюю очередь очные ставки (например, с Визманом или Фелклом 12 октября 1945 г.) вернули ему, во всяком случае частично, память. Только тогда он признал свое соучастие. И вину.

В конце концов Франк нашел такую формулировку, которая всю ответственность целиком возлагала на Гитлера: «...не исключается, что я узнал о приказе Гитлера уже 9 июня 1942 г. перед моим отлетом из Праги в Берлин и что я говорил об этом с начальником службы безопасности». То есть с Бёме.

Видимо, события разыгрались таким образом: Франк уезжает в Берлин и хочет продемонстрировать фюреру свою энергию и преданность, поэтому он предлагает ему свой собственный план. Перед своим отлетом он говорил с Бёме и сообщил ему, что попытается после погребальной церемонии уговорить Гитлера, чтобы тот согласился с его планом ликвидации Лидице. Лидице должно было быть названо в диалоге между ним и Бёме, иначе Бёме не смог бы развить такую бурную деятельность еще до вечернего телефонного разговора с Берлином. Они, видимо, договорились о том, что около восьми вечера Франк сообщит ю телефону в Прагу результат своего разговора с Гитлером, то есть его предполагаемое согласие. Поэтому Бёме должен был еще съездить из Кладно в Прагу. Он знал, что Франк будет звонить, иначе ему незачем было уезжать из Кладно, ведь он должен был вернуться туда около девяти вечера. Бёме и впрямь едет в Прагу — и как раз в тот момент, когда он находится в своей пражской канцелярии, из Берлина звонит Франк. Все было рассчитано вплоть до минут, если принять во внимание, что в 19 часов закончилось совещание в кладненском гестапо.

До Праги — до улицы Под Каштаны, где находилась канцелярия Бёме, примерно 20—30 минут езды из Кладно. Он едва-едва успевает. Его шеф уже в 19.45 звонил и передал Бёме приказ Гитлера: Лидице подлежит уничтожению. Та самая деревня Лидице, которая уже окружена... Совершенно исключено, чтобы только после этого приказа, то есть после 19 часов 45 минут, начата была организация лидицкой акции. Из допроса кладненских гестаповцев известно, что ее стали готовить еще с утра. Вспомним последовательность всего происшедшего после похорон Гейдриха: Гитлер принимает Гаху и правительство протектората, он

МИРОСЛАВ ИВАНОВ
ЛИДИЦЕ: ИСТОРИЯ ИЮНЬСКОГО УТРА

приходит в ярость.., визитеры уходят, и тут наступает очередь Франка. Наступает его час. Франку не приходится долго убеждать, атмосфера благоприятна для него, он получает согласие в ответ на свое предложение и тут же сообщает об этом в Прагу Бёме...

Только теперь все, что делал Бёме в течение целого дня, освящено приказом.

Только с этого момента его предыдущая «организаторская» деятельность узаконена распоряжением Гитлера. До 19 часов 45 минут все это делалось только потому, что Франк перед отлетом сообщил Бёме о своем намерении предложить Гитлеру «акцию Лидице». Теперь все в порядке.

Хорст Бёме тщательно записывает текст приказа и снова отправляется в Кладно на встречу с Визманом. Тот показал на допросе:

«...Я уверен, что главный виновник — Франк... Я обратил внимание Бёме на то, что заявление, будто деревня помогала парашютистам, ничем не подтверждается. На это Бёме ответил, что из двух полученных гестапо донесений второе, свидетельствующее об оружии, спрятанном на мельнице, оказалось верным и было подтверждено агентурными данными».

Что он имел в виду?

Одновременно с письмом, которое вскрыл фабрикант Пала, кладненское гестапо, по словам обвиняемых, получило еще одно свидетельство: в нем говорилось, будто на лидицкой мельнице спрятано оружие... Оба письма были переданы особой комиссии в Прагу.

Визман продолжает:

«Я снова потребовал какого-либо доказательства (относительно оружия на мельнице), но Бёме очень резко заявил, что эти данные были проверены, что уничтожение Лидице согласовано Франком с высшим начальством и что они будут отвечать за него...»

«А вы, Визман, были, значит, настоящей овечкой? Вы ничего плохого не сделали, во всем виноваты Бёме, Франк, Гитлер?».

Визман махнул рукой, словно не соглашаясь, но потом решил снова изображать святую невинность:

«Донесение агентов о том, что в Лидице на мельнице спрятано оружие, не могло оправдать акцию такого характера, как та, которая была осуществлена 10 июня 1942 года... Поэтому я и высказал свои сомнения Бёме. Насколько я помню, Бёме показал мне 10 июня в Лидице оружие, якобы найденное на мельнице, чтобы я убедился, будто лидицкая акция была оправдана с юридической стороны...

Я отметил про себя, что оружие нашли не мои служащие, а члены особой комиссии, направленные в Лидице из Праги для расследования».

Это признание было важным. Вспомним, что показал Томас Карл Томсен: при обыске в Лидице 4 июня он нашел только два охотничьих ружья и ржавый револьвер и не счел это уликой.

«Это и был тот склад, о котором говорил Бёме?»

Томсен, неохотно: «Нет»...

«Рад, что мы придерживаемся одного и того же мнения».

Во время заседания чрезвычайного народного суда этот вопрос возникал несколько раз, и тут произошла знаменательная дискуссия.

«Вы утверждали, Визман, будто отметили, что то оружие, которое вам показал Бёме ночью 10 июня, нашли не ваши подчиненные, а члены особой комиссии из Праги. Другими словами: 4 июня при осмотре Лидице ваш заместитель Томсен нашел только два охотничьих ружья и один ржавый револьвер. Ночью 10 июня, однако, Бёме вам показывал другое оружие, обнаруженное его людьми».

«Да, все происходило именно так. Бёме показал мне три или четыре пистолета и несколько автоматов, не могу сейчас точно сказать сколько».

«Но в официальном сообщении говорилось, что вы нашли подпольный радиопередатчик и склад оружия и боеприпасов».

«Этого... этого... мы не находили. И передатчика тоже».

«Значит, официальное сообщение лгало?»

«Я вынужден допустить возможность того, что оружие, найденное на мельнице, привезло с собой гестапо из Праги»,— смущенно подтвердил Визман.

«Поскольку вопрос об оружии, найденном в Лидице, исключительно важен, пожалуйста, повторите еще раз!»

Визман глубоко вздыхает, ему понятно, что сейчас делается ставка на его голову. Он почувствовал ловушку, которая грозила захлопнуться, и снова попробовал избежать ее:

«Я лично никакого оружия в Лидице не нашел. Ни я, ни кто-либо из моих работников. Что же касается оружия, о котором упоминает официальное сообщение, то я могу сообщить следующее: приблизительно между часом и двумя ночи 10 июня 1942 г. я прибыл в дом на окраине Лидице, где расположилось наше командование, и находившиеся там Гешке и Бёме в присутствии других лиц показали мне оружие. Это были пистолеты марки кольт, несколько пистолетов английского производства и пара ящиков патронов. При этом Бёме мне сказал: «Вот видите, второе сообщение, которое было проверено нашим агентом, оказалось правильным, и оружие нашлось». На мой вопрос, где оно было найдено, Бёме ответил мне, что оружие нашли члены так называемой особой комиссии в присутствии сотрудников полиции и службы безопасности на мельнице в Лидице... На основе того, что мы знаем сегодня об акции в Лидице, я допускаю, что оружие в Лидице привезло пражское гестапо».

«Жаль что вы не рассуждали таким же образом в 1942 году»,— заметил председатель суда.

«Это ничего бы не дало... Сегодня мне ясно, что уничтожение Лидице было самой жуткой мерзостью на свете. На мое замечание, что против Лидице нет никаких уличающих свидетельств, Гешке и Бёме заявили мне, что тут речь идет о политической необходимости и, если бы выбор не пал на Лидице, пришлось бы найти какой-нибудь другой населенный пункт. Я не виноват, что Гешке и Бёме тут нет и они не могут держать ответ за свои действия...»

«Если бы они были здесь, они все свалили бы на Франка, тот — на Гиммлера, а Гимм-

лер — на Гитлера. Каждый, кто принял «фюрер-принцип», отвечает за злодеяния своих вождей. Поэтому вы и находитесь сейчас на скамье подсудимых».

Десятого июня 1942 года Чешское информационное агентство выпустило официальное сообщение:

В ходе следствия по делу об убийстве обергруппенфюрера СС Гейдриха были получены неопровержимые доказательства того, что население деревни Лидице близ Кладно оказывало поддержку и помощь тем кругам, с которыми, несомненно, связаны убийцы. Доказательства, о которых идет речь, были получены без помощи местного населения, хотя его пытались привлечь к содействию следствию. Отношение населения к покушению на Гейдриха, проявленное таким образом, было усугублено действиями, враждебными рейху, как-то: хранением антигосударственных печатных материалов, боевого оружия и боеприпасов, подпольных радиопередатчиков и большого количества предметов, подлежащих нормированному распределению, а также тем обстоятельством, что некоторые жители этой деревни сражаются на стороне врага во вражеских войсках. Поскольку жители этой деревни своей деятельностью в поддержку убийц обергруппенфюрера СС Гейдриха грубейшим образом нарушили ныне действующие законы, все взрослые мужчины были расстреляны, женщины отправлены в концентрационный лагерь, а дети посланы для надлежащего воспитания. Все здания были стерты с лица земли, а название этой деревни отныне предано забвению.

Если внимательно присмотреться к этому сообщению, то можно сделать следующие выводы:

1) население оказывало помощь организаторам покушения;

2) в Лидице были найдены антинемецкие печатные материалы;

3) здесь был обнаружен склад оружия и боеприпасов;

4) найден подпольный радиопередатчик;

5) большое количество утаенных предметов потребления;

6) отягчающее обстоятельство: жители деревни служат во вражеской армии.

Однако акция против Лидице не имела никаких юридических оснований даже с точки зрения законов, изданных оккупантами. Ведь все пункты обвинения, нами процитированные — кроме последнего,— с начала до конца лживы.

Это ясно видно хотя бы на примере «оружия в Лидице». Столь же ложным было и утверждение, что там был найден радиопередатчик.

Визман в ходе своих показаний сообщил, что Бёме ему сказал: «Лидицкий мельник был официально допрошен и, видимо, признал, что у него были какие-то люди и оставили оружие». Но показаний мельника не существует. Если бы это была правда, то Бёме процитировал бы эти показания в донесении, посланном им 12 июня в Берлин по поводу лидицкой операции. Не нашелся и радиопередатчик. Хотя Бёме и показывал Визману в ту роковую ночь какой-то предмет, который назвал передатчиком, но Визман не мог на допросе сказать, что же это, собственно, было. Зато Мирослав Вагнер, которому было поручено заснять для кино лидицкую трагедию, сообщал на допросе 11 июня 1945 года:

«...Мы шли все вместе по направлению к площади, Тремл мне показал на горящий справа домик, сказав, что там находился радиопередатчик. Он был выброшен в канаву перед домом, и на мой некомпетентный взгляд это вообще не был ни приемник, ни передатчик, а просто остов от чемодана и в нем моток проволоки и несколько ламп. Мне велели все это сфотографировать крупным планом для того, чтобы иметь доказательство существования тайного передатчика».

Кто же обслуживал этот «передатчик»? Визман снова повторил:

«Мне лично и моим подчиненным вплоть до 9 июня ничего не было известно о том, что на лидицкой мельнице появлялись какие-либо посторонние люди...»

Во время другого допроса Визман заявил: «Я полагаю, что оружие доставили в Лидице агенты-провокаторы!»

Смысл этих слов совершенно ясен. Они особенно важны, потому что их произнес шеф кладненского гестапо, обвиняя таким образом пражское гестапо.

■

Но вернемся к событиям этой роковой ночи. Точнее, к их подготовке. Согласно его собственным записям, Бёме получил приказ из Берлина подготовить лидицкую расправу в 19 часов 45 минут. Однако показания Рудольфа Влчка, шофера кладненского гестапо, подтверждают то, что стало известно из показаний Эвальда Гартге: суета в кладненском гестапо началась уже днем, то есть 9 июня 1942 года. Влчек на допросе показал:

«Днем Визман велел мне приготовить грузовик, погрузить на него две бочки бензина и быть готовым в полночь отправиться в путь». Ассистент-криминалист Оскар Фелкл дополнил это показание: «Около двадцати часов Визман приказал всем собраться во дворе нашего служебного здания. Там уже стояли машины, готовые к выезду, и на грузовик поставили две бочки бензина... Несколько позднее появилась полиция...»

Около 21 часа все собрались у сарая в поле неподалеку от Лидице, туда прибыл и Бёме со своим сопровождением, и весь штаб — пражский и кладненский,— не менее тридцати человек. Между тем деревня была окружена, так что из Лидице никто не мог выйти. Около 23 часов разбудили лидицкого старосту (этим занялись Фелкл и Томсен) и в северной части деревни (в сторону к Буштеграду) выбрали один дом для своего штаба. Там было получено от старосты общественное имущество, там же были распределены роли. После полуночи, то есть уже 10 июня 1942 года, началась операция: группки нацистов обходили дом за домом, будили местных жителей и приказывали им одеваться, брать ценные вещи и выходить на улицу. Мужчин отправляли

на участок Гораков, женщин и детей — в школу.

Деревня полна солдат, крики, топот, причитания, плач. Порой раздаются выстрелы: гестаповцы расправляются с бросавшимися на них собаками.

На земле валяются одеяла, радиоприемники, швейные машины. Во тьме раздаются слова команды. Злая тьма... Ревет выгнанный на улицу скот (скотину, зерно и часть инвентаря отвезли по направлению к Буштеграду), наконец, подъезжает несколько грузовиков, и туда запихивают женщин с узелками и перепуганных детей. Все рыдают, у многих глаза покраснели от плача. Потом женщин и детей отвозят в Кладно и помещают в спортзале. После этого очередь доходит до мужчин.

Возле костела выстроились полицейские, и из них сформировали взвод для осуществления казни. Полицейские были родом из Галле, никому из них и в голову бы не пришло, что придется когда-нибудь стрелять в безоружных людей в какой-то чешской деревушке Лидице...

«Шагом марш»,— раздалась команда. Еще до этого в сад Гораков принесли матрацы и тюфяки. Все было предусмотрено — ведь пуля рикошетом могла задеть кого-нибудь из палачей.

Итак, полосатые матрацы и желтые тюфяки — почетный караул умирающих. Они ведь знают хорошо друг друга. Сколько ночей провели они вместе — зябких и жарких, юношеских и старческих.

Около семи утра начинается казнь.

Первые пятеро мужчин стоят у стены сарая, лицом к нацелившемуся взводу, глаза не завязаны, руки свободны. Интервал между ними в полметра. Что в эти мгновения в душах невинных людей? Надежда, что кто-нибудь вмешается? Недоуменные вопросы? Отчаяние?

Два выстрела в грудь, один в голову.

Унтер-офицер наклоняется над лежащими телами и из пистолета еще стреляет каждому в голову. Хорст Бёме вместе с доктором Гешке, с адъютантами и несколькими подручными шупо наблюдают за казнью. Командир взвода поднимает руку, машет саблей, и затем раздается залп. Каждый раз он оборачивается к Бёме, стоящему за ним, и тот кивает головой. Рука с саблей быстро опускается, и опять гремит залп.

Приводят очередную пятерку.

Все повторяется, и вдруг Бёме нервно заговорил, он что-то приказывает, да, конечно, все это тянется слишком долго. Надо укрепить взвод людьми, чтобы можно было расстреливать сразу десять лидицких мужчин. Сказано — сделано. Из подвала выводят десять осужденных, им остается жить три минуты, две... одну...

Гаральд Визман на суде заявил: «Им не был прочитан приговор, их расстреляли, не объяснив причин казни».

Так. Значит, не осужденные, а убитые.

Тюфяки и матрацы выполнили свое назначение, кровь окрасила их в необычно яркий цвет.

«Никаких сцен или истерик не было»,— показал Визман во время допроса. (По некоторым данным лидицких мужчин расстреливали из пулемета, но это не было точно доказано.)

Расстрелянные оставались там, где упали, так что каждая новая партия должна была переступать через тела своих односельчан. И снова залп. Взвод отступает на несколько шагов, люди падают перед дулами винтовок, будто подкошенные, каждая следующая десятка удаляется от стены сарая по направлению к саду. Фруктовые деревья уже отцвели, но для плодов еще слишком рано. Вместо них — мертвые. Слепой, потерявший зрение на войне, священник, гимназист, рабочий, подмастерье — один возле другого.

173 мужчины без касок, без оружия в руках. Некому уже рассказать, что делалось в погребе. Старичок священник, может быть, громко молился, они слышали выстрелы, и, наверное, знали, что их ждет. Спрятаться, но где? Убежать, но куда? С неумолимой пунктуальностью снова и снова появлялся человек у входа — они не знали, что его зовут Фелкл и что когда-нибудь он будет повешен в наказание за это кровавое утро,— и выкликал новые имена. Мужчины выстраивались в шеренгу, новая десятка, оставшиеся ждали, их душила ненависть, страх, возмущение. Кто скажет им, почему все это делается? Никто ничего не знает. И снова десятка, снова выстрелы.

Впоследствии были расстреляны те рабочие, которые тогда ушли в ночную смену, их было девять.

Осталось еще двое: Франтишек Питин скрылся в кршивоклатские леса, где его потом нашли и расстреляли в Праге. Наконец, шахтер Богумил Поспишил, который тогда лежал в больнице со сломанной ногой. Когда он поправился, его тоже расстреляли...

А лидицкие дома горели, взвод, производивший расстрел, отдыхал и закусывал, страшный спектакль продолжался.

Потом привезли заключенных из лагеря в Терезине и заставили их копать могилы. Один из них вспоминает: «Мы нерешительно приближались к горе трупов. Почти у каждого в руках был пакет с едой. Эту еду можете взять себе, предложил нам Зейдель. Но хотя мы падали с ног от голода, никто не взял ни кусочка. Я видел там пятерых молодых парнишек, почти детей, седовласого священника, скрюченного деда и чешского полицейского в униформе. Каждый с пулей в сердце и в голове, под подбородком рана. Еще мы там нашли много людей с размозженными черепами, с бесформенной массой вместо лица — наверное, от удара сапогом, был там и человек с пальцами, висевшими на одной коже, как будто вырванными, а у двоих руки были вывихнуты из суставов. На лицах всех—ужас, глаза вытаращены. Одного мы так и несли в могилу со стиснутыми руками, другого привезли всего обгорелого. Мы раздевали каждого и одежду бросали в кучу к ногам Зейделя, который все запихивал в мешки. В могилу, возле которой стояли два наших товарища, мы клали трупы на бок, один возле другого, вплотную, в три ряда. Потом сверху бросали еще трупы, которые не поместились в ряду... К вечеру мы получили приказ разбить бочку с хлоркой, посыпать трупы и облить их водой. Когда это было сделано, начался дождь. Зейдель отдал приказ закапывать могилы, мы закапывали их до поздней ночи. Нам оставалось набросать

еще полметра земли, когда пришел приказ собираться к отъезду. В одной из терезинских машин увозили и первую пару овец из Лидице, всего овец было около ста восьмидесяти, а еще гуси и кони. После тридцати шести часов изнурительной работы мы вернулись, перепачканные кровью, обратно в Терезин...»

Разум отказывается поверить во все это. Вероятно, лидицким жителям сначала сказали, что их отправят в тюрьму. Поэтому у них были пакеты с едой. Когда загремели первые залпы, мужчины поняли, что были обмануты. Никогда уже не узнать, кто именно превратился в этот обгорелый труп. Очевидно, человек где-то спрятался, а когда все деревня запылала, погиб... В таком случае его недоставало при подсчетах, произведенных Фелклом... Это вполне возможно, тогда ведь началась паника, многие были в ночной смене, кое-кто отсутствовал. А тут еще объявился один неизвестный. Его расстреляли, но никто из лидицких жителей его не знал. А может, кто-нибудь и знал? Как теперь разберешься?

Нацисты не забыли и о членах семей Гораков и Стршибрных: пятнадцать мужчин и женщин были впоследствии поставлены к стенке в Праге.

В концентрационном лагере было уничтожено в газовых камерах (или погибло иначе) 49 лидицких женщин.

И, наконец, самый жуткий эпизод: история лидицких детей. В концентрационном лагере в Хельме на территории Польши было уничтожено 82 ребенка. Восемьдесят два — эту цифру невозможно себе представить.

Еще пятеро детей, родившихся уже после лидицкой трагедии, погибли в Праге.

Осталось в живых семнадцать.

Слушая рассказы о том, как казнили этих детей, люди немели от ужаса. Всего в лагере в Хельме было уничтожено 350 или 360 тысяч человек. Для уничтожения людей использовались выхлопные газы. Жертвы загоняли в автомобиль, двери запирали, мотор начинал работать, выхлопная труба с газом была выведена внутрь машины... Через четыре-пять минут крик и стенания в автомобиле прекращались. Очевидно, так погибли и лидицкие дети. Одним — едва исполнился год (Гроникова Марта, год рождения — 1941, Петржик Зденек — 1941, Сухий Йозеф — 1941), другим детям было всего два года (Моравцова Итка — 1940, Пршигодова Ярослава — 1940, Рамешова Ярослава — 1940, Стражова Людмила, Зеленка Яромир — 1940), остальным — по три, четыре, пять лет... Самым старшим — пятнадцать лет.

Девять лидицких детей должны были быть воспитаны как немцы. Только в 1947 году вернулся домой последний из них — Вацлав Зеленка. Даже Франк не мог не признать во время допроса, что по отношению к этим невинным жертвам было совершено преступление:

«Судьбой женщин и детей и другими жестокостями я не интересовался даже и впоследствии, потому что это было невозможно. Во-первых, темп был взят такой, что события буквально накатывались одно за другим, а во-вторых, было бессмысленно выступать против приказа или пытаться как-то его изменить. В национал-социалистском диктаторском государстве любая критика или вмешательство в распоряжения свыше грозили концлагерем или смертью... Хотя ясно, что дети в любом случае были невинны, я ничего не предпринял по вышеназванным причинам. И все же я иногда чувствовал, что по отношению к детям в Лидице было допущено злодеяние. Я служил Адольфу Гитлеру и выполнял все его приказы без размышления, хотя подобный приказ был преступным с точки зрения человечности...»

Точно так же пытался защитить себя и Гаральд Визман: «С детства я был воспитан на принципах абсолютного повиновения приказу, независимо от того, нравится мне это или нет...»

Следующая сцена разыгралась в 1947 году перед чрезвычайным народным судом.

Говорит Фелкл: «Казнь лидицких мужчин осуществлялась весьма быстро. Я едва успевал их пересчитывать. Поэтому я не мог установить, кем был тот, кто оказался лишним».

Председатель суда не понял.

Фелкл объясняет: «Я имел задание контролировать во время расстрела документы мужчин и их соответствие с полицейским списком... Но идентичность одного из них установить не удалось».

«И несмотря на это он был расстрелян!»

Фелкл беспомощно развел руками, ведь он же не виноват, что неизвестный мужчина оказался той роковой ночью в Лидице. Как впоследствии выяснилось, этот человек 9 июня — то есть за день до трагедии — поступил на работу в Лидице в качестве кучера...

Деревня Лидице была уничтожена.

Сейчас она восстала из пепла. Возродить ее помогал весь мир. Название этой деревни стало символом и напоминанием.

Осталась наша боль.

■

Над равниной, где стояла когда-то деревня, кричат птицы. В музее хранятся страшные документы. На пригорке в новой деревне живут те, к кому судьба была... какой? Милостивой? Лидицкие женщины, которые прошли через пекло. Лидицкие дети (теперь уже взрослые), которые избежали германизации.

Они живут. Живут и тем самым доказывают, что между прошлым и настоящим нет закрытой границы. К счастью для новых поколений людей. Ибо память (и неотделимое от нее осознание смысла жизни) помогает людям в поисках пути к будущему.

Счастливому будущему.

Перевод с чешского И. БЕРНШТЕЙН

■

РУТ ВЕРНЕР

СООБЩАЕТ СОНЯ...

Она знала Рихарда Зорге

...Она ничем не выделяется среди других. За исключением, пожалуй, одного: тот, кто знал ее долгие годы, постепенно убеждался, что имеет дело с поразительно внимательным и тактичным человеком, чутким и принципиальным, полным юмора, дружелюбным и мудрым. Кстати, сердиться она тоже умеет, причем крепко. Например, из-за срубленного дерева в Трептов-парке; на издателя, ошарашившего ее какими-то немыслимыми иллюстрациями к ее книге; на коллегу-литератора, осмелившегося совершить поступок, не подобающий писателю социалистической страны. Когда мы узнали о Рихарде Зорге и появились сделанные в разных странах фильмы о «Красной капелле» и советских разведчиках, когда Отто Браун поведал, как обстояли дела в Китае во времена Чан Кайши, мой друг Рут Вернер ни единым словом не дала понять, что может вполне компетентно поговорить на эти темы.

«Рихард Зорге? — могла бы сказать она.— Ну как же, я его знала. Мой дом в Китае десятки раз служил ему местом встречи с товарищами», «Отличная вещь,— могла бы заметить она о какой-нибудь книге про разведку.— Вот только одно место в ней — про Соню, которая передавала радиограммы в Москву,— меня сердит. Ведь в конце концов Соня — это я. И в то время я вовсе не отошла от дел, а уехала к месту нового назначения. Я была солдатом...»

Еще она могла бы спросить: «Вы говорите о Калинине? А знаете, я встречалась с ним. Было это в Кремле, Калинин вручал мне орден Красного Знамени».

И вот теперь все эти нерассказанные эпизоды воскресли в книге, чье название звучит подчеркнуто спокойно,— «Сообщает Соня...» Книга эта— лучшее из всего, написанного Рут Вернер, а это много значит, коль скоро речь идет о творчестве столь любимой в ГДР писательницы.

Одно из главных условий успеха будущей книги заключалось в том, чтобы найти подходящий литературный прием освоения документального материала. Рут Вернер это удалось. Разумеется, индивидуальность и нравственные качества пишущего всегда накладывают отпечаток на книгу.

Перед нами образец литературы без вымысла. Это вызывающе трезвый репортаж, рассказ о жизни, поражающий своей сдержанностью. Реконструированная автобиография писательницы как бы собрана из восстановленных записей. В повествовании чувствуются «пропуски», которые дают понять: вот здесь должно следовать содержание записи, которой суждено остаться кучкой пепла. Писательница умеет легко, образным языком сказать о том, что много лет хранилось в строжайшей тайне. Правда, в своей подчеркнутой сухости она порой заходит слишком далеко. В таких случаях Рут Вернер, я бы сказал, преступает пределы допустимой художественной скупости. О кульминационных моментах подпольной работы сообщается сухим языком донесений. Читателю приходится домысливать то, что скрывается за лаконичной фразой сообщения разведчицы Сони, чтобы расслышать биение ее сердца. И то, что Рут Вернер умеет заставить читателя переживать, я считаю ее подлинно художественной удачей.

В этой книге нет ничего «сделанного». Просто такова в жизни сама Рут Вернер[1].

ГЕРМАН КАНТ

От редакции. Размеры журнальной публикации, приуроченной к 35-летию победы над германским фашизмом, не позволили включить в нее главы из первых пяти частей мемуаров Рут Вернер, знакомящих читателя с жизнью и деятельностью разведчицы Сони до конца 1939 года— начиная с первых шагов, первых жизненных впечатлений и переживаний девочки-подростка и кончая работой радистки-подпольщицы в Китае, Поль-

[1] Статья Германа Канта приводится по тексту, опубликованному в «Литературной газете» 18 янв. 1978, № 3, стр. 15.

© Verlag Neues Leben, Berlin, 1977.

РУТ ВЕРНЕР — RUTH WERNER (род. в 1907 г.).

Немецкая писательница и журналистка (ГДР), автор многих художественных и публицистических произведений. На русский язык переведен биографический роман «Ольга Бенарио. История одной мужественной жизни». В «ИЛ» напечатан ее рассказ «Восьмерка задним ходом» (№ 1, 1980). Творчество Рут Вернер неоднократно отмечалось литературными премиями.

Мы публикуем фрагменты книги Рут Вернер «Сообщает Соня...» («Sonjas Rapport». Berlin, Verlag Neues Leben, 1977).

ше, Швейцарии накануке войны, когда она в одном из домов Шанхая организовала явочную квартиру для известного советского разведчика Рихарда Зорге, где он проводил деловые встречи с китайскими коммунистами, организовывала подпольные группы разведчиков-добровольцев, сбор информации, содействовала в доставке оружия китайским партизанам, включившись затем в активную борьбу против гитлеровского фашизма и международной реакции. Со всем этим читатель сможет позиакомиться в полном издании книги, которую готовит к выходу в свет издательство «Прогресс».

В конце 1939 года Центр запросил, не найду ли я способа передать деньги Розе Тельман. Сам характер запроса свидетельствовал о том, что речь идет об акте помощи и солидарности, требовавшем использования всех наших возможностей.

Мне пришла в голову мысль послать с этим поручением Олло. В Германии у нее был брат, к которому она могла поехать в отпуск. Немцам разрешалось уезжать и приезжать. Олло, невысокой, седой, неприметной женщине, было под шестьдесят. Ни швейцарцы, ни нацисты не могли заинтересоваться ею. Она выразила готовность поехать и выполнить просьбу.

У нас в хозяйстве была одежная щетка, в деревянной части которой имелась закрытая сверху выемка, уже не раз служившая для тайной перевозки денег. Олло со щеткой благополучно добралась до Германии. Роза Тельман была глубоко тронута. Ведь ни один из товарищей, находившихся в Германии на нелегальной работе, не мог контактировать с ней — и вдруг этот знак поддержки из Советского Союза. Правда, по словам Розы, воспользоваться присланными деньгами было бы трудно, поскольку все ее деньги строго учитывались, а номера банкнотов регистрировались. Но само проявление такой заботы со стороны товарищей из СССР морально помогло ей гораздо больше, чем эта порядочная сумма.

Зимой 1939 года Центр дал мне новое задание: встретиться с одним товарищем. Расшифровав радиограмму, я пришла к выводу, что незнакомец либо в скором времени покидает Швейцарию, либо предусматривается более тесное сотрудничество. Иначе мне не сообщили бы подробностей. Я отправилась в Женеву, пошла на рю Лозанн, бросила письмо в почтовый ящик дома № 13 и спустя несколько дней вторично наведалась в Женеву, чтобы повидаться с коллегой.

По распоряжению Центра я должна была получить ответ на ряд вопросов: работает ли еще его бюро, как у него с деньгами, можно ли направлять донесения в Центр с курьером через Италию, или ему нужна радиосвязь, в состоянии ли он установить такую связь самостоятельно?

При встрече товарищ вел себя сдержанно. Он явно был не в восторге, что кто-то заявился к нему на квартиру, многое знает, о многом расспрашивает.

В разговоре наступила пауза. Мы молча рассматривали друг друга. Альберт был коренаст, расположен к полноте, движения его казались несколько неуклюжими. У него были темные волосы и темные глаза с меланхоличным выражением. Мне понравился его кабинет, полный книг и географических карт, с письменным столом, заваленным журналами и записями. Альберт произвел на меня впечатление суховатого ученого. Он хотел знать, как скоро удастся передать его ответ и когда можно ждать нового сообщения из Центра.

Я колебалась. Центр, правда, просил меня помочь этому человеку, но о моем передатчике речи не было. Кроме того, Альберт еще не дал ответа ни на один вопрос. Только когда я сказала ему, что все можно устроить очень быстро, он начал обрисовывать свое положение. Путь через Италию закрыт, но связь с Центром нужна ему как можно скорее. С начала войны он лишен контактов, и важные донесения лежат без толку. Наверняка у Центра были основания прервать связь, но для него это катастрофа. Его передатчик вышел из строя, а радиста нет.

Теперь и я ответила ему без обиняков: возможности для связи есть, я предложу Центру предоставить их в его распоряжение, пока мы не найдем каких-то иных путей.

Вот так я познакомилась с товарищем Шандором Радо, который уже девятнадцати лет от роду был политкомиссаром в венгерской Красной армии. Жизнь его целиком заполняли две страсти: активная коммунистическая деятельность и одержимость наукой, точнее — картографией. Его картографическое «Гео-прессбюро» в Женеве было превосходной «крышей». Впрочем, сам товарищ Радо гораздо лучше описывает все это в своей книге, изданной в Венгрии, ГДР, а также в Советском Союзе [1].

Во время следующего визита я познакомилась и с женой Радо, немецкой коммунисткой, с которой мы сразу сблизились. Лени, в отличие от Альберта, была темпераментной, остроумной и общительной, насколько это позволяла конспирация. У нее было двое сыновей — десяти и четырнадцати лет — и мать.

Для меня было просто благом встретить такого товарища, как Лени, и время от времени бывать у них, отдыхать душой в гармоничной атмосфере этой семьи. Думая о Лени, я и сейчас вижу ее такой, какой она была, когда мы с ней вспоминали себя молодыми коммунистками, говорили о книгах, но чаще всего просто смеялись. Мы так много болтали о пустяках, что Альберт, не склонный к легкомыслию и фривольности,

[1] Ш. Радо. Под псевдонимом Дора. Воспоминания советского разведчика. М., Воениздат, 1978 *(прим. ред.)*.

не скупился на неодобрительные взгляды. А нас это только подзадоривало. Лени интересовалась литературой и была не лишена писательского дара. Родом из рабочей семьи, она хлебнула в юности немало горя и всего добивалась самостоятельно.

Центр распорядился, чтобы я начала радировать донесения Альберта. Это меня обрадовало. Теперь мой передатчик был загружен полностью. В первые три месяца Альберт передавал мне свои радиограммы, написанные открытым текстом, так что от меня требовалась немалая расторопность. Приходилось забирать у него тексты, шифровать их, по ночам передавать в эфир, а потом еще расшифровывать полученное из Центра для него или для меня самой. Я отвозила Альберту ответы и получала от него новые донесения. Дорога из Ко в Женеву занимала примерно три часа.

Лен придумал приспособить для доставки Альбертовых текстов карманный фонарь: он выпотрошил одну из двух батареек, залил на донышко немного свинца, чтобы не изменился вес, а в оставшееся пустое пространство мы закладывали свернутую в трубочку папиросную бумагу с текстом, после чего вновь закрывали батарейку. После такой операции она внешне ничем не отличалась от любой другой. В фонарик мы поставили лампочку, которой требовалось более низкое напряжение, и, питаясь от одной-единственной батарейки, она все же светила нормально.

Дорога к нашему дому была не освещена, так что, возвращаясь по вечерам, мы вынуждены были пользоваться карманным фонарем. Позднее, когда швейцарцам тоже пришлось ввести затемнение, фонарь стал необходимым спутником каждого.

Нацистская Германия потребовала от нейтральной Швейцарии ввести затемнение, так как огни городов, дескать, указывают английским бомбардировщикам путь на Германию и Италию. Швейцария подчинилась; кроме того, Швейцария изготовляла для Германии оружие; крупные партии немецких военных грузов перебрасывались через Швейцарию в Италию. При этом оговорюсь, что швейцарский народ в большинстве своем не признавал фашистскую Германию и ненавидел Гитлера.

При таком обилии работы я чувствовала бы себя превосходно, будь у меня поменьше других забот. Я не знала, как мне дальше содержать Германа, Лена, Джима, собственную семью и Олло. Все пути для перевода денег из других стран были к тому времени блокированы. Поэтому я вздохнула с огромным облегчением, когда Центр через меня уведомил Альберта о приезде сотрудника, который должен был привезти деньги для моей группы. Этот человек приехал в марте, доставил Альберту передатчик, но, увы, не привез никаких денег для меня. Уже не помню, как я тогда вышла из положения, но эта тревога постоянно омрачала нашу жизнь, и мы старались всячески экономить.

Однако забегу вперед. В декабре 1939 года на нас обрушился удар похуже, чем отсутствие средств.

После того как полиция, судя по всему, оставила нас в покое, Герман забрал у меня свой передатчик, намереваясь установить связь из своей квартиры в замке «Розье», кантон Фрибур. Я никогда там у него не бывала. Примерно через месяц мы встретились в Цюрихе — или это было в Берне? У него было для меня несколько донесений, которые я передала в Центр. С этого момента должен был начать работать его собственный передатчик.

На следующую встречу в декабре 1939 года Герман не явился. Не пришел он и на повторную встречу. Подождав две недели, я, в нарушение договоренности, позвонила ему из какой-то женевской лавчонки. Чужой голос ответил, что он там не проживает.

Германа арестовали 11 декабря 1939 года. В то время я еще не знала об этом, но не исключала такой возможности и поделилась своими предположениями с Центром.

Чем я могла помочь товарищу? Прежде всего я побывала у адвоката. У меня не было ни связи со швейцарской партией, ни личного контакта с кем-либо из ее членов. Адвоката я знала еще по Шанхаю. Он приезжал туда в связи с арестом товарищей Ноуленс-Рюггов. Адрес его конторы значился в телефонном справочнике. Я напомнила ему о нашей встрече в Китае. К счастью, он узнал меня, и я рассказала ему о Германе, не упоминая о работе в Советском Союзе. Он пообещал навести справки и по прошествии довольно длительного времени подтвердил мне факт ареста, а также порекомендовал другого юриста, который должен был попытаться помочь Герману.

Позднее, когда на следствии выяснилось, что Герман — немец, гестапо потребовало его выдачи. На процессе по делу о государственной измене нацисты приговорили его к смертной казни. Швейцарские власти, однако, не пошли нацистам навстречу, поскольку сами уже возбудили против Германа судебное дело.

Приходилось считаться с вероятностью того, что властям известно о его визите ко мне на «Кротовый холм» в сентябре 1939 года. Временно я перестала выходить в эфир, но по-прежнему занималась с Леном и Джимом. Было бы бессмысленно внезапно порвать этот контакт. Лен считался моим «женихом», и то, что он и его друг часто бывали у меня, не вызывало никаких подозрений. Сама я заходила к ним в пансион очень редко.

На первых порах Герману пришлось трудно. Физическим пыткам его не подвергали, но тем не менее помучили изрядно. Оставляли постоянно включенным слепящий электрический свет, доводили до полнейшего изнеможения допросами и грозили выдать Германии. Однако кончилось все тем, что его осудили только за нарушение паспортного режима, и приговор был не слишком суров. Он оставался интернирован-

ным до конца войны, но пользовался известной свободой, которая, например, летом 1941 года, когда меня уже не было в Швейцарии, дала ему возможность встретиться однажды с Леном, а позднее — с Джимом. Эти встречи устроил юрист, с которым я так и не познакомилась лично.

Перед встречей с Леном удалось заранее сообщить Герману, что по прибытии на женевский вокзал он должен высматривать там молодого человека с пластырем на щеке, как после пореза при бритье. Тот же товарищ встретится с ним вечером. Лен, в частности, поинтересовался от имени Центра, не может ли Герман что-либо сделать для интернированных в Швейцарии советских офицеров, вывезенных из Германии. Насколько мне известно, позже Герман очень помог в сопряженной с большими трудностями организации их возвращения на родину.

По словам самого Германа, он со временем получил из разных источников три тысячи долларов. Офицеры перед побегом нуждались в одежде, деньгах и продовольствии. В конце войны Центр возместил эту сумму.

Последней весточкой об этом немецком товарище была его встреча с Леном летом 1941 года.

Война продолжалась еще четыре года. Я с тревогой думала о том, как-то Герман перенесет интернирование. Словами трудно передать теперешнему молодому поколению не только то, как мы были преданы делу, но и то, каких жертв требовала от нас работа и с каким высоким чувством долга она выполнялась. Что за жизнь была у Германа! Подпольная работа в Германии под угрозой обвинения в государственной измене, вооруженная борьба в Испании, год обучения на разведчика в Советском Союзе, снова подполье — на этот раз в Швейцарии. Когда мы работали вместе, Герману был тридцать один год. Разве он не мечтал полюбить, жениться, иметь детей? Но он отказался от всего. Герман очень переживал, что его арестовали в Швейцарии еще до начала работы, но, даже будучи интернирован, сумел многое сделать.

Когда осенью 1958 года нам с Леном вручали в Берлине медаль «Борец против фашизма», мы взяли с собой на торжество нашего пятнадцатилетнего сына Петера. Вдруг у меня за спиной кто-то тихо произнес: «Соня». Я обернулась и ахнула: Герман!

Мы долго смотрели друг на друга, потом, плача, обнялись: Петер, который никогда не видел меня такой, смущенно отвернулся. Я объяснила ему: «Этот товарищ был арестован в годы борьбы с фашизмом. Его мучили, но он никого не выдал. Иначе я, быть может, не сидела бы здесь, а тебя и вообще не было бы на свете».

У Петера заблестели глаза. «Пригласи его к нам, ладно?» — попросил он. Герман побывал у нас дома, и то, что он рассказал, доставило мне большую радость. Он женат, у него пятеро детей. Вскоре мы познакомились и с милой женой Германа.

В феврале 1940 года я, наконец, собрала все документы, необходимые для вступления в брак с Леном. Хотя брак был фиктивный, только на бумаге, нам все-таки хотелось выбрать хорошую дату. Мы остановились на 23 февраля, дне рождения Красной Армии.

Наши обручальные кольца тоже были почти что из бумаги. Мы купили их по одной марке за штуку в магазине стандартных цен в Вене. К вопросу о свидетелях я была не готова; нас выручили швейцар и служащий из бюро регистрации браков. Олло в тот день испекла в нашу честь пирог.

Когда я явилась в английское консульство в Женеве и, предъявив свидетельство о браке, подала заявление о выдаче мне английского паспорта, встретили меня неприветливо. Тем не менее спустя десять недель, 2 мая 1940 года, я, к зависти других немецких эмигрантов, держала в руках драгоценный документ.

Лен перебрался на «Кротовый холм». Человеком он оказался заботливым и чутким. Для него самого было чем-то абсолютно новым и, безусловно, очень важным стать частью семьи, ощущать ласку и заботу, жить в бодрой, спокойной атмосфере — если, разумеется, Олло в этот момент не цапалась с Мишей. Мы с Леном были товарищами, нас связывала общая работа и опасность. Мы одинаково судили о людях и книгах. Изо дня в день наслаждались прелестью окружающей природы. Лен с удивительным пониманием относился к детям, особенно к Мише, и так было всегда. Его отношение к ним не изменилось и позже, когда они выросли.

Весной 1940 года фашистский вермахт оккупировал Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Каждое из этих событий было страшным ударом, приближавшим опасность, что и Швейцарию постигнет та же участь. Школа, где учился Миша, закрылась, родители забрали детей домой. Другой школы в Ко не было. Мне очень не хотелось отпускать от себя девятилетнего сынишку, но я все же решилась послать его в английский интернат в Глионе, городе по соседству с Ко, пониже в горах. Школа была дорогая, но директор, проверив способности и знания Миши, заинтересовался им и предложил скидку. Я теперь была англичанкой, и он полагал, что воспитание ребенка будет продолжено в Англии.

Решив оставить Ко и подыскать жилье в Женеве, мы с Леном покинули «Кротовый холм». Горный ландшафт стал частью моей жизни. Я знала его во все времена года, во всех настроениях: благоухание весной, солнечные закаты на фоне заснеженных

французских Альп, Женевское озеро, огни Монтрё, еловый лес на ближних склонах и цветущие луга вокруг дома. Пейзаж никогда не приедался, он был моей ежедневной радостью, и отрывалась я от него с болью в сердце.

Альберт был доволен нашим переселением, поскольку, помимо передачи донесений, я должна была подготовить для него радиста.

Речь шла о швейцарце по имени Эдмунд Хамель, у которого был в Женеве небольшой радиомагазин, он же — ремонтная мастерская. Над магазином помещалась скромная квартира. Эдмунд был солидный, добродушный человек, его жена Ольга — темпераментная красавица с густыми, черными как смоль волосами и такими же черными глазами. Трудно было поверить, что она может быть довольна такой жизнью. Когда мы познакомились поближе, она рассказала мне, что сама родом из деревни, работала в городе в баре и там повадки мужчин очень скоро стали ей поперек горла. Тут появился Эдмунд, порядочный, солидный, спокойный и застенчивый; это ей понравилось.

Оба были коммунистами. Ольга обслуживала магазин, Эдмунд был радиотехником. Из-за профессиональных обязанностей свободного времени для учебы у него оставалось мало. Мы решили сделать радистку из Ольги. О, эта работала с азартом! Занимались мы по вечерам. Случалось, заспанный Эдмунд в пижаме и ночных туфлях заглядывал на кухню, где мы практиковались, и жалобно вопрошал: «Еще не кончили? Когда же ты, наконец, пойдешь спать?» Ольга нетерпеливо отмахивалась. Однако поднимать Эдмунда на смех неуместно. Он взялся за чрезвычайно опасную тогда работу радиста и позднее, оказавшись в трудном положении, держался мужественно и умно.

Я провела много вечеров в этой всегда заботливо убранной, чистой квартирке и охотно занималась с обоими. Иногда меня подменял Лен. Хамели не знали ни наших имен, ни нашего адреса.

В Женеве я, по просьбе Альберта, вела передачи не из нашей двухкомнатной меблированной квартиры, а из кухни Хамелей или из других предложенных ими мест. Запомнилась мне, в частности, одинокая дачка в лесу близ Женевы. Я выходила в эфир примерно дважды в неделю и передавала свои и его донесения; донесения Альберта имели бо́льшую важность.

Поздней осенью 1940 года Центр предложил Лену и мне перебраться в Англию. Альберт возражал. Мне кажется, он счел мое согласие своего рода дезертирством. Но ведь это было «дезертирство» в страну, которая воевала и которую жестоко бомбила фашистская авиация, еще имевшая тогда превосходство в воздухе. Альберт вел важную работу и поэтому хотел удержать Лена и меня при себе. С другой стороны, Джим уже завершил обучение, Ольга и Эдмунд тоже должны были скоро стать опытными радистами, да и Лен на какое-то время еще оставался в распоряжении Альберта. Как бывший интербригадовец, Лен не мог ехать через Испанию и должен был оставаться в Женеве, пока мы не разработаем для него подходящий маршрут.

В Англию в то время добирались немыслимо кружными путями. Во Франции была открыта одна-единственная узкая дорога: она вела к испанской границе через территорию, где «правил» гитлеровский вассал генерал Петен. Оттуда надо было ехать через Испанию и Португалию, а из Лиссабона предстояло добираться в Англию самолетом или по морю.

Я решила выехать в Англию в конце декабря.

Когда я в последний раз пришла к Ольге и Эдмунду, Эдмунд слонялся по комнате очень расстроенный, Ольга бросала на него укоризненные взгляды, потом вдруг села, по-крестьянски закрыла лицо фартуком и разрыдалась.

Занятия с ними продолжил Лен. Впоследствии Хамели получили «выход» на Джима. Оба они стали хорошими радистами. Альберт заваливал их важными материалами, и они работали не за страх, а за совесть в течение трех лет, пока в октябре 1943 года их не запеленговали во время сеанса и не арестовали.

Альберт, то есть Шандор Радо, описывает в своей книге «Под псевдонимом Дора», как в ходе операции под личным руководством начальника швейцарской политической полиции, в которой принимали участие 70 (семьдесят!) полицейских с розыскными собаками, был произведен этот арест. Чтобы дать читателю представление о том, как пеленгаторы «ловят» радиопередатчик, приведу выдержки из доклада швейцарской полиции, процитированного в книге «Под псевдонимом Дора» (речь идет о передатчике Джима):

«Во время наблюдения в Женеве (за Хамелями) мы засекли... третью станцию...

9.10.43 — мы твердо знали, что она в Лозанне.

20.10.43 — установили, какой квартал города.

25.10.43 — в каком доме».

Полиция засадила за работу специальных «слухачей» и на протяжении нескольких дней записывала радиограммы Джима.

19 ноября 1943 года его тоже арестовали во время передачи.

В декабре 1940 года я рассталась с Джимом, которого позднее, когда он стал предателем, приняла с распростертыми объятиями англо-американская секретная служба. Я мало что могу добавить к его истории. Не думаю, чтобы он с самого начала вел двойную игру. По моему мнению, кое-что из того, что в 1947 году он столь цинично описывал в «Справочнике для шпионов», в свое время представлялось ему совсем в ином свете. Во всяком случае, после своего предательства он не был тем су-

перменом, за которого тщился себя выдать. Австрийский товарищ, знавший Джима в то время, когда мы привлекали его к работе, в 1947 году попросил меня о немедленной встрече и сообщил следующее. У его двери позвонили. Он открыл и увидел перед собой трясущегося человека, которого не сразу узнал и принял за нищего или больного. Это был Джим. Он отказался войти, весь дрожал и несвязно бормотал: «Лен и Соня. Большая опасность. Не работать. Все уничтожить». Потом убежал. Вид и поведение Джима ужаснули этого товарища даже больше, чем его слова.

Мы тогда ничего не знали о его предательстве, и этот инцидент стал нам понятен лишь позднее. Итак, при всем, что он учинил, у него кое-что сохранилось от своеобразного «чувства порядочности» английского буржуа. Против нас лично он ничего не имел и потому рискнул тайком предупредить нас еще до того, как к нам успели наведаться агенты органов безопасности.

Джима освободили из-под ареста в сентябре 1944 года, когда Швейцария уже была уверена в поражении фашизма. Возможно, Джим начал колебаться, сидя под замком у швейцарцев, и стал изменником именно с этого времени.

Дезертирство Джима показывает, как мало он был внутренне связан с нами. Особенно отвратительно то, что он, помимо всего прочего, стал законченным предателем. Этот последний шаг, видимо, был сделан им рассчитанно. Просто прекратить работу для Советского Союза означало столкнуться с неопределенным и ненадежным будущим. Но если переметнуться на службу в английские органы безопасности, власти будут вынуждены принять его как одного из своих и обеспечить ему приличное положение. Так и получилось. Последующее опубликование состряпанной с прицелом на сенсационность книги окончательно привело его финансы в порядок.

Декабрь 1940 года. Расставаться с людьми, которых любишь и уважаешь, особенно тяжко, если при этом не приходится рассчитывать на новую встречу с ними. Ирен Форбс-Моссе была очень огорчена тем, что мне приходится уезжать именно сейчас. Ведь она собиралась удивить нас на рождество визитом и подарить каждому из нас — Лену, Мише, Нине и мне — по велосипеду. Зато теперь я должна принять от нее кое-что другое. Я всячески отказывалась, но она все-таки вручила мне сорок английских фунтов. Скорей всего, она поняла, как экономно мы жили. Эти деньги очень меня выручили. Еще больше я была тронута ее теплым, дружеским отношением.

Я не знала, как будет проходить путешествие в Англию. При всех обстоятельствах я не могла тащить с собой много багажа и отослала свои книги в Шебр, к Ирен Форбс-Моссе. В Шанхае мне уже пришлось бросить ценную библиотеку; за время жизни в Швейцарии я снова обросла множеством книг. Они помогали мне осваиваться в чужих странах, в то время как у меня на родине, в Германии, их сжигали.

Одиннадцать лет пролежали книги в Шебре. Потом подруга Ирен Форбс-Моссе, жившая с ней с 1939 года, сообщила мне в начале 1951 года в ГДР, что несколько лет назад Ирен умерла, и спросила, куда переслать ящики с книгами. Письмо пришло к брату, поскольку моего адреса эта женщина не знала. Тогда я заведовала отделом в нашем государственном аппарате, и положение было не таково, чтобы переписываться с капиталистической заграницей, а тем более получать оттуда посылки. Она прислала мне второе письмо, и было очень неприятно оставлять его без ответа, да и книги свои я охотно получила бы обратно...

Расставание с Альбертом и Лени.

С товарищем Радо я увиделась снова в 60-х годах, когда он посетил ГДР. Лени к этому времени уже не было в живых. Встречалась я с ним и в Венгрии. Было радостно узнать, как он счастлив вновь оказаться на родине и как он, оставаясь таким же хорошим коммунистом, поглощен своей научной работой.

Наше путешествие из Женевы в Англию началось 18 декабря 1940 года. В семь часов утра мы сели в автобус, Лен помог шоферу пристроить чемоданы. Машина тронулась, Лен остался на обочине. Мы и не догадывались, что до новой встречи пройдут двадцать долгих месяцев.

Из письма родителям, Лиссабон, январь 1941 года:

«В восемь часов пересекли французскую границу. Валютный контроль строгий. Пришлось раздеться почти догола. Поездка обходится дорого, поэтому я взяла на детей только одно место, и все 28 часов мне пришлось держать Нину на коленях. Автобус не отапливался, и уже через час мы промерзли до костей. Впереди нас сидел бывший министр финансов буржуазной Литвы. Ехать через Францию очень грустно. Страна кажется заброшенной. Продовольственные магазины пусты и закрыты. В одиннадцать часов вечера прибыли в Ним. В шесть часов утра снова в путь, а вечером — остановка на французско-испанской границе в Пиренеях. Здесь нас заставили прождать три часа на ледяном ветру, в темноте, под открытым небом. Я все время заставляла ребят бегать взад и вперед, чтобы они не продрогли окончательно. Ни еды, ни туалета; маленькое помещение таможни, куда нас вызывали по одному.

Еще двести метров езды до испанской границы. Тут вновь застряли на три часа.

Дети всю дорогу вели себя замечательно. Испанцы пропустили нас на свою сторону и дотошно просмотрели весь багаж. В Барселону мы прибыли вместо семи часов вечера в половине четвертого ночи. Но ночное автобусное путешествие по Испании — прелесть. Серебряный лунный свет, спящие городки, дома с висячими балконами, холмы, а рядом — Средиземное море. В Барселоне я поняла, чего мне так не хватало целых два года: народа, толпы. Бедность вопиющая. Нет хлеба, нет сахара. Люди кажутся голодными, но какую бодрую атмосферу создают их живые, интересные лица, их обаяние и разговоры. Я показала детям рыночные площади и погуляла с ними по узким улочкам».

Поездка по железной дороге из Барселоны в Мадрид прошла нормально. Поскольку у нас была лишь транзитная виза, мы должны были выехать из Мадрида ближайшим поездом, отходившим в 23 часа — это было 23 декабря — дальше, в Португалию. Тысячи людей теснились перед пятью закрытыми проходами на перрон. Мне удалось подсадить детей через окно в вагон и забросить туда же мой ручной багаж. Но сама я никак не могла попасть внутрь. Какой-то мужчина сбросил меня с подножки. Я боялась, что дети застрянут в поезде. Кто-то вновь передал их мне на перрон. Вещи так и остались в вагоне. Началась потасовка. Появились солдаты и, вытащив револьверы, оттеснили толпу от состава. Я попробовала проникнуть в какой-нибудь из международных спальных купированных вагонов. Но их охраняли, и попасть туда без билета было невозможно. Я сделала вид, будто лишь сажаю детей, а родители с билетами идут сзади. Мне поверили. Мы промчались через набитые людьми купе и отыскали литовского министра финансов. Он спрятал Мишу в своей постели. Его супруга взяла к себе в постель Нину. Сама я спряталась и показалась лишь к утру.

24 декабря мы прибыли в Лиссабон, все трое больные. У Нины была высокая температура. Я вызвала в гостиницу врача и, перед тем как прилечь самой, еще купила дочке куклу и «конструктор» для Миши. Ведь наступило рождество!

Как разъяснили мне в английском консульстве в Лиссабоне, пассажиры будут вылетать отсюда не в зависимости от времени ожидания, а с учетом их значительности. Я же была, пожалуй, самым маловажным лицом в длинном списке. Недостатка в безденежных гражданах, которые подлежали отправке на родину, не было, поскольку Англия запретила всякий перевод за рубеж своей валюты, в том числе и собственным подданным.

Я устроилась недалеко от города, на побережье близ Эшторила. Климат там настолько мягок, что мы могли загорать, лежа в шезлонгах на пляже, словно нет никакой войны, никаких тревог... Дети в этой обстановке буквально расцвели. Было радостно видеть их все время рядом с собой, вот только мне бы их беззаботность!

Жить приходилось весьма экономно, поскольку мы не знали, как долго нам ждать отъезда. Финансовое положение все усложнялось, поэтому, готовясь к путешествию, я постаралась снять со счета в Швейцарии очень-очень небольшую сумму. Деньги таяли с пугающей быстротой, и долго мы бы здесь не протянули. Что ожидало меня в Англии? Судя по приему, оказанному мне в лиссабонском консульстве, нам придется довольствоваться там положением граждан второго сорта.

Находясь в Лиссабоне, я старалась подыскать маршрут для Лена. Франкистская Испания отказала ему в транзитной визе. Такое, впрочем, происходило и с другими англичанами призывного возраста — дружественный жест Франко по отношению к Гитлеру. Французской транзитной визой Лен уже запасся. Но намеченный нами вначале путь через Африку тоже не сулил никаких перспектив. Я обивала пороги пароходных компаний, тщетно пытаясь устроить Лену проезд на грузовом судне из Марселя.

Спустя примерно три недели консульство сообщило, что нас доставят в Англию морем.

Наш пароход, шедший в составе каравана с двенадцатью другими судами, сначала направился в противоположную сторону, к Гибралтару. Путь до Англии занял почти три недели. Каюты были затемнены, открывать окна не разрешалось. Каждому пассажиру был выдан спасательный круг, который надлежало постоянно иметь при себе. Англичане на пароходе относились к нам сдержанно.

По прибытии в Ливерпуль лишь мне одной устроили допрос: где ваш муж? Почему он не приехал вместе с вами? Почему вы не остались с ним? Где собираетесь поселиться? На что вы намерены жить? На какие средства живет он?

Дети устали и замерзли, Нина расхныкалась. Когда допрос закончился, чиновник дал каждому из ребят пенни. Было уже поздно. С трудом удалось найти гостиницу. Не успели оба заснуть — завыли сирены воздушной тревоги. Я растолкала детишек, и мы, как нам посоветовали, побежали в подвал.

На следующее утро мы отправились в Оксфорд. Я писала Лену об этой поездке:

«В поезде Ливерпуль — Оксфорд нашим соседом по купе был английский солдат. Нина тотчас пленила его сердце. Он слепил ей из пластилина пушку и разрешил нахлобучивать на голову свою фуражку. Потом снял френч — ребята задохнулись от восхищения: он был весь татуирован. Нина не могла оторвать глаз от обнаженной женщины, вокруг которой обвилась змея, и задавала щекотливейшие вопросы. Миша, маль-

чик очень тактичный, предпочел двух голубков, клюющих сердце. Нина так умоляла сделать и ей «хоть чуточку этого», что солдат поплевал ей на сгиб кисти и химическим карандашом нарисовал замечательную картинку, доходившую до локтя. Мне пришлось поклясться, что я ни в коем случае не смою это произведение...»

Как я была рада, что после столь недружелюбного приема детям встретился в чужой стране кто-то, кто был к ним добр.

Большинство лондонцев из-за налетов эвакуировали, и моих родителей пока приютили друзья в Оксфорде. Мы пытались найти пристанище в этом городе, но поиски жилья там, где хоть в какой-то степени можно было не опасаться бомбежек, были делом безнадежным. В городах же, которые бомбили, тоже ничего нельзя было найти из-за разрушений. Наконец я подыскала меблированную комнату, достаточно большую для нас троих, но хозяйка соглашалась сдать ее только одному человеку. Так что у меня не оставалось иного выбора, кроме как снова отдать Мишу и Нину в интернат. Нашлась и подходящая маленькая лесная школа недалеко от Оксфорда, с довольно прогрессивным директором. Нина ни слова не знала по-английски. Первые две фразы, которые четырехлетняя малышка выучила на чужом языке и в окружении чужих людей, были: «Прекрати это» и «Убирайся».

Спустя несколько дней хозяйка попросила меня съехать, поскольку никак не могла привыкнуть к моему иностранному облику. Я присмотрела другую комнату, но тамошняя хозяйка не разрешала детям навещать меня.

Письмо Лену:

«Вчера провела с детьми один час. Я так по ним тоскую. Школьному начальству визиты родителей не по душе, и оно этого не скрывает. Хозяйка тоже не разрешает мне принимать детей у себя. Тут, в школе, по-видимому, считают носовые платки вещью греховной и думают, что детям так и полагается ходить сопливыми. Но учителя и директор — милые люди и кормят тоже неплохо. Миша чувствует себя здесь хорошо. А вот Нина приуныла и добавила к собственной невоспитанности всю шкодливость окружающих ее детей. Как бы мне хотелось, чтобы она жила со мной.

Странно, что люди, никогда не сталкивавшиеся с трудностями, черствее и нетерпимее тех, кто уже испытал на себе, что такое война».

Моя хозяйка передумала и решила сдать комнату «джентльмену». Я подыскала другое жилье, в семье священника в сельском приходе Глимптон близ Вудстока. Пасторша основательно допросила меня: «Принадлежите ли вы к нашей церкви?.. Не правда ли, Чемберлен изумительный человек? Возносите ли вы молитвы господу? Будете по вечерам играть с нами в карты?»

Выдержав удовлетворительно этот экзамен, я получила позволение перебраться в очаровательный дом с садом, скорее даже парком, через который протекает крохотная речушка.

Раз в две недели я регулярно ездила в Лондон и позже описывала Лену свои впечатления:

«Естественно, я ненавижу шум самолетов и свист бомб, но (быть может, потому, что у меня недостаточно развито воображение) чувствую себя совершенно спокойной во время воздушных тревог. Мне не страшно за собственную жизнь.

А станции метро ночью! Сотни людей спят на специально сооруженных для этого деревянных нарах. Они приходят сюда уже месяцами, и мало-помалу тут сложился свой быт. Люди достают из объемистых узлов ужин, термосы с чаем, вязанье и газеты. Отец курит, мать болтает с соседями, дети играют в прятки. Влюбленные сидят по углам, прижавшись друг к другу. С шумом подкатывают поезда. Пассажиры устремляются из вагонов, стараясь не наступить на тех, кто, не найдя свободного местечка на нарах, растянулся прямо на полу...»

Хотя у меня еще не было собственного жилья, я с нетерпением ждала, когда снова примусь за дело.

Инструкцию о первой встрече — и о повторных, если первая почему-либо не состоится,— я получила по радио еще в Швейцарии. По прибытии в Лондон мне предстояло встретиться с одним советским товарищем неподалеку от Гайд-парка, по соседству с Марбл-Арч. Естественно — как и положено, когда речь идет о встречах с незнакомыми людьми,— мы условились насчет примет и пароля. Просто я считаю излишним всякий раз подробно описывать эти детали.

Первая встреча в новой стране всегда волнует. Придет ли кто-нибудь? Какое конкретное задание даст на этот раз Центр. Смогу ли я его выполнить? А что, если никто не явится?

Один или два из предусмотренных сроков уже миновали, поскольку я не рассчитывала на такую задержку в Португалии и на путешествие по морю, занявшее несколько недель. Вероятно, и партнер будет рад, что на этот раз пришел не напрасно.

Я ждала долго сверх условленного времени, но никого не было. Во второй вечер — опять неудача. Спустя две недели ожидание вновь оказалось тщетным. Сейчас уже не могу припомнить, сколько раз я ездила в Лондон, как часто прогуливалась по улице взад и вперед. К тому же место было выбрано крайне неудачно: в этом квартале промышляли проститутки, которые косились на мои частые появления там. Меня охватывала все большая тревога. Какое-нибудь недоразумение с местом встречи?

Быть может, я что-то перепутала? Наведываться в советское посольство не разрешалось, да я бы так никогда и не поступила.

Не исключено, что я неумышленно допустила какую-то ошибку, что в Швейцарии что-то произошло в связи с арестом Германа. Наконец, что-то могло случиться в аппарате Альберта, совершенно безотносительно ко мне. Я знала, что контакт с агентами, способными поставить под угрозу работу, прекращается, и, случись такое, не обиделась бы. В нелегальных условиях самое важное — обезопасить работу. Я собиралась, если не смогу продолжать свою прежнюю деятельность, подыскать себе какой-нибудь заработок, вступить в партию и продолжать там коммунистическую деятельность.

Вскоре не осталось почти никакой надежды на встречу с посланцем Центра.

Мы приехали в Англию без всего, если не считать небольшого запаса одежды; у меня не было мебели, я не могла претендовать на жилье и должна была платить за двоих детей в интернате. Деньги подходили к концу. Родных я в свои финансовые трудности не посвящала. Никто из них не был особенно состоятелен, поселиться у них я тоже не могла. Родители теснились у друзей в Оксфорде, Рёва сама искала жилье, Бригитта жила в одной комнате, Сабина собиралась замуж и бегала в поисках квартиры. Рени училась в Кембридже. Юргеновой квартиры только-только хватало на семью из четырех человек. Я не видела никакой возможности решить все свои проблемы: продолжать платить в школу за детей, найти кров, встретить кого-нибудь из Центра или добиться возвращения Лена в Англию.

В апреле 1941 года мне, наконец, повезло: я нашла меблированный домишко. В предместье, в четырех километрах от Оксфорда. За аренду запросили очень дорого. Сбережения мои таяли. Но какое счастье — не иметь больше дела с хозяйками, а самое главное, можно забрать к себе детей.

В мае я снова отправилась в Лондон, уже почти не смея надеяться на встречу. Ко мне подошел какой-то мужчина — не первый на этой окаянной улице, но на сей раз именно тот, кого я ждала. Он приветствовал меня паролем, и я как на крыльях пролетела еще две улицы, до окончательного места нашей встречи. Советский товарищ Сергей (так я его называла) передал мне приветы и поздравления с прибытием, а также вручил деньги: сумма оказалась достаточной, чтобы избавить меня от всех финансовых забот. Выяснилось, что он попал в автомобильную катастрофу и поэтому не мог встретиться со мной раньше.

Спокойный и неторопливый, как это вообще свойственно русским, он бы наверняка не понял, сколь мучительными были для меня эти месяцы. Я же на будущее решила не переживать из-за таких случаев, а, памятуя о словах владивостокского лоцмана, сравнивать время всякого ожидания с колоссальным расстоянием от Земли до Солнца.

Сергей разъяснил мне важность работы в стране, которая воюет с нацистами, но влиятельные реакционные круги которой способны в любой момент пойти на сделку с Гитлером за счет СССР.

Центру были необходимы разведданные. Какие связи я могу установить? С военными? С политическими кругами? Я должна постараться создать агентурную сеть для сбора таких сведений. Когда сможет начать работу моя рация?

Как всегда, времени давалось достаточно. Вообще Центр никогда не торопил меня со сроками. Впрочем, я сама по характеру нетерпелива и склонна скорее спешить, нежели медлить. Так что у меня были куплены все необходимые радиодетали, и я возилась с ними в промежутках между молитвами и игрой в карты в доме пастора. В двадцать четыре часа аппаратуру можно было привести в состояние полной готовности.

Я надеялась, что Юрген, а быть может, и отец помогут мне в сборе информации. Отец, отличавшийся редкой тактичностью, никогда не расспрашивал о моей деятельности. Теперь я сочла уместным кое-что сообщить ему, не упоминая о своей профессии и месте работы. Ему, единственному из всей семьи, я рассказала о своем ордене. Он ничего не понимал в орденах и не связал эту награду ни с какими военными делами, но был растроган, узнав, что мне вручил ее в Кремле Михаил Иванович Калинин. Я сказала ему, что по работе меня очень интересует политическая и экономическая информация, и этого оказалось вполне достаточно: отец кивнул. Лишних вопросов он не задавал. Отец встречался главным образом с экономистами и лейбористскими политиками левой ориентации; в то время многие из них были так или иначе связаны с военными инстанциями, и отец сообщал мне полученные от них сведения.

Нападение Гитлера на Советский Союз в июне 1941 года произвело в Англии сильнейшее впечатление. Излишне описывать, как потрясло это событие меня. Впрочем, времени на размышления оставалось мало.

Я прослушала речь премьер-министра Черчилля, обещавшего СССР полную поддержку, кое-что записала и попыталась проанализировать услышанное. Как и большинство речей Черчилля, это был блестящий по стилю образец ораторского искусства. Приехав в Лондон поговорить с отцом, я узнала от него, что, по мнению ведущих политических и военных кругов Англии, Советский Союз потерпит поражение не позднее чем через три месяца. Эту точку зрения в беседе с отцом подтвердил видный

деятель лейбористской партии сэр Стаффорд Криппс, который с 1940 по 1942 год был послом в СССР.

«Германский вермахт пройдет сквозь Россию, как горячий нож проходит сквозь масло»,— добавил Криппс. Позднее это выражение стало широко известным, но Центр и, я думаю, Советский Союз вообще услышали его впервые именно от меня. Я получила от Директора радиограмму с выражением благодарности. Такое случалось редко. Возможно, поэтому, забыв многое другое, я помню об этом сообщении.

Правительства капиталистических стран долго допускали ошибку, недооценивая СССР. У них не укладывалось в голове, что рабочее государство, где у власти стоят коммунисты, может «выстоять». Это их заблуждение началось с попыток военной интервенции после Октябрьской революции, нашло свое продолжение в многолетнем непризнании СССР и, как свидетельствуют слова Криппса, существовало еще в начале второй мировой войны.

Гитлер бросил против Советского Союза всю мощь своих сухопутных войск и авиации. Англичанам сразу стало значительно легче: была устранена опасность вторжения и даже воздушные налеты пошли на убыль.

После нападения Гитлера на Советский Союз мой передатчик несколько дней тщетно вызывал партнера, потом станция заработала вновь. Я выходила на связь дважды в неделю, два раза в месяц ездила в Лондон, пока только для того, чтобы поговорить с Юргеном или отцом. Юрген готовил для Советского Союза экономические обзоры, а также сообщал мне факты, не входившие в сферу его деятельности, но представлявшие интерес для меня.

Юрген свел меня с немецким товарищем Гансом Кале, сыгравшим видную роль в Испании: он был командиром дивизии в Интернациональных бригадах. В Испании его особенно уважали за смелость и оперативность решений. Кале, помимо всего прочего, работал в Англии военным корреспондентом буржуазных журналов «Тайм» и «Форчун», принадлежащих знаменитому американскому концерну Люса. Подоплека этой его деятельности мне была неизвестна. Но, как бы то ни было, она позволяла ему получать определенную информацию. Центр согласился на мой контакт с Гансом Кале. С ним я виделась тоже примерно дважды в месяц и получала полезные данные. На имя Ганса приходили запросы, по которым мы могли судить, что именно важно для Центра. С Гансом Кале я работала охотно. Его ранняя смерть — потеря для нашей страны.

Бывая в Лондоне, я останавливалась или у родителей, или у сестер. Там время от времени и происходили встречи с Гансом Кале. Сестры работали, дома днем не бывали и ничего не знали об этом. Если не считать отца и Юргена, я ни с кем не говорила о своей работе ни тогда, ни позже. Даже мои уже давно выросшие дети узнали, например, о моем ордене Красного Знамени лишь спустя тридцать лет после того, как я его получила: советский генерал посетил меня в ГДР и вновь вручил мне его. (Да, это был мой собственный орден за номером 944, к которому была приложена орденская книжка. Подумать только, как заботливо его сохраняли в водовороте военных лет!)

Помимо поддержания радиосвязи с СССР я продолжала встречаться с Сергеем. После того как мне удалось установить контакт и с военными, я получала материалы, которые нельзя было передавать по радио. На одной из встреч Сергей вручил мне коробочку сантиметров двадцать длиною и пятнадцать — высотой. Это был мини-передатчик. Хотя я по-прежнему не увлекалась теорией, мне понравился этот удобный, надежный в работе и технически гораздо более совершенный аппарат. Я демонтировала свой передатчик, который по габаритам был в шесть раз больше, и припрятала детали: вдруг еще пригодятся. Пять или шесть лет я вела радиопередачи из Англии, где так же, как в Швейцарии, любительская радиосвязь в годы войны была под запретом.

За время, проведенное мною в Англии, «Сергеи» менялись два или три раза. Я радовалась нашим встречам, которые теперь выдерживались по срокам с точностью до минуты. Эти люди вели себя по-товарищески, были опытны и деловиты. Мы встречались на улице, когда действовало затемнение, по возможности так, чтобы нас не застигла воздушная тревога, и проводили вместе самое большее четверть часа.

Не раз я говорила, что ничего не боялась, занимаясь нелегальной работой, но должна признаться: оказавшись в огромном затемненном городе, без света уличных фонарей, со слепыми окнами, я начинала трусить. На улицах было почти пусто, а если кто и проходил мимо, его не было видно. Я стояла в кромешной тьме и ждала, что вот-вот кто-то коснется моего лица или схватит меня за горло. Услышав тихие шаги, я замирала от страха и вздыхала с огромным облегчением, если выяснялось, что это шаги «нашего человека».

Лен приехал в Англию в конце лета 1942 года, через двадцать месяцев после моего отъезда из Швейцарии. На первых порах он не годился для армейской службы: на нервной почве у него развилась болезнь желудка, и он страшно исхудал.

■

Осенью 1942 года владельцы коттеджа отказали нам от квартиры, так как дом понадобился им самим. Учитывая специфический характер моей работы, мы вновь принялись за поиски особняка. В оксфордском квартале Саммертаун на Джорджстрит, 50, нам приглянулся коттедж «Авеню», старинное здание, пережившее несколько поколений обитателей, с небольшим, заросшим травой задним двором и множеством сараев. Коттедж выделялся на фоне остальных, довольно мещанистых домов этой улочки.

Раньше сараи служили конюшнями и относились к большой вилле на гораздо более фешенебельной параллельной улице. В нашем доме некогда жил кучер. Отношения по принципу «кучер — господский дом» в какой-то степени сохранились, поскольку теперь на вилле жила весьма обеспеченная и влиятельная семья судьи Невилла Ласки, брата известного лейбористского деятеля профессора Гарольда Ласки. Сараи до сих пор принадлежали ему.

Миссис Ласки была миловидная пухленькая женщина. Я как-то зашла к ней в десять часов утра и словно перенеслась в фильм из жизни богачей: облаченная в кружевную ночную сорочку, хозяйка дома возлежала в постели и вкушала завтрак с отливавшего серебряным блеском подноса. Миссис Ласки не чуралась общественной деятельности и сотрудничала в благотворительных организациях.

Мой визит к ней преследовал вполне определенную цель. Я попросила разрешения протянуть от нашего дома антенну к одному из сараев. Она ответила согласием, да и в других случаях относилась к нам по-дружески.

Я была довольна, что на этот раз антенной мог заняться Лен. В киддлингтонском коттедже мне самой пришлось ползать по крыше.

Возле дома была толстая стена из серого камня, которая вот уже более полутора сотен лет огораживала двор. Мы извлекли один и так уж неплотно державшийся камень, вынули другой, сзади, вложили в образовавшуюся нишу наш крохотный передатчик и поставили на место замшелый каменный «замок». Снаружи абсолютно ничего нельзя было заметить.

Дом наш состоял из четырех комнат и винтовой лестницы. Самой большой комнатой пользоваться было нельзя, ибо в ней располагалось так называемое «моррисоновское убежище». Герберт Моррисон, один из руководителей лейбористской партии, занимал в коалиционном правительстве пост министра внутренних дел. Это семейное бомбоубежище выглядело как огромная проволочная клетка, прикрытая чугунной плитой. Власти предоставляли их бесплатно, но Оксфорд так и не бомбили.

Английский народ относился к СССР с глубокой симпатией. Если на военных предприятиях становилось известно, что их продукция пойдет в Мурманск, производительность заметно повышалась, иногда вдвое. Даже «дамы из высшего общества» не могли не поддаться общему настроению и вязали варежки для красноармейцев.

Проволочки Англии и США с открытием второго фронта вызывали у многих возмущение или по меньшей мере чувство недовольства. Несмотря на все посулы, обе страны в течение долгого времени предоставляли своему союзнику — СССР — сражаться и истекать кровью почти в одиночку, да и позднее не особенно расщедрились.

В 1942 году на стенах зданий в английских городах можно было видеть сделанные красной краской надписи: «Откройте второй фронт — и немедленно!» Это было требование английского народа.

Не оставались в стороне даже дети. Миша в том же году нарисовал для какого-то журнала картинку: будни английского солдата — он чистит ботинки, будни русского солдата — он обороняет аэродром.

О том, насколько справедливы были требования народных масс о помощи Советскому Союзу и наша работа в этом плане, свидетельствуют сейчас, спустя 35 лет, высказывания одного из виднейших знатоков военной науки в США Хэнсона У. Болдуина. В своей недавно опубликованной книге он пишет с нескрываемым цинизмом:

«Вторжение немцев в Россию позволило США избежать тотальной войны. Как показали послевоенные десятилетия, отнюдь не в интересах США и всего мира было подменять одну опасность (нацистскую Германию.— **Р. В.**) другой (Советским Союзом.— **Р. В.**). Уничтожение обоих принесло бы не вред, а только пользу».

Нет нужды описывать здесь, как мы изо дня в день с напряженным вниманием следили за ходом военных действий в Советском Союзе, переживали за Москву и Ленинград, восхищались силой сопротивления их граждан, скорбели о погибших. Каждый успех в нашей работе казался нам теперь важным вдвойне.

Как-то в августе, в день встречи в Лондоне, разразилась страшнейшая гроза. Сергей был на условленном месте, хотя вряд ли ожидал моего появления при таких обстоятельствах. Он передал мне благодарность Директора за донесение, которое я отправила незадолго до этого. Уж не знаю, то ли Сергей тем временем побывал в Москве, то ли получил распоряжение пересказать мне все дословно. Директор сказал: «Имей мы в Англии пять Сонь, война кончилась бы раньше». Я не считала себя столь уж замечательным работником, но, услышав такую похвалу, почувствовала себя необычайно счастливой. Никто не мог бы лучше выразить смысл нашей деятельности: уничтожить фашизм и тем самым добиться окончания войны для всех людей. Тут имел значение каждый час.

В 1943 году английский король Георг VI послал Сталинграду в честь решающей победы Советской Армии почетный подарок — драгоценный меч,— но второй фронт так и не был открыт.

На Тегеранской конференции Советский Союз потребовал наступления на Гитлера с территории Франции. Черчиллю больше улыбался марш на Балканы. Рузвельт поддержал Сталина.

Только 6 июня 1944 года, когда победа Советской Армии уже не подлежала сомнению, открылся давно обещанный второй фронт: началась высадка английских и американских войск в Нормандии. Спустя семь недель во Франции сражались против Гитлера тридцать семь дивизий.

Лоуренс Томпсон, английский буржуазный журналист, писал в «Пикчер пост»: «Впервые с момента вторжения в Россию немцы были вынуждены отвести с русского фронта значительные контингенты вооруженных сил».

В июле 1944 года англичане познакомились с немецким «чудо-оружием»: на Лондон обрушились первые самолеты-снаряды «Фау-1». За три месяца их число достигло примерно девяти тысяч: в сентябре за ними последовали ракеты «Фау-2». Лондонцев пришлось снова эвакуировать.

К 7 ноября 1944 года Сергей передал мне от Директора поздравления с праздником Октябрьской революции. Я припасла для Сергея маленький подарок — книгу. Красных роз не было: слишком «неконспиративно». Лен отсутствовал, я ни с кем больше не могла отпраздновать этот день и много размышляла о прошлом.

Спустя годы я узнала, что Рихард Зорге, приговоренный японцами к смерти, был казнен именно 7 ноября 1944 года.

Осенью 1944 года армия США решила воспользоваться детальным знакомством Юргена с экономическим положением Германии (он много писал на эту тему) и предложила ему чин полковника и работу в Бюро стратегии бомбовых ударов. Юрген попросил время на размышление, чтобы я могла послать запрос в Центр.

Эта направленная против нацистской Германии работа в одной из организаций американской секретной службы имела смысл лишь в том случае, если Центр сочтет ее полезной и даст соответствующее задание. Ответ пришел быстро: Центр заинтересовался. Отныне Юрген регулярно снабжал меня ценной информацией. Он, так же как и я, почти не помнит подробностей. Запомнилась только одна вещь: профессор Гарвардского университета Дик Раггльз, сотрудничавший во время войны в Бюро стратегии бомбовых ударов, занимался методологией шпионажа и разработал систему, позволявшую путем тщательной регистрации серийных номеров выведенных из строя немецких танков, самолетов и т. д. оценить состояние производства вооружений у врага на данный конкретный момент. Соответствующие расчеты публиковались каждые две недели и доводились до сведения крайне узкого круга лиц: Рузвельта, Эйзенхауэра, Черчилля, начальника британского генерального штаба Исмея, руководителя Бюро стратегических служб (БСС) и главы Бюро стратегии бомбовых ударов. Кроме того, один-единственный экземпляр поступал в распоряжение пятерых сотрудников этого последнего бюро, занимавшихся составлением обзоров. Юрген аккуратно передавал мне эти обзоры, а я направляла их в Центр. Насколько я знаю, Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР тоже регулярно знакомился с их содержанием. Этот в высшей степени секретный документ, систематически публиковавший расчеты Раггльза, носил название «Обзор стратегии бомбовых ударов Соединенных Штатов».

В БСС (предшественнике Центрального разведывательного управления), с которым приходилось иметь дело организации Юргена, он свел знакомство с неким американским старшим лейтенантом по имени Макс. Тот занимался вербовкой немецких эмигрантов для шпионажа в Германии. Их надлежало соответствующим образом подготовить и забросить в Германию. Макс попросил Юргена о помощи.

Центр заинтересовался таким использованием немцев в БСС и ответил: сотрудничайте с Максом, но будьте осторожны. Я передала этот ответ Юргену, и он свел меня и Макса с немецким товарищем, который должен был взять на себя все дела, связанные с БСС. Это был Эрих Хеншке из руководства лондонской партийной группы. Я получила от Центра согласие на привлечение его к работе.

Эрих в свое время сражался в Испании, а я знала его еще по СКМГ [1]. В 1928—1929 годах берлинское окружное руководство партии поручило мне организовать Марксистскую рабочую библиотеку. Денег у нас не было. Мы сняли в Берлине на Гренадирштрассе подвал и, чтобы разжиться деньгами на аренду, взимали с читателей абонементную плату в размере десяти пфеннигов. Книги для библиотеки мы, вооружившись ручной тележкой, собирали у товарищей и в издательствах. Эрих Хеншке, Макс Кахане и Герд Дегенхардт были первыми добровольными библиотекарями. О создании библиотеки, которая позднее была отдана Марксистской рабочей школе, я рассказала в книге «Необыкновенная девушка».

И вот я снова встретилась с Эрихом. Он привык все делать обстоятельно, неторопливо, и принятие решений давалось ему нелегко. Эрих всегда вел себя очень осто-

[1] Союз коммунистической молодежи Германии.

рожно и неохотно шел на риск, но трусом не был. Он обладал опытом партийной работы, его отличали надежность и высокое чувство долга.

С американцем Максом я не встречалась, и он тоже не знал о моем существовании. Макс согласился сделать Эриха своим сотрудником и принял его предложение набрать агентов из числа коммунистов. Они действительно были самыми надежными людьми в антифашистской борьбе. Вообще при правительстве Рузвельта и во время войны с нацистской Германией в военном и разведывательном аппарате был целый ряд прогрессивно настроенных американцев. Позднее положение изменилось. Все нижеследующее я рассказываю со слов Эриха Хеншке, с которым беседовала в 1968 году; он лучше помнит эти вещи.

Использовать наших товарищей для выполнения такого рода заданий можно было только с согласия немецкого партийного руководства в Англии. Эрих поговорил с Вильгельмом Кёненом. Если Эрих, как это и требовалось, держал язык за зубами, о моем существовании не было даже упомянуто. Партийное руководство поручило Эриху Хеншке, Гансу Кале и Вильгельму Кёнену подготовить список подходящих товарищей. Эрих Хеншке на время отошел от партийной работы, чтобы целиком посвятить себя выполнению этого задания, то есть сотрудничеству с БСС и передаче материалов мне. БСС был предложен ряд кандидатур, после того как Эрих снабдил меня их биографиями и фото. Я переправила все в Центр и получила одобрение. Эти люди знали, что использование их санкционировано Советским Союзом. Две кандидатуры БСС отклонило, в итоге остались: Адольф, Вальтер, Петер, Пауль Линднер, Вернер Фишер, Курт Грубер, Антон Ру.

Эрих не был штатным сотрудником БСС. Он еженедельно получал пять английских фунтов на расходы от БСС и еще пять фунтов от Центра. Фактически же работа с семью товарищами, передача их донесений мне и поддержание связей между ними и БСС на протяжении двух-трех месяцев стоили любой штатной должности.

Вышеназванные товарищи заключили контракт с БСС, им хорошо платили, жизнь их была застрахована на порядочные суммы. За этим последовало интенсивное обучение в Англии в течение приблизительно десяти недель. Они осваивали парашютное дело и учились обращаться с «уоки-токи», портативными рациями, своего рода радиотелефонами, которые тогда были еще новинкой. Они вызубрили наизусть цифровой код. Их паспорта, одежда, биографии — все было подготовлено самым тщательным образом. Прыгая с парашютом, они должны были иметь при себе симпатические чернила, пилюли с ядом и небольшой запас высококалорийных продуктов. Сведения обо всем этом я передала в Центр. Директор подтвердил, что наш материал — особенно цифровой код — представляет интерес.

Каждый из товарищей должен был в условленный день и в определенный момент выпрыгнуть с парашютом в выбранном заранее месте и, приземлившись, первым делом настроить портативную рацию. Американский самолет появится над районом выброски и установит с парашютистами радиосвязь.

БСС поручило Эриху раздобыть адреса противников нацизма в Германии, у которых наши люди могли бы закрепиться, пока не установят контактов. Для этого Эрих, с согласия Центра, вылетел с Максом на американском самолете в Париж: организация «Свободного немецкого движения» [1] была там многочисленнее, да и географически Париж ближе к Германии. В Лондон он вернулся с достаточным количеством адресов.

Макс также был заинтересован в прямых связях со «Свободным немецким движением» в Париже. Центр не возражал, и Эрих устроил ему такие контакты. В работе с американской разведывательной организацией БСС я ни шагу не делала без Центра, поскольку мне было сложно оценивать ситуацию. Полагаю, Центр через своих людей в Париже имел возможность направлять ход тамошних событий.

У меня не было прямого выхода ни на одного из наших парашютистов: связь поддерживалась только через Эриха.

По его воспоминаниям, Адольф прыгал первым или вторым. Тони Ру и Пауль Линднер совершили свои прыжки с борта одного и того же самолета. Очутившись на земле, они установили связь с американцами и с советскими друзьями. Насколько я знаю, Тони прежде всего обратился к своей сестре, фрау Тредуп, мужественно поддержавшей его. Он закопал свою «уоки-токи», которую, по имеющимся у меня сведениям, по окончании войны передал людям из Центра. Тони Ру, скончавшийся несколько лет назад посол ГДР в Румынии, бывший до этого руководителем Управления таможенных пошлин и контроля товарооборота, наверняка неукоснительно придерживался разработанной для него легенды.

Выполнив задание, он вернулся в Англию. Его донесения я передала в Центр.

С ним лично я познакомилась уже в ГДР через общих друзей, мы нередко вместе обедали в правительственной гостинице на Тельманплатц. Но я ни разу не упомянула о том, что наши пути уже пересекались в другое время и при других обстоятельствах.

Петер и Вальтер выбросились с парашютами, вероятно над Баварией. От Петера донесений поступило немного. Сведения, сообщенные по возвращении Вальтером, были содержательны и интересны.

[1] Организация немецких антифашистов.

Курт Грубер, уроженец Вестфалии, по профессии горняк, с 1933 по 1936 год находился на нелегальной партработе в Берлине, после чего эмигрировал. Он работал на шахтах в Шотландии, женился на шотландке, стал членом шотландского профсоюза горняков и выпустил в свет брошюру под названием «Я — немецкий рабочий».

Самолет, с которого он должен был прыгать, взорвался в воздухе. Курт погиб вместе с экипажем. Жена, узнав о его смерти, держалась мужественно, не раскисла и не пала духом. О нашей работе семьи парашютистов ничего не знали.

Вернер Фишер, насколько помнит Эрих, выбросился с парашютом, имея при себе нацистские документы на имя Лаутербаха. Его почти наверняка нет в живых. Я тщетно запрашивала о нем Центр, немецкое партийное руководство наводило справки со своей стороны, английский адвокат Притт пытался отыскать его след. Все напрасно: Вернер Фишер словно сквозь землю провалился.

Мне думается, пришло время воздать должное заслугам и этих товарищей.

Работа с БСС прекратилась через несколько недель после окончания войны, когда американцы демобилизовали наших товарищей.

В мае 1945 года повсюду устраивались торжества в честь победы. Столы накрывали прямо на улицах. Каждый вносил в общий котел все, что мог, из скудного рациона: муку, жир, а то и яйцо (в неделю полагалось одно яйцо на человека). Пекли кексы, выставляли чай и лимонад.

На нашей улице организацию праздника взяла на себя миссис Ласки. У меня еще сохранилось фото того чаепития. Я вместе со всеми радовалась победному окончанию войны, испытывала то же чувство облегчения при мысли, что уже не надо волноваться за близких, сражающихся на фронте. Все дружно надеялись на лучший по сравнению с прежним мир, но тут наши представления расходились.

Еще до того, как вместе с уходом Эриха из БСС по окончании войны оборвался и мой с ним контакт, он заимообразно передал мне кое-что интересное: досье на некоего американского сержанта, подозреваемого в коммунистических симпатиях. Это был один из тех случаев, когда требовалась срочная внеочередная встреча с Сергеем. Он организовал немедленное перефотографирование примерно двухсот страниц, и они, безусловно, стоили того.

Будь я в Центре, в Москве, я распорядилась бы перевести эти документы и обязала всех разведчиков прочесть их. Это заменило бы любой курс лекций о необходимости строжайшей конспирации. Подчеркиваю, речь шла об обыкновенном человеке, которого нельзя было упрекнуть ни в чем, кроме довольно расплывчатых коммунистических симпатий, о сержанте, не игравшем особой роли ни в армии, ни в гражданской жизни. Но одного лишь подозрения, что он, не дай бог, коммунист, оказалось достаточно, чтобы, так сказать, «препарировать» сержанта и завести на него подробнейшее дело объемом в двести страниц. Не было упущено ничего. Начиналось досье со сведений о его родителях, всех без исключения родственниках, школьных годах и дальнейшей учебе. Были перечислены все адреса, по которым он жил, приложены отзывы домохозяев и многих соседей. Его товарищи по работе, его друзья, круг его чтения, переписка, флирт, жена — словом, было тщательно изучено и зафиксировано буквально все.

В мае 1945 года владелица коттеджа «Авеню» решила вернуться в свой дом. Нам снова предстоял переезд. Лен еще оставался в Германии, в английской армии. Его демобилизовали лишь через двадцать один месяц после окончания войны.

Я была по горло сыта меблированными квартирами с инспекционными налетами хозяек, которые поднимали скандал из-за каждого пятнышка на ковре и неукоснительно требовали возмещения убытков. Однако было по-прежнему невозможно снять даже меблирашки, а уж о немеблированном жилье не приходилось и мечтать. Случайно одна из соседок упомянула о принадлежащем ей в отдаленной деревушке Грейт-Роллрайт на возвышенности Котсуолдс деревенском доме «Сосны», который она хотела бы сдать внаем. Котсуолдс находится примерно в тридцати километрах от Оксфорда. Я осмотрела дом: двухэтажное семикомнатное строение с огромной кухней и уймой подсобных помещений. Всего этого было для нас слишком много. Электричество отсутствовало, мусор не вывозился, автобус в ближайший город ходил раз в сутки. Но окрестности были прелестны, а выстроенный двести пятьдесят лет назад дом с толстенными деревянными стропилами и низкими потолками, к которому относились еще двор, амбар и одичавший сад, сразу пришелся мне по сердцу. К тому же арендная плата составляла только треть того, что мы платили до сих пор. Я сняла дом, решив, будь что будет. Быть может, удастся сдать комнату, чтобы кто-то оставался с детьми, если мне придется уехать. Впрочем, с точки зрения моей работы радистки-подпольщицы присутствие посторонних было явно нежелательным.

Я приобрела подержанную мебель, а сестры пожертвовали из своего хозяйства что у них было лишнего. В длинном коридоре я развесила китайские картинки эпохи Минской династии. Просто удивительно, как удачно вписались эти рисунки на шелке в интерьер старого крестьянского дома.

В деревне было трудно подружиться с соседями. Напротив нас лежала усадьба богатого помещика Лонсдейла, в прошлом известного флотоводца. Принц Филипп в молодости служил под его началом. Когда мы там жили, Филипп со своей женой, будущей королевой Елизаветой, еще навещал владельца поместья. Что касается других жителей, то это были сельскохозяйственные рабочие и мелкие фермеры, не слишком расположенные к «иностранцам» вроде меня.

Следовательно, общаться мне было не с кем, но у меня была работа, были Нина и Петер, да и Миша приезжал из интерната домой на праздники и каникулы. В конце концов, и Лен будет наезжать из Германии в отпуск! Я знала, ему нравится Котсуолдс. Мы еще раньше исколесили эти места на велосипедах. Я радовалась, предвкушая, как буду показывать Лену наш первый настоящий семейный дом. Накануне его приезда в отпуск десятилетняя Нина говорила:

«Держу пари, он не спит всю ночь от волнения, не может лежать спокойно в постели. Ему хочется спрыгнуть с корабля и поплыть к нам».

Однако Лен, прибыв, наконец, из Травемюнде, еле взглянул на наш дом и идиллическую деревню. Ведь позади у него была Германия с ее бедами, острыми конфликтами, напряженностью и трудностями.

Я тоже загрустила и после его отъезда старалась хотя бы своими письмами внушить ему чувство связи с семьей.

Февраль 1946 года [1].

«Ко дню рождения купила Мише галстук, который он до этого жадно и долго пожирал глазами в витрине. Пронзительно-желтый, с изображением лошадиных морд. Жуткая штука, в самый раз для гардероба какого-нибудь наемного танцора. Если захочешь послать ему что-то, пусть это будет пестрый шелковый носовой платок, и чем вульгарнее, тем лучше...»

Лето 1946 года.

«...С девяти утра до семи вечера пробыла с ребятами в Стратфорд-он-Эйвон. Это была давно обещанная грандиозная летняя прогулка, и они кутили вовсю. По четыре раза лимонад, по три порции мороженого с вафлями, двойной обход «Вулворта» [2] и вещи более возвышенные: дом, где родился Шекспир, знакомство с театральными залами. А потом катание по реке на моторке и несколько часов в живописном плавательном бассейне».

Декабрь 1946 года.

«...Рождество получилось очень своеобразное. Я пригласила к нам на праздник двух немецких военнопленных, которые работают в поместье у Лонсдейла. Они прошли через «лагерь демократического воспитания» для пленных. Не успели мы сесть за кофе с настоящей коврижкой — стук в дверь. Появились восемь «звонарей» и повели себя согласно старому обычаю: в руках у них было четырнадцать колокольчиков, каждый со своим звучанием, и они изумительно исполнили рождественские мелодии. Увидев моих гостей, селяне опешили, и я сочла уместным произнести небольшую речь насчет рождества, мира на земле и преодоления вражды военных лет».

Летом или осенью 1946 года связь с Центром прекратилась. Видимо, произошло что-то такое, о чем я и понятия не имела. Юрген тогда жил уже в Берлине, там же была расквартирована и часть, в которой служил Лен. Я попросила его сообщить брату о нашем положении. Юрген дал мне знать, что ему стало известно о разрыве и других контактов; в тот момент это, по-видимому, было общим явлением.

На случай потери связи у нас существовала особая договоренность. Между Оксфордом и Банбери, в нескольких километрах от Грейт-Роллрайта, под полотном железной дороги проходил туннель. С другого его конца, под выступающими наружу корнями четвертого слева дерева на первой тропинке от шоссе полагалось спрятать записку. Взять ее из тайника надлежало в определенный день месяца. Я регулярно ездила туда на велосипеде, но под корнями никогда ничего не было.

О времени прекращения работы приблизительно можно судить хотя бы по упоминанию в письмах о финансовых трудностях.

Маргарите, сентябрь 1946 года:

«Я теперь мало что могу покупать... Хочешь взять мои талоны на одежду? [3] ...Когда Лен демобилизуется, его шинель можно будет перекрасить и отдать Мише, ему срочно нужно помочь... С середины февраля буду сдавать комнаты. Если у тебя есть кто-нибудь на примете, порекомендуй меня как «превосходную хозяйку» с «овощами из собственного огорода».

Лена наконец демобилизовали, и по совету Маргариты он поступил в Лондоне на работу в фирму, где был изобретен способ изготовления литого узорчатого пластика. Там же работал Тони Ру, и они познакомились.

[1] Мише исполнилось пятнадцать лет.
[2] Магазин стандартных цен.
[3] Текстиль был тогда еще нормирован.

В наших местах ни у меня, ни у Лена не было никаких шансов найти работу, да и куда мне было девать трехлетнего Петера? От дома тоже нельзя отказаться: за такую дешевую плату мы нигде ничего бы не нашли. В Лондоне свободных квартир не было. Лен жил поочередно у какой-нибудь из моих сестер.

Зима 1946/47 года была в Англии самой суровой за последнее столетие. Снег валил неделями, пронзительно холодные ветры наметали гигантские сугробы, угля не хватало, транспорт почти по всей стране был парализован. Число безработных перешагнуло за два с половиной миллиона человек.

У себя в доме, где были только открытые камины, мы с трудом отапливали лишь две из семи превратившихся в настоящие ледники комнат. Электричества в деревне в то время еще не было. Мне осточертели чадящие керосиновые лампы, готовка на угле и глажение с помощью допотопного чугунного утюга. Вода в цистерне замерзла, а вслед за тем полопались трубы.

Из письма родителям, зима 1946/47 года:

«Похоже, завтра мне снова придется три часа откапывать нас из-под снега. Автобусы не ходят. Чувствуешь себя одинокой и заброшенной. У крестьян настроение мрачное. Год будет плохим и в смысле продовольствия и в политическом отношении. Американская внешняя политика чревата катастрофическими последствиями. Разумеется, их курс давным-давно ни для кого не секрет, но я не ожидала столь грубой и открытой акции. Они даже не пытаются скрыть, что хотят везде, где только можно, задушить левое движение других стран, создают военные базы против России и стремятся господствовать в возможно большем числе стратегических пунктов. Случай с Грецией и Турцией, а также то, как они об этом объявили, и выбор момента — крупный шаг навстречу следующей войне. Я удручена и испугана. Пока прочла лишь отклик в «Ньюс кроникл», нечто несусветно слабоумное и легкомысленное. Примерно так: «Это приведет к появлению в Греции более демократического правительства, ибо Америка настоит на этом!!!»

P. S.

Теперь мы полностью отрезаны от мира. Самый большой сугроб в деревне прислонился к нашему дому и доходит до гребня крыши.

P. P. S.

Трижды ура потребительскому кооперативу! Четверо здоровых мужчин пешком пришли в деревню. У каждого в заплечном мешке по 80 фунтов хлеба. Отправляю это письмо с ними».

Весна 1947 года.

«Моя первая платная постоялица съехала. Мне казалось забавным тащить поднос, нагруженный разными вкусностями, в комнату к молодой даме и подавать ей «завтрак в постель». Но что поделаешь — нужны деньги».

Я решила по возможности перейти на самообеспечение. Наш сад был для этого достаточно велик.

Юргену, май 1947 года:

«К моему величайшему изумлению, все посеянное в саду бурно пошло в рост, хотя и не в таких масштабах, как сорняки, которые я считала выкорчеванными».

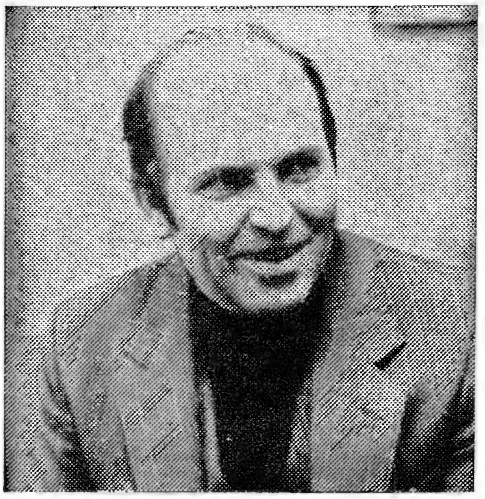
Действительно, вскоре у нас был довольно рентабельный огород. В отличие от работы по дому, которую я всю жизнь ненавидела, возня с огородом доставляла мне радость. Мою цветную капусту хвалили даже знатоки. Я завела кур и усадила несушек на яйца. Приобрела пятинедельного поросенка. Дети так его полюбили, что пришлось обещать ни в коем случае не забивать скотинку.

О Лене и его делах я писала Юргену в 1947 году:

«Лена на работе ценят. Но изматывается он так, что после работы ему бы только добраться до постели. Вот и сидим оба в моральном болоте, тем более ужасном, что его болото в Лондоне, а мое — на расстоянии 120 километров оттуда. Когда любишь, не слишком-то весело после трех лет армии видеться дважды в месяц. Маргарита, теперь моя постель — мой университет: каждый вечер я читаю по одной из Юргеновых лекций. Его стиль доставляет мне истинное наслаждение».

Перевод с немецкого И. БУЖИНСКОЙ

(Окончание следует)



Винцент Шикула

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«Я стал писателем, потому что плохо играл на валторне»,— пошутил Винцент Шикула, когда на встрече в редакции речь зашла об истоках его литературной деятельности. И в самом деле, немногие из почитателей Шикулы знают, что известный словацкий писатель — автор многочисленных повестей и рассказов, а ныне уже и трех романов (один из которых, «Мастера», опубликован нашим журналом, 1979 г., № 4, 5), лауреат многих отечественных и международных литературных премий, заслуженный деятель искусств — начинал свой путь как музыкант. Он окончил Братиславскую консерваторию по классу духовых, а потом несколько лет преподавал теорию музыки и вел класс духовых в народном институте музыкального и театрального искусства в Модре, маленьком городке под Братиславой, знаменитом тем, что там похоронен неукротимый певец свободы, «будитель» словацкого народа Людовит Штур. В Модре Шикула живет и поныне, а родился он в деревне Дубовой, неподалеку от Модры. Он и сейчас не порывает с родной деревней: играет в деревенском духовом оркестре на свадьбах и похоронах, а случается — и на органе.

— В нашей семье было двенадцать детей, как апостолов. Отец был человеком верующим и думал, что раз нас столько, то никто не умрет — и впрямь, мы все до сих пор живы. Куда ни поедешь, везде — Шикулы. Сестер и братьев — поровну, и почти все стали музыкантами, выучились играть на чем-нибудь — кто на кларнете, кто на гобое. Старший брат играл в военном оркестре. Два брата играют в Банска-Бистрице в опере, один в Братиславе. Третий пишет музыкальные либретто. Отец, лесоруб, играл на кларнете и, бывало, подрабатывал этим на свадьбах. Сам я с пятнадцати лет служил органистом, а потом много поездил по Европе с народным словацким оркестром «Лучница».

Писатель-музыкант или музыкант-писатель, что в нем первично, что вторично — сказать трудно. Он пишет словно музицирует, а говоря о музыке, словно слагает свою прозу. Вдохновенно объясняет он законы музыкального контрапункта, гомофонии и полифонии, по которым, собственно, и строится архитектоника его многослойной, многомерной прозы, где такое значение приобретают ритм, мелодика, интонирование, различные звуковые соотношения и т. д.

Сейчас Шикула задумал написать «Историческую грамматику», произведение из четырех новелл, цель которого — воссоздать историю зарождения и утверждения в родном языке исходных слов. От слова, от звучания слова он идет к структуре языка, но, разумеется, не путем чисто лингвистических изысканий, а исследуя звуковую и образную его сущность.

— Я хочу написать книгу, куда войдут кроме моих раздумий о собственном поиске в прозе литературные портреты таких мастеров, как Иван Краско, Лацо Новомеский, Мирослав Валек, Константин Паустовский. Это будут как бы мои взгляды на литературу, и выбрал я тех, кого люблю. Я написал уже о большом словацком поэте Доброславе Хробаке. В словацкой литературе, как правило, мало уделялось внимания звуку, и это в значительной мере обезличивало и обедняло язык. Но ведь речь — это один из самых совершенных музыкальных инструментов. И я хочу свое внимание сосредото-

чить на широкой оттеночной гамме звука. Пожалуй, только в поэзии еще есть люди, думающие об этой стороне языка. Я не спешу с этой книжкой — многое еще нужно продумать, многое должно постепенно дозреть.

Винцент Шикула — пример того редкого (или нередкого?) единства, когда творчество неразрывно связано с повседневной жизнью, когда писатель неотделим от своих героев, среди которых он вырос, которых любит и знает, всех этих мастеров своего дела — плотников, жестянщиков, кузнецов, когда, наконец, невозможно провести грань, за которой остается этот, казалось бы, обыкновенный, простодушный и наивный на вид человек и начинается писатель, преобразующий в своей таинственной лаборатории все, что увидел и услышал. Шикула не существует в ином пространстве, в ином измерении, чем творчество, какие бы формы в данный момент оно ни принимало. Он неустанно все подмечает, во все вглядывается, все творчески переосмысливает. Он творит и в кругу друзей, за чашкой чая или бутылкой вина, увлеченно рассказывая им неповторимой своей словесной вязью о случившемся в его жизни и неслучившемся, и это уже по-настоящему зрелые заготовки для его, шикуловской, прозы, те самые легкие перьевые миниатюры, которыми инкрустированы его большие полотна, где в конце концов все связывается воедино, где большое постигается через малое, высокое через повседневное, грустное, а подчас трагическое через смешное.

Шикула творит и тогда, когда он оказывается совершенно в другой, как бы экзотической для него части света: на сей раз, в свой четвертый приезд в Советский Союз, он был окружен радушным гостеприимством казахских писателей. Он сразу проникся духом казахской культуры, обычаев, а главное, песни. «Душу народа я познаю через песню»,— говорил Винцент своим новым друзьям и тут же начинал инструментировать только что услышанную им казахскую народную мелодию.

Творит он и оказавшись в мастерской московского художника, уставленной предметами стародавнего русского быта, когда заставляет звучать, воскрешая к жизни, заброшенную и разбитую фисгармонию, мастерски исполняя на ней фуги Баха, патриотические гимны штуровцев и воителей Яна Жижки или просто народные словацкие и русские песни.

Где бы Шикула ни был, он повсюду ищет «побратимов» своего героя — простого человека из народа, будь то в Москве, в Новосибирске или алма-атинской чайхане. Этим, по-видимому, определяются и его литературные вкусы, в частности его внимание к нашей современной русской прозе.

— Из современных русских писателей мне ближе всех Белов, Астафьев и конечно же Распутин. Такие писатели помогают мне. «Мастера» — это моя первая книга о Словацком национальном восстании, о котором я задумал написать еще в 1970 году. После этого романа вышли у меня еще два — «Герань» и «Вильма», составившие с первым трилогию. Главное внимание я сосредоточил на психологии моего героя, который может быть кем угодно: и плотником, и кузнецом, и слесарем. «Мастер» для меня прежде всего синоним словака, знающего свое дело, свое ремесло. В этом плане я осмысляю и исторический факт нашего Восстания. Многие тогда пошли в партизаны, не проявляя при этом особой политической сознательности. Просто из самых естественных побуждений, потому что это касалось товарищей, отчего дома, народа, жены и детей — словом, близких дел и людей. В основе моего романа о Восстании лежит мысль, что, хотя и прошло с той поры много времени, оно живет в нас, живет и в таких вот маленьких людях, как мои герои. Мне казалось важным изобразить проявление человечности и героизма самых простых людей. По моему глубокому убеждению, героем является и тот солдат, который пал на поле боя прежде, чем кто-то успел заметить, что он герой.

Об этом и моя последняя книга «Вильма», главное действующее лицо которой— наивная деревенская женщина — постепенно становится настоящей героиней. А сколько было таких вот женщин, мужья, братья, отцы и сыновья которых ушли на Восстание! Сколько было таких маленьких, обыкновенных людей, которых, по нашему представлению, Восстание даже не коснулось? Но ждать и не дождаться, а если и дождаться, то не того, кого ждал, а калеку — разве это не героизм? Словацкой женщине приходилось обихаживать мужа, сына, отца, а тем оставалось только смотреть, как она до времени увядает.

Для меня главным было рассказать о них, о простых людях, которые участвовали в Восстании, хотя казалось, что они в нем и не участвуют. По сути дела, они участвуют в нем и по сей день. Они герои, хотя и незаметные.

Я верю в победу добра и прекрасного, ибо оно бесконечно, бессмертно, оно передается от поколения к поколению, как слово или улыбка Каждое поколение сильно теми людьми, кто знает, где искать это прекрасное. Добро не умирает, смертна только ненависть. Я часто вспоминаю свою школьную учительницу — говорили о ней разное, но память моя сохранила о ней только хорошее. Однажды я, деревенский мальчишка, сидел пригорюнившись на лавочке. А она, проходя мимо, подняла с земли и протянула мне глиняный яркий шарик, какие обычно покупали дети на ярмарках, на городских базарах,— мы тогда играли в такие шарики. Она протянула мне его, и мне стало веселей. Учительницы давно нет, а память о ее добре до сих пор живет в моем сердце. Я рассказывал об этом моим ученикам, а они, возможно, еще кому-то, и так добро ее пережило ее самое. Я верю, что эстафета памяти бесконечна, и в этом усматриваю связь поколений. С этой точки зрения я пытаюсь оценить и значимость сегодняшних дел. Только тот исторический факт является фактом, который значим для будущих поколений. Современники же порой не могут в полную меру осознать его значение.

Писатель как стратег на войне; иной раз ударит напрямик, а иной раз идет окольным путем. Мне, например, было бы подчас

трудно осуществить свой замысел без комического, без юмора. Смех помогает там, где другие средства бессильны. Где искать истоки моего юмора и далеко не безобидной иронии в моей прозе? Ведь я рос в многодетной семье, время было тяжелое, война, мы страшно бедствовали, на хлеб не хватало, а смеха всегда было вдосталь. Смех всегда помогал. Мои братья и сейчас постоянно задирают своих друзей, а те никогда на них не обижаются. Вот и мне с раннего детства привилось очень чуткое восприятие всего окружающего и постоянное желание подтрунить. Отсюда, наверное, и мой «тон» повествования. Если бы я даже и старался писать иначе, ну, скажем, строже, солиднее — мне не удалось бы, все равно отозвался бы в тексте мой собственный голос. Я ведь и над собой смеюсь, помните в «Мастерах»? Я бываю даже беспощаден к себе. Не надо обижаться на шутку, на меткую остроту, хотя и не всегда бывает приятно увидеть как бы со стороны свои слабости. Смех помогает улучшить нашу жизнь, нас самих.

— Ваш роман, напечатанный в нашем журнале, встречен очень хорошо советским читателем. Мы получили много читательских писем, хороших отзывов.

— Я очень доволен, что ваш журнал опубликовал мой роман. Сейчас он переводится в Польше, Югославии, вышел в Чехии, предполагается издание в ГДР, но вы были первыми.

Писатель — жнец, он лишь собирает урожай, выращенный его народом, и ищет в этом урожае свой колос, а может быть, только зернышко. Счастлив тот, кто его найдет.

Если я поднимаю зернышко мака и кому-то дарю его, во мне по меньшей мере тысячи рук, которые помогают мне протянуть руку!

Сколько людей работают над книгой, пока она увидит свет Сколько таких добрых людей, которые своим вниманием помогают писателю, и вы — одни из тех, кто столько делает для перевода наших книг на русский язык. Если собрать все мои книжки вместе, все их тиражи, то все равно это количество не сравнится с тиражом вашего журнала... Когда я буду дома и когда мне станет тоскливо, я буду вспоминать о вашей редакции и думать, какие теплые слова я должен был сказать вам и не успел сказать...

Винцент Шикула уехал на родину, держа в руке маленький букетик анютиных глазок и кленовые листья, собранные в саду Льва Толстого в Хамовниках.

Н. ШУЛЬГИНА
Фото А. Рикельмана

◆

Антирубрика

ДОНАЛЬД БАРТЕЛЬМ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЖАЗ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Завести полицейский джаз — великодушный почин управления полиции. Пожалуй, в основе идея была творческой и гуманной — найти лучшие методы работы, проклятой, грязной работы, которую должен выполнять блюститель порядка. Но из этой идеи ничего путного не вышло.

Полицейский комиссар (не нынешний, а бывший) привез нас по реке прямиком из Детройта. Там парни из нашего джаза обычно играли в «Подкове» два вечера в неделю, а иногда — в «Стеклянном драндулете». По пятницам и субботам. А днем работали почтальонами, мотались по домам, искусанные собаками, согнувшись под тяжестью рекламных бандеролей.

— В чем наши обязанности? — спросили мы у комиссара полиции.

— Будете играть,— ответил он.— Больше ничего.

Мы плыли по реке на байдарках, совсем как индейцы, и любовались своей темно-синей полицейской формой.

— Бросим вас в дело, как только возникнет опасность,— пояснил комиссар.— Заранее предвижу грандиозный успех этого начинания. Сыграйте-ка мне «Желтый закат».

Он и сам был желтый: больная печень, наверное.

— Наша профессия деликатная, не забывайте об этом,— продолжал он.— Деликатности-то полиции до сих пор недоставало. Иной старый полицейский чуть что хватается за дубинку.

Комиссар достал крошечную таблетку из крошечной коробочки и проглотил ее, запив шотландским виски.

В полиции нас встретили с подозрительным радушием. Впрочем, игра наша им поправилась. А комиссар докладывал мэру города (тоже не нынешнему, бывшему):

— Мой полицейский джаз — это слаженный, хорошо обученный, закаленный отряд антикоммунистов. В решающий час они продемонстрируют свою оперативность.

Мэр достал крошечную таблетку из крошечной коробочки и сказал:

— Поживем — увидим.

А идея комиссара заключалась в том, что если на улицах города начнутся беспорядки теплым августовским вечером — ну, там расовая резня, к примеру,— срочно высылается полицейский джаз. Подкатывает красивый темно-зеленый автобус, воют сирены, мигают красные сигнальные огни. Нас приветствуют как подкрепление благодарные стражи порядка в белых касках. Мы выскакиваем из автобуса, высоко подняв инструменты. Тонкая цепочка музыкантов — лицом к лицу с разъяренной толпой. Мы начинаем играть «Одиночество». Волны неизведанного горячего чувства захлестывают бунтарей. Они зачарованно слушают. Наш эмоциональный накал оказывается сильнее. Искусство торжествует над суровой реальностью.

Такова была задумка. Вообще насчет музыкальных идей он был слабак — все-таки полицейский! Зато свои идеи, полицейские, развивал интересно.

Начались репетиции. Приосанясь, в руках инструменты, мы выходили из своего треклятого автобуса на каком-нибудь пустыре. Заранее чувствовали себя героями. Играли «Одиночество», «Всего один неверный шаг», «Стаканчик джина», «Расслабьте ваши нервы». Все вокруг затопляли чувства, вложенные в песни про разбитую любовь, брошенных

малюток, пустой карман и наркотики. Какие-то старухи высовывались из окон верхних этажей. Наша печаль очищала ржавые мусорные бачки и грязные двери старых домов.

Этот город — сущий кошмар! У обочины дороги вопила женщина. Мы не поняли о чем. Пьяница пытался удавить собаку. Оба рычали друг на друга: и пьяница и собака. Сущий кошмар этот город!

Мы тренировались без устали. Верно говорят, что все хорошие музыканты вышли из Детройта, но здесь мы уразумели, чего раньше недоставало нашей игре. И даже бывший полицейский комиссар, старый взяточник, личность, прямо скажем, малопривлекательная, услышал вопль отчаяния в нашей музыке. Он понял, что в людях растет надежда, что нашим черным музыкантам, как это ни странно, интереснее играть в джазе, чем таскать по улицам Детройта тяжелые сумки с никчемной рекламой.

Комиссар сказал, что одна из наших служебных обязанностей — мчаться туда, где люди дрожат от страха у себя дома. Вселять в них бодрость в трудное время. План был таков: мы стоим посреди улицы. Ударник исполняет соло на барабане, затем вступают остальные. Металлические жалюзи в домах начинают приоткрываться. Коротышка Аланио поднимает трубу в своей характерной манере. Мы наяриваем. Публика ревет от восторга.

Идея полицейского джаза была идеей романтической. Идея полицейского джаза себя не оправдала. Когда отправили на пенсию старого комиссара (он, оказывается, еще и наркотиками баловался), нас перестали возить на репетиции. И в деле нас так и не испытали.

— Романтика! — заявило новое начальство.— Бунт музыкой не подавишь. Вон сколько развелось недовольных. Надо отвечать ударом на удар.

Мы сидим в полицейских участках под тусклыми электрическими лампами и обсуждаем свою технику умиротворения. Но я подумал, вас обрадует известие о том, что полицейское управление все еще держит нас на службе. У нас в джазе отличные ребята, и наши нерастраченные чувства еще могут пригодиться. Вот потому-то нас и держат.

■

КОНРАДО НАЛЕ РОКСЛО

ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ НЕ ОХВАЧЕНО ПОСЛЕДНЕЙ ПЕРЕПИСЬЮ

Перевод с испанского АЛЕКСАНДРА БАЛЖИ

Улица. Дом, наполовину городской, наполовину сельский. За ним — скотный двор. Плетенная из проволоки изгородь с голубыми колокольчиками. За ней — щенок, он лает совсем как взрослая собака, когда я стучу. Вслед за щенком появляется дама, еще не совсем старая, но уже не совсем молодая. Она приглаживает волосы.

— Добрый день, сеньора. Я по поводу переписи.

— Переписи? Какая приятная неожиданность! Проходите, молодой человек, проходите. Как будут жалеть мои девочки, что их не было дома! Они это так любят!..

— Перепись, сеньора?

— Ну вообще визиты образованных людей.

— Спасибо, сеньора. Вы заполнили бланк?

— Какой бланк? Ах да! Документ? Я все перепутала. Знаете, каждый день приносят массу объявлений о распродаже, это просто ужас, каких-то там пилюль и еще бог знает чего!.. Люди просто утонули в бумажках. Вообразите, если покупать все, что рекламируют, просто не хватит времени. Ведь правда?

— Да, сеньора, время летит. Не будете так добры вернуть мне бланк?

— Вот незадача... Но ведь вы же нас простите? Видите ли, когда мы собрались его заполнить, мой племянник, сын моей сестры (она вдова), настоящий чертенок, опрокинул чернильницу, которую дал турок, что живет на углу. Такая досада!

— Не страшно, сеньора, вот тут у меня другой бланк и авторучка кстати. Кто здесь глава семьи?

— Мой муж.

— Как зовут вашего мужа?

— Звали, молодой человек, звали, так как он уже в мире ином. Он был жив и здоров, как мы с вами, но знаете, врач допустил ошибку, а когда мы позвали знахаря, было уже поздно. Тот велел привязать белую курицу к левой ноге больного, чтобы болезнь перешла на нее, но было поздно: курица снеслась, а мой муж скончался.

— Сочувствую, сеньора. Но сейчас-то кто глава семьи?

— Им всегда останется усопший, потому что я поклялась во время прощания с покойным и позже, на кладбище Чакарита, что больше никогда его не ослушаюсь. Он ведь очень сердился при жизни, когда мы с ним не считались. Вот как сейчас помню, как он разозлился на карнавале 1898 года, когда я нарядилась балериной... Впрочем, надо учесть, что он всегда был очень ревнив, без основания, разумеется.

— Позвольте, сеньора... Кто живет в доме?

— Мы. Кому же еще жить? До прошлого года жил еще здесь итальянец, единственный наш жилец, но вы же знаете этих итальянцев. Нелида, старшая из моих девочек, которая сейчас учится на курсах кройки и шитья, быстренько поставила его на место, а я сказала: «Вот и правильно, девочка, не нравится мне, когда рукам волю дают». Но я вижу, вам стало скучно? Давайте я включу радио.

— Ради бога, сеньора! Скажите мне, пожалуйста, кто живет в доме?

— С тех пор как съехал итальянец, только мы одни. Когда-то с нами жил мой кум, но в нашем квартале люди такие сплетники, а поскольку младшая из моих девочек, Аделита, на него очень похожа...

— Так что вы живете здесь со своими дочерьми?

— Временно, молодой человек, временно; только сейчас еще рано об этом говорить. Я все время твержу им, что надо переехать в квартиру с центральным отоплением и горячей водой. Ведь так будет лучше, вы как считаете?

— Да как вам сказать...

— Конечно, вы так говорите, чтобы не перечить Ноэми, ведь у нее здесь жених в печи, вот она и не хочет переезжать...

— Как это, жених в печи?.. А он не сгорит?

— Да это у нас так говорят, а работает он у печи на кирпичном заводе. Хороший парень, но без будущего.

— Сеньора, я умоляю вас отвечать на мои вопросы в самой конкретной форме!

— Мне кажется, я ничего и не скрываю. Да и говорю я с вами как с членом нашей семьи...

— Ладно, так как вас зовут?

— Касильда Ортигоса де Сальватьерра; Сальватьерра — это по покойному мужу, а его звали Бартоломе Сальватьерра. Ему довелось служить кучером у самого генерала Митре [1], а тот звал его тезкой. Генерал был такой простой! Вы его знали?

— Нет, сеньора, ведь мой возраст...

— Ах, ну да, вы еще совсем птенчик. Холосты?

— Нет, сеньора, женат.

— Что вы говорите! Вы шутите. Как может быть женатым такой веселый и так хорошо одетый человек! Во всяком случае, детей-то у вас нет?

— У меня трое.

— Близнецы?

— Нет, сеньора, все по очереди.

— А вы видели сестер-близнецов Дионе в кино? Мы очень любим кино. Для семьи это в высшей степени моральное зрелище. Впрочем, пикники — тоже увлекательно... А вы сколько зарабатываете, если это не очень нескромно?

— Послушайте, сеньора, ведь это я провожу перепись!

— Простите, если я вас обидела, не подумайте, что это пустое любопытство, но раз вы задаете столько вопросов, дай, думаю, и я тоже спрошу.

— При чем тут обиды, сеньора, просто мы так никогда не кончим.

— Понимаю... и вы торопитесь домой, к жене и детям... или еще куда-нибудь, лицо-то у вас вон какое хитрющее!.. Но вы поступаете плохо, муж не должен давать плохой пример. Зачем далеко ходить, я, например, всегда говорила это моему покойному; но он хоть бы что, то с одной, то с другой, пока не произошел случай с кукурузой. Впрочем, ему это только пошло на пользу.

— Разумеется, сеньора. Возраст?

— Девчонке было не меньше двадцати, хоть она и утверждала, что восемнадцать. Ох, и лживая была...

— О какой девчонке вы говорите?

— Конечно о той, что из истории с кукурузой. По мне, лучше, чтобы вы знали правду, не люблю я сплетничать. Но с кукурузой ее отец несколько перебрал. Как хохотал генерал Митре, когда ему рассказали! Он был такой весельчак!

— Ради всего святого, сеньора, давайте же закончим!

— Хорошо, я расскажу в двух словах. Так вот, покойник волочился за дочкой хозяина каретного сарая, где он оставлял экипаж, ну и вот отец девчонки узнал про это, а так как он был женат, мой муж то есть, тот и поклялся отомстить, и однажды вечером, когда муж пошел поставить экипаж, он подстерег его с вилами, привязал к яслям и не отпускал, пока тот не съел кило кукурузы.

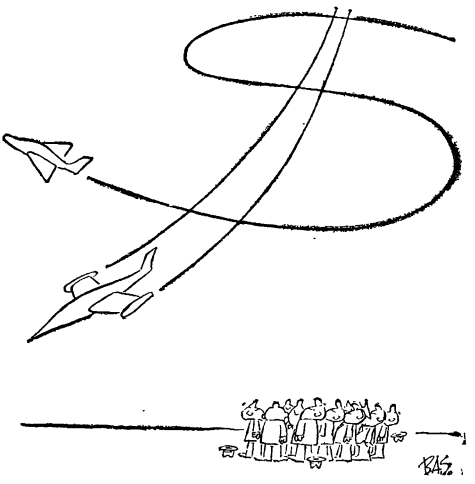
— Какая дикость!

— Да, слава богу, что кукуруза была молотая!

— Действительно. А теперь, не скажете ли вы мне, наконец, сколько вам лет?!

[1] Митре Бартоломе (1821—1906) — аргентинский политический и военный деятель; 1862—1868 гг.—президент(*прим. перев.*).

Б. МИТРОПУЛОС.
Греция
Без слов



АНТИРУБРИКА

— Ну как не сказать, вот еще. Как вы думаете, сколько мне?

— Сеньора, я не гадалка.

— А вы скажите, как вам кажется, посмотрим, угадаете ли; все говорят, что я хорошо сохранилась и мне никто не дает моих лет.

— Я больше не могу, сеньора, сжальтесь надо мной! Назовите мне (только без комментариев!) день, месяц и год, когда вы родились на мою голову!

— Я родилась в день святой Касильды, поэтому меня назвали Касильдой, хотя мама и хотела назвать меня Досией, как героиню одного романа, а папа — он был масон — Звездой Востока. А вы не масон?

— Какой еще масон! Я просто несчастный, который должен зарабатывать на жизнь! Но я сегодня же, сейчас же брошу эту работу, даже если жене и детям придется глотать молотую кукурузу всю свою жизнь!..

И я бросился бежать, а вдогонку за мной несся собачий лай и голос доньи Касильды:

— Да какая муха вас укусила!..

■

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР

РАССКАЗЫ

Перевод с английского ВЛАДИМИРА ПОСТНИКОВА и ИГОРЯ ЗОЛОТАРЕВА

Одним апрельским днем

(Попытка начать еще один роман с героями Голсуорси, взяв их там, где он их оставил)

На второй день после отплытия трансатлантического лайнера «Пикарди» в Америку, в апреле 1935 года, трое англичан, совершенно незнакомых друг другу: молодая женщина лет двадцати двух, темноволосый мужчина лет сорока трех и еще один, которому можно было дать от девяноста пяти до ста,— вошли в центральный обеденный салон из совершенно разных кают и сели играть в пикет. Это нарушение этикета подействовало на всех абсолютно одинаково: каждый устроился футах, наверное, в семи от карточного стола; так что, даже протянув руки во всю длину, невозможно было поднести карты к столу.

Вдруг молодой человек заговорил.

Воздействие этого нарушения этикета на других было различным: старик наклонился вперед, словно хотел с каким-то увядшим скептицизмом осмотреть ножки стола; молодая женщина вопросительно посмотрела на говорящего.

— Не встречала ли я вас у меня на свадьбе? — спросила она.— Я Флер Дезерт, вторая дочь Динни Монт, которая вышла за Уилфрида Дезерта; первой была Селия. У меня есть еще два брата — Майкл и Майкл.

Презрительная усмешка сошла с губ молодого человека.

— Я зять вашей сестры, Черрил Дезерт.

Неожиданно в разговор вступил старик:

— Племянник Форсайта Дезерта? Кузен старого Дерека Монта. Что стало с молодым Черриллом Дезертом? Бьюсь об заклад, все еще бродит по Востоку и пишет свои болезненные стихи.

Дезерт улыбнулся и покачал головой.

— Я Черрил Дезерт,— сказал он.

Старик, казалось, удивился.

— И скорей всего, там и умер,— проворчал он.

«Он, должно быть, давно не был дома»,— подумала Флер Дезерт.

— Черрил Дезерт женился на второй дочери Динни Монт, Флер,— сказала она.— У них двое детей — Динни и Флер.

Легкий румянец покрыл ее щеки. Презрительная усмешка, готовая было снова появиться на устах молодого человека, угасла.

— Я отлично вас помню,— сказал он.— Вы дочь Уилфрида Дезерта.

— Жена кузена старого Дерека Монта,— сказал старик с какой-то скептической усталостью.— Приемная племянница Форсайта Дезерта.

Двое других взглянули на него с откровенным удивлением.

— Я дядя Адриан,— сказал старик.— Или его брат, Марк. Я не всегда помню, кто именно. Однако если я Марк, значит, я буду страшно страдать морской болезнью.— Он свирепо оглядел салон, заполненный, казалось, удивительными карточными столами.—Мне нравится, как стоят эти столы,— сказал он. Корабль слегка качнуло.— Желудок у Марка был не для океана.— Он неожиданно хихикнул.

«Это Адриан,— подумала Флер.— Дядя Лоуренс всегда говорил, что Адриан Монт знает толк в столах».

Старик перестал наконец изучать карточные столы.

— Ножки длинноваты. Но вроде бы держатся

Он вытащил из кармана поразительные старинные часы, огбивавшие дни, месяцы и годы. Они пробили 5 апреля 1935 года.

— Бог мой! День рождения тети Шейлы! — вскричала Флер.— А я забыла послать ей радиограмму!

Старик криво усмехнулся.

— Я был у какого-то Монта или у ее матери,— сказал он,— в тот день, когда стали отмечать эти дни рождения. Там был Реналд Ферс и какой-то маленький китайчонок, тетя Алисон со своей младшей, крошкой Анной, и дядя Хилари, и Тони. Монти Маскхэм тоже — он потом стал Маски Монтхэм. Это война вывернула его наизнанку. И дядя Лоуренс, брат моего отца. И дети Динго — Селия и Мористон.— Он на-

хмурился.— Всех теперь разбросало. Да и все теперь разбросано, если на то пошло.

Презрительная усмешка вновь заиграла на устах молодого человека.

— Реналд Ферс занимается углем и фуражом, дочь Хилари и Тони, Джин, вышла замуж за какого-то старого советника при Доме правительства в Рангуне. Не знаю, что сталось с этим китайчонком. Дядя Лоуренс переводит бумаги Министерства иностранных дел на русский для Советов — черт бы побрал этот бюрократизм! Дети Динго вышли замуж друг за друга и разбили сердце старого Форсайта Динго.

— Форсайт Динго был влюблен в Селию Динго, правда? — спросил тот, что был постарше. Выражение угрюмости на лице более презрительного из двух еще более усилилось.

— Форсайт Динго был ее отцом,— сказал он,— и ее зятем тоже — после того как она вышла за своего брата.

Старик неожиданно засмеялся.

— Я бы не прочь взглянуть на старого Форсайта,— сказал он.— Мы, бывало, вдвоем играли с ним в бридж в четыре руки.

Он посмотрел на дочь Динни Монт, за матерью которой он отправился на Восток. Ему хотелось знать, что́ такое она. Хотя, если разобраться, какая разница? Все женщины в его представлении были одной женщиной. Он же был двумя мужчинами и, как старый Форсайт Динго, всех их превосходил количеством. Возможно, поэтому-то он и живет. Поэтому да еще, может, потому, что у него такой глаз на столы — если только он Адриан. Марк Монт в столах никогда ничего не смыслил. Старик покрутил заводную головку своих часов, вернув их к 1894 году, и вдруг обнаружил, что, кроме туфель и носков, на ногах у него ничего нет. По какому-то странному недосмотру он позабыл надеть брюки. Это нарушение этикета сразу же подействовало на других. Зять Уилфрида Дезерта встал, то же самое сделала и дочь Динни Монт. На лице старика появилось какое-то проницательно-подозрительное выражение.

— А я, например,— заявил он,— ни за что не сойду с этого места.

Молодой человек засмеялся и обратил свои темные глаза на Флер.

— Давайте завтра вместе пообедаем,— предложил он.

— Давайте. Где?

— Да прямо здесь, на судне. Так будет проще. Мы ведь уже два дня плывем, вы знаете?

Они вместе прошли через салон к выходу.

«Быстр, как всегда,— подумала Флер.— Такой предупредительный».

Старик остался сидеть там, где был и где, собственно говоря, он был намерен сидеть всегда, если только кто-нибудь не придет и не унесет его или не принесет ему остальную одежду.

— Эх, Англия, Англия! — пробормотал он.

Его беспокоило то, что Адриан Монт, более представительный из двух братьев Монтов, взял да и потерял брюки. Вдруг его стало слегка подташнивать.

С легкой улыбкой он радостно подумал: «Я — Марк».

Спрятаться в ящике

Женщина в ужасной шляпке подняла наконец свой мешок с бакалейными товарами и вышла, разглядывая по дороге томаты и салат.

— Чем могу быть полезен? — осведомился продавец.

— Нет ли у вас ящика? — спросил я.— Большого такого, чтобы можно было спрятаться.

— Вам нужен ящик? — переспросил он.

— Мне нужен ящик, в котором можно было бы спрятаться,— подтвердил я.

— Что вы имеете в виду? Большой ящик?

— Да, большой,— сказал я.— Настолько большой, чтобы я мог в нем уместиться.

— У меня нет никаких ящиков,— ответил он.— Только картонные коробки, в которых привозят банки.

Я попытал счастья еще в нескольких бакалейных магазинах, но ни в одном из них не оказалось ничего подходящего. Не оставалось ничего иного, кроме как снова взглянуть в лицо жизни. Я не чувствовал себя сильным человеком, и вот с некоторых пор мною завладело всепоглощающее желание где-нибудь надолго спрятаться.

— Вы хотите сказать, что намерены укрыться в этом ящике? — спросил меня один бакалейщик.

— Укрыться в ящике — это в какой-то мере уйти от жизни. Ограничивает заботы и тревоги. Да и людей не видишь.

— А как же, черт возьми, вы будете в этом ящике есть? — спросил бакалейщик.— Как же там есть?

Я сказал, что никогда в ящике не был и на этот счет как-то не подумал, но все, видимо, каким-то образом устроится.

— Ну,— сказал он наконец,— ящиков у меня нет, только несколько картонок из-под консервов.

И так везде. Когда стемнело и бакалейные лавки закрылись, я сдался и снова спрятался в своей комнате. Я выключил свет и лег на кровать. Когда темнеет, как-то лучше себя чувствуешь. Я мог спрятаться в чулане, но люди ведь страшно любят открывать двери. В чулане тебя обязательно кто-нибудь найдет. Все напугаются, и придется объяснять, почему ты в чулане. А на большой ящик, лежащий на полу, никто и внимания не обратит. В нем можно пробыть целую неделю, и никто — даже уборщица — не подумает заглянуть в него.

Моя уборщица приходила каждое утро и будила меня. Я все еще чувствовал себя плохо. Я спросил ее, не знает ли она, где достать большой ящик.

— Какой примерно величины? — спросила она.

— Мне нужен такой, чтобы я мог в него залезть,— сказал я.

Она посмотрела на меня большими мут-

ными глазами. У нее что-то не в порядке с гландами. На вид она ужасна, но у нее доброе сердце, что для меня еще хуже. Она просто невыносима. Муж у нее болен, дети болеют, сама тоже больна. Я стал думать, как было бы приятно, если бы я сидел сейчас в ящике и мне не нужно было бы ее видеть. Я был бы в ящике прямо тут, в комнате, а она бы ни о чем таком и не знала. Мне вдруг показалось интересным, появляется ли желание залаять или засмеяться, когда кто-нибудь, ни о чем не подозревая, проходит мимо ящика, в котором ты сидишь. Вполне возможно, что у нее остановилось бы сердце, сделай я это, и она бы умерла на месте. Служители, лифтер и мистер Грамадж обязательно нашли бы нас. «Чертовски забавный случай произошел у нас вчера,— скажет швейцар своей жене.— Я впустил эту женщину убрать в 10-Ф, но она так и не вышла, понимаешь? Она никогда не бывает там больше часа, а на этот раз не вышла вовсе, понимаешь? Ну, подошло мне время сменяться, я и говорю Креннику, лифтеру, что, говорю, дьявол, могло случиться с женщиной, которая убирает в 10-Ф? Не знаю, говорит. Я, говорит, и не видел ее после того, как наверх отвез. Пришлось мне сообщить об этом мистеру Грамаджу. Простите, что беспокою вас, говорю, но с женщиной, которая убирает в 10-Ф, что-то случилось. И рассказал ему все. А он говорит, надо бы пойти посмотреть, и мы все трое поднимаемся наверх и стучим в дверь, звоним, понимаешь, но никто не отвечает, и он говорит: придется, мол, все-таки войти. Кренник открыл дверь, мы входим, и тут эта женщина, что убирает 10-Ф, мертвая, как селедка, лежит на полу, а джентльмен, который там живет, сидит в ящике».

Уборщица все смотрела и смотрела на меня. Даже как-то не верилось, что она не мертва.

— Это своего рода уход,— пробормотал я.

— О чем вы? — сухо спросила она.

— Не знаете ли случайно, где можно найти большие ящики для упаковки?

— Нет, не знаю,— ответила она.

Я все еще не нашел его, но мной до сих пор владеет прежнее всепоглощающее желание спрятаться в ящике. Быть может, оно уйдет, и я больше ни о чем таком ни разу не вспомню. Кто знает.

Есть что сказать

Мы с Хью Кингсмиллом так стимулировали друг друга, что после первой встречи у него произошло завихрение мозга, а я, пролежав всю ночь без сна, утром оказался на грани нервного припадка.

Уильям Герхарди. «Мемуары полиглота»

Эллиот Веркер всегда легко входил в мою жизнь и так же легко выходил из нее. Он был единственным человеком, который стимулировал меня, причем обязательно до грани нервного истощения. Впервые я встретился с ним на вечеринке в Амауоке, штат Нью-Йорк, 4 июля 1927 года. Он прибыл около полудня в старомодном, запряженном лошадьми кебе и в сопровождении дамы в черном бархате, которую он представил как свою племянницу Ольгу Нетерсол. Позже, однако, выяснилось, что она не была ни его племянницей, ни Ольгой Нетерсол. Веркер же был писателем. Оттого, что все ночи напролет он сидел и говорил, он казался худым и истощенным. Он носил адмиральскую фуражку, которую стянул у какого-то адмирала. Обыкновенно при нем был кожаный саквояж, набитый перегоревшими электрическими лампочками: ему, видимо, доставляло несказанное удовольствие неожиданно разбивать их о стены домов и комнат. Ему нравился хлопающий звук, получавшийся при ударе — легкий звон осколков тонкого стекла. Необычайнейшую испытывал он любовь и к эхо. «Хелло-о-о-о!» — орал он, бывало, где бы ни находился, ужасным раскатистым голосом, способным вызвать эхо даже в прерии. В самый что ни на есть неподходящий момент, скажем в разговоре с ребенком или с сестрой викария, он мог пульнуть откровенно нецензурным словцом. Ни почтительности, ни заботливости в нем не было. Он засорял твой дом, прожигал окурками дыры в покрывалах и коврах и мог увести твою девушку, прихватив также три-четыре самых твоих дорогих книги или гал-

---

МЭЙК.
Швеция.
Без слов

стука. Он любил разбивать граммофонные пластинки, не отказывал он себе и в удовольствии разодрать напополам простыню или наволочку. А то, бывало, поотвинчивает шарообразные ручки с твоих дверей — и попробуй выйти, если ты дома, или войти, если ты снаружи. Огонь подлинно артистической натуры, редкий жест гения — вот что было его уделом. Когда я впервые с ним встретился, он работал над романом «Сью, с которой вы где-то встречались». Заглавие он взял, по каким-то непонятным соображениям, из известной фразы: «Мы с вами где-то встречались». Роман он так и не кончил, как, собственно говоря, не кончил — и даже не слишком далеко ушел от начала — ни одного своего писания, но мы тем не менее чувствовали, что он один из величайших и оригинальнейших умов нашего поколения. Что ему «есть что сказать», проявлялось решительно во всем, что бы он ни делал.

Веркер мог блестяще вести разговор на литературные темы: Пруст, Гёте, Вольтер, Уитмен. В душе он чувствовал к ним некоторое уважение, но иногда — как правило, когда бывал пьян,— он в крепких, язвительных выражениях всячески принижал их способности и достижения. Пруста, как я узнал позже, он сроду не читал, и тем не менее он сделал его понятней для меня и не таким уж маститым, а этого еще никому не удавалось. Заведя разговор, Веркер любил включить электровентилятор и тыкать в него сложенной газетой, а вращающиеся лопасти издавали звук, похожий на стрекот пулемета. Это возбуждало его и возбуждало меня, но, мне кажется, его — гораздо больше, чем меня. Он, во всяком случае, получал от этого нечто такое, что никак не давалось мне. Он возвышал голос, чтобы мне было слышно. Но даже так я иногда не мог разобрать, что он говорит. «Что? — кричал я.— Что?» — «Вы меня слышали!» — орал он, и его хорошего настроения как не бывало.

Я, разумеется, вовсе его не слышал. Ему нельзя было ничего доказать, невозможно было ни в чем его убедить. У меня в ушах до сих пор стоит стрекот этих вентиляторов. Мне кажется, они как-то на меня подействовали. Но ради Веркера, подававшего большие надежды, можно было и не такое вынести. Он, бывало, говорил об интересах, заключенных в жизни, о совпадении желания и исполнения, о символах искусства и действительности. Будучи трезвым, он любил цитировать Сантайяну.

«Сантайяна,— говорил он, когда напивался,— имеет вес У него тонна перьев». И закатывался смехом. Бывая у Тони, он забредал на кухню, оскорбив по дороге какого-нибудь кинокритика, повторял эту фразу тем, кто там находился, и с раскатистым смехом возвращался назад.

У Веркера была еще привычка шлепаться на один конец софы так, чтобы другой подскакивал вверх. Или же опуститься, как уставшая собака, на какой-нибудь хрупкий стул: что-то сразу же трещало, но он, казалось, никогда ничего не замечал. Пригласишь его на обед, или — что случалось чаще — заявится без приглашения, и вот, пока готовишь коктейли на кухне, он вдруг исчезнет. А потом окажется, что он отправился наверх, чтобы оторвать ванну от стены («Ломать свинцовую трубку — одно из самых очаровательных занятий в жизни»,— сказал он однажды), или же во время одного из своих необъяснимых припадков раздражения, бывших отличительным признаком его особенного гения, уйдет совсем. Он мог, разумеется, вернуться часа в два ночи с какой-нибудь ужасной женщиной, разжечь огонь и проговорить до самого утра, сталкивая вещи со столов, распевая или считая вслух. Однажды, помню, он лег спиной на софу и горьким сердитым голосом досчитал до двадцати четырех тысяч. «Достижения,— бывало, бросал он,— это сливки идиотизма». Он никогда не верил в то, что можно что-либо сделать или что уже что-то сделано на благо человечества или отдельного человека. Кабы не его философская леность, он мог бы написать подлинно великие романы. Мы все это знали и обращались с ним почтительно, чему теперь, когда его нет, мы искренне рады.

Как-то раз Веркер пригласил меня в дом, который оставила ему одна дама, уехавшая в Париж разводиться. (Потом она собиралась выйти замуж за Веркера, но он ни за что не хотел на ней жениться и с квартиры съезжать тоже не хотел, пока она не прибегла к помощи закона.) «Американские женщины,— говорил Веркер,— как американские колледжи: прямо мутит от всех этих женщин». Когда я пришел к нему, Веркер предпочел сделать вид, будто не помнит меня. Не так-то легко это вынести, особенно когда такой человек, как он, не в духе. Вот тогда-то ему и следовало бы писать, да только никогда он этим не занимался, предпочитая взамен блестяще разглагольствовать о других авторах. «Гёте,— говорил он,— это восковая фигура, набитая сеном. Тем, что Пруст был болен, сказано все. Шекспир — дурень. Если бы не было Вольтера, его не следовало бы и выдумывать». И так далее. Меня пригласили на уикэнд, и я собирался заночевать: никто из нас не оставлял Веркера одного, когда мы находили его в таком настроении. Он часто грозил самоубийством и раз шесть или семь пытался его совершить, но каждый раз кто-нибудь да оказывался под рукой и мешал ему. Однажды, помню, он поздно ночью поднял меня с постели в моей собственной квартире. «Уж на этот-то раз наверняка!» — сказал он и метнулся в ванную. Вбежав туда, я увидел, что он роется в домашней аптечке в поисках какого-нибудь яда. «Вам еще так много нужно сделать»,— сказал я ему. «Да,— согласился он,— и столь многих еще оскорбить». Он опять проговорил всю ночь и выпил бутылку коньяку, которую я собирался послать отцу.

Итак, когда он пригласил меня в дом этой дамы, я пошел принять душ, и он забрел в ванную. «Ты, взломщик, а ну вылазь из ванной,— сказал он,— не то полицию позову». Я, разумеется, засмеялся и продолжал мыться. Но не успел я вытереться, как пришла полиция — он таки послал за ней! Из Веркера вышел бы превосходный актер: он убедил полицейских, что в жизни меня не видел. Меня арестовали, увели и продержали всю ночь. Несколько дней спустя я получил

от Веркера записку. «Я никогда больше не смогу пригласить вас к себе в дом,— писал он,— после того как вел себя в прошлую субботу». Его раскаяния, хоть и прихотливые, были столь же искренними, как и его сумасбродные шарады, которые их вызывали. Предсказать его поведение было невозможно, сам он был исключительно труден для понимания, но что он всегда стимулировал — этого у него не отнимешь. Иногда он доводил тебя до такой точки, за которую, ты чувствовал, идти уже не можешь.

Однажды — мне этого никогда не забыть — Веркер едва избежал смерти. Известный американский промышленник пригласил нескольких американских писателей и гостивших в Америке английских литераторов к себе на Лонг-Айленд. Мы должны были совершить поездку в громадном автобусе, нанятом специально для этой цели. Веркер настоял на том, чтобы, когда мы доберемся до Лонг-Айленда, автобус вел он. Была гололедица, и на поворотах Веркер изо всех сил нажимал на тормоза, отчего тяжелую машину страшно заносило. Несколько раз нас гибельно близко подносило к канаве, а раз мы даже сломали, как спичку, большое дерево. Помню, с нами были Г. Дж. Беннет, Арнольд Уэллс, трое Ситуэллов и четверо или пятеро Во. Один из них, не выдержав, выключил наконец зажигание, а другой здорово треснул Веркера по голове заводной ручкой. Его друзья пришли в бешенство. Когда машина остановилась, мы вынесли его и опустили на жесткую, холодную землю. Марвин Дин, критик, положил голову Веркера, из которой ручьем текла кровь, на колени, взглянул на автобус, набитый писателями, и сказал: «Вы могли и убить его! А ведь он гениальней любого из вас!» Это было великолепно! Тогда удивительный Веркер открыл глаза. «Набросились, тоже мне...» — сказал он и снова их закрыл.

Мы поспешили отвезти его в больницу, где два дня спустя он снова встал на ноги. Он ушел из больницы, не сказав никому ни слова, и мы все скинулись, чтобы оплатить счет. У Веркера в то время были кое-какие деньжата, которые дала ему мать, но, как он заявил, они ему были нужны. «Я рад, что он здоров и выписался»,— сказал я няне, которая за ним ухаживала. «Я тоже»,— ответила она. Веркер на всех действовал одинаково.

Некоторое время спустя мы все решили создать фонд и послать Веркера в Европу писать. Вся его продукция, как обнаружил я, была представлена какими-то двадцатью или тридцатью жалкими страницами, причем на большей части из них были круглые пятна от стаканов с вином; на одной странице было начало пьесы, что-то более или менее в стиле Гертруды Стайн. Мне показалось, что это блестящая вещь в своем роде.

Мы собрали около полутора тысяч долларов, и мне поручили «подойти» к Веркеру, причем сделать это как можно тактичней. Мы знали, что продолжать ту жизнь, которую он вел, растрачивая свой талант, было безумием: неделями он пребывал в мрачном настроении — ходил в гости, пил виски, откручивал светильники со стен, метал искрящиеся насмешки в своих друзей и в признанных литературных мастеров всех времен и народов, ибо, мне кажется, Веркер видел их поверхностность яснее, чем кто бы то ни было другой. Кончалось все тем, что он ударялся в слезы. «Перед вами,— кричал он,— не будь боги так бессовестны, стоял бы величайший в истории мира писатель!» Мы чувствовали, что, несмотря на его пьяные преувеличения, в том, что говорит Веркер, есть крупица правды — и не одна: ведь ни в ком из нас огонь гениальности не пылал так ярко, как в Веркере, если только внешние проявления хоть что-нибудь да значат.

Он ни за что не хотел даже попытаться получить стипендию Гугенхайма. «Компендии Гугенхайма! — рычал он.— Вот вы и строчите их, жалкие пигмеи. Слышать ничего не хочу об этих стипендиях Гудинтайма!» И продолжал в том же духе около часа. Его тирада заканчивалась, наконец, одним из тех страшных божественных припадков, когда он мог разнести любую квартиру, неважно чью, меньше чем за четверть часа.

Веркер, к большому моему удивлению и радости, взял эти полторы тысячи без всяких сцен. Я ожидал, что он отречется от нас всех, что он пустится в одну из своих блестящих филиппик против денег, что, наконец, снова будет пытаться лишить себя жизни, поскольку прошло уже несколько месяцев, как он пытался сделать это в последний раз. Но нет. Он только немного поворчал — это правда,— но деньги принял. «Я в два раза дешевле»,— сказал он.

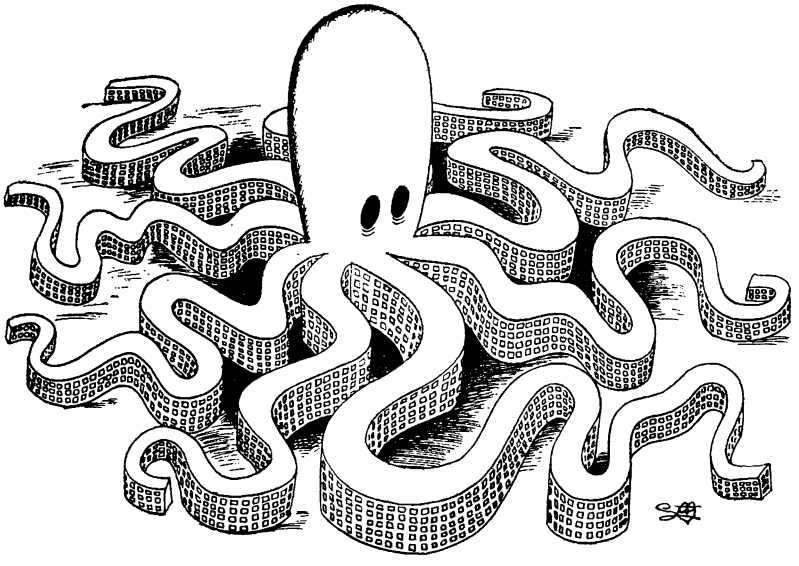
Столько денег сразу Веркер сроду не держал в руках, и нам, разумеется, не следовало бы давать ему их все. Вечером того дня, когда я их ему вручил, он здорово пошиковал в дешевых ночных клубах Уэст-сайда и в Гарлеме, выбросил сотни три, оскорбил нескольких женщин, фигурировал в кулачных боях с полицейскими, двумя таксистами и двумя мужьями, причем все они одержали верх. Мы сразу же решили отправить его на корабле, отплывавшем в Шербур через три дня. Каким-то чудом нам удалось уберечь его до дня отплытия, когда мы устроили для него прощальную вечеринку в доме Марвина Дина. Там были все: Джин Тэнни, сэр Хьюберт Уилкинс, граф фон Лукнер, Эдвард Бернес, в общем — исключительно литературная и артистическая среда. Веркер страшно напился. Он поносил всех присутствовавших, а также Хью Уолпола, Джозефа Конрада, Крейна, Генри Джеймса, Гарди и Мередита. Потом остановился на «Джуде Незаметном». «Джуд Незаметный,— кричал он,— Джуд Непристойный, Джуз Недаметный, Незам Джудолунный». Он комбинировал из своих глубоких критических оценок и редких творческих способностей некую уникальную фантазию, весьма похожую на фантазию Льюиса Кэрролла. Я как-то сказал ему об этом. «Вот еще! — возмутился он.— Сравнил со своей чертовой бабушкой!» Он был чувствителен, ненавидел, когда его хвалили в глаза, и после этого, понятное дело, к произведениям Кэррола относился с некоторым неуважением.

Итак, вечеринка продолжалась. Все потеряли дар речи и стояли зачарованные, слушая Элиота Веркера. Нельзя было не заметить его силы. Он умел сделать себя единственным и неповторимым. К одиннадцати

я почувствовал, что нам пора закругляться и отправляться на пристань, поскольку корабль отходил в полночь. Веркера нигде не было. Мы встревожились. Обыскали все комнаты, заглянули под кровати и в кладовки — безуспешно. Веркер исчез. Кто-то бросился вниз по лестнице на улицу, спрашивая прохожих и таксистов, не видели ли они высокого, тощего, дикого на вид человека с ниспадающими на глаза волосами. Никто не видел. Была почти половина двенадцатого, когда мы догадались посмотреть на крыше, куда можно было забраться по лестнице через люк. Веркер был там. Распростертый во всю длину своего тела, он лежал ниц, его затылок был разбит каким-то тяжелым предметом, скорей всего бутылкой. Он был совершенно мертв. «Потеря для всего мира,— пробормотал Дин, глядя на жалкий прах, столь недавно бывший ярким гением, полным огня и жизни, знать которого нам выпала такая честь.— Он стал добычей ада».

Мне кажется, он выразил мысли всех нас.

◆



СКУЛАС. Греция. Без слов.

Среди книг

Издано в СССР

ТЩЕТНЫЕ ПОИСКИ АЛЬТЕРНАТИВ

Культура и идеологическая борьба. Под общей редакцией Н. В. Новикова и А. И. Арнольдова. Москва, «Мысль», 1979.

Воистину время тревожного ожидания переживает сегодня западное общество. Люди окончательно потеряли веру в лучезарный завтрашний день. В страхе ждут они экономической катастрофы, энергетического кризиса, взрыва социального протеста наподобие «студенческой революции» 1968 года, всевозможных экологических бедствий.

Иные буржуазные пропагандисты объясняют эти панические ожидания неизвестно откуда взявшимся «коллективным умопомешательством». Их более трезвые коллеги считают, что страх перед будущим есть признак грозного кризиса, переживаемого обществом и его культурой. И те и другие оказались в незавидном положении. Люди требуют от них ответов на «проклятые» вопросы: куда идет их общество, что ждет их завтра, в чем причина свалившихся на них неприятностей?

«Расширение и углубление общего кризиса капитализма, обострение противоречий в экономической и политической областях жизни буржуазных государств,— отмечает А. И. Арнольдов во введении к коллективному труду «Культура и идеологическая борьба»,— заставили буржуазных идеологов задуматься о причинах этих явлений. Некоторые из них пытаются найти эти причины в развитии современной буржуазной культуры». При этом разработчики и охранители идеологических доктрин, пытающиеся обмануть возмущенное общественное мнение, ищут не только причины, но и способы преодоления духовного кризиса, разрабатывают некие «спасительные» альтернативы.

Речь, разумеется, идет о лжеальтернативах. Согласно классическому своему определению, альтернатива — это каждая из исключающих друг друга возможностей. Значит, альтернатива буржуазному обществу, альтернатива буржуазной культуре должна неизбежно привести к их отрицанию.

А вот этого западные идеологи не хотят. Поэтому и идут на всевозможные ухищрения, которые именуют решительным и бесповоротным термином — альтернатива.

В связи с этим перед авторским коллективом книги «Культура и идеологическая борьба» встала четкая и определенная цель — проанализировать с критических марксистских позиций такие ухищрения, дать читателю по возможности полное представление о некоторых альтернативных моделях культурного переустройства, изобретенных западными социологами культуры.

Задача далеко не простая, особенно если учесть сравнительно небольшой объем книги. Однако авторы сумели выделить наиболее значимые черты буржуазной культуры 60—70-х годов, подвергнуть обоснованной критике домыслы западной идеологической службы (с помощью которых она надеется если не выправить, то во всяком случае замаскировать кризисную ситуацию), разоблачить лицемерие так называемых «социально-критических» теорий.

Искусство — своеобразный барометр культуры. По нему можно судить о надвигающемся духовном кризисе. Западные культурологи не на шутку обеспокоены безудержным процессом распространения низкопробного коммерческого искусства. В чем секрет его жизнестойкости и активности? Этот вопрос подробнейшим образом исследуется в главе «Буржуазное «массовое искусство»: философско-эстетические основы и творческие методы». Ее автор — А. В. Кукаркин не упрощает проблему (как это нередко делают иные специалисты по изучению бульварного творчества): массовое искусство — не просто грубый суррогат прекрасного, не просто стандартный продукт конвейерного производства «предметов искусства», а явление сложное и разноплановое. «Массовая культура» — протей, искусный оборотень (тем и ценна она для буржуазной идеологии): «отражая миронастроение «рядового»

обывателя, она нередко подделывается под демократизм, заигрывает с объективностью, а ее коммуникативные возможности в отдельных случаях используются для распространения произведений подлинного, в частности классического искусства». И вполне закономерно оценивает А. В. Кукаркин «массовую культуру» как опасное и эффективное средство, а лучше сказать — оружие манипулирования общественным сознанием в интересах правящего режима. Вот почему марксистской критике необходимо бдительно следить за развитием феномена буржуазной «массовой культуры» и беспощадно бороться с ним.

И тут большое значение приобретает информация о новых модедях этого оружия. В разделе «Буржуазная «массовая культура» и ее новейшие разновидности» Г. К. Ашин и А. П. Мидлер знакомят читателя с тремя главными типами «массовой культуры»: «кичем», «мидом», «артизированной культурой». К сожалению, об «артизированной», или, как ее еще называют — «игровой культуре»,— говорится гораздо меньше, чем, скажем, о «киче», о котором и без того написано много, к тому же период его становления приходится на 50-е годы. «Артизированная культура» заслуживает, чтобы о ней рассказали пространней. Ведь именно с ней некоторые западные мыслители, в частности француз Микель Дюфренн, связывают большие надежды на обновление духовной культуры. Они считают, что превращение общественной жизни в игру позволит навсегда уничтожить разницу между «элитарной» и «массовой культурой», разрешить все конфликты между ними и создать так называемое «народное искусство»— своеобразный фольклор «технотронной эпохи». Массового потребителя культуры приглашают участвовать в карнавале, вселенской игре — лишь бы он не задумывался над причинами духовного кризиса общества или, чего доброго, не стал участником организованного социального протеста.

Хотелось бы видеть более свежий материал и в главе «Процесс распространения буржуазной культуры и его противоречия» (автор — П. С. Гуревич), где в основном обозреваются работы Маклюэна, Моля, Эллюля и других социологов массовых коммуникаций, вышедшие в 60-е годы. Между тем в последнее время в этой области велись на Западе довольно интенсивные изыскания. Кроме того, следовало бы сказать о примечательно новом отношении к массовым коммуникациям левых радикалов, в недавнем прошлом лидеров «студенческой революции» 1968 года. К примеру, выходец из Западной Германии Дэниель Кон-Бендит, который некогда яростно нападал на «технологические уловки буржуазии», ныне выступает с призывами использовать кинематограф, радио и телевидение для пропаганды «революционных идей». К тому же объяснение причин возникновения новой точки зрения «леваков» на средства массовой информации позволило бы устранить некое композиционное зияние между этой и четвертой главой, посвященной анализу культурологических теорий Франкфуртской школы, одного из самых любопытных направлений буржуазной философии.

Многие альтернативные проекты по благоустройству буржуазной культуры имеют самое прямое отношение к Франкфуртской школе. Не случайно «новые левые» называли своими идейными наставниками наиболее заметных «франкфуртцев» — Теодора Адорно и Герберта Маркузе. Что же так полюбилось молодым бунтарям в их концепциях? «Нигилизм в отношении культуры прошлого (и настоящего)»,— объясняет Ю. Н. Давыдов. Да, тот самый нигилизм, который «делает воззрения франкфуртцев весьма близкими к тем, которые характерны для пролеткультовцев, подвергнутых самой решительной критике В. И. Лениным». Глава «Ликвидация» культуры в социальной философии Франкфуртской школы» — одна из самых удачных в книге: глубокий научный анализ сочетается в ней с четкостью и ясностью изложения. Правда, автор ничего не говорит о последних работах недавно скончавшегося Маркузе, в частности, книге «Контрреволюция и бунт». Труд этот примечателен тем, что свидетельствует о некоторых переменах во взглядах престарелого мыслителя. Причем переменах позитивных. Маркузе подвергает критике свое собственное отрицательное отношение к традиционным культурным ценностям. И все же главное — работа Ю. Н. Давыдова дает представление о генеалогическом древе крикливых теорий конца 60-х годов, призывавших расправиться с проклятой «культурой отцов» — буржуазной культурой.

Сегодня «молодежная культура», или «контркультура», повзрослела и остепенилась. Она уже не видит в «культуре отцов» ненавистного врага. Теперь уже многим понятно: «контркультура» — блудный сын, вернувшийся под родной кров. А ведь еще сравнительно недавно, каких-нибудь десять лет назад, воздух сотрясали истерические призывы: создадим «радикальную культуру — инструмент уничтожения классовых различий!» Именно так заявлял один из активных участников движения «новых левых» американский литературовед Луис Кэмпф. В «новой радикальной культуре» видел он спасительный выход из тупика и маразма, в котором оказалось его общество. Но только вот какой должна быть эта самая «радикальная культура», Кэмпф не знал. В чем, надо отдать ему должное, признавался.

Разумеется, не следует истолковывать молодежный протест 60-х годов как некий театрализованный бунт. Исследование К. Г. Мяло — «Проблемы романтического сознания в молодежной «контркультуре» 60-х годов» — лишено такого упрощенного подхода. «Анализ молодежного бунта,— пишет К. Г. Мяло,— позволяет заключить, что в нем получил выражение давно назревавший в недрах буржуазного общества протест против созданного этим обществом стиля бытия, а следовательно, и той культуры, внутри которой этот стиль утвердился».

Но протестанты мало чего добились своим бунтом, потому что не имели в своем распоряжении идеологического оружия, способного разрушить «культуру отцов». Правда, была у них «контркультура» — нелепая и противоречивая теория. Впрочем, ее

и теорией трудно назвать. Как признавался один из ее главных авторов — культуролог Теодор Розак, «детали ее («контркультуры») костюма позаимствованы из многих экзотических гардеробов: психиатрии, раздобревших со временем остатков левой идеологии, восточной религии, романтической Weltschmerz, социальной теории анархистов, дадаизма, фольклора американских индейцев и традиционной мудрости». Ныне «контркультура» уже не та: она утратила свою новизну и привлекательность. Только самые упрямые ее последователи — Розак, Гинзберг, Кастанеда — продолжают, хотя и без прежнего энтузиазма, пропагандировать экзотические свои домыслы. Они по-прежнему, по инерции, играют в интеллектуальный бунт, делают вид, будто всерьез заняты поисками некоего третьего пути, который приведет буржуазную культуру к желанному обновлению.

Наиболее трезвые западные мыслители уже убедились в утопичности таких альтернатив. И решили: пришло время выбрать если не новые маршруты социального переустройства, то во всяком случае иные ориентиры. Основная ставка делается на науку, но только не на физику, математику или биологию, как это бывало раньше. «Технократическим» дисциплинам противопоставляется вездесущая социология. А роль духовного лидера общества переходит к социологу. Сторонники социологической альтернативы объединились в особое движение буржуазной социологии культуры, названное ими «критико-конструктивистским». Э. А. Орлова показывает истинный характер этого нового течения западного обществоведения, участники которого критикуют как технократию, так и антинаучную позицию «новых левых». В главе «Критико-конструктивное направление в современной американской социологии» исследуется довольно сложный предмет. Однако основательное знание материала и умелое владение методом критического марксистского анализа помогают Э. А. Орловой решить поставленную проблему — доказать несбыточность проектов «новых социологов». Подобно своим предшественникам — франкфуртцам и контркультуртрегерам,— они недостаточно учитывают классовый характер буржуазной культуры. Проще сказать — не хотят учитывать. Ведь в таком случае уместно было бы применить куда более радикальные меры во имя улучшения системы культурных ценностей.

Но именно этих самых мер и боится буржуазная идеология. Смертельно боится. И поэтому пытается обмануть общественное мнение, показывая публике призрачные альтернативы. Но под какой бы маской ни выступал западный альтернативизм, он обязательно рано или поздно обнаруживает свою сущность. Важно увидеть эту сущность как можно раньше и разоблачить ее, доказав несостоятельность проектов «косметического ремонта» обветшавшего фасада антагонистического общества.

Такую столь необходимую для дела борьбы с буржуазной идеологией задачу и выполнили авторы и составители рецензируемой книги.

В. МОЛЧАНОВ

ПРАВДА ОБ ОГНЕННОМ ШАРЕ

Масудзи Ибусэ. Черный дождь. Вступительная статья М. Демченко. Перевод с японского Б. Раскина. Москва, «Художественная литература», 1979.

«Я был тогда курсантом военно-морской школы на одном из островов нашего Внутреннего моря. Как сейчас помню: мы стояли в строю на школьном дворе. И вдруг я почувствовал, что мой стриженый затылок резко припекло, опалило мгновенным жаром. Что произошло? Оглянуться мы не могли: не позволяла суровая дисциплина. Лишь потом я узнал: то был жар от взрыва атомной бомбы, сброшенной в этот день на город Хиросиму, за многие десятки километров от нашего учебного плаца...»

Это не цитата из книги. Так рассказывал автору этих строк японский поэт, коммунист, переводчик Маяковского Сотокити Кусака. В его старом родительском доме в Камакура было тихо и прохладно, за тонкими стенами длился мирный солнечный день, но мы оба невольно перенеслись мыслями в далекое лето 1945 года, когда здесь, на Японских островах, разразилась трагедия, которой еще не знало человечество.

В музее Хиросимы хранятся клочья обгоревшей одежды, стеклянные бутылки, чудовищно деформированные, оплавленные, скрученные адской температурой теплового излучения. В одной из витрин — множество часов, собранных в развалинах города, в еще теплом пепле, стрелки их — нет, не стрелки, а только следы их, навеки вожженные в циферблат! — показывают одно и то же время: время взрыва...

Люди смотрят на экспонаты музея, пытаясь представить себе, как это было. Представить трудно, почти невозможно... А нужно ли представлять, нужно ли воображать? Нужно: для того хотя бы, чтобы в конце страшной экскурсии написать в книге отзывов слова, уже начертанные здесь на многих языках мира: «Никогда больше!»

И потому непреходящей актуальностью обладают книги, подобные роману «Черный дождь» японского писателя Масудзи Ибусэ. Сюжет этого сравнительно небольшого для своего жанра произведения теснейшим образом связан с трагедией Хиросимы, композиция же книги такова, что к мгновению взрыва мы возвращаемся многократно и воспринимаем его глазами различных персонажей повествования.

«В пять тридцать утра за нами приехал на грузовике Нодзима. Проезжая через Фуруэ, мы увидели яркую вспышку пламени, потом услышали ужасающий грохот. Над Хиросимой, как при извержении вулкана, повисло черное облако...»— это строки из дневника героини романа, юной Ясуко. В то утро она была достаточно далеко от эпицентра взрыва, но все равно о ней пошли слухи, что девушка попала в зону облучения и рано или поздно заболеет. Она не может устроить свою личную судьбу, один за другим отказываются от

нее женихи. Дядя Ясуко — Сигэмацу — решает переписать и обнародовать дневник племянницы, чтобы убедить окружающих: девушка здорова, страшный радиоактивный черный дождь (о том, что он радиоактивный, тогда не знали, но теперь знают все!) не коснулся ее. Увы, уже в ходе переписки дядюшка Сигэмацу убеждается в наивности своих надежд. Для того чтобы достичь намеченной цели, дневник Ясуко надо редактировать, убирать некоторые детали, иначе подозрения только усилятся. А вскоре и это теряет смысл: Ясуко действительно заболевает. И теперь уже другая забота у ее близких: поддержать в девушке веру в жизнь, в возможность выздоровления, ибо только тогда возможно выздоровление,— подобные случаи, говорят, бывали...

Такова фабула. В общем несложная. Но нельзя не вспомнить здесь слова поэта о

...значенье двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

Снова и снова на судьбы Сигэмацу и его племянницы, на судьбы их соседей и знакомых бросает свою тень зловещее грибовидное облако, снова и снова оживает в памяти роковое мгновение:

«Внезапно полыхнуло бело-голубое пламя, раздался неимоверный грохот. Лодку развернуло, и она ударилась бортом о соседнюю. Сёкити кубарем покатился по днищу и больно ударился лодыжкой о борт. Оправясь от неожиданности, они заметили, что та часть бамбуковой трубки, которая выступала из-под навеса, обуглилась — то ли от ослепительного света, то ли от сильного жара... Нос, корма и борта лодки обгорели, только металлический трос остался неповрежденным. Уцелел и желтый навес. Только это и спасло Асадзиро и Сёкити, хотя избежать последствий излучения им не удалось...» Асадзиро и Сёкити — это односельчане Сигэмацу, отправившиеся в тот день на ловлю угрей. А вот как запомнился взрыв самому Сигэмацу, которого страшное мгновение застало в тамбуре электрички — он только-только успел вскочить в нее, только-только успел заметить на перроне знакомую женщину — хозяйку прядильной фабрики — и начать с ней деловой разговор. «В этот момент я увидел ослепительно яркий шар. И сразу же все окутала кромешная, непроницаемая тьма. Эту тьму пронзили возгласы: «Пропустите!», «Выходите же!» Вопли, проклятия, стоны...»

С большой впечатляющей силой рисует Масудзи Ибусэ апокалипсическую картину всеобщего разрушения и хаоса, ужаса и растерянности, охвативших людей в первые минуты после взрыва. Никто из уцелевших не понимает, что произошло, ясно одно: произошло что-то страшное, небывалое. Сигэмацу вспоминает вдруг, что совсем недавно знакомый рассказывал ему о странной листовке, сброшенной с американского самолета: «Жители Хиросимы, ждите от нас в скором времени подарочка». Не об этом ли «подарочке» шла речь?

Перед нами проходят, как в документальном кино, ужасные кадры: полусожженные тела погибших, обезображенные ожогами лица раненых, толпами бредущих и бегущих куда-то без определенной цели, ибо неясно пока: остались ли еще в этом мире какие-либо цели, какие-либо ценности?

В потоке бегущих — Сигэмацу и его знакомая, владелица фабрики. Постепенно возвращается какое-то подобие чувства реальности, возникает желание хоть как-то привести себя в порядок, отряхнуться, умыться: «Госпожа Такахаси, на вас столько пыли. Как будто седой парик на голове». Женщина отряхивается, ее примеру следует Сигэмацу — «с головы у меня посыпался мелкий пепел, словно я дунул в потухшую жаровню...» То был пепел сгоревшего города. Вот они уже спохватываются: Сигэмацу где-то потерял очки и шапку, Такахаси — сумочку с деньгами, документами, фабричной печатью. Возвращаются на станцию, от которой ушли довольно далеко,— и все находят среди чьих-то ботинок, деревянных сандалий, парусиновых туфель, зонтов коробочек с едой. Некому было подобрать потерянное, некому на него польститься: не тем заняты мысли у тех, кто еще способен мыслить в этом обезумевшем мире, где брат не узнает брата, а совершенно чужие люди цепляются друг за друга от страха и одиночества.

Таких подробностей, незначительных на первый взгляд, но полных глубокой внутренней значимости, много в книге Масудзи Ибусэ. Нет, писатель не «пугает» читателя нагромождением ужасов — кошмаром в те минуты и часы была сама действительность. Кошмарны были толпы людей, невесть куда бредущих и невесть чего ожидающих, кошмарны были первые полевые госпитали для пострадавших, где имена пациентов писали поначалу на уцелевших клочьях одежды, а тем, у кого одежда сгорела дотла,— прямо на голом теле. Жуткий смрад от многочисленных язв, покрывших облученные тела, стоял в этих лазаретах, десятками и сотнями умирали в них обреченные, и лишь немногим удалось выжить — как выжил, отчасти благодаря неусыпным заботам разыскавшей его жены, врач-резервист Хироси Иватакэ. Его дневник тоже включен в повествование, и вместе с ним мы еще раз переживаем мгновение взрыва.

Ни Ясуко, ни Сигэмацу, ни даже доктор Иватакэ не пытаются (да и не могут, наверное) размышлять об истинных корнях трагедии, постигшей их страну и их семьи. Они просто и страшно рассказывают о том, как все было. И все же образы рослого солдафона майора Нисио, юного лейтенанта Ёсихара, издевавшихся над Иватакэ и другими резервистами в учебном центре, достаточно определенно свидетельствуют о том, каковы позиции Масудзи Ибусэ по отношению к японскому милитаризму со всеми его воинскими «добродетелями».

Возможно, некоторым читателям роман Масудзи Ибусэ покажется отчасти фрагментарным, некоторые образы в нем — недорисованными, незавершенными. Но следует иметь в виду, что значение таких книг, как «Черный дождь», выходит за рамки чисто литературные. Однако нельзя

не заметить, что «запрограммированная» автором некоторая сбивчивость повествования, его «прерывистое дыхание» порой без нужды усугубляется неточностями, которых, даже если они есть в оригинале, стоило избежать при переводе. «В пять тридцать утра за нами приехал на грузовике Нодзима»,— цитировали мы уже дневник Ясуко. А на следующей странице, возвращаясь к тем же событиям, Ясуко сообщает, что Нодзима приехал в половине пятого! «Так когда же?» — недоумевает читатель. Очень подробно рассказывается, чем занимались юноши из отряда Кодзин (одного из так называемых «отрядов добровольного служения родине») в Хиросиме перед взрывом — разбирали в противопожарных целях некоторые дома, для чего «сначала подпиливали столбы и опоры, затем привязывали длинную веревку к коньку и, ухватившись за нее человек по двадцать, а то и по тридцать, тянули...». И в следующем абзаце: «На следующий же день по прибытии в Хиросиму, так и не успев приступить к работе, юноши из отряда Кодзин стали жертвами атомной бомбы...» Если не успели, так откуда все эти технологические подробности?

Подобные неточности обидны в любой книге и особенно в таких серьезных и нужных произведениях, как «Черный дождь» Масудзи Ибусэ. Нужных — подчеркиваю это еще раз. Ибо есть среди моих японских воспоминаний и такой эпизод: Нагасаки — второй из японских городов, подвергнутых атомной бомбардировке, мемориальный парк со знаменитой скульптурой, указывающей в небо, откуда пришла беда. «Здесь это было не так серьезно, как в Хиросиме»,— щебетала по-английски девушка-гид, явно получившая задание максимально поберечь нервы своих подопечных — заокеанских туристов, пожилых и упитанных. Она и старалась делать это, как могла: улыбалась и по возможности сокращала экскурсию. Кое-кому на земле выгодно убедить людей, что все это и впрямь было «не так серьезно», что пора уже о многом забыть, а к мемориальным комплексам Хиросимы и Нагасаки относиться едва ли не как к обычным туристским объектам. Этой опасной тенденции противостоят произведения многих честных художников мира. В том числе — и роман Масудзи Ибусэ «Черный дождь».

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ПОСТИЖЕНИЕ ГЛУБИНЫ

Роже Гренье. Зеркало вод. Рассказы и повесть. Перевод с французского. Составление и предисловие Ю. Уварова. Москва, «Прогресс», 1979.

По данным Всесоюзной книжной палаты, за 1970—1979 годы в переводе на языки народов СССР издана 991 книга французских писателей общим тиражом 133 миллиона 696 тысяч экземпляров. Почти тысяча книг, около 134 миллионов экземпляров только за одно десятилетие и только с учетом отдельных изданий — так материализуется давний, традиционный для нашей страны интерес к французской литературе, к духовной жизни французского народа.

Основательность, с которой у нас изучается, переводится, издается литература Франции, не означает, конечно, что в этой работе не бывает пробелов, что всегда удается своевременно делать нашим достоянием все интересное. Примером может служить Роже Гренье — плодотворно работающий современный французский романист и новеллист, лауреат ряда литературных премий. Хотя отдельные произведения писателя появлялись в нашей периодической печати, его первая книга легла на стол советского читателя лишь в минувшем году. Это год, когда Роже Гренье отметил свое шестидесятилетие.

В обстоятельном предисловии Ю. Уварова прослеживаются основные вехи жизни и творчества писателя. Детство и юность в маленьком городке По у подножия Пиренейских гор, служба в армии, учеба в университете, участие в освобождении Парижа, работа в газетах, журналистские репортажи из многих горячих точек планеты, начиная с охваченной гражданской войной Греции. Этапами писательской биографии Р. Гренье стали романы «Ловушки» (1958), «Римская дорога» (1960), «Зимний дворец» (1965), «Перед войной» (1971), «Кинороман» (1972), сборники рассказов «Тишина» (1961), «Дом на Праздничной площади» (1972), «Зеркало вод» (1975), «В редакции газеты» (1977). В изданную «Прогрессом» книгу Р. Гренье вошли произведения, взятые составителем из последних двух сборников.

При всем тематическом разнообразии включенных в книгу произведений здесь преобладают рассказы, связанные с работой газетчика, журналиста. И надо сказать, что Р. Гренье трезв и правдив в изображении хорошо известных ему порядков в буржуазных органах массовой информации. Это, как правило, каторжный труд поденщика, не приносящий удовлетворения. Это борьба за существование, в которой выживают далеко не самые лучшие. Это постоянное соприкосновение с изнанкой жизни, с человеческими драмами, препарируемыми на потребу невзыскательной публике.

«Каждую неделю двоих-троих сотрудников выставляли за дверь и на их место брали новых. Любая статейка, даже крошечная заметка в несколько строк, попадала на редакционный стол. Мы передавали ее из рук в руки и по очереди переписывали и шлифовали до тех пор, пока не достигалось то идиотское совершенство, когда уже ни одно слово не могло задеть тупого и придирчивого главного редактора...» Это из рассказа «Игры», в начале которого нарисован яркий портрет бульварного еженедельника. По словам рассказчика, через этот печатный орган «прошли чуть ли не все», однако сотрудничество в нем «вряд ли могло быть предметом гордости».

Начинающий фоторепортер Чарли Лафрей и «молодая брюнетка в джинсах, с короткими вьющимися волосами — Лора Карли, репортер из отдела информации» по заданиям «легендарного и деспотичного

Жоржа Фаргана» стараются поспеть всюду, где происходит или намечается какое-то событие. Каждый раз дело кончается смертью. Бросился с крыши сумасшедший, скончалась проинтервьюированная Лорой старушка-писательница, умерла сфотографированная Чарли больная девочка. И суеверная Лора начинает думать, что дело не в известных правах печати, не в характере репортерской профессии, а в тяготеющем над ними трагическом заклятии. «Понимаешь? Между нами есть что-то такое, что убивает людей всюду, где бы мы ни появились» («Заклинание злых духов»).

Писатель не претендует на авторское всезнание, которому открыты все движения души человека. Чаще всего он рисует своих героев извне, глазами какого-то другого персонажа. Мы словно оказываемся перед живописным полотном, где изображено только то, что доступно непосредственному наблюдению. Но в том-то и состоит мастерство живописца, что за внешним открывается духовное, внутреннее. Безгласные фигуры людей рассказывают о том, что было и будет в их жизни, под неподвижным зеркалом вод проступает сокровенная глубина.

В провинциальном городке жил и умер, покончив с собой, странный, нелюдимый следователь Костардье, которого все в округе заглазно звали «Крючком». Местный полицейский комиссар описывает это происшествие в своем письме Генеральному прокурору. И признается, что, «проработав около десяти лет бок о бок со следователем Костардье, я, по существу, знаю его очень плохо. Вот так живешь рядом с человеком, видишь его ежедневно, но, если в один прекрасный день тебя спросят, что ты о нем думаешь, оказывается, что ты его совсем не знаешь» («Жизнь и смерть судейского чиновника»).

Уродливый и неопрятный Галабер, из жалости взятый рассказчиком в редакцию радио, готовит для жителей далекого острова «дамскую рубрику». Он расписывает день за днем парижские моды, светские новости, но однажды, взорвавшись, говорит в микрофон, что все это ему надоело, что он измотан неврастеничкой-женой, не в состоянии больше терпеть этот ад. «...Как иначе назвать нашу жизнь, эти сплошные невзгоды и постоянное нервное напряжение — каждый день, каждый час. И так будет продолжаться, пока один из нас не умрет». Последние строки рассказа: «Позже я узнал, что никто так и не услышал нашей передачи и голос Галабера затерялся в эфире. Сколько еще таких несчастных, как он, умирают с отчаянным криком о помощи, но мир остается глух, и мольбы их — тщетны» («Дамская рубрика»).

Такова доля двух мужчин, а вот судьбы двух женщин, показанные опять-таки со стороны, глазами других людей. Несколько репортеров, в том числе фотограф газеты, едут в машине с Мартой Р. За какое-то «жуткое», но давно забытое преступление она провела десять лет в тюрьме, а теперь, продав газете — ради детей — свои мемуары и право на последние снимки, удаляется в монастырь. Газетчики делают свое дело, однако их не покидает ощущение нелепости, несправедливости всего происходящего («К жизни иной»). Мишель Н. появляется в жизни Пьера Буржуа несколько раз — и каждый раз иной. Сначала это пухленькая начинающая художница, приехавшая из провинции. Потом — худощавая женщина с пронзительным и неподвижным взглядом, которая занимается «всем понемногу — что подвернется» и при этом ухитряется сохранять близость с тремя не знающими друг о друге мужчинами. Наконец, к Пьеру приходит, видя в нем свой последний шанс, постаревшая женщина в облезлой зимней шубке («Мими»).

Завершает сборник повесть «Круиз», демонстрирующая иные грани творчества Р. Гренье. В центре ее тоже судьба человека, но человека, отнюдь не плывущего по течению или теряющего силы в борьбе с неумолимой судьбой. Ирен отправляется в океанский круиз к далеким островам, знакомится на теплоходе с латиноамериканскими революционерами, избравшими для своих встреч невинное общество людей с одинаковыми именами. Ирен влюбляется в одного из многочисленных Хосе, актера, становится причастной к его делу. Два года спустя в Париже она получает от него письмо, пришедшее из тюрьмы. Письмо, где много говорилось о преступлениях реакции, о продолжающейся борьбе — и ничего о личных чувствах Хосе. Ирен перепечатывает письмо, без особой надежды на публикацию рассылает его в равнодушные к таким историям парижские газеты.

Можно ли судить ее возлюбленного за холодность? «Чего она хочет? Чтобы все десять лет заключенный в тюрьме проводил дни и ночи в мечтах о ней? А он решил, что есть на свете дела поважнее, и включился в революционную работу». Теперь он только боец. «Даже если ему суждено провести в тюрьме много лет, он закален против болезней души, как правило поражающих идеалистов...»

Книга «Зеркало вод» знакомит нас с писателем-гуманистом, для которого нет неинтересных людей. Будь то следователь Крючок, опустившийся вконец Галабер, прошедшая огни и воды Мими — каждый, с точки зрения писателя, заслуживает участия и внимания, в каждом горит или хотя бы теплится живой огонек человеческой души. Многое растеряно ими по дороге, узок диапазон их стремлений и помыслов, но таков мир, в котором они живут, таковы обстоятельства, при которых, по словам из рассказа «Репетиция», человек «слишком поглощен повседневной борьбой за существование, чтобы охватить жизнь в целом».

Снимать с людей всяческие опутывающие их «заклятия», помогать им «охватить жизнь в целом», делать достоянием всех «теряющиеся в эфире» человеческие голоса — в этом, на мой взгляд, пафос творчества Роже Гренье, успешно продолжающего и развивающего традиции реалистической французской новеллы.

Ю. КУЗЬМЕНКО

Издано за рубежом

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Max von der Grün. Flächenbrand. Darmstadt und Neuwied, Luchterhand Verlag, 1979.

Макс фон дер Грюн. Пожар. 1979.

Несколько лет назад промозглым осенним вечером мы, трое приехавших в ФРГ советских литераторов, сидели в уютном холле дортмундской гостиницы «Унион» и дружески беседовали с хорошо известным в нашей стране писателем Максом фон дер Грюном. Он подарил нам свою только что вышедшую книгу для детей «Крокодилы из предместья», рассказал о работе над новым романом. «У нас,— сказал тогда он,— происходит странное сближение политических деклараций и практических действий правительственной коалиции и оппозиционного блока Штрауса. Реакционные, правоэкстремистские силы, пользующиеся попустительством, а то и прямой поддержкой властей, заметно активизировались. К несчастью, многие здесь недооценивают эту опасность, считают ее несерьезной».

Когда мы вышли из гостиницы, чтобы проводить фон дер Грюна, то словно в подтверждение только что услышанного встретились с группой молодых парней, рослых и крепких, в одинаковых защитного цвета куртках со свастикой на спине. Они размашисто и уверенно шагали посреди улицы и горланили излюбленную песню гитлеровских головорезов «Дрожат одряхлевшие кости...».

Макс фон дер Грюн остановился, гневно сжав кулаки. Потом подошел к одному из парней, внимательно оглядел его куртку и, вернувшись, сказал: «Нет, это не собственноручная мазня, куртки фабричного производства. Свастика на потоке...»

Редкие в этот час прохожие с удивлением, возмущением, а некоторые с полным безразличием провожали взглядом процессию неонацистских молодчиков. Полиция, которая обычно не заставляет себя ждать, когда происходят антифашистские демонстрации, в этот вечер так и не появилась.

Я не раз вспоминал об этом случае читая новый роман Макса фон дер Грюна «Пожар», проникнутый глубокой озабоченностью автора судьбами своей страны, своего народа.

Каким путем пойдет Федеративная Республика Германия? Как сложится ее будущее? Есть ли силы, способные противостоять существующему социальному порядку? Вот вопросы, волнующие Макса фон дер Грюна и его читателей. И не только западногерманских. Фабула романа развертывается стремительно и динамично. Уже на первых страницах гремят выстрелы, спасаются от погони стрелявшие. Это два приятеля, два товарища по несчастью Лотар и Франк пытались отомстить уволившему их владельцу строительной фирмы, который объявил себя банкротом, предварительно переправив свои капиталы в один из швейцарских банков.

В романе «Пожар» сплетается множество сюжетных линий, основные из них связаны с семьями Лотара и Франка.

Лотар Штайнгрубер, от лица которого ведется повествование, каменщик по профессии, вот уже семь месяцев без работы. Всю сознательную жизнь, подгоняемый страхом за завтрашний день, он думал лишь о том, как обеспечить свое будущее, будущее семьи. Это будущее представляется ему как возможность оплатить наконец купленные в рассрочку вещи, земельный участок и дом. Хотя дом и был построен своими руками, для приобретения материалов пришлось залезть в долги. Обеспеченное будущее, признается он, «маячило у меня перед глазами, как клочок сена перед ослом», клочок, который «стал уже для меня кумиром, я молился на него и приносил ему жертвы». Сверхурочные часы после смены, работа за аккордную плату по воскресеньям. Ни на что другое не оставалось времени.

Его жена Хелен всецело поглощена своими делами в городской библиотеке. Дочь Клаудия живет обособленной жизнью и неожиданно для родителей оказывается в совершенно чуждом и враждебном им мире. Духовная разобщенность, характерная для капиталистического уклада жизни, укоренилась, как мы видим, и в западногерманских семьях.

Когда-то Лотар Штайнгрубер был активным членом СДПГ, но его исключили из партии за участие в организованной коммунистами демонстрации против повышения цен. Автор резко осуждает антикоммунистические тенденции, утвердившиеся в руководстве социал-демократической партии ФРГ. Из-за раскольнической политики правых ее лидеров утрачивается, как показано в романе, возможность добиться единства действий рабочего класса ФРГ. Отсутствие такого единства облегчает наступление монополий на жизненный уровень и демократические права западногерманских трудящихся.

Отчаявшись найти постоянную работу, устав от каждодневных хождений на биржу труда, Лотар принимает предложение прожженного дельца Бальке развозить для него на своей автомашине какие-то таинственные ящики. Впрочем, таинственными они оставались недолго. Благодаря случайности выяснилось, что в ящиках оружие.

Писатель показывает, как под прикрытием пропаганды о «коммунистической угрозе» в Западной Германии возникают неонацистские и правоэкстремистские организации. Одна из таких — Общество морального и нравственного возрождения Германии, возглавляемое учителем местной гимназии Бурмом. Используя недовольство широких кругов населения существующим порядком вещей, Вурм взывает к национальному самосознанию западных немцев, которым «настало время подняться и по-

казать себя». Зал, в котором устраиваются сборища приспешников Вурма, увешан лозунгами, заимствованными из гитлеровского арсенала: «Германия, проснись!», «Наш враг, вооруженный до зубов, на Востоке!», «Наше несчастье — красные». Разглагольствуя о коррупции властей и кознях «смутьянов», Вурм и ему подобные требуют разогнать профсоюзы, объявить вне закона Германскую коммунистическую партию, а заодно и «Молодых социалистов». В то же время для демонстрации национальной избранности ведутся демагогические нападки и на западных союзников по НАТО. «Разве это наши друзья? — лицемерно восклицает Вурм.— Для нас они враги, только с другой начинкой... с их культурой кока-колы и жевательной резинки». Западногерманскому обывателю усиленно внушают, что единственное средство покончить с инфляцией, безработицей, преступностью — передать власть в стране в «твердые руки». И хотя имя нового «фюрера» пока не называется, общественное мнение в пользу его пришествия формируется настойчиво и целеустремленно.

Националисты уже не ограничиваются пропагандистскими манифестациями. Вурм, Бальке и другие накапливают оружие, похищая его со складов бундесвера, где у них тоже есть сообщники. Видимо, не случайно дал писатель такую фамилию их главарю. Вурмы, как черви, подтачивают основы буржуазно-демократического порядка в ФРГ, чтобы, на его месте со временем утвердить фашистскую диктатуру.

Своим романом Макс фон дер Грюн напоминает и о том, что в ФРГ есть немало молодых людей, разочарованных в сегодняшней действительности, потерявших работу или вообще не имевших возможности ее получить, потерпевших крах в личной жизни. Стремясь к самоутверждению, пытаясь найти выход для своей энергии, многие из них в силу политической незрелости и духовной скудости попадают в тенета правого экстремизма. Так случилось и с Клаудией, которая оказалась в шайке Вурма. Только трагическая судьба ее друга, итальянца Луиджи, которого зверски убили неонацисты, боясь его разоблачений, раскрывает Клаудии глаза на опасность, грозящую ей самой и ее близким.

Случай помог Лотару обнаружить на кладбище, куда он устроился сторожем, в одном из заброшенных склепов склад оружия. Он не хочет заявлять об этом в полицию, боясь, что там найдутся покровители неонацистских преступников. Вместе с друзьями он выслеживает главарей банды, устанавливает их связь со складом оружия и только потом передает все это дело властям. Поскольку история с оружием получила широкую огласку в печати, полиция была вынуждена арестовать и отдать под суд наиболее активных участников право-экстремистской организации. А главари, действовавшие за кулисами, сумели, как это частенько случается, выйти сухими из воды.

Вторая сюжетная линия романа связана с Франком и его борьбой за сохранение рабочего поселка.

Расположенный на северной окраине города, этот поселок давно уже пришел в ветхость и нуждается в срочном ремонте. Однако группа дельцов, которые хотят построить там высотные дома и брать потом с квартирантов тройную плату, подкупает депутатов городского самоуправления и добивается решения о сносе поселка. Франк, избранный председателем местного правления социал-демократической партии, пытается помешать этому и разоблачить взяточников.

Запоминается сцена закрытого собрания социал-демократов, на котором Франк предложил принять резолюцию о сохранении северного поселка. Сатирическими красками рисует автор участников собрания, которые больше всего боятся проявить принципиальность и вызвать гнев городского начальства. Нанятые дельцами демагоги соблазняют собрание тем, что снос поселка даст работу нескольким десяткам жителей, и резолюция Франка не принимается. В знак протеста Франк подает в отставку со своего поста и выходит из социал-демократической партии. А подряд на работы по сносу поселка получает уже известный нам Бальке.

Макс фон дер Грюн нисколько не приукрашивает своих героев, хотя и относится к ним с определенной симпатией. Ведь в конечном итоге именно от таких людей, как Лотар, Франк и их друзья, во многом зависит завтрашний день Федеративной Республики Германии. Автор подводит своих читателей к выводу, что разрозненные, индивидуальные действия небольшой группы субъективно честных и демократически мыслящих людей не могут привести к желаемым результатам. Только коллективная и организованная воля людей труда способна добиться социальных перемен.

Роман «Пожар» получил широкий отклик в западногерманской печати. Так, например, газета «Франкфуртер альгемайне» писала: «Из всех представителей литературы мира труда Макс фон дер Грюн лучше всех делает свое дело». Прогрессивная газета «Дойче фольксцайтунг» подчеркивала, что писатель «предпринял вообще, пожалуй, первую попытку создать актуальный антифашистский роман».

Вместе с тем в ряде рецензий справедливо критиковались известная растянутость книги, неубедительность некоторых сюжетных поворотов и развязок, недостаточная художественная глубина. Нельзя, однако, согласиться с утверждением западногерманского писателя Эразмуса Шёфера, что «ни один из главных героев не предстает наглядно и осязаемо», что «подлинно литературного освоения изображаемой реальности не произошло».

Макс фон дер Грюн действительно не принадлежит к числу мастеров тонкого психологического анализа, детальной и тщательной разработки художественных образов. Его сила в другом — в умении нащупать болевые точки современного капиталистического общества, выявить наиболее характерные и типичные его тенденции, предостеречь об опасности, которую представляют собой противники разрядки международной напряженности, носители милитаристских и неонацистских идей. Он пишет об этом в расчете на широкого

читателя, доступно и увлекательно, сочным языком городских окраин, где обычно живут его герои. Новый роман Макса фон дер Грюна, как и его предыдущие, уже известные советским читателям произведения, помогает лучше понять проблемы сложной и противоречивой западногерманской действительности наших дней.

В. СТЕЖЕНСКИЙ

КНИГА ПЕРВАЯ, КНИГА ВТОРАЯ...

Anna Ondrejková. Snežná nevesta. Bratislava, Slovenský spisovatel, 1978.
Ondrej Čiliak. Podhorské hladiny. Bratislava, Slovenský spisovatel, 1977.

Анна Ондрейкова. Снежная невеста. 1978.
Ондрей Чилиак. Глади под горами. 1977.

Поэзия всегда в наступлении. И, как в наступающей армии, на поэтическом фронте все время происходит передвижение, перегруппировка войск. Кто-то устремляется в прорыв, где-то формируются отправляющиеся на передовую части, а глубоко в тылу готовятся резервы.

В Словакии много делается для воспитания поэтической молодежи. Народный поэт Чехословакии Войтех Мигалик много лет подряд буквально «пестует» молодых поэтов на специально отведенных для этого страницах еженедельника «Нове слово». Регулярно проводятся литературные конкурсы молодых («Литературный Кежмарок», «Волькерова Полианка»). Выходят коллективные сборники. Многие из их участников уже дебютировали самостоятельно. Большое внимание поэзии двадцатилетних уделяется и в книжной серии «Новая поэзия», которая выходит в издательстве «Словацкий писатель».

Передо мной две книги молодых поэтов, получивших литературное крещение на страницах еженедельника «Нове слово». Анне Ондрейковой — двадцать пять, Ондрею Чилиаку — двадцать восемь лет.

Анна Ондрейкова заявила о себе как поэтесса еще школьницей. Ее первый сборник «Пока длится песня» (1975) был отмечен премией Ивана Краско, которой в Словакии удостаивают лучшие литературные дебюты года. В рецензии на этот сборник критик Павол Штевчек подчеркивал, что молодая поэтесса «приходит с даром формы и стиля... со способностью создавать для поэтического образа простор на малой и минимальной площади...», что она обходится «без метафорического блеска», акцентируя стихотворение как целое. Все эти черты присущи и второму сборнику Анны Ондрейковой «Снежная невеста». Поэтессу отличают страстность убеждения, активность общественной позиции. Весь первый раздел ее книги — это баллады о героях борьбы за свободу, социальный прогресс, мир. Их персонажи — чешская комсомолка Мария Кудержикова, Нина Костерина, Раймонда Дьен, Джо Хилл, словацкие партизаны, чилийские узники. Поэзия Ондрейковой драматична не только по выбору жизненного материала и взволнованности поэтической дикции, но и по самой своей структуре. «Баллада о трех казненных» — это, в сущности, короткая драматическая сцена. Поэтесса как бы записывает последние выкрики осужденных. То, что ими высказано или только прочувствовано в последнюю минуту. Как драматическая мистерия, в которой, помимо героя и его врагов, участвует и сам автор, строится стихотворение «Джо Хилл». Стремясь к сюжетности, обращаясь к жанру баллады, Ондрейкова использует богатый опыт отечественной традиции (народная баллада, Янко Краль, Маша Галямова, чешские поэты — Эрбен, Неруда, Волькер). Но ее баллада — порождение наших дней. Стихотворение «Джо Хилл» имеет подзаголовок «После киносеанса». На балладу Ондрейковой оказал явное воздействие язык кино, кинопоэтика. Стихотворение напоминает монтаж кадров кинохроники. Однако это не документальная съемка скрытой камерой. Кадр строится по законам поэзии, метафорического мышления. Вот, к примеру, такой «кадр» из стихотворения «Нина Костерина»:

Костер взметнулся как конь,
узда задела звезду,
твою звезду, Нина!

Падение. Родная земля
мягка.
Звезда сверкает
как выстреленные глаза[1].

Микробаллады Ондрейковой («Снегурочка», «Аленушка», «У окна») также насыщены драматизмом — через контрастность мыслей и образов, через психологическую деталь. В своем стремлении к предельной концепции Ондрейкова — максималистка. Даже стихотворения из шести-семи строк ей кажутся затянутыми. И своей любви она «посвящает» двустишия:

Моя робкая греза боится слова —
как нога западни...

Перстень, свернувшаяся кольцом змея.
Нежный ошейник. Монета с дыркой...
Единственный дозволенный знак
сочувствия —
ослепший ветер ласкает мое лицо.

Характерно, что наиболее скупо поэтесса говорит именно о себе. Но ее небольшая по объему книга имеет значение не только как факт личной биографии. Ондрейковой удалось внести свой вклад в развитие словацкой поэзии, обогатив ее драматизмом, трагическим накалом чувств.

Совсем другую творческую традицию развивает Ондрей Чилиак. Дебютировал он сборником «Устами справедливых» (1973), написанным под явным влиянием чешского поэтизма, словацкого надреализма и так называемой трнавской группы (Стахо, Шимонович, Ондруш), которая, опираясь на опыт этих литературных течений 20—40-х годов, воскресила принципы ассоциативного, образного мышления, создания автономной поэтической реальности. Поэт стремился соединить эту поэтику с политической ангажированностью и актуальностью, но словесная и образная переизбыточность становилась балластом, помехой. Вторая книга Ондрея Чилиака «Глади под горами», отмеченная издательской премией за 1977

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

год, свидетельствует о том, что, продолжая развивать ту же традицию и воспринимая другие тенденции, молодой поэт обрел собственный почерк. В издательском напутствии к этой книге Войтех Мигалик пишет: «Второй поэтический сборник Ондрея Чилиака говорит о созревании таланта... Все в сборнике Чилиака устремлено к нахождению прочной жизненной основы. Сильный нравственный акцент, человечность, мужественная грусть, но и уверенная ориентация в идейных ценностях современного мира — это положительные качества, которые повышают художественный уровень этой поэзии».

Первый раздел книги посвящен родному краю, детству и юности поэта, его близким и сверстникам. Но это не воспоминания, а поэтическое воссоздание картин, связанных с биографией автора. Каждая такая картина возникает как автономная художественная реальность, раскрывающая идейный замысел всей совокупностью поэтических средств и образов. Образность, подчас рожденная сцеплением субъективных ассоциаций («вороньи гнезда детскости»), насыщается, однако, объективным смыслом и сочетается с точно подмеченными реалистическими деталями. Так создается особый тип поэтического обобщения, поэтической типизации. Второй раздел — «Отражение в луже» — оригинальное соединение природной и любовной лирики. Образы природы становятся как бы азбукой любви, а человеческие чувства и взаимоотношения вписаны в природу как «пейзаж в пейзаже» (одно из стихотворений так и называется «Пейзаж в нашем пейзаже»). Сами эти взаимоотношения подняты над будничностью, осмысляются поэтически и философски. Тут нет счастливой идиллии, но нет и мелодраматизма, а есть стремление к гармонии, красота «боли и грусти» от ее недостижимости. В создаваемой поэтом автобиографической панораме постоянно присутствует опыт искусства («словно эти вершины обнимал Уолт Уитмен», «рыжие волосы рубенсовских женщин», «яростно, как лбы гениев, обрушивались на барокко»). Поэтому в композицию сборника органически вписывается цикл «Строгие и непримиримые», позволяющий судить и о литературных пристрастиях Чилиака (Иван Краско, Франтишек Грубин, Аполлинер, Маяковский, Ферлингетти). В наиболее удачных стихотворениях поэт не иллюстрирует факты биографии своих персонажей, а, отталкиваясь от них, дает собственную интерпретацию темы «мир и художник»: «Подсолнухи» (Винсент Ван Гог), «Молчание с В. Маяковским». Завершают книгу стихи, примыкающие к традициям так называемой «поэзии будней», поэтического течения, возникшего в Чехословакии в конце 50-х — начале 60-х годов. По меткому замечанию Войтеха Мигалика, тут перед нами «поэзия будней, но настолько остраненная взглядом автора, что будни становятся праздничными». Так же как Ондрейкова, Чилиак нередко стремится сконцентрировать в рамках стихотворения роман человеческой жизни или даже многих жизней («Жены шахтеров», «Железнодорожница», «Пианистка», «Актриса», «Шахтеры», «Старуха»). Но его привлекает не столько драматизм человеческих судеб, сколько возможность опоэтизировать будничность, увидеть жизненную прозу сквозь романтическую призму поэзии, раскрыть внутреннюю красоту обыденности — этой Золушки, которая подметает современные улицы.

Поэт стремится соединить раскованность, присущую свободному стиху, с теми преимуществами, которые дают строгая строфика и рифма. Строфичность все более дисциплинирует его стих. Рифма подчеркивает образные ассоциации. Но возникает она как бы сама собой, не бросается в глаза и не стесняет свободу выражения.

Чилиак — поэт-синтетик. Его стих в одинаковой мере мобилизует мысль и чувство, воздействует на нас образностью и мелодикой. Но не все у него пропущено через сердце. Его поэзии не хватает остроты сопряженности с происходящим в мире. Ему мешает литературность, порой он задает читателю трудноразрешимые ребусы. Оборотной стороной чрезмерной субъективности оказывается абстрактность и иллюстративность. Но, несомненно, это талант большой широты и силы, талант уже созревший, но еще таящий в себе большие возможности.

При всех различиях, в книгах этих молодых поэтов есть нечто общее — стремление к лиризации эпики и объективизации лирики. И в этом отношении их поиски находятся в русле исканий современной словацкой поэзии.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

КНИГА О НАРОДНОМ ГЕРОЕ

Димитрис Стамелос. Клефтский лев. Беллетризованная биография. 1978.

Среди произведений, выходивших у нас в Греции в последнее время, мне хочется выделить книгу, заслуживающую самого серьезного, на мой взгляд, читательского внимания. Это беллетризованная биография Одиссеаса Андруцоса — борца за освобождение Греции от турецкого ига, жившего в конце XVIII века. Автор книги Димитрис Стамелос опубликовал уже несколько беллетризованных биографий патриотов, участников национально-освободительной борьбы, таких, как Кацандонис и Макрияннис. Воссоздавая страницы жизни своих героев, автор воскрешает славные эпизоды истории греческого народа.

В своей новой работе Стамелос рисует целостный образ Андруцоса, который — вместе с Кацонисом на море, Захарьясом и Колокотронисом на суше — отважно боролся с силами султана и более двадцати лет высоко держал знамя греческого национального освобождения. Как и все греки, Андруцос надеялся на помощь со стороны России — могущественной единоверной державы и потому стал офицером царской армии.

Автору книги удалось творчески сочетать художественный вымысел и исторические факты. Свою тему он разрабатывает любовно и вдохновенно и при этом создает правдивый портрет полководца одного из предшественников освободительной революции 1821 года, человека со сложной и драматической судьбой. Повесть увлекательна по содержанию, написана возвышенным языком, характерным для горной части материковой Греции и как нельзя более подходящим для подобной эпической темы. Книга пробуждает интерес к народным традициям и к национальным источникам, предостерегает против существующей сегодня опасности нивелирующего влияния иноземной «массовой культуры».

Жизнеописание народного героя, в котором ощущаются традиции античной драмы и песенного фольклора, заканчивается трагически. В тот момент, когда Андруцосу удалось поднять на борьбу южную Грецию и одержать ряд побед над турками на море и на суше, он был схвачен венецианцами и брошен в тюрьму. Затем, несмотря на усилия русской дипломатии, был выдан туркам и казнен в Константинополе.

К сожалению, национальная история изучается у нас недостаточно, можно только дивиться скудости греческой историографии. Личности, подобные этому великому полководцу, по сей день не вызывают у ученых должного интереса, мы не располагаем достоверными сведениями об их жизни и деятельности. Писатель вынужден компенсировать эти пробелы собственной фантазией. За неимением других источников он опирается на разного рода предположения и догадки, черпая также сведения в народных песнях, посвященных Андруцосу. Этот легендарный герой был любим народной музой, и обращение автора к фольклору достойно похвалы, хотя и приводит в ряде случаев к чересчур субъективным заключениям.

Книга украшена гравюрами, в частности, произведениями народных художников Иатридиса и Теофилоса, последнего можно было бы назвать греческим Пиросмани: фигура Андруцоса вдохновляла многих известных и неизвестных художников-самоучек того времени, и именно благодаря им сохранились портреты героя. Чтобы создать более полный образ Андруцоса, на мой взгляд, стоило бы обратиться и к изучению русских архивов, которые, возможно, хранят множество еще неизвестных нам фактов его жизни.

КОСТАС ВАПЕТАС

г. Афины.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К АВСТРАЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ОКЕАНОМ»

В журнале «Австралийский писатель» опубликована статья Роберта Ф. Бриссендена, которая является своеобразным отчетом о его поездке в ряд стран Европы и Соединенные Штаты.

По наблюдениям автора, современное положение австралийской литературы за пределами страны характеризуется прежде всего расширением круга имен австралийских писателей, переводимых на иностранные языки, тогда как еще совсем недавно он включал только имена корифеев — например, Генри Лоусона, Катарины Сусанны Причард, Алана Маршалла, Димфны Кьюсак,— получивших всемирное признание.

Автор имел возможность лично убедиться в том, что австралийская литература, к основательному изучению которой и в самой Австралии приступили еще сравнительно недавно, ныне стала предметом изучения в 23 университетах Европы в том числе Советского Союза и Югославии, а также в некоторых странах Азии и Америки.

Задаваясь вопросом о причинах растущего интереса к австралийской литературе, автор полагает, что не последней из них является присуждение Нобелевской премии по литературе в 1973 году Патрику Уайту, явившееся для всего мира сигналом, что австралийская литература вовсе не ветвь английской, а существует независимо от нее, достойная читательского интереса и изучения.

Некоторым диссонансом оптимистическому тону статьи прозвучало ее окончание, в котором Р. Бриссенден с горечью признает, что многое предстоит еще сделать для создания лучших условий жизни и творчества основной массы писателей Австралии.

БОЛГАРИЯ

УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ БОЛГАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Болгарская литература понесла еще одну тяжелую утрату. Скончался Герой Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда, лауреат Димитровской премии академик Георгий Караславов.

«Из наших писательских рядов ушел классик литературы социалистического реализма, признанный мастер художественной прозы, самоотверженный боец Болгарской коммунистической партии, любимый писатель»,— говорится в некрологе, опубликованном в еженедельнике «Литературен фронт».

В своих произведениях, широко известных не только в Болгарии, но и во многих зарубежных странах, в том числе и в Советском Союзе, Георгий Караславов воссоздал все крупнейшие события в жизни своей страны с начала нынешнего века.

Его творчество уходило корнями в народную почву, и недаром его главная книга — шеститомный роман, который справедливо был назван «энциклопедией болгарской жизни в самый бурный ее период»,— называется «Простые люди».

«Георгий Караславов,— сказал в своей речи на траурном митинге заместитель председателя Государственного совета НРБ Георгий Джагаров,— мертв, его нет больше среди нас. Но не умерло и не умрет то, что было его духом и творчеством. Он оставил нам произведения, на которых мы росли и воспитывались, произведения, на которых будут расти и воспитываться все новые и новые поколения. И всегда, когда мы захотим узнать правду о нашем народе, о нашем характере, о наших муках и страданиях, о чаяниях и борьбе болгарина, о тайнах, из которых соткана Болгария и ее несломимый дух, всегда, когда нам будут нужны надежда и утешение, мы будем обращаться к творчеству Караславова, потому что в нем мы всегда найдем те нравственные ценности, без которых наша жизнь не имела бы никакого смысла».

СОЛИДАРНОСТЬ — ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ОДИНОЧЕСТВУ!

В связи с присуждением международной Димитровской премии известный писатель Габриэль Гарсиа Маркес посетил недавно Болгарию.

«Я удостаивался нескольких международных отличий,— сказал писатель в своем интервью, опубликованном в еженедельнике «Литературен фронт»,— но единственная премия, которая была мне присуждена не только за мой литературный труд, но и за мою деятельность в пользу мира и социального прогресса,— это Димитровская премия. Я особенно ценю ее именно за то, что ею отмечена моя деятельность по укреплению солидарности между людьми».

Габриэль Гарсиа Маркес рассказал, что задумал книгу рассказов о латиноамериканцах в Европе, используя для этого заметки, которые он делал во время своего первого приезда в Европу.

«Латинская Америка,— отметил он в беседе с корреспондентом,— пережила тяжелый и мрачный период, который, на мой взгляд, уже проходит благодаря пробуждению народов во всех странах. Это доказывает, что фашизм не вечен. И может быть, наконец, восторжествует мысль о том, что солидарность является противоположностью одиночеству».

«ВСЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»

У болгарских любителей кино особый интерес вызывает недавно вышедший на экраны фильм Бориславa Шаралиева «Все есть любовь». Фильм рассказывает о жизни воспитательно-трудового училища, где и без того сложные вопросы воспитания приобретают особую остроту и драматизм. Сценаристом Бояном Папазовым (это его дебют в кинематографе) был найден драматургический прием, позволяющий ввести зрителя в фильм через рассказ-исповедь главного героя — Радослава, еще мальчишкой попавшего в это училище. Режиссер Борислав Шаралиев, как пишет болгарский журнал «Филмови новини», «с человеческой и художественной деликатностью» анализирует поведение своих героев, раскрывая социальные и психологические причины их поступков. Авторам, считает обозреватель журнала Неда Станимирова, удалось создать правдивый «групповой портрет» трудных подростков, показать их судьбу честно и беспристрастно, без какой бы то ни было идеализации.

На снимке: исполнители главных ролей Иван Иванов и Янина Кашева.

(Журнал «Филмови новини»)

Антиподом главного героя фильма Радослава выступает Альбена — девушка, сумевшая преодолеть предрассудки и протянуть руку помощи и дружбы этим заблудшим молодым парням, за внешней грубостью которых скрываются внутренняя ранимость и уязвимость...

Авторы фильма главный акцент делают прежде всего на чувстве любви, той любви, которая вобрала в себя и нежность, и преданность, и сострадание — чувства, которых герой фильма Радослав был лишен с детства и которые теперь зародили в нем уверенность в его человеческой ценности... Именно любовь помогает растопить его «броню» из недоверия, душевной огрубелости, ожесточенности...

«Только любовь в высоком смысле этого слова,— пишет журнал,— способна оказать воздействие там, где все остальные средства оказываются бессильны,— такова отстаиваемая авторами педагогическая концепция, заявленная в названии фильма».

В этой работе Б. Шаралиева, как всегда в его фильмах, участвует много дебютантов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПРЕМИЯ «БУКЕР» ЗА 1979 ГОД

Премия «Букер» считается самой почетной литературной наградой Великобритании. Однако, как уже не раз показывала практика, выбор лауреатов не всегда достаточно обоснован. Как заметила английская писательница Берил Бейнбридж, решение жюри во многом зависит от личных вкусов его членов.

Так, присуждение премии «Букер» за 1979 год молодой писательнице Пенелопе Фицджеральд за ее роман «Вблизи берега» вызвало некоторое недоумение английских критиков.

Молли Хардвик в рецензии на роман Пенелопы Фицджеральд пишет: «Это милые, неплохо написанные очерки о жизни людей на брошенной барже недалеко от берега Темзы. Книга легко читается и позволяет надеяться, что у писательницы в резерве есть нечто большее, нежели то, что проявилось в ее первом произведении».

Жюри отмечает также роман известного австралийского писателя Томаса Кенилли «Конфедераты», англичанина Джона Харви «Посудная лавка». Британские рецензенты полагают, что из произведений, выдвинутых на премию, самым значительным является роман Томаса Кенилли, хотя он и не был отмечен в Великобритании никакой наградой.

Критик Джин Стаббз в «Букс энд букмен» пишет: «Это настоящий, хороший исторический роман. И хотя в нем воспроизводится давно ушедшая эпоха — война 1861—1865 гг., звучание его глубоко современно. Его основная идея направлена против войны, против бессмысленного уничтожения человеческой жизни». Рецензент особенно отмечает пафос Томаса Кенилли в создании образа маленького человека — винтика в огромной, безжалостной военной машине.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В США стал выходить новый журнал, посвященный событиям и проблемам литературной и культурной жизни Великобритании. Журнал называется «Лондон ревью оф букс» и пока существует как приложение к «Нью-Йорк ревью оф букс», хотя в дальнейшем должен выделиться в самостоятельный орган. Главный редактор журнала — Карл Миллер, в составе редколлегии — такие известные критики и прозаики, как Виктор Притчетт, Фрэнк Кермоуд, постоянный литературный обозреватель «Таймс литерари сапплмент» Сюзанна Клэпп.

ВЕНГРИЯ

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН — КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ

Советским читателям хорошо известно имя Ласло Беньямина. Его стихи неоднократно печатались на страницах советских газет и журналов, в том числе «Иностранной литературы» (см. «ИЛ» № 2, 1974), вошли в различные сборники. В 1976 году в издательстве «Художественная литература» вышел томик его стихов.

В конце 1979 года будапештское издательство «Магветё» выпустило сборник критических статей и публицистики Ласло Беньямина. Как пишет ежемесячник «Коньввилаг», в сборник вошли произведения, написанные в разное время, по разному поводу, затрагивающие широкий круг проблем и свидетельствующие о верности Ласло Беньямина делу социализма, социалистической литературе.

Книга состоит из трех разделов. В первый раздел «Живые традиции» входят статьи, посвященные классическому наследию Шандора Петефи, Аттилы Йожефа, статьи о группе рабочих писателей, возникшей в 30-е годы, членом которой был и Ласло Беньямин, а также о коллегах по перу Дюле Ийеше, Иштване Шимоне, Имре Чанади.

Вторую часть книги, озаглавленную «Признания, споры», составляют статьи и интервью на литературно-общественные темы, например, «Поэзия — это действие», «На службе обществу» и другие.

Третья часть носит название «Общество и культура», она объединяет работы по проблемам развития социалистической культуры и, в частности, воспитания внутренней культуры рабочих и крестьян.

В столичном театре «Пешти синхаз» состоялась премьера спектакля по пьесе Иштвана Чурки «Дефицит». В нем говорится о том, как и чем жила венгерская интеллигенция 60-х годов, ведется острый разговор о духовности и эгоизме, о потребительстве и жертвенности, о вере и скептицизме. Как пишет на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Томаш Колтаи, «в спектакле есть спорные моменты, но постановка в целом проникнута серьезной мыслью и глубоким чувством».
На снимке: сцена из спектакля «Дефицит».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНЕСУЭЛА

«НАШ ЛОЗУНГ — НАДЕЖДА»

В Каракасе и Мериде проходила международная конференция солидарности с политэмигрантами Латинской Америки. В ее работе приняли участие такие видные деятели латиноамериканской культуры, как Ортенсия Бусси де Альенде, Антонио Скармьета (Чили), Эрнесто Карденаль (Никарагуа), Марио Бенедетти (Уругвай), Хулио Кортасар (Аргентина) и другие.

Говоря о значении конференции, Хулио Кортасар заявил корреспондентам: «Встреча мне представляется исключительно важной, поскольку здесь мы обнаружили много общих проблем, и это позволило нам наметить общую стратегию борьбы. Латиноамериканские диктаторы хотели бы уничтожить — физически и морально — все самое лучшее, самое прогрессивное, что есть на континенте. Нашу позицию, как мне кажется, очень хорошо выражают слова, сказанные на конференции уругвайским публицистом Эдуардо Галеано: «Ностальгия — это хорошо, но наш лозунг — надежда».

На снимке: Хельга Циая и Уве Коккиш в фильме «Балагуры не плачут».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ГДР

«ДЕРЕВО МАГДАЛЕНЫ» АРМИНА МЮЛЛЕРА

Новую свою книгу «Дерево Магдалены», выпущенную издательством «Грайфенферлаг», сам автор называет «маленьким романом» (см. «ИЛ» № 12, 1979).

Героиня книги — медицинская сестра Магдалена — живет в небольшой деревне. Рано овдовев, она не замыкается в собственном горе, а посвящает жизнь людям. Все, кто нуждается в помощи, обращаются к «матушке Магде». Она поддерживает художника Рамболя, который чувствует себя чужим в деревне, она берет к себе сына тяжело заболевшей женщины... Односельчане даже назвали в ее честь дерево, которое она в свое время спасла, «деревом Магдалены».

«Перед нами не «идеальная» героиня, а человек из плоти и крови,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — В ней есть и сила и слабость, она добра, энергична, обладает чувством юмора, но, наряду с этим, иногда впадает в отчаяние, ей свойственны приступы тоски».

Армин Мюллер строит повествование так, что в действие все время вплетаются воспоминания о прошлом, о людях, которых повстречала на своем пути Магдалена. Судьбы этих людей органично связаны с судьбами тех, кто окружает ее в настоящем, позволяя читателю получить широкое представление о современной жизни.

Отмечая образный, лиричный язык романа, газета «Нойес Дойчланд» называет «Дерево Магдалены» «удавшимся произведением Армина Мюллера».

«Эту книгу можно назвать «поэтической прозой»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».— Гуманная по своей сути, она оставляет очень цельное впечатление».

ФИЛЬМ ПО ПЬЕСЕ ГЕЛЬМУТА БАЙЕРЛЯ

«Несколько лет назад с успехом была поставлена пьеса Гельмута Байерля «Хохотун» (см. «ИЛ» № 8, 1975). Драматург показал повседневную жизнь рабочих сталелитейного завода, сделав главным героем пьесы честного, но грубоватого человека по прозвищу «Хохотун». Недавно режиссер Ральф Кирстен на студии ДЕФА создал фильм по мотивам этой пьесы. Фильм называется «Балагуры не плачут». (Сценарий написал сам Гельмут Байерль.)

«Это фильм о том, как живут и трудятся люди одной бригады, об их взаимоотношениях, об этике и морали», — пишет газета «Нойес Дойчланд».

«Балагуры не плачут» — рассказ о конфликтах и проблемах современной действительности», — отмечает рецензент еженедельника «Зоннтаг».

«Можно считать, что фильм сказал новое слово в нашей кинематографии, посвященной рабочему человеку»,—пишет газета «Берлинер цайтунг».

ИНДИЯ

НЕУВЯДАЕМОЕ ИСКУССТВО «ДОКТОРА» ПАДМЫ

Далеко за пределы Индии шагнула слава тамильской танцовщицы Падмы Субраманиам. Советским зрителям искусство Падмы знакомо по телеочерку, показанному в 1979 году. Несколькими годами ранее труппа знаменитой танцовщицы гастролировала в ряде городов СССР.

Недавно она подготовила новую программу под названием «Сахаласьям» («Улыбка танца, очаровывающая все сердца»). «Это не абсолютно новые танцевальные ритмы, — поясняет Падма.— Скорее всего они представляют собою танцы, рожденные заново. Много веков тому назад комплекс элементов танцев, включенных в настоящую хореографическую программу, жил в нашем национальном искусстве, радовал сердца наших прадедов, но со временем пришел в забвение, угас. То, что, казалось, безвозвратно утеряно, я бы определила как «движение, рожденное музыкой». Этому-то и следовало дать вторую жизнь».

Жизнь актрисы полна творческих планов. «Я мечтаю, — сказала она, — снова побывать в Советской стране, показать свои новые программы. Мне хочется встретиться также со своими коллегами, поделиться опытом. Ведь искусство сближает народы».

На снимке: Падма Субраманиам.

(Журнал «Маниям»)

На снимке: Карлос Саура и исполнительница главных ролей во многих его фильмах актриса Джеральдина Чаплин.

(Журнал «Фильм»)

Выдающаяся танцовщица наших дней, пишет журнал «Маниям», воистину является «доктором, врачующим своим неповторимым искусством сердца и души тысяч наших современников».

ИСПАНИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ КАРЛОСА САУРЫ

В Мадриде состоялась премьера фильма Карлоса Сауры (см. «ИЛ» № 12, 1978) «Маме исполняется 100 лет». Почти все его герои знакомы испанскому зрителю по фильму «Анна и волки» (1974). В нем рассказывалось о богатой провинциальной семье, сложные взаимоотношения членов которой и были в центре картины.

«Маме исполняется 100 лет» не является в полном смысле слова продолжением фильма «Анна и волки», во всяком случае сюжетным продолжением. Сауру скорее привлекала возможность психологического развития созданных им ранее образов. За прошедшее время многое переменилось в жизни этой патриархальной семьи.

Ее раздел на два лагеря стал сюжетным стержнем новой картины. Причина разногласий — стремление молодого поколения разделить поместье в связи с прек-

лонным возрастом номинальной хозяйки и модернизировать его. Это намерение наталкивается на упорное сопротивление главы дома — матери. «Но, быть может, самое главное,— сказал Карлос Саура в интервью газете «Эль паис»,— хотя прямо в фильме об этом и не говорится, то, что после смерти Франко в Испании произошли важные перемены, и не только политические».

Оценивая новую работу режиссера, критика отмечает, что многие проблемы, поднятые Саурой, чрезвычайно важны для современной испанской действительности: положение женщины, ее стремление к равноправию, распад патриархальной испанской семьи; молодежь с ее отношением к жизни, поиманием свободы; экологические проблемы.

Недавно Карлос Саура отверг предложение Голливуда: «Я не могу представить себя снимающим фильм с американскими актерами, хотя многими из них искренне восхищаюсь, — сказал режиссер в интервью журналу «Триумфо».— Я не могу представить себя вне Испании, и, для того чтобы снимать фильм в Соединенных Штатах, мне надо было бы прожить два-три года в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Я очень привязан к своим друзьям, к моему окружению, и ничто не могло бы компенсировать разлуку с ними».

В настоящее время Карлос Саура приступает к работе над своей новой картиной, которая, по первоначальному замыслу, должна стать полудокументальным рассказом о сегодняшнем дне Испании.

ПРЕМИЯ «ПЛАНЕТА» ЗА 1979 ГОД

Этой награды в минувшем году удостоен роман «Южные моря». Его автор, Мануэль Васкес Монтальбан, известен в Испании не только как писатель, но и как журналист, часто выступающий в печати с острыми материалами на злободневные темы. Свою первую книгу — публицистическое исследование о роли средств массовой информации в формировании общественного мнения — он написал в тюрьме, где провел полтора года за активное участие в антифранкистском движении.

В творчестве Васкеса Монтальбана отчетливо выделяются две тенденции: публицистика и художественная проза, в основе которой лежат документальные материалы; особенно популярна среди них «Сентиментальная хроника Испании»— своеобразная летопись духовной жизни среднего испанца в последние десятилетия — и политические детективы («Я убил Кеннеди», «Татуировка», «Одиночество менеджера»). Главный герой этих романов — частный детектив Пепе Карвальо, обаяние образа которого, наряду с захватывающей остротой сюжетов, немало способствовало успеху этих книг. Карвальо — необычный детектив. Его жизненный путь типичен для многих представителей прогрессивной испанской интеллигенции. Детство этого человека прошло в рабочем предместье Барселоны в семье республиканца, подвергавшегося преследованиям франкистских властей. Затем следуют годы учебы в университете, участие в студенческом движении, тюрьма, эмиграция. Вернувшись на родину, Карвальо отошел от активной политической борьбы, но сохранил верность прежним идеалам, с позиций которых и оценивает происходящие в Испании события.

Действует Пепе Карвальо и в романе «Южные моря». Здесь он расследует дело об убийстве крупного барселонского промышленника и приходит к выводу, что это преступление — результат борьбы между различными политическими группировками. Действие романа происходит в период между всеобщими и муниципальными выборами в Испании.

В произведениях Васкеса Монтальбана, как всегда, живо ощущается обстановка, в которой живет страна, настроения людей, их отношение к происходящему.

КАНАДА

МЕМУАРЫ ФАРЛИ МОУЭТА

Фарли Моуэт, хорошо известный в нашей стране своими книгами, проникнутыми тревогой за судьбы окружающего нас мира природы «Кит на заклание», «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», «Испытание льдом», «Проклятие могилы викинга», «Не кричи: волки!», «Лодка, не желавшая плавать» («ИЛ» № 5, 1972), выступил в жанре мемуаров.

Книга «И птицы не пели» (издательство «Макклелланд энд Стюарт») — это воспоминания писателя о днях второй мировой войны, об участии 22-летнего лейтенанта в военных действиях в Италии. Фарли Моуэт не впервые обращается к годам своей военной молодости. Еще в 1955 году он опубликовал книгу под названием «Полк», переизданную в 1973 году, где уже были намечены основные темы его нового произведения.

В книге «И птицы не пели» рассказывается о юноше, которого война сделала взрослым и заставила во многом изменить свои представления о жизни. В отличие от других канадских солдат, нередко томившихся в ожидании начала боевой операции, Моуэт сразу же попадает в самое пекло сражения за Сицилию. Он показывает ужасы войны, насилие, разрушение, страшные увечья и не менее страшные психические травмы — и одновременно ее гротескные, трагикомические стороны. В интервью Майклу Долту, рецензенту газеты «Глоб энд мейл», Фарли Моуэт признавался, что хотел лишить войну какого бы то ни было героического ореола, особенно в глазах молодых читателей. Писатель задумал свою книгу, по словам Майкла Долта, как «пронзительный вопль против войны». Отмечая несомненные художественные достоинства книги, отточенное мастерство Моуэта-рассказчика, его умение нарисовать зримую и впечатляющую картину происходящего, журнал «Букс ин Кенэда» в то же время считает, что порой слишком подробная детализация жизни автора заслоняет истори-

ческий фон повествования. В целом же критика доброжелательно встретила новое произведение Моуэта, считая его событием и в творческой биографии писателя, и в литературной жизни страны.

КУБА

ЮБИЛЕЙ «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»

Общественность Кубы и других стран Латинской Америки широко отметила 20-летие этого научно-исследовательского и информационного центра латиноамериканской культуры.

«Создание в 1959 году «Каса де лас Америкас» содействовало не только тому, что Куба не была изолирована от культурной жизни Латинской Америки в самые тяжелые времена блокады. Благодаря многогранной деятельности этого центра культуры — изданию книг, проведению конкурсов, фестивалей, выставок, встреч писателей, художников, музыкантов, деятелей театра — установились тесные связи революционной Кубы с прогрессивной общественностью континента, а также со странами социалистического содружества, укрепило созидательные устремления Кубинской революции.

Ныне «Каса де лас Америкас» является наиболее авторитетным центром латиноамериканской культуры».

Это высказывание Фиделя Кастро на I съезде Коммунистической партии Кубы в качестве эпиграфа обозреватель газеты «Гранма» взял к статье, посвященной итогам 20-летней деятельности «Каса де лас Америкас». В самом названии «Каса де лас Америкас» («Дом Америк»), подчеркивает обозреватель, выражено отношение братской солидарности кубинской общественности к малым и большим латиноамериканским народам.

Сегодня «Каса де лас Америкас» стала подлинно исследовательским центром: ее отделы музыки, театра, живописи изучают и пропагандируют достижения этих видов искусства в таких периодических изданиях, как «Музыкальный бюллетень» или журнал «Конхунто», посвященный проблемам латиноамериканского театра.

Актриса Дайси Гранадос создала прекрасный образ строительницы новой Кубы в фильме Пастора Вега «Портрет Тересы», за что была отмечена призом за лучшее исполнение женской роли на XI Международном фестивале в Москве. На снимке: Дайси Гранадос в роли Тересы.

(Кинобюллетень)

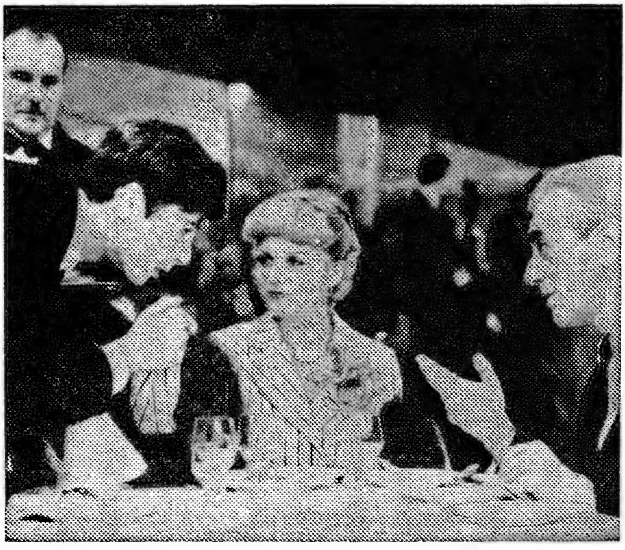
Созданная при «Каса де лас Америкас» Латиноамериканская художественная галерея, в фонде которой более 6000 произведений, представляющих образцы творчества безымянных индейских умельцев и прославленных мастеров, как сообщает обозреватель газеты, будет значительно расширена и превращена в музей искусств.

В мае 1976 года в Латиноамериканской галерее состоялась выставка произведений деятелей искусства Чили, переданных ими в дар своему народу, что легло в основу создания Международного музея сопротивления фашизму им. Сальвадора Альенде («ИЛ» № 3, 1978). Этим информационным центром были организованы и такие важные мероприятия, как IV Встреча латиноамериканских скульпторов с участием представителей стран Карибского региона, выставка «Художники общины в Солентинаме» (Никарагуа), выступления театрального коллектива «Алеф», объединившего чилийских антифашистов, и многое другое. Особое внимание уделяет «Каса де лас Америкас» укреплению контактов писателей континента. Это и научная работа созданного в 1969 году Центра литературных исследований, и книгоиздательство, и традиционные встречи писателей, и ежегодный межамериканский литературный конкурс «Каса де лас Америкас», в которых принимают участие не только испаноязычные писатели, но и авторы, пишущие на португальском, а также писатели стран Карибского региона, чей родной язык — английский или французский.

Действенным оружием идеологической борьбы за прогрессивную латиноамериканскую литературу, как подчеркивает обозреватель, является литературно-художественный и общественно-политический журнал «Каса де лас Америкас», публикующий материалы по актуальным проблемам философии и истории культуры, эстетики и теории литературы, произведения писателей континента, в том числе и тех стран, где приходится преодолевать цензурные

препоны, чтобы выпустить книгу.

«Дочерью революции» в свое время назвал «Каса де лас Америкас» выдающийся кубинский общественный деятель и писатель Хуан Маринельо. Его слова — не только метафора, он был убежден, что создание «Дома Америк» в революционном 1959 году диктовалось велением времени.



В основу фильма Евы и Чеслова Петельских легла повесть Ежи Стефана Ставинского «Дневник молодого варшавянина», опубликованная в шестом номере журнала «Иностранная литература» за прошлый год. Съемки Варшавского восстания проводятся в старом чешском городе Мосте, предназначенном на слом, куда съезжаются кинематографисты со всего мира для съемок военных фильмов.

Критики отмечают удачный выбор актера на роль главного героя, которого играет Петр Лысак, удивительно точно воссоздающий биографию своего поколения, в жизнь которого столь трагически вписались война, оккупация и Варшавское восстание.

На снимке: исполнители главных ролей Петр Лысак, Габриеля Ковнацкая, Анджей Лапицкий.

(Журнал «Фильм»)

ПОЛЬША

«БАЛЛАДА О ЯНОШЕКЕ»

В Государственном издательском институте (ПИВ) вышла книга Славомира Любиньского «Баллада о Яношеке», получившая высокую оценку критики. Роман повествует о жизни простой, малограмотной женщины и написан в форме исповеди героини. Автор воспроизводит ее язык и характер ее мышления. Ее муж погиб в гитлеровском концлагере. Все силы ее направлены на то, чтобы вырастить своего сына Яношека. После тяжелого дня она подрабатывает стиркой белья, стараясь обеспечить сына всем необходимым. Но сын сбивается с пути и становится преступником. Многое в судьбе парня связано с просчетами воспитания и определилось мелкобуржуазной, мещанской средой, которая его окружает.

«Под пером Любиньского,— пишет в журнале «Ове ксёнжки» Януш Термер,— повествование приобретает подчеркнуто общественный характер: человек и его окружение — вот что в первую очередь интересует писателя. Несмотря на драматичность описываемых событий, роман не воспринимается пессимистически, ноты надежды звучат в нем довольно отчетливо. На фоне современной польской прозы «Баллада о Яношеке» воспринимается как книга необычная. Она наверняка не понравится эстетам, поскольку не является модной ни по форме, ни по содержанию, читается она нелегко, но в то же время содержит нечто, имеющее самое непосредственное отношение к общественной функции литературы».

В еженедельнике «Культура» с большой рецензией выступил Ян Пещахович.

Чем привлекает роман Любиньского? — спрашивает он. «Это прежде всего попытка в нарушение шаблонов взглянуть на проблемы современности с позиции обычного человека, рядовой работницы, вынужденной на протяжении многих лет вести борьбу за существование. Из ее ярких монологов мы узнаем о ее вере в то, что жизнь — это великое благо, данное человеку, а труд — одна из основ человеческого существования... Славомир Любиньский недаром назвал свою книгу «Балладой». Действительно, в ней есть что-то от народных песен о несломленной матери».

В еженедельнике «Литература» помещено интервью с Любиньским.

«Баллада о Яношеке» — мой первый роман, но пусть критики не думают, что меня нашли в капусте. Пишу я давно, публиковал стихи, репортажи, рассказы. К «Балладе» шел долго, она — итог многих лет раздумий о жизни. Я всегда хотел написать такую книгу. Мир, который в ней показан, мне очень близок. Он населен обычными людьми, живущими в маленьких домиках на окраине небольшого городка, не добившимися в жизни больших успехов... Вокруг моей героини организуется весь остальной мир книги. Для меня в моей героине наиболее важна внутренняя устойчивость, верность себе, которую не в состоянии нарушить никакие условия жизни. Именно благодаря таким женщинам мир продолжает существовать. Это они выдержали все!»

СИРИЯ

«ПОЛИТИКА И ТЕАТР»

В Дамаске вышла книга драматурга Али Акли Арсана «Политика и театр». Как

пишет обозреватель журнала «Ас-сакафа аль-арабийя» С. Р. аль-Фейсал, в книге Арсана рассматривается вопрос о воздействии литературы и искусства на личность и общество. Автор книги привлек широкий материал из истории древнего и современного театра. Отдельные главы книги посвящены знаменитым драматургам античности и нового времени — Эсхилу, Софоклу, Еврипиду, Аристофану, Ибсену, Стриндбергу, Юджину О'Нилу и Брехту.

«Политика и театр» — первая театроведческая книга Арсана. До этого он выступал как писатель-драматург, создавший ряд пьес, посвященных современности. Не так давно Али Акля Арсан был избран председателем Союза арабских писателей Сирии.

США

«БЕЛЫЙ АЛЬБОМ» ДЖОАН ДИДИОН

«Белый альбом» — так называется выпущенная издательством «Саймон энд Шустер» книга Джоан Дидион, представительницы «нового журнализма» в американской прозе, чей роман «Молитвенник» (1977) принес ей шумный успех в США.

«Белый альбом» — это собрание очерков-воспоминаний о Калифорнии, где в 60-е годы жила Дидион. Книга не просто приглашает читателя вернуться в Калифорнию 60-х, говорит рецензент журнала «Сатердей ревью». Цель книги иная: дать читателю возможность взглянуть на историю своей страны, взглянуть на свое прошлое, понять через это недавнее прошлое свое настоящее, смысл происходящего в Америке сегодня. В своей небольшой книге (в ней чуть более двухсот страниц) Дидион, по мнению рецензента, «сумела воссоздать дух калифорнийской жизни с такой убедительностью и проникновенностью, с какой это не удавалось сделать даже Ивлину Во и Натаниэлу Уэсту».

НОРМА РЕЙ НЕ СДАЕТСЯ!

Фильм режиссера Мартина Ритта «Норма Рей», как отмечает критика,— один из немногих голливудских фильмов, в котором нет автомобильных погонь, взрывов, никто никого не убивает из бесшумного пистолета. В нем рассказывается о текстильной фабрике в маленьком южном американском городке, о жизни работниц этой фабрики и о попытке организовать их, разобщенных, робких, для борьбы против предпринимателей. Пусть на первое собрание из восьмисот работниц придут только семнадцать, Норма Рей, стоящая в центре событий, не отступит. Потомственная работница, она хорошо знает свою среду, беды и горести своих товарок. Перед зрителем проходит жизнь героини, полная поисков, раздумий, борьбы, что способствует формированию ее личности, личности рабочего человека, осознающего свое достоинство и уверенного в правоте своих классовых требований.

На снимке: Салли Филд в роли Нормы Рей, получившая за лучшее исполнение женской роли в этом фильме премию на Каннском фестивале.

(Журнал «Фильм»)

ТУНИС

ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Журнал «Аль-хаят ас-сакафийя» сообщает о присуждении премий большой группе тунисских писателей, поэтов, драматургов и критиков.

Высшей награды — Премии президента Бургибы за литературное творчество — удостоен старейший тунисский писатель, историк и литературовед Мухаммед аль-Марзуки. Как говорится в решении жюри, эта премия присуждена аль-Марзуки «за совокупность его трудов, направленных на дело служения арабской тунисской культуре».

Аль-Марзуки плодотворно трудится в литературе более сорока лет. Первая его книга, посвященная выдающемуся арабскому поэту и философу средневековья Абуль-Аля аль-Маарри, вышла в 1935 г. С этого времени писателем опубликовано тридцать книг. Он явился одним из основоположников тунисской новеллистики — им опубликовано несколько сборников рассказов, в которых реалистически показана жизнь современного Туниса. Аль-Марзуки принадлежит также ряд трудов, посвященных истории национально-освободительного движения в Тунисе, особенно на юге страны, откуда писатель родом. Им опубликованы многие произведения тунисского фольклора, в частности, стихи народных поэтов, воспевающие борьбу Туниса за независимость.

Среди прозаиков и драматургов были награждены премиями Хасан Наср (роман «Ночные коридоры»), Махмуд Таршуна (сборник рассказов «Окна»), Мухаммед Салех аль-Джабри (сборник рассказов «Эхо в городе»), Мухаммед аль-Хабиб ас-Салема (сборник пьес «Города эмигранта»), Мохсен Бен Дияф (сборник пьес «Один день из жизни»).

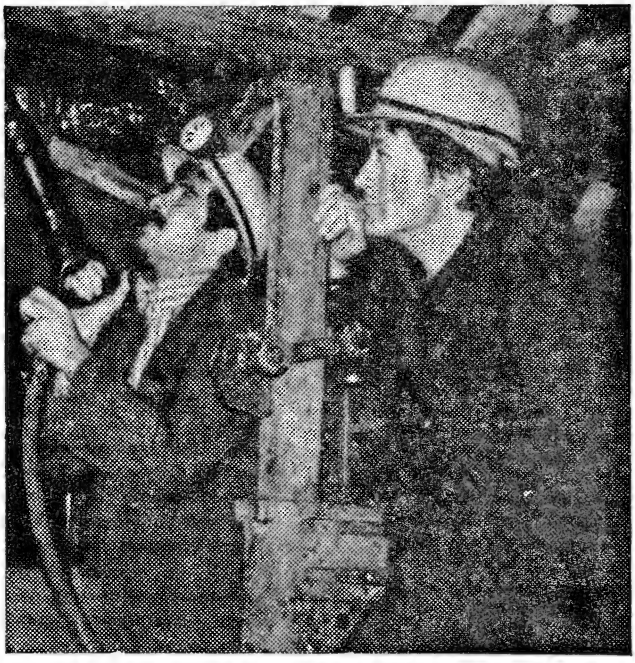
ТУРЦИЯ

«НОВОЕ» ТУРЕЦКОЕ КИНО

В журнале «Санат дергеси» появилась статья о

фильмах, вышедших на экраны в последнее время. Для страны, больше половины населения которой неграмотно, кино играет значительную воспитательную и пропагандистскую роль. Турецкое кино сегодня — явление не однозначное. За год в Турции делается более двухсот фильмов. И далеко не все они отличаются эстетическими и моральными достоинствами. Большая часть из них — слезливые сентиментальные мелодрамы, фильмы-вестерны по типу американских, но с турецкой окраской. Они рассчитаны на вкус среднего обывателя и, естественно, на кассовую прибыль. Сюжеты таких фильмов почти одинаковы с незначительными вариациями. Либо это миллионер, который полюбил бедную девушку и, женившись на ней, сделал счастливой; либо это бедная девушка, которая приезжает в город, становится известной певицей или актрисой, что дает ей богатство и возможность выйти замуж за любимого человека. Такие фильмы уводят зрителя в страну иллюзий и рассчитаны на то, чтобы отвлечь народ от острых социальных и экономических проблем.

Совсем недавно на экранах стали появляться фильмы социального плана, где ставились уже совсем иные проблемы, злободневные, насущные. Особый интерес вызывают фильмы последних лет. Именно в последнее время на кинематографическом горизонте Турции появилась группа молодых режиссеров, которая называет себя новым поколением. Они являются сторонниками движения за новое турецкое кино. Фильмы их отличаются идейной направленностью и правдивым отражением действительности. Сами создатели порой являются выходцами из рабочих и крестьян, которые на себе познали все тяготы положения бедных и бесправных слоев Турции. Фильмы о социальной несправедливости ставить трудно хотя бы просто потому, что не хватает средств. Еще труднее довести их до зрителя, так как цензура идет на все ухищрения: от официальных запретов до неофициальных проволочек, направленных на то, чтобы помешать фильму попасть на экран.



На снимке: кадр из фильма «Шахта». В главных ролях актеры Тарык Акан и Джюнейт Аркын.

(Журнал «Санат бергеш»)

«Шахта» один из таких фильмов.

Режиссер фильма Явух Озкан родился в 1942 году. Он сначала был шахтером в городе Тунчбилеке (на юго-западе Анатолии), потом лесником, рабочим на нефтеочистительном предприятии. Пробовал силы в журналистике, на сцене. Затем пошел работать в кино. Свой первый самостоятельный фильм он сделал в 1974 году, а в 1978 появился его фильм «Шахта», который на фестивале национальных фильмов в Анталье был признан лучшим фильмом года и был представлен затем на XI Московском кинофестивале для внеконкурсного просмотра. До сих пор этот фильм вызывает большой интерес и широкое обсуждение в прессе.

Содержание фильма таково: на шахте в городе Тунчбилек происходит несчастный случай. Несколько шахтеров, находившихся на месте аварии, погибают. Рабочий Ильяс требует, чтобы администрация ввела строгий контроль над техникой безопасности с целью предотвратить новые возможные аварии и связанные с ними новые жертвы. Однако он не находит поддержки среди своих товарищей. Мало-помалу Ильясу удается убедить рабочих подняться на борьбу, они принимают решение снизить добычу угля, чтобы тем самым вынудить администрацию удовлетворить свои требования. Администрация же, вместо того чтобы пойти на уступки, решается на крайние меры: она подсылает провокатора с целью убить Ильяса. Тяжелораненый Ильяс попадает в больницу. После выхода из больницы Ильяса его и еще нескольких наиболее активных рабочих посылают на самый опасный участок шахты. Там, на этом участке, происходит утечка газа. Ильяс погибает — еще один несчастный случай. Но эта жертва не прошла бесследно. Сама жизнь, борьба и смерть этого человека находят отклик в сердцах его товарищей, сплачивают их и ведут на дальнейшую борьбу.

УРУГВАЙ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Дни подпольной жизни» — так называется изданная на Кубе в серии «Премии «Каса де лас Америкас» книга уругвайского писателя Фернандо Бутассонн, признанная лучшей в жанре рассказа на традиционном литературном конкурсе в 1979 году.

«Это правдивая книга об уругвайской действительности, о жизни народа, страдающего под гнетом фашизма,— пишет рецензент газеты «Хувентуд ребельде».— Ее автор дважды пережил горечь изгнания: он вынужден был покинуть свою родину, а затем и Чили, где стал свидетелем преступлений хунты Пиночета. Девять рассказов, объединенных символически звучащим названием «Дни подпольной жизни», повествуют о сопротивлении уругвайских трудящихся реакционному режиму. И в этом — залог и основа оптимизма писателя, видящего в диктатуре фашизма явление временное».

Изображая жизнь бедняков поселка, обреченных на нищету, болезни и вымирание («Ночь собак», «Вокруг»), Бутассони воссоздает социальный климат уругвайской реальности. Лаконично и точно показывает он духовное богатство героев рассказов — рабочих и студентов, стариков и юношей, сложность, а порой противоречивость взаимоотношений людей, связанных узами семьи, дружбы или любви, несущих на себе, как правило, печать стихийного протеста против культивируемой фашизмом бесчеловечности. На страницах книги, отмечает рецензент, писатель запечатлел образы мужественных людей, которые не только не приемлют фашизм, но и ведут самоотверженную борьбу против него в условиях подполья («Эквилибристы», «Росаура и ливень», «Последнее мгновение», «Когда наступает ночь», «Несмотря на зиму» и др.).

Неприятием идеологии фашизма пронизан рассказ «Металл», завершающий сборник, в центре сюжета которого — манифестация рабочих в день празднования 1 Мая. В их единении и сплоченности, в решимости и упорной воле к борьбе, в их принадлежности к подпольной организации писатель видит качества, необходимые народу для победы над фашизмом. Знаменательны слова героя рассказа — старого рабочего, сравнивающего уругвайскую действительность с «огромным необработанным куском металла, который необходимо ковать, чтобы придать ему форму. Будущее можно и нужно строить»,— утверждает он.

«Первая книга писателя редко удостаивается столь высокой награды, которой не случайно отмечен сборник рассказов Бутассони: его исполненная надежды и веры в народ книга стала заметным явлением в литературе Латинской Америки», — заключает рецензент.

ФРАНЦИЯ

«НОРМАНДИЯ — НЕМАН», ПОРА ВОЙНЫ»

Так называется книга Ива Курръера, вышедшая в издательстве «Пресс де ля Ситэ». «Как ни странно, до сих пор не было книги, посвященной знаменитой эскадрилье,— пишет рецензент «Монд» Эрик Руссель. — Теперь этот пробел восполнен. Известный журналист, автор замечательной «Истории алжирской войны», Ив Курръер создал книгу, которая поистине воскрешает эпопею эскадрильи «Нормандия — Неман». В течение месяцев он ездил по Советскому Союзу, побывал во всех тех местах, где жили, сражались, а иногда и погибали его отважные соотечественники.

Ив Курръер собрал воспоминания тех из них, кто остался в живых: Альбера Мирлесса, Ролана де ля Пуана, получившего звание Героя Советского Союза, и многих других участников войны. В книге рассказано и о недавно умершем генерале Пьере Пуайде, который командовал эскадрильей, и о генерале Георгии Захарове, командире 33-й воздушной дивизии, в состав которой входил французский экспедиционный корпус, о том, как ему удавалось сглаживать неизбежные инциденты, дисциплинировать отдельных французских летчиков».

Критик «Юманите диманш» Клод Леконт подчеркивает, что в книге Ива Курръера с волнением рассказано об участии советского народа в Великой Отечественной войне, о том, как страстно стремились попасть в Советский Союз французские летчики для того, чтобы принять участие в героической борьбе советских людей.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

МИЛЛИОНЫ КНИГ — МИЛЛИОНЫ БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Издательство «Ческословенски списователь» отметило свое 30-летие.

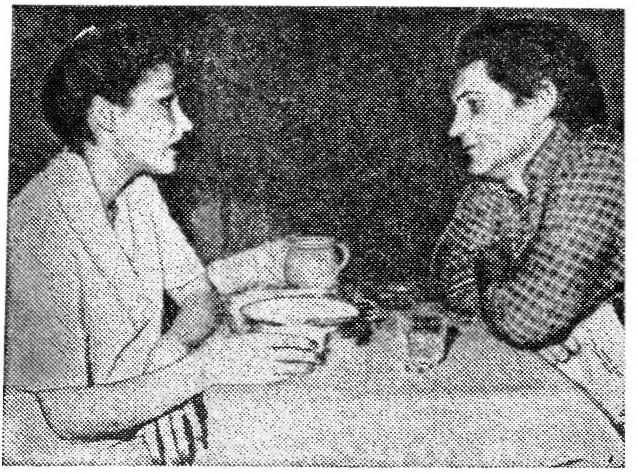
Главное направление его издательской политики — содействовать воспитанию социалистического сознания трудящихся масс, помогать становлению и росту социалистической литературы Чехословакии.

За истекшие три десятилетия издательством было выпущено 4446 названий книг общим тиражом в 70 миллионов экземпляров. Наивысших тиражей достигли сочинения К. Чапека (более двух с половиной миллионов) и Яр. Гашека (более полутора миллионов). К одному миллиону приближаются тиражи книг В. Неффа, В. Незвала, В. Ржезача, К. Полачека и некоторых других.

ЮГОСЛАВИЯ

«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ»

Газета «Книжевне новине» поместила статью о премьере пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» в Белградском драматическом театре. «Это было первое знакомство с творчеством советского писателя,— пишет газета.— Александр Валентинович Вампилов считается последователем Чехова и хорошим драматургом. Нам показалось,— говорится далее,— что творчество этого писателя, судя по пьесе «Прошлым летом в Чулимске», как бы дополняет «Иркутскую историю» Алексея Арбузова, с которой белградский зритель познакомился лет двадцать назад. Сходство с Арбузовым мы видим не только в драматургической разработке сибирской тематики, но и в правдивом отражении жизни, в смелом подходе и открытом обсуждении характерных жизненных явлений и противоречий. Кроме того, и Арбузов и Вампилов умело и ненавязчиво создают на сцене лирическое настроение с оттенком грусти. При этом они не уходят от раскрытия некоторых «щекотливых» проблем, возникающих и в обществе, построенном на гуманных основах. Так, Вампилов в своей драме «Прошлым летом в Чулимске» показывает не только скуку жизни где-то там в Сибири, «на самом краю света», но и потерю ориентации одиночек, обычно замкнутых, оторванных от людей и утративших способность правильно понимать события».



На снимке: Лиляна Лашич и Михайло Янкетич в сцене драмы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».

(Еженедельник «Книжевне новине»)

Всесторонне обсудив содержание пьесы А. Вампилова, особенности постановки ее в Белграде, успехи и упущения артистов, газета «Книжевне новине» заключает: «Несмотря на отдельные недостатки, спектакль «Прошлым летом в Чулимске» будет иметь своих преданных и благодарных зрителей».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

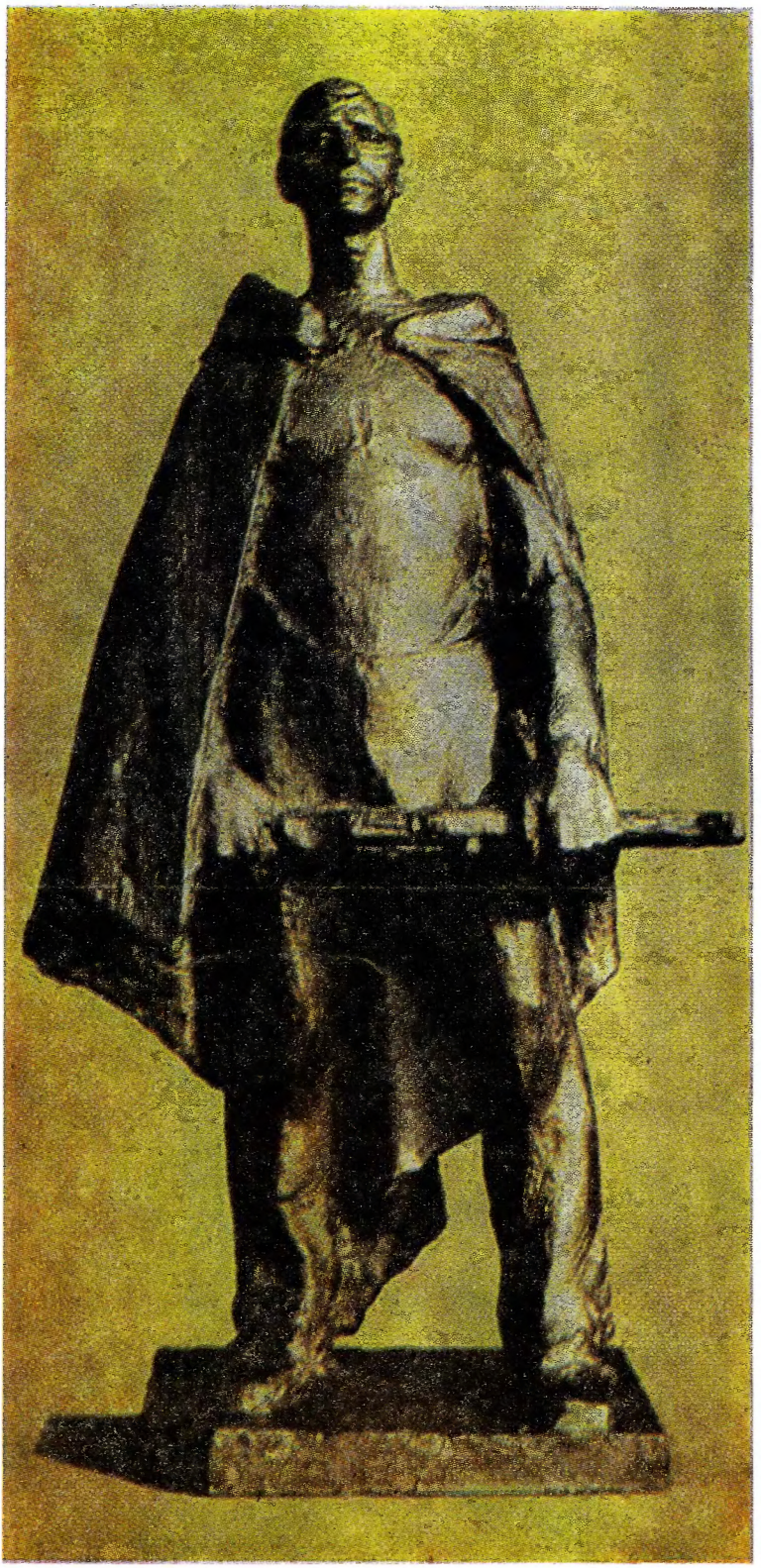
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6/III-1980 г. А 11025 Подписано в печать 18/IV 1980 г.
Бумага 70×108 1/16. 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,27

Тираж 480.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.) Зак. 866.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

И. ДИМОВ. Болгария. Посещение музея.

Цена номера 80 коп.

ИНДЕКС 70394